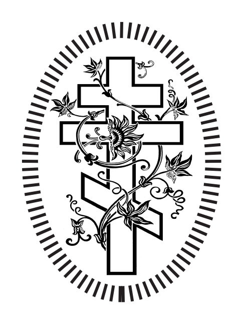
ИВАН АКСАКОВ



НАШЕ ЗНАМЯ – РУССКАЯ НАРОДНОСТЬ

Русская цивилизация



РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Серия самых выдающихся книг великих русских мыслителей, отражающих главные вехи в развитии русского национального мировоззрения:

Св. митр. Иларион
Св. Нил Сорский
Св. Иосиф Волоцкий
Иван Грозный
«Домострой»
Посошков И. Т.
Ломоносов М. В.
Болотов А. Т.
Пушкин А. С.
Гоголь Н. В.
Тютчев Ф. И.
Св. Серафим Саровский
Муравьев А. Н.
Киреевский И. В.
Хомяков А. С.
Аксаков И. С.
Аксаков К. С.
Самарин Ю. Ф.
Погодин М. П.
Беляев И. Д.
Филиппов Т. И.
Гиляров-Платонов Н. П.
Страхов Н. Н.
Данилевский Н. Я.
Достоевский Ф. М.
Григорьев А. А.
Мещерский В. П.
Катков М. Н.
Леонтьев К. Н.
Победоносцев К. П.
Фадеев Р. А.
Киреев А. А.
Черняев М. Г.
Св. Иоанн Кронштадтский
Архиеп. Никон (Рождественский)
Тихомиров Л. А.
Соловьев В. С.
Бердяев Н. А.
Булгаков С. Н.
Хомяков Д. А.
Шарапов С. Ф.
Щербатов А. Г.
Розанов В. В.
Флоровский Г. В.
Ильин И. А.
Нилус С. А.
Меньшиков М. О.
Митр. Антоний Храповицкий
Поселянин Е. Н.
Солоневич И. Л.
Св. архиеп. Иларион (Троицкий)
Башилов Б.
Митр. Иоанн (Снычев)
Белов В. И.
Распутин В. Г.
Шафаревич И. Р.

ИВАН АКСАКОВ

НАШЕ ЗНАМЯ – РУССКАЯ НАРОДНОСТЬ

МОСКВА
Институт русской цивилизации
2008

Аксаков И.С. Наше знамя – русская народность / Составление и комментарии С. Лебедева / Отв. ред. О. Платонов. — М.: Институт русской цивилизации, 2008. — 640 с.

В 1859 году великий православный мыслитель – славянофил И.С. Аксаков провозгласил: «Наше знамя – русская народность как символ самостоятельности и духовной свободы, свободы жизни и развития». Эта мысль стала одной из вершин русского национального мировоззрения. Аксаков стоял на твердых православно-монархических позициях, отстаивая нерушимость русских национальных основ, традиций и идеалов. Выступал за общинно-артельное «народное производство» против насаждения западных экономических форм. Считал, что основой духовного возрождения человечества может стать союз славянских народов под руководством русского народа.

Ряд произведений Аксакова, опубликованных в этой книге, выходят впервые после 1917 года.

ISBN 978-5-902725-13-8

ПРЕДИСЛОВИЕ

И.С. Аксаков был не только литератор,
он был – знамя, общественная сила.
Н. П. Гиляров-Платонов

Иван Сергеевич Аксаков один из самых значительных русских мыслителей, политиков и деятелей культуры второй половины XIX века. Кажется, не было в России 50–80-х гг. XIX столетия ни одного общественно-политического или культурного события без его активного участия. Не занимая государственных постов, он оказывал значительное влияние на внешнюю политику Российской империи, особенно в славянском вопросе. В Европе его опасались гораздо больше, чем петербургских министров. К нему как к последней надежде обращались угнетенные турками и немцами славяне. Статьи Ивана Аксакова читала вся Россия, и вместе с тем ни один из русских публицистов не имел столько столкновений с цензурой! Романсы на его стихи писали А. А. Алябьев, А. Л. Гурилев, М. А. Балакирев и другие композиторы. Глубокую порядочность Аксакова признавали и его политические противники. «Честен, как Аксаков»! – это звучало как комплимент. И при этом сохранивший до конца дней своих юношеский идеализм, Иван Аксаков мог проявлять себя жестким и волевым политиком. Один из первых русских социологов и оригинальный экономист, создатель русской политической философии, поэт и писатель, Аксаков искренне не считал себя теоретиком, не высоко ставя собственные публицистические и литературные труды. Действительно, в отличие от своих старших товарищей

он не только и не столько занимался теоретизированием, но и пытался провести свои идеи в жизнь. Всю свою энергию он направлял на популяризацию славянофильского учения. Как политический деятель Аксаков сыграл значительную роль в российской и славянской жизни 1850–80-х, но положение практического политика не предполагает излишнее теоретизирование. И тем не менее Аксаков по заслугам может считаться одним из виднейших теоретиков славянофильства. Если основатели славянофильства А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, К. С. Аксаков заложили философскую и культурную основу славянофильства, то Иван Аксаков может считаться создателем его политической теории. Помимо отражения «злобы дня» Аксаков много писал в своих изданиях и об основах славянофильской доктрины, хотя по своему темпераменту он действительно не любил и не писал теоретических трактатов. Основополагающие принципы Аксакова заключали единство «земли» и «государства» при духовной власти Православной Церкви. Народ («земля») должен не просто повиноваться царю (воплощающему «государство»), он должен иметь и свои права, в первую очередь право высказывать свое мнение, свои надежды и чаяния. «Силу мнения – народу, силу власти – царю!» – эту славянофильскую формулу Аксаков отстаивал всей своей деятельностью. Однако ссылкой на «народное мнение» уже в те времена все правительства оправдывали любые, даже самые антинародные поступки. Поэтому Аксаков ввел в славянофильское учение наряду с понятиями «земля» и «государство» еще и третий элемент – «общество». Общество, по Аксакову, есть лучшая часть народа, разрабатывающая народное самосознание, и именно в этом заключается принципиальное отличие общества от т. н. «интеллигенции». Нигилизм был логичным концом, до которого могла дойти лишенная национальной почвы «интеллигенция». Во времена петровских реформ произошел отрыв дворянства от народа, Церковь превратилась в звено государственного бюрократического аппарата. Отрыв просвещенного слоя от народа и национальной веры не мог не привести к появлению прослойки антинациональной

«интеллигенции». Результатом был разрыв «просвещенной публики» и народа. Изменилось также и русское государство, из земской самозащиты превратившееся в бюрократическое, абсолютистское, чуждое русскому самодержавию, европеизированное образование. Аксаков называл его Петербургом. Он намеренно писал название имперской столицы по-немецки или по-голландски.

Одну из своих статей Аксаков заканчивал призывом: «Пора домой!», понимая под домом исконную Русь. Думается, что и русским людям XXI века следует помнить завет великого славянофила, что Россия может и должна занять подобающее ей первое место в мире, но только вернувшись домой, к национальным истокам.

Когда Аксаков умер, то 100 тысяч человек проводили его в последний путь. Практически все газеты Европы поместили посвященные ему некрологи. В Софии и Белграде появились улицы имени Ивана Аксакова.

Но после его смерти вокруг имени Аксакова воцарилось почти полное молчание. Нет, это не тот случай, когда беспристрастная история все восстанавливает на свои места и искусственно раздутые репутации лопаются, когда гремевшие при жизни имена различных деятелей в лучшем случае остаются парой строчек в энциклопедиях. По отношению к Ивану Аксакову это все будет несправедливо. Иван Аксаков был приговорен к забвению со стороны тех сил, которые не смогли победить его при жизни и взяли реванш после смерти. Иван Аксаков был славянофилом, и это все объясняет.

Что же такое славянофильство? Под этим объединяющим названием понимаются философские, исторические, литературно-художественные направления русской мысли, основанные на поиске места русского народа и России среди народов Запада и Востока. Главное положение славянофильства заключается в том, что в мире нет какой-то единой универсальной цивилизации, на которую должны равняться остальные, а существуют отдельные локальные цивилизации. Россия также сама по себе уникальная самобытная

цивилизация, такая же, как западная, исламская, индийская. Она не лучше и не хуже их, она просто иная. В основе каждой цивилизации лежат национальные, религиозные и социально-политические факторы. Иначе говоря, в основе цивилизации – нация, религия, определяемая ею культура, социально-экономический и политический строй. Применительно к России основы ее бытия в 1833 году гениально обозначил граф С. С. Уваров в триаде Православие – Самодержавие – Народность. Эти вечные, как и сама Россия, принципы и сегодня полностью сохраняют свою силу. Вот как разъяснял содержание этой триады митрополит Петербургский и Ладожский Иоанн (1927–1995 гг.): «… этот лозунг не плод какого-то произвольного человеческого измышления, а констатация объективного факта того, что гармонично устроенное общество должно сочетать в своей основе три важнейших элемента: духовный, государственный, национальный. Элемент духовный – святое Православие. Элемент государственно организующий – самодержавность… Итак, православный духовный фундамент, державная государственная форма и народ как соборный носитель нравственного идеала – такова универсальная форма гармоничного общественного устройства. И мы никуда от нее не уйдем».

Пока мы говорили о славянофильстве в широком смысле слова. Такое славянофильство родилось вместе с Россией и будет существовать, пока существует Россия. Но в каждой эпохе русской истории было и будет свое славянофильство. Разумеется, в условиях развития общества, происходящих в нем политических, социальных и этнических изменений должны меняться и некоторые принципиальные основы самого общества. И в этом смысле само славянофильство должно также меняться вместе с обществом. Понятно, что и славянофильство ранних времен было скорее интуитивным, «нутряным» чувством, а не теоретической доктриной. По-настоящему славянофильство в классической философской форме рождается в 30–40-х гг. позапрошлого века, и именно Ивану Аксакову пришлось стать одним из виднейших его представителей.

Но классическое славянофильство, как это было, увы, очень часто в национальной истории, стало жертвой преследования со стороны правительства Российской империи, постоянно закрывавшего славянофильские органы печати, подвергавшего преследованиям и арестам виднейших деятелей этого направления, включая Ивана Аксакова. И одновременно с ним на славянофилов обрушилась либеральная западническая интеллигенция, постаравшаяся вычеркнуть если не навсегда, то надолго славянофильство из русской истории. К сожалению, во многом это удалось. Россия нового тысячелетия пока еще только открывает себе идейное богатство славянофильской мысли позапрошлого века.

Почему же славянофильство встретило столь яростное противодействие как правительственных кругов, так и «передового общества»? С правительством у славянофилов действительно были очень нелегкие отношения. Иван Аксаков мог на своем опыте многократно убедиться в этом. Главная причина заключалась в том, что со времен Петра Великого в России государственная власть отдалилась от народа и «земли» (то есть народного самоуправления). Бюрократическое средостение между властью и народом было больше заинтересовано в том, чтобы народ безмолвствовал и покорно подчинялся всем, пусть даже самым преступным распоряжениям власти. Понятно, что славянофилы, требовавшие именно участия нации в решении вопросов ее существования, больше всего вызывали опасение у бюрократического средостения. Зато либералы, кричавшие о «свободе», и революционеры, рассуждавшие о власти «народа», под которым понимали только самих себя, вызывали у бюрократического аппарата империи совсем иные чувства. В самом деле, замена самодержавия конституционным правлением, чего требовали либералы – западники, в конечном счете привела бы к власти именно профессиональных управленцев, то есть тот же бюрократический аппарат. При этом чиновничество могло на совершенно законном основании воровать и еще обеспечивать себе защиту ссылками на «права» личности. Даже радикальные революционеры, громогласно заявлявшие

о «народной воле», в конечном счете стремились подчинить всю русскую жизнь государству, то есть все той же бюрократии. Вот отсюда и тот парадокс, что убежденные монархисты – славянофилы вечно конфликтовали с бюрократическим аппаратом монархии, в то время как «передовые» борцы со всеми основами русской жизни могли рассчитывать на сочувствие «просвещенного» общества.

В XIX столетии, этом золотом веке русской культуры, происходили очень серьезные изменения в российском обществе. Возникшее еще при Петре Великом разделение между европеизированными верхами и оставшимся верным традиционной культуре народом стало к этой исторической эпохе особенно заметным. Ранее большинство дворян еще оставались вполне русскими по духу и образованию. Не случайно российские монархи так широко использовали в качестве управленцев различных немцев. Однако за столетие после «Указа о вольности дворянской» 1762 года немалая часть русского дворянства европеизировалась. Избавленное от обязательной службы, имея множество прав при отсутствии обязанностей, дворянство стало претендовать у самодержавия на всю полноту власти. Свои доводы помещики оправдывали, как это давно повелось на Руси, ссылками на передовой западный опыт. Так возникло либеральное движение, требовавшее ограничить самодержавие в интересах узкого слоя дворянской олигархии. Да, именно крепостники требовали, накануне ликвидации крепостного права, введения в России конституции, чтобы сохранить власть над освобождаемыми самодержавием «душами». И после 1861 года помещики составляли основу русского либерализма. Потеряв власть над «душами» крепостных, они хотели закрепить конституционно свои привилегии над народом. В этом – один из парадоксов русской жизни, наглядно доказывающий невозможность применения в России западных социологических понятий. Только неограниченное самодержавие в конкретных условиях второй половины XIX века могло обеспечить политические права народу, провести без крови и насилия масштабную политическую и экономическую модер-

низацию. Другое дело, что бюрократическое средостение сделало все, чтобы великие преобразования во многом оказались незавершенными.

Еще более зловещую роль в русской истории того времени сыграла появившаяся именно тогда мощная прослойка «интеллигенции». Борьба с «интеллигенцией» у славянофилов привела к парадоксальным результатам. Проиграв славянофилам политически, их оппоненты взяли реванш тем, что именно они и писали историю русской мысли. Причем речь идет даже не о том, что историография русской общественной мысли была изложена западническими либералами и радикалами в виде примитивного изображения борьбы «прогрессистов» против «реакционеров». Уже в описываемую эпоху тон в прессе и литературе задавали либералы. Им удавалось создавать репутации, формировать «общественное мнение», с которым считались и власти, и сами славянофилы. Именно культурной гегемонией противников исторической России можно объяснить тот факт, что откровенно слабые в литературном плане, но зато имеющие «общественную значимость» обличающие произведения становились классикой, зато многие философские и художественные произведения, созданные представителями другого лагеря, подвергались остракизму.

Под давлением «передовых» интеллигентов многие русские деятели культуры и науки оказались вне академических учреждений. Так, друг и сподвижник Ивана Аксакова, крупный исследователь русского фольклора А. Ф. Гильфердинг, несмотря на огромный вклад в науку, был забаллотирован при выборах в Академию Наук. Немецкий состав российской Академии, мало изменившейся со времен Ломоносова, не мог простить немцу Гильфердингу его славянофильские взгляды. Кстати, и после смерти Ивана Аксакова подобное положение в русском академическом мире полностью сохранилось. Так, десятилетие спустя по аналогичным мотивам не попал в Академию Д. И. Менделеев.

О сложившейся в то время «либеральной жандармерии» много позже, уже после Октябрьской революции,

писал бывший марксист, принявший православие еврей С. Л. Франк: «...сколько жертв вообще было принесено на алтарь революционного или «прогрессивного» общественного мнения!... Едва ли можно найти хоть одного подлинно даровитого, самобытного, вдохновенного русского писателя или мыслителя, который не подвергался бы этому моральному бойкоту, не претерпел бы от него гонений, презрения и глумлений. Аполлон Григорьев и Достоевский, Лесков и Константин Леонтьев – вот первые приходящие в голову самые крупные имена гениев, или, по крайней мере, настоящих вдохновенных национальных писателей, травимых, если не затравленных, моральным судом прогрессивного общества. Другим же, мало известным жертвам этого суда – нет числа!»[1].

Впрочем, «передовое общество» не брезговало прибегать и к откровенной клевете в адрес славянофилов. Даже такой замечательный философ, как Владимир Соловьев, не постеснялся лживо обвинить только что умершего славянофила Николая Данилевского в плагиате.

И в отношении общепризнанных писателей, имеющих не вполне «прогрессивные» взгляды, как, например, Ф. М. Достоевский, в либеральной критике существовало своеобразное разделение художественного творчества и политической публицистики писателя. Первое прославлялось и изучалось, о втором предпочитали умалчивать. При всем внешнем уважении к личности Ф. М. Достоевского читающая публика почти не обратила внимание на редактирование писателем консервативного журнала «Гражданин». Когда издатель «Гражданина» князь В. П. Мещерский высказал надежду, что под редакцией Достоевского журнал приобретет популярность, то писатель был настроен скептически. В своих мемуарах В. П. Мещерский привел слова Достоевского. «Нет, – говорил он, – не предавайтесь иллюзиям, мое имя вам ничего не принесет: ненависть к «Гражданину» сильнее моей популярности; да и какая у меня популярность? У меня ее нет, меня раскусили, нашли, что я иду против течения» [2].

Идеологию и политику славянофилов, раз уж полностью замолчать их было трудно, западники также разделяли на периоды. По утверждению западников (причем все это без изменений перешло и в советские учебники и отчасти сохраняется и в научно-популярной литературе до сих пор), до 1861 года славянофилы были «хорошими», поскольку боролись против крепостничества. Зато после отмены крепостного права произошло «вырождение», «упадок», «кризис», «поворот к реакции» славянофильства. Разумеется, цельность славянофильской теории западниками игнорировалась. В советскую эпоху в 1960-х гг. были отчасти реабилитированы славянофильская эстетика и литературно-критическая деятельность, но все остальное творчество славянофилов, особенно «поздних», было запрещено. Всякое упоминание о них сводилось к ругательству. Так, некий У. А. Гуральник в 1972 году писал: «Это позднее славянофильство лишь отчасти напоминает тот корень, из которого оно выросло. Воинствующий национализм и панславизм, оголтелый религиозный обскурантизм и откровенное мракобесие – вот на каких принципах основывалась деятельность славянофилов новой формации»[3].

Не следует думать, что подобное явление, когда общественное мнение узурпируется достаточно узкой группой интеллигенции, чьи мнения и симпатии становятся в общественном сознании чем-то вроде религиозных догматов, было свойственно только России. Крупный французский историк О. Кошен (1876–1916 гг.), изучая историю Великой Французской революции, обратил внимание на роль в идеологической подготовке революции «обществ мысли». К ним относились литературные, философские кружки, масонские ложи, светские салоны, просветительские объединения и т. п. Большинство деятелей культуры предреволюционной Франции, а также стремящиеся к популярности аристократы были членами подобных обществ. За несколько десятилетий до падения Бастилии в «литературной республике» восторжествовали идеи просветителей, подверглись осмеянию религия и традиции Старого Порядка. «Общества мысли» определяли обществен-

ные моды и вкусы, выносили безапелляционные суждения по всем вопросам. Так сложилось специфическое контр-общество со своей контр-культурой, быстро превратившееся в доминирующую культуру. По словам О. Кошена, это контр-общество «имеет свою конституцию, своих магистратов, свой народ, свои почести и свои усобицы. Там тоже изучают проблемы политики, экономики и т д., там рассуждают об агрономии, искусстве, морали, праве. Там дебатируются текущие вопросы, там судят должностных лиц. Одним словом, это маленькое государство – образ большого с одним лишь отличием: оно не является большим и не является реальным» [4].

Кошен назвал такое контр-общество «малым народом». Великая Французская революция была торжеством «малого народа» над нацией. В настоящее время концепция О. Кошена получила широкую популярность в западных научных кругах, переизданы все его произведения. Переизданы они и в России.

В Испании XIX века также сложилось положение, когда достаточно незначительная группа интеллектуалов, либералов по политическим взглядам и позитивистов в философии, сумела создать «черную легенду» – превратное впечатление обо всей испанской истории, национальных нравах, научных достижениях. Характерно, что основные положения «черной легенды» живы и поныне. Например, до сих пор существует миф о чудовищности испанской инквизиции, на многие порядки преувеличивается число ее жертв. При этом в современной Испании нового тысячелетия признание этого мифа является для интеллигента обязательным признаком лояльности по отношению к демократии и его полного разрыва с «реакционным» прошлым. Приходится признать, что создание «черной легенды» об испанской инквизиции стало одним из первых успешных приемов навязывания обществу ложных стереотипов. Подобное контр–общество в Испании получило название «Анти-Испания».

Уже в XX веке А. Грамши ввел понятие культурной гегемонии, подчеркивая, что культурное господство приводит и к политической власти.

Легко заметить, что в России таким же контр-обществом, как «малый народ» во Франции или «Анти-Испания», была «интеллигенция» в том специфическом понимании, которое сложилось в пореформенной России. Центрами интеллигенции были круги читателей «толстых» журналов. В силу многих обстоятельств интеллигенции удалось завоевать культурную гегемонию в российском обществе. И еще до крушения Российской империи интеллигенции удалось монополизировать общественное мнение, навязать обществу своих кумиров, подорвать авторитет своих оппонентов. Неслучайно появился термин «либеральная жандармерия», характеризующий диктат либерального общественного мнения, его сектантскую нетерпимость и воинственность. Достаточно сказать, что историю славянофильства писали либералы с фамилиями М. О. Гершензон, Б. Г. Столпнер, М. К. Лемке, А. С. Изгоев (Ланде), С. А. Венгеров, Ю. И. Айхенвальд, А. Г. Горнфельд, М. М. Стасюлевич, А. М. Скабический, А. Н. Пыпин, Н. Л. Бродский, А. А. Корнилов, П. Н. Милюков и пр. Парадоксально, что и советская историческая наука продолжала оценивать славянофильство, отталкиваясь от суждений прогрессистов, связанных с кадетами, эсерами или меньшевиками. Поразительно, но и в белой эмиграции славянофильство продолжали оценивать в духе прежних либеральных суждений Н. А. Бердяева или бывшего марксиста Г. П. Федотова.

Итак, в России во второй половине XIX столетия в области идеологии восторжествовала либеральная интеллигенция, в значительной степени состоящая из инородцев. Отстаивая свои групповые интересы, эта группа была заинтересована в изложении истории русской мысли в соответствующем ключе. В результате, хотя сочинения Ивана Аксакова выдержали два издания сразу после его смерти, издавались его письма и литературные произведения даже в советскую эпоху, но либералам удалось замолчать труды и деятельность Ивана Аксакова в сфере политики (как, впрочем, и других славянофилов).

Пожалуй, только сегодня возникает возможность объективной оценки самого славянофильства и его виднейших представителей, таких, как Иван Аксаков.

2.

История классического славянофильства XIX столетия во многом есть история семьи Аксаковых. Жизнь рода Аксаковых и есть воплощенное славянофильство.

Род Аксаковых хотя и не обладал титулами, был одним из самых древних аристократических родов России. Родоначальником Аксаковых считался варяг Симон, племянник норвежского короля Гакона Слепого, прибывшего в Киев в 1027 году. Вообще-то русские аристократы любили выводить свою родословную от мифических «немецких» или «ордынских» предков, «отъехавших» в Москву. Но Симон – действительно историческая личность. Согласно русским летописям, Симон выдвинулся при дворе Ярослава Мудрого. Симон принял православие и всегда проявлял усердие в вере. Основателю Киево-Печерской Лавры Антонию Печерскому Симон подарил на украшение алтаря золотую цепь в 50 гривен и драгоценный венец[5]. В Киево-Печерской Лавре Симон построил Успенскую церковь, где и был похоронен. Его сын Георгий (или, в древнерусском произношении, Юрий) Симонович был боярином у князя Киевского Всеволода, отца Владимира Мономаха, а затем и самого Мономаха. Согласно Киево-Печерскому Патерику, дав в удел своему юному сыну Юрию Долгорукому Суздальскую землю, Владимир Мономах сделал его воспитателем Георгия Симоновича. Впоследствии, когда Юрий Долгорукий вокняжился в Киеве, Георгий Симонович стал управлять всей Суздальской землей. Интересно, что археологи среди боярских усадеб XI–XII века в Суздале обнаружили и дом Георгия Симоновича. Кстати, сам хозяин дома, видимо, еще не забыл свое варяжское происхождение. Так, в его усадьбе была найдена литейная форма с рунической надписью[6]. И в дальнейшем потомки Симона верой и правдой служили русским монархам. Праправнук Симона, Василий, по прозвищу Взолмень, был московским тысяцким в начале княжения Дмитрия Донского. В дальнейшем, в середине XV века, один из потомков Василия, Иван Федорович, получил прозвище Оксак (Аксак), что

по-татарски означает «хромой», вероятно, действительно обладая таким недостатком. Именно от него пошел род собственно Аксаковых, навсегда получивших это родовое имя. От московских государей Иван Федорович получил село Аксаково на реке Клязьме. Интересно, что вместе с расширением российской территории и владения Аксаковых распространялись на восток. В 1692 году стряпчему Петру Алексеевичу Аксакову была пожалована земля в Симбирском уезде. Там находилось село Троицкое, имевшее и второе название – Аксаково, принадлежавшее прадеду Ивана Аксакова. Вскоре Аксаковы еще дальше продвинулись на восток. Степану Михайловичу Аксакову (1724–1797 гг.), по словам его внука, писателя Сергея Аксакова, «тесно стало жить в Симбирской губернии, в родовой отчине», и он принял участие в колонизации Оренбургского края. Приобретя землю под Бугурусланом, Степан Аксаков переселил с Поволжья туда своих крепостных, основав село Знаменское, или Новое Аксаково. Помимо крепостных, на эти же земли двинулись и новые переселенцы. Как писал его внук, «с легкой руки Степана Михайловича переселение в … Оренбургский край начало умножаться с каждым годом. Со всех сторон потянулись луговая мордва, черемисы, чуваши, татары и мещеряки; русских переселенцев, казенных крестьян разных ведомств и разнокалиберных помещиков также было немало»[7]. Всего лишь один эпизод в той титанической деятельности русских людей по созданию Державы!

Аксаковы могут считаться своего рода типичными представителями служилого дворянства. Родственниками Аксаковых были такие старинные московские боярские роды, как Воронцовы, Вельяминовы, Сабуровы. И в более позднее время Аксаковы продолжали служить Царю и Отечеству. Из других представителей рода Аксаковых можно выделить Николая Ивановича Аксакова (1730–1802 гг.), который был губернатором в Смоленске и Ярославле, дослужился до чина генерал-лейтенанта.

Иван Сергеевич Аксаков родился 26 сентября 1823 года в истинно-русской патриархальной семье в полном смысле

этого слова. Про него действительно можно сказать, что он был рожден славянофилом. Отцом Ивана Аксакова был известный писатель Сергей Тимофеевич Аксаков (1791–1859 гг.), автор многократно переиздаваемых и в наши дни «Детских годов Багрова-внука» и сказки «Аленький цветочек». Мать Ивана, Ольга Семеновна, урожденная Заплатина, была дочерью суворовского генерала и пленной турчанки. О матери много лет спустя Иван вспоминал: «…она вся принадлежала русскому быту. Русские обычаи, особенно церковные, русская кухня, русская природа – все это было ей родное»[8]. Семья была большая (14 детей, из которых шесть сыновей и восемь дочерей!) и дружная. Авторитет «отесеньки», то есть отца, был непререкаем.

Иван был третьим сыном в семье. В отличие от основной массы русских дворян, отдававших детей на воспитание гувернерам-иностранцам, Аксаковы сами занимались воспитанием детей. Как вспоминал Иван Аксаков, в их доме «детская не существовала, то есть не существовал тот сомкнутый, разгороженный уголок, где под надзором наемных педагогов возрастает молодое поколение в какой-то искусственной, пресной атмосфере, не имеющей ничего общего с действительной жизнью. В семействе Аксаковых дети были постоянно с родителями, со старшими, жили их жизнью, интересовались их интересами»[9].

Иван увидел свет в деревне Надежино (или другое название – Куроедово) Белебеевского уезда Оренбургской губернии. Именно там, на степной окраине России, среди простого народа, он провел первые свои годы. В 1827 году Аксаковы переехали в Москву. Гостеприимный и хлебосольный дом Аксаковых с этого времени стал одним из центров русской литературной и театральной жизни. Постоянными гостями «Аксаковских суббот» были Н. В. Гоголь, актеры М. С. Щепкин и П. С. Мочалов. В доме Аксаковых Гоголь читал свои новые произведения, и семейство Аксаковых были первыми слушателями и критиками его творчества. Аксаков-старший был хорошо знаком с рядом литераторов русского направления.

В частности, крепкая дружба связывала его с несправедливо забытым ныне писателем адмиралом Александром Семеновичем Шишковым, неутомимым борцом за чистоту русского языка, создателем литературного кружка «Беседа любителей русского слова». Часто посещал Аксаковых историк М. П. Погодин, филолог и историк Ю. Венелин, философ Н. И. Надеждин, профессор физики, а в действительности – своеобразный философ М. Г. Павлов. В дружеских отношениях находился Сергей Тимофеевич с молодыми начинающими писателями И. С. Тургеневым и Львом Толстым. Впрочем, постепенно все чаще стали собираться у Аксаковых будущие теоретики славянофильства – Алексей Степанович Хомяков, братья Иван и Петр Киреевские. Здесь, в дружеской обстановке, в горячих дискуссиях, и рождалось славянофильство. Кстати, в то время ожесточенная идейная борьба еще не препятствовала тому, что на аксаковские субботы приходили и принципиальные оппоненты славянофилов, радикальные западники – А. И. Герцен, В. Г. Белинский, Т. Н. Грановский, П. Я. Чаадаев.

Старший Аксаков сыграл выдающуюся роль в развитии русской литературы не только и не столько собственными произведениями, а своим благотворным участием в жизни многих русских творцов. Отличаясь тонким художественным чутьем, Сергей Тимофеевич прекрасно понимал неизбежные творческие проблемы, от которых не застрахован ни один художник. Так, в 1830 году, когда против Пушкина с заявлением, что его талант угасает, выступил известный издатель Н. А. Полевой, С. Т. Аксаков немедленно стал выступать в защиту поэта. При этом для Сергея Тимофеевича не имело значения, что когда-то Пушкин выступал против литераторов-«шишковистов», к которым с полным основанием относил себя и сам Сергей Аксаков. Истина для него была выше личных обид!

Сергей Тимофеевич служил цензором. И на этой службе он наглядно показал, что преданность стране и царю не означают беспрекословного повиновения. Именно С. Т. Аксаков в 1832 году пропустил в только что открытом журнале «Европеец» статью И. В. Киреевского «Девятнадцатый век». Это было

произведение, справедливо считающееся одним из фундаментальных положений классического славянофильства, в котором И. В. Киреевский трактовал проблемы просвещения России в связи с общеевропейским развитием. Киреевский полагал, что современность требует синтеза двух противоборствующих начал – «безусловно разрушительного» и консервативного, «насильно соединяющего»; в философии это привело к «системе тождества» Шеллинга, в литературе – к примирению классицизма и романтизма, «стремлению к жизни действительной». Спрашивается, чего здесь крамольного? Но в России слишком часто отстаивание малейшей самобытности русской истории и культуры вызывали ярость западнической интеллигенции и властей, стремящихся угодить ей. Именно эта статья привела к закрытию журнала, в котором участвовали Е. А. Баратынский, В. А. Жуковский, Н. М. Языков и дал согласие на участие А. С. Пушкин. Самого Киреевского от ссылки спасло только заступничество поэта Жуковского, его родственника. Одновременно со статьей И. Киреевского цензор Аксаков пропустил пародийную поэму «Двенадцать спящих будочников», подписанную Елистратом Фитюлькиным (настоящее имя автора было И. Проташинский), содержащую убийственную сатиру на произвол московской полиции. Терпение властей иссякло, и Сергей Тимофеевич был отстранен от должности цензора.

Разумеется, деятельная натура старшего Аксакова не могла примириться с ролью обычного помещика. Сергей Тимофеевич стал инспектором, а затем – директором Константиновского межевого института, главную роль в создании которого сыграл сам. Свои этические черты старший Аксаков проявил и здесь. Так, в 1838 году он предоставил место преподавателя русского языка в институте В. Г. Белинскому, который после закрытия «Телескопа» был в отчаянном материальном положении. Аксаков не разделял революционных взглядов Белинского, но ценил его как честного человека (в те времена среди западников такие попадались). В 1839 году в связи с ослаблением здоровья Сергей Тимофеевич оставил службу, посвятив себя целиком литературному творчеству.

В 1843 году старший Аксаков приобрел под Москвой усадьбу Абрамцево, где и жил с семьей. Писателя, страстного охотника и рыболова, Абрамцево привлекло своими богатыми охотничьими угодьями и отменным уловом. Человеку с развитым эстетическим чувством, каким был Сергей Тимофеевич, Абрамцево было дорого своими красотами. Но самое главное достоинство Абрамцева заключалось в том, что оно было расположено рядом с Троице-Сергиевой Лаврой. Семья Аксаковых всегда отличалась твердым и искренним православием, хотя именно в эту эпоху среди «просвещенного общества» получили распространение или полное равнодушие к религии, или модные мистико-оккультистские взгляды. Но Аксаковы, все представители рода которых всегда отличались цельностью натуры, никогда не предавали веру предков. Где же еще мог поселиться истинно-русский человек? С Абрамцевым будут связаны многие годы жизни и Ивана Сергеевича.

В Абрамцево также приезжали многочисленные друзья Аксаковых. Дважды побывал там И. С. Тургенев. В романе «Дворянское гнездо» почти с натуры описана усадьба Аксаковых. Прообразом героини романа, «тургеневской девушки» Лизы Калитиной, была дочь Сергея Тимофеевича Вера Аксакова (1819–1864 гг.).

Забегая вперед, отметим, что Абрамцево в 1870 году приобрел известный купец-старообрядец Савва Мамонтов и восстановил пришедшую в упадок усадьбу, попытавшись сохранить «аксаковский дух». Чуть позднее в Абрамцеве возник художественный кружок, среди членов которого были В. М. Васнецов, В. Д. Поленов, М. В. Нестеров, К. А. Коровин и многие другие. Эта группа художников отличалась тем, что не только и не столько провозглашала свою оригинальность, сколько стремилась возродить народные художественные промыслы и ремесла. Во всех своих творческих поисках участники абрамцевского кружка стремились исходить из произведений крестьянского искусства. Видимо, сам воздух усадьбы в Абрамцеве был славянофильским.

3.

В доме Аксаковых, а также в московских салонах Елагиной и Свербеевых, частыми гостями которых были Аксаковы, практически на глазах нашего героя и появилось на свет классическое славянофильство. Исторически славянофильство появляется в результате своеобразной заочной полемики о прошлом, настоящем и будущем России, развернувшейся в 30-е гг. XIX века. Знаменитый глава III отделения Собственной Е. И. В. канцелярии А. Х. Бенкендорф, человек, не лишенный литературного дара, один из своих Верноподданнейших докладов закончил знаменитой фразой: «Прошедшее России удивительно, настоящее более чем великолепно, будущее выше всего, что может представить себе самое пылкое воображение!»

Этой квинтэссенции казенного оптимизма ответил в своем «Философическом письме», ставшем своеобразным манифестом западнического взгляда на Россию, П. Я. Чаадаев: «Прошлое ее (России) бесполезно, настоящее тщетно, а будущего у нее никакого нет»!

Разумеется, те, кто не разделял ни энтузиазма Бенкендорфа, ни русофобии Чаадаева, также не могли не высказаться о судьбе России. 1839-й год считается годом возникновения классического славянофильства, поскольку именно тогда А.С. Хомяковым и И.В. Киреевским были изложены основные положения славянофильской доктрины.

В этом году давний друг семьи Аксаковых Алексей Степанович Хомяков прочитал свою рукопись «О старом и новом», в которой были изложены взгляды, весьма далекие от славянофильства. Таким своеобразным способом Хомяков стремился вызвать полемику среди своих потенциальных единомышленников и заставить их высказаться со всей определенностью по наиболее злободневным проблемам России (подобные провоцирующие приемы были в духе неутомимого спорщика Хомякова). В московских салонах развернулась дискуссия, вызвавшая окончательное размежевание западников и славянофилов. Иван Васильевич Киреевский в ответной статье изложил фи-

лософские основы славянофильства. Соображения Киреевского и Хомякова уточнялись и развивались Константином Аксаковым, старшим братом Ивана Аксакова.

Нельзя не отметить неизбежность появления этой философии. Более того, само славянофильство отнюдь не является чем-то принципиально новым для русской философской мысли, ведь проблема осмысления национального прошлого и настоящего вообще является центральной в отечественной философии. Нового Алексей Хомяков и Иван Киреевский привнесли лишь философский метод классической немецкой философии.

О сущности классического славянофильства хорошо сказал известный философ русского зарубежья Ф.А. Степун: «Славянофильское утверждение России совершенно тождественно духовному и бытовому патриотизму западных народов; западническое отрицание Руси... явление Западу неизвестное, явление типично русское»[10].

Патриотизм как основа славянофильства придал этому философскому и литературному направлению особенную силу, совершенно несопоставимую с реальной численностью самих теоретиков. Граф Блудов, председатель Государственного Совета, говорил Николаю I, что «все славянофилы поместятся на одном диване», став, таким образом, творцом выражения «диванная партия»[11]. Но при всем том, что сами родоначальники славянофильства действительно были небольшим кружком, говорить, что они подобно декабристам «страшно далеки от народа», не приходится.

Взгляды славянофилов, которые всего лишь систематизировали то, что уже, как говорится, «носилось в воздухе», действительно получили широкую популярность у думающих русских людей. Виднейший западник, профессор Московского университета Т.Н. Грановский с тревогой писал Н. В. Станкевичу, также западническому философу: «Досадно, что они (славянофилы) портят студентов, вокруг них собирается много хорошей молодежи и впитывают эти… речи. Иван Киреевский ищет теперь место профессора философии… Бесспор-

но, он человек с талантом и может иметь сильное влияние на студентов»[12]. С этим был согласен и Герцен: «Вредны они до чрезвычайности». «Неистовый Виссарион» Белинский в ответ на предложение принять участие в дебатах со славянофилами писал Герцену: «Я жид по натуре, и с филистимлянами за одним столом есть не могу». И западники немедленно приступили к борьбе со славянофильством в союзе с бюрократическим аппаратом империи. И в те времена, да и в наши дни, вся дискуссия со стороны западников сводится исключительно к воплям, чтобы «перекричать» оппонентов, затыкая им рты, и откровенной клевете, а вовсе не к аргументам. Славянофилам отбиваться было нелегко, ведь никто из них не занимал университетской кафедры, из-за цензуры славянофилы долго не могли иметь печатного органа. Зато все это имели западники. Впрочем, славянофилы были не из тех, кого пугает борьба.

Создателями классического славянофильства были выдающиеся личности. Так, Алексей Степанович Хомяков (1804–1860 гг.) происходил из старинного дворянского рода. Он получил прекрасное домашнее образование. Уже в 15 лет Хомяков сделал перевод книги древнеримского писателя Тацита «Германия», что стало его первой печатной работой. В Московском университете Хомяков получил степень кандидата математических наук. Хомяков отличился в войне с турками 1828–1829 гг., получив орден Анны. Хомяков писал стихи, о которых лестно отозвался Пушкин, занимался различными техническими усовершенствованиями, получив, в частности, в Англии патент на создание нового вида паровой машины, усовершенствовал хозяйство в своем имении, воспитывал своих девятерых детей. Но при этом Хомяков всегда был православным человеком, что позволило ему никогда не испытывать мировоззренческих колебаний. Хомяков был принципиальным противником крепостного права («если только можно назвать правом такое наглое нарушение всех прав!» – писал Хомяков). По всем своим интеллектуальным и моральным качествам Хомяков стал лидером кружка славянофилов. Впоследствии Иван Аксаков издаст Собрание сочинений Хомякова.

Иван Васильевич Киреевский (1806–1856 гг.), чья полемика с Хомяковым и привела к кристаллизации теории классического славянофильства, также был одним из самых самобытных философов России. Собственно, уже совсем юным Киреевский вступил в философский кружок любомудров. Поэт В. А. Жуковский, которому мать Киреевского приходилась племянницей, оказал огромное влияние на формирование личности философа. Киреевский был хорошо знаком с Пушкиным, Н. В. Гоголем, Н. П. Погодиным и другими выдающимися современниками. В 1828 году в «Московском Вестнике» появилась статья Киреевского «Нечто о поэзии Пушкина», в которой молодой критик первым обратил внимание на народность творчества поэта. Совершив поездку в Германию, Киреевский познакомился с Г. Гегелем, Ф. Шеллингом и Ф. Шлейермахером. И именно знакомство со светилами западной философии окончательно убедило Киреевского в том, что нового в европейской философии нет, все их идеи изложены уже в творениях Святых Отцов. Киреевский все больше стал уделять внимания изучению богословия, у него завязались знакомства с духовными лицами. Особое значение для Киреевского имело посещение Оптиной Пустыни. Знакомство с оптинскими старцами окончательно привело к духовному перевороту Киреевского, ставшего воцерковленным человеком. Киреевский полагал, что логическая рассудочность и практицизм привели европейскую цивилизацию к бездуховности, выразившейся в революционных переворотах и рационалистической философии. Считая религию главной силой общественного прогресса, он полагал, что Россия и славянство сумели сохранить патриархальность и религиозность, несмотря на реформы Петра I, привившего народу западные формы жизни. Задача России, по мнению Киреевского, заключалась в возвращении к самобытности, «к цельности бытия», которое смогут дать знание творений восточных Отцов Церкви и Православие, что, в свою очередь, позволит переосмыслить достижения Запада и постичь истину.

Несколько позднее к славянофилам примкнул Юрий Федорович Самарин (1819–1876 гг.), также выходец из знатного рода, знаток и поклонник философии Гегеля. В 1847 году Самарин опубликовал прославившую его статью, посвященную критике представителей «государственной школы» за попытки перенести на русскую историю исторические принципы европейского общества и за недооценку роли общины. Самарин говорил, что образцом общественных отношений в России должен стать не индивидуализм, а иерархия христианской общины с верховной властью во главе.

Наконец, еще одним из создателей классического славянофильства стал Константин Аксаков (1817–1860 гг.). Константин в 1832 году поступил на словесное отделение Московского университета, которое закончил за три года. Еще будучи студентом, Константин стал членом кружка поклонников немецкой философии под руководством Н. В. Станкевича. Членами кружка были такие выдающиеся люди, без которых невозможно представить русскую культуру. Белинский, Герцен, будущий анархист Бакунин, будущий вождь охранительной России Катков. «В этом кружке, – позднее вспоминал К. Аксаков, – выработалось уже общее воззрение на Россию, на жизнь, на литературу, на мир – воззрение, большей частью отрицательное»[13]. Разумеется, Константин Аксаков через некоторое время порвал с кружком Станкевича. Зато он тесно сдружился с Хомяковым.

Несмотря на разницу в возрасте в 13 лет, на противоположность темпераментов, Хомяков и Константин Аксаков вместе воплощали славянофильство 1840-х гг. Константин воспринимал славянофильство не просто как доктрину, а как образ жизни. Константин Сергеевич истово проповедовал славянофильские воззрения в салонах того времени, первым из славянофилов оделся в русскую одежду (сапоги, рубашка с косым воротом, зипун, мурмолка), отпустил бороду. Разумеется, для одевающихся «по-европейски» западников и государственных чиновников это было чем-то странным. Когда же правительство начало в 1848 году преследовать славянофилов,

то именно наличие бороды у человека, не относящегося к крестьянству или купечеству, стало чуть ли не доказательством неблагонадежности и основанием для ареста.

Сердцевину и творческую основу национального своеобразия каждой страны, по мысли классиков славянофильства, составляет религия, и в частности для России Православие. Заметим, что и в XX веке многие выдающиеся западные мыслители, например, А. Тойнби, считали религию если не главной, то одной из основных характеристик цивилизации. По остроумному замечанию академика И.Н. Моисеева, не религия определяет цивилизацию, а цивилизация определяет религию. В этом смысле действительно можно говорить о русском Православии, которое носит особый русский характер, отличаясь от Православия, скажем, румынского. Цивилизация, безусловно, нуждается в религиозной идеологической системе, которая помогает цивилизации осознать себя таковой, дает чувство духовного единства обществу, даже лишенному политического единства (например, Древняя Греция, разделенная на множество полисов, или Русь периода удельной раздробленности). Одновременно религия обеспечивает четкое противопоставление другим иноверным цивилизациям, что уже сразу подчеркивает самобытность каждой цивилизации.

Кроме религии, другой особенностью России славянофилы справедливо считали крестьянскую общину. Коллективистский характер русского общества в значительной степени способствовал широкому укоренению в России самых различных социалистических теорий и, напротив, привел к тому, что идеи либерализма от Екатерины II до Ельцина не имеют никакого воздействия на массы. Заметим, что на Западе левые исповедуют коллективистские теории, а для правых характерен упор на индивидуальные права. В России и для левых, и для большинства правых присущ своеобразный культ коллективизма, и отличия левых с правыми заключаются лишь в степени признания социального равенства между группами людей, будь то сословия, классы и пр.

Разумеется, кружок славянофилов не только теоретизировал. Так, брат Ивана Киреевского Петр, не создавая философских или литературных произведений, внес несравненный вклад в развитие русской культуры. Определившись в своих славянофильских пристрастиях и веря в великую судьбу русского народа, Петр Киреевский с 1831 года стал систематически записывать народные песни, мечтая воссоздать духовную основу народа, в них запечатленную. К этой работе он сумел привлечь многих литераторов, среди которых были А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, В.И. Даль, М.П. Погодин. В поисках песен Петр Киреевский в прямом смысле слова исходил пешком целые губернии. Петр Киреевский создал уникальное собрание, насчитывавшее свыше 10 тыс. песен, составившее эпоху в отечественной фольклористике. При его жизни из-за цензурных сложностей было напечатано лишь 67 песен. Более того, несмотря на ряд изданий дореволюционного и советского времени, большая часть собрания остается неопубликованной. Иван Аксаков вместе с Владимиром Далем в 1860–74 гг. опубликовали в 10 выпусках часть собранных Петром Киреевским песен.

Еще один славянофил, Дмитрий Валуев, умерший в 25 лет, успел за свою короткую жизнь собрать и обработать множество материалов по истории русского и славянских народов.

Итак, классики славянофильства XIX в. философски обосновали цивилизационную самобытность России. В этом их непреходящее значение перед русской культурой. В 40-х гг. XIX века славянофильство в основном в своей теоретической основе было создано. Развивать и углублять его, практически реализовывать пришлось уже Ивану Аксакову.

4.

Иван Аксаков с детства отличался серьезностью, склонностью к интеллектуальной деятельности. В детстве он болел скарлатиной, и, чтобы не заразить многочисленных братьев и сестер, родители его временно изолировали. С родными Иван общался через записки, художественный стиль которых при-

ятно поразил отца. «Иван будет великий писатель!» – сказал Сергей Тимофеевич, ознакомившись с одной из записок сына. Однако только домашнего, пусть даже аксаковского, образования было недостаточно. Аксаковы всегда служили царю и стране, но при этом всегда считали, что только образованный человек может быть настоящим дворянином. И в конце апреля 1838 года Иван, не достигший еще 15-летия, отправился в Петербург поступать в Училище Правоведения. Это было высшее учебное заведение, совсем недавно, в 1835 году, созданное по инициативе М. М. Сперанского и готовящее кадры для гражданской службы. Расположенное на Фонтанке, д. 6., Училище Правоведения отличалось высоким уровнем обучения. Позднее его закончили писатель М. Е. Салтыков-Щедрин, композитор П. И. Чайковский, политический деятель К. П. Победоносцев, поэт А. Н. Апухтин, критик В. В. Стасов, художник А. Н. Серов. Но это было позднее, а пока Училище еще делало первые шаги. Иван Аксаков стал первым из числа самых знаменитых выпускников.

В Петербурге Иван Аксаков жил у своей тетки Надежды Тимофеевны Карташевской. Вместе с Иваном жили и учились его братья – Григорий (был старше на три года), также учившийся на правоведа, и Михаил, который был младше на год, поступивший в Пажеский корпус. Правда, со временем Иван остался один – Григорий закончил Училище Правоведения в 1840 году, в первом выпуске, и поступил на службу. Брат Михаил, как и все Аксаковы очень одаренный музыкально, в марте 1841 года умер, не дожив и до 17 лет, на руках Ивана.

В 1842 году Иван заканчивает Училище и поступает на службу секретарем 2-го (уголовного) отделения 6-го Департамента Сената. Он служит честно и усердно. В целом на службе Аксаков зарекомендовал себя работоспособным идеалистом. Он не отбывал повинность, а действительно трудился с душой по 16—18 часов в сутки, видя в этом долг перед страной и народом. Впрочем, Аксаков успевает также написать мистерию «Жизнь чиновника» (опубликованную лишь в 1861 году

за границей). Основное содержание мистерии – столкновение молодого идеалиста с реальной прозой чиновной жизни.

Молодой чиновник принял участие и в составлении законов Российской империи. Специальная комиссия под руководством Николая Милютина, будущего деятеля освобождения крестьян, начала разрабатывать проект нового городского уложения. В комиссию был привлечен и молодой правовед Иван Аксаков. Результатом деятельности комиссии Н. Милютина было создание нового положения, несколько расширившего полномочия Городской Думы, в состав членов которой стали входить дворяне, имеющие городскую недвижимость. Это был шаг к созданию городского самоуправления. В 1846 году положение утвердил император, и оно вступило в силу в Петербурге, Москве и Одессе.

Скоро Аксакову представилась возможность оставить кабинет сенатской канцелярии и повидать Россию. В конце 1843 года в Астраханскую губернию была отправлена ревизионная комиссия под председательством князя П. П. Гагарина. В составе этой комиссии, работавшей целый год, был и молодой чиновник Аксаков. Он объехал всю губернию, причем полномочия ревизора позволяли ему увидеть многие темные стороны жизни российской глубинки.

Летом 1845 года Аксаков был назначен товарищем (заместителем) председателя Калужской Уголовной Палаты. В Калуге Аксаков провел полтора года, объездив всю губернию. Он был все такой же принципиальный и неподкупный, одно его появление заставляло дрожать все присутствие. Аксаков мог сравнить помещичью Калужскую губернию с Астраханской, где, по его словам, почти отсутствует дворянство, зато есть чиновничество. Честный чиновник Аксаков не завел в Калуге друзей, поскольку местные обыватели и не интересовались вопросами литературы и политики. Правда, женой калужского губернатора была Александра Осиповна Смирнова-Россет. В прошлом – фрейлина императрицы, светская красавица, которой посвящали стихи Пушкин и Лермонтов, Смирнова оказала большое влияние на формирование мировоззрения Гоголя.

Аксакова она привлекала не только умом и красотой, но и тем, что сторонилась провинциального светского общества.

Весной 1846 года Аксаков неожиданно встретил в Калуге давнего знакомого Белинского. Тот ехал лечиться на юг вместе с актером М. С. Щепкиным. «Неистовый Виссарион» болел так тяжело, что Аксаков даже не сразу узнал его. Вдали от столичных салонов и яростных дискуссий западников и славянофилов вечные оппоненты Белинский и Аксаков смогли найти много точек соприкосновения. Белинский позднее писал: «В Калуге столкнулся я с Иваном Аксаковым. Славный юноша! Славянофил, а так хорош, как будто никогда и не был славянофилом. Вообще я впадаю в страшную ересь и начинаю думать, что между славянофилами действительно могут быть порядочные люди. Грустно мне думать так, но истина впереди всего!» Как видим, человеческие качества Ивана Аксакова действовали даже на фанатичного западника Белинского. Больше Аксаков и Белинский не увиделись.

В целом казенная служба дала молодому чиновнику много материала для размышлений. В Калуге Аксаков сочиняет около 30 стихотворений, короткую поэму «Зимняя дорога», начинает поэму «Бродяга».

В конце апреля 1847 года Аксаков возвращается в Москву, где его за многочисленные заслуги повышают до обер-секретаря 2-го отдела Сената. Но Аксаков, несмотря на некоторое продвижение по бюрократической лестнице, остался верен себе. В сентябре 1848 года он отказался поставить свою подпись под беззаконным приговором, оправдывающем заведомого преступника, имеющего связи и давшего большие взятки судейским. Но такая принципиальность не понравилась его департаментским коллегам. Аксаков предпочел оставить службу в министерстве юстиции и перейти в министерство внутренних дел. Он стал чиновником по особым поручениям в Министерстве внутренних дел, в ведении которого было управление всеми инославными конфессиями России, включая русских старообрядцев. По делам службы Аксаков объехал всю Россию, ездил в Бессарабию по вопросам раскола, затем посетил

Ярославскую губернию с целью ревизии городского управления, а также изучения секты бегунов. О бегунах, получивших большое распространение в губернии, Аксаков впоследствии написал специальное историко-этнографическое исследование, не потерявшее значения и до сего дня.

Между тем под влиянием европейских революций 1848–1849 гг. правительство Российской империи стало «завинчивать гайки». Славянофилы, осуждавшие инородческое засилье в России и антинациональную внешнюю политику Империи, считались неблагонадежными. И именно на них обрушились правительственные репрессии. Почти все славянофилы оказались под надзором полиции, был арестован за критику немецкого засилья в прибалтийских губерниях Юрий Самарин. Славянофилам официально было запрещено носить бороду и русскую народную одежду! Аксаков также попал под жернова государственной машины.

18 марта 1849 года Ивана Аксакова арестовали и поместили в Петропавловскую крепость. Поводом послужило перехваченное («перлюстрированное») письмо брата Григория, который высказывал надежду, что разразившаяся в Австрийской империи революция приведет к превращению Австрии в славянское государство. Объясняя свои взгляды в специальной записке, которую внимательно читал Николай I, оставивший своей рукой пометки в тексте, Аксаков отвечал, что «не является панславистом и что гораздо более всех славян его интересует Русь». Этот ответ удовлетворил императора, и он направил графу А. Ф. Орлову, начальнику Третьего отделения, объяснение Аксакова с припиской: «Призови, прочти, вразуми, отпусти». 22 марта Аксаков был выпущен на свободу.

На этом его неприятности не кончились. В 1851 Аксаков в основном закончил писать поэму «Бродяга» о беглом крепостном. Узнав, что его подчиненный сочинил произведение «предосудительного характера», министр внутренних дел Л. Перовский (отец террористки С. Перовской) потребовал объяснений. Разгневанный таким отношением, Аксаков подал в отставку. После этого Аксаков больше не состоял на госу-

дарственной службе. Забегая вперед, можно упомянуть, что с «Бродягой» цензура продолжала воевать и далее.

Итак, после 7 лет усердной службы Аксаков стал частным человеком. Конечно, несмотря на отвращение, которое он всегда испытывал к бюрократии, он оценивал годы службы как неоценимую школу изучения русского быта. Действительно, Аксаков приобрел такое знание российских реалий, которое вряд ли имели его товарищи по славянофильству. Он окончательно возненавидел крепостничество. В конце 1848 года он пишет: «Свидетель Бог, что у меня не будет крепостных!»[14] Да, много чего повидал Аксаков за годы службы. Он понял, что не способен быть чиновником. Зато, вероятно, теперь Аксаков открыл в себе дар публициста и нашел в этом призвание.

5.

Славянофилы всегда испытывали проблемы с изложением и популяризацией своих взглядов. Правда, с 1841 года М. П. Погодин редактировал ежемесячный журнал «Москвитянин». Но этот журнал имел казенно-охранительное направление, защищая крепостное право, сословность, существующие порядки, что не могло понравиться славянофилам, хотя некоторые из них публиковались в «Москвитянине». В 1845 году Погодин передал заведование журналом Ивану Киреевскому. Тот сразу же стал помещать в «Москвитянине» стихи В. А. Жуковского, Н. М. Языкова, Л. А. Мея, Константина Аксакова, публицистические статьи Хомякова и братьев Киреевских. В результате количество подписчиков сразу же удвоилось. Однако Киреевский выпустил только три номера журнала. Из-за конфликтов с Погодиным и придирок цензуры он оставил редактирование, а выпуск журнала был приостановлен. Правда, издание «Москвитянина» было возобновлено в 1847 году. «Москвитянин» приносил убытки, и в 1850 году Погодин решил привлечь к изданию молодых авторов славянофильского направления. Так появилась «молодая редакция» журнала, в которую входили драматург А. Н. Островский, поэт и критик А. А. Григорьев,

писатель А. Ф. Писемский. «Молодая редакция» поместила в журнале ряд произведений, ставших русской классикой, но в целом помещать теоретические статьи она не могла.

Такова была славянофильская публицистика в те годы, когда Иван Аксаков работал чиновником и ездил по России «по казенной надобности».

В 1852 году славянофилы решили выпустить литературно-художественный «Московский Сборник». Собственно, под таким названием они выпускали сборники в 1846 и 1847 годах, но в силу цензурных давлений и отсутствия значительных концептуальных статей эти сборники не стали значительным этапом развития славянофильской теории. Теперь славянофилы могли надеяться на участие всего «генералитета» своего движения. Вышло, однако, два тома «Сборника».

1-й том вышел в свет в апреле 1852 года. Сам Иван Аксаков поместил там отрывки из «Бродяги». Там же он поместил «Заметку о Гоголе» и стихотворение «Могучим юности призывам…» Были помещены некоторые народные песни, собранные Петром Киреевским. Иван Киреевский поместил одну из важнейших теоретических статей славянофильства – «О характере европейского просвещения в его отношении к просвещению в России». Самым же значительным произведением в «Московском Сборнике» был некролог Гоголю, умершему в феврале, принадлежащий перу И. С. Тургенева.

«Сборник» стал одним из важнейших культурных событий того времени. В первый же месяц разошлось 750 экземпляров «Сборника» (для того времени – значительная цифра). Но читатели больше обращали внимание на оппозиционный тон издания. Реакция властей последовала незамедлительно. Второй том сборника был запрещен. Цензор князь В. В. Львов, пропустивший первый сборник, был уволен с должности. Тургенев за некролог Гоголю был по высочайшему повелению отправлен на съезжую, а затем на год сослан в деревню. Впрочем, главным пострадавшим был редактор «Сборника» Иван Аксаков. Гнев цензуры вызвала его статья о ярославской общине ремесленников, в которой Аксаков видел наиболее подходящую

для России форму социального устройства. Также досталось ему за «Бродягу».

Главное управление цензуры увидело в поэме чуть ли не революционную пропаганду и сочло, что поэма может «неблагоприятно действовать на читателей низшего класса». В результате Аксаков сослан под надзор полиции и лишен права представлять свои произведения на рассмотрение цензуры, что фактически означало запрет на литературную деятельность. Таков был первый шаг Ивана Сергеевича на журналистском поприще.

Оставшись не у дел, Аксаков не мог просто сидеть сложа руки. Узнав о том, что морское ведомство собирается послать к устью Амура фрегат «Диана» (которому придется совершить 3-летнее кругосветное путешествие), Иван Сергеевич начал хлопотать о своем зачислении в экипаж. Но и здесь он получил отказ. Иван Сергеевич стал «невыездным».

Хотя первые столкновения с российской действительностью были для Аксакова печальны, он не озлобился на страну, не стал ни равнодушным обывателем, ни революционером. В 1853 году Аксаков по поручению Русского Географического Общества совершил поездку на Украину с узконаучной целью – исследовать ярмарочную торговлю в Малороссии. Но Аксаков отнесся к поручению географов с большим энтузиазмом, ведь можно было с головой окунуться в народный быт и изучить жизнь основы основ России – простого народа совсем не так, как наблюдали из окон своих поместий «дворяне-народолюбцы». К поручению Русского Географического Общества Аксаков отнесся серьезно, как он относился ко всему, чем занимался. Поездка в Малороссию заняла целый год – с ноября 1853 по ноябрь 1854 года. Маршрут Аксакова включал в себя Сумы, Харьков, Полтаву, Елисаветград[15], Киев, Чернигов, Кролевец, Курск.

Результатом поездки стала книга «Исследование о торговле на украинских ярмарках», справедливо считающаяся одним из первых социологических исследований в России. Впоследствии Аксаков за это исследование получил золотую

медаль Русского Географического Общества и Демидовскую премию Академии Наук.

Но Аксаков не мог полностью погрузиться в исследование ярмарочной торговли – началась Крымская война. Разъезжая по торговым городам Малороссии, Аксаков постоянно слал прошения о зачислении в армию. Но штатский, к тому же политически неблагонадежный Аксаков неизменно получал отказ.

Когда осенью 1854 года неприятель высадился в Крыму, на земле России, то правительство объявило о созыве народного ополчения. Ратники ополчения отличались от солдат тем, что служили только на период войны, имели право носить бороды, формировали части из земляков, наконец, в ополчении существовало нечто вроде выборности командиров. Обычно грамотные люди, отставные военные, или дворяне, снаряжавшие за свой счет дружины ополченцев, становились их офицерами. Когда был объявлен призыв в ополчение, то многие славянофилы сочли, что их долг быть там. В начале 1855 года Аксаков вступил в ополчение. Хотя Аксаков никогда не служил в армии, как, впрочем, и почти все ополченцы, он стал штабс-капитаном III Серпуховской дружины.

Иван Сергеевич не гонял ополченцев на плацу и не учил их стрелять. Этим занимался единственный бывший военный в дружине. Аксаков занимался не менее важной частью – снаряжением и снабжением дружины. Задача была невероятно трудной, поскольку ему приходилось иметь дело с несравненно более опасным неприятелем, чем англо-французы в Крыму. Казнокрадство в Крымскую войну приняло невероятные размеры, и именно в тылу Россия проиграла войну. Аксаков столкнулся с тем, что губернский комитет ополчения поставлял негодные вещи, больных лошадей, было украдено более половины отпущенных на ополчение денег. И все же Аксаков в таких условиях сумел снабдить и вооружить ополченцев. Его богатый опыт службы в судебном ведомстве позволял ему раскрывать все ухищрения казнокрадов. Аксаков со всей присущей ему работоспособностью проявил себя идеальным

квартирмейстером. Этому он отдавался полностью. В одном из писем домой в мае 1855 года он писал: «Вчера целый день с утра до вечера…был посвящен сапогам и топорам»[16].

Аксакову при этом приходилось поступать так, как поступали многие честные русские государственные служащие, то есть идти на должностные преступления с целью выполнения долга. Так, на медицинское снабжение дружины не было отпущено ни копейки. Аксаков же создал полевой госпиталь, нанял медиков, приобрел лекарства. Понятно, что для этого ему приходилось идти на различные ухищрения, в казенные ведомости вписать убытки там, где их не было, и на полученные средства создать медицинскую службу.

Также в очередной раз столкнулся русский славянофил со своеобразной «национальной политикой» времен Николая I. Так, Серпуховская дружина вошла в подчинение Южной армии, во главе которой стояли генералы Готенгельм, Гельфрейх, Торнау, Линден, Дельвиг, Фишбах, начальником штаба армии был Артур Адамович Непокойчицкий.

Наконец, летом 1855 года Серпуховская дружина была подготовлена, полностью экипирована и двинулась на фронт. Она медленно, по российскому бездорожью, шла от Серпухова до Бессарабии и дошла до театра военных действий к моменту, когда боевые действия прекратились. Пребывание в дружине оказало сильнейшее воздействие на мировоззрение Аксакова. Он еще раз убедился во многих проблемах российского общества и в гнилости прежней правительственной системы. В одном из его писем звучат такие выстраданные строки: «Чего можно ожидать от страны, создавшей и выносящей такое общественное устройство, где надо солгать, чтобы сказать правду, надо поступать беззаконно, чтобы поступать справедливо, надо пройти всю процедуру обманов и мерзостей, чтобы добиться необходимого, законного»[17].

Война окончилась, и Аксаков ушел в отставку. Но вскоре ему вновь пришлось вернуться к знакомым проблемам военного снабжения. Казнокрадство и злоупотребления в Крымскую войну были настолько вопиющи, что правительство создало

специальную следственную комиссию по делу о злоупотреблениях интендантства в войну во главе с князем Виктором Илларионовичем Васильчиковым, бывшим начальником штаба Нахимова, последним покинувшим пылающий Севастополь. Аксаков, имевший репутацию безупречно честного человека, талантливого организатора и знатока всех чиновных ухищрений, был приглашен в комиссию и вскоре стал ее фактическим главой.

В ходе работы комиссии Аксаков столкнулся с множеством вопиющих фактов. Казнокрады из интендантских служб украли средств на сумму, превышающую прямые военные расходы. Сам Аксаков, приехав в Крым, поразился страшному разорению и запустению даже той части острова, где не было никаких боев. Просто воры-начальники и еврейские подрядчики присвоили себе и продали на сторону все отпущенные казной дрова и продовольствие, вынуждая солдат крушить дома крымских обывателей, чтобы жечь из них костры, вырубать сады, забивать скот.

Комиссия Васильчикова закончила работу в конце 1856 года, и Аксаков смог вернуться домой. Таков был его военный опыт.

В 1857 году он путешествовал по Европе, но, разумеется, долго оставаться за рубежом не мог, тем более в такой переломный момент истории, который переживала Россия. И Аксаков, несмотря на то, что формально запрет на занятие им литературой оставался в силе, все свои силы бросил на редактирование органа славянофилов журнала «Русская Беседа».

6.

Жизнь всей России и личная судьба Ивана Аксакова резко изменились с началом нового царствования. 19 февраля 1855 года на престол вступил Александр II. Находящийся в ополчении Иван Аксаков заметил в письме родителям: «В России каждое царствование есть эпоха, запечатлеваемая личностью самодержца»[18].

С началом нового царствования и окончанием Крымской войны в 1856 году Россия вступает в один из самых переломных периодов своей истории. Еще до того, как начались преобразования, в русском обществе созрело чувство необходимости перемен. При этом мало кто выступал против необходимости перемен вообще, все различия в обществе заключались лишь в масштабах и целях изменений. Говоря современным языком, в России после Крымской войны сложился общенациональный консенсус по вопросу о том, что старую николаевскую систему необходимо менять.

В первые же дни царствования новый монарх получил написанную Константином Аксаковым «Записку о внутреннем состоянии России». Поскольку в этой записке излагается славянофильская теория государства, самодержавия и свободы, которую Иван Аксаков будет отстаивать всю жизнь, необходимо немного рассказать о ней. Константин Аксаков со всей определенностью соединял самодержавие и свободу, причем подчеркивая именно необходимость самодержавия для свободы: «Государственная власть при таких началах, при невмешательстве в нее народа, должна быть неограниченной. Какую же именно форму должно иметь такое неограниченное правительство? Ответ не труден: форму монархическую. Всякая другая форма – демократическая, аристократическая – допускает участие народа, одна более, другая менее, и непременное ограничение государственной власти, следовательно, не соответствует ни требованию невмешательства народа в правительственную власть, ни требованию неограниченности правительства... Вне народа, вне общественной жизни, может быть только лицо (individuum). Одно только лицо может быть неограниченным правительством, одно только лицо освобождает народ от всякого вмешательства в правительство. Поэтому здесь необходим Государь, Монарх. Только власть монарха есть власть неограниченная. Только при неограниченной власти монархический народ может отделить от себя государство и избавить себя от всякого участия в правительстве, от всякого политического значения, предоставить себе жизнь нравствен-

но – общественную и стремление к духовной свободе. Такое монархическое правительство и поставил себе народ Русский. Сей взгляд русского человека есть взгляд человека свободного. Признавая государственную неограниченную власть, он удерживает за собой совершенную независимость духа, совести, мысли. Слыша в себе эту независимость нравственную, русский человек, по справедливости, не есть раб, а человек свободный»[19].

Но защита свободы, которую обеспечивало самодержавие и против которого выступали либералы, революционеры и сепаратисты национальных окраин, требовала свободы слова (разумеется, в рамках ответственности). И молодой император оказался на высоте своего положения, понимая необходимость изменений в России при опоре на мыслящих патриотов. Сразу после окончания Крымской войны в марте 1856 года Александр II на встрече с депутацией дворянства произнес не оставляющие никаких сомнений относительно готовящихся реформ слова: «Существующий порядок владения душами не может оставаться неизменным... Лучше отменить крепостное право сверху, чем оно само собой начнет отменяться снизу».

После царского слова обсуждение состояния России и готовящихся изменений началось достаточно открыто. Стало возможным перейти от записок царю к обращению к общественному мнению. Наступила блестящая пора русской журналистики. Никогда ранее в истории пресса не играла такую важную роль в жизни российского общества. Следует заметить, что император Александр II старательно читал большинство русских журналов, включая даже издававшийся за границей «Колокол» Герцена, следил за важнейшими газетами, но не считал своим царским делом вмешательство в дела цензуры и редакций. Именно этим объясняется парадоксальный факт постоянных столкновений с цензурой у монархически настроенных издателей.

Поскольку славянофилы в целом и Иван Аксаков лично постоянно подвергались преследованиям цензуры, необходимо объяснить этот феномен.

Проблема взаимоотношения славянофильской прессы с цензурой может показаться противоестественной. До 1865 года, когда вступили в силу «Временные правила о печати», российские цензурные правила оставались теми, что были приняты еще при Николае I. Однако в условиях общественной активности и гласности (это понятие, как и выражение «политическая оттепель», появились именно в тот период) цензоры часто действовали по своему усмотрению. При этом ведомственные издания имели собственную цензуру.

В результате в военно–морских специализированных изданиях, подчиненных генерал-адмиралу Великому Князю Константину Николаевичу, совершенно открыто помещались радикальные статьи. Аналогичным образом ведомственной цензуре подвергался «Военный Сборник», официоз Военного министерства. Одним из редакторов «Военного Сборника» был даже Н. Г. Чернышевский. Помимо этого, в результате либерального курса в отношении Польши, где была создана своя администрация, польские газеты подчинялись цензуре Царства Польского. Учитывая, что административный аппарат Царства Польского был проникнут националистическими взглядами, польский сепаратизм проповедовался совершенно открыто. Аналогичным образом финляндская пресса была в ведении властей Великого княжества Финляндского.

Зато в столичных центрах Империи цензура продолжала проявлять бдительность относительно вольнодумства, даже благонамеренного.

Можно привести множество примеров нелепых цензурных ограничений. Придирки цензуры часто не могли объясняться какими-либо политическими причинами. Так, друг и единомышленник Аксакова, религиозный философ и публицист Н. П. Гиляров-Платонов, работавший на рубеже 50–60-х гг. цензором, получил выговор от начальства за то, что пропустил в одной статье деловой газеты «Акционер» эпиграф «Тихо всюду, глухо всюду; быть тут худу, быть тут худу»[20]. Начальство усмотрело в этом критику правительственных распоряжений.

Известный памфлетист князь Петр Долгоруков утверждал, что мотивом закрытия газеты «Парус» Ивана Аксакова (о чем ниже) было использование фразы «русский синий водяной». В этих словах увидели оскорбительный намек на синие мундиры жандармов![21]

Конечно, не надо думать, что в цензурном ведомстве находились исключительно глупцы. Там трудились и крупнейшие специалисты в области литературы. Так, в иностранной цензуре (занятой просмотром и переводом иностранной литературы) председателем цензурного комитета был Ф. И. Тютчев, его подчиненными были А. А. Майков и Я. П. Полонский. Однако в целом это было исключением из правил. Московским литераторам приходилось иметь дело с достаточно примитивными личностями с говорящими фамилиями Безсамылкин, Прибиль и Крузе.

Итак, в 1856 году славянофилы впервые получили возможность издавать свой печатный орган. Это был журнал «Русская Беседа», первый номер которого вышел осенью 1856 года.

По своей программе журнал активно поддерживал готовящиеся реформы Александра II со славянофильских позиций. В отличие от «Московских сборников» 1846, 1847 и 1852 гг. славянофилы могли в новых условиях более открыто высказывать свои требования в политической и социальной жизни страны.

Выходил журнал ежеквартально (в 1859 г. раз в два месяца). Издателем-редактором был А. И. Кошелев, соредакторами – Т.И. Филиппов и, позднее, П.И. Бартенев и М.А. Максимович. С лета 1858 года редактором фактически стал И.С. Аксаков (хотя и раньше своими статьями он определял «лицо» издания). В состав редакции входили А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин, В.А. Черкасский.

В 1858 и 1859 гг. в качестве приложения к «Русской Беседе» ее редакцией издавался журнал «Сельское благоустройство», посвященный крестьянской реформе.

Авторами «Русской Беседы» были почти все известные публицисты и писатели славянофильского направления, в частности, С. Т. Аксаков, П. И. Бартенев, П. А. Бессонов, И. Д. Беляев,

А.Ф. Гильфердинг, А.А. Григорьев, Н. П. Гиляров-Платонов, В. И. Даль, П. А. Кулиш, Д. Л. Мордовцев, И. С. Никитин, А.К. Толстой, Ф.И. Тютчев, А.С. Хомяков, А.И. Одоевский, М.П. Погодин, Ф.В. Чижов, П.И. Якушкин. Как видим, вокруг журнала сложилось объединение единомышленников, напоминающих политическую партию.

Журнал противопоставлял Россию странам Европы, поскольку русский народ развивается по своим особым законам в силу национальной особенности страны. Именно этим объясняется столь пристальное внимание «Русской Беседы» к национальному быту русского народа.

К этим фундаментальным положениям славянофильства в условиях готовящихся реформ редакция журнала активно отстаивала сохранение в России крестьянской общины. Славянофилы требовали освободить крестьян с землей за выкуп. Также на страницах «Русской Беседы» и «Сельского благоустройства» высказывались требования гласного суда, отмены телесных наказаний, отмену смертной казни. Интересно, что практически те же требования высказывали не только консервативные издания, но и «Современник» Н. Г. Чернышевского и даже, до 1858 года, издаваемый за рубежом А. И. Герценом «Колокол». Но для славянофилов требования политических свобод вполне укладывались в формулу: «Силу мнения – народу, силу власти – царю!» В отношении религии, народного просвещения, научного и технического прогресса «Русская Беседа» придерживалась вполне традиционных славянофильских представлений.

Кратковременность существования «Русской Беседы» не позволила журналу стать тем органом, на страницах которого и рождается русская философия.

Когда начала выходить «Русская Беседа», Иван Аксаков находился в ополчении и в комиссии Васильчикова и поэтому сначала не принимал участия в издании. Первые номера «Русской Беседы» не вызвали у него восторга. По его мнению, «это не журнал, а четыре сборника, очень слабо удовлетворяющие современным требованиям, и именно теперь, когда после по-

трясений войны, при новой правительственной эпохе, все в России в брожении, все жаждет разрешения проклятых вопросов, не отвлеченных, но жизненных, животрепещущих… Мы в таком положении, что высказывать вполне своих мнений не можем, а не высказывать их вполне, подаем повод к недоразумению, чему способствует и недобросовестность прочих журналов…»[22]

Как видим, недовольство Аксакова вызывал академический философско-отвлеченный характер журнала. Славянофилы, которые ранее могли только выпускать сборники от случая к случаю, оказались не готовы с ходу издавать политический журнал. Аксаков, окончательно понявший, что его призвание – публицистика, взял в свои руки издание журнала. И под его руководством «Русская Беседа» стала одним из самых значительных русских журналов того времени.

Журнал внес большой вклад в развитие русской литературы. В «Русской Беседе» были опубликованы стихи И. и К. Аксаковых, В.А. Жуковского, И.С. Никитина, Каролины Павловой, А.К. Толстого, Ф.И. Тютчева, К.П. Победоносцева, А.С. Хомякова, Т.Г. Шевченко, неизвестное до этого стихотворение А.С. Пушкина («Страдалец произвольной муки», 1859 г., кн. 3). Помещались поэтические переводы славянских поэтов. Из прозы, ставшей событием в литературной жизни России, были помещены произведения С.Т. Аксакова, пьеса А.Н. Островского «Доходное место».

Из-за цензурных ограничений славянофилы о многом могли говорить иносказаниями и намеками. Но это не спасало от цензурных ограничений. Так, журнальное приложение «Сельское благоустройство» (вышло 14 номеров), в котором выдвигались радикальные предложения отмены крепостного права, было запрещено.

Однако несмотря на успех издания, Ивана Аксакова не устраивал чисто литературно-художественный характер журнала, не имевшего политического отдела и к тому же издававшегося с интервалом в несколько месяцев. Правда, еще с апреля 1857 года Константин Аксаков стал редактором еже-

недельной газеты «Молва», в которую пригласил брата, собираясь передать ему редактирование. Однако как только Иван Аксаков представил в цензуру материалы для № 37 (первого, который редактировал сам), то цензура запретила половину планируемых в номер статей. В таких условиях он отказался редактировать «Молву».

Аксакова это не остановило. Продолжая редактировать «Русскую Беседу», он продолжал искать возможность издавать газету. После долгих хлопот Аксаков добился права на издание в 1859 году еженедельной газеты «Парус». О программе своей газеты он объявил прямо: «Наше знамя – РУССКАЯ НАРОДНОСТЬ. Народность вообще – как символ самостоятельности и духовной свободы, свободы жизни и развития, как символ права, до сих пор попираемого теми же самыми, которые стоят и ратуют за права личности, не возводя своих понятий до сознания личности народной. Народность русская как залог новых начал, полнейшего жизненного выражения, общечеловеческой истины». Однако вышло лишь два номера «Паруса» – 3 и 10 января 1859. Гнев цензуры вызвала помещенная во втором номере статья М. П. Погодина о внешней политике, критикующая русских дипломатов за то, что они служат Европе, а не России. За подобные высказывания, а также за открытие не утвержденного официально славянского отдела «Парус» был закрыт. Иван Сергеевич был вытребован в Петербург и допрошен в Третьем Отделении.

При допросе произошел курьезный случай, свидетельствующий о находчивости и чувстве юмора Аксакова, а также о нравах высшей петербургской бюрократии. Начальник III Отделения А. Е. Тимашев, допросив Аксакова, сказал ему, что теперь, вероятно, Аксаков возненавидит его хуже Дубельта. Аксаков в ответ сказал: «Да вы, Александр Егорович, во сто раз хуже Дубельта; его можно было подкупить, а вас не подкупишь»[23]. Услышав такой своеобразный комплимент, Тимашев (который действительно не брал взяток) пришел в хорошее настроение и отказался от намерения сослать Аксакова в Вятку. Но «Парус» все же был запрещен.

Аксаков был готов сотрудничать со всеми изданиями, которые отстаивают интересы русского народа, даже если это издания, чуждые славянофильству. Так, в издаваемом за рубежом Герценом альманахе «Полярная Звезда», № 4 за 1858 год, было опубликовано сочинение И. Аксакова «Судебные сцены. Присутственный день уголовной палаты», а также стихотворение «Добро б мечты, добро бы страсти…» Со временем пути Герцена и Аксакова разойдутся, но тогда, в 1858 году, оба публициста отстаивали общие требования, да и сам Герцен, убедившись, что в России действительно начинается подготовка отмены крепостного права, восклицал, обращаясь к Александру II: «Ты победил, галилеянин»! 13 января 1858 года Герцен писал Ивану Аксакову: «Начинаю русский Новый год тем, что пишу самому русскому из моих знакомых… мы, нося разные кокарды, больше согласны между собою, чем однополчане»[24]. Но, разумеется, этот союз не мог быть продолжительным, поскольку Герцен и Аксаков имели все же противоположные взгляды. К тому же Аксаков не мог быть эмигрантом, он просто не мог представить себя без России и русской аудитории. Сотрудничество с Герценым было временным явлением.

К неприятностям с «Парусом» вскоре добавились и личные проблемы. В 1859 году умер горячо любимый отец Сергей Тимофеевич. Тяжело заболел чахоткой брат Константин. В августе 1860 года Ольга Семеновна, Иван и его сестры Вера и Любовь повезли Константина лечиться за границу. В Вене, где остановились Аксаковы, они узнали еще одну ужасную новость – не стало Хомякова. Он занимался организацией борьбы против холеры, заразился сам и умер. От Константина две недели скрывали смерть Хомякова, понимая, как тяжело воспримет он эту новость. В декабре 1860 года Константин умер на греческом острове Занте, куда его посоветовали перевезти медики.

В том же 1860 году, после выхода двух номеров этого года, издание «Русской Беседы» было прекращено. Причиной было запрещение редактору И.Аксакову как политически не-

благонадежному занимать эту должность. Никто из редакции не пожелал заменить И. Аксакова в знак солидарности с опальным редактором. В таких условиях «Русская Беседа» прекратила свое существование.

«Русская Беседа» закрылась, а ведь в России вместе с великим делом освобождения крестьян поднимали голову нигилисты, в открытую готовились к мятежу польские шляхтичи, пытающиеся удержать власть над православным «быдлом» на правом берегу Днепра и в Белоруссии. Но в такие роковые моменты истории патриоты не покидают боевые позиции. Иван Аксаков был готов и далее пером сражаться за русское дело.

7.

Иван Сергеевич был не из тех людей, которые сгибаются под тяжестью невзгод. Несмотря на закрытие «Русской Беседы» и семейные потери, он был готов продолжать дело славянофилов.

Аксаков сумел установить тесные связи с московским купечеством – восходящим классом российского общества. В составе купцов преобладали старообрядцы, то есть представители той части русского народа, которая сохранила традиции исконной допетровской Руси и при этом сумела добиться экономического процветания. Аксаков еще в период своей службы, когда занимался делами старообрядцев, заинтересовался ими как примером особой русской экономики, основанной не только и не столько на получении прибыли, сколько на выполнении неких этических норм. Этим Аксаков отличался от большинства деятелей славянофильского движения, сохранявших дворянское презрение к торговцам. Несмотря на несколько критическое отношение к купечеству, которое вынес Иван Сергеевич из своих путешествий по России («необычайно умен и великая скотина русский торговый человек»[25], восклицал он, ознакомившись с нравами купечества), он понимал, что именно от купцов и промышленников зависит дальнейшее развитие страны.

Забегая вперед, можно отметить, что в 1869 году он стал одним из основателей Московского купеческого общества взаимного кредита, а уже в 1874 году возглавил его. Честность и безупречная деловая репутация Аксакова вместе с его организаторскими способностями привели к процветанию этого банка.

Благодаря Ивану Аксакову славянофилы и предприниматели-старообрядцы сблизились. Аксаков смог теперь издавать свою газету качественно нового уровня. В октябре 1861 года он стал редактировать еженедельную газету «День». Эта газета сделала имя Ивана Аксакова знаменитым во всей России да и за ее пределами.

Помимо передовиц газета имела отделы: «Литературный», «Областной» (посвященный жизни русской провинции), «Славянский» (посвященный проблемам славянских народов и славянского движения), «Критический», «Смесь». Политический отдел не был разрешен цензурой. В 1863 году издавалось деловое приложение «Акционер». Среди сотрудников «Дня» были не только давние товарищи по кружку славянофилов, такие, как Ю. Ф. Самарин и А. И. Кошелев, но и новые бойцы славянофильства – М.О. Коялович, И. Д. Беляев, Н.П. Гиляров-Платонов, Ф.В. Чижов, О.Ф. Миллер, А.Ф. Гильфердинг, В.И. Ламанский, Жинзифов (болгарин, писавший под псевдонимом «Велешанин») и ряд польских, чешских и сербских авторов.

Аксаков стремился сделать «День» голосом всей России, в том числе и провинции, живущей в совсем другом мире, чем столица. Ему удалось создать настоящую корреспондентскую сеть по всей империи. Так, в Белоруссии и Литве корреспондентом был крупный ученый-историк М. О. Коялович, Ф. Ф. Кокошкин работал на Волыни, в черноземных губерниях – А. Ф. Васьков.

«День» стал выходить в момент серьезнейшего кризиса, поставившего Россию на грань революции и распада. С высоты опыта XX века мы считаем пореформенное время 60–70-х гг. XIX столетия временем процветания и стабильности.

В действительности это были годы революционной ситуации, сепаратистских мятежей, нигилизма, экономических потрясений, жесточайшего социального расслоения, инородческого засилия во всех сферах русской жизни. Можно только восхититься тем, что в то время Россия устояла, сохранила свою традиционную форму правления и достигла вершин своего культурного развития. И в этом – заслуга таких деятелей, как Иван Аксаков. Итак, в 1861 году наряду с освобождением крестьян в России начинает зреть болезненный нарыв, который мог лопнуть в любой момент. Вот в эти горячие дни Аксаков и стал издавать свою газету.

Начало издания «Дня» совпало со студенческими беспорядками в Петербурге. Аксаков обратился к студентам с увещеванием: «Бросьте все ваши бесполезные толки, волнение без содержания и без цели…вы еще не имеете прав гражданских, а, следовательно, и голоса в делах общественных»[26]. Увы, призыв остался незамеченным. С 1861 года понятие «студенческие беспорядки» стало в России чем-то обыденным, чуть ли не сезонным явлением.

Начало 60-х гг. в России стало временем подъема нигилизма. Этот ошибочный и нелепый путь отрицания всего должного увлек тысячи и тысячи прекрасных русских людей. Правда, благодаря деятельности таких людей, как Аксаков, а также Катков, Достоевский и ряда других мыслителей национального направления, эта беда все же не привела к крушению государственности. Увы, нигилистический яд сохранился и в следующем веке привел к крушению Российскую империю. Но Аксаков, славянофилы и охранители сделали все, чтобы эта болезнь не поразила весь организм российского общества.

«День» критиковал нигилистов, бунтующих студентов, польских мятежников, поддерживая правительственный курс, направленный на усмирение студенческих беспорядков, а также в отношении Польши. Тем не менее «День» не был проправительственным органом. Напротив, несмотря на поддержку влиятельных читателей в самых верхах империи (так, императрица Мария Александровна была постоян-

ной читательницей «Дня»), газета больше была знаменита критикой правительства и «петербургской» бюрократии с консервативно-славянофильских позиций. «День» постоянно вел полемику с либерально-западническими и революционно-демократическими изданиями.

Впрочем, особую боль причиняли славянофилам события, подрывающие славянское единство – прежде всего начавшееся в январе 1863 польское восстание. Братоубийство славян вызвало у Аксакова смятение чувств, но он быстро и твердо стал на защиту русского дела. Более того, даже сделал точный политический ход, предоставив страницы «Дня» противной стороне. Некий поляк Грабовский написал статью о праве Польши на Литву и Украину. Наглый и высокомерный тон Грабовского произвел отрезвляющее впечатление на многих русских людей, которые первоначально сочувствовали мятежникам, будучи введенными в заблуждение польской демагогией о «нашей и вашей свободе». Однако единственными, кто не оценил мастерства Аксакова, были петербургские цензоры, и редактору «Дня» пришлось писать объяснительные.

Аксаков на страницах «Дня» критиковал крестьянскую реформу 1861 года, в первую очередь выкупную операцию. Также острой критике подвергались земская и судебные реформы 1864 года за то, что при их проведении власти некритически усвоили западноевропейские принципы, чуждые русской исторической традиции. Земские органы, создаваемые с 1864 года, по мысли авторов «Дня», были далеки от реального самоуправления допетровской Руси, делая новые земства бессильным придатком государственной бюрократии. Аксаков пытался объединить вокруг газеты земских деятелей славянофильского направления, которые группировались вокруг корреспонденций «областного» отдела издания.

О программе «Дня» в славянском вопросе в первом же номере И. Аксаков объявил в таких словах: «Освободить из-под материального и духовного гнета народы славянские и даровать им дар самостоятельного духовного и, пожалуй, политического бытия под сению крыл могущественного русско-

го орла – вот историческое призвание, нравственное право и обязанность России». Славянский отдел газеты, в котором помещались материалы о политическом и социально-культурном развитии славянских народов, придал газете всемирную известность. «День» имел много читателей на Балканах среди местной славянской интеллигенции. Славянский отдел «Дня» стал фактическим печатным органом московского Славянского Комитета.

Пристальное внимание авторы «Дня» уделяли вопросам церковной жизни, положению духовенства. Главной причиной распространения нигилизма в 60-х гг. XIX века Аксаков считал ненациональную, скопированную с западных образцов систему просвещения, а также секуляризацию русского общества. Особую тревогу вызывало у Аксакова положение духовенства, поставленного в тяжелое и унизительное положение. Аксаков выступал с программой изменения в положении Церкви, причем не только в административном и хозяйственном плане. Так, он высказал любопытное предложение о том, чтобы все семинаристы перед получением прихода 2 года поработали сельскими учителями. Подобная мера, предвосхищающая советскую практику распределения выпускников вузов, по мысли И. Аксакова, способствовала бы как борьбе с неграмотностью, так и дала бы определенные практические навыки будущим священнослужителям.

В дебатах по сословному вопросу «День» резко выступал против претензий дворянства на сохранение особых привилегий после отмены крепостного права. В опубликованных в 1862 году статьях И. Аксаков писал о полной утрате дворянством после 19 февраля 1861 года своего значения. Редактор прямо писал о необходимости «самоупразднения» дворянства.

«День» имел определенный читательский успех. За первый год издания тираж вырос с 1,2 тыс. экз. до 4 тыс., а затем до 7 тыс. 750 экз. Из всех российских газет в 1862 году чуть больший тираж (8 тыс. экз.) имели только официозные «Петербургские Ведомости». В дальнейшем тираж упал вдвое, что объяснялось цензурными и финансовыми проблемами, кон-

куренцией с другими консервативными органами, особенно с «Московскими Ведомостями» Каткова.

Меткая критика петербургской бюрократии и европеизированной «публики» вызывали постоянные конфликты редакции «Дня» с цензурой. С июня по октябрь 1862 года Аксаков был отстранен от редактирования за отказ раскрыть псевдоним автора статьи о жизни провинциального духовенства. В конце 1865 года издание «Дня» было прекращено. Помимо проблем с цензурой главную роль сыграло стремление Аксакова издавать качественно иную ежедневную газету. Тем не менее «День» оставил неповторимый след в истории национальной журналистики. Не случайно название «День» стало как бы фирменным знаком для обозначения высококвалифицированной и яркой публицистики, отстаивающей русские национальные интересы.

8.

После закрытия «Дня» Аксаков молчал недолго. Правда, перед тем, как начать издавать новую газету, Иван Сергеевич радикально изменил свой семейный статус – он женился. Его избранницей стала Анна Федоровна Тютчева, дочь знаменитого поэта, друга и единомышленника славянофилов. В одном из своих писем невесте Иван Аксаков писал: «Пожалуйста, не сочтите меня попавшим в положение 18-летнего мальчика, испытывающего в первый раз известное чувство. Нет, это пишет вам 42-летний мужчина, которому это «известное чувство», к несчастью, слишком хорошо знакомо, который испытал его в высшем градусе страсти, испепелившего много хорошего в душе, страсти, им проклинаемой и осуждаемой. Все это не то… Но теперь все мое счастье и существование сосредоточено в вас, как в своем собственном естественном центре, в то же время не только свободы, но и освобождения»[27].

Молодожены поселились в Абрамцеве. Но это не было прекращением публицистической деятельности. В 1867—68 гг. Аксаков издавал ежедневную газету «Москва». Он счи-

тал ее продолжением «Дня», сохранив прежнее оформление материалов. Правда, в «Москве» появились новые рубрики, отражавшие факт быстрого промышленного развития России: «экономический отдел», «торговый и денежный рынок». Впрочем, отношения неугомонного публициста с цензурой ничуть не улучшились. За год с небольшим «Москва» имела 9 цензурных предостережений и 3 раза приостанавливалась. Общей сложностью «Москва» за время существования с 1 января 1867 по 21 октября 1868 года была приостановлена в издании 13 месяцев, а издавалась только 9! Однако Аксаков даже во время закрытия «Москвы» не терял связи с читателем. Во время одной из приостановок «Москвы» он руководил газетой «Москвич» (номинальным редактором которой числился некий П. П. Андреев). «Москвич» имел те же рубрики и полиграфическое оформление, что и «Москва», так что ни для кого не было секретом направление новой газеты и имя настоящего редактора. Когда Аксаков сумел добиться возобновления «Москвы», то и «Москвич» исчез.

И все-таки «Москву» закрыли за «вредное направление». Поводом к закрытию послужила критика Аксаковым антирусской политики официального Петербурга в Северо-Западном крае (Литве и Белоруссии) после ухода с должности наместника края гр. М. Н. Муравьева-Виленского. Напомним, что, усмиряя польский мятеж, генерал Муравьев провел в крае ряд реформ, усиливающих значение русского элемента, которым было тогда лишь нищее белорусское крестьянство (о чем скажем чуть позже). Но после отставки Муравьева в 1865 году в Белоруссии началось попятное движение. Официальный Петербург нашел общий язык с панами, и реформы Муравьева стали сводиться на нет, бывшие мятежники начали получать свои имения. Главным проводником нового курса в крае стал генерал-губернатор А. Л. Потапов. Вот против этого антирусского курса и выступил в «Москве» Аксаков. Кончилось это для него не только запрещением «Москвы», но и запретом заниматься редакторской деятельностью. Вот в таких условиях шла публицистическая борьба за русское дело в России!

9.

После закрытия «Москвы» Аксаков на какое-то время прекратил заниматься газетной деятельностью. Но это было вызвано не усталостью и не разочарованием в борьбе. Аксаков нашел поле деятельности, работая в Славянских комитетах, став ведущим членом Московского комитета. Московский Славянский Комитет был создан в 1858 году по инициативе М. П. Погодина при активном участии Аксакова. Председателем Московского комитета был попечитель учебного округа А. Н. Бахметьев, после его смерти в 1861 году – Погодин. Членами комитета были братья Аксаковы, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин, А. И. Кошелев, историк С. М. Соловьев, филологи Ф. И. Буслаев и О. М. Бодянский, поэт А. А. Майков, публицист, редактор журнала «Русский Вестник» М. Н. Катков.

В Петербурге Славянский комитет был создан лишь в 1868 году как филиал Московского комитета. В Петербургском комитете ведущую роль играли единомышленники московских славянофилов – историк и исследователь русского фольклора А. Ф. Гильфердинг, поэт и дипломат Ф. И. Тютчев, исследователь древнерусской литературы и публицист О. Ф. Миллер, генерал А. А. Киреев, филолог А. С. Будилович, собиратель музыкального фольклора и крупный чиновник (государственный контролер) Т. И. Филиппов. В 1869 году были созданы киевское, в 1870 – одесское отделение.

Первоначально они имели благотворительный характер, но в 1870-х гг. начали превращаться в организации, имеющие политическое значение. Идеологией большинства членов комитетов было славянофильство. Аксаков превратился в значительную политическую фигуру именно как неофициальный лидер комитетов. Этот надворный советник в отставке (чин 7 класса) заставил прислушиваться к себе не только петербургские бюрократические круги, но и правительственные кабинеты европейских стран. Все это стало возможным благодаря влиянию на общественное мнение как России, так и славян-

ских народов, которое обрел Аксаков за десятилетия неустанной деятельности. Не занимавшего никакого государственного поста Аксакова считали на Западе славянским Бисмарком, способным объединить разделенное славянство в одну державу под скипетром русского царя. Это было сильное преувеличение – петербургская бюрократия по-прежнему считала Аксакова своим врагом, но признавать его влияние на общественное мнение приходилось даже ей.

Славянские комитеты России были частью русского гражданского общества, оказывающего влияние на другие славянские народы. В письме Александру II от 3 января 1856 года, отстаивая необходимость преобразований в российском обществе, М. П. Погодин писал, что это создаст необходимый моральный ресурс, благодаря которому Россия сможет «Призвать к умственной и духовной жизни…племена славянские… изгнать турок из европейского стана, восстановить патриарший константинопольский престол во всем его значении»[28].

Идеологической основой комитетов послужили взгляды западнославянских панславистов (словаков Л. Штура, Я. Коллара, чехов И. Юнгмана, И. Гурбана, хорвата Й. Штроссмайера, и др.) о культурном единстве славян и возможности политического союза славянских народов. Московский Славянский Комитет развернул большую деятельность, посылая на Балканы православную литературу, предоставляя стипендии обучающимся в России славянам и т.д. Вскоре помощь Московского комитета вышла за пределы Балканского полуострова. Более того, неожиданно он начал заниматься внутрироссийскими проблемами. После подавления польского мятежа 1863–1864 гг. комитет стал оказывать организационно-техническую и финансовую помощь борцам с польско-католическим засильем в Белоруссии и Украине, создавая русские школы и обеспечивая белорусам возможность получить образование в центрах Империи.

В 1867 году в Москве была проведена славянская этнографическая выставка, на которую приехали гости со всех

славянских земель. Вместе с выставкой состоялся Славянский Съезд. К прибытию славянских гостей Ф. И. Тютчев написал приветственное стихотворение «Славянам». Политическое значение Славянский Съезд приобрел благодаря присутствию галицийских деятелей, публично объявивших о русском характере галицких русин. Так, Яков Головацкий говорил, обращаясь к великороссам: «Да придут все в сознание того убеждения, что мы по роду и по племени, по вере и по языку, по крови и по кости, искони один народ. Да живет великий, славянский, многомиллионный, русский народ!»[29].

Успех съезда привел к росту влияния и популярности комитетов. Вскоре была создана издательская комиссия. Текущую деятельность комитетов регулярно освещали издания Аксакова «День» и «Москва». Усложнение и расширение деятельности комитетов привели к созданию в них четкой иерархии с постоянным аппаратом. На собрании членов Славянского Комитета выбиралось «Особое исполнительное присутствие» во главе с председателем, секретарем, казначеем и несколькими постоянными членами. Славянские Комитеты находились в ведении министра внутренних дел, которому каждый комитет ежегодно должен был посылать отчет о своей деятельности, финансовом положении и т.п. Чиновная бюрократия всячески препятствовала деятельности комитетов, не давала создать единый всероссийский комитет, не дозволяла открывать отделения в других городах России.

Но и в таких условиях комитеты сумели приобрести значительное влияние в России и за рубежом. Особую роль сыграли Славянские Комитеты в период восточного кризиса 1875–1878 гг. Как только началось восстание герцеговинских сербов против турок, товарищ (заместитель) председателя петербургского комитета О. Ф. Миллер выпустил воззвание, призвав русских людей жертвовать на помощь славянам. Было разослано по всей России 100 тыс. подписных листов для пожертвований, в губернские города для сборов были посланы особые уполномоченные. С 21 сентября 1875 по 8 октября 1876 года Петербургским комитетом было со-

брано 810 тыс. рублей, Московский комитет собрал свыше 3 млн. рублей (это, не считая пожертвований, посланных через Церковь, частных лиц и по дипломатическим каналам). Многотысячными тиражами были изданы книги и брошюры, разъясняющие суть кризиса, историю борьбы славян. О том, как происходил сбор средств, так вспоминал известный консервативный публицист и издатель Владимир Мещерский: «Славянофильское движение, охватившее умы в начале лета этого года (1876 года. – *Авт.*), было действительно весьма интересным событием; интерес его заключался в общности этого настроения и в особенности в его популярности: чем ниже был общественный слой, тем сильнее проявлялся этот Drang на дунайский восток. В особенности народность этого настроения заметна была в Москве. Мне случилось быть на одном приеме у И. С. Аксакова. Помню, что голова закружилась от этой массы людей всякого звания, как поток нахлынувший в его приемную, и как сердце усиленно билось и умилялось от бесчисленных проявлений народного энтузиазма. Как вчера помню этих старушек и стариков, на вид убогих, приходивших вносить свои лепты для славянских братьев в каком-то почти религиозном настроении. Я в этой толпе заметил одну старушку…долго разворачивавшую грязненький платок, чтобы достать из него билет в 10 тысяч рублей»[30].

Вскоре Славянские Комитеты начали направлять в сербскую армию добровольцев. В Сербию были направлены санитарный отряд, включавший 95 врачей, 111 фельдшеров, 60 сестер милосердия, группы оружейников Тульского оружейного завода и большая группа военных. С помощью Аксакова в Сербию прибыл один генерал (М.Г. Черняев, ставший главнокомандующим сербской армии), 360 офицеров, 289 нижних чинов, 120 казаков, 176 гражданских добровольцев. Впрочем, большинство из 4 тыс. добровольцев прибыли в Сербию самостоятельно. Штаб-квартира добровольцев находилась в Москве, в ресторане «Славянский базар», затем – в доме кн. Гагарина.

Все это делалось без всякой помощи официальных властей, а нередко и вопреки им. Так, правительство запретило

генералу М. Г. Черняеву, одному из ведущих авторов славянофильских газет, нажившему своими статьями множество врагов в высших петербургских сферах, отправляться в Сербию. Однако Черняев нелегально выехал из России и, с помощью парика и краски изменив внешность, перебрался через несколько границ и прибыл в Белград. Князь Милан назначил его главнокомандующим сербской армией. Сербо-турецкая война 1876 года закончилась поражением сербов, и в России общественное мнение стало требовать объявить войну Османской империи, чтобы освободить славян силой оружия.

Поскольку славянам не удалось самостоятельно скинуть турецкое иго, 12 апреля 1877 года Россия объявила войну Турции.

В тот же день Петербургский и 1 мая Московский Славянские Комитеты были переименованы в Славянские Благотворительные Общества (но в просторечии они все равно именовались Славянскими Комитетами). Председателем Московского Общества стал И. В. Аксаков.

Сражаясь за правое дело, Русская армия одержала славные победы. 19 февраля 1878 года было подписано предварительное перемирие в Сан-Стефано, по которому Турция теряла почти все свои европейские владения, на территории которых создавались независимые славянские государства. Однако сам Аксаков был неудовлетворен итогами Сан-Стефанского мира, т. к. Константинополь и проливы оставались у турок. Выступая 5 марта в Москве перед членами Славянского комитета, он заявил, что «восточный вопрос еще не порешен, Царь-Град не очищен от азиатской скверны, и задача России решена еще не вполне». Одновременно он высказал опасения, что русская дипломатия готова уступить давлению западных держав. Эти опасения оказались не напрасны. Россия вынуждена была под давлением Запада согласиться на проведение международного конгресса в Берлине, на котором потерпела сокрушительное дипломатическое поражение. Неслучайно говорили, что Россия выиграла войну, но проиграла мир.

Когда известия о результатах Берлинского конгресса достигли Москвы, Аксаков не стал сдерживаться. 22 июня 1878 года он выступил с большой речью в Московском Славянском Комитете, которая прогремела на весь мир. В начале речи Аксаков вопросил, обращаясь к аудитории: «Не хоронить ли собрались мы здесь сегодня… миллионы людей, целые страны, свободу болгар, независимость сербов, хоронить русскую славу, русскую честь, русскую совесть?» Вождь славянофилов обрушился на русских дипломатов за их согласие на расчленение освобожденной Болгарии на 3 части, из которых только одна получала относительную независимость: «Нет таких слов, чтобы заклеймить по достоинству это предательство, эту измену историческому завету, призванию и долгу России». Аксаков не без яда отзывался о тех пацифистах, которые приветствовали результаты конгресса, ссылаясь на то, что война России со всей Европой не состоялась: «Конгресс не дает мира беспечного – будет лишь вооруженный мир, самая пагубная вещь и для финансов, и для коммерции». Следует заметить, что Аксаков, имея большие связи в славянских кругах, был информирован о реальной расстановке сил в Европе не хуже, чем российские военные и дипломаты. Он доподлинно знал, что все ультиматумы западных государств в России – это блеф, реально к войне никто из западных государств не был готов, и ситуация 1854 года не могла повториться. Напротив, перед угрозой революции стояла Австро-Венгрия, для которой первые же неудачи в случае действительной войны с Россией привели бы к распаду. Англия никогда не воевала, не имея сухопутного союзника, а таковым в тот момент была только уязвимая Австро-Венгрия. «Железный канцлер» Бисмарк, руководивший Германией, всегда был против войны с Россией и, тем более из-за Балкан, которые, по его словам, «не стоят костей померанского гренадера». В силу этого Германия занимала в данном кризисе примирительную позицию. Таким образом, уступки российской дипломатии действительно были ничем не оправданы.

Заключительную часть речи 22 июня Аксаков посвятил императору Александру II. Аксаков говорил: «Что бы ни происходило там, на конгрессе, как бы ни распиналась русская честь, но жив и властен ее венчанный оберегатель, он же и мститель. Если в нас при одном чтении газет кровь закипает в жилах, что же должен испытывать царь России, несущий за нее ответственность перед историей? Не он ли сам назвал дело нашей войны "святым"?… Россия не желает войны, но еще менее желает позорного мира… Долг верноподданного велит всем надеяться и верить – долг же верноподданных велит нам не безмолвствовать в эти дни беззакония и неправды, воздвигающих средостение между царем и землей, между царской мыслью и народной думой». Подобная концовка антиправительственной речи была не случайной. Аксаков прекрасно понимал, что общественное недовольство Берлинским конгрессом обратится непосредственно на царя (как в действительности и произошло), и именно поэтому не хотел, чтобы его критика промахов царских министров была использована антирусскими силами.

Впечатление от речи Аксакова было огромно. Издатель журнала-газеты «Гражданин» кн. В. П. Мещерский напечатал речь в специальном прибавлении к «Гражданину», за что это издание было временно приостановлено цензурой. Сам Аксаков послал текст своей речи в Прагу, где она тотчас появилась в чешских газетах. Вскоре речь Аксакова начали обсуждать во всей Европе. Зато гнев правящих кругов в России не заставил себя ждать. Сначала был объявлен строгий выговор от московского генерал-губернатора, затем Аксаков был смещен с поста председателя Московского Славянского Комитета. Наконец, сам Славянский Комитет был упразднен, а Аксаков выслан из Москвы. Он жил в с. Варварино Владимирской губ., в имении своей жены А. Ф. Тютчевой. В Варварине старый неукротимый боец вел огромную переписку с русскими и зарубежными деятелями, к нему поступали потоки писем со всей России и из-за рубежа. Южные славяне и поныне не забыли роль Аксакова в деле освобождения своих народов

10.

После закрытия Московского Комитета и ссылки Аксакова центром русского славянофильства стал Петербургский Славянский Комитет, фактическим лидером которого стал Ф. М. Достоевский. В 1880 году именно как представитель петербургских славянофилов Достоевский выступил на празднике по случаю открытия в Москве памятника Пушкину со знаменитой речью. Но, разумеется, сам писатель считал себя временным лидером Славянских Комитетов, пока Аксаков не вернется к своей политической деятельности.

Ссылка Аксакова продолжалась недолго, и вскоре он вернулся в Москву. Причина была проста. В России вновь разразилась революционная ситуация. Начались террористические акты народовольцев.

Либеральная интеллигенция в очередной раз стала союзником радикалов. Показателем этого стало дело Веры Засулич. Еще во время войны, 24 января 1878 года, она стреляла и ранила градоначальника Ф. Ф. Трепова. Суд присяжных ее оправдал 31 марта. Подобное не могло произойти ни в одной западной стране. Получалось, что благородные мотивы оправдывали убийство. Таковы были гримасы судебной реформы 1864 года. Зато когда 3 апреля в Москве состоялась демонстрация студентов, то охотнорядцы (торговцы снедью с улицы Охотный Ряд) избили и рассеяли демонстрантов.

Известия о результатах Берлинского конгресса и полном дипломатическом провале российской дипломатии поставили в оппозицию правительству большую часть общества. Кризис значительно обострился тем, что император Александр II в последние годы жизни самоустранился от политики. Это вызвало резкую активизацию всех антирусских сил как в сферах правящей элиты, так и в рядах западнической интеллигенции.

Показателем «кризиса верхов» были зигзаги правительственного курса. Сначала пытались разгромить революционеров и либеральную оппозицию грубой силой. Разделив страну на семь генерал-губернаторств («семигенеральщина») с чрез-

вычайными полномочиями, правительство обрушило репрессии на противников. С апреля 1879 по июль 1880 года были казнены 16 и высланы 577 человек. Либералы сразу возопили о страшном произволе в России.

5 февраля 1880 года С. Халтурин организовал взрыв в Зимнем дворце. Хотя монарх спасся и в этот раз, правительственный курс сделал очередной зигзаг. Началось то, что получило название «новых веяний», то есть новый этап реформ. Была создана Верховная Распорядительная комиссия во главе с генералом армяно-грузинского происхождения М. Т. Лорис-Меликовым, одновременно ставшим министром внутренних дел.

Сам Лорис-Меликов получил прозвище «бархатного диктатора», учитывая данные ему царем диктаторские полномочия и либерализм в проводимой им политике. Однако новый «диктатор» пришел к выводу о необходимости осуществления в стране либеральных реформ, которые завершатся «увенчанием здания» империи конституцией. По его предложению в состав Государственного совета, члены которого были назначены императором, должны были также войти выборные от земств. Фактически это означало введение в России парламентского правления западного типа, ограничивающего власть самодержца. Опасность этого проекта заключалась в том, что при господстве принадлежавшей евреям либеральной прессы, которую не сдерживала фактически отмененная Лорис-Меликовым цензура, неграмотности русского населения и засилья инородцев во многих губерниях, Россия по лорисовской конституции получила бы нечто вроде французских Генеральных Штатов 1789 года, или Съезда народных депутатов СССР 1989 года. Получив благодаря демагогии и подкупа избирателей парламентское большинство, либералы бы под лозунгами «свободы» и «самоопределения» разрушили бы историческую Россию. К счастью, в 1881 году в России национальные силы были еще сильны и сплочены.

Начался конфликт национально мыслящей части русского общества с Лорис–Меликовым и поддерживающей

его группой либеральных бюрократов. Правда, для Аксакова единственной пользой от Лорис-Меликова было лишь то, что тот и петербургские бюрократы вернули его из ссылки и не стали препятствовать ему издавать новую газету. Двенадцать лет отлучения великого публициста от редактирования закончились.

Осенью 1880 года Аксаков стал издавать газету «Русь», выходящую 2 раза в месяц. В ней публиковали свои труды Ю. Ф. Самарин, Н. Н. Страхов, Н. С. Лесков, И. П. Павлов, С. Ф. Шарапов и другие. В условиях политического кризиса мужественный голос Аксакова сыграл немалую роль в умиротворении страстей.

1 марта 1881 года царь-освободитель Александр II был убит революционерами. Это был момент торжества антирусских сил. Нет, дело заключалось не в том, что в России могла вспыхнуть народническая революция. Революционеры всех направлений в то время представляли собой небольшую секту в несколько сотен человек, не имевших никакого влияния на народ. Но революционеров, среди которых было немало честных идеалистов, использовали в своих интересах либералы, стремившиеся навязать России конституцию и парламентаризм, логично считая, что с их помощью власть в стране перейдет к инородцам и высшей бюрократии.

Период с 1 марта по 29 апреля 1881 года был одним из самых драматичных и переломных в российской истории. Останется ли Россия самодержавной монархией или бросится в неизведанные преобразования, чреватые народнической революцией под социалистическими лозунгами, – все это в громадной степени зависело от одного человека – только что вступившего на престол Александра III. Новый император колебался, не решаясь ни одобрить, ни отвергнуть лорисовскую конституцию. Его министры и советники также не могли прийти к общему выводу.

8 марта 1881 года на совещании Комитета министров произошла решающая схватка охранителей с конституционалистами. При голосовании «за» проект Лорис-Меликова вы-

сказались 9 участников, «против» – 5. Однако на нового императора оказала влияние речь К. П. Победоносцева, яростно выступившего не столько против проекта Лорис-Меликова, сколько против конституционного принципа вообще. Выступление К. П. Победоносцева покончило с колебаниями Александра III, поддержавшего меньшинство. Конституционный проект Лорис-Меликова был отвергнут.

Отвергая западнические варианты конституционализма, Аксаков и славянофилы считали, однако, необходимым дополнить самодержавие властью «земли», то есть народа. По мысли славянофилов, стену между царем и народом в виде бюрократии можно снести, вернувшись к русской традиции Земских Соборов. Напомним, что Земские Соборы выбирались не от определенного количества избирателей, мнением которых манипулировали пресса и политические партии, а от сословий, причем выборы проводились только на самом низшем уездном уровне, когда все избиратели хорошо знали своего кандидата. На более высокие уровни земских органов, и в том числе на Земский Собор, депутатов делегировали «снизу». После разгрома группы Лорис-Меликова Аксаков и славянофилы решили поддержать самодержавие созывом Земского Собора.

Новый министр внутренних дел крупный дипломат граф Н. П. Игнатьев выступал с инициативой созыва к коронации Земского Собора. По его просьбе известный историк П. Д. Голохвастов разработал конкретный план созыва Собора. По этому проекту предполагалось созвать для Собора 3 500 депутатов («соборных чинов»). 60% депутатов должны были составить крестьяне. Были предусмотрены нормы представительства от всех сословий, инородцев. Интересно, что не было предусмотрено представительство от помещиков (дворянская курия не разделялась на поместное или беспоместное дворянство). Манифест о созыве Собора Игнатьев предлагал опубликовать 6 мая 1882 года, в 200-ю годовщину закрытия последнего в истории Земского Собора, а также в день именин наследника престола, будущего царя Николая II.

Одновременно Н. П. Игнатьев разослал циркуляр губернаторам, впервые в истории России опубликованный в печати, в котором обещал не ущемлять права земств и призвать «сведущих людей» для обсуждения местных нужд. Таким образом, соборный проект начинал претворяться в жизнь.

Однако Собор так и не был созван. Против этой идеи выступил имевший большое влияние на молодого царя обер-прокурор Св. Синода К. П. Победоносцев, опасавшийся, что Земский Собор будет такой же парламентской говорильней, как и несостоявшийся парламент Лорис-Меликова. Многие единомышленники Аксакова, будучи согласны с идеей Земского Собора «в принципе», считали опасным созыв его именно в 1882 году, когда в стране еще не закончился политический кризис, еще продолжался революционный террор, а либеральная пресса вела массированную кампанию оплевывания всего русского.

В результате на совещании министров с участием царя в Гатчине 27 мая 1882 года проект Игнатьева был отвергнут, а сам он получил отставку. 31 мая новым министром был назначен Д. А. Толстой, имевший репутацию принципиального противника всех форм представительного правления.

Несмотря на неудачу с Земским Собором, Аксаков продолжал отстаивать словом и делом принцип единства царя и народа. Именно этому была посвящена речь Аксакова на коронационных торжествах.

Император Александр III, несмотря на негативное отношение к идее Земского Собора, во многом разделял славянофильские представления. Внутренняя и внешняя политика Александра III в основном соответствовала этому. При нем не только было раздавлено революционное движение и покончено с либеральными веяниями. Впервые в имперский период власть начала проводить политику, сводящуюся к лозунгу «Россия для русских». В хозяйственной жизни страны начался бурный экономический подъем. Так, только за 90-е гг. XIX века было произведено 40 % материального богатства страны, которое она имела к 1917 году. Русская

внешняя политика наконец избавилась от комплекса «Что скажет Европа?»

«Русь» Аксакова поддерживала национальный курс монарха, несмотря на то, что многие факты тогдашней русской жизни были негативно восприняты славянофилами. На своем боевом посту вождь славянофильства скончался 27 января 1886 года. Император Александр III удостоил вдову покойного телеграммой, в которой сказано: «Императрица и Я с душевным прискорбием узнали о внезапной смерти вашего мужа, которого уважали как честного человека и преданного русским интересам. Дай Бог вам сил перенести эту тяжелую сердечную потерю». Печатные проявления общественной скорби были весьма единодушны. Похоронен И. С. Аксаков в Троице-Сергиевой Лавре под Москвой, при небывалом стечении народа.

С. Лебедев

СЛАВЯНОФИЛЬСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ НАЦИИ И ГОСУДАРСТВА

Народ, государство, общество

I

Либерал и кавалер – назовем его хоть Семен Иваныч – один из наших старых знакомых, говаривал обыкновенно: «Дали бы мне власть, я создал бы тотчас общественное мнение!» А его превосходительство либерал Иван Семеныч, также наш старинный приятель, постоянно возмущавшийся «косностью, смирением и раболепством» русского народа, о котором вообще изволил отзываться с просвещенным негодованием, – его превосходительство либерал разрешал обыкновенно всякой гордиев узел общественных и административных недоумений и затруднений проектами разных законодательных мер и строгих либеральных указов. К счастию, ни тот, ни другой не достигли столь желанной ими, для пользы общества, власти. Мы сказали: к счастию. И действительно, будь у Ивана Семеныча и Семена Иваныча право и возмущаться, и распоряжаться Отечеством по своему вольнодумному благоусмотрению, они бы предписали указом либеральничать в известном, опробованном, а не в другом каком-либо направлении; они бы заставили умолкнуть всякий голос, противоречащий их «благонамеренным либеральным видам»; они бы проповедовали в официальных газетах необходимость, важность и прелесть

свободы и свободного общественного мнения, а литературу пригласили бы разыгрывать мелодии в «мажорном или минорном тоне», согласно их собственному камертону; они бы принудили общество с покорностью идти к той свободе, которую они для него и за него придумали, или безмолвно и послушно выжидать, пока изготовятся ими, на их кухне, разные благополезные, благопригодные и благовременные либеральные гостинцы и сюрпризы!

Таких людей много, и очень много, в нашем обществе, но не спешите осуждать их, читатель! Если мы все, без исключения, беспристрастно и пристально вникнем в самих себя, подсмотрим наши внутренние движения, подслушаем наши собственные, невольно вырывающиеся первые, необдуманные восклицания и речи, мы должны будем сознаться, что в каждом из нас, более или менее, обитает такой же Иван Семеныч или Семен Иваныч. «Я бы указом», «будь я министр, я бы дал предписание», «надо бы издать закон, распорядиться, принять энергические меры, приказать», «чего смотрит правительство или начальство!» и пр., и пр. в таком же роде: все эти выражения каждый из нас может частехонько подловить на собственных устах, и все эти выражения свидетельствуют только о том, что мы привыкли всего ожидать сверху, всякое спасение полагать в законодательной мере или учреждении, в форме внешнего принуждения, а не во внутреннем побуждении, не в собственном начинании или инициативе, не в самостоятельной деятельности – личной или общественной.

Справедливо заметил в этой же газете г. Елагин, что «недобросовестно слагать вину на правительство в таком деле, в котором могут действовать только такие усилия общественные, на которые недостанет средств ни у какого правительства». В самом деле, есть целые области общественных отношений и общественной деятельности, куда не в силах достать сверху, распоряжением, никакая самая отважная благонамеренность начальства; есть многочисленные явления духа, которые не могут быть вызваны на свет Божий указом и которые не терпят никакой извне налагаемой формулы. Наконец, мы знаем

и по теории и уже достаточно научены опытом, что всякие внешние, принудительного характера, попытки создать духовную жизнь, деятельность, нравственную силу, производят только одно подобие жизни, деятельности и силы, лишенное, разумеется, всякой внутренней энергии, и не только не плодотворное, но и положительно вредное, как всякая ложь, внесенная в нравственную жизнь общества. Мы убеждены, что органические силы человеческого общества не могут быть заменены никаким искусственно придуманным механическим снарядом, что правительство не может брать на себя или «исправлять должность» организма и жизни, – и тем не менее мы сами, собственным бездействием, собственной слабостью хотенья и убежденья, собственной леностью мысли и воли, постоянно обращаясь к верху, вызываем правительство на ненужное и бесплодное вмешательство часто вопреки его собственному желанию и воле!

За примерами ходить недалеко. В 1861 году двенадцать губернских присутствий по крестьянскому делу «входили куда следует» с представлением о том, чтобы дозволено было стеснить, – допущенный Положением 19 февраля, – свободный самосуд волостных судов разными формальностями и введением сельского судебного Устава, сочиненного для крестьян государственных имуществ. Такое административное усердие со стороны лиц, составляющих присутствия и приглашенных большей частью к «почетно либеральной» деятельности из среды самого образованного общества, усердие, к тому же и несогласное с духом либерализма, вмещенным в параграфы и статьи Положения, – вынудило правительство к ответу, распубликованному во всех газетах, что, предоставив волостным судам свободу руководствоваться совестью и местными обычаями, оно находит такое требование присутствий преждевременным и для крестьян стеснительным. Конечно, такой пример составляет редкое исключение, но в большей части случаев мы только не додумываем или не договариваем последнего слова или же вносим то же административное, государственное, внешне принудительное начало в собственную деятельность.

Проникнуты ли мы чувствами сострадания и желания помощи ближнему – и у нас как раз заведется чуть-чуть не целое министерство благотворительности со всеми бюрократическими порядками! Честным человеком когда-то было высказано негодование на то, что ради доброго дела употребляется нередко соблазнительный способ собирания денег посредством лотерей и маскарадов, более или менее вредных для общественной нравственности, – тотчас же многие пожелали и добились-таки запрещения этих увеселений, впоследствии отмененных! Путем разных умозаключений доходим мы, например, до сознания необходимости живой миссионерской проповеди между раскольниками или иноверцами, но не обретая внимательного слуха в сонном обществе, – делать нечего, пишем проект, который и представляем по порядку службы. Живая мысль, которой бы следовало тотчас же свободно перейти в живое дело, проходит, зашнурованная, занумерованная, чрез всевозможные канцелярские мытарства и, утратив все живое и животворящее, становится бумагой, требующей очистки, и, наконец, преобразуется в какой-нибудь штат апостолов или миссионеров. И, скажем откровенно, было бы недобросовестно и несправедливо обвинять правительство в неуспехе такого миссионерства. Государство, какое бы оно ни было, – самодержавное, конституционное или республиканское, не может, по самому существу своему, действовать и совершать свои отправления иначе как посредством разных бюрократических форм и порядков, захватывая область внешней правды, внешнего действования и внешних отношений, и никакой указ – императорский, конституционного короля, парламента или законодательного собрания республики не в силах создать апостола или проповедника! Мы сильно хлопочем в настоящее время о народном и общественном образовании, придумываем тот или другой способ устройства народных школ и высших учебных учреждений, – и не находим других причин осуществить наше предположение, как чрез принудительное распоряжение правительства, тогда как сами убеждены, что принудительное распоряжение не дает жизни и легко порождает

официальную ложь!.. Но как иначе достигнуть нашей цели, мы не знаем, не умеем, не видим ни путей, ни способов, ни средств! Мы так вжились в официальные привычки и приемы, что почти всякое наше предположение и рассуждение ложится в форму проекта законодательной меры, просит параграфов и пунктов, удобоутверждаемых, и редко походит на живое слово убеждения, обращенное к живым силам самого общества.

Какое печальное и, по-видимому, безвыходное положение! С одной стороны, жизнь дает смутно чувствовать потребности каких-то улучшений и преобразований, непрерывно встают вопросы, вызываемые или действительной надобностью или отвлеченными соображениями, но сама жизнь упорно, безответно молчит, не дает разрешения, не облегчает труда положительным указанием! С другой – постоянное, искусственное разрешение, налагаемое извне, – искажение, часто невольное, государственным началом свободных отправлений этой безмолвной общественной жизни, постоянные противоречия, разлад с жизнью и болезненное чувство всеобщей неудовлетворенности! С одной стороны, бездействие или испорченность, инерция организма, с другой – невозможность его исправления и оживления – мерами принудительными, силой официальной, единой, действующей неослабно и на просторе! С одной стороны, бессилие, умеющее только раздражаться, отрицательно, пассивно противодействовать или же проявлять свое противодействие в бесплодности, непроизводительности и безобразии жизни; с другой – сила, сила положительная, но не способная по существу своему творить и созидать в области духа, осужденная на производительность чисто внешнюю и на невольное искажение внутреннего и живого!

Мы полагаем, что в более ясном истолковании слова наши не нуждаются и что читатели сами могут дополнить картину нашего современного положения...

Нам недостает внутренней, общественной жизни, недостает глубоких убеждений, недостает самодеятельности, недостает силы, силы общественной, той силы, которая есть единственная могучая, нравственная, человеческая сила, достойная челове-

ческого общества, животворящая, всепобеждающая, ведущая народы к совершению предназначенного им подвига в истории человечества! Проснуться, ее, эту силу, вызвать, ею поработать, ее созидать – вот к чему мы должны стремиться все, всем обществом, от мала до велика, вот в чем наше спасение и охрана, вот единственное условие нашего развития и преуспеяния!.. Но каким образом? И почему недостает нашему обществу этой силы? И что такое общество? И какое его значение у нас, в России, между землей и государством?.. На все эти вопросы мы попытаемся дать ответ в следующей статье.

II

В последний раз, заканчивая статью, мы поставили вопрос: что такое общество и какое его значение у нас в России между землей и государством? Не знаем, насколько ответ наш покажется удовлетворительным, но во всяком случае предлагаем его читателям. Чтобы яснее выразить нашу мысль, нам придется повести речь издалека, обратиться к свидетельству истории и к отвлеченным, теоретическим построениям.

Было ли у нас общество до Петра? Не было, отвечаем мы, точно так же, как не было и литературы, без которой в позднейшие времена немыслимо никакое общество, а почему так – вот наши доводы.

Говоря: общество, мы разумеем здесь не то юридическое определение, которое прилагается ко всякому соединению людей: случайному ли, для какой-либо цели, как, например, торговля компании; по образу ли жизни или занятиям, как, например, цехи, гильдии; или в самом широком смысле, в смысле народа, противополагаемого государству. В последнем случае нередко вместо общества употребляется слово «народ» и вместо «народа» – «общество». Впрочем, все эти определения читатели найдут в замечательных статьях г. Лешкова, помещенных в нашей газете. Г. Лешков первый сделал у нас опыт создать науку «общественного права», до сих пор отвергаемую юристами, но не об этом обществе и не об этом праве хотим мы

говорить. То общество, или, вернее, то, что мы разумеем под словом «общество», ускользает от всякого юридического определения, не укладывается ни в какую юридическую рамку, ненаделимо и неограничимо или, другими словами, не способно быть наделяемо или ограничиваемо никакими юридическими «правами, преимуществами и обязанностями». А между тем оно имеет жизнь, и жизнь действительную; оно не фикция, не мечта, а реальность, явление положительное; оно наделено страшной силой, существующей вне всякого формального закона, – силою общественного мнения. Но эта сила есть сила нравственная, это положительное явление есть явление нравственного мира.

В этом смысле слово «общество» часто употребляется и в нашем разговорном языке, но большей частью безотчетно, и, по недостатку строгого определения, беспрестанно смешивается с другими, часто противоречащими понятиями. Французское слово «societé» и английское «society» хотя и соответствуют нашему «обществу», но в смысле более узком, или, по крайней мере, не столь широком. Замечательно, что у немцев нет слова для идеи общества: Gesellschaft значит собственно товарищество, – и для выражения понятий об обществе в широком смысле вы должны прибегнуть не к немецкому слову, например, общественный вопрос, une question sociale, eine sociale Frage и проч. Любопытно видеть, как выражается идея общественного мнения на трех главных языках Европы: l'opinion publique, public opinion, offentliche Meinung. Нельзя не сказать, что русское слово всего вернее и точнее соответствует этому явлению общественной жизни и передает идею общественности, и это недаром, точно так же, как и неслучайно отсутствие у немцев слова «общество». Мы поговорим о том подробнее в своем месте.

Ознакомив некоторым образом читателей с самой областью вопроса, попытаемся теперь определить и самое понятие: общество. Общество, по нашему мнению, есть та среда, в которой совершается сознательная, умственная деятельность известного народа, которая создается всеми духовными сила-

ми народными, разрабатывающими народное самосознание. Другими словами: общество есть народ во втором моменте, на второй ступени своего развития, народ самосознающий. Постараемся разъяснить читателям это определение. Что же такое народ?

Все в каждой стране, граждански живущей, существует из народа, народом, ради народа, и вне народа, вне его участия, прямого или косвенного, положительного или отрицательного, не могло бы и существовать то, что существует. В обширном смысле, народом называется все население известной страны, представляющее цельность нравственную и физическую, единство происхождения и предания, единый общий тип – физический и духовный. Такое определение объемлет все сословия, все ступени общественные, от царя до последнего крестьянина, все равно как говоря: дерево, мы разумеем и корень, и семя, и ствол, и ветви, и листья. Но в тесном смысле и более строгом, народом называется простой народ, то народное множество, которое живет жизнью непосредственной и, как зерно, сосредоточивает в себе всю органическую силу, все развитие организма. В самом деле: как семя хранит в себе всю будущность дерева, с красотой, шумом и зеленью листьев, – и дерева именно этого, а не какого-либо другого, так что семя дуба родит дуб, а не березу, – так и народ, в тесном смысле, хранит в себе всю будущность предстоящего ему подвига, развития своей духовной особенности, своего типа. Но этот тип, эта особенность являются в нем на степени и с характером силы стихийной, разумеется, не в физическом, а в духовном смысле, силы духовной, но еще не покоренной личному сознанию, не ставшей предметом сознания. Народ состоит из отдельных единиц, носящих каждая свою личную разумную жизнь, деятельность и свободу; каждая из них, отдельно взятая, не есть народ, но все вместе составляют то цельное явление, то новое лицо, которое называется народом и в котором исчезают все отдельные личности. Поэтому народ не есть агрегация или совокупность лиц с их совокупной деятельностью, а живой, цельный, духовный организм, живущий и действующий са-

мостоятельно и независимо от лиц, составляющих народное множество. Процесс мысли, сознания, творчества в этом организме, его физиологические и психические законы составляют такую же тайну, как и самая тайна жизни. Возьмите, например, язык в народе, хоть наш русский. По свидетельству филологов, он поражает мудростью, стройностью, логичной последовательностью своих законов; он являет как бы работу мысли, раскрытие которой и составляет задачу филологии, почти неисчерпаемую. Между тем ни одна отдельная личность в народе не мыслила, не работала над языком. Предположить, что вот люди подумали-подумали, да и решились принять тот или другой закон в языке, сочинили такой-то суффикс, условились в какой-то флексии, разумеется, невозможно. Каким же образом, когда ни одно отдельное лицо не обдумывало системы языка и все вместе не условливались в ее строении, создается, однако, язык, весь как бы проникнутый сознанием? Очевидно, что те же самые лица, как народ, составляют особый цельный организм, в котором духовные отправления и процесс сознания совершаются иным путем и иным порядком, нежели в отдельном человеке. Собственно говоря, это и не есть сознание в обыкновенном смысле: здесь совершается бессознательное творчество народного разума и воли. Народные единицы не замечают здесь участия своей личной мысли, участия, однако, несомненного; здесь нет посредствующего действия мысли между отдельной личностью в народе и народом. Как самое народное творчество принадлежит всему народу, а не отдельным лицам, так всему же народу принадлежит пока и сознание этого творчества. Отдельные лица уже особым, новым действием пересознания постигают мысль, вырабатываемую народным творчеством. Это постижение народной мысли личным сознанием есть уже новая ступень в жизни народной – народное самосознание. Это самосознание совершается в обществе.

Итак, народ не есть сосуд, как думали некоторые, ибо сосуд безучастен к своему содержанию; не есть масса, как выражаются другие, ибо масса бессознательна и не имеет в себе ничего органического; не есть и материал, потому что этому

материалу нельзя давать произвольного назначения извне и подчинять его своей личной воле, а, напротив, он подчиняет себе чужую волю, развиваясь изнутри себя, по своим внутренним органическим законам.

Народное самосознание есть новое движение в бытии народном, новая ступень народной жизни; но не следует думать, чтобы чрез это непосредственная народная жизнь или тот особенный процесс народной мысли, о котором мы выше говорили, становились излишними. Как семени для исполнения своего назначения необходимо проявить свою жизнь в корнях, стебле, стволе, ветвях и листьях, так и народ не может оставаться при одном непосредственном творчестве в жизни духовной, при первоначальном виде внешнего бытия в жизни вещественной. Но как внутренняя жизнь корней не прекращается оттого, что выросло, цветет и зеленеет дерево, так и акт непосредственного творчества не может быть однажды завершен и покончен оттого, что он сознается. Напротив, точно так, как сохнет дерево вместе с прекращением деятельности корней, как скоро исчезла деятельность непосредственной силы – гибнут и исчезают народы.

Обращаясь к истории, мы видим, что как птица прежде всего свивает себе гнездо, так и первым действием всех народов было: создать себе внешнюю государственную форму, форму, в которой бы они могли свободно совершать свое развитие и таким образом исполнить свое назначение в человечестве. Общества еще нет, а уже возникает государство над народом, продолжающим жить жизнью непосредственной. Но не выражает ли государство народного самосознания? Нет, оно есть только внешнее определение, данное себе народом; деятельность его, то есть государства, и сфера его деятельности чисто внешние. Государство является, как органический покров, или, по сравнению К. С. Аксакова, как кора на дереве, которая должна поддаваться, растягиваться, видоизменяться, согласно с внутренним развитием и деятельностью сердцевины. «Беда, – говорит К. С. Аксаков, – если вся сила дерева пойдет в кору: растет и толстеет кора, сжимается и слабеет сердцевина, а чем слабее

сердцевина, тем ближе и гибель дерева, которую никакая толщина коры отвратить не может: не в том дело, крепка ли кора, а в том, здорова ли сердцевина». В человеческом организме есть также болезнь: отолщение кожи. Кожа, разумеется, есть часть того же организма, как и государство, по отношению к народу, но при слабой деятельности организма или при неправильности его отправлений все обращается в кожу, которая, распространяясь насчет прочих органов, становится как бы во враждебное отношение к организму, будучи сама его частью. В этой болезни нет другого лекарства, как противодействовать уродливому развитию, такому мятежническому поведению кожи возбуждением жизни и деятельности в прочих органах.

Эта деятельность в народном организме выражается деятельностью общества, или, лучше сказать: общество есть не что иное, как народный организм в деятельном развитии, не что иное, как сам народ в его поступательном движении. Здесь уже не бессознательный процесс народного сознания и творчества, которого пример мы видели на народном языке, не непосредственное бытие и пребывание в нем, а деятельность самого народа на второй ступени своего бытия, деятельность самосознания. Личность, поглощаемая в народе, существующая и действующая в нем не сама по себе, а как часть, атом народного организма, получает вновь свое значение в обществе, но с тем, чтобы путем личного подвига и личного сознания утвердить свою связь с народом и воссоздать новую, высшую, духовную цельность народного организма.

Если читатели припомнят или перечтут сказанное нами выше определение общества, то оно, вероятно, не покажется им теперь непонятным. Просим извинения у читателей, если утомили их внимание, и продолжаем.

Итак, мы имеем: с одной стороны, народ в его непосредственном бытии; с другой – государство как внешнее определение народа, заимствующее свою силу от народа и усиливающееся на его счет, при бездействии его внутренней жизни, при долговременном его пребывании в непосредственном бытии; наконец, между государством и народом – общество, то есть

тот же народ, но в высшем своем человеческом значении, не пребывающий только в известных началах своей народности, но сознающий их, сознательно развивающий и обособляющий их в явлениях, постоянно действующий и совершающий свой земной исторический подвиг. Государство есть начало внешнее деятельности внутренней, нравственной, умеряющей деятельность внешнюю, полагающей ей нравственные пределы. При отсутствии общества, при бездействии его, государственное начало, захватывая все шире и шире круг своей деятельности внутри государства, может, наконец, как кора – сердцевину сдавить и почти заглушить жизнь народа, находящегося на степени непосредственного бытия; народность, не вооруженная сознанием, не всегда надежный оплот против врагов внутренних и внешних. Только сознание народных начал, только общество, служащее истинным выражением народности, являющее высшую сознательную деятельность народного духа, может спасти народ и остановить растущее внутрь государство.

Теперь посмотрим поближе, что такое общество. Во-первых, имеет ли оно какую-либо политическую, внешнюю организацию? Никакой. Это не есть ни сословие, ни цех, ни корпорация, ни кружок, ни какое-либо иное, условленное соединение людей. Это даже не собрание, а совокупная деятельность живых сил, выделяемых из себя народом, деятельность людей, которые вышли из народа, но не состоят уже под законом непосредственного быта, не поглощаются в народе, а, напротив, делают непосредственное творчество народное и самый народ предметом своего сознания и деятельности, получая в то же время от народа жизнь, питание и силу. Разумеется, мы говорим не про то, что есть, а что должно быть. Выделяться из народа, в нравственном смысле, дает право только образование и притом не в значении известного количества познаний, и даже не в значении одного умственного образования, а в значении личного духовного развития вообще, такого развития, которым нарушается однообразие и безличность непосредственного народного бытия, но нарушается именно тем,

что дух народа сознается и самое единство народное ощущается яснее и живее. Такое развитие есть расширение умственного взора, а потому самому и усиление нравственного сочувствия к народу. Тут не может быть ни определенного числа лиц, ни патентов, ни других примет на принадлежность к обществу; оно образуется из людей всех сословий и состояний – аристократов самых кровных и крестьян самой обыкновенной породы, соединенных известным общим уровнем образования. Чем выше умственный и нравственный уровень, тем сильнее и общество.

Во-вторых, общество, как само собой разумеется, не должно кристаллизироваться, костенеть, мертветь, а должно постоянно освежаться, обновляться новым притоком сил из народа, одним словом, состоять к нему в таком же отношении, как дерево к корню. Впрочем, об аномалиях в этом отношении, об уродливом развитии общества, которое уже, в таком случае, есть какое-то не настоящее, а самозванное общество, мы будем говорить подробнее, когда коснемся русского общества.

В-третьих, общество, разумеется, существует только там, где есть цельное народное тело, цельный организм с соответствующим ему цельным органическим покровом, то есть внешней, государственной формой. Встречая общество во Франции и Англии, мы его не видим в Германии; то есть оно существует как германское, но лишено живой, реальной действительности, потому что германского цельного народа не существует, Германии нет как целого тела, а есть Бавария, Гессен-Гомбург, Гессен-Кассель, Рейс-Шлейс-Крейц-Лобенштейн и проч. Немец может обресть единство германского организма только в области отвлеченной – в Шиллере, Канте, Гете, Гегеле. Вот почему у немцев нет в языке и выражения, соответствующего нашим словам: общество, общественность, общественный; вот почему в немецкой литературе нет не только общественного романа вроде сочинений Диккенса, Гоголя или Бальзака, потому что в области действительности германец превращается в гессенца, мекленбургца, баварца и проч. Вот почему также такое стремление в немцах, подобно Италии, сплотиться в еди-

ную сильную Германию, чтобы создать себе внешнюю форму, которая бы вполне соответствовала цельности народного германского организма, – вопреки всяким учениям о преимуществе федерации и о вреде крупных государств.

В-четвертых, сила общества как явления не политического есть сила нравственная, сила «общественного мнения». Орудие деятельности общества есть слово, и по преимуществу печатное слово, разумеется, свободное. Напрасно воображают некоторые, что свобода слова, устного или печатного, есть политическая свобода. После этого и свобода есть, пить, спать, дышать воздухом, двигать руками и ногами есть также политическая «прерогатива»! Между тем свобода слова, свободный обмен мыслей, чувств, мнений, необходимый для нравственной деятельности, относится точно так же к стороне нравственной человека, как свобода спать, есть к стороне физической. Злоупотребление слова так же возможно, как и злоупотребление рук, но если бы в предупреждение зол, которые можно учинить руками, связать всем людям руки за спину, то уничтожилась бы всякая возможность деятельности, следовательно, и существования как связываемых, так и вяжущих.

Впрочем, как об этом орудии общественной деятельности, так и вообще о силе общественной мы желаем поговорить пространнее, а так как статья наша вышла и без того чересчур длинна, то мы отложим рассуждение об этом предмете до следующего №, равно как и соображения наши о русском обществе в особенности.

III

Мы просим читателей припомнить все, что было нами сказано в статье 10 марта об обществе, его значении, его месте между народом и государством. Мы говорили, что общество не есть явление политическое, что сила его есть сила нравственная, сила общественного мнения, и что орудие деятельности общества есть слово, по преимуществу печатное и, разумеется, свободное.

Мы идем далее. Мы решаемся даже утверждать, что где нет деятельности слова, там нет и общества (разумеется, если отсутствие таковой деятельности происходит не от внешних, случайных причин), или иначе: в истории позднейших времен без литературы немыслимо никакое общество. Постараемся доказать это. Дело в том, что общество есть та среда, в которой совершается сознательная, умственная деятельность народа, которая создается всеми духовными силами народными, разрабатывающими народное самосознание. Другими словами: общество есть народ на второй степени своего развития, народ самосознающий. Но для того, чтоб стать на эту ступень, чтоб от непосредственности двинуться к самосознанию, от безличности народного бытия перейти к совокупной деятельности лиц, воссоздающих новую высшую духовную цельность народного организма, – необходимо образование. Мы уже объяснили прежде, что мы разумеем под образованием. Оно принимается нами не в смысле известного количества познаний, не в смысле одного умственного образования, а в значении личного духовного развития, такого развития, при котором личность, поглощаемая до сих пор в народе и не существующая в нем сама по себе, обретает себя вновь, ощущает себя как единицу народную, разрешает плен непосредственного бытия (подобно тому, как пускаемый зерном росток пробивает поверхность зерна) и получает возможность постижения мысли народной личным сознанием. Это постижение народной мысли, народного непосредственного творчества личным сознанием единиц, народ составляющих, есть уже народное самосознание, которое и совершается в обществе. Следовательно, только образование в том значении, как мы его объяснили, полагает начало народному самосознанию, или другими словами: только образование дает бытие обществу. Поэтому-то общество необходимо предполагает известный общий уровень образования, и чем выше уровень, тем сильнее и общество.

Но как определить этот уровень образования? Как обозначить границу, где кончается непосредственность бытия и начинается деятельность народного самосознания в единицах?

Как указать ту ступень личного развития, на которой действие личного сознания получает значение народного самосознания? Как определить: когда личная деятельность единиц имеет право назваться общественной, когда именно народные единицы являются обществом?

Как провести в истории черту, откуда деятелем (фактором) истории становится общество?

Определить этот уровень и обозначить его пределы нет никакой возможности, да нет в том и надобности. Область нравственного мира не терпит никаких внешних рубрик и формул, никаких сигнатур и штемпелей, не поддается ни весам, ни мерам, ни горнилу, и все подобные попытки были бы не только тщетны, но и положительно вредны для свободного проявления его внутренней деятельности. Общество дает знать о своем существовании тем, что оно существует и действует; деятельность общественная есть, сказали мы, деятельность народного самосознания; деятельность народного самосознания выражает себя в слове, которое есть плоть сознания, плоть человеческой мысли; стало быть, выражение общественного сознания есть общественное слово; следовательно, только там, где есть общественное слово, есть и общество, и наоборот – нет и общества там, где нет общественного слова. Постоянная деятельность общественного слова есть то, что называется словесностью или литературой.

Мы можем предположить себе весь народ умеющим читать и писать. Будет ли это общество? Нет; грамота есть только орудие слова, но самой деятельности личной мысли может еще и не быть. Предположим, наоборот, простой народ погруженным в невежество, – а над ним другие верхние классы, досужие, отличающиеся от народа бытом, образом жизни и даже более развитые. Составляют ли эти верхние классы общество? Опять нет, если им недостает деятельности мысли, если они заключены в тесных границах сословного быта, если они только чувствуют себя как народ, в силу своего естественного сродства с остальными народными классами, а не сознают себя как народ, не разрабатывают народного самосознания. Ни рыцари

средних веков, ни купцы в России в нашем XIX веке (мы говорим про большинство, а не про частные явления) не составляли и не составляют общества. В том-то и дело, в том-то и сила, что общество создается не верхним и не средним сословием, не мужиками и не дворянами, а создают его только образованные люди или, вернее, люди всех сословий и состояний, безразлично, связанные между собой тем уровнем образования, при котором становится возможной деятельность общественная, выражающаяся в наше время в литературе.

Само собой разумеется, что чем больше живых сил, выделяемых из себя народом, тем сильнее и деятельность общества, которая, идеально понимаемая, должна обхватить свою совокупность единиц, народ составляющих, не уничтожая через это нисколько ни непосредственной силы народного творчества, ни цельности народного организма, но воссоздавая (как мы уже сказали) его новую высшую духовную цельность. Чем больше образованных людей в какой-либо стране, тем скорее возникает в ней общество, но определить потребное для того число образованных людей так же невозможно, как невозможно при учислении долей веса указать, где начинается тяжесть и кончается легковесность. Как скоро раздается общественное слово, как скоро оно является как власть имеющее, – мы познаем существование общества.

Не забудем также, что общество ни в какой данный момент не может назваться полным выражением народного самосознания. Оно есть деятельность народного самосознания, оно есть самосознавание, которое, постоянно возрастая и усиливаясь, приближает народ в его конечной цели, к самосознанию.

Чтобы еще яснее выразить нашу мысль о значении слова вообще и печатного слова как общественной силы, обратимся к истории. В Риме и Греции было общественное слово, было и общество, которое и дало человечеству все, что мог дать ему мир языческий; но Рим и Греция находились в других условиях, не существующих для мира новейшей эры. Возьмем Западную Европу, Германию, Францию, Англию. Можем ли мы признать в них существование общества в первые тринадцать

или четырнадцать, или даже пятнадцать веков по Рождестве Христовом? Мы видим власть королевскую, правителей – даже мудрых, деятельность правительственную... Но это не общество. Деятельность государственная есть деятельность внешнего строения, это не есть деятельность общественная, сознательная деятельность духа и мысли народной. Вообще можно сказать, что деятельность народов в первые четырнадцать или даже пятнадцать веков истории Европы поглощается работой над внешней формой, над внешним определением, которое давал себе каждый народ. Тогда только и начинается возможность общественной деятельности, когда сложилась уже сколько-нибудь внешняя форма, что, конечно, еще не значит, чтобы эта форма не могла впоследствии видоизменяться. Итак, с одной стороны, мы видим в средние века в Европе королей, герцогов, всяких властителей с их дружинами – военными и гражданскими; мы видим начало государственное и его деятельность заменяющими всякую другую жизнь в общем организме страны – вне среды непосредственной жизни самого народа. Это не общество. С другой стороны, представляется нам сословие рыцарей, аристократических владельцев, которых вся жизнь и деятельность были чисто внешние. Их, конечно, никто не назовет обществом; никто не скажет, что они составляли тогда общественное мнение. С этим едва ли кто станет спорить. Простой народ, порабощенный и угнетенный, находился на самой низшей ступени безличного бытия; следовательно, о нем не может быть и речи. Городские общины жили жизнью замкнутой, поглощенной интересами преимущественно вещественными и заботами об ограждении себя от всяких грубых сил, бродивших и еще не перебродивших тогда в организующихся государствах. Они еще не составляли тогда общества, не предъявляли своего мнения как мнения общественного. Заметим, кстати, что при существовании резкого разделения сословий, бытового и юридического, с великим трудом вырабатывается среда для совокупной умственной деятельности народных единиц как общества. Кроме названных сословий, существовало в средние века единственное образованное со-

словие – духовенство. Оно сберегало, без сомнения, умственное наследие мира древнего для мира нового; оно было хранителем того просветительного начала, которое дало смысл, направление и характер всему просвещению, всему духовному развитию, следовательно, всей последующей деятельности общества на Западе, но это просветительное начало являлось как данное извне, усвоенное бытом, но не усвоенное народным самосознанием; оно, конечно, способно было возбудить и возбуждало деятельность народного духа, но еще не как народное сознание, а как деятельность человеческого духа вообще. Одним словом, ученые монахи и схоластики средних веков не были обществом. Была ли Сорбонна выражением общества? Нисколько. Даже университеты того времени устремляли всю свою деятельность на внешнее одоление того готового материала просвещения, который завещан был Римом и Грецией христианскому миру, и были отрешены от действительной жизни. Без всякого сомнения, на Западе в течение этого времени подготовлялись все материалы для будущего здания, все внешние орудия деятельности, расширялся круг познаний, личная мысль не дремала, но она являлась одиноко-личной, не общественной, и резкая, неприязненная разделенность сословий, как мы сказали, еще препятствовала сложиться той среде, которая потом явилась как общество, тому простору, в котором бы оно могло действовать. Мы не пишем истории западного общества. Мы предоставляем нашим читателям поверить нашу мысль и наш вывод более подробным сопоставлением фактов, но едва ли они не согласятся с нами, что общества на Западе не было до того времени, как изобретение книгопечатания дало возможность возникнуть деятельности общественного слова. Это не значит, что случайное изобретение Гутенберга, или кто бы ни был настоящий изобретатель, породило общественную деятельность: наоборот, необходимость общественной деятельности, необходимость, сознание которой было подготовлено одиноко личной деятельностью ученых, еще не составлявших общества, но выражавших собой стремление и требование народного духа, вызвала изобретение печати. Только с того вре-

мени и возникает литература в собственном смысле слова, литература как выражение общественной жизни.

Печать есть единственная арена, где при современном внешнем устройстве народного организма может раздаваться общественное слово. На площадях Рима оно не нуждалось в печати, ибо исчерпывалось вполне в совещаниях, на форуме, в речах, в публичных преподаваниях, в письменной литературе, ибо для Рима не было римского народа вне Рима; но история нашей эры создала иную формацию государств и призвала к жизни самые народы. Никакие парламенты, генеральные штаты, собрания государственных чинов не выскажут настоящей мысли всенародной; они составляют меньшинство по отношению к тому множеству, которого думают быть представителями и которого мысль, со всем разнообразием личной деятельности единиц, составляющих это множество, никогда не может быть вполне передана необходимо ограниченным числом народных представителей. Английский парламент не был бы тем, что он есть, без английской прессы. При всем том часто случается, что решение народных представительных собраний на Западе не выражает мнения народа, находится в противоречии с ним. Выше народных, ограниченных в числе и во времени и в пространстве представительных собраний, стоит сам народ, или общество, как тот же народ, несамосознающий и развивающийся; верховный контроль над всеми этими собраниями принадлежит обществу, общественному мнению, для него узка арена законодательных или каких бы то ни было представительных собраний, ему надо поле пошире, и такое вполне соответственное поле для общественного слова есть печать. Поэтому стеснение печатного слова, когда явилась в нем потребность, когда, стало быть, в народе возникло общество, есть нарушение правильных отправлений общественного организма, есть умерщвление жизни общества, и, следовательно, опасно для самого государства, допускающего это стеснение. Как дерево может существовать только до тех пор, пока в нем есть жизнь сердцевины; как с прекращением этой жизни сохнет и каменеет кора, так и государство, когда уже раз возник-

ло общество, когда уже раз совершилось это новое движение в бытии народном, может существовать только до тех пор, пока живет общество. Зерно способно долго сохраняться как зерно, но если оно раз начало жить как дерево, в корнях, стволе и листьях, дерево уже не может быть лишено воздуха, света, тепла, иначе оно погибнет. Никакие в мире либеральные учреждения не заменят свободы общественного слова, никакие консервативные охраны не заменят охранительной силы свободного слова (если только есть что достойное охранения), никакие законы не имеют прочности и живительного действия без помощи общественного сознания, следовательно, без его деятельности и жизни в свободном слове. Как против отолщения кожи нет другого лекарства, кроме возбуждения деятельности прочих органов, так и государство против его болезненного роста внутрь может спасти только общество со своей свободой деятельности, свободой критики, свободой слова.

Общество не есть явление политическое, говорили мы не раз, и деятельность его не должна быть политической, в смысле деятельной, политически организованной власти. В противном случае оно перестает быть обществом, и жизнь или находит себе другой, часто неправильный исход, или же уходит в корни, или же совсем замирает. Воспользуемся приведенным выше примером, чтобы пояснить нашу мысль. Вообразим себе, конечно, не без усилия для воображения, что желая остановить возрастающую толщину коры на дереве, желая спасти сердцевину, мы наставим перегородки внутри, между корой и сердцевиной. Что выйдет? Сердцевина еще более стеснится, объем ее простора уменьшится, ее будет давить перегородка, вгоняемая внутрь внешним напором коры. Делать нечего: вы подпираете перегородку какой-нибудь новой подпоркой и еще более сжали сердцевину! Но и это не помогает: новая подпорка не может устоять против общего давления коры и перегородки; вам приходится утверждать подпорку новой подставкой, но опять бесполезно, и т.д. до бесконечности, то есть до того, что вы сами этими же ограждениями от болезненного роста коры убьете сердцевину. Так и общество, ставя себе ограждения от

болезненного роста государства во внешних учреждениях, основанных на начале государственном, то есть политическом, изменяет характеру своей деятельности, стесняет само свою свободу, вносит начало принуждения в свою собственную жизнь. Это начало будет тем тяжелее и болезненнее для общества, что оно не налагается извне, внешней, чужеродной силой, а исходит от самого общества. Общество в таком случае заражается болезнью государственности, убивающей его внутреннюю свободу, его общественную жизнь. Нет ничего опаснее и вреднее политического элемента, к которому так влекутся наши публицисты. Мы говорим здесь не о критике явлений политического мира, которая есть неотъемлемое право общества, но о политическом элементе как начале внешнего принуждения, внешней условной правды, внешней организации, какой бы формы последняя ни была. Так, например, Америка, по замечанию К.С. Аксакова, можно сказать, отравилась духом государственности, который, внедрившись там в душу и плоть человека, обратил каждого человека в квартального самого себя, заглушая полицейским принципом принцип совести. Государство и государственное начало должны быть отвлечены от жизни народа и общества на поверхность и оставаться в тех скромных пределах, какие полагает им духовная и нравственная деятельность самого общества.

Впрочем, более подробное рассмотрение отношения общества к государству и государства к обществу, а равно и того, что должно разуметь под самоуправлением общественным, что такое партии, охранительные и прогрессивные начала, в каких отношениях находится начало сословности к обществу, и как все это отражалось в русской истории и отражается в современной нашей общественной жизни, мы отлагаем до следующего раза...

IV

Мы обещали в последний раз рассмотреть подробнее взаимные отношения общества и государства. Просим читателей

не забывать, что, по нашему определению, ни простой народ, ни верхние сословия, ни государство со своими чиновниками, отдельно взятые, не составляют общества, и, наоборот, – общество не есть ни сословие, ни цех, ни корпорация, ни государственный политический орган. Напротив, всякая попытка организовать общество политически противоречила бы самому существу общества, убила бы внутреннюю свободу его развития, внесла бы в стихию его духовной деятельности начало внешнего принуждения. При всем том общество такое имеет значение в организме народа, граждански живущего, что без него бессилен народ и несостоятельно государство. Сословия могут меняться и исчезать, дворянство может быть и не быть – общество само от того нисколько не уничтожается, ибо его сила не в том или другом сословии, а в сумме образования всех сословий. Но там, где нет общества, там народ лишен возможности деятельного поступательного движения, деятельной, активной силы; он беззащитен против государства и может противопоставить ему только силу пассивную, силу в охранении, в сбережении своих начал, существенных элементов своей народности. Если при отсутствии или бездействии общества эта пассивная непосредственная сила переходит в активную, как это случалось в истории, то она является всегда внешней силой, иногда благодетельной, иногда гибельной, но никогда ничего прочно не созидающей. Такого рода разлив народной силы, такая внешняя деятельность народа есть явление само по себе анормальное. Оно никогда не бывает продолжительным, и только крайняя историческая необходимость, после долгого сопротивления со стороны самого народа, способна вызвать его к такой несвойственной ему деятельности. Но если в обеспечение народу не возникает деятельность общественная как деятельность народного самосознания, то такой разлив силы нисколько не уберегает народ от новых посягательств государства на его жизнь и самостоятельное развитие. Даже наше разумное народное движение в 1612 году не только не ослабило значения государственной стихии в России, но напротив, – после того как народ, посадив на престол Михаила, удалился,

вошел в берега, государство стало расти и выросло до ужасающих размеров... В Англии с XIII века была и конституция, и парламент, и независимое политическое сословие (в которое некоторым нашим публицистам так хочется пожаловать российское дворянство!), была и революция 1649 года: однако ж начало английской свободы считается с революции 1688 года, с той революции, которая не пролила почти ни капли крови и которая была скорее общественным движением, чем народной революцией в обыкновенном смысле этого слова. В самом деле, не перемена династии Стюартов на Оранскую, не перемена законов (никакие органические законы не были изменены), не создание аристократии (она была и прежде) дали силу парламенту, конституции и всем прежним формам и положили начало истинной свободе, а нравственное усиление общества, общественное самосознание, выразившееся в знаменитом акте «декларации прав» (Declaration of Right), как о том свидетельствует и Маколей[1], и потом издание закона о свободе печати.

С другой стороны, там, где нет общества, государство рано или поздно оказывается несостоятельным. Оно ощущает для своих действий потребность в сознательной опоре народной, которой не может дать народ, находящийся на ступени непосредственного бытия; потребность в поверке и критике, в том разуме народном, который выражается в постоянной деятельности общественной, а не в одном представительном собрании. Поясним это тем же вышеприведенным примером. Состав парламента внешний был в Англии с немногими изменениями тот же в XIV веке, что и в XVII, но деятельность государственной власти вследствие слабости, вследствие неприготовленности общества была несравненно сильнее, почти захватила среду, теперь предоставленную деятельности общественной, и, оказавшись несостоятельной, вызвала переворот 1688 года. Стало быть, представительное собрание само по себе еще не заменяет общества ни для народа, ни для государства, еще неспособно само по себе сдержать рывок государственной стихии: была даже опасность в английской истории, по замечанию Маколея, чтобы сам парламент не обратился в деспотическое правитель-

ство. Истинные пределы государственной власти положены были в Англии не парламентом, а обществом.

Далее: есть целая область отношений, на которую не может простираться чисто внешняя, формулированная, ограниченная в своих средствах деятельность государственная, такая область, куда, как мы сказали однажды, не в силах достать сверху распоряжением никакая самая отважная благонамеренность начальства; есть многочисленные явления духа, которые не могут быть вызваны на свет Божий указом и которые не терпят никакой извне налагаемой формулы. Между тем участие таких явлений, жизненная деятельность таких отношений необходимы в общей государственной жизни, и, если общества нет, если оно бездействует, если оно задавлено, – правительству приходится разыгрывать роль самой жизни, исправлять должность самой органической силы. Мы уже достаточно показали в статье 21-го номера, что все подобные попытки со стороны правительства производят только одно подобие жизни, деятельности, силы, обременяя действительную жизнь новыми оковами и тяжеловесной ложью; мы объяснили это примером казенных миссионеров и многими другими. Мало этого, там, где само общество бессильно или его нет вовсе, правительство нередко создает подобие самого общества, точно так же, как и подобие свободы, подобие независимости от правительства, подобие вольной общественной деятельности, одним словом, старается обзавестись обществом. Разумеется, все такие старания тщетны, потому что правительство в таких случаях пытается в то же время дать направление общественному развитию, создать общество в известном духе и на известных началах согласно со своими целями. Большей частью выходит так, что создаваемое правительством общество, лишенное внутренних залогов самостоятельной жизни и положительной деятельности, обретает себе жизнь и деятельность в отрицании себя самого и создавшего его правительства, но об этом мы поговорим подробнее в своем месте. Мы хотели здесь только заявить, что там, где общества нет или где оно подавлено, правительство ожидает неминуемая несостоятельность, хотя

бы оно было окружено всевозможными политическими сословиями и учреждениями. Как мало значат последние, видим мы примеры в нашей собственной истории. Так, назначив в уездные суды представителей от крестьян (сельских заседателей), заставивши их восседать рядом с представителями аристократии – простых мужиков с потомками Рюрика, Екатерина II могла, пожалуй, пред всей Европой похвастаться такой либеральной мерой, которой ничего подобного не представляет сама свободная Англия, но этот либерализм не прибавил ни на волос ни свободы народной, ни правды в судах и служит только ярким доказательством, что сила и свобода даются не одними учреждениями! Итак, все сказанное нами приводит нас к следующим выводам: никакие учреждения, как бы свободны они не были, никакие представительства, никакие политические сословия, никакие аристократии и демократии не могут заменить общества и своей деятельностью восполнить недостаток деятельности общественной; отсутствие общественной деятельности или бездействие общественной жизни как жизни народного самосознания делает народ бессильным и беззащитным, а государство несостоятельным, хотя бы и существовали политические сословия и даже представительные учреждения. Следовательно, без общества все эти политические обеспечения силы и свободы служат ненадежной опорой государства и слабой гарантией для народа; следовательно, истинное обеспечение силы и свободы лежит в существовании общества, в общественной силе и в общественной деятельности. Другими словами: вне нравственной, неполитической силы того неполитического явления, которое мы называем обществом, бессильна сила политических учреждений; вне свободы нравственной, неполитической, вне свободы духовной общественной жизни нет истинной свободы, ничтожна всякая политическая свобода. И так как Доктрина и органическая жизнь государства, государственные формы создаются народом ранее общества, ранее, чем начинается деятельность народного самосознания, то подтверждение наших слов читатели могут найти в истории любого из западных государств и даже нашего русского.

Теперь же мы попросим читателей припомнить статью одного из наших публицистов, который полагает спасение России в заведении сословий – политического дворянства и среднего сословия, а также в организации партий. Очевидно, что он сам не отдавал себе ясного отчета в том, что такое общество и откуда берется эта сила, которую нельзя ни осязать, ни уловить в юридическую формулу; очевидно, что он искал ее в сословиях и партиях и, спутывая все понятия, хотел между народом и государством создать, государственным жезлом, жизнь общественную и политическое сословие с обязанностью жизни и творчества. В этом сказалось, между прочим, не только раболепное умственное отношение к историческому ходу европейского развития, но чисто внешнее знакомство с этой историей или просто неразумение внутренней органической жизни европейских государств. Впрочем, чего же можно и требовать от того наивного публициста, который явления нашей русской истории понимает только сквозь призму непонимаемых им явлений западной истории и помирился с нашей табелью о рангах не прежде, как назвавши прапорщика noblesse d’épée, а коллежского асессора – noblesse de robe![2]

Все эти сословные деления, все эти силы: аристократия и демократия, теряют значительную долю своей важности, как скоро взглянем на них с точки зрения, предлагаемой нами читателям. Мы поймем необходимость иной опоры и найдем ее не в политической только деятельности, не в том или другом сословии, а в обществе с его общественной деятельностью и силой общественного мнения, – обществе, образующемся независимо от всяких сословий. Напротив того, резко разделенное существование сословий только препятствует свободному образованию той среды, в которой совершается общественная деятельность; мы видим из истории, что общество везде возникает и развивается, так сказать, вопреки сословности, несмотря на нее, поборая постепенно препятствия, полагаемые его деятельности всякими юридическими перегородками, сглаживая и уравнивая сословия своей победоносной силой! Чем меньше сословий, чем меньше перегородок, разделяющих

людей между собой, тем легче их соединение, тем возможнее дружная деятельность единиц. Следовательно, не создавать вновь, а уничтожать по возможности все разъединяющее – вот к чему мы должны стремиться, чтобы усилить общество, его значение, его силу – единую, могучую, нравственную, человеческую силу, вполне достойную человеческих обществ, силу, без которой ничтожна сила политических учреждений и не свободна политическая свобода.

Общество по существу своему имеет всегда характер прогрессивный; мы сказали, определяя общество, что оно есть народ в его поступательном, то есть прогрессивном движении. Просим, однако же, читателей не понимать этого выражения в том пошлом смысле, который прилагается у нас словами: прогресс, прогрессивность, консерватизм, прогрессивные и охранительные начала. Все эти понятия, заимствованные целиком из области условной политической деятельности Запада и без толку применяемые к нашей общественной жизни, ровно ничего у нас не выражают, хотя и пользуются большим почетом со стороны некоторых наших публицистов. Что такое прогрессивное, что такое консервативное начала, разграничить которые так хочется одному русскому писателю, – разграничить, а вместе с тем и рассортировать людей на две половины, повесив над каждой вывеску: партия прогрессивная, партия охранительная? По крайней мере в отношении к обществу и к деятельности чисто общественной подобный полицейский распорядок решительно неуместен.

Зерно пускает стебель, стебель пробивает землю, превращается в ствол, в дерево с ветвями и листьями. Как назвать это развитие зерна, этот рост стебля? Прогрессом? Но вы чувствуете, что это название не соответствует делу. Смотанный клубок разматывается длинной нитью... Эта разматываемая нить прогресс или нет? Где искать тут охранительного начала? Точно то же и в обществе. Развитие народных начал, деятельность народного самосознания – это жизнь зерна, это разматываемая нить клубка народной непосредственной силы. Нельзя назвать это консерватизмом, потому что тут есть поступатель-

ное движение; нельзя назвать и прогрессом, потому что у нас под «прогрессом» разумеется не сама жизнь, не развитие свободное и естественное, не логический вывод из последующего, а неизвестно что, какая-то гоньба за всякой новизной, известие о которой привезено с последней заграничной почтой.

Нельзя сказать: я состою по части охранительных начал, а я по части прогресса, потому нельзя, что вся задача общества есть именно жизнь, движение, сознание основных народных начал, следовательно, прогресс так называемых «охранительных» начал. Таких штемпелеванных основных начал, которые бы не способны были к жизни, к развитию, не допускали бы прогресса в своем практическом осуществлении, не имеется; точно так же, как и прогресс, как скоро он является извне, не в виде органического продукта или развития, а готового результата чужой жизни и истории – безобразен и неживуч. Это все равно, что назвать позолоченные деревянные яблоки, подвязанные к ветвям ели, – прогрессом ели! Мы хотели бы спросить наших публицистов, которые заботятся об образовании этих двух партий и заранее тешатся их взаимной игрой, что, собственно, они разумеют под охранительными началами? Если они скажут: начала народности, то тут и представляется вопрос: какие именно начала признают они народными? Например, начало общинное, которое всегда отвергалось одним из поклонников мнимого консерватизма, народное или нет? Таким образом, возникает спор о самих началах. Но положим, что он решен; тогда придется спросить: в каких отношениях состоит существующий порядок к народным началам? Если бы, по поверке, оказалось, что существующий порядок противоречит народным началам, так защитники существующего порядка, везде и всегда именуемые консерваторами, явились бы врагами «охранительных», то есть консервативных начал, то есть «прогрессистами», а защитники консервативных начал – врагами, разрушителями существующего порядка. Но тогда роли партий до такой степени перемешаются, что и сами публицисты не доберутся в них никакого толка. Очевидно, что все эти слова лишены у нас всякого значения и, перенесен-

ные на русскую почву, способствуют только к затемнению, к большей путанице понятий, которой и без того страждет наше общество.

По нашему мнению, консервативно только то, что народно, то есть что действительно живет и способно к жизни; и только то, что народно (и потому консервативно), только то и прогрессивно. Следовательно, вопрос не в том, что принадлежит к ведомству охранительному, что к прогрессивному, а в том, что народно и что не народно. Не потому должен являться человек последователем известного начала, что оно охранительно или прогрессивно, а потому единственно, что признает его за единое истинное и живое. Если же оно истинно, то оно и охранительно, и способно к прогрессу, и противоречия между этими словами нет. Повторяем: нельзя не пожелать, чтоб эта рутина, чтоб эти пошлые понятия – охранительные начала, консерватизм и прогресс, в том смысле, как они употребляются у нас в России, были изгнаны из нашей литературы как решительно ничего не выражающие и только сбивающие с толку призраком какого-то смысла нашу читающую публику. Итак, общество, правильно организовавшееся, есть среда, в которой совершается деятельность народного самосознания, развитие и жизнь народных начал. О консерватизме и прогрессе не может быть тут и речи, потому что развитие, чуждое основным началам народности, не есть прогресс, а искажение общественной деятельности, расстройство органических отправлений, уродство, болезненное состояние, которое излечивается только возвращением к народным началам. Это возвращение разумеется не в смысле консерватизма, а в смысле восстановления правильного кровообращения, правильного развития, в смысле возвращения к живой истине, – хотя бы это возвращение и разрушило дорогой для «консерваторов» существующий порядок!

Конечно, такова деятельность общества, рассматриваемого как целое; но, состоя из единиц, оно представляет такое же разнообразие частной деятельности, какое существует и между единицами. Естественно, что образуются группы

единиц, сходных в стремлениях и воззрениях, образуются свободно и свободно же уничтожаются, сливаются с другими или разбиваются на мельчайшие группы. Но эти группы нисколько не партии, как ошибочно думают некоторые, перенося готовое определенное понятие из западной политической жизни на нашу общественную почву. Мы сейчас объясним это примером.

«Combien êtes-vous? Сколько вас?» – спросил однажды давно уже тому назад член бывшей французской палаты депутатов одного из так называемых славянофилов, с таинственным видом наклонившись к нему на ухо. Дело было в Москве, на каком-то рауте. Француз-депутат вздумал посетить Москву и, познакомившись с теми, кого литература только что окрестила прозванием славянофилов, был озадачен оригинальностью и дерзостью их воззрений. Впрочем, дерзкими они казались гораздо более тогдашнему русскому обществу, чем иностранцу, искавшему в России самобытных проявлений русской мысли и русского духа. «Combien nous sommes, сколько нас?» – отвечал славянофил и рассмеялся. Он живо вообразил себе, как должно было сложиться и сложилось в голове француза представление о славянофилах. Француз не мог их понять иначе, как партией, а партию измерял, разумеется, числом лиц, партию составляющих. «Нас три, четыре, пять человек, да и то не во всем согласных: вы были свидетелями наших споров», – продолжал славянофил и попробовал было объяснить изумленному французу, что партии славянофильской нет и быть не должно (никогда и не было, прибавим мы), попробовал да и оставил. Это было выше французского понимания.

В самом деле, что такое партия? Партия в том смысле, как она понимается на Западе, есть союз людей, не просто согласных между собой в своих убеждениях, но согласивших, сладивших, «скомпоновавших» свои действия для достижения известной определенной цели. Партия предполагает непременно вождя и условный план действий; в искреннем внутреннем согласии членов партии, даже ратующей за какой-либо принцип, вовсе нет надобности: нужно только одно внешнее со-

гласие, признание всеми общего способа действования; достаточно условиться чисто внешним образом, как поступать, как достигать предположенной цели. Очень может случиться, что все члены партии одушевлены одним убеждением, но самое понятие о партии не предъявляет такого нравственного требования. Она полагает свою силу как партия не во внутреннем содержании своего лозунга, а в его соединительном внешнем значении, не в истине своего принципа, а в своей числительности. На Западе это вполне объясняется характером политических учреждений, где истина познается по чисто внешнему признаку, то есть по большинству шаров при баллотировке: следовательно, количество голосов, которыми располагает партия, и их дружное действие при парламентских маневрах обусловливают успех и торжество партии. Так и у нас, например, на дворянских выборах, ищущий звания предводителя набирает себе партию, потчуя дворян шампанским и кулебякой.

Одним словом, партия есть явление западной политической жизни и предполагает: или чисто внешнюю цель, например, успех лица в достижении известного звания, – или же, имея своим знаменем какой-либо нравственный или политический принцип, способ действия условленный и внешний. Очевидно, что нельзя применить название партии, например, к миссионерству, к вере; никто не скажет «партия христиан», если дело идет о внутреннем отношении христиан к их вере, и т. п.

Условность, неразрывно связанная с идеей партии, конечно, стесняет внутреннюю личную свободу лиц, к партии принадлежащих, и несколько оскорбительна для самого убеждения, делая его искренность как бы ненужной, относясь к нему со стороны внешней. Таких партий не должно существовать вне сферы политической, в обществе, да и не существует, по крайней мере, у нас, в России. Не посредством партий и их столкновения совершается деятельность народного самосознания. То, что у нас называется ложно партиями, может называться направлениями, или даже школами, учениями, но никак не партиями. Направление, свободно разрабатываясь, может видоизменяться в бесчисленных оттенках, жить своей

внутренней жизнью, приниматься другими не вполне, а отчасти; оно не предполагает никакой условности, не обязательно ни для кого, а требует только искренности от человека, становится его самостоятельным убеждением, его личной жизнью. Поэтому на вопрос, недавно возбужденный в нашей литературе, – к какой кто принадлежит партии, мы отвечали бы, что к партии мы не принадлежим никакой, но принадлежим к известному направлению.

Таким образом, мы, кажется, довольно полно и обстоятельно определили, что такое народ, государство и общество, какое значение имеет последнее в общей деятельности народного организма, в каких отношениях состоит оно к народу, к государству, к сословиям, в чем заключается общественная деятельность, в чем ее выражение, что такое общественная сила и какое ее орудие; мы объяснили, что общество не есть явление политическое и чуждо всякого политического элемента, всякого начала условности, внешнего принуждения и внешней организации; мы указали на некоторые понятия, которые многими из наших публицистов ошибочно прилагаются к обществу, и старались, по возможности, очертить как характер, так и самый путь общественного развития. Не знаем, решили ли мы эту задачу удовлетворительно для читателя, но мы во всяком случае обязаны выполнить дальнейшую нашу программу.

Говоря об обществе, об отношении его к сословиям, о его чисто нравственной деятельности, мы предполагали, стало быть, существование сословий, целый ряд особенных отношений между ними и государством, целую область деятельности, не подходящей под наше определение деятельности общественной, и которую однако же мы не называем и государственной? Действительно, мы это предполагали: сюда относится самоуправление, местная жизнь, участие в политических делах государства и своей местности и т. п. Какое имя всей области этих отношений? Мы не вправе назвать ее государством, потому что она может быть и чужда элемента государственности, например жизнь общин; не можем назвать ее только народной, потому что этому слову придается смысл

совершенно особый: или смысл простонародности, или же такое широкое значение, которое объемлет собой и государство, и простой народ, и сословия; мы не назовем ее общественною, потому что дали этому слову особое определение. На русском языке существует слово: земля, земство, земщина, земский, которым может назваться вся внешняя гражданская жизнь народа, без различия сословий, в противоположность правительству и правительственной среде. Мы не употребим, например, выражения: общественная дружина, общественная рать, но скажем: земская дружина, земская рать, земская повинность, земская полиция, земское управление.

Об этой-то земщине или земской стихии, представляющей обратную сторону общества, как мы его понимаем, поговорим мы в следующий раз и для большей ясности обратимся прямо к русской истории.

В чем сила России?

«Стоит только русскому Императору отпустить себе бороду, и он непобедим», – сказал гениально Наполеон, проникая мыслию из своего лонгвудского[1] уединения в тайны исторической жизни народов, – еще темные, еще не раскрывшиеся в то время сознанию просвещенного мира. Едва ли нужно объяснять, что под символом «бороды» разумеется здесь образ и подобие русского народа в значении его духовной и нравственной исторической личности. Другими словами: пусть только русское государство проникнется вполне духом русской народности – и оно получит силу жизни неодолимую и ту крепость внутреннюю, которой не сломить извне никакому натиску ополчившегося Запада.

Полезно припомнить это слово Наполеона I ввиду загадочных действий Наполеона III, как будто готовящих нам войну и ополчающих на нас снова весь Запад. Неужели племянник забыл слово дяди, – он, не оставивший праздным, обновивший в своем сознании всякое изречение, всякую мысль

этого, по выражению русского поэта, «огромного человека, расточителя славы»? Чем объясним мы теперь такую азартную игру французской дипломатии в вопросе о Польше? За кого принимает император французов Россию, что не боится своим вмешательством, своими предложениями вызвать в ней именно ту силу, которую разумел первый император, обсуживая после 1815 года исторические судьбы России? Думает ли Наполеон III, что Россия уступит? Но чем же заслужили мы такое презрительное мнение о нас и разве мы не те, что были в 1812 году и в тот период времени, когда Наполеон I томился на острове Св. Елены под стражей океана?

Нельзя и думать, чтоб Людовик-Наполеон забыл изречение родоначальника Наполеонидов, – и остается предположить, что он в словах дяди о России видит только одно указание: чем бы должна была быть Россия, но чего, однако, в действительности, по мнению Наполеона III, она вовсе не представляет. Он ошибается; он не видит, что возможность приблизиться к источнику силы всегда при нас и с нами; он не подозревает, что мы несравненно ближе теперь к этому источнику, чем были 50 и 45 лет тому назад, что этот засоренный всяким мусором, свезенным с заднего двора Европы, источник начинает наконец нами расчищаться. То, что составляет наше действительное могущество, то остается до сих пор невидимым и неведомым Западу; то, напротив, что он видит и ведает, что способен понимать и ценить, что только и может назваться могуществом, с его точки зрения, то, без всякого сомнения, представляется ему слабее его собственного могущества. Только этой ложной оценкой нашей настоящей, кровной силы и можно объяснить ту слепую самоуверенность западных держав, с которой они предприняли свой дипломатический поход на Россию. Частные сведения, полученные нами из Парижа и помещаемые нами ниже, в этом же номере, подтверждают такое предположение: как лет 10 тому назад существовало в Европе преувеличенное понятие о нашем внешнем могуществе, так и теперь господствует там не только преувеличенное, но совершенно ошибочное понятие о нашем будто бы государственном бесси-

лии: доказательством может служить также французская статья о нашем войске («impuissance militaire»), вызвавшая ответ «Русского инвалида». Впрочем, ошибка Европы не в этом: ее выводы, пожалуй, и верны и согласны с ее логической посылкой на внешние признаки могущества и силы; ошибка в том, что эти условные признаки нисколько не выражают истинной меры нашего могущества. Постараемся стать на точку зрения Европы – Людовика-Наполеона, например, и посмотреть на Россию его глазами: как и чем представляется ему Россия?

Ему, как и всей Европе, Россия известна только своей европейски принаряженной стороной, только в европейском костюме, надетом на нее Петром I; костюм, или мундир был щеголеват, пояс перетягивал ее стан в рюмочку, и она в глазах европейцев представлялась статным и красивым молодцом; но мы все хорошо понимали и чувствовали, что этот мундир был тесен и узок, члены отекали кровью, движения были несвободны и вялы. Этот мундир наконец стал лопаться по швам, а наконец позволено было и правительством расстегнуть его на все пуговицы: мы вздохнули легче и вольнее, мы возвратили себе свободу движений и гибкость членов, но очень, может быть, что этот расстегнутый и лопнувший кое-где мундир представляется и не совсем красивым для европейского глаза, кажется ему признаком какой-то распущенности и дряблости. Чтоб не вводить его в смущение и соблазн, следовало бы и совсем отказаться от мундира и надеть свое русское платье. Это сравнение с мундиром довольно наглядно поясняет нашу мысль. Европа знает Россию только со стороны государственной и воображает, что она создана Петром, существует единственно как мысль и дело Петра. Петербург называют окошком, прорубленным из России в Европу; действительно, только в это окошко и сквозь это окошко и глядит Европа на Россию, а потому и судит о России только по Петербургу. Она убеждена, что могучая Империя, которой она так долго и неутомимо боялась, жила только благодаря своему могучему бюрократическому механизму и своим внешним материальным средствам. В благонадежность этих внешних средств она в первый раз пе-

рестала верить со времени Восточной войны и, замечая теперь некоторое расстройство в бюрократическом механизме, льстит себя приятной надеждой, что все силы Империи, крепость и связь частей ее окончательно подорваны: она не может понять, что это расстройство для нас спасительно, совершается вполне сознательно и свидетельствует о стремлении не только России, но и правительства заменить механизм прежней немецкой администрации естественной свободой органических, до сих пор стесненных отправлений.

Европа видела только могучую централизацию, какое-то наружное, отвлеченное, государственное единство, и не подозревала присутствия повсеместной, не государственной, а бытовой жизни, которой Россия есть, живет и движется, она не понимала, как глубоко вкоренено в русском народе сознание единства и целости русской земли, какая исполинская сила лежит в этой возможности ощущать и чувствовать себя 50-миллионным братством!..

От взора Европы укрывалось до сих пор, что только подкладка, так сказать, внутренней органической силы давала движение и силу петровскому государственному механизму, что только Русью жила и держалась Российская Империя, несмотря на все преграды, положенные органическому развитию Руси безусловным господством западной цивилизации, отступничеством русского общества от русской народности и вообще немецкими мастерами и подмастерьями государственных дел. От взаимного отношения народной Руси и официальной России зависит мера истинной, а не мнимой силы русского государства. Когда мы были сильны в смысле западном, – мы были слабы в нашем народном, русском смысле, и эта слабость не замедлила обнаружиться в Восточную войну. Мы возвращаемся теперь к источнику силы и являемся слабыми в глазах европейцев! Это понятно. Нам остается им показать, какова наша настоящая, не мишурная сила.

Но, может быть, возразят нам, Запад и не сомневается в истине изречения Наполеона I, но он убежден, что Петровская реформа уже навеки оторвала нас от источника жизни и кре-

пости, что иссяк этот источник, что подсох корень могучего дерева. Может быть, и действительно Запад рассчитывает так: «что мы, русские, уже неспособны к возрождению в смысле народном, что в России существует только одна официальная, так сказать, казенная Россия и народная Русь давно заглохла, а с официальной Россией ему не трудно будет справиться; что Россия 1812 года, внушившая Наполеону слова, приведенные выше, была цельнее России 1863 г., представляющей заметное разложение своих общественных элементов, которого не было прежде». И в самом деле, количество штыков у нас теперь меньше, чем было десять лет тому назад, курс на наши деньги стоит ниже, бумажных денег больше, а положение дел в Варшаве должно представляться человечку, совершившему переворот 2 декабря, явлением или непонятным, или же понятным только как симптом, как признак, вполне благоприятный для всякого постороннего вмешательства во внутренние дела России; как залог, наконец, нашей непременной уступки всякому строгому и соединенному требованию Западной Европы. При таких внешних признаках нашего могущества почему же и не предъявить таких требований? Россия на войну не пойдет, рассуждают европейцы, а если и пойдет, так 1812 год теперь не возобновится: «она слишком объевропеилась, чтоб проявить суровую, «варварскую» энергию той эпохи, ее правительство никогда не решится опереться на народные массы, ее государственные принципы слишком резко противоречат началам русской народности, ее государственные люди никогда не отважатся и неспособны даже прибегнуть к мере, указываемой Наполеоном I, – и это противоречие, разлад и недоразумение между народом и государством помогут одержать нам легкую над Россией победу».

Так рассуждают иностранцы, таково общественное мнение о нас всей Европы, таково, вероятно, мнение и Людовика-Наполеона и министров британской королевы!

Но они ошибаются! Мы верим, что только разочарование принесет им война, если она состоится, а едва ли она может не состояться при таком взгляде на нас Европы; да и

нам, кажется, не остается другого средства, чтобы разбить ее ложные надежды, сокрушить ее корыстные расчеты, добиться вновь подобающего нам почета и отвадить ее от охоты вмешиваться в наши внутренние дела. Мы должны явить миру, что Русь жива и существует, что внешние признаки слабости и разложения суть признаки нашего внутреннего перерождения; что, наконец, то, что в 12-м году являлось только эпизодически плодом сверхъестественного напряжения народного духа, пробивавшегося сквозь толстую кору казенности и тупости русского общественного сознания, то, надеемся мы, скоро станет нормальным ходом русской народной и государственной жизни. Нам предстоит доказать, что наши общественные недуги только накожные наросты, или, вернее, сыпь, освобождающая организм от внутренней болезни и свидетельствующая о выздоровлении: пусть только не вгоняют ее внутрь насильственными репрессивными мерами и пособят ей высыпаться свободно... Европа должна будет убедиться, что имеет дело не с государством только, но со всем русским народом и что польский вопрос есть именно вопрос не правительственный, а всей русской земли, что, наконец, не латинским и немецким стихиям разрешить этот вопрос и умирить Польшу: этот вопрос может быть разрешен и Польша умирена только свободным воздействием на поляков и на нас самих духовных и органических сил русского народа, без всякого постороннего вмешательства, нашей собственной властью и соизволением!

Европа не может понять, но ей придется понять, что Петровская реформа, задержавшая на время внутреннюю жизнь народного организма, оказала ту историческую услугу России, что вызвала к деятельности народное самосознание, просветила мыслью наши бытовые и непосредственные силы, заставила понять и уразуметь духовную сущность наших народных начал, оценить, наконец, по достоинству пригодность и пользу того могущества, порядка и благоустройства, на которые потрачено было столько сил и которыми думали у нас во время оно гордиться! Мы прозрели. Вне народа и народности не спасут нас никакие системы самой лучшей немецкой отделки,

никакие штуцера бельгийской работы и пушки английского изобретения, никакие советы, примеры и приемы действий французского императора – никакие дипломатические союзы: мы сами должны быть с собой в союзе, а этот союз для нас возможен только тогда, когда мы вполне отречемся от русских преданий Петербургского периода нашей истории. В этом единственно залог нашей победы и успеха. Мы, может быть, накануне войны; вспомним же и мы, сами для себя, изречение Наполеона: «Стоит русскому Государю отпустить себе бороду, и он непобедим...».

Доктрина и органическая жизнь

Что бы ни говорили о современном состоянии нашего общества, сколько бы сходства ни представляло оно с гниением разлагающегося трупа, но при всем том, везде и отовсюду чутко чувствуется и слышно слышится животворное веяние свежего вольного воздуха. Новая жизненная сила отовсюду подступает и обдает нас своими волнами. Да, повеяло, потянуло новым, еще не передышанным воздухом! Но по закону, общему для мира физическаго и для мира нравственного, движение свежей воздушной струи *ускоряет* самое разложение, а потому и понятно, что в то же время сильнее распространяется зловоние газов и атмосфера наполняется вредными, удушливыми миазмами. Действительно, нравственная среда нашего общества исполнена заразительных и мертвящих испарений, но против них нет другого целения, как преизбыток того же воздуха, усилившего и ускорившего тление. Он очистит, он разрядит нашу душную атмосферу, он оживит и обновить нашу смрадную и спертую храмину... Настежь же двери и окна, пусть без помех и затворов льется он нам свободно вольными, свежими, целебными струями!

Но многие и даже очень многие, в болезненном расстройстве своего организма утратив правду ощущений и чувств, принимают за свежие воздушные струи смрадные газы раз-

лагающегося тела. Движение, проявляющееся в процессе гниения, признается ими за движение самой жизни! Таких немало в нашем обществе, и в особенности на нашей литературной арене... Другие же, — наболевшие сердцем и душой от тяжелых, чудовищных нравственных миазмов, — в каждой чистой волне воздуха видят злокачественное испарение и в испуге, в понятном, но слепом негодовании отворачиваются сами от благотворной врачующей силы! Третьи по природе или потому, что уже давно обжились, стерпелись и слюбились со зловонием и смрадом не замечаемого ими гниения, или же, наконец, потому, что свежий воздух составлен не по их ученому и выписанному от иноземных докторов рецепту, в который они безусловно верят, — относятся враждебно ко всякому, даже самому легкому веянию этого свежего воздуха. И таких немало! К ним, между прочим, принадлежат люди солидные и высокочиновные, разумеется, не в буквальном смысле, — люди, *причисляющие* себя самодовольно к сословию жреческому и высшей иерархии ума и знания. Им вольный воздух противен.

Впрочем, нельзя не признать: свежий воздух редок и резок, и как бы мы ни желали его отрадного веяния, едва ли кто из нас может самонадеянно похвалиться такой здоровой грудью, что не почувствует он ни раздражения, ни перхоты, не закашляет, вдохнув в себя его первую, новую струю. Такое болезненное состояние бывает, впрочем, вообще непродолжительно. Но продолжительнее будет оно, и едва ли не суждено ему обратиться в состояние хроническое — у большей части наших утопистов и доктринеров. Не тем сказывается им наша Русская жизнь, которой пробуждения они ждали и чаяли, чем являлась им она в области их отвлеченных дум и мечтаний, не по той дороге идет, которую они ей услужливо предлагали, растет не в меру заранее измеренного ими роста, сильна такой силой, с которой им и не сладить, ставит вопросы, которых и не предполагала их теория. И неловко, и странно их отношение к новому движению жизни, к действительному подъему народного духа.

Но что будет с теми из нашего общества, которым свежий воздух враждебен, что должны испытать они, когда пахнет на них своими широкими крыльями пробудившаяся могучая жизнь? О, сколько острой простуды, сколько нравственных опухолей, флюсов и ревматизмов, не говоря уже о головоломных мигренях, угрожает этим важным преждевременным старцам! В самом деле: они привыкли видеть стройность и красоту только в прямых и однообразных линиях и в механическом, рассчитанном сцеплении колес и пружин; они не способны понять красоты и смысла волнующихся линий, и сама жизнь, с ее ускользающими от всякого расчета неведомыми силами, — жизнь и все живое понимается ими как беспорядок! И вдруг весь строй их умственной деятельности нарушен и потревожен. Смеясь над теми, кто в движении атмосферы с радостью отыскивает свежие струи целебного воздуха, бранясь и негодуя, они стараются уйти от опасной для них силы, взбираются на чиновничьи кресла, на высокие подмостки кафедр, укутываются плотнее в старые изношенные и полинявшие шубы, герметически закупориваются в «храме наук» или в стенах какого-нибудь казенного здания!

Да, в наше время проявляется воочию ход истории, слышится трепет новых пробудившихся жизненных сил! Эти силы, еще нестройные, не сложившиеся, нередко безобразные, волнуются и мятутся, требуют и не находят ни правильного исхода, ни нормы для своего проявления. Как река в своем стремлении, обогащенная притоком новых вод, сворачивает со дна неподвижные камни, несет с чистой влагой песок и мусор, рвет плотины, ищет себе нового вместилища и русла, — так пытливая и кипучая эта жизнь инстинктивно чует ложь во многом, что выдавалось ей доселе за непреложную истину, и, с дерзкой самонадеянной безразборчивостью отрицая сплошь все принятые установившиеся определения, разбивает шаткие подножия старых кумиров и смутно ищет Истины, пред которой могла бы и должна была бы смириться. Ей нужно бы услышать путеводное слово, нужно бы привить в себя благотворную, зиждительную силу сознательной мысли, прогреться лучами

истинного знания и живой науки, которые бы отделили в ней ложь от правды и добро от зла и дали бы ответ на ее новые, жизненные, исторические запросы... А между тем с холодных высот ученых кафедр раздается отрицание самой жизни, ее смысла, значения и прав! Наука, или та совершенная и замкнутая, со всех сторон отшлифованная и отделанная теория, которая выдает себя за науку, возвещает вам, что в мире нет ничего, кроме мертвого государственного механизма, что все совершается и должно совершаться от власти и посредством власти, в какой бы форме она ни проявилась, лишь бы носила она на себе печать внешней законности, что, наконец, сама жизнь, следовательно, и жизнь духа, есть одно из отправлений или функций государственного организма. С точки зрения такой несчастной доктрины, нет места вне порядка государственности никакому свободному творчеству народного духа. Начало внешнее, начало принудительное (в монархической ли или республиканской форме, для нас это все равно: равно остается тем же принудительным внешним началом), начало правды формальной и условной ставится выше начала внутренней свободы, правды и совести. Все живет и движется и обязано двигаться по однажды заведенному и математически рассчитанному механизму. Самонадеянно и близоруко пытается эта доктрина определить вес, плотность и емкость человеческого духа и органической силы жизни и отмерить только такое количество, какое, по ее неизбежно-ограниченным соображениям, нужно для правильного хода государственной машины.

Мы остановились на этом учении потому, что вопрос об отношении государства к народу и к обществу есть один из самых серьезных вопросов нашего времени, и потому еще, что слово этой доктрины раздается вновь между нами. Эта доктрина, мешая и путая все понятия, сама в себе носит, по нашему мнению, признаки бесплодия и смерти. Проповедники смешивают внешнее с внутренним, форму с содержанием, норму с живой самостоятельной силой, кору с сердцевиной. Мы считаем не лишним привести здесь кстати найденную нами в бумагах К. С. Аксакова следующую заметку по поводу вопро-

са о государственности: «Беда, если дерево обратится в кору, если кора, увеличивая объем ствола, станет беспрестанно поглощать жизненные соки дерева и мертвить сердцевину. Петр обратил преимущественное внимание на кору, на наружность, но не в том сила, крепка ли кора, а в том, сильна, здорова ли сердцевина». В самом деле, там, где начало государственности вышло бы за свои пределы, мало помалу иссякла бы всякая животворная сила. Государство, конечно, необходимо, но не следует верить в него как в единственную цель и полнейшую норму человечества. Общественный и личный идеал человечества стоит выше всякого совершеннейшего государства, точно так, как совесть и внутренняя правда стоят выше закона и правды внешней. Идеал может быть и недостижим, как и вообще недостижимо человеческое совершенство, но он должен постоянно предноситься пред человеком и побуждать его вперед к достижению и осуществлению. Но то, что является как несовершенство, как неизбежное зло, хотя бы и предложенное в наименее тягостной внешней форме, «наука» с кафедры выдает нам за высшую степень человеческого развития, возводит в апофеоз вечной, безусловной истины!..

Нам говорят, что для юриста повиновение закону (безразлично, хорошему или дурному) есть такая же аксиома, как дважды два четыре для математика. Но повиновение закону, как житейская аксиома, по нашему мнению, вовсе не входит в круг ученых соображений юриста, ни в круг «истин науки — права». Для юриста, напротив того, важно свободное отношение жизни к закону, его исполнимость или неисполнимость, его соответствие или несоответствие с временным уровнем общественной нравственности, его содержание, а не сигнатура. Закон не есть непреложная истина, не есть какое-то непогрешимое изречение оракула, не подверженное изменениям: он имеет значение ограниченное и временное, и бессмыслен закон, носящий в себе притязание уловить в свои тесные рамки свободную силу постоянно творящей и разрушающей жизни! Самое «право» не есть нечто само для себя и по себе существующее: неспособное выразить полноты жизни и правды, оно

должно ведать свои пределы и находиться, так сказать, в подчиненном отношении к жизни и в идее высшей нравственной справедливости. Читатели, конечно, не выведут из наших слов заключения, что мы проповедуем неуважение к закону или «анархию». Повиновение законам, без сомнения, желательно, но юрист не есть официальный блюститель благочиния, надзирающий за непременным практическим исполнением законов со стороны общества; он относится к ним критически, он не проповедует неповиновения, но отмечает его и принимает в соображение, как поучительный совершившийся факт. Впрочем, мы должны признаться, надо было бы иметь много отвлеченности в своем развитии, чтобы и на практике, в жизни, приводить в исполнение или требовать безусловного исполнения всякого закона, противоречащего совести и нравственным человеческим требованиям... если бы можно предположить существование такого закона.

Вообще чрезвычайно опасно регламентировать извне какое бы то ни было живое начало. Есть явления, которые стоит только подчинить «уставу», чтоб подорвать в них всякую жизнь и силу. Так, например, мы слышали, что даже и для наших артелей, этих самородных, подвижных, свободных промышленных общин, кто-то сочинил регламент и представил его правительству. Эта попытка, вероятно, останется без исполнения; ибо несомненно, что вмешательство государственного начала в настоящем случае убило бы нравственное значение и силу наших артелей.

Но довольно. Многое можно было бы сказать здесь о «чувстве легальности», в недостатке которого упрекают наш Русский народ, об отношениях науки права в Русской народной жизни и т. д., но мы отлагаем это до другого раза. Мы хотели только, с одной стороны, заявить здесь наше несогласие с провозглашенной теорией, безразлично требующей духовного поклонения всякой сигнатуре закона без внимания к его содержанию и духовно рабствующей пред внешним условным, принудительным началом; а с другой — указать на это мертвенное отношение так называемой науки к пробуждающимся

требованиям современной не только Русской, но даже и Европейской жизни, этот ответ ее, холодный и гордый, на ее тревожные запросы. Разумеется эта печальная доктрина выросла не на нашей почве, она заемная; но тем не менее достойны сожаления те, которые приняли ее в душу и принесли ей в жертву свое трудолюбие и таланты.

Но как бы ни продолжали закупориваться от свежего воздуха, веющего от жизни, пробудившейся в Русском народе, свежий воздух возьмет свое и выветрит залежалые, затхлые, отвлеченные доктрины. Остается надеяться, что те из наших «жрецов науки», которые уже умиротворились и успокоились в своем жреческом звании, высвободят наконец сами науку на вольный Божий свет, пустят свежий, вольный воздух в свой душный и тесный храм, растворят настежь окна и двери, раздвинут, если нужно, и самые стены храма и поймут, что только освободясь от всякого духовного и умственного рабства пред последним словом науки вообще и западной науки в особенности, только признав за Русской народностью право на самостоятельную духовную и умственную деятельность, только проповедью духовной свободы, живого знания и любвеобильной мысли будут они в состоянии направить к плодотворной работе молодые Русские силы.

В чем недостаточность русского патриотизма

В прошлом году, в самый разгар патриотического огня, объявшего всех Русских людей от мала до велика, без различия звания и состояния, мы осмеливались в своей газете выражать желание, чтоб это патриотическое одушевление не подавало Русскому обществу повода к самодовольству и самообольщению. Мы повторяли эту тему несчетное число раз и на всевозможные лады, мы старались, по мере наших сил, провести и водворить в сознании Русского общества ту мысль, что время и обстоятельства требуют от нас патриотизма иного качества, нежели в прежние годины народных бедствий;

что одного внешнего, так сказать, патриотизма, возбужденного видом внешней, грубой опасности, еще недостаточно; что есть опасность иного рода, несравненно опаснейшая; что надо уметь стоять за Россию не только головами, но и головою, т. е. не одним напором и отпором грозной силы материальной, но силой нравственной; не одной силой государственной, но и силой общественной, не одним оружием вещественным, но и оружием духовным; не против одних видимых врагов в образе солдат неприятельской армии, но и против невидимых и неосязаемых недругов; не во время войны только, но и во время мира. Мы говорили, что нам страшны не Поляки, не Немцы, не ополчавшаяся на нас Европа, а полонизм, германизм, европеизм и тому подобные измы. Мы напоминали читателям, что даже 1812 год, прославивший Россию подвигами беспримерного в истории патриотизма, когда встала вся Русская земля и снова, как двести лет назад, спасла государство, даже этот год очистительных жертв и страданий народных не излечил русского общества от недуга подражательности и подобострастного подчинения нравственному авторитету Европы и именно Франции; напротив, вслед за 1812 годом влияние как французское, так и вообще иностранное усилилось до высшей степени в России 1814—1815 годов. Россия времен Венского конгресса, конечно, не похожа на Россию 1812 года, когда она

…готовила пожар
Непобедимому герою.[1]

Многие Русские, явившиеся истинными Русскими при блеске Московского зарева, осветившего собой всю Русскую землю, почти не могут и Русскими-то назваться в период времени, непосредственно наступившего вслед за периодом Наполеона I. Читатели, конечно, помнят наши слова, столько раз нами повторенные, что мало быть вообще «Русским патриотом», надо быть еще Русским человеком, мало любить одну Русскую государственность, ее величие и могущество, надо любить, знать, понимать, ценить Русскую землю, Русскую народность, наконец, мало быть Русским только при больших исторических оказиях, но надо им быть и в будничное время

истории, в ежедневной действительности. В самом деле, у нас многие привыкли думать, ощущая в себе искренние движения патриотического чувства — при чтении ли оскорбительных иностранных депеш, при вмешательстве ли чужеземных держав в дела нашего государства или при каком-либо другом обстоятельстве, слишком грубо и видимо затрагивающим нашу государственную честь, — что этого доказательства их русскости вполне довольно и ничего более затем уже и не требуется. На упреки в недостатке народного самосознания в нашем обществе нам не раз приходилось слышать возражения такого рода: «А вот посмотрите-ка, какие мы Русские, какие мы патриоты в минуты опасности: сунься-ка на нас чужеземцы войной, мы все, как один человек, станем грудью за Русскую землю» и пр., и пр. Это действительно так, в этом нет и сомнения; и этим свойством нашим мы можем по праву гордиться, но этот похвальный патриотизм не мешает нам выдавать ту же Русскую землю тем же иностранцам – как скоро идут на нас не войной, а мирным набегом, и как скоро, не видя бранного вражьего стана и не слыша воинственных кликов, мы считаем возможным отложить в сторону патриотическое напряжение. Итак, одного внешнего, повторяем, государственного патриотизма ‘еще недостаточно. В числе русских героев и патриотов нельзя, конечно, не признать Миниха, Остермана, и однако же, несмотря на их громадные заслуги Русскому государству, мы не можем назвать их Русскими, людьми Русской народности, людьми земскими. «Русским патриотом» может быть и всякий иностранец, поступивший на Русскую службу и отдавшийся искренне и честно интересам России, но он мог бы быть таковым же патриотом и всюду, где бы водворился на оседлость и службу: благородный дух человека возбуждает его вносить любовь и душу во всякое дело, которое ему приходится совершать!.. Но тем не менее есть сферы, где таковой патриотизм иностранца оказывается несостоятельным, где необходимо быть не только Русским патриотом, а просто-напросто Русским человеком, думать и чувствовать по-Русски. Если же, однако, иностранцы, не будучи Русскими по происхождению, умеют делаться Рус-

скими патриотами и чуть-чуть не Русскими, то что же сказать о наших Русских, которые, являясь, как и они, «патриотами» во дни народных тревог и испытаний, умеют, наоборот, во все остальное время, будучи Русскими по природе, делаться совершенными иностранцами — знать не знают, да и знать не хотят ни Русского народа, ни существенных основ, стремлений и требований Русской народности?.. Таким образом, при всей внешней цельности и единстве России мы расколоты сами в себе внутренне, страдаем какой-то нравственной двойственностью, и общественный духовный наш организм не может похвалиться ни цельностью, ни крепостью.

Некоторые наши публицисты обратили недавно внимание Русской публики на иностранные сказания о России, издающиеся за границей и составляющие целую литературу, на так называемый Русский вопрос, выдуманный и сочиненный в Европе. Они справедливо негодуют на недоброжелательство иностранцев, на клевету и ложь, расточаемые Европейской публицистикой насчет России, и указывают как на новый прием злокозненной политики Запада на попытку иностранцев раздвоить Россию, в смысле нравственном, на две половины и противопоставить одну другой. В одном из недавних своих №№ «Московские Ведомости» привели любопытную выписку из Австрийской газеты «Wanderer», которая рассуждает, что в России есть Россия царя и Россия Русского народа, что всякие проявления последней в исторической жизни ознаменовывались диким фанатизмом и коммунизмом, что, к счастью человечества вообще и Европейской цивилизации в особенности, России Русского народа не скоро еще придется господствовать на исторической сцене и что Россия царя сама по себе могла бы не представлять опасности для Европы, если б вполне предалась ее цивилизующему влиянию. Нелепость этих немецких соображений так резко бросается в глаза, что не заслуживает серьезного разбора. Начать с того, что идея царя есть идея самая народная, которая до сих пор никоим образом, даже в теории, от идеи Русского народа отрешена быть не может и которой Русский народ оставался верным несмо-

тря на все превратности своей собственной судьбы и судьбы престола в XVII и XVIII веках. Это доказывается даже и действиями тех агитаторов, которые признают необходимым прибегать к имени царя, чтобы подвигнуть Русский народ к смутам и беспорядкам. Этот ужасный, по понятиям иностранцев, народ, заявляющий всегда себя в истории диким фанатизмом, невежеством и зверством, не поддался на преступные обольщения своих мнимых друзей именно потому, что он вовсе не демократ в смысле западном, т. е. нисколько не одержим жаждой политической власти, и что для него с идеей царя связывается идея порядка, благоустройства, беспристрастия, высшего мирного правосудия. Итак, о толкованиях газетой «Wanderer» идеи царя распространяться совершенно излишне, но нельзя не сказать, что иностранцы не совсем не правы, когда говорят о каких-то двух Россиях. Россия, разумеется, одна-единая, однородная и цельная в своем государственном и земском составе. Ее 60 миллионов одного племени, говорящих одним языком, исповедующих одну веру, обитающих не чересполосно, а вместе, в одной общей местности, составляющих один политический организм, какая европейская страна может похвалиться таким единством? Это единство, государственное и земское, сказывается при всякой внешней опасности. Но, со всем тем, не мы ли сами, т. е. не само ли наше Русское общество вводит в постоянное заблуждение иностранцев и способствует ложному пониманию ими России, не та ли наша двойственность, о которой мы упоминали выше, сбивает с толку умнейшие головы в Европе? Может ли, в самом деле, не двоиться в глазах у всякого иностранца, когда он видит пред собой Россию на Московском пожаре и Россию эпохи Венского конгресса? Русских в пылу битв 1812 года и тех же Русских в 1815 году?.. Не должны ли поразить всякого иностранца, умеющего читать и понимать по-Русски, те напряженные усилия, с которыми иные Русские публицисты отстаивают дело Русской народности и стараются поддержать в Русских общественных сферах уважение к Русскому народу и к его началам? Кому это напоминается, кому проповедывается? Неужели той стране,

которая не дальше как в прошлом году явила пред всем миром свидетельство своего единодушного патриотизма и своей земской цельности? И неужели такая страна еще нуждается в проповеди, нуждается в напоминании, что она Русская? Неужели в ней может еще быть уместно отстаивать интересы Русского народа, заботиться и беспокоиться о Русской народности? Разве в Англии есть англоманы, англофилы, разве французское направление французской газеты заставит французов смотреть на это явление как на особенную заслугу или как на особенный недостаток?! Это трудно понять даже и не иностранцу. А между тем мы-то ведь знаем, что это действительно так, знаем, что нам приходится чуть ли не на каждом шагу бороться с Русскими же за интересы Русской народности, не столько внешние (они легче находят себе защитников), сколько (и даже преимущественно) внутренние и духовные. Поэтому едва ли мы вправе обвинять иностранцев, ведая, по каким противоречащим данным им приходится судить о России! Могут ли они — по Русским в Париже и вообще по той массе Русских отцов, которых они видят ежегодно у себя во всех уголках Европы, вверяющими своих Русских детей иностранцам на воспитание, — могут ли они сделать какое-либо выгодное заключение о духовном и нравственном строе России? Но с другой стороны, как при той нравственной невзрачности, которой по большей части умело зарекомендовать себя Русское путешествующее за границей общество, понять оборону Севастополя, России 1812 и 1863 годов? Урок последнего года едва ли, однако, пройдет даром для иностранцев. Они начинают соображать, что главное – не надо затрагивать Россию со стороны ее государственной чести, одним словом, с тех сторон, с которых вопрос ясен для разумения даже простого народа, которые способны разбудить дремлющего в своем логовище льва и видом внешней опасности вызвать дух патриотизма даже во всех классах нашего общества. Они начинают убеждаться, что необходимо всячески обходить этого льва, чтоб его не затронуть, — а вместо него употребить, или, по современному модному выражению нашего промышленного

века, эксплуатировать в свою пользу Русское общество с его притязаниями на европеизм, с его не страшным для европейцев в мирное время, с его недальновидным патриотизмом.

Помощников в этом деле они найдут в России немало, и труды их падут на почву не неблагодарную!.. Впрочем, что нам за дело до иностранцев? Мы упомянули о них так только, кстати, для того, чтобы яснее и нагляднее представить в отражении иностранного зеркала, отражении, конечно, обидном для нашего национального самолюбия, тот действительный недуг, которым мы страдаем и который мы все еще плохо сознаем и видим. Пора перестать нам самодовольно обнадеживаться нашим патриотизмом и, так сказать, считать себя вполне нравственно-обеспеченными известной нашей способностью стоять грудью, приносить жизнь и достояние на алтарь Отечества. Пора убедиться, что эта способность нисколько нас не обеспечивает в такое время, когда нет неприятельских армий, с которыми можно было бы бороться, когда груди, жизни и достояния не требуется, а требуется деятельность мыслящего, трудящегося, подвизающегося духа; когда «алтарь Отечества» ждет иных даров — гражданской доблести, любви и разумения Русской народности, наконец, талантов, которыми так богата Русская земля, но которые в ней до сих пор лежат зарыты, грубы, не обделаны и уж, разумеется, не могут быть ни разработаны, ни умножены с помощью одного внешнего патриотизма. Пора же понять, наконец, что способность патриотических жертв во время войны нисколько не освобождает нас от обязанностей нравственных во время мира, и что если к 1863 году Русские из-за границы сбежались в Россию, то нет никакого нравственного основания разбегаться после 1863 года, по миновании надобности в патриотизме, из России за границу вновь и воспитывать Русских детей в Швейцарии, Дрездене, Фрибурге и в прочих немецких рассадниках Русского юношества! Пора также не очень-то гордиться своим единством и цельностью и уразуметь, наконец, что единством и цельностью мы обязаны прежде всего не Русскому обществу, а Русскому народу — этому громадному и несомненному факту единства

и цельности, но что в противоположность этому внешнему или, лучше сказать, земскому единству и цельности, в противоположность нашему простому народу, мы как общество являем в себе отсутствие духовной цельности и органической силы. Оттого-то наша «интеллигенция» до сих пор так непроизводительна, оттого-то иностранцы или судят по нас о целой России, или же, видя пред собой публику и народ, воображают, что видят две разные России! Оттого-то Россия могуча и слаба в то же время. Известны слова Дидро, посетившего двор Екатерины II: «La Russie est pourrie avant d'être mure,[2] — слова чистейшей лжи относительно настоящей, народной России и верные лишь относительно некоторой части тогдашнего Русского общества... Известно также нелепое, до пошлости избитое выражение иностранцев, так охотно ими повторяемое, что Россия есть колосс на глиняных! ногах, тогда как именно ноги-то, фундамент ее — не из глины, а из камня и меди...

Мы со своей стороны нисколько не негодуем на иностранцев за их «клеветы и ложь» на Россию, за их попытки, обличенные недавно нашими публицистами, подорвать наше «единство и цельность». Мы, напротив того, чрезвычайно благодарны им за указание наших ахиллесовых пят, наших слабых сторон и признаем эти нападки настолько основательными, насколько мы сами, мы, Русское общество и Русская интеллигенция, подаем к тому повод. Скрывать от иностранцев разрыв образованных классов с народом, слабость народного самосознания в Русском обществе, недостаток цельности, единства духовного с Русской землей и отсутствие органического творчества в так называемой Русской интеллигенции — скрывать это было бы совершенно напрасно; да и невозможно. Обличителем нашей неискренности в этом случае была бы сама история допетровской Русской литературы, в которой наилучшие, наиоригинальнейшие и уже бесспорно самые искренние произведения — это произведения юмора и сатиры, протестующие не против России Русского народа, а против России Российского общества, России салонов г-жи Китти и иных общественных сфер. Не скрывать, а раскрывать, напро-

тив, для нашего собственного сознания со всей подробностью правды, недуг нашей общественной жизни — вот что теперь нам необходимо, вот в чем теперь гражданское мужество. Необходимо было бы нам отвлечь наши взоры от внешней политики к внутренней жизни, — наши симпатии от наружного вещественного нашего величия к нашим общественным силам, теперь скудными и бедным, и помнить, что, отрицая значение Русской народности, хотя бы только в науке и искусстве, не домогаясь от нее самостоятельности и самобытности в области духовной, мы недалеко уедем на нашем патриотизме, напротив, с таким чисто внешним патриотизмом ослабим, пожалуй, и единство, и цельность, и самостоятельность, внешнюю и политическую, нашего Отечества!

Отчего Россия так мало способна к обрусению своих окраин?

«Обрусить», «обрусение», «государственное единство» – едва ли какие иные слова провозглашались так часто в последние годы; едва ли «обрусение» не Русских или недовольно Русских окраин Российской Империи не было господствующим вожделением патриотизма, пробужденного в Русском обществе польским мятежом 1863 года. «Обрусение» и «государственное единство» — это, бесспорно, самые ходячие идеи и задачи нашего времени, — задачи крупные и серьезные. Общественное движение, возникшее в России благодаря Польскому мятежу, принесло уже ту огромную пользу, что заставило подвергнуть поверке и оценке крепость и прочность тех внешних уз, которые связуют между собою различные части Русского государства, и раскрыло ряд вопиющих безобразий в отношениях наших окраин к центру. Но это раскрытие и эта поверка привели к постановке новых вопросов. Под воздействием возникшего направления со всех сторон устремились пылкие деятели на «подвиг обрусения» наших окраин, — прошло два–три года, и этот пыл начинает частью остывать, частью смываться

разочарованием — ввиду ничтожности положительных добытых результатов. «Отчего так туго идет у нас обрусение? Отчего за период Русского государственного владычества нам не только не удалось обрусить нашей местности, но удалось разве ее ополячить или онемечить? Откуда такое бессилие?» – вот вопросы, которыми осаждают нас наши корреспонденты из прибалтийских губерний, из Ковенской губернии, из прочих губерний Северо-западного и Юго-западного края. Никто, конечно, не станет отрицать великой важности этих вопросов и настоятельности ответа. Никто, конечно, не решится ответить на эти вопросы сразу, с притязанием на безошибочность разрешения. Тем не менее поработать над их разрешением обязан каждый. Мы, со своей стороны, ограничимся на сей раз обозначением, в главных чертах, темы нашего ответа, предоставляя себе развить ее впоследствии в целом ряде статей. Конечно, указать на причины бессилия не значит еще уврачевать бессилие, но врачевание есть дело жизни, а указание есть дело сознания, и от этой работы сознания мы уклониться не можем.

Нам кажется, что ничтожность добытых результатов «обрусения» происходит, во-первых, от ложного или по крайней мере одностороннего понимания идеи государственного единства и самой задачи обрусения, а во-вторых, от совокупности внешних и внутренних условий нашего государственного и общественного развития в так называемый петербургский период нашей истории. Мы не станем теперь много распространяться о первом положении, так как оно до очевидности объясняется и доказывается вторым. Скажем только, что идея государственного единства понимается у нас большинством нашего общества и публицистов чисто внешним и отвлеченным образом, *вне* идеи народности. Между тем государственное единство есть только внешнее выражение единства внутреннего и органической цельности той населенной страны, которая составляет государство; есть результат нравственной крепости того народного исторического типа, в котором заключается причина и смысл политического бытия известной страны и ради которого одна страна называется Францией,

другая Россией и т. д. Если *это* внутреннее единство прочно, если сама народность, создавшая политический организм, вложившая в него душу живу, цельна и крепка внутри себя самой, верна самой себе, не утратила веры в себя и все отправления внешнего организма одухотворены ею, то и внешнее государственное единство тем самым вполне упрочено, даже без особенных хлопот о соблюдении этого внешнего единства; оно является как непременный логически вывод из цельности внутренней. Напротив того, идея государственного единства, отвлеченно взятая и извне прилагаемая, сама по себе не может сотворить никакого прочного единства; доказательством этому может служить Австрия, где при слабости зиждительного народного элемента никакие усилия создать гезамт-фатерланд с помощью чисто искусственных мер и на основании абстрактных соображений о государственной пользе и необходимости не помогли делу. Точно также и с «обрусением». Поставленное как чисто-государственная задача, никакое искусственное или принудительное отождествление инородцев с народным историческим типом, давшим бытие известному государству, не достигает цели и окажется бессильным, если нет при этом действия иных нравственных и чисто общественных сил. Такое притяжение, такое сращение инородных частей или окраин с народным организмом может совершиться только тогда, когда сам этот организм полон жизни и крепости. При таких условиях задача была бы не в том, чтобы *обрусить* внешним способом наши окраины, а в том, чтоб они сами собой *обрусели.* Надо бы, чтобы сила обрусения била естественным могучим ключом из нашей народности самосознания, из несомненной в нас веры в право и призвание нашего народа; если же в нас самих чувство народности слабо или искажено, то никакие отвлеченные политические побуждения не придадут нам способности обрусения. Как человек безличный, несамостоятельный, подчиняющийся легко чужому влиянию, неспособен наложить на других печать своего духа, так и народная личность теряет силу ассимиляции, если почему-либо утратила свою духовную цельность и самостоятельность. Кажется,

это просто и ясно. Замечательно, что самые внешние средства, употребляемые государственной властью в видах объединения, только тогда и успешны, когда они являются сами необходимым выражением этой внутренней силы народного духа; тогда они теряют даже характер тирании и за ними признается какое-то нравственное право даже со стороны тех, против которых они направлены. Те же самые меры, которые, например, приняты были Прусской государственной властью в Познани (хотя бы введение единства государственного языка) и без особенного ропота и сопротивления привели к желанному для Пруссии результату, — те же самые меры, принятые в России со стороны Русской государственной власти, оглашаются мерами насильственными и притеснительными, вызывают отпор и жалобы и легко смущают нашу совесть. Эго происходит оттого, что в Пруссии принимаемые властью меры не суть голое действие одной власти, но выражают нравственную силу самомнения, так сказать, всей немецкой народности, — между тем как у нас подобные требования со стороны власти не всегда опираются на такое же отношение к нашей собственной Русской народности...

Поясним нашу мысль наглядными примерами и перейдем ко второму нашему положению.

Корреспондент одной петербургской газеты негодовал однажды в пылу своего стремления к обрусению наших окраин, зачем Дерпт, основанный великим князем Ярославом, называется Дерптом, а не Юрьевым, и требовал, чтобы древнее Русское название этого совершенно онемеченного теперь города было непременно восстановлено. Он удивлялся, зачем Русское правительство в официальных бумагах удерживает немецкую кличку за этим городом Русского происхождения и тем как бы признает за немецким населением право причислить этот город к немецкой народности. Но мы со своей стороны, читая эту патриотическую выходку, совершенно отвечающую господствующему теперь взгляду на обрусение, удивились только тому, что такое требование о переименовании Дерпта в Юрьев печатается в столичном городе *Санкт-*

Петербурге. Редактор Санкт-Петербургской газеты, проживая в Санкт-Петербурге и катаясь летом из Санкт-Петербурга то в Шлюссельбург (древний Орешек), то в Петергоф, то в Екатерингоф, как бы и не замечает немецких прозваний тех Русских местностей, в которых сам живет, как бы забывает, что эти немецкие прозвания даны были не немцами, а самими Русскими, не историей, а собственной личной охотой самих строителей. Если б он вспомнил это, то, вероятно, задал бы себе вопрос: по какому праву, на каком логическом основании может Шлюссельбург, Екатерингоф или Санкт-Петербург негодовать на немецкое прозвание Дерпта и требовать его переименования в Юрьев?

В этом примере отражается все положение современного вопроса об обрусении наших окраин и о государственном единстве. Мы сказали выше, что государственное единство есть только внешнее выражение внутреннего единства и духовной цельности того народного исторического типа, который дал историческое бытие государству; что обрусение может быть действием только нравственного свойства, свободно и естественно происходящим от силы народного самомнения, от той энергии, которая лежит в самой нравственной сущности Русского народа и которая должна проникать собой все отправления его политического организма. От степени этого проникновения государственных отправлений духом народности, от силы этого внутреннего единства зависит сила единства внешнего, сила объединяющая, сращивающая, сплачивающая воедино части государства, окраины с центром, инородцев с народом, которого духом создалось государство. Единство Русской земли само собой привело к единству государственному; но есть разница в государственном единстве Русского царства до Петра и в государственном единстве Российской Империи, и эта разница обусловливается разницей в политическом и нравственном значении Русского народного элемента в обоих периодах нашей истории. В допетровской Руси символом единства Русской земли была Москва, и все окраины Руси прикреплялись к ней крепко, сращивались неразрывно, не столько, даже

всего менее, действием внешних искусственных мер, сколько действием народного духа, силой духовной цельности народного организма. Чувство народности, сознание прав и обязанностей народной личности не подвергались в Русских людях ни отрицанию, ни сомнению.

Отчего же со времен Петра оказались мы до такой степени несостоятельными в деле объединения, что почти ни одной из окраин, приобретенных в период империи, как на Западе, так и на востоке, не удалось нам не только обрусить, но даже и прикрепить к империи настолько, чтоб об их неразрывности с ней не могло бы быть и вопроса? (Если что из приобретенного обрусело и окрепло, так не вследствие внешних распоряжений, а вследствие свободной, или, вернее, самовольной, противозаконной народной колонизации.) От современного состояния государственного единства, от этого внешнего факта мы по необходимости должны сделать логическую посылку к фактам внутреннего единства и к живости народного самосознания в наших современных внешних действующих силах. Состояние наших окраин и результаты «обрусения» служат здесь естественным *силомером.* Что же мы находим?

Если символом единства Русской земли была во время оно Москва, то символом государственного единства *Русской* Империи, знаменем *обрусения* немецкой и иных окраин был и есть Sankt-Peterbourg – столица Российской Империи называлась с самого основали своего именем не Русским, а немецким. Дело не в названии, слышим мы заранее возражения с различных сторон: можно ли придираться к таким мелочам, к такой внешности?! Положим, что название города, говоря вообще, значит немного, но здесь это название есть, как мы уже сказали, целый символ, служит выражением целого миросозерцания, целой системы, это немецкое наименование новой столицы Русского государства знаменует собой дух и направление всего послепетровского периода Русской истории. Если неубедительно сразу, почему Sankt-Peterbourg не успел обрусить немцев Прибалтийских губерний, равно как и других инородцев и вообще наши окраины, то мы спросим сомневающихся: способствова-

ло ли укреплению и возвышению чувства народности и веры народа в самого себя, в право и призвание своей народности, одним словом, воспитанию силы, необходимой для «обрусения», то обстоятельство, что портные за шитье русской народной одежды ссылались в Сибирь и наказывались кнутом? Податливее ли становились обрусению немцы и иные иностранцы и склоннее ли усвоить себе Русский язык — от того, что весь этот Русский язык испещрен был насильственно введенными в него немецкими выражениями и словами? Содействовало ли развитию Русского народного типа, возвеличению в Русском человеке чувства народного достоинства, усилению в нем самостоятельности, самодеятельности и способности «обрусения» то, что все должности, чины и звания государственные, ветви управления окрещены были названиями не русскими, а немецкими, как это пребывает и доселе? Немецкие чины и прозвания, немецкий язык в изданиях Академии, не русский язык в дипломатических документах, не русский, а немецкий строй администрации, немецкие канцелярские порядки даже в области церковного управления, во главе которого стоит Святейший Синод с обер-прокурором и обер-секретарями, изгнание Русского языка из домашнего и светского употребления в высших общественных сферах – неужели все это только внешность, пустяки, мелочи? Неужели все это не внешние признаки глубокой внутренней болезни, расколовшей духовную цельность нашего народного организма? Все эти симптомы не делают разве для нас понятным появление целого ряда постановлений и мер, чуждых и противоречащих основным, бытовым и нравственным началам Русской народности, или искажающих его духовную сущность? Не объясняют ли они нам то незнание России, то отчуждение от ее народных потребностей, истории, преданий, при котором только и возможно было — из тысячи примеров возьмем один, на который указывает даже и «Северная Почта» в своем 278 №, итак: при котором только и возможно было предать наш «Северо-западный и Юго-западный край князю Чарторыйскому на вящее ополячение и олатинение, после славного «спасения и умиротворения Европы» ценой

Русской крови? Не здесь ли должны мы искать истолкование того не национального направления в политике, которого держались мы до самого последнего времени? Не здесь ли, наконец, ключ к разгадке, почему в настоящую пору так слабы внутренние связи наши с окраинами, так плохо удается нам обрусение, ставшее задачей чисто-внешнего, искусственного, принудительного, насильственного свойства, задачей, основанной на одних политических соображениях, при неискреннем отношении к самой Русской народности…

Мы только слегка и с явной воздержанностью обозначили черты нашего внутреннего народного раздвоения и происходящего оттуда бессилия нашей государственной объединительной силы. Оставляем более сильные доказательства про запас. Мы предвидим, что возражения наших противников заставят нас развить нашу мысль и примеры с большей обстоятельностью и подробностью, что мы и не замедлим исполнить. К несчастью, эта тема богатая. Если в нынешнее царствование благодаря, в особенности, освобождению и наделению крепостных крестьян землей и большему простору, данному Русской жизни, Русское народное самосознание сделало уже значительные успехи в массе Русского общества, то тем не менее недуг еще вовсе не излечен и положение дел в главных своих основаниях остается то же, особенно в высших, преимущественно петербургских общественных сферах. Впрочем, само патриотическое возбуждение последнего времени, понимание патриотизма с чисто внешней, государственной его стороны; далее – отвлеченное понимание задач государственного единства и наружного, искусственного обрусения, независимо и даже совершенно вне идеи о единстве духовном и внутреннем, даже с пренебрежением к нравственным требованиям Русской народности, — все это еще более спутало понятия о причинах снедающего нас недуга. Мы поговорим в другой раз об этой модной доктрине, ублажающей наше патриотическое чувство и умеющей сочетать идею «патриотизма» с учением о безнародности, — доктрине, проповедующей какую-то отвлеченную государственную национальность и забывающей о том

народном историческом духовном типе, который, повторяем, составляет основу, смысл, причину бытия Русского государства. Наша статья и без того длинна. Скажем в заключение, что тратить силы на усердное лечение внешних признаков болезни и ее местных проявлений едва ли к чему поведет, если мы не примем в расчет самые причины, самый корень болезни. Чтоб иметь возможность и право обрусить кого-либо, повторим еще раз, нужно нам вновь обрусеть самим, — а обрусели ли мы? Одни ли прибалтийские и германские немцы у нас немцы? Оглянемся вокруг, всмотримся и вдумаемся.

О нравственном состоянии нашего общества и что требуется для его оздоровления

Лицам, стоящим на высотах власти, не мешало бы иногда снизойти с этих высот долу, перенестись, хоть мыслию, в положение всей этой несметной массы подвластных, поразведать, постараться понять, как отражается правительственная деятельность в общественном сознании, в лад ли с правительственным камертоном духовный строй управляемых, и если не в лад, то почему: строй ли фальшив, камертон ли неверен или же не довольно звучен? И тем нужнее подобное расследование для центральной власти, чем отдаленнее и уединеннее место ее пребывания от сосредоточия народной и общественной жизни. Мы разумеем здесь, конечно, не одно ведение действительных, практических нужд страны – экономических, бытовых, социальных, потребность которого уже достаточно определилась да и вполне признана самим правительством; мы в настоящем случае имеем в виду нечто иное – именно нравственное состояние общества, которое не может же не быть принимаемо в соображение и расчет верховодящей властью. В области управления действуют не одни внешние условия пользы, выгоды, практической целесообразности, но и нравственные факторы – сочувствие, одушевление, доверие. Не одни частные, дробные, хотя бы и вполне основательные мероприятия

двигают страну к преуспеянию, но еще сильнее, может быть, двигает ее провозглашение и исповедание начал, указание идеалов, – одним словом, все то, что вызывает в обществе жизнь и деятельность духа. Нравственное состояние общества – это именно та атмосфера, от которой зависит рост и процветание правительственных законодательных насаждений: оно может быть здоровое или недужное и в последнем случае нередко нуждаться в правительственном врачевании; оно может испытывать в данную минуту и особые психические потребности, заслуживающие заботливого внимания, а иногда и немедленного удовлетворения...

Никто не назовет нравственного состояния нашего общества здоровым, да откуда же здоровью и быть? Было бы более чем странно, если б мы совсем безболезненно расквитались с позором и ужасом последних лет и с олимпийским спокойствием предусматривали в будущем возможность нового срама, нового содрогания, новых обид и бедствий. Не может же нормальный строй духа освоиться с подобной чудовищной аномалией и признать ее неизбежной принадлежностью русского общежития, естественной приправой нашего ежедневного обихода! Поистине можно только дивиться крепости наших общественных основ и нервов! А нервы все-таки потрясены, и у всех; недоумение пригнетает многих; колобродство мысли и шаткость нравственных понятий, смута умственная и душевная одолели немалую часть общества. Но и в большей его части, в той, которая чужда и так называемого нигилизма, и доктринерского либеральничанья, которая в своем стремлении к гражданскому совершенствованию, к правде силится удержаться на органическом и историческом, национальном пути, – и в этой части общества, сравнительно более здоровой, нет сердца, не удрученного скорбью, не одержимого страстным желанием обновления в надежде и вере. В самом деле, после всех страшных событий, насильственно прервавших мирное течение исторического дня, невозможно же «возвратиться паки на прежняя», то есть пытаться восстановить то же течение, как будто ничего и не бывало, как будто все совершившееся было лишь случай-

ным эпизодом, временной досадной помехой! Слишком натянуты были все струны общественного духа, слишком жгуча испытанная боль; слишком остры страдания... После внезапно охватившей нас тьмы и удушья живее, томительнее алчется света и воздуха. После этого урагана лжи, закрутившего умы, заслепившего души, так нужно, – никогда не было нужнее мощное дыхание правды! После всех этих явлений слабости, безволия, зыбкости мнения и хотения в представителях власти, какой неотразимой, мучительной потребностью стала для общества сила усугубленная, воля незыблемая, твердая, ясная мысль! Блистательное, торжественное оправдание нужно тем началам порядка, на которые совершено было посягательство, которые подверглись порицанию и отрицанию и которым пребыло верно необъятное большинство всей страны! И как бы хотело оно, это большинство, снова беззаветно довериться, снова одушевиться надеждой и рвением, и ждет оно внятного, властного зова, вслушивается, всматривается, нет ли где путевых указательных признаков, не видать ли высоко и бодро развевающегося знамени...

Едва ли эта общественная потребность сознается вполне отчетливо в Петербурге, на окраине нашего государства, в наших высших, руководящих сферах. Благонамеренность правительственных деятелей не подлежит, да и не подвергается, думаем, ничьему сомнению; целый ряд частных полезных мер свидетельствует о прилежной заботе и работе людей, поставленных на высшей чреде государственного служения; но вся эта полезная и честная деятельность, – и считаем гражданской обязанностью высказать это откровенно, – по своему дробному и как бы случайному характеру не стоит на уровне того, что на потребу нашему историческому дню и возбужденному общественному духу. Нравственная сила ее значения не перевешивает ни прошлых пережитых, ни даже настоящих еще продолжающихся испытаний. Ибо не следует забывать, что возобновляющиеся от времени до времени проявления революционного нигилизма, еще удесятеряемые, преувеличиваемые молвой, не особенно могут способство-

вать тому водворению душевного спокойствия, которое так было бы желанно для нашего нравственного исцеления. Они только обостряют положение, обостряют самые ожидания и требования, обращенные к власти. Но даже и те надежды и упования, которыми, к своему утешению, уже готово было заручиться общество, не успевают сложиться в прочный залог – вследствие каких-то особенных, новых, характеристических условий нашей общественной жизни. Никогда не разгуливали на таком просторе молва и сплетня, как в наши дни, и какая молва, какая сплетня?! Не о каких-либо подробностях частной жизни или административных нравов, а о самых основах правительственной программы, об удалении, смене и назначении лиц, стоящих во главе самых важных ведомств! Ошибочно было бы и едва ли безвредно относиться к такому явлению, как к «пустякам», как к праздной, невинной забаве или как к неотвратимой принадлежности всякого общественного быта. Эти пустяки касаются вовсе не пустячных общественных государственных интересов, только плодят смуту и шаткость умов, действуют самым деморализующим образом. Но где же причина такого их преобладания в нашей современной жизни? Не в том ли именно, что не всем и не отовсюду видно то знамя, которого один вид мог бы обличить в неправдоподобии всякую молву и сплетню, что недостаточно звучен тот правительственный камертон, о котором мы говорили выше и по которому мог бы верно налаживаться общественный строй?.. Другими словами: обществу все еще до сих пор не довольно известна правительственная программа; оно все еще не вполне уверено в непреложности направления своих руководителей и потому до сих пор еще не может отстать от гаданий, от предположений – нередко фантастических; не может установиться и осесть на твердой основе и все еще волнуемо слухами, как ветром. А между тем, с другой стороны, в то же самое время оно продолжает испытывать очень реальные, очень существенные болезненные ощущения – вследствие, например, убийств, подобных недавнему убийству Стрельникова[1], открытию то там, то здесь динамита и т. д.

Дошло до того, что человеку, не принимающему непосредственного участия в правлении, для сохранения спокойствия духа и ясности соображения лучше всего зажать уши и запереться в своем кабинете. Но и здесь не найдет он покоя, если только заглянет в иностранные газеты, в которые корреспонденты-иностранцы (ими же кишит Петербург) немедленно сообщают все колебания петербургской общественной атмосферы, со всеми ее слухами, толками и бесчисленнейшими анекдотами. Те же самые колебания мгновенно передаются Москве и провинции. Люди, «заслуживающие вероятия», на основании «самых достоверных сведений» то и дело сообщают вам, что такой-то главный начальник того или другого ведомства шатается, валится, заменяется другим, совершенно иного характера и направления... Обращаетесь к самим «чинам ведомства»: они – в тревожной неизвестности, но вероятности такой перемены, однако же, не отрицают; наводите справки ваши: вам расскажут, будто и сам главный начальник ведомства не уверен в своем положении, так как вокруг него кипят интриги, под него ревностно подкапываются и т. п. Мы вовсе и не думаем, что такая неопределенность существует близ самого источника власти: мы, напротив, вполне убеждены, что не только там ее не имеется, но что там даже вовсе и не подозревают возможности подобных общественных сомнений и толков: вот почему именно мы и позволяем себе обратить внимание власти на необходимость устранить для общества вред таких беспрестанных недоразумений. Последние, повторяем, едва ли б даже были возможны, если б слышнее, тверже, явственнее объявилась, вслух и воочию всем, воля и программа правительства. Никакая спокойная, хладнокровная, точно рассчитанная деятельность, конечно, немыслима там, где деятели чувствуют зыбкость почвы под своими ногами и постоянно смущаемы обидными слухами или дерзкой интригой! Да и заключает ли в себе подобное состояние общественной атмосферы те условия нравственного оздоровления, которые так необходимы русскому обществу после всех пережитых им содроганий и впечатле-

ний и которые прежде всего и полнее всего могут быть преподаны свыше – проявлением воли и силы?

Мы же, со своей стороны, еще не колеблемся в убеждении, что оздоровление России вовсе не так мудрено и трудно, как с отчаянием в душе думают некоторые; что неистощим в ней запас крепких, неиспорченных органических сил, которые стоит только вызвать наружу, освободив их из-под гнета наносного разлагающегося хлама бюрократической рухляди и чужеродных нашему государственному организму паразитных тел... Нужно бы только, верится нам, – после искуса, выдержанного Россией в течение всего петербургского периода ее истории, после всех попыток новейшего времени произвести рознь между верховной властью и народом, – явить такое торжественное знамение единства и общения власти со своей страной, от которого, как марево, рассеялось бы, как шелуха свалилось бы все ненародное, с нигилизмом и прочими общественными недугами, в чаянии новой, лучшей исторической эры!..

Во всяком случае, несомненным представляется нам одно: крупны были испытанные Россией ощущения, – нужно и крупное властное действо... Вот в чем психическая общественная потребность, которая, смеем думать, заслуживает некоторого внимания.

Русский прогресс и русская действительность

Представьте себе, читатель, громадную, тяжело нагруженную колымагу, медленно движимую по грязной, топкой дороге, шестериком здоровых, крепких, но несколько ленивых коней и тройкой выносных или передовых, на одной из которых усердно беспокоится бойкий форейтор. Колымага то и дело вязнет в глубоких колеях, колеса упираются в рытвины или наворачивают на шины целые пуды грязи; лошади, ощупью отыскивая твердой опоры для копыта, беспрестанно оступаются и проваливаются. Пришлось, наконец, подниматься на гору, за которой, по рассказам, дорога становится лучше. Что-

бы одолеть этот подъем, нужно бы дружным усилием всех девяти коней подхватить и вывезти колымагу, но не тут-то было! Беспокойный форейтор, приударив своих лошадей не вовремя, так натянул постромки, что они лопнули; колымага с шестериком засела в трясине, на самом взлобе дороги, а форейтор со своими выносными конями ускакал вперед! И скачет форейтор, не оглядываясь, все вперед да вперед; скачет, не слыша отчаянных криков кучера увязнувшей колымаги, не разбирая дороги, – целиком, по полям и нивам, чрез ручьи и овраги, не заботясь об экипаже, да и не соображая, что во всяком случае грузный экипаж так скоро мчаться не может; скачет, предовольный собой и своей быстрой ездой, и в пылу погони за блудящими огоньками воображает, что везет колымагу к настоящему путеводному свету!..

Мы только подробнее и пространнее начертили образ, на который еще покойный И.В. Киреевский указывал для характеристики просвещения Польши в XVI и XVII веках; но едва ли еще не с большей верностью может он послужить, как сравнение, для самой России. Эта тяжело нагруженная колымага с шестерней добрых коней не наша ли земля с ее материальными и духовными богатствами, не народ ли, оставшийся позади, без средств к просвещению и внешнему преуспеянию, народ, от которого оторвались верхние слои общества?.. Этот форейтор, так шибко скачущий, потому что не тащит за собой никакого груза, не мы ли, так называемое образованное общество, мчащееся во весь опор верхом на цивилизации, подгоняющее ее татарской нагайкой работы немецкого мастера, скачущее к прогрессу не столбовой дорогой, а какими-то особыми кривыми путями, вне всяких исторических, жизненных условий? Эти блудящие огоньки не те ли «идеи века», за которыми так безразборчиво гоняются наши прогрессисты?.. Кстати, об «идеях века»: мы взяли это выражение из одной газеты и находим, что оно очень удачно высказывает точку зрения и характер стремления форейторов-профессистов известного сорта! Им нет дела до содержания идеи! Им достаточно того, что, по справке, она оказывается европейской, современной, и

в названии «идеи века» они видят высшую, безусловную похвалу! Они забывают, что не одни идеи Гизо, но и идеи Прудона также идеи века, что такое качество ничего не определяет, а потому и такое выражение ничто более, как пустая бессмысленная фраза! Но фраза-то нас и губит!

В самом деле, покуда форейторский конь, подгоняемый нагайкой, скачет по пути прогресса за идеями века, что делается нами для народа, для его нравственного подъема? Положим, мы и поймали идею века, но что же в том толку, когда за нами и с нами нет народа, когда наши связи порваны, когда мы с ним на разных путях, когда мы лишены его опоры и сочувствия, и сами, со своей стороны, дорожа только мнением Европы, ставя ни в грош его мнение и одобрение, лишаем его нашей, необходимой ему и возможной для нас, подмоги, то есть не заботимся нисколько о том, чтобы угладить ему дорогу, исправить мосты, устранить все, что препятствует народу в его развитии? Все наше просвещение, все наше материальное могущество, наше благоустройство, администрация, блеск, слава, – все это лишено той живительной плодотворной силы, которую дает только союз с народом и цельность всего народного организма. За доказательствами идти недалеко. Возьмите, например, Петербург, который есть, по преимуществу, носитель исторической идеи всего периода времени после Петра. Не есть ли это великолепная столица образованного мира, с его библиотеками, театрами, музеями, торговлею, роскошью и развратом? В нем совершаются явления, свидетельствующие не только о зрелости, но даже о старости общества, много и долго жившего полной жизнью европейских цивилизованных обществ, – и рядом с ним возьмите для сравнения Олонецкую губернию, где народ еще поет песни про князя Владимира. Не целая ли тысяча лет лежит между этими двумя фазами развития? Не два ли это мира? Не разделяются ли они, как целой бездной, преданиями, воззрениями, стремлениями, началами, не говоря уже о внешних отличиях?.. А между тем Олонецкая губерния носит на себе общий тип русской земли, и как Олонецкая губерния к Петербургу, – так сорок или пятьдесят миллионов русского

народа относятся к миллиону людей, представителю нашего образования и движения.

Наше образование, наше движение! Движение без ясно обозначенной цели, ничего не влекущее и не ведущее за собой! Образование, соединенное с полнейшим неведением своей страны и народа, а нередко и с презрением к нему! Справедливо сказал один путешественник, что Россия есть царство фасадов. Каких у нас нет великолепных зданий для училищ, с содержанием почти роскошным, и как плохо идет учение! Мы обзавелись даже железными дорогами, но всего менее там, где этого требовали нужды народа! Мы в столицах живем ускоренной жизнью, а вне столиц прозябаем, и время, видно, нам дешево, судя по тому, что мы целые недели бездействуем на переправах и целые месяцы теряем на преодоление наших путей сообщения, именно тех, на которые редко попадают иностранцы. Мы устроили и Академию художеств, но там, где две трети года нельзя заниматься живописью по причине туманов и серого неба! Мы имеем такую цифру газет и журналов, которая любого статистика могла бы привести к заключению о необыкновенной развитости просвещения в нашей стране и о многочисленности грамотных, но вся эта кипучая литературная деятельность и не проникает в народ, за пределы небольшого круга читающей публики! Есть у нас институты, университеты, всевозможные училища и учебные заведения, – и почти нет вовсе народных школ, мы ничего не устроили для народного образования! Мы заводим вверху либеральные учреждения, а внизу, частехонько, расправляемся по-татарски!..

Мы хотим современных свободных уставов, – и в то же время боимся расстаться с сословными перегородками! Мы готовы потчевать народ деликатесами европейской кухни, когда у него нет даже и щей! Мы, форейторы, более ста лет мчась во весь опор то в ту, то в другую сторону, побывали и голландцами, и французами, и немцами, и даже англичанами, только не были русскими!.. Мы только загнали коней, мы ни до чего не доскакались, – не доскакались даже и до сознания, что мы скачем по пустому, без груза, без экипажа и главного

возницы (то есть народа) и что мы давно сбились с пути, а без этого сознания нет для нас и спасения! А колымага стоит, засевшая в грязь, и кони поотдохнули, но дорога по-прежнему тяжела, если не пуще расселась. Ускакавшему форейтору время было бы теперь воротиться, принести повинную главному вознице, снова связать постромки, и как ни устали передовые кони, авось либо подсобят они вывести в гору грузный экипаж и выбраться на добрую дорогу, но форейтору надобно зарубить крепко себе на память: не рваться нетерпеливо вперед, прилаживать свою тягу к ходу шестерика, – и слушать кучера!..

Вот в чем должна состоять наша преимущественная работа. Поработали мы довольно. Чего не завели! Чего не устроили! И все это большей частью бесплодно, внешне безжизненно, по крайней мере, не дает жизни народу, живет и совершается вне его участия. Немало у нас хороших законов и учреждений, но недостает одного, чтоб и законы были действительны и учреждения плодотворны – недостает духа жизни, цельности организма, правильного, регулярного кровообращения, недостает общественной силы и ее производительности! Но этой силе нельзя велеть быть по указу, как бы ни было деятельно и благонамеренно правительство: она создается только теми органическими условиями, которые нельзя предписать, равно как нельзя предписать (но можно расстроить) тот или другой порядок органических отправлений. Однако ж правительство может, оно властно отстранить те препятствия, которые мешают ее проявлению, своротить камни, придавившие богато засеянную ниву, и таким образом вызвать на свет Божий те стебли, которые потом дадут хлеб, одним словом – дать простор тем условиям, при которых только и может развиться нравственная общественная сила. Ибо вне общественной силы все «идеи века» останутся бесплодными, а правительство только истощится в благородных напрасных усилиях... Какие же это условия?

В статье на Новый год мы поставили между прочим в числе очередных вопросов вопрос о свободе совести, мысли, мнения и их выражения в слове...

РУССКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ

О служебной деятельности (письмо к чиновнику)

С тех пор как возникло целое систематическое направление мыслей в пользу возрождения русской народности, не было, может быть, более блистательной и более благоприятной для него минуты. И в то же время никогда не было мне так грустно, как теперь; никогда не чувствовалось мне в такой степени наше безличие!

Происходит ли это от глубоко внедрившегося в меня скептицизма или оттого, что я плохой теоретик и, подобно всякому близорукому, слишком близко уставляю глаза свои в современную жизнь; как бы то ни было, но в душе моей возникает целый рой сомнений, недоумений и вопросов, которые мне хочется высказать Вам, как чиновнику: «Quel est le côté pratique de la question?[1]» – спросила недавно, говоря о нашем направлении, одна петербургская графиня одну нам знакомую даму. Дама поспешила выйти из затруднительного положения, указав ей на эмансипацию крестьян, и графиня удовлетворилась. Но ведь только графиня; для всех прочих же вопрос остается нерешенным. Люди, не смеющие явно отказать этому направлению в сочувствии, прикрываются щитом практичности и встревоженные сначала: «О да, еще мы беспечно можем жить прежним образом жизни, начала прекрасны, да неудобоприменимы, по крайней мере, теперь, разве при внуках?» А ближние их внуки уже теперь все старше меня! Все пропитывается тем же гнилым воздухом, от зловредного действия которого не

избавиться потом никаким искусственным лечением. В самом деле, нашли ли Вы ответ для предложенного вопроса? Не знаю, мерещится ли мне или оно действительно, мне кажется, что вопрос этот <рождается> теперь повсюду, мне кажется порой, что самое здание Министерства дразнит меня тем же вопросом и как будто говорит: «Действуйте, господа, и скажите, как, где и откуда начнете вы?» – думаю я и что, если бы Государь сказал нам: «Ну, господа, вот вам и вожжи в руки, действуйте!» – мы бы стали в тупик, за исключением, может быть, брата моего, Константина.

Брат Константин, который первый так смело и явно двинул вперед это направление, который хранит его во всей строгой и отвлеченной чистоте вопреки текущей современной жизни и ни разу не уступал ей, брат мой, быть может, и не затруднился бы ответом. Он желал бы увидать вновь Боярскую Думу и прочее. Он предложил бы такие меры, для которых, по моему мнению, действительность еще не наступила.

Но и вращаясь в среде самой жизни, я не ношу в душе своей трудной веры Константина, хотя и не могу предложить сам разрешения. Обратимся к служебной деятельности, тогда Вы легче уразумеете все мои сомнения! Служебная деятельность в России лишена всякой жизненной почвы. Она есть высшее выражение формализма. К какой стороне жизни ни прикоснись, все формулирует она и, следовательно, все мертвит, ибо все живое боится формы и убегает. Оттого-то столько неискренности, столько холода в хлопотливом величии всей государственной машины. Это стремление к формулированию есть необходимое условие жизни всякой правительственной администрации уже по самому существу ее. В этом все ее значение! Как бы ни приурочивали формулу к живому быту, она никогда не будет иметь нужную для него эластичность, которая бы вместе с жизнью растягивалась, сокращалась, видоизменялась. Как скоро же этого нет, то, повторяю, она сделается мертвой и тягостной формой. Я сказал, что это общий характер отношений всякой администрации к жизни; у нас же в России к этому присоединяются и другие обстоятельства. Мы совершенно

оторваны от живой жизни и народа. Мы утратили сокровище народного инстинкта и, как бы ни старались восполнить этот недостаток изучением, все же мы будем лишены творчества, которое дается только цельностью жизни. Мы будем всегда в положении иностранца, изучающего русский язык. Он может знать, по-видимому, очень хорошо, но всегда будет говорить и писать слишком правильно. Никогда не быть ему своим хозяином в языке, хозяином, который что бы ни делал в своем доме, всегда, так сказать, в своем праве. Посредством разных изучений мы наконец открыли в жизни народа некоторые начала, ухватившись за них, и хотим сделать их целью нашей практической деятельности. Но начала эти тогда хороши, когда, так сказать, не сознаны и не сформулированы. Да и способны ли они формулироваться?

Возьмем, например, хоть принцип единогласия. Он существует в народе, но попробуйте его формулировать, выйдет нелепость; введите его между нашими, и это будет смешно, искусственно, в тысячу раз искусственнее большинства голосов, этой искусственности нет в жизни и не может быть, в ней все свободно вырастает из почвы, принимает свободный, ему свойственный (нрзб.), но начните устраивать и, как вашему устроению непременно нужны формы, хоть бы вы и старались сделать ее похожей на естественную, никогда ее не заменит.

Путешествуя по России, я часто с грустью замечал, что самые благие по началам своим меры правительства остаются без исполнения. Да хоть и здесь, например, устраивали Общую Думу с выборами из всех сословий. Много хорошего в этой мысли! Но она формулирована и этим самым правительством, и поэтому едва ли будет когда живым явлением. Я уверен, далее, что она не пойдет без коронных чиновников. Достойно замечания то, что во всех свободных учреждениях правительства, где, по-видимому, предоставлялось столько самостоятельной деятельности участвующим, оно вынуждено было посылать своих чиновников, чтобы двигать машину. Знаю, что многие готовы объяснить это иначе, каким-то сытым равнодушием, но об этом после, а теперь продолжаю. Я уверен

даже, что если в селах, где введено было большинство голосов, где впущен (нрзб.), разрывающий цельность жизни, введете вы снова единогласие, оно уже не будет иметь прежнего характера, оно, так сказать, уже утратило свою девственную целомудренность. Знаете что? Грустно сознаться, а мне кажется, что вообще в народ наш уже вошло разрушающее начало. Я не выдам это за несомненный, положительный факт, но сколько я мог заметить, толкаясь между народом и странствуя по разным губерниям, гражданственность, внесенная Петром, уже много охватила народ и подавила силу жизни. Народ уже развращен сам собой. Разумеется, что я говорю здесь не о том разврате, который существовал и существует в нем независимо от Петра и западного влияния.

Вспомните, что целые губернии приходят на заработки в Москву и Петербург и, возвращаясь домой, приносят с собой гибельные начала. И потому я думаю, что если бы устроилась в Москве Боярская Дума и т.п., это вышло бы весьма искусственно и не привилось бы к жизни. Человеку, испорченному анализом, нельзя сказать: будь прост и целен. Самая простота в нем искусственная. Приятель Ваш Хомяков слишком верит в жизнь, приятель Ваш Константин Сергеевич Аксаков, кажется мне, слишком верит в авторитет народа. Я уже объяснил, сколько мог, взгляд свой на администрацию. Мне думается, будто положительная служебная деятельность для нас невозможна, во-первых, потому, что начало формулирования ложно, а правительство не сможет не формулировать; во-вторых, потому, что мы в России утратили живую связь с народом. Но я не могу верить и в силу самой жизни; к чему привела эта вера в жизнь?... К современному положению, ибо жизнь, предоставленная сама себе, легко может быть подавлена и искажена всякой внешней силой. Это видим мы и в нашей истории. Где только есть правительство, оно действует, оно растет, оно не может поставить себе целью самоуничтожение, как это хотел бы втолковать ему Константин. Спросите Константина, и он укажет Вам тысячу фактов, как не только с Петра, но и до Петра государство завоевывало свободу земщины. В 1612 году

народ вышел на сцену и привел дела в порядок, не оградив свободы своей жизни. Государство усилилось в тысячу раз более прежнего, изо всех щелей полезла страшная мерзость! После дыхания народного духа Михаил Федорович, «сын по плоти Его Благородия, по духу Ангела», не постыдился заговорить с этим благородием и ангелом-патриархом Филаретом таким языком, которому не знаешь, как дивиться! Во всех фактах, которые Константин собирает, правда, для другой цели, я, со своей стороны, вижу бессилие самой жизни. Разумеется, государство не может вполне завоевать ее, но обессилить и разделить ее может. Пожалуй, некоторые упрекнут меня в том, что во мне нет веры в нравственные начала... хотя по Апокалипсису вера в нравственные начала и не представляет большого утешения (так, кажется, только сто тысяч из всего человечества составляет Царство Правды), но вера в нравственные начала и вера в жизнь – две вещи совершенно разные, которые у нас беспрестанно смешиваются. Вот и образовала Вам жизнь явления, подобные крепостному праву (скажут: это не есть явление народной жизни, но я думаю, что правительство только формулировало это de jure, что существовало de facto в жизни), и быт, во многих своих сторонах представляющийся совершенно противно духу христианского учения.

Я разделяю мнение тех, которые не верят в гарантию, в правду, чем-либо формулированную, но не верю вполне и самой жизни, почему и приходила мне в голову мысль, что роль правительства – быть регулятором движения жизни, хранителем общих начал в чистоте их, которые легко устраиваются самой жизнью. Поэтому, мне казалось, что главой общины должно быть духовное лицо. Но, разумеется, я в это же время вижу, что это значило бы придавать духовному лицу такой характер, который подорвал бы его нравственный смысл. Обратимся к Константину. Мне кажется, он слишком безусловно верит в авторитет народа. Я готов был бы признать этот авторитет, но для этого необходима оценка народных явлений, которых именно нам недостает. Между тем в народных явлениях есть такие, которые, несмотря на давность, внесены были

искусственно и вошли в жизнь, насиловав ее; такие, которые произошли от влияния татарского и польского, такие, которые, хотя и народны, однако ложны и противны христианину, такие, наконец, которые отжили свое время. Эта оценка трудна и едва ли <выяснена> вполне. Между тем без этой оценки и при этой вере в авторитет народный можно дойти до того, что будешь ревновать к современности, если она выставит вопрос, о котором не думала старина, будешь всеми силами вопреки собственной душе оправдывать явление ложное потому только, что оно есть древнее явление народной жизни. Как бы это объяснить Вам примером? Возьмем хоть опять освобождение крестьян. Вопрос этот многими встречается равнодушно, потому что крепостное состояние – явление древней жизни, потому что, мне кажется, и народ равнодушен к нему. Для меня же достаточно одно: несовместимость его с понятиями христианскими, о которых можно пробовать законность явлений народной жизни, что совместимо с христианством.

Дружное служение русской народности то хорошо и должно быть народно, что нет, то ложно, хотя и народно. Общинное начало, принцип единогласия, существовавшие у нас, вероятно, еще во времена язычества, к счастью, не противоречат христианству, но многие его стороны противны религии. Чистота самого учения, конечно же, исказилась и находила себе убежище в монастырях и пустынях, но ведь не для монастырей и пустыней явилось христианство, должно входить в жизнь вовсе не тем путем, которым его хотят вводить на Западе.

Славянофильское (если уж его так называют) направление давно (нрзб.) получило. Вспомните весь ход его и Вы увидите, что оно с забытых <знакомых?> (нрзб.) подмостков съехало, если (нрзб.) на православие. Но все-таки, мне кажется, что оно недовольно ясно себя высказало, и многие почитают православие почти тождественным с нашим народным бытом.

Брат мой Константин любит, сам того не зная, может быть, не старую, не современную Русь, а Русь идеальную. Что и го-

ворить, я считаю русский народ лучшей почвой для взращения семени, Христом брошенного; но грешны мы, грешен и народ! Поэтому как мы, так и народ должен возродиться не к прежним началам (ибо многие из них противны учению Христа), а к новой жизни. Наше стремление к народности должно быть стремлением к бытовому, жизненному христианству, и любовь к народным явлениям должна проходить через христианскую оценку. Вы, может быть, найдете, что я не сказал ничего нового. Да я и не имел этой претензии! Сказанное мной я подметил в естественном бессознательном виде, так сказать, ходе самого нашего направления, и считаю, что никто до сих пор не высказал этого полно ни в одной статье. Между тем, высказав себе этот взгляд, я, признаюсь, лишился многих сладких верований, наприм<ер>, в безусловную разумность народа. Разделяли ли Вы когда-нибудь это верование?

Но христианство вводится в жизнь личным усовершенствованием каждого, скажете Вы. Согласен! Однако покуда Вы будете заняты личным усовершенствованием, которое до сих пор находит себе место только в монастырях и пустынях, зло, лежащее в быте, готово усилиться, и искатель его делает совершенствование более затруднительным. Например, иной человек был бы лучше, если бы не родился помещиком и не имел надобности освобождать себя от влияния этого гнилого, на выгоде и своекорыстии основанного элемента. Если Вы сами обязаны безропотно и терпеливо сносить причиняемое Вам зло, то это еще не значит, чтобы Вы оставляли сирот и вдовиц без защиты сильного и давали в обиду правого. Берегитесь принимать апатию и преступное равнодушие за искание Царства Божия! Но, скажете Вы, я все же не решил вопроса, от которого отправился с самого начала. Предстоит ли нам одно смиренное изучение России, воспитание юношества, личное перевоспитание, проповедь и в службе одна отрицательная деятельность? Решайте сами, хотя для меня задача, как является мне, как-то шире, а вместе с ней и самая деятельность. Если Вы поставите себе целью не одно возрождение собственно народных начал, то Вам будет и легче действовать, ибо все христианское долж-

но быть в то же время и народным. Между тем как при одной любви к народу мы будем стараться ловить признаки и явления народной жизни и можем жестоко ошибиться! Но и... И опять но! – Я уже показал трудность действий в служебной сфере, их невольную неискренность, неизбежную опасность формы и проч<ее>... А между тем государственная машина скоро, может быть, приготовляет Вас к действию, и если Вы не примете в нем участия, то оно, пожалуй, натворит таких чудес, от вреда которых долго не освободиться!..

Вы видите, я ничего не разрешил, разрешите же мои недоумения.

Об издании в 1859 году газеты «Парус»

С 1-го января 1859 г. будет выходить в Москве еженедельно газета под названием «Парус».

При современном обилии газет и журналов в России общество вправе требовать от каждого вновь предпринимаемого периодического издания точного определения его направления и цели. Как ни законно это требование, но дать удовлетворительный ответ на такой общественный запрос в тесных рамках объявления и при отсутствии у нас в России резких, условных признаков того или другого направления, – и неудобно, и трудно. Тем не менее мы постараемся, в немногих словах, объяснить публике существенный характер нашего издания.

В самом деле, было время, когда «содействовать просвещению нашего отечества» вообще, «сообщать полезные сведения» безразлично, «возбуждать и удовлетворять потребность чтения в русской публике», ставить ее в постоянный уровень с живой заграничной «современностью» во всех отношениях и даже посредством картинок парижских мод, – было задачей не только просто литературных, но и учено-литературных наших журналов. Было время, когда всякое подобное предприятие приветствовалось с радостью и, не заботясь о содержании, общество повторяло вместе с известным русским поэтом:

Дай бог вам более журналов,
Плодят читателей они...
Где есть поветрие на чтенье,
В чести там грамота, перо, и проч.

Журналы походили на магазины, в которых держались товары на всякий вкус и потребность. Такое положение литературы вполне оправдывалось историческим ходом нашего образования и многими другими обстоятельствами, о которых распространяться было бы здесь неуместно. Это время проходит, если еще не совсем прошло. Русская журналистика вступает в новый период своего существования. Ее задача теперь уже не в том, чтоб создать орудие гласности и возбуждать умственную деятельность, но служить выражением уже возбужденной деятельности, употреблять в дело уже созданное орудие на пользу знания и жизни, участвовать в разрешении общественных вопросов. С каждым днем появляются новые издания, посвященные специальной разработке той или другой науки, выделяются более и более особенности и оттенки разных стремлений, и даже каждый труд мысли, каждое отдельное мнение пытается выразить себя гласно, во всей своей личной самостоятельности, не теряясь, как прежде, в робкой неопределенности общепринятых, условно-приличных форм и положений.

При всем том мы должны сознаться, что такое направление, освобождающее личную мысль и чувство от рабства перед авторитетами и модой (ибо есть мода и в сферах умственных), такое направление, говорим мы, еще далеко не получило полных прав гражданственности в нашей литературе. Еще виден некоторый страх в проявлениях самобытности, еще постоянно слышится боязнь прослыть односторонним, исключительным, принадлежащим к партии и – сохрани Боже! – несовременным, неуважительным «к европейской мысли», «к науке и ее началам». Под защиту этих неопределенных выражений еще любит укрываться у нас литературная деятельность и усиленно держится в области какого-то отвлеченного космополитизма. В этом несколько раболепном отношении к «современности»

и «науке» сказывается тот особенный разлад, который существует у нас между наукой и жизнью, между теорией и действительностью, между просвещением и народностью, между «образованным обществом» и простым народом. Такое подчинение мысли авторитету «современности» (как будто современное нынче не перестает быть современным завтра), такое слепое благоговение к последнему слову науки (как будто наука есть что-то завершенное и установившееся) ставит большую часть наших мыслителей в зависимость от каждой новой почты, приходящей из Западной Европы в Россию и привозящей вместе с модными товарами свежесовременное воззрение, новое последнее слово науки, нередко вносящее смущение и хаос в мир «начал», только что усвоенных ее русскими поклонниками. Иначе и быть не может там, где мысль не имеет жизненной народной почвы и где мыслители, в подобострастном служении мысли, возращенной чужой жизнью, не только исполнены презрения к нашей умственной самобытности, но готовы насиловать самую жизнь, стеснять ее свободу и деспотически предписывать ей чуждые и несвойственные формы.

Вполне уважая европейскую мысль и науку и сознавая необходимым постоянно изучать смысл современных явлений, редакция «Паруса» считает своей обязанностью прямо объявить, что «Парус», будучи вполне отдельным и самостоятельным изданием, принадлежит к одному направлению с «Русской Беседой», к тому нередко осмеянному и оклеветанному направлению, которое с радостью видит, что многие выработанные им положения принимаются и повторяются теперь самыми горячими его противниками.

Итак, не боясь ложных упреков в исключительности, мы смело ставим наше знамя.

Наше знамя – русская народность.

Народность вообще – как символ самостоятельности и духовной свободы, свободы жизни и развития, как символ права, до сих пор попираемого теми же самыми, которые стоят и ратуют за право личности, не возводя своих понятий до сознания личности народной!

Народность русская, как залог новых начал, полнейшего жизненного выражения общечеловеческой истины.

Таково наше знамя. Мы не имеем гордой мысли быть его вполне достойными. Не давая никаких пышных обещаний, ограничимся теперь кратким изложением нашей программы.

Характер нашей газеты по преимуществу гражданский, то есть она по преимуществу должна разрабатывать вопросы современной русской действительности в народной и общественной жизни и так далее. Статьи ученого содержания будут помещаться только тогда, когда они обобщают предмет, делают его доступным для общего понимания. Чисто литературные статьи, то есть произведения так называемой изящной словесности, всегда найдут себе место в нашей газете, если не противоречат духу и направлению издания. Но мы особенно приглашаем всех и каждого сообщать нам наблюдения над бытом народным, рассказы из его жизни, исследования его обычаев и преданий и т. п.

Сверх того, мы открываем в «Парусе»:

1) Отдел библиографический, в котором предполагаем отдавать краткий, но по возможности полный отчет о выходящих в России книгах и периодических изданиях.

2) Отдел областных известий, то есть писем и вестей из губерний. Наши провинции не имеют центрального органа для выражения своих нужд и потребностей: мы предлагаем им нашу газету.

3) Отдел славянский, или, вернее сказать, отдел писем и известий из земель славянских. С этой целью мы пригласили некоторых литераторов польских, чешских, сербских, хорватских, русинских, болгарских и так далее быть нашими постоянными корреспондентами. Выставляя нашим знаменем русскую народность, мы тем самым признаем народности всех племен славянских. Вот что, между прочим, мы писали ко всем славянским литераторам: «Во имя нашего племенного родства, во имя нашего духовного славянского единства, мы, русские, протягиваем братские руки всем славянским народностям: пусть развивается каждая из них вполне самобытно!

пусть каждое племя внесет свою долю труда в общее дело славянского просвещения! пусть каждое свободно, смело, невозбранно совершает свой собственный подвиг, возвестит свое слово, обогатит своей посильной данью общую сокровищницу славянского духа! Все мы, чехи, русские, поляки, сербы, хорваты, болгаре, словенцы, словаки, русины, лужичане, все мы, выражая собой разные стороны многостороннего духа славянского, взаимно пополняем друг друга и только дружной совокупностью трудов можем достигнуть полноты славянского развития и отстоять свою умственную и нравственную самобытность. Не внешнее политическое, но внутреннее духовное единство нам дорого. Не одно материальное преуспеяние, но познание, изучение, хранение и разработка основных начал славянских – вот что необходимо славянским народам, дабы они могли явиться самостоятельными деятелями общечеловеческого просвещения и обновить ветшающий мир новыми силами... Да, мы твердо верим, что наш искренний призыв не останется без отклика и что многоразличные племена славянские хотя бы в области науки и литературы войдут друг с другом в общение мысли и возобновят союз племенного и духовного братства! Ждем ответа!»

Будем надеяться, что общество не откажет в сочувствии нашему предприятию.

Передовая статья «Паруса»

Выпуская в свет первый нумер нашей газеты, мы считаем не только не лишним, но и необходимым: прежде всего оглядеться, отдать самим себе ясный отчет в нашем положении, установить, если возможно, раз навсегда наши отношения, не к публике, не к читателям, а к тем, или к тому... Как бы выразить это половчее?.. К тому, что на условно-литературном языке разумеется под «обстоятельствами, от редакции не зависящими»... Не скроем от читателя, что плавание предстоит нам трудное и опасное, да и ветры с севера дуют не совсем

попутные. Опытные плаватели обыкновенно начинают тем, что измеряют глубину, изучают дно, берега и течение воды. Но рассказывают, что на Волге чрезвычайно мудрено составить карту речного дна и промеров; отмели и подводные камни беспрестанно меняются, и бедные лоцмана никак не могут приноровиться к своенравию могущественной реки: нынче в таком-то месте течение свободно, нет преград для плавания, завтра нежданные-негаданные мель или камень; нынче – глубина воды, легко поднимающая самые тяжелые суда, завтра подует «выгонный» ветер и нашлет мелководье! И хорошо еще, когда лоцман успеет вовремя заметить опасность, остеречься, принять спасительные меры, но часто случается, что понадеется он на свою догадку и знание, обманется внешним видом воды – и управляемое им судно садится на мель или разбивается о камень. Мы отчасти находимся в таком же положении.

При всем нашем желании совершить спокойное плавание, при всем старании изучить свойства местности и погоды, мы не раз испытывали нечто вроде кораблекрушения и потому, не доверяя своему искусству, сознавая несостоятельность в настоящем случае всяких логических выводов и соображений, мы обращаемся просто с заклинанием ко всем подводным владыкам, духам и демонам, древним и новым, чужим и доморощенным, от Нептуна с его трезубцем до русского синего водяного, с тритонами, нереидами, русалками и со всем их причтом: да даруют они нам плавание ровное и безмятежное, да покоятся смирно в своих кристальных чертогах, не всплывая наверх, не пугая пловцов, не воздвигая подводных преград, а с ними вместе стремнин и водоворотов, всегда и всегда опасных!

Вы смеетесь, читатель, но нам, право, не до смеху. С искренней радостью приветствуя наше богатое надеждами время, мы, однако, вынуждены сознаться, что эпоха, в которую мы живем, дружное служение русской народности, многознаменательная и великая по своим последствиям, с высоты исторического созерцания, представляет тем не менее в ежедневной жизни много странных, противоречащих явлений, имеет такие стороны, которые подчас очень и очень невыгодны для

отдельных лиц и частных случаев. Примеров искать недалеко. Люди, стоящие во главе, нередко одушевлены самыми благими намерениями, но исполнители плохи или неискренни, и доброе на деле выходит вредным. Состарившиеся опекуны после долгой, все сроки перешедшей опеки, ревниво и с недоумением смотрят на своих бывших питомцев: как это они ходят сами, без помочей, и бумаги подписывают, и имуществом распоряжаются! Все сделалось щекотливо и обидчиво до крайности. Раздраженные фантазии создают чудовищные призраки, которыми пугают и себя и других. Сознается необходимость гласности и общественного мнения, сознается даже и отсталыми, но, привыкнув к долголетнему шепоту, эти несчастные самой скромной речью, произносимой самым обыкновенным голосом, поражаются, будто раскатами грома. Да и слова у них в ушах отдаются как-то иначе. Особенно странный резонанс в Петербурге, и к законам петербургской акустики мы никак не могли приладиться. Лучшим для нас доказательством служат те ложные толкования, которым подверглось наше собственное объявление о «Парусе». Поверят ли читатели... Да нет, мы и сами отказываемся верить, мы даже с некоторым негодованием отвергаем это как клевету; поверят ли, будто нашлись люди, которые наше выражение: «знамя народности» сочли чуть не преступлением! Они не поняли, что это известный литературный оборот речи, означающий принцип, начало; они вообразили, что чуть ли мы не соорудили настоящего древка с полотном и выставили его над домом, занимаемым редакцией. Против таких обвинений не обережешься!..

Но оставим шутки.
Все это было бы смешно,
Когда бы не было так грустно!

Неужели еще не пришла пора быть искренним и правдивым? Неужели еще мы не избавились от печальной необходимости лгать или безмолвствовать? Когда же, Боже мой, можно будет, согласно с требованием совести, не хитрить, не выдумывать иносказательных оборотов, а говорить свое мнение прямо и просто, во всеуслышание? Разве не довольно мы лгали? Чего

довольно изолгались совсем!.. Было такое время, когда ни воздуху, ни свету не давалось людям, когда жизнь притаилась и смолкла, и в пустынном мраке пировала и величалась официальная ложь, одна – владыкой безмолвного простора! Но ведь это время прошло! Или мы еще не убедились, что постоянное лганье приводит общество к безнравственности, к бессилию и гибели? Или уроки истории пропали для нас даром?

Разве не выгоднее для правительства знать искреннее мнение каждого и его отношение к себе? Гласность, лучше всякой полиции составляющая обыкновенно ошибочные и бестолковые донесения, объяснит правительству и настоящее положение дел и его отношения к обществу, и в чем заключаются недостатки его распоряжений, и что предстоит ему совершить или исправить. Горячо убежденные в пользе гласности, веруя в возможность преобразований путем мирным и разумным, мы постараемся излагать наши мнения в «Парусе» с полной откровенностью и подавать постоянно свой голос при разрешении всех современных общественных вопросов, разумеется, всегда почтительный и скромный, но вполне независимый и свободный. Неужели нам это не будет дозволено? Попробуем. Если же наша газета сядет на мель, то пусть знают читатели наперед, что виной тому не редакция, а распоряжения, стесняющие искренность слова, что еще, видно, не созрела пора для безоглядочной правды...

Еще два слова. К чему подобное вступление, скажут нам многие очень умные люди; что за нескромность, зачем такой шум и треск, что за важная вещь – какая-нибудь ничтожная газета? Не лучше ли было бы, не тратя громких слов, начать свое дело тихо и скромно, заслужить доверие постепенно, дельностью и серьезностью? Конечно, так; мы бы ничего лучше и не желали. Но есть причины, по которым мы сочли себя вынужденными написать такое странное «вступление». Во-первых, мы не сознаем за собой той особенной ловкости, того искусства выражений, которое умеет не подать повода к придирке даже самым придирчивым людям. Того и гляди проговоришься и скажешь какое-нибудь слово, которое, Бог весть

почему, раздразнит и раздражит наших щекотливых и подозрительных недоброжелателей. Бог с ними! Так как нам нечего стыдиться наших убеждений, то гораздо выгоднее вести дело начистоту, вполне открыто. Во-вторых, нам уже донельзя опротивела эта постоянная прискорбная необходимость притворства, изворотливости, осторожности; есть что-то крайне оскорбительное и унизительное в этой обязанности справляться, как поймет такую-то фразу Бебе, как покажутся такие слова Биби и т. п. В-третьих, мы имеем некоторое основание думать, что наша газета будет пользоваться, конечно, весьма лестным, но не совсем выгодным, усиленным вниманием лиц, не слишком дружественно к ней расположенных и готовых объяснять каждое ее слово в дурную сторону. Так, например, мы почти заранее убеждены, что эта наша передовая статейка породит множество самых ложных толкований; что найдутся, пожалуй, и такие неблагонамеренные люди, которые опрокинутся (разумеется, не с литературной точки зрения) и на некоторые помещаемые вслед за сим статьи и стихотворения, тогда как они, по мысли и цели своей, самые строгие, самые миролюбивые... Они проникнуты уважением к святости человеческого звания, они указывают на путь свободного разумного развития — дружное служение русской народности — как на единый мирный и способный отвратить опасности, вызываемые грубой силой... Нападать на эти статьи – значит сочувствовать грубой силе, а сочувствовать грубой силе – значит желать своему Отечеству опасных бурь и волнений, к которым, напротив, мы питаем глубокое отвращение...

Итак, с искренним желанием мира и тишины, с надеждой принести и нашим изданием посильную долю пользы русскому образованию, пускаемся мы в наше многотрудное плавание…пожелайте же нам, читатели, попутного ветра!.

Передовая статья

С полной искренностью речи приступим теперь к исполнению нашей программы и попытаемся целым рядом передо-

вых статей уяснить читателям точки зрения «Паруса» на существеннейшие вопросы русской жизни; его отношения к задачам и событиям нашей современной действительности.

Странная, странная эпоха, в которую мы живем! И радуешься и боишься, и сочувствуешь ей и беспрестанно поражаешься уродством, безобразием, аномалией современных явлений! Эпоха попыток, разнообразных стремлений, движения вперед, движения назад; эпоха крайностей, одна другую отрицающих, деспотизма науки и теории над жизнью, отрицания науки и теории во имя жизни; насилия и либерализма, консервативного прогресса и разрушительного консерватизма, раболепства и дерзости, утонченной цивилизации и грубой дикости, света и тьмы, грязи и блеску! Все в движении, все в брожении, все тронулось с места, возится, копошится, просится жить! И слава Богу! Что может быть выше, прекраснее, законнее этого требования?.. Но в то же время, всматриваясь пристальнее, вы невольно смущаетесь мыслью, что цветущая зелень, покрывшая ниву, еще не хлебные зеленя, медленно и туго пробивающие земную поверхность, что это, может быть, только сорные травы, заглушающие ход плодотворных зерен, что много потребуется тяжкого труда для очищения нивы от посторонних скороспелых произрастаний... Все недовольно, все кричит о прогрессе, о преобразованиях, улучшениях, усовершенствованиях, искоренениях, нововведениях. Нетерпеливые прогрессисты нашего образованного общества перетрогали чуть не все клавиши, чуть не все струны громадного инструмента и оглашают воздух таким страшным диссонансом, такой разладицей звуков, которая, без сомнения, в тысячу раз отраднее храпенья и сопенья целых миллионов сонного населения, но за которой подчас не слышно ни основных тонов жизни, ни строгой серьезной речи народа. Как не желать улучшений, как не сочувствовать прогрессу! Но беда в том, что наше общество, порвавшее связь с преданиями, отторгнутое от народной жизни, сознавая потребность преобразований, в то же время забывает, что только то прочно и плодотворно, что вырастает органически, изнутри, держится корнями за на-

родную почву, связано с бытом, преданиями, историей, со всем духовным строем народной жизни.

Беда в том, что присущий петровской реформе элемент презрения к народной жизни глубоко проник в наше образованное общество, и каждый из членов его готов сделаться деспотом во имя общего блага, во имя свободы, во имя гуманизма и науки. Как по большей части относятся к прогрессу наши доктринеры-чиновники, чиновники con amore, молодые ученые, смотрящие администраторами и т. д.? Не отдавая себе никакого отчета в действительных потребностях русской земли, даже не считая этого нужным, не понимая и не желая понимать основ народной жизни, веруя безусловно в преимущество европейской цивилизации, они с жадностью хватаются за разные образчики европейского прогресса: французские, немецкие, английские и проч. Нужно, например, преобразовать нам гражданское или уголовное судоустройство. Вот и думают наши прогрессисты: какое бы из судоустройств выбрать: не то прусское, не то французское? Или уж сардинское с примесью голландского? А ведь не дурно бы и английское? Точь-в-точь Агафья Тихоновна в «Женитьбе» Гоголя, когда она говорит, что если бы губы Никанора Ивановича приставить к носу Ивана Кузьмича, да прибавить дородности Ивана Павловича, да взять ноги Петра Матвеича, так куда красивый вышел бы мужчина! Никому из них и в голову не приходит, что прежде всего не мешало бы узнать поближе потребности и юридические воззрения народа, которому придется питаться так великодушно состряпанным для него винегретом; что только тот закон может быть полезен, который является органическим продуктом народной жизни, вытекает из общественного сознания, а не падает как снег на голову!

Пожалуй, найдутся и такие люди, которые в «патриотическом» усердии к прогрессу и для того чтобы уже нам вполне догнать западные народы в состоянии были бы даже посягнуть (если б это было возможно) на наши общины с общинным землевладением и ввести начало личной поземельной собственности на манер английского фермерства или французских

мелких собственников! Для них, проповедующих уважение к личности человеческой, народ tabula rasa, гладкая доска, на которой вырезывай резцом что хочешь! Никогда не были они одержимы таким беспокойным зудом преобразований, как в настоящую минуту. Уроки истории им решительно нипочем. Петр I перенял у немцев формы административные, формы судоустройства, делопроизводства и т. п. Похвалиться всем этим, кажется, мы не можем; несостоятельность такой пересадки, безобразие данных ею плодов не отвергаются и самыми ярыми защитниками его реформы. Весь этот насажденный вертоград подсох, валится и накрывает почву русской земли толстым слоем гнилого хлама. И что же? Общество наше, или, по крайней мере, эти господа доктринеры не прочь и теперь возобновить эпоху Петра I, разумеется, в других формах, но в том же духе презрения к народной жизни. Несмотря на полуторастолетнее доказательство бесплодности и вреда подобных попыток, того и гляди повторятся петровские же ошибки, с той разницей, что вместо немцев мы обратимся к французам, вместо камеры или коллегии какой-нибудь заведем «бюро», вместо магдебургского права возьмем французское муниципальное устройство. Немецкий кафтан, очевидно, ползет врозь, не годится, давай нарядимся во французский! Разумеется, и французский не придется по плечам русского народа и непременно лопнет, лопнет и по швам и даже в цельных местах, что приведет в страшное негодование наших цивилизованных чиновников.

Разумеется, новые насаждения в свою очередь лягут на старый хлам слоем нового хлама... Но долго ли же это будет продолжаться? Или над этим слоем суждено лечь еще новому хламу, английскому или еще другому какому-нибудь? Трудно же будет раскапывать все эти слои, чтобы добраться наконец до материка, в котором одном и заключается вся сила!..

«Итак, чего же вы хотите? Вам не нравится современный дух преобразований, вы враги прогресса!» – так зазвенят многие наши литературные противники. Ничуть не бывало. Нас не менее их возмущает современная мерзость; мы желаем и прогресса, и преобразований, но мы хотим в то же время, что-

бы они не были порождением отвлеченных бесплотных систем или слепого подобострастного отношения к жизни, нам чуждой и развившейся по другим началам. Мы хотим, чтоб сама жизнь пустила ростки, а для этого необходимо очищать и очищать ниву от сорных трав, густо на ней засевших, необходимо давать ее росту простор, простор, как можно более простора, вопрошать смиренно ее тайны, проникаться ее внутренним смыслом. Иначе что бы вы ни делали, все ваши усилия останутся тщетными: вы можете изуродовать, исказить жизнь, но не добьетесь от нее здорового плода, не вызовете ее к самобытному творчеству в чуждом ей духе. Кажется, все это просто и ясно... до пошлости! А между тем приходится повторять эти истины и нашим ученым доктринерам, и служащему и неслужащему образованному обществу, мало того – большей части наших журналов, тощих и толстых! Вполне признавая историческую законность современной эпохи брожения и преобразований, повторяя вместе с другими «вперед!», мы думаем, однако, что единственным спасительным путеводителем и компасом в этой путанице, в этом хаосе разных стремлений, явлений и запросов может быть для нас только народность в самом обширном смысле этого слова, то есть в смысле ее духовных и нравственных начал.

Но мы опять заговорились. Читатели уже из сказанного нами могут видеть, с какой точки зрения будем мы обсуживать совершенные и совершающиеся преобразования. – Впрочем, из числа их есть одно, которое не подходит под общее определение; оно составляет самое крупное явление современной истории, преобразование самое существенное, самое жизненное, громадное по своему размеру, необъятное по своим последствиям: это уничтожение крепостного права. Однажды совершенное, оно поставит нас лицом к лицу с крестьянином, внесет в жизнь нашего «образованного» общества стихию народную, смысл жизни действительной; оно сделает смешными и невозможными всякие покушения наших самонадеянных доктринеров вылепить из народной массы ту или другую форму по своему усмотрению. Не вдаваясь в многосложные под-

робности крестьянского дела, мы в следующем же номере передадим читателям некоторые сведения о внешнем положении вопроса и наши мысли о необходимых условиях его успешного разрешения.

В заключение скажем, что 3 января начались в Москве дворянские выборы. О результате их, если возможно, мы сообщим читателям в свое время, а теперь заметим к чести дворян, что они с видимым удовольствием называют эти выборы последними выборами душевладельцев. Да, уже не долго вам ждать, благородные дворяне! Еще немного терпения, и вы скинете с себя так ненавистное вам звание душевладельцев!

Теперь было бы кстати написать историю выборов дворянства Московской губернии; разумеется, историю не одного избрания в должности, но и всей деятельности дворянской на пользу губернии, а следовательно, и всего отечества, так как по силе 112 и 135 статей Т. IX Св{ода} Зак{онов}. Изд. 1857 г., предоставлено дворянству право подавать мнения о «своих нуждах и пользах, о прекращении местных злоупотреблений, об устранении неудобств в местном управлении, происходящих даже от общего какого-либо постановления». Любопытно знать, как воспользовалось этим правом дворянство в течение 70 лет.

Статьи, предназначенные для третьего номера «Паруса»

Итак, читатели, обратимся теперь к нашему великому современному вопросу, скажем несколько слов о внешнем положении великого крестьянского дела.

Что бы ни говорили, а нам кажется, что этот вопрос на хорошей дороге. Разумеется, с дороги можно и сбиться – за это ручаться нельзя; можно, испугавшись мнимо неодолимых препятствий и поверив стращаньям робких и ленивых ямщиков, взять в объезд и заблудиться... Но если твердо держаться пути, который был принят с самого начала, то он непре-

менно приведет к цели, – мы в том уверены. Этот путь – путь свободного совещания. Конечно, что и толковать: дорога не расчищена, засажена хворостом, заросла бурьяном, местами идет по целику; гор, оврагов, ухабов, ям, рытвин, песку, грязи, трясин – всего вдоволь, кони непривычные, – все это так, но сохрани Бог сойти с дороги! Всем этим смущаться нечего! Нужно терпение и терпение, нужно вспомнить, что дорога прокладывается новая, и если и не новая, так такая старая, о которой и память историческую у нас почти совсем отшибло; нужно только верить, верить верой неистощимой в святость истины, в могущество правды, в победоносную силу разумной мысли, а главное – нужно уметь не поддаться льстивым речам торопливых угодников, не уступить соблазну, не прельститься. Это очень трудно, без сомнения, но устоять против таких соблазнов, против искушения решить дело скоро, проворно, с самонадеянной уверенностью в своей правде, уметь добровольно ограничить себя и сдержать в себе привычные порывы будет истинно высоким нравственным подвигом. Да, путь свободного совещания есть единый нравственный, разумный и мирный, который может привести к мирному, разумному, нравственному решению этой великой социальной, всемирно-исторической задачи.

В этом отношении мы, кажется, вполне входим в разум действий нашего правительства, призвавшего к участию в разрешении крестьянского вопроса сословие помещиков и дозволившего гласное обсуждение вопроса печатного литературой. Сорок восемь комитетов, совещающихся о великом деле, – явление утешительное и давно небывалое на святой Руси! Но нельзя не пожалеть, что комитеты, или, по крайней мере, многие из них, не вполне, кажется, воспользовались предоставленной им свободой совещаний. Единственное разрешение крестьянского вопроса заключается в выкупе у помещиков земли в собственность крестьянских общин. Ничто, кажется, не препятствовало приступить прямо к обсуждению средств и способов выкупа, как это и сделал Тверской комитет, которому и принадлежит честь инициативы или зачала в этом деле.

Но неизвестно, почему прочие комитеты сочли себя не вправе рассуждать о выкупе и, таким образом, сами добровольно стеснили предоставленную им свободу совещаний. Видно, что серьезное, строгое отношение к делу нам еще новое. Что-нибудь одно: или комитеты – пустая формальность, или это дело большой важности. Если это дело такой важности, то комитеты могли сами понять, что правительство, созывая депутатов, желало слышать свободный голос сословия, узнать его мнения, нужды и потребности; что ожидания и требования правительства не могли бы быть исполнены, если бы голос этого сословия был не свободен, если бы комитеты заранее определили и тон, и формулу, и содержание речи. Это все равно что заставлять поэта писать на заданные рифмы. Но ничего подобного не было, чему, повторяем, служит доказательством прямой и открытый образ действий Тверского комитета. Очевидно, что такое неправильное отношение к задаче должно было иметь невыгодное действие на занятия комитетов.

Вся деятельность их обратилась на то, чтобы как-нибудь уложиться в невозможную рамку, чтобы преобразуемый живой быт мог, хотя бы съежившись и скорчившись, упрятаться, уместиться в мнимо обязательную мерку. Такая мерка, конечно, не могла удовлетворить ни защитников, ни противников освобождения, ни крестьян, которых воззрения в настоящем случае не лишены некоторой практической важности. Что же вышло?

Вышло, что все стали в фальшивое положение: защитники освобождения, не желая увеличивать собой число противников, не желая затруднять правительство во благом предпринятом им деле, должны были постоянно ломать себе головы, делать неимоверные усилия и напряжения мысли, насиловать ум и логику, чтобы как-нибудь войти в ошибочно ими понятые пределы, как-нибудь сдвинуть с колеса старый порядок, чтобы добиться хоть какой-нибудь уступки в смысле улучшения крестьянского быта. Эта тяжкая работа была в то же время лишена и искренности, ибо никто из них не верил и не верит в практическую применимость «положения», изготовляемо-

го не на основании выкупа. С другой стороны, противники освобождения в этом самом воображаемом стеснении свободы совещаний находили оправдание своему противодействию, прикидывались угнетенными и тем самым возбуждали к себе сочувствие большинства. В некотором отношении они даже были и правы, ибо то, что предлагалось взамен уже сложившегося, векового порядка вещей, являлось, даже по собственному внутреннему сознанию искренних защитников освобождения, очевидной несообразностью. Можно было заранее, a priori, сказать, что все положения комитета, сочиненные при таких условиях, будут неприложимы к делу и исполнены противоречий. Например, за землю, отдаваемую крестьянину в пользование, он должен отбывать повинность помещику деньгами или работой! Денег у мужика мало – стало быть, работой, стало быть, барщиной. Раз признавали барщину в новом устройстве, вы непременно должны признать за помещиком право наказания, которое, чтобы достигать цели, должно быть свободно от контроля, налагаемо быстро и без помехи, в рабочую пору; одним словом, допущение барщины цепью логических выводов вынуждает признание помещичьего произвола, телесных и других наказаний и тому подобных атрибутов власти, без которых барщина есть нелепость; хорошо же улучшение быта! Напротив, это ухудшение, ибо крестьянин при всем этом лишается права требовать от помещика помощи в голодную пору и защиты в судах и перед полицией!

Точно то же было и с литературой. Стесненная в своих суждениях определенными указаниями, она, по необходимости, круглый год толковала о самых мелочных вопросах, вертелась около усадьбы и выгонов и старалась найти хоть какой-нибудь примирительный выход из заданной проблемы.

Но, наконец, эта несообразность, как и должно было того ожидать, была почувствована всеми. Правительство вняло, наконец, общему говору. По крайней мере, мы знаем наверное, что редакция «Сельского Благоустройства» (вероятно, как и все другие журналы) получила официальное разрешение помещать статьи и проекты о выкупе крестьянской поземельной

собственности. Частным образом известно, как мы уже о том сказали, что комитет Тверской губернии занимается составлением проекта о выкупе. Остается жалеть, что некоторые комитеты уже окончили свои занятия, не разъяснив пределы своей свободы в совещаниях, а другие до сих пор истощаются в бесплодной работе найти разрешение задаче вне выкупа. По нашему мнению, было бы полезно разъяснить это недоразумение гласно. Зачем оставлять в таком неудобном и тяжелом сомнении целое сословие?

Таким образом, для успешного хода дела нам казалось бы необходимым: 1) предоставить всем Комитетам право толковать и представлять проекты о выкупе земли не усадебной только, но и полевой с покосами, не в пользование, но в собственность крестьян. Правительство, без сомнения, не отступит от своих начал (то есть наделения крестьян землей), но, требуя мнений, оно, конечно, не стеснит свободы суждений? Проект Комитета может быть не принят или изменен в видах государственной пользы, но самое совещание, разумеется, будет свободно.

2) Предоставить полную свободу печатному слову как в пользу, так и против освобождения. Если еще и существуют такие несчастные, которые хотят удержания помещичьих прав, Бог с ними! Пусть себе пишут на здоровье, коли умеют. Пусть вместо того, чтобы ворчать в углу, выступят они на публичную арену, пусть завяжут литературную борьбу, пусть доставят над собою победу логике, здравому смыслу, истине. Путь свободного взаимного убеждения ведет к самым прочным завоеваниям мысли.

3) Водворить полную гласность и публичность в губернских Комитетах. Это необходимо для предупреждения ложных толков и слухов. Секрета заседаний соблюсти невозможно – кое-что да проникнет за стены комитетской залы, и это кое-что, переход в общее ведение, нередко представляет дело в искаженном виде. Впрочем, сколько нам известно, едва ли не во всех Комитетах допущено присутствие посторонних слушателей, с большей или меньшею свободой, кроме Тульского и

Московского (последний уже окончил теперь свои заседания). В Орле, например, всякий может явиться в залу, на хоры, или в галерее, по билетам от губернского предводителя, выдающего их без всякого затруднения, о чем было даже напечатано в «Московских Ведомостях». Честь и слава орловскому дворянству; видно, ему нечего стыдиться общественного слуха. В Твери, в Казани, в Харькове почти то же самое. Такое присутствие посторонних слушателей и свидетелей не имело нигде вредных последствий и, без сомнений, может только предотвратить разные неприятные случаи, бездействие, излишнюю запальчивость прений и тому подобные явления.

Нам особенно прискорбно за Москву. Отчего в противоположность другим Комитетам в Комитете ее не было гласности, а, напротив того, бесполезное и неуместное секретничанье? Отчего произошло это? Какая тому причина? Какой злой демон виной в отсталости в великом крестьянском деле?.. Покуда помолчим, но история, без сомнения, разоблачит тайну и доищется причины.

Теперь посмотрим, какие Комитеты уже окончили свои занятия и какие переходы еще предстоят этому делу до окончательного разрешения... Но наша статья и без того велика, а потому отложимте нашу беседу до следующего номера.

Заключительное слово «Русской Беседы»

Мы приостанавливаем издание «Русской Беседы». Несомненно убежденные в жизненности тех начал и воззрений, которых посильным выражением была «Русская Беседа», – мы знаем, что ничто, конечно, не удержит их хода; но тем не менее с тяжелым чувством расстаемся, хотя и на время, с нашей журнальной деятельностью. Нам дорого было это периодически раздававшееся печатное слово, это дружное и гласное служение нашей народности; мы свято чтим наше литературное знамя, знамя народного самосознания во всех областях жизни и духа; нам жаль нашего прерванного труда.

Многие из наших главных сотрудников должны были оставить свою литературную деятельность для деятельности иной, неотложной, животрепещущей. Сам издатель в течение всего истекающего года не имел никакой возможности заняться своим журналом. Только благодаря заботам и трудам одного из сотрудников, принявшего на себя не официальную, а нравственную ответственность издания, могла «Русская Беседа» появиться во все положенные шесть сроков и появилась книгами богатыми, как нам кажется, не по одному числу листов, но и по внутреннему содержанию. Будучи лишен возможности и в наступающем 1860 г. посвятить себя делу редакции, издатель ходатайствовал о передаче «Русской Беседы» упомянутому сотруднику; по причинам, совершенно не зависящим от них обоих, такая передача не могла состояться: продолжать же издание журнала одному под именем другого – неудобно, не столько в официальном, сколько в литературном и нравственном отношении.

Сходя с журнального поприща, мы невольно окидываем взглядом пройденное нами пространство и невольно требуем от себя отчета – полезно ли, плодотворно ли было наше литературное дело. Пусть решит это окончательно сам беспристрастный читатель, но кажется нам, что труды наши были не напрасны, что журнал наш был и полезен и нужен. Не так сходим мы теперь с журнального поля, как вступали на него в первый раз, в 1856 году. Оставляя в стороне вопрос о личном успехе нашего издания, мы с истинной радостью видим, что многие мысли, за которые так горячо ратовала «Русская Беседа», сделались ныне уже общим достоянием. В этом свидетельстве едва ли могут отказать нам не только добросовестные, но и недобросовестные из наших противников. Но если бы и не захотели некоторые из них ради мелочного самолюбия отдать справедливость убеждениям, неизменно твердым, с которыми «Беседа» начала и окончила свое поприще, – для нас во всяком случае важно не столько признание личных заслуг «Беседы», сколько прочный успех и всеобщее водворение ее заветных убеждений. Встречен-

ные насмешками, колкостями и бранью, мы не сделали никаких уступок, – и постепенно умолкли насмешки и улеглись нападения. Кажется, мы не ошибемся, если скажем, что ныне оставляем за собой след уважения и даже сочувствия, если не лично к нашему журналу, то к нашему литературному знамени.

Что же именно сделали мы в эти четыре года? Где же доказательство успеха самой идеи? Мы, конечно, не станем рассказывать здесь содержание всех толстых 18 томов «Русской Беседы» и с лишком 4 томов «Сельского Благоустройства», но да позволено будет нам указать в немногих словах на те собственно вопросы, решение по которым, кажется нам, уже перешло в общественное сознание.

Читатель помнит, какую бурю против нас возбудило в 1856 г. мнение «Русской Беседы» о народности в науке. Этот вопрос является теперь совершенно решенным, и решенным положительно. Мы даже недавно прочли статью одного нашего почтенного ученого, всегда принадлежавшего к числу наших оппонентов, статью, в которой требование народности доведено до крайних ее пределов. Тем более чести тем, которые умеют открыто отказаться от своих прежних, так долго отстаиваемых воззрений, как скоро сознали их ошибочность. Вопрос о народности в науке вовсе не так маловажен, как хотят думать некоторые: он возвращает нас из духовного плена к независимости мысли, он избавляет нас от подобострастного поклонения авторитетам науки западной, дает нам право оценить их высокие заслуги в качестве самостоятельных и свободных ценителей, делает из нас не подражателей, но народно-самостоятельных деятелей общечеловеческой науки, делает из нас иногда противников, иногда друзей Запада, но уже никогда – рабов.

Вопрос об общинном устройстве, основанном на общинном землевладении и охраняемом извне круговым ручательством, вызвал против нас грозные выходки со стороны безусловных поклонников западной экономической науки, долго отрицавших самый исторический факт существования

в народе этого коренного начала его жизни. Но и признавши историческое существование, в чем не винили провозглашенное нами «варварское начало народного быта»! «Беседа» и «Сельское Благоустройство» неутомимо трудились над разъяснением сущности этого явления из русской и всеславянской истории и жизни; явления, имеющего громадную будущность; не только не противоречащего требованиям здраво понятой науки, но предназначенного внести новое воззрение и произвести совершенный переворот в политической экономии, как она сложилась доселе на Западе. Положение это теперь, более или менее, уже принято некоторыми из главных наших периодических изданий. По крайней мере недавно одно из них, наиболее распространенное в России, свидетельствовало гласно, что вопрос об общинном землевладении уже положительно разрешен в литературе. Конечно, еще есть много разногласий в частностях, но подождем терпеливо, и заявленное «Беседой», но принадлежащее народу начало возрастет, окрепнет и осенит собой всю русскую землю. Уже и теперь многие, а со временем и все сознают, что только общинное устройство может дать народу самостоятельность жизни, что только оно одно в состоянии доставить всему крестьянству благо землевладения и наибольшее, по возможности, общее благосостояние, и что кроме круговой поруки ничто не в силах оградить общественный быт крестьянства от вмешательства в него власти внешней.

Мысль об освобождении крестьян с землей, необходимо истекающая из изучения народного русского быта, печатно впервые была заявлена в «Беседе» (№ IV, 1857). Разработке и распространению этой великой истины был посвящен особый отдел «Беседы»: «Сельское Благоустройство». Глубоко сожалеем, что обстоятельства, от редакции не зависящие, заставили прекратить издание в то самое время, когда вопрос вступал в период самого полного своего развития, но утешаемся мыслью, что деятельность наша имела исторически-практическую важность и была оценена всеми, кому дорог успех крестьянского дела.

Давно ли славянский вопрос считался вопросом мертвым и теоретической бредней? Давно ли один из журналов насмешливо уступал г. Гильфердингу сочувствие всех славян, от Балтики до Адриатического моря? Но обстоятельства изменились, и, к счастью наших угнетенных братий,– они могут встретить теперь выражение сочувствия и не в одном только нашем журнале. Конечно, не «Русской Беседе» первой принадлежит честь установления умственного и литературного общения со славянскими племенами, честь эта, бесспорно, принадлежит М.П. Погодину, но думаем, никто не станет отрицать то важное общественное значение, которое имело для славян существование собственно «Русской Беседы» и о котором громко свидетельствуют и Белград, и Загреб, и Тернов, и Прага. Нам удалось возвести славянский вопрос из области археологического интереса в область живого, деятельного сочувствия и оживить умственное движение в кругу наших литературных славянских собратий. Обстоятельства, от нас не зависящие, помешали нам расширить круг наших сношений и устроить при «Русской Беседе» столь нужную для русских и для славян Славянскую контору; но и за то малое, что сделано нами, заплатили нам горячим сочувствием наши страждущие единоплеменники. Мы знаем, что прекращение «Беседы» отзовется особенно прискорбно во всех славянских землях Австрии и Турции, но мы просим наших братьев-славян не смущаться, во-первых, потому, что теперь многие даже из наших петербургских газет и журналов допускают на своих страницах статьи по славянскому вопросу и выражают сочувствие к славянской народности (дай Бог, чтобы это сочувствие привело их наконец и к полному сочувствию народности русской); а, во-вторых, потому, что мы только на время приостанавливаем нашу деятельность и надеемся в этот промежуток запастись большими средствами для нового деятельного служения славянскому интересу.

Мы рады, что успели, кажется, рассеять ложные понятия, какие существовали у нас и у славян о русском панславизме, и убедили наших братий, что сочувствие наше чуждо посяга-

тельства на их самостоятельное развитие; признание прав на самобытность каждой славянской народности было всегда девизом русского славянофильства.

Смеем думать, что и в области философии, истории и филологии «Русская Беседа» представила немаловажные образцы самостоятельной, независимой, своеобразной русской мысли.

Считаем обязанностью изъявить нашу глубокую признательность как подписчикам, большей частью не изменявшимся из года в год и поддерживавшим нас своим сочувствием во все время четырехлетней нашей деятельности, так и сотрудникам, мужественно разделявшим с нами все наши невзгоды и смело подставлявшим свои труды под удары большею частью неблагосклонной и предубежденной критики.

Мы, во всяком случае, надеемся, что в наступающем 1860 году от имени ли издателя «Русской Беседы» или коголибо из наших сотрудников будут изданы отдельные сборники.

Да, наша деятельность, кажется нам, была не совсем бесполезна. Мы уверены, что остающиеся на журнальной арене деятели будут продолжать разработку тех мыслей и положений, которые внесены «Беседой» в умственную жизнь русского общества, и что, возвратившись в журнальное поприще, мы найдем уже не столько, как прежде противников в общем деле нашего народного самосознания.

СУЩНОСТЬ РУССКОЙ ИСТОРИИ И РУССКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Возврат к народной жизни путем самосознания

Мелкий дождь моросит не переставая; сыро, мокро, скользко, серый туман, как войлок, облегает небо; воздух тяжел и удушлив; холодно, жутко, кругом грязь и слякоть, земля как болото, все рыхло, все лезет врозь. Осень.

Безотрадно путнику. Но что же внезапно, сквозь туманную пелену воздуха, поражает и приковывает, и радует его взор, и как-то свежит и молодит душу?.. Это озими, это изумруды полей в черной раме осенней грязи, это зеленые всходы будущей жатвы, молодые ростки добрых хлебных зерен!

И мы всей душой, всем сердцем, душой, наболевшей от долгого тщетного ожидания, сердцем, не устававшим любить и верить, с радостным упованием приветствуем молодые зеленые всходы Русской земли, первые шаги пробуждающейся народной жизни! Для нас в современной действительности действительно только одно – подъем народного духа, проснувшийся, оживший, повеселевший народ. 19-м февраля 1861 года начинается новое летосчисление Русской истории...

Вне народной почвы нет основы, вне народного нет ничего реального, жизненного, и всякая мысль благая, всякое учреждение, не связавшееся корнями с исторической почвой

народной, или не выросшее из нее органически, не дает плода и обращается в ветошь. Все, что не зачерпывает жизни, скользит по ее поверхности и тем самым уже осуждено на бессилие и становится ложью. И сколько накопили мы лжи в течение нашего полуторастолетнего разрыва с народом!.. Это не значит, чтобы до разрыва не было у нас ни зла, ни мерзостей: их было много, но то были пороки, порождения грубости и невежества. Только после разрыва заводится у нас ложь: жизнь теряет цельность, ее органическая сила убегает внутрь, в глубокий подземный слой народа, и вся поверхность земли населяется призраками и живет призрачной жизнью!

И на каком же широком просторе разгулялась да еще и разгуливает эта ложь! Все внутреннее развитие, вся жизнь общества, как проказой, поражены и растлены ею. Ложь! Ложь в просвещении, чисто внешнем, лишенном всякой самодеятельности и творчества. Ложь в вдохновениях искусства, силящегося воплотить чуждые, случайные идеалы. Ложь в литературе, с надменной важностью разрабатывающей задачи, созданные историческими условиями, чуждыми нашей народной, исторической жизни; в литературе, болеющей чужими болезнями и равнодушной к скорбям народным. Ложь в порицании нашей народности, не в силу негодующей, пылкой любви, но в силу внутреннего нечестия, инстинктивно враждебного всякой святыне чести и долга. Ложь в самовосхвалении, сопряженном с упадком духа и с неверием в свои собственные силы. Ложь в поклонении свободе, уживающемся рядом с побуждениями самого утонченного деспотизма. Ложь в религиозности, преданности вере, прикрывающей грубое безверие. Ложь в торжестве диких учений, созданных бесстыдным невежеством, безбоязненно оскорбляющим общественную совесть и не смиряющимся пред очевидной несокрушимой крепостью коренных основ народной жизни. Ложь в легкомысленной гоньбе за новизной под чужестранной формой прогресса и цивилизации. Ложь в гуманности и образованности, которыми в своей систематической непосле-

довательности щеголяет наше общество, допускающее, без разбора, самые несовместимые начала, закрывающее глаза от выводов, обходящее сознательно все основные вопросы, раболепствующее всем модным кумирам современности и выдающее за подвиги высокого благородства и терпимости дешевое умение замазывать, не разрешая, самые непримиримые противоречия!.. Страшное, невиданное сочетание ребяческой незрелости со всеми недугами дряблой старости, и при всем том исцеление возможно и даже несомненно! Мы это все чувствуем, мы даже не можем усомниться в том искренно, и заря нашего спасения уже брезжит!

Недуг громаден, но соразмерна ему и громадная крепость организма. Русь сладит с болезнью. Народ сохранил в себе запас силы не потраченной, уберег свои коренные начала, не поддался никаким опасным искушениям и соблазнам, не освятил добровольным участием и согласием никакого существенного нарушения своего внутреннего строя, не уложился ни в одну заготовленную форму заграничного изделия, и этим своим безучастием, бездействием, этой благодетельной неподвижностью, так часто осмеянной и непонятной, спас себя и нас и воздействовал на оторванных своих членов... В нас пробудилось сознание.

Да, изо всех испытаний, пережитых и переживаемых Россией, мы вынесли теперь драгоценнейшее благо, залог нашего будущего выздоровления: понимание нашей болезни, способность глядеть ей прямо в лицо, не отворачивая смущенного взора, сознание лжи, заедающей наши силы, и в то же время сознание нашей народной сущности, сознание начал, развитие которых составляет условие нашего спасения и наше призвание в истории человечества. Поблагодарим Провидение! В мудром строении Божием, в общей экономии истории пережитые нами испытания должны занять свое законное место, принести благие плоды, и кто знает, может быть этот самый мучительный разрыв был нам спасителен и нужен.

Почему?

Слаба, ненадежна народность, не вооруженная сознанием, опирающаяся на одну непосредственность быта. Чем шире и свободнее от односторонности народные начала, тем труднее вполне соответственное их выражение на земле, тем необходимее полнота сознания для правильного и стройного их проявления в жизни. — Кажется, Провидению угодно вести Россию, и не только Россию, но и все славянские народы, этим особенным, строгим путем развития, путем, на котором, говоря языком философским, анализ возвращает народы к синтезу жизни снова, не разрушая его силы, но утверждая его и сливаясь с ним в цельном явлении духа. Ни одно славянское племя не было освобождено от этого испытания: каждое из них, как известно, подвергалось и подвергается опасности утратить свою народность; многие племена не выдержали и погибли, но большая часть из них возродилась или возрождается вновь трудным подвигом самосознания.

Удивительное дело! Казалось, исчез народ, сам забыл о своем существовании, и вот кафедра ученого-исследователя возвращает его к жизни, и полумертвый труп оживает, согретый солнцем мысли! Мы думаем, что племена славянские не успокоятся, и хаос славянского мира останется хаосом до тех пор, пока сила пробужденного самосознания не выработает формы жизни, более или менее соответственные особенным, внутренним требованиям славянской народности.

К такому же жизненному испытанию, к такому же духовному подвигу призвана и Россия. Мучительным, медленным процессом добывалось и у нас наше самосознание, и не напрасно жили и потрудились для него подвижники Русской мысли: Киреевские, Хомяков и Константин Аксаков. Точка зрения, добытая, постановленная и выраженная ими, составляет, по нашему убеждению, поворотную точку в истории Русского просвещения и как маяк озаряет дальнейший, предлежащий нам путь развития. Не пускаясь здесь в пространные рассуждения, скажем, кстати, что знамя нашей газеты есть знамя Русской Беседы, знамя Русской народности, понятой и определенной Киреевскими, Хомяковым, Аксаковым Константином

и всей так называемой Славянофильской школой. Каждому беспристрастному читателю известно теперь, что это учение, независимо от личных уклонений последователей, чуждо односторонности и исключительности относительно Запада и что все обвинения подобного рода были изобретены во время оно недобросовестностью или непонятливостью, а всего чаще увлечением противных направлений. Впрочем, кажется, эти обвинения в настоящее время едва ли уже не рассеялись сами собой. По крайней мере мы с радостью видим, что многие из выработанных Славянофильской школой положений уже обратились теперь в общее достояние и нашли себе защитников и в других органах нашей печати.

Но возвратимся к предмету нашей беседы.

Итак, мы имеем теперь перед собой два явления, составляющие существеннейшие условия нашего будущего развития: с одной стороны — плод полуторастолетнего периода, выработанное сознание наших народных начал, пребывающее, однако, еще в области отвлеченной, отрешенной от жизни; с другой, как бы в соответствие этому движению мысли, — движение и пробуждение самой жизни народной, вызванное великим делом 19-го февраля.

Обе стороны, обе разорванные половины подвигаются друг к другу, и только слияние их может восстановить ту цельность общественного организма, без которой невозможны никакие правильные отправления жизни общенародной.

Но это сближение не должно быть понимаемо одним внешним образом.

Сколько ни приписывайся к волостям, сближения не достигнешь, пока не соединишься с народом в области духа, пока не проникнешься его основными, духовными и историческими началами. Вне этого условия, вне исторического камертона, какую бы ни взяли ноту, она будет фальшива и только усилит всеобщий диссонанс, от которого и без того уже так давно страждет слух и не слыхать голоса истины.

Обличение этой лжи в явлениях, доступных критике, будет постоянной задачей нашей газеты.

Отчужденность интеллигенции от народной стихии

«На неподвижном голубом просторе Средиземного моря, в темную безветренную ночь, откуда взялись — показались с двух краев небосклона крылатые могучие корабли. Нарушая безмолвие ночи и сон почившей стихии, они несутся стремительно и гневно, они близятся, сблизились, схватились железными лапами, и закипел во мраке ожесточенный, губительный бой. Не слышны и не видны бойцы: только звучит и сверкает оружие, и не донесшись к далеким берегам, замирают в пространстве глухие стенания раненых. И заколыхалось море: пробудились, всплыли и стали кругом подводные боги: смотрит во гневе Нептун, опершись на свой трезубец, и облокотясь на волны и с волнами качаясь, глядят, в грозном недоумении, прочие властители моря. “Чего хотят эти незваные гости? Что значит бой, кто правый, кто виновный? Не знаем мы их, они чужды нам оба, они в безумном ослеплении осмелились презреть, они не уважили могущества державного бога...” И вдруг, рассвирепев, вздрогнуло, взбушевало море, встали синие горы волн, разверзлись пучины, — нет ни кораблей, ни борцов, и поглотив добычу, долго, долго еще потом колыхалось сердитое море».

Так гласит стихотворение какого-то старого немецкого поэта.

Мы невольно припомнили это стихотворение, углубляясь в смысл современных явлений нашей общественной... преимущественно литературной жизни. Поверх нашей исторической народной почвы, при полном безучастии народной духовной силы, также совершается борьба, но не двух, а многих враждующих сил. Разные партии, направления, школы, доктрины ссорятся и воюют друг с другом, разные течения мыслей встречаются и пересекаются взаимно, много шуму и блеску, много и действительных битв, и борцов молодых, неразумно-благородных, — и все они, эти борцы, одинаково чужды тому, кому единственно принадлежит держава народного духа; также презирают они, не знают и знать не хотят его

прав, его сокровенной тихой силы, тайны его жизни, могущества его обычая, веры и закона. Как пигмеи, снуют они около спящего великана и в ослеплении предписывают ему уставы, рядятся в его доспехи, самозванничают его именем и лгут его именем! Что видим мы... хоть в вашей литературе? Какие теории? С одной стороны, пустое, голое отрицание, волнение без содержания и без цели, какой-то призрак жизни и движения, а в сущности нет ни жизни, ни движения, все полумертво и гнило, и заимствует силу только от силы враждебного напора, с другой — грубая, тупая, бессмысленная сила, только в насилии и бездушном механизме полагающая спасение! С одной стороны, ложь разрушения, с другой, ложь созидания: с одной стороны, неверие, поклоняющееся, как богам, людским, временным кумирам; с другой — мнимая вера, поклоняющаяся и Богу, как кумиру, и силой Божьего имени служащая своим корыстным целям, и выгодам! Тут раболепство пред каждым последним словом науки; там – грубое презрение к науке, к мысли, к подвигам разума и духа! тут злоупотребление, нечестное обращение со словом; там преследование слова, любовь немоты и мрака, тайное сочувствие с бессловесными! И тут, и там одинаковое умерщвление духа: там через внешнее насилие, а тут — через оскудение и огрубление духа. И тут и там одинаковое подобострастное рабское отношение к иноземному, бессмысленная покорность подражания, измена народному духу, при наружной грубой подделке под Русскую народность. В безысходный мрак погружены обе враждующие стороны, во мраке терзают и истребляют друг друга! И если народ, наконец, подымет усталые от долгой дремоты очи и взглянет на наших литераторов и всякого рода художников (кроме некоторых исключений), взглянет на этих незваных гостей, устроивших свой буйный пир у его ложа, прислушается к их оглушительным кликам, к треску и грому их велений и вещаний, — что скажет он? «Куда девали вы порученные вам дары нашей родной, богатой земли? Куда расточили ее духовные сокровища? Что сталось с моим обычаем, верой, преданием, моей прожитой жизнью. моим долгим и горьким опы-

том? Что совершили вы на досуге? Где цельность и единство жизни и духа? Где наука, вами взращенная? Где мое живое, изобразительное, свободное слово? Какого хламу нанесли вы на мою почву?.. Нет, вы не мои, вы безобразные снимки с чужих народов, подите к ним, если они вас примут, — я не знаю вас, вы мне не нужны, вы чужды мне...» – скажет народ, пробуждаясь к сознанию, — и сметает их, как сор, свежая струя воскресшего народного духа!

Но еще не наступила пора. И хотя мы почти уверены, что голос наш раздается напрасно, но, примеряясь к предмету настоящей речи нашей, скажем и мы: «Глас вопиющего в пустыне, уготовайте путь Господень... Покайтеся!»

Народный отпор чужестранным учреждениям

Отчего, по-видимому, ты так безобразна, наша святая, великая Русь? Отчего все, что ни посеешь в тебе доброго, всходит негодной травой, вырастает бурьяном да репейником? Отчего в тебе, — как лицо красавицы в кривом зеркале, — всякая несомненная, прекрасная истина отражается кривым, косым, неслыханно-уродливым дивом?.. Тебя ли не наряжали, не румянили, не белили? За тобой ли не было уходу и призору? Тысячу прислужников холят тебя и денно и нощно, выписаны из-за моря дорогие учители; есть у тебя и немцы-дядьки, и французы-гувернеры, а все-таки не впрок идет тебе ученье, и смотришь ты неряхой, грязным неучем, вся в заплатах и пятнах, и как дурень в сказке, ни шагу ступить, ни слова молвить кстати не умеешь!..

Оттого я так безобразна, отвечает святая Русь, что набелили вы, нарумянили мою красу самородную, что связали вы по рукам и по ногам мою волю-волюшку, что стянули вы могучие плечи во немецкий тесный.... кафтан!.. И связали и стянули, да и нудите: ходить по полю да не по паханному, работать сохой не прилаженной, похмеляться во чужом пиру, жить чужим умом, чужим обычаем, чужой верой, чужой совестью! О, не

хольте меня, вы отцы, вы благодетели. Не лелейте меня, вы незваные и непрошенные, вы дозорщики, вы надсмотрщики, попечители, строители да учители! Мне не в мочь терпеть вашу выправку! Меня давит, томит ваш тесный кафтан, меня душат ваши путы чужеземные! Как не откормить коня сухопарого, не утешить дитя без матери, так не быть мне пригожей на заморский лад, не щеголять мне красой немецкой, не заслужить у Бога милости не своей душой!

И действительно, слова «безобразный» и «безобразие» часто слышатся теперь в нашем обществе, когда речь идет о РОССИИ. И кажется, трудно сыскать выражение более меткое и в такой степени идущее к делу. Болезненно гнетет душу вид этого безобразия; многих точит, как червь, тайное, глухое уныние; но многие же, и едва ли не большая часть, утешают себя соображениями о незрелости и невежестве народа, которому «стоит только просветиться, чтобы сделаться совершенно приличным народом, способным стать наравне с народами чужими».

Безобразие! Да знаем ли мы, в чем его смысл и сущность? Понимаем ли мы, как много обязаны мы этому спасительному безобразию? В нем, в этом безобразии, выражается протест живой и живучей, не покорившейся силы народной; в нем отрицательный подвиг самобытного народного духа, еще хранящего веру в свое историческое призвание; в нем таится великая историческая заслуга, которую со временем оценят благодарные потомки!

Многим покажутся наши слова парадоксом, но мы просим их возобновить в своей памяти историю последних полутораста лет. С тех пор, как расстроились отправления цельного организма, нарушилось единство в русской земле, отшиблась память и взаимное недоверие и непонимание разделило простой народ от служилой и образованной части общества, Русская земля подвергалась всякого рода пробам и испытаниям. Как китайские тени и фонарь, сменялись в нашем обществе реформы, преобразовательные и созидательные доктрины, и разные модели, по которым отливались формы для Русского народа. Общество снисходительно смотрело на народ, как по-

слушное и годное тесто, из которого легко вылепить потребную на всякое время фигуру. Но формы были не по народу, все лопались и разбивались, оставляя однако же на нем свои обломки. Вид, конечно, неблагообразный, но чтоб порадовать наши взоры своим благообразием, народу следовало бы поприжаться, съежиться, пожертвовать некоторыми необходимыми для своего существования органами и услужливо уложиться в форму нынче голландскую, завтра шведскую, нынче стать совершенным немцем, а завтра еще более совершенным французом. Он не стал ни тем, ни другим, он сохранил свою Русскую душу, не польстился ни на какие блага, не изменил своей Русской природе, — и покрытый лохмотьями иноземных одежд, утомленный борьбой, но не уступивший в борьбе, предстоит перед нами в своем многовещем, громадном, величавом безобразии!

Поясним нашу мысль примером. Было время, и еще недавнее, когда в ходу и в чести были в Европе ремесленные цехи и корпорации — законный продукт западной истории, спасший автономию и независимость городских общин. Совершив свое историческое призвание, цеховое устройство обратилось в тягость самим общинам, стало быстро клониться к разложению, наконец, при первом удобном случае в большей части местностей было вышвырнуто за окно как ненужная ветошь. Тем не менее самое начало корпораций глубоко засело в плоть и кровь немцев. Мы находились в совершенно иных исторических условиях; цеховое ремесленное и всякое подобное устройство, основанное на формальном, условном, внешнем, принудительном элементе, противно самой сущности духа славянских племен вообще и Русского народа в особенности, противно их стремлениям к внутренней свободе жизни, их коренному общинному началу. В наше время защитников средневековой цеховой организации уже не является, но в XVIII веке Русское общество, точно так же как и в XIX, увлекалось внешним благообразием Запада, так же жило чужим умом и верило чужой верой, — и стало вводить в Россию цеховое ремесленное устройство. Дико звучали Русскому рабочему люду

все эти иностранные названия и слова: «альдерманы», «экзамены», «мейстеры», «бюргеры», «магистраты» и «ратуши»; непонятны были ему эти теснившие его жизнь «привилегии», это право собираться в «гербергах», которое и поныне читаем в Ремесленном Уставе, эти значки, трости и печати с гербами и всевозможные деления и подразделения, всякие администрации и регламентации. Но требование общества не было каким-нибудь *pia desideria* или платонической мечтой: оно было приведено в исполнение. Молодые доктринеры, передовые люди и прогрессисты того времени, глумясь и потешаясь над упрямством и невежеством Русского народа, усердствовали на просторе со всей искренностью непонимания, со всем жаром близорукого убеждения, со всей дерзостью тупоумной благонамеренности. Стоном стояла Русская земля, упорно сопротивляясь, кряхтел Русский быт в объятиях прогрессистов, трещал и ломался древний обычай...

Что же, читатель, вы, который теперь вместе с современной Европой обличаете и на кафедре, и в обществе ложь цехов и корпораций, были бы вы рады, если б Русский человек принял эту ложь в свою душу, если б это немецкое начало пришлось ему по сердцу, если б посеянное расцвело в нем так же, как на германской почве, розаном немецкого благоустройства? Скажите, читатель, жалуясь на безобразие Руси, хотели бы вы разве, чтоб Русский человек приобрел благообразие немца и для этого, как необходимое условие, условие *сине куа нон,* стал бы немцем, сузился бы в немца, взял бы себе идеалом немецкую добродетель и благонравность? Ответ ваш несомненен: вы не желаете такого превращения ни за что в мире, и не потому не желаете, чтоб вы не уважали всей душой глубины германского духа и его исполинских заслуг человечеству, но потому, что вы чувствуете, что Русскому человеку в немце было бы душно и тесно, и что в нем живут стремления к иному, может быть, даже высшему идеалу. Но если вы так отвечаете на вопрос, когда он так просто поставлен, в примере цехового устройства, зачем же вы продолжаете с прежней неразборчивостью навязывать Русской земле новейшие изобретения выписанных вами из-за

границы доктрин и теорий, о которых Европейская критика еще не успела произнести своего последнего слова и который потому принимается вами на веру, с слепым благоговением? Или вы думаете, что не порастут они на Русской почве тем же безобразием, каким поросли пересадки XVIII века? Зачем продолжаете вы не знать, или, выражаясь пестрым языком нашего общества, игнорировать ту органическую силу, которая проявляет себя в современном безобразии нашей родной земли, и громко вопиет о нашем невежестве и отчуждении от народа?

Возвращаясь к приведенному нами примеру, скажем, что нам случилось обозреватъ ремесленное устройство во многих городах России, что ничего отвратительнее быть не может, и что мы сердечно порадовались этому безобразию, — не тому, что было тут грязного и порочного, но тому внутреннему сопротивлению жизни, которое сказалось в этом отрицательном печальном и в то же время радостном явлении. Предоставляем теперь читателю самому проверить в своей памяти, со времени Петра, во всех отраслях нашего общественного быта, весь этот ряд устройств, регламентов и учреждений, вводившихся и изменявшихся не вследствие потребностей жизни, но вследствие подчиненного духовного отношения к Западу и не подчиненного, и уж нисколько не духовного отношения к Русской жизни.

Что же говорите вы нам нового? – скажут многие из читателей. Дело известное, что в каждой земле следует применяться к ее нраву. Дело известное, ответим мы, а все-таки наше общество продолжает держаться той же дороги! Дело известное, мы и не думали сказать что-либо новое, а все же нам кажется, что поставленная нами точка зрения на безобразие, как на протест самой жизни народной против посягательств образованной и влиятельной части общества, как на историческую заслугу, в большей части случаев, нашего народа, — представляет многое в народном невежестве и в нашей цивилизации в ином свете, изменяет оценку некоторых явлений и переносит в некоторых отношениях обвинение с обвиняемых на обвинителей...

Пусть же воздержатся молодые доктринеры от всякого нового насильственного искажения Русской земли, пусть не накладывают они ни белил, ни румян, чтобы сделать ее Европейской красавицей: она ответит еще пущим безобразием! Пусть не заботятся они и об излечении безобразия внешними способами, а пусть сами отстранят себя, дав простор внутренним силам народного организма. Пусть вместо заносчивой благонамеренности и самонадеянности стремления образовывать Русский народ проникнутся они некоторым смирением пред явлениями его жизни, уважением к фактам истории, пусть задумаются, наконец, над несокрушимой твердостью коренных основ и духовных начал народного быта.

Почтим же подвиг народа, который, не имев иных средств протеста (ибо органы, необходимые для полноты и стройности жизненных отправлений, были у него оторваны), — тем не менее сохранил и уберег себя для нас от всяких предлагавшихся ему разношерстных благообразий! Ему, при его положении, оставалось одно: перебыть и перемочь, и он перебыл и перемог не одно злое или лживое начало, и Бог даст, перебудет и переможет!

О лженародности в литературе 60-х годов

Внешнее сходство некоторых учений, занесенных с Запада, с бытовыми воззрениями Русского народа еще хитрее усложнило ту путаницу понятий, которая составляет едва ли не самый главный недуг современного Русского общества. Русские западники, давно приметив несостоятельность своего положения, свою полнейшую отчужденность от народа, от той органической силы, которая дает жизнь, смысл и бытие всей Русской земле, которой она есть, живет и движется, Русские западники искали себе почетного отступления от занятой ими прежде позиции и чрезвычайно утешились, когда нашли возможность согласить со своим поклонением Западу некоторое уважение к Русскому народу. Будем беспристраст-

ны: многие из них были искренно рады дать простор своему Русскому естественному чувству, угнетенному до той поры страхом западного авторитета, и с милостивого разрешения Запада явились Русскими. С того времени вся их деятельность направлена к тому, чтобы оправдать свою русоманию сходством Русских народных начал с самоновейшими, модными доктринами Европы. Это тот новый вид лжи, который мы считаем наиболее опасным для истины и на который мы хотим теперь обратить особенное внимание наших читателей: внешние признаки обманчивы, псевдонародность может быть легко принята за истинную народность и отравить ложью не только понимание, но и самое чувство, — простое, естественное, живое чувство любви и влечение к Русской народности. Когда зло щеголяло во французском кафтане и гордо указывало на свое заморское происхождение, оно не смешивалось с толпой родных, доморощенных явлений, резко от них отделялось, и всякий, уступавший соблазну, знал и ведал, что он настолько изменил началам своей народности. Если то же самое заморское зло надевает зипун и кафтан, то выйдет ложь горше первой, потому что, совращая человека, она не даст ему почувствовать, что он совершает измену, и спутает его понятия внешним сходством с той бытовой истиной, которой он привык отдаваться без критики и поверки. Так, например, какой-нибудь старый ремесленный устав, целиком переведенный с немецкого, с его «альдерманами», «гербами», «гербергами» и «экзаменами», мы предпочитаем новейшим административным учреждениям артелей. Так, например, мы лучше бы желали, чтоб мир, для которого обязательно решение баллотировкой и счетом голосов, был уже назван вместе с тем и ассамблеей, а не древним Русским именем мир, предполагавшим до сих пор чисто народное устройство.

Нам грозит лженародность во всех отношениях, во всех видах: в администрации, обществе, науке, литературе. Оставляя администрацию в стороне, укажем в немногих словах на наших западников-народолюбцев. Сначала это сочувственное отношение к Русскому народу выражалось довольно робко и

довольно забавно, преимущественно в произведениях изящной словесности. Мы помним, как однажды молодой романист, дерзнувший с любовью воспроизвести в своих романах картины народного быта, с увлечением обещался нам доказать всему свету, что «у Русского человека страсти не уступают страстям итальянским, что он точно так же способен, может быть не так красиво, зато не менее яростно, зарезать изменившую ему возлюбленную», и т. д. Вы лучше покажите, как он христиански прощает, говорили ему славянофилы, но романисту нужно было выставить только то, что по сходству своему с общественными явлениями Запада могло возбуждать сочувствие тогдашней публики. Когда эта публика стала более и более знакомиться с теми крайними доктринами, которые на Западе действительно вполне исторически правы в своем отрицании, в своей критике социального устройства Европы, и обнажили перед миром общественные язвы Запада, сокрытые в пролетариате, пауперизме и других явлениях общественного быта, Российская публика выразила расположение посочувствовать и Русскому народу, но сколько его несчастия представляли аналогию с несчастиями низших классов Европы. В литературе явились в обилии изображения Русского простонародного быта, но только с отрицательной стороны; Русского крестьянина ни видом не видать, ни слухом не слыхать во всех этих произведениях расчувствовавшейся литературы, а выставлялась на вид только внешняя печальная сторона его жизни: бедность, зависимость, притеснения. Мы не отрицаем той относительной пользы, которую могла принесть и действительно принесла эта литература (все же это было лучше, чем прославление барства), но мы обличаем только внутреннее побуждение, ею руководившее: в ней, за немногими исключительными, не было действительного сочувствия к Русскому простому народу, а было сочувствие страданиям низших классов вообще, навеянное с Запада, которое, кстати и некстати, было применено и к домашним «низшим братьям». Некоторые даже сердились на Русский народ за то, что он мало страдает (а в особенности мало верит

этому модному «состраданию»), даже безотчетно пожалели о том, что нет у нас ни пролетариев, ни пауперизма, что нет возможности пустить в ход в Русской жизни все готовые вопли, которых запас имелся у каждого под рукою во французской литературе... Было и есть о чем плакать и стенать Русскому народу, да только большей частью не о том, о чем плакали за него — в искреннем самообольщении — наши Русские молодые западники!... Они в забавном неведении продолжали поклоняться страшнейшему из насилий, насилию Петра Первого, осуждая за него славянофилов и в то же время яростно негодуя против какой-нибудь мелочной неправды станового пристава; они оскорбляли своими проповедями и поведением самые святые верования народа и находили оскорбительным, что с «господином» крестьянином употреблялось в разговоре слово «ты». Если бы народ Русский перестал страдать тем «страданием», которое одно было им понятно, то они бы перестали ему и сочувствовать, потому что он потерял бы право на звание «страждущей меньшей братии»: положительной стороны его жизни, его внутренней сущности, основных начал его народности, а также и истинных духовных его страданий они не понимали, да и до сих пор не понимают. В санкт-петербургской литературе заметно уже и теперь крайнее оскудение пищи для сочувствия Русскому простому народу со стороны западников-демократов!..

Да, демократизм и народность — вот два понятия, которые постоянно смешиваются в умах публики и непублики. Между тем можно утвердительно сказать, что кто сочувствует Русскому народу во имя демократизма, тот был, есть и остается чистейшим западником, в действительности нисколько не сочувствующим Русскому простому народу; кто старается объяснять явления Русской жизни с точки зрения «демократической», тот только окрашивает их ложным колоритом, замазывает истину, или при самых добросовестных усилиях успевает раскрыть одну внешнюю сторону явлений. Мы постараемся доказать это ниже, а теперь окончим наш краткий очерк.

Когда некоторые из славянофилов надели Русское платье, публика во главе ее с Белинским (доказывавшим в то время преимущество Петербурга пред Москвою тем, что в Петербурге есть лакейские балы, которых нет в Москве. – См. Петербургский сборник Некрасова) осыпала их насмешками. Когда потом демократизм вошел в моду, а путешественники, возвратясь из-за границы, рассказали об употреблении в Европе национальных костюмов, смеявшиеся над славянофилами облеклись сами в Русское народное платье, но не по сочувствию с Русским народом, а потому только, что это мундир «демократизма» и что нельзя же было им в самом деле нарядиться французскими блузниками и пейзанами, хотя, в сущности, они и в Русском зипуне оставались блузниками и пейзанами. Долго и неутомимо толковали славянофилы о Русском мире, мирском управлении, общинном поземельном владении: они вызвали против себя громы журналистов и публицистов. Впоследствии, справившись с новейшими западными учениями и смекнув, что Русская община представляет сходство (совершенно внешнее) с коммуной, чаемой передовыми людьми Запада, гг. публицисты отнеслись с благоволением и к Русской общине, заявивши, впрочем, на первых же порах свое полнейшее неуважение к правам живого Русского обычая и облачивши полное свое незнакомство с жизнью Русского простонародья. Они принялись (и к счастью, только в теории и в своих статьях) кроить Русскую поземельную общину на фасон коммуны, фаланстера, Русскую артель на фасон ассоциации, забывая, что всем этим коммунам, искусственно сочиненным, недостает именно того, что составляет органический элемент, душу-живу Русской общины, и чего наши демократы-западники хотели ее лишить, — нравственного зиждительного начала любви и братства! Одним словом, нисколько не уважая Русского простого народа, они всеми силами старались создать образ народный по своему демократическому образу и подобию.

Но все эти попытки были довольно невинны, потому что были совершенно бессильны и ограничивались большей частью пустой журнальной болтовней; «демократам» не удалось

оказать никакой существенной услуги Русскому простонародью в деле освобождения крестьян, и они скоро бы выболтались совсем, если б этот новый вид западничества не был перенесен в науку, преимущественно в науку Русской истории.

Было время, когда под влиянием господствовавших научных теорий Запада Русские историки ограничивались историей одного Русского государства, не принимая в соображение жизни, развития, деятельности Русского народа; когда хотели видеть в наших уделах феодальное устройство, в боярах такую же аристократию, как и на Западе, Новгород называли республикой, Бориса — Кромвелем, одним словом, старались отыскать какое-нибудь сходство с теорией западных народов, чтобы дать Русской истории право гражданства в «науке». Опять же славянофилы указали на место Русского народа в истории, обратили внимание на значение Земли и Государства, соборов, земства и земщины, заявили о богатстве ее внутреннего содержания и о мысли, лежащей в ее развитии: к сожалению, труды главных деятелей были прерваны смертью. Но под влиянием западно-демократического воззрения началась новая переработка Русской истории, в которой западники нового вида стали вновь всеми силами отыскивать сходство с западной историей, но уже не с аристократической, а демократической ее стороной. Как прежде выдумывали феодализм, так теперь навязали Русской исторической жизни «федерацию», «демократическую оппозицию», «стремление к народовластию», «политическое народное честолюбие» и пр., и пр., и исказили, опошлили до невероятности величавый и важный смысл слов: земли, земщины, земского собора, веча!.. Как прежде считали очень лестным для Русского самолюбия назвать Бориса похожим на Кромвеля, или иного Русского «героя» на героя Греции или Рима, так и теперь наши западники не без гордости стараются найти родственные черты между иными Русскими деятелями, с одной стороны, и чуть-чуть не философами и французскими деятелями второй половины XVIII столетия! Читая их исследования, при всей внешней верности последних, вы никак не поймете, например, отчего Русь называет-

ся Святой Русью, — название, которого народности не могут же ведь отрицать и самые ярые демократы? Им и дела нет до того, какую нравственную задачу пытается разрешить этот народ, которому они так пылко и отчасти хвастливо сочувствуют, какой нравственно-общественный идеал предносится перед ним? Зато как фейерверк затрещат пред вами слова и фразы, вроде: «демократически-отрицательная оппозиция», «социальное народоправное самоустройство», «общинно-демократическое или демократически-общинное развитие». Особенно поразительны этой примесью лжи к истине труды, впрочем, достойные всякого уважения, одного новейшего исследователя в области раскола. Мы вполне ценим горячее сочувствие автора к бедствиям Русского простонародья в XVII и XVШ веках, но не можем не пожалеть, что столько работы и таланта потрачено в направлении, так сказать, совершенно отрицательном при очевидном непонимании положительных сторон Русской народности. Вся беда в том, что он смотрит на Русскую историю и на раскол с западно-демократической точки зрения и усердно наводит западно-демократическую краску на события Русской народной жизни. Понимая раскол только и единственно как протест политический (значение протеста он бесспорно имел), автор совершенно упускает из виду его религиозную сторону, ход и развитие религиозной мысли народа, нравственную внутреннюю историю раскола, не видит, не понимает того значения, которое имели и имеют в жизни Русского народа вопросы веры и церкви. Его сочувствие к Русскому народу разведено таким простодушно прямым западно-демократическим соусом, его воззрение на Русского мужика, его восторги и поклонение крестьянству так ниже истинного нравственного достоинства Русского крестьянина, наконец во всех его произведениях звучат такие невыносимо-фальшивые ноты, что исследования его, сами по себе очень полезные, теряют наполовину свое значение. Вот, например, наудачу следующее место: говоря о христовщине (которую некоторые называют хлыстовщиною), автор прибавляет: «религиозное самозванство Христами-искупителями,

так называемые христовщины, выражали не что иное, как и мифическую, религиозно-антропоморфическую персонификацию крестьянского народовластия, мифическое возвышение нравственно человеческого достоинства крестьянской личности, мифическое возведение крестьянской личности до апофеозы» (заметим при этом, что это просто неверно: всякий, будь он князь, поступая в христовщину, мог быть произведен в Христа вовсе не потому, чтоб он обращался в крестьянина, а по своей преданности учению и по другим достоинствам; вспомним также, что и Петр III, по смерти своей, считался одной сектой той же категории Христом и императором). Для нас, собственно, важно самое выражение «крестьянское народовластие», а также и этот постоянный эпитет «демократически», придаваемый автором словам: «раскольничьи общины» и «раскольничья отрицательная оппозиция».

Демократизм и народность! Что такое демократия, демократизм? Эти слова понятны и имеют жизненный смысл там, где им противополагается аристократизм, аристократия, но в нашей жизни и в нашей истории им места нет. На Западе демократизм есть возведение бытовой идеи низших классов общества в политический принцип; другими словами, стремлением передать политическую власть простому народу, материальное уравнение всех слоев общества с низшим его слоем. Так в теории; на практике демократизм оказывался просто притязанием демократов занять место аристократов. В сущности демократизм есть самое грубое, ослепленное честолюбием поклонение государственному принципу, началу внешней, материальной, принудительной, условной правды, и стремление внести это начало во внутрь народной жизни. У нас же, в Российской литературе, это слово не имеет никакого жизненного политического смысла и употребляется ни к селу ни к городу, как простое выражение сочувствия к народу. Странно было бы назвать русского мужика демократом и зараженным духом народовластия, когда он всячески избегает политической власти, стараясь сохранить от вторжений государственности свободу земского быта! Кажется теперь уже достаточно

разъяснено, что ничто так не враждебно народной свободе, как политическое народовластие: если весь народ превращается в правительство, то нет уже народа: правда внешняя вытесняет правду внутреннюю, закон внешний отменяет совесть, одним словом, изгоняется та свобода быта, которую так тщательно оберегал Русский народ от начала государственности, отделяя от себя политическую власть и отвлекая ее на поверхность. Демократизм на Западе имеет законное историческое значение как выражение вражды и борьбы между угнетенным завоеванным народом и аристократами-завоевателями. На завоевании основаны все европейские государства и весь их гражданский строй, все политические теории выражают одну-единственную заботу: привести в механическое равновесие эти две борющиеся стихии. Везде натиск и отпор, нападение и отражение, обвинение в защита, — везде одно и то же: начало проведено и в учреждении конституционных палат, и в устройстве суда, — во всех государственных институтах. Равенство! Но западное равенство есть чисто внешнее равенство гражданских прав, полное внутренней вражды и разделения. Запад понимает равенство единственно материальным, грубым, формальным образом, определяя его весами и мерой, добывая топором и всяческим насилием. Равенство, о котором мечтают социалисты, есть что-то в роде казарменного равенства и того солдатского единообразия, за которым наблюдает начальство, а не живое, свободное единство. Не так понимают равенство Русские и вообще все славянские народы (преимущественно православные, у которых это начало сохраняется чище, чем, к сожалению, в России). У них есть нечто высшее, чем то демократическое равенство, о котором грезят западные утописты, у них есть братство, то начало духовного христианского равенства, при котором могут законно и свободно существовать различия и в звании, положении и состоянии, предоставленные естественной переработке истории и жизни. Разумеется, мы против всякого неравенства гражданских прав, но мы хотим сказать, что никакое гражданское равенство (egalité) не дает еще ни fraternité, ни liberté, ни братства, ни свободы, — начал нравственно

духовных, не добываемых никакой внешней силой, никакими государственными законами и постановлениями.

Мы желали в этой статье только предварить наших читателей о новом замаскированном костюме, в котором является к нам западная ложь, наряжаясь теперь уже в Русской зипун, онучи и лапти и кипятясь фразистым восторженным сочувствием к Русскому народу в явлениях его исторической жизни. Об отношении идеи демократизма к идее Русской народности мы, разумеется, не один еще раз будем беседовать с читателями, а теперь напоминаем им статьи К. С. Аксакова, помещенные в 1 томе Полного Собрания его сочинений (о Земских Соборах, Русская Земля и Государство и пр.). Мы надеемся также в скором времени представить в «Дне» подробный отчет о последних сочинениях о расколе, а также и разбор некоторых новейших западных государственных теорий.

Ответ Мещерскому[1]

«Гражданин» в длинной статье 76-го № резко выступил против наших мнений, высказанных в целом ряде статей по поводу новейших дополнительных законоположений о печати. Статья «Гражданина» заслуживает внимания. Она, как в зеркале, отражает то направление мыслей, которое господствует в настоящее время в некоторых петербургских более или менее высших или властных кругах, или даже не направление, а как бы (да простит нам почтенный редактор это выражение и последующее сравнение) сумятицу мыслей, разом поднимающуюся от одного слова «свобода печати» – подобно стае испуганных птиц, внезапно завидевших чучело на огороде. Эта сумятица мешает мятущимся даже вникнуть внимательно в смысл речей их противников, да и известно, что у страха глаза велики.

Начать с того, что, ратуя в пользу свободного слова, мы никогда не требовали «необузданной свободы» для всякого слова, какое бы оно ни было, и даже прямо оговорились, что

«свобода слова не значит свободы сквернословия» и что бывают случаи, когда слово имеет характер действия. Далее мы заметили, что наилучшей гарантией против злоупотреблений свободы печатной речи служит, разумеется, та самопроизвольная дисциплина общественных нравов, образцом которой мы указали Англию и которая в этой стране упразднила применение формального о печати законодательства; но что при отсутствии этой общественной дисциплины (которая и не может всюду так скоро выработаться) из всех существующих форм ограждения по отношению к печати наилучшей представляется судебное разбирательство с просвещенными присяжными. Мы даже выразили согласие с мыслью г. Гилярова-Платонова о пользе установления образовательного и возрастного ценза для получения права на издание газеты или журнала. Мы сами, впрочем, и не поднимали теперь вопроса о новых расширительных для печати законах, а восстали лишь против новых стеснений; мы признавали, позволяем себе признавать и теперь недавно изданные законоположения излишними и чрезмерно суровыми: предоставлять же право четырем министрам на основании лишь личного усмотрения лишать человека права на веки вечные что-либо издавать и печатать – с этим ни ум, ни чувство наше помириться не могут.

Но зато мы, кажется, достаточно выяснили, что наш цензурный порядок – такой чудодейственный снаряд, который бьет тяжелым концом всегда по тем, которых и бить не следует, а другим концом дает лишь некоторую аппретуру вредному товару, сообщает ему соблазнительную приправу запрещенности. Так, по крайней мере, было всегда до сих пор. Мы, сдается нам, неопровержимо доказали, на основании свидетельств исторического опыта, что наша цензура никогда ничего вредного (в широком смысле слова) не остановила, не предупредила, никакому пагубному действию мысли и слова не помешала, а только, нехотя, усугубляла его пагубность и содействовала распространению злотворной лжи в самом ядовитом ее виде, то есть в форме междустрочного смысла и вообще в форме запрещенного плода. А такое распространение тем опаснее, что оно

происходит вне критики гласной, громкой, возможной лишь при достаточной свободе обсуждения. Наконец, мы указали до очевидности, что наибольший разлив превратных учений в русском обществе совершился главным образом не посредством печати, а другими путями, помимо ее, в эпоху русской вящей цензурной суровости. И так как система подобной напряженной суровости никогда слишком долго практиковаться не может – такое воинственное отношение к жизни слишком ненормально и вызывает вскоре страстную потребность отдыха, то вслед за периодом суровости необходимо всегда настает реакция, при которой, разумеется, проносится в общество (что и было у нас), как весной чрез плотину, много сору, много грязи, много лжи и вреда. При всем том наивысшего своего развития и практического применения в нашем обществе пагубные учения достигли уже во времена новой, обратной реакции, когда на всех высших административных постах красовался девиз подтянуть и когда на практике подтянутым оказалось только национальное и патриотическое направление в литературе.

Общие выводы наши следующие:

Печатное слово – оружие обоюдоострое, производит действие и благое, и вредное. С последним необходима борьба, но устранить вовсе возможность вредных явлений печати и необходимость борьбы с ней немыслимо. Это зло неизбежное; его приходится допустить ради благой стороны печатного слова, в которой заключается наилучшее, наимогущественнейшее орудие борьбы с вредной и лживой ее стороной. Успех этой борьбы возможен лишь при известной свободе слова. Цензурные стеснения этой свободы ослабляют, а иногда и совсем упраздняют спасительное действие благой стороны печати, следовательно, ослабляют или упраздняют наилучшее орудие борьбы со злом, сами же никогда вполне не достигают своей цели и в окончательном результате приносят более вреда, чем пользы. Было бы величайшей, опасной ошибкой предположить, будто с недугами общественными нравственного и духовного свойства можно бороться одними запретительными или отрицательными мерами, в том числе усугубленной цензурной

строгостью. Нужно, напротив, помнить, что целение таковых недугов должно главным образом происходить от прилива в общественный организм свежих, свободных, положительных, здоровых сил духа. Следуя же только и единственно системе запрещений, нельзя логически не прийти к бессмыслице: к необходимости сооружения Китайской стены между Россией и всем западным миром.

В самом деле, ничего кроме Китайской стены нельзя и измыслить, читая статью редактора «Гражданина» и сообразуясь с ее направлением. Как иначе оградиться от тлетворных влияний? Возьмем какой-нибудь пример. Случилась, на грех, французская революция еще почти за сто лет тому назад. Событие мировое. Однако ж о нем ни слышать, ни ведать не надлежало бы русскому населению, дабы не обольститься ее духом – и не только простонародью, не только получающим «аттестат зрелости», но и действительно зрелым годами и умом русским людям; если уж этому помешать нельзя, то нужно бы принудить всех ведать и судить о ней непременно так, а не иначе, как почтенный г. редактор «Гражданина» (составивший, впрочем, себе о революции свое особенное понятие также ведь не без помощи запрещенных книжек: ему, верно, удалось прочесть и Тьера, и Мишле, и Карлейля!). Но вот, подите же! Был и у нас век Екатерины, когда распространение идей Руссо, Вольтера, Дидро чуть не покровительствовалось самим правительством; помимо всякой русской печати целые поколения, здравствовавшие до половины нашего столетия, жили и мыслили в «духе идей XVIII столетия» и воспитывали в сем духе детей и внуков! Прибавьте к этому сотни тысяч русских путешественников всех званий и состояний, не переводящиеся за границей, сотни тысяч иностранцев, проживающих в России... Какая цензура могла бы воспрепятствовать при этих условиях заразе тлетворного вольнодумства, религиозного и политического, проникающего из Франции? И можно ли уберечься от этой заразы внешними средствами? Можно и должно обличать злую сторону революции, но такому обличению никто не поверит, если не покажут явления

со всех сторон. Следовательно, нужна правда о революции; нужно здесь, как и для всякой лжи, живое противодействие, без которого никакие запреты не спасут и не помогут, а живое искреннее противодействие может возникнуть и стать плодотворным только в атмосфере, где совесть не чувствует над собой насилия, где не обрезаны крылья духу или, по выражению апостольскому, – где «не угашается дух».

Что известный разряд печати не возбуждает нашего сочувствия и вызывает с нашей стороны жесткий отпор, – это всем ведомо; именно ради возможности этого отпора мы и дорожим тем относительным простором, который de facto еще существует для печатного слова. Но как бы ни было ложно направление многих газет и журналов, совершенно несправедливо сваливать на них всю вину за наше настоящее, делать их ответственными за чужие грехи! Редактор «Гражданина» пишет, например, что печать «научает народ быть недовольным всем и искать и желать иного»... Но разве печать повинна в возникновении в народе штунды и иных разных сект, свидетельствующих о недовольстве народа нашей церковной казенщиной, формализмом церковного пастырства и т. д. и об искании народом действительно иного, лучшего в области религиозной?! Одним запретом, одним сажанием штундистов в тюрьму разве помогли делу? И при чем же тут печать? Едва ли также есть надобность «научать народ быть недовольным» грабежом волостных писарей и той неравномерностью несомых им тягостей, об устранении которых недаром же так заботится настоящее правительство?

По мнению «Гражданина», мужик только из печати узнает, когда он выложит последний грош из кармана на взятку чиновнику, или, когда вместо чернозема ему отмежуют песок! Но князя Мещерского едва ли убедят даже и эти доводы. С пафосом негодования восклицает он, что «эпидемия семейных у крестьян разделов, страшное увеличение (?) преступлений, кражи и убийств с целью грабежа, недоверие крестьян к барину, охлаждение его чувств к священнику» – все это «есть прямое последствие такой (то есть существующей) свободы

печати»... Так может восклицать только человек, совсем зажившийся в Петербурге! Эпидемия семейных разделов у крестьян вызвана печатью!! Это даже совестно и читать...

Вот до чего, до какой, с позволения сказать, нелепости способно доходить упоение «консерватизмом»! А о двухсотлетнем крепостном рабстве, воспитавшем неизгладимое до сих пор недоверие крестьянина к барину, «Гражданин» и не помнит?.. Коротка же у него память!.. Чего же хочет редактор? Уничтожить всякую гласность так, чтобы печать не сообщала ни о каких злоупотреблениях, ни о каких фактах жизни? Чтобы всякий, читая газету, выносил убеждение, что «все обстоит благополучно», хотя бы на практике ежечасно испытывал противное? Одним словом, чтоб водворилась вновь та темь и глушь, под покровом которых производились бы безгласно хищения государственных земель и денег и вся та вопиющая кривда, которой так было вольготно в старое время, в пору безмолвия и торжества казенной «благонамеренности»?..

Признаемся откровенно, наши статьи о печати были написаны отчасти под впечатлением выражения «Гражданина»: «печать следует заставить быть благонамеренной»... «Благонамеренность!» Жестоко слово сие. Слово печальной памяти. Жутко становится, когда его слышишь. Ввиду этого выражения мы и напомнили в одной из своих статей о том времени (с 1825 по 19 февраля 1855 гг.), «когда самый воздух был напоен, по-видимому, испарениями «благонамеренности». О ней кричал Аракчеев; только это слово и было на устах в ту тридцатилетнюю пору, когда пытались (конечно, не вполне удачно) взять в казну совесть, душу, мысль, веру и отпускать их на пользование казенными размеренными, патентованными пайками... увы! Пайками этими раздавались только пошлость и подлость!.. Когда богохульно печаталось в официальной инструкции казенным учебным заведениям, что «Государь есть Верховная совесть», то есть искажалось истинное высокое значение царской власти, упразднялся авторитет Божий, упразднялось слово Божие, начертанное, по выражению Апостола, «на сердцу человеческих»...

Все это миновало, слава Богу, со вступлением на престол Александра II. Ужасное зло нигилизма, растлевающее теперь русское общество и покрывшее скорбью и позором русскую землю, откуда оно взялось, между прочим? Вдумайтесь пристально. Не окажется ли, пожалуй, что его настоящий, законный родитель – именно мертвечина казенщины, что нигилист – это злая реакция казенному «благонамеренному человеку»? Не приходится ли нам теперь только расплачиваться за старое?

В том-то и опасность казенного формального вторжения в область духа, что оно, при малейшей бестактности, способно опошлить, обездушить, обессилить всякую истину, все прекрасное, достойное благоговения и хвалы, и даже вызвать опасное противодействие, а порой и ненависть к тому, что само в себе добро и благо... Да и кому в мире чиновно-бюрократическом при наших полицейско-канцелярских порядках может быть вручен критериум «вредного направления», с одной стороны, и «благонамеренности», с другой?..

Но довольно. В заключение заметим «Гражданину», что он совершенно напрасно уподобляет Христу и Апостолам цензоров и полицию, утверждая в своей защите суровых цензурно-полицейских мер, что ведь «Христос и Апостолы преподавали же самые строгие заповеди в ограждение свободы слова от сквернословия и хулы на Духа Святого»! Что же тут общего с полицией и министерством внутренних дел? Если подражать указанному примеру, так и следует ограничиться одним заповедыванием; полицейских мер никаких Евангелием не рекомендовано. Христос ведь причисляет к смертным грехам и гордость... Следует ли из этого, что всякого гордого человека нужно сажать на съезжую?.. Одним словом, хотя редактор «Гражданина» и объявляет о себе в одном из №№ своего журнала (в обращении к г. Гилярову-Платонову), что ведь он, редактор, «человек, глубоко верующий в Бога» (блажен, кто может так о себе выразиться, взирая на текст евангельский о зерне веры горушном, и другой: «верую, Господи, помози моему неверию!»), однако ввиду такого избытка его благочестивой ревности мы бы не пожелали поручить ни ему,

ни его последователям или единомышленникам суд и расправу над литературой...

С достодолжным уважением к почтенному редактору позволим себе, со своей стороны, напомнить ему, во-первых, завет Апостола: «не угашайте духа», а, во-вторых, остроумно-шутливое изречение французского романиста Шербюлье (уже цитированное нами однажды), что le bon Dieu aime mieux ceux qui le renient que ceux qui le compromettent[2].

Петербург и Москва

Sanktpetersburg, столица Российской Империи со времен того царя, который сам большей частью подписывался под указами «Piter», – Sanktpetersburg... Мы с намерением употребляем латинские литеры, чтобы не опустить ни одного звука в этом иностранном имени, в котором, при Русском правописании и произношении «Санктпетербург», недостает одной буквы; и хотя всего приличнее облекать эти немецкие звуки в вполне соответственную им одежду готических письмен: Sanktpetersburg, однако же мы предпочитаем в настоящем случае латинский шрифт как более у нас известный... Итак, Sanktpetersburg или Sanktpeterburg с некоторого времени стал сильнее, чем когда-либо прежде, издеваться над древней Русской столицей — Москвой, по крайней мере, в произведениях своей периодической прессы. Особенно смелым наездником в этом отношении выступает Sanktpetersburg'ская газета «Современное Слово»: она не пропускает случая, чтобы не поглумиться над известным выражением, что Москва есть сердце России, над Московской неповоротливостью в деле того прогресса, которого die Hauptstadt Sanktpetersburg считает себя, и, конечно, справедливо, достойным представителем; над Московской своеобычностью, стариной, над верностью старине, над всем тем, наконец, что дорого в Москве стольким миллионам Русского народа, что связывает ее с остальною Русью. Все это совершенно в порядке вещей: не можем же мы в самом деле

требовать сочувствия к Москве, к Руси, к Русскому народу от Rigasher или Sanktpetersburg – Zeitung. Нет ничего удивительного и в том, что «Современное Слово» встретило грубыми насмешками известие о проявившемся будто бы у Русских купцов стремлении освободиться из-под школьной ферулы современного официального просвещения и добыть своим детям такого образования, которое, даруя им высшее знание, в то же время не отрывало бы их от коренных начал народной жизни. Как нисколько также не показалось странным, что публицист, воспитанный и взлелеянный Sanktpetersburg‘ом и сроднившийся, слюбившийся с ним до степени сердечного трепета всякой раз, когда о нем говорят, что этот публицист клеймит названием «византийства» не только направление «Дня», не только основную стихию Русской народности, но даже — как бы вы думали, читатель? — даже отвращение христиан к магометанскому игу. Наше выражение о тяжести для славянских христиан магометанского ига подало повод редакции «Современного Слова» к негодованию — очень забавному. «Византийство!» – восклицает она, давая разуметь, что подобное отвращение христиан от магометанства есть признак невежества, остаток грубых времен, наследие Византии, след той тьмы, которую напустила на нас Византия. «Не на этом основании следует сочувствовать славянам, толкует санктпетербургский прогрессист, а на основании расового сходства иди единства пород: расы мы одной, вот в чем дело»! Мы бы дорого дали, чтоб видеть, как редактор «Современного Слова», обратился бы с такой речью о расе и о византийстве к мужественному населению Сербии, Черногории, Герцеговины, Болгарии, которое только верности вере отцов обязано сохранением своей народности и которое давным бы давно купило себе спокойствие и благоденствие, если бы питало менее отвращения к мусульманскому вероучению, если бы признало Коран за истину, как это и сделали Боснийские землевладельцы... Этого не разобрал, конечно, г. Редактор!! Повторяем, мы не ожидали никогда сочувствия от Санкт-Петербурга, точно так же, как не ожидаем сочувствия ни от Митау, Либау, Пернау, Виндау; мы

бы даже не обратили внимания на разновременные набеги «Современного Слова» на Москву, если б все эти частные явления не примыкали к явлению общему и общественной важности, если б они, взятые вместе, не составляли симптомов того недуга, которым уже полтораста лет болеет Русь.

Антагонизм Москвы и Петербурга не нов в Русской литературе: иногда потухая, иногда вспыхивая с новой силой и потом опять ослабевая, он не прекращался с самой той поры, как возникла у нас литературная деятельность: здесь не место говорить о проявлении этого антагонизма в других сферах жизни. Вполне же разумную основу в области сознания дало ему то направление в науке и литературе, которое твердо стало за духовные права Русской народности, за свободу и самостоятельность Русской мысли, и которое, по свидетельству даже врагов своих, немало потрудилось для Русского самосознания. Дело в том, что это постоянное состязание вовсе не походило на борьбу или соперничество двух равноправных больших городов, как это встречается иногда в Европе, ни на отношения, полные презрения с одной стороны и зависти с другой — провинциализма к столичной цивилизации. Нет: Москва и Санкт-Петербург выражают собою два розных начала, исторических и жизненных, находящихся в постоянном противоречии, и это-то противоречие и перенесено было мыслящей частью общества в область литературы.

С Петра начинается санкт-петербургский период Русской истории, в котором застает нас тысячелетие Русского государства и о котором еще в 1846 году в первый раз пространно было разъяснено читающей публике К. С. Аксаковым в его диссертации о Ломоносове, а затем и во всех последующих его трудах. Мы не станем входить в подробное определение всего того смысла, какой заключается в явлении Санкт-Петербурга, во-первых, потому, что об этом было говорено достаточно, и публике более или менее известно; во-вторых, потому, что распространяться об этом значении С.-Петербурга крайне неудобно: С.-Петербург прикрыт такой защитой, какой Москва не имеет (к счастью) и которая затрудняет всякое прямое на него

нападение. Разрыв с народом, движение России по пути западной цивилизации, под воздействием иного просветительного начала, измена прежним основам жизни, поклонение внешней силе, внешней правде; одним словом — вся ложь, все насилие дела Петрова, — вот чем окрещен был городок, Питербурх, при своем основании, вот что легло во главу угла при созидании новой столицы. В деле Петровом, независимо от его всемирно-исторического содержания, независимо от того, что не преходит, что остается от той доли, которая выделяется и должна выделяться в кровообращение народного организма, — есть настолько же, если не более, элементов случайности, временности, зла, насилия, лжи, запечатленных его необыкновенной личностью. Дело Петра имеет значение: и как переворот, как революция, и как исторический момент в ходе нашего общественного развития. Но для того чтобы оно получило значение момента, чтоб оно поступило в общий запас исторической жизни народа или того исторического материала, который разрабатывается, претворяется, переживается народным организмом, необходимо, чтоб оно прекратилось как переворот.

Переворот еще не кончился, еще длится: мы еще не изжили элементов личных и случайных, внесенных страстной, могучей личностью Петра в его дело, элементов лжи и насилия. Это-то и есть, собственно, что мы называем Петербургским периодом (разумей все по отношению к литературе и просвещению). Действительно, внешняя история совершается теперь вся в Петербурге: это его время; он действительно носитель исторической идеи Петра, как переворота, во всем случайном временном характере этого явления; он действительно стоит впереди, он, так сказать, передовой человек внешнего движения, данного Петром России, передовой человек лжи, сопровождающей наше духовное и умственное развитие.

Таково значение Санкт-Петербурга. Он не живет одной жизнью с Москвою и со всею Русью, не составляет части организма, по крайней мере еще не вошел в состав организма. Он совершенно извне относится к России. Подтверждение этому вы найдете во всей петербургской литературе (пред-

варяем читателей, что мы говорим о господствующем типе той и другой литературы, а не об отдельных явлениях). Санкт-петербургские газеты толкуют много о либерализме и демократизме, но, как мы уже имели случай заметить, они со всей запальчивостью того деспотизма, который внесен Петербургом в дело нашего просвещения и развития, угнетают насмешками, ругательствами, постоянными оскорблениями самые святые чувства Русского народа, свободу его верования, обычая, жизни. Их либерализм является насилием и тиранией в отношении к Русскому народу. Для них, как воплощающих собой идею Санкт-Петербурга, нет ничего заветного в Русской истории до Петра, в этой «дикой Азии нашего прошедшего», как выражается «Современное Слово». Все это очень естественно и понятно, иначе Санкт-Петербург и думать не может: в противном случае он бы противоречил своему призванию, отрицал бы свой собственный принцип, которому санкт-петербургская пресса, надобно отдать ей справедливость, так вполне верна, так храбро служит.

Страдания, боль, внутренняя работа земских сил, стремление к самобытности просвещения – все это возбуждает в петербургских газетах одно презрение (очень похожее, между прочим, на презрение цивилизованного дворового или лакея к простому крестьянину). «Москва хворает, в Москве весьма неладно», – восклицает очень наивно то же «Современное Слово», «там ни много ни мало купечество, говорят, недовольно воспитанием своих детей в гимназиях!» И какому ливню ругательств и насмешек подверглось купечество за то, что смеет быть недовольно тем направлением воспитания, которым доволен Санкт-Петербург!

Мы не станем теперь говорить о значении Москвы и о том благодеянии, которое оказал ей Петербург, оттянув к себе на поверхность всю внешнюю нашу историю за последние полтораста лет. Тем свободнее могла производиться в Москве работа народного самосознания, и очищаться от всех исторических случайностей и всякой исключительности Русская мысль. Москве предстоит подвиг завоевать путем мысли и сознания —

утраченное жизнью, и возродить Русскую народность в обществе, оторванном от народа. Довольно сказать, что Москва и Русь одно и то же, живут одной жизнью, одним биением сердца, — и этими словами само собою определяется значение Москвы и отношение ее к Петербургу. Они же объясняют и тот антагонизм, который существует в литературе обоих городов и на который мы указали в начале нашей статьи.

Из всего сказанного ясно, что истинный либерализм и Русское народное чувство невозможны для санкт-петербуржца, если он санктпетербуржец не по одному месту жительства, а по принципу, ясно им сознаваемому.

Это было бы contradiction in adjecto, одно исключает другое. Нельзя в одно и то же время служить Богу и мамоне, нельзя в одно и то же время быть Русским и Петербуржцем, либералом и адептом или орудием Петровского переворота; поклоняющийся Петру поклоняется Петровской палке. Поэтому мы со своей стороны не только не даем никакой цены либерализму санкт-петербургской прессы, но положительно ему не верим, точно так же, как и санкт-петербургскому благоволению к Русской народности.

В последнее время санкт-петербургская литература стала очень много толковать о национальном принципе, о народности; некоторые ее органы славянофильничают напропалую, а молодые санктпетербуржцы щеголяют в красных рубашках и поддевках. Вы бы очень ошиблись, читатель, если б вывели из того заключение, что Санкт-Петербург протестует сам против себя, против своего принципа, который один и дает ему историческое значение и известную силу жизни; вы были бы неправы, если б вообразили, что вся эта санкт-петербургская русомания есть действительное искреннее пробуждение в жителях Санкт-Петербурга народного Русского чувства. Повторяем, мы еще не изжили всей той исторической лжи, которой носителем является для нас Петрова столица. Мы должны будем пройти сквозь новый вид, новый фазис лжи, и если в прежнее время Русские, обезьянничая, передразнивали немцев и рядились в немецкие кафтаны, то теперь немцы или санктпетербуржцы

обезьянничают, передразнивают Русских и рядятся в Русские зипуны и охабни. Последняя ложь горше первой...

Об этом мы поговорим как-нибудь в другой раз, в особой статье...

Петербург или Киев?

«Петербург или Киев»? «Будет ли когда исправлена ошибка, сделанная Петром? Будет ли когда средоточие правительственной деятельности перенесено с Ингерманландских болот в страны более плодородные, например Киев»? Вот вопросы чрезвычайной важности, выдвинутые вперед неизвестным автором статьи, помещенной в сентябрьской книжке «Русского Вестника» под скромным заглавием «Заметки о хозяйственном положении России».

Господин Y (под этой буквой скрыл автор свое имя) рассматривает вопрос о столице с точки зрения чисто экономической. Признавая главной виной настоящего безденежья «бедность России», — в том смысле, что производительность страны не удовлетворяет ее потребностям, развилась несоответственно с ними и вообще получила ложное, искусственное направление, — автор видит причину такого явления в искусственном сосредоточении Русской жизни на северных оконечностях государства. «От среды, в которой находится столица, едва ли не зависит характер всего государства, говорит г. Y: «будь столица России, продолжает он, не на тундрах Ингерманландских, но в Киеве, Харькове, Таганроге, Россия в глазах европейцев не была бы страною бесприютной, холодной, и, гордясь первопрестольным городом, всякий Русский любил бы его и чрез него чувствовал бы более привязанность к своей родине».

Далее автор с помощью положительных статистических данных и теоретических доводов старается доказать, что «необходимость искусственного создания на болотах Ингерманландских целого многообразного мира извратила наши

понятия о естественных условиях жизни» и поглощает силы России самым непроизводительным образом; что пятьсот верст отличного шоссе связывают С.-Петербург с увеселительными местами в его окрестностях, в то время как в Южной России, богатой произведениями, требующими сбыта, нет не только шоссе, но и сколько-нибудь проездных дорог весной, осенью и во время ненастья; что «под влиянием самых невыгодных климатических и почвенных условий в С.-Петербурге все обходится дороже, чем где-либо и требует неизвестных в других местах расходов, например для укрепления строений на болотном грунте, для снабжения столицы жизненными припасами и проч.; что, наконец, «юноши, отлученные от природы, выращенные узниками в стенах громадных зданий, под свинцовым небом Петербурга, не могут быть здоровы ни телом, ни душой».

«Все приняло бы другой вид, – утверждает автор, – если бы столица была на Юге; вся Русская жизнь сложилась бы иначе; «неисчислимы были бы выгоды сосредоточения Русской жизни около бассейна Черного моря, и «не подлежит сомнению, что экономическая будущность России зависит от той степени развития, которая впредь будет дана южным губерниям, хотя бы в ущерб северным. Предположив, что столицею России был бы, например, Киев вместо С.-Петербурга, автор исчисляет изменения, которые должны от того произойти, именно: 1) «Западные, возвращенные от Польши губернии скрепились бы неразрывными узами с остальными частями государства»; 2) «Россия сблизилась бы с Южно-Славянскими племенами»; 3) «Южная полоса империи воскресла бы к новой жизни»; Новороссийские степи заселились бы и усилили бы свои посевы; и 4) «От перенесения тяжести империи на Юг Россия стала бы богаче и самостоятельнее». Для оправдания своих выводов, г. Y входит в подробное рассмотрение хозяйственного, финансового, промышленного и торгового положения России.

Таков вопрос, поставленный автором статьи «Русского Вестника». Вполне соглашаясь с его мнением о достоинствах Ингерманландской трясины, мы, разумеется, вполне расходим-

ся с его мыслью о необходимости перенести столицу России в Киев. Вообще нам кажется странным рассматривать значение столицы с точки зрения чисто экономической, как будто одни хозяйственные выгоды руководят народом в создании народного и правительственного центра, но еще страннее представляется самая возможность вопроса о том, где быть средоточию Русской жизни? Неужели, после тысячи лет исторического гражданского существования Россия может еще спрашивать себя: где ее столица, куда ее поставить? Не то в Киев, не то в Харьков или Таганрог? Жалкая та земля, которая в течение целых десяти веков не обрела своего центра тяготения и способна еще и теперь влачиться то в ту, то в другую сторону, по ветру, смотря по тому, откуда и какой теорией дует! Но дело в том, что Россия вовсе и не задается такой задачей, что этот вопрос давно порешен Русским народом, порешен и в исторической его жизни, и в сознании: только для нас, для отвлеченной мысли вашего образованного общества, потерявшего живую историческую память и непосредственное чувство своей истории, может существовать какое-либо сомнение в этом отношении! Мы до такой степени утратили всякой смысл живого дела, всякое понимание естественного органического процесса в истории, что, толкуя о либерализме, мы и не замечаем, сколько страшного деспотизма, — и что еще хуже — сколько бессознательной деспотической привычки в самых благонамеренных наших соображениях, в самом складе нашего мышления, даже в ученых наших приемах в той области наук, которые имеют прямую связь с гражданским, экономическим и нравственным бытом нашего народа. Конечно, только такая школа, в какой с лишком полутораста лет вышколивалось Русское общество, способна была приучить нас в такому полному забвению о правах народа в истории и породить притязания — заменить органическую работу распоряжением внешним, взять на себя простодушно обязанности народного творчества, переделывать историю, навязывать народу в столицы город по нашему усмотрению!.. Господин Y во всей своей статье даже и не упоминает о Москве, как будто она совершенно ни при чем в

Русской истории и жизни, как будто она не есть единственная столица Русской земли!

Мы сказали: единственная, хотя у нас и считаются две столицы, т. е. кроме Москвы — Санкт-Петербург. Две столицы! Это странное явление лучше всего свидетельствует о внутреннем разрыве, внесенном в Русскую историческую жизнь переворотом Петра, и представляет такую же аномалию, как в мире физическом две головы на одном туловище, два сердца в одном теле. Что такое столица? Столица есть средоточие жизни народа как цельного политического организма, другими словами, средоточие, которое творит сам народ, слагаясь в цельное гражданское тело. Все равно как сердце, как узел нервов в человеческом организме, так и столица есть сердце, узел нерв всей общественной, гражданской, земской и государственной жизни народа. Очевидно, что двух столиц в одной земле быть не может, это нелепость, бессмыслица, в которой одно понятие исключает другое. Точно так же бессмысленно предполагать, что столицу можно сделать там или здесь по произволу, когда столица дается самой жизнью народа, всем долгим органическим процессом истории. Это так же невозможно, как невозможно учинить язык французский природным языком Русского народа, изменить цвет кожи, волос и другие свойства его физической природы. Конечно, при расстройстве организма отправления его могут совершаться неправильно, и обязанности одного органа переноситься частью на другой, но это есть признак ненормального, болезненного состояния, которое может держаться до тех пор, пока не нарушает главных условий жизни, основных законов органического существования. Организму, пораженному такой болезнью, предстоит или восстановить правильность своих отправлений или же, расстраиваясь все более и более, наконец погибнуть.

Повторяем: у России одна единственная столица — Москва; Sanktpetersburg не может быть столицей Русской земли, и никогда ею не был, как бы ни величали его в календарях и официальных бумагах. Санкт-Петербург не столица, созданная исторической жизнью Русского народа, а местопребыва-

ние правительства со времени царя, подписывавшегося на указах, обращенных к Русскому народу, по-голландски — Piter. Без всякого сомнения, правильность отправлений народного политического организма предполагает единое средоточие правительственное и народное; этого требует союз власти с народом, органический элемент, присущий самой власти. Только с нарушением цельности организма и по мере того, как стало убывать этого органического элемента в правительстве и естественная его связь с землей стала заменяться искусственными привязями, утвердился обычай пребывания власти в Санк-Петербурге. Известно, что после смерти Петра мысль о возвращении правительства на родину, в Россию, из Ингерманландии возникала с новой силой при Петре II и при Елисавете, и только Екатерина II, не встретившая в Москве сочувствия (одушевлявшего С.-Петербург) в минуту ее воцарения, упрочила за С.-Петербургом то значение, которым, «к несчастию для России», по замечанию г. Y, он пользуется и доныне. Но, когда теперь Русское общество все более и более проникается сознанием своей народности, когда все поддержки и подпорки, весь фундамент, нагроможденный с Петра, пошатнулись и оказываются ненадежными, и политическое наше здание, поколебленное историческими событиями, осело, — к нашему общему спасению, на материк народной почвы, — теперь, мы уверены, близится время, когда, с одной стороны, чувство самосохранения, с другой — естественное влечение к восстановлению цельности общественного организма и союза власти с народом — возвратят столице народной значение средоточия правительственного. Весь этот вопрос о столице исследован и обсужден шире и глубже, с полнотой исторических доказательств в статье К. С. Аксакова, писанной еще в 1856 году, которую мы предлагаем вниманию наших читателей.

Мы считаем, однако же, нелишним предпослать этой статье несколько слов во избежание могущих возникнуть недоразумений. Мы предвидим два возражения: Во-1-х, что Россия, достаточно окрепнув, не перестанет быть Россией, хотя бы столица ее была и в Киеве, и в Таганроге; во-2-х, что вступив

в новый период своей истории после Петра, ставши империей, а не Московским государством, она должна была создать для империи новую столицу, новый центр тяготения, каковым не могла уже быть Москва, создание допетровской Руси. Ответим на это вкратце,

Не слепое чувство привязанности к Москве (мы ясно видим недостатки и даже пороки, принадлежащие ей, во сколько она уклоняется от своего призвания), не местный патриотизм заставляет нас отстаивать права Москвы, но глубокое внутреннее убеждение, опирающееся на свидетельство Русской истории и Русской народной жизни. В каждом историческом явлении есть внутренняя сила, которая дала ему бытие; в каждом политическом организме есть основная стихия, которой он есть, живет и движется. Таковой основной стихией в создании России явилось Великорусское племя. Его характером, его типом запечатлены все исторические судьбы России, его духовной и нравственной силой закалено наше исполинское государство. Россия не есть совокупность или искусственное сочленение разнородных тел (не агломерат и не агрегат на техническом языке ученых), но — повторяем — цельный организм, развившийся извнутри, сложившийся собственной силой. Жизнь этому организму дало, дает и может давать только Великорусское племя. Будь это не Великорусское племя, Россия не была бы Россией, имела бы другую судьбу и другую будущность, — лучшую или худшую, мы не знаем, это вопрос другой; но почва, на которой зиждется основание нашего здания, есть племя Великорусское и выражением его жизни и силы является Москва. Как Великорусское племя стало средоточием для прочих Русских племен, так и Москва стала притягательным государственным центром для прочих Русских земель. Если б средоточие России было в Киеве или теперь насильственно перенесено в Киев, степи бы, конечно, оживились и пшеницы бы прибавилось, но старый Русский материк подвергся бы запустению, основная стихия, которая одна дает жизнь всему организму РОССИИ, иссякла бы, перестала бы действовать, и тогда никакая пшеница, никакое процветание

Новороссийских степей не спасло бы Русского государства: могло бы возникнуть иное, но не то, которое заявило себя в истории, которого судьбы так кровно и духовно близки нашему сердцу, преуспеяния которого мы все так горячо желаем. Этой-то основной органической стихии и не хотят признавать ни г. Y, ни другие наши публицисты и деятели, ни санкт-петербуржцы, нападающие на Москву, ни вообще русские немцы. Москва, по выражению К. С. Аксакова, с самого своего начала подняла знамя единства Русской земли и государства и сама явилась выражением и средоточием этого единства. Но это единство не должно быть смешиваемо с централизацией и значит — духовная и внешняя цельность политическая и земского организма, а вовсе не сглажение всякой личности и так сказать самости областей, городов, сел и населений, и вовсе не насильственное притяжение всякой местной административной жизни к центру. На все это имеются положительные доказательства в истории. Централизация есть явление позднейшее, принадлежащее Империи. Мы всегда стояли против централизации и в пользу единства, с полным простором для местного самоуправления, разумея последнее вовсе не в смысле, нарушающем политическое единство и государственную цельность нашей Русской Земли, и вовсе не в смысле каких-нибудь политических федераций (вопрос о федерации есть вопрос праздный, мертворожденный плод досужей отвлеченности нашего оторванного от народа общества). Чем более народных начал ляжет в основание нашего управления, тем крепче и сильнее будет единение Великорусского народа с народами Малой, Белой, Червонной Руси и со всеми другими народами, а преобладание народной мысли и духа в управлении неразрывно с преобладающим значением Москвы как столицы. Итак, самый интерес областей, входящих в состав России, связан с восстановлением в Москве правительственного средоточия. Многие ставят в достоинство Петербургу именно то, что он чужд всякой национальности и выражает собой отвлеченную идею государства, свободную от всякой исключительности. Действительно, как выразился Хомяков,

Петербург есть город иностранный в том смысле, что куда его ни поставь, он везде и для всякой земли будет иностранным: в России, Германии, Франции, где бы то ни было он воплощает собой самую идею иностранности, но нужно ли говорить, что подобное государство, выражающее собой одну отвлеченную идею государственности, никакой внутренней жизни и силы иметь не может, напротив, мертвит всякую жизнь и силу и само становится трупом? Это та Петровия с петровцами, немецкая государственная мечта о России, на которую мы уже однажды указывали; это та самонадеянность, тот деспотизм отвлеченной бездушной мысли, которая думает заменить механическим снарядом свободную силу творчества и могущество жизненных отправлений. Заметим, кстати, одно: все приращения Русского государства, совершенные Москвой, крепки и связаны с ней органическими нитями; например, Поволжье, Сибирь, Астрахань и проч. Казань через шестьдесят лет после завоевания является в первом ряду городов, отстаивающих Москву и независимость России во время междуцарствия, уже живет одной жизнью со всей Русью; земли колонизуются сами собой, без помощи Ангальт-Кеттенских и Швабских колонистов. Вспомним, что приобрели мы после Петра и в каком отношении находятся теперь эти приобретения к России и много ли успели мы с новым способом колонизации.

Мы не отрицаем того спасительного действия, которое имел и имеет Петербургский период нашей истории на внутреннее развитие России. Самое отвлечение внешней деятельности на оконечность империи дало возможность созреть и выработаться нашему народному самосознанию. Путем отрицания той национальной исключительности, которой не лишено было отчасти наше историческое развитие, пришли мы к сознательной оценке наших народных начал и их общечеловеческого значения, но как скоро это сознание перейдет в жизнь, — историческая роль Петербурга сама собой оканчивается.

Мы сказали однажды, что Петербург есть передовой человек лжи, присущей нашему общественному развитию.

Всякая ложь имеет два исхода: или, развиваясь логически до нелепости, — самоубийство; или же, при нравственной реакции, — самоотречение. Русская История богата нравственными явлениями, и мы убеждены, что Петербургу в награду за неутомимую искреннюю благонамеренность многих его деятелей предстоит именно этот последний нравственный путь, что он примирит с собой Русь и окажет ей последнюю, но высшую услугу, собственным отрицанием самого себя, как правительственного средоточия Русского государства.

Настало ли это время — судить трудно. Может быть, и Москва, после столь долгого запустения, еще не довольно сама очистилась от той порчи, которая отчасти проникла и в ее жизнь, не довольно окрепла народным самосознанием, чтобы безопасно соединить с средоточием народным средоточие власти; может быть, и Петербург еще не совершил полного круга своей исторической лжи (которой, Бог даст, мы будем обязаны своей правдой), — все это может быть, без сомнения. Мы во всяком случае не желали бы нисколько, чтобы Санкт-Петербург переселился в Москву, но желаем видеть в Москве правительственное средоточие, свободное, чистое от начал, воплощаемых Санкт-Петербургом, и убеждены, что рано или поздно столица Русской земли как прежде была столицей Русского государства, так и снова будет!..

САМОДЕРЖАВИЕ И СВОБОДА

Ошибочность взгляда, будто свобода слова несовместна с существующей у нас политической формой правления

В последний раз мы изобразили – кажется, в картине довольно яркой – печальное, жалкое положение нашего современного русского общества, пришедшего к сознанию своей совершенной несостоятельности, своего полнейшего нравственного и духовного бессилия. Ничто так не гнет душу, нет в мире ощущения более тягостного и мучительного, как это сознание своего бессилия, как это внутреннее безверие в свои силы! Оно умерщвляет в самом зародыше всякое начинание, поражает слабостью всякую деятельность, разъедает, подтачивает своим тайным ядом все, что еще остается живого и цельного в общественной жизни. Такая неспособность, такая импотенция нашего общества парализует, в свою очередь, добрые начинания и самого правительства, – истощающегося, как мы сказали, в бесплодных, хотя нередко и благородных усилиях. Едва ли позволительно надеяться, что внешние и извне налагаемые на общество либеральные учреждения воскресят и оживят общество, когда для жизни самих этих учреждений нужно присутствие жизни духа и духа жизни (по выражению поэта), которых именно недостает нашему обществу! Никакие реформы – ни преобразование судов, ни земские учреждения, ни новое городское «самоуправление» не принесут даже и той пользы, которую бы они могли дать (независимо от своих собственных внутренних недостатков) при таком нравственном,

или – лучше – безнравственном состоянии общества! Впрочем, более подробный ответ на вопрос, в какой степени так называемое у нас проектированное «общественное самоуправление» может усилить и укрепить наше общество, мы находимся в необходимости отложить до другого раза, но уже и из того, что выражено нами, кажется ясно, что дело не во внешних учреждениях, требующих для своего действования участия готовых сил общественного духа, а в том, что может оживить самый дух, возродить самые силы. Примеры всего лучше пояснят нашу мысль. Если человек поражен слепотой, болен катарактой на глазах, то напрасно будете вы вооружать его доспехами и давать палицу в руки, чтобы он мог защищаться от врагов, когда прежде всего нужно бы снять с него катаракту и возвратить ему зрение! Если узник чахнет от недостатка свежего чистого воздуха, то никакое благодетельное разрешение самоуправляться внутри своего смрадного жилища не даст ему ни здоровья, ни сил для ходьбы и движения, пока он не дохнет свежим и чистым воздухом!

Как ни благодетельны многие реформы, но для успеха самих реформ необходимы были бы, по нашему мнению, такие меры и средства, которые бы непосредственно действовали – не на ту или другую внешнюю часть общественного организма, а на весь его внутренний строй, в его целости, на общее начало органической жизни. Действие этих мер и средств чисто нравственное и похоже, по выражению одного писателя, на так называемые тонические средства в медицине, то есть дающие общий тон физическим отправлениям больного человеческого организма. К таковым мерам относим мы свободу мнения и выражения его в слове.

Мысль, слово! Это та неотъемлемая принадлежность человека, без которой он не человек, а животное. Бессмысленны и бессловесны только скоты, и только разум, иначе, слово – уподобляет человека Богу. Мы, христиане, называем самого Бога – словом. Посягать на жизнь разума и слова в человеке – значит не только совершать святотатство Божьих даров, но посягать на божественную сторону человека, на самый дух Божий, пре-

бывающий в человеке, на то, чем человек – человек! Свобода жизни разума и слова – такая свобода, которую по-настоящему даже смешно и странно формулировать юридически или называть правом: это такое же право, как право быть человеком, дышать воздухом, двигать руками и ногами. Эта свобода вовсе не какая-либо политическая, а есть необходимое условие самого человеческого бытия; при нарушении этой свободы нельзя и требовать от человека никаких правильных отправлений человеческого духа, ни вменять что-либо ему в преступление; умерщвление жизни мысли и слова – самое страшнейшее из всех душегубств! Человек, стесненный в свободе мыслить и выражать свою мысль словом, чувствует себя стесненным во всех своих действиях, требующих участия мысли и воли, не годится ни для какого общественного дела, плохой гражданин, плохой слуга обществу и государству.

Все это считается старыми избитыми истинами, а между тем – странная судьба русского человечества – у нас именно потому и не обращают внимания на эти истины, что эти истины – стары! Но без воплощения в нашу жизнь этих старых никакие новые истины не способны оплодотворить нас, как бы усердно ни хлопотало о том правительство. Если вы требуете от человека содействия, помощи, услуги, разумной покорности и исполнительности, дайте ему, прежде всего, возможность быть человеком, то есть право мыслить и говорить, а не превращайте его в скотоподобное, бессловесное и бессмысленное существо. Убедитесь сначала в этой истине, а потом уже и налагайте ваши требования на человека.

Все, что мы говорим здесь про человека, относится точно так же, и еще более, к человеческому обществу, которого живой естественный голос в наше время есть печать. Стеснение печати есть стеснение жизни общественного разума, оно парализует все духовные отправления общества, осуждает все его действия на бессилие, удерживает общество в вечной незрелости, обрекает мертворожденным все исчадия его духовной производительности. Государство не вправе требовать от общества никакой гражданской доблести, никакой помощи и содействия,

если духовная жизнь общества поражена таким духовным гнетом. Повторяем, никакие самоуправления, никакие реформы, никакие благодетельные законы не только не принесут добра, но даже и не привьются к общественной жизни, если общество будет лишено существенных условий жизни – свободы мысли и слова. Поэтому во всякой стране общество остается совершенно безучастным ко всем либеральным нововведениям и встречает их с убийственным равнодушием, пока продолжает чувствовать, ощущать и слышать свою мысль и слово придавленными, угнетенными и скованными. Нововводимые учреждения нуждаются для своей жизни в полном искреннем сочувствии, любви, преданности, участии всех сил общественного разума и воли, но возможны ли такие приношения духа со стороны общества, когда оно не имеет права высказать об этих учреждениях свое нестесненное мнение; возможно ли, чтоб оно поверило в свою гражданскую и политическую свободу, когда оно не свободно в мысли и слове?

Есть мнение, ни на чем не основанное и повторяемое у нас с ветру людьми, пробавляющимися весь свой век готовыми чужими афоризмами, что свобода печати несовместна с существующей у нас политической формой правления. Это мнение совершенно ложно. Во-первых, как мы уже сказали, свобода слова не есть свобода политическая, и защитники мнения о несогласии принципа свободной печати с нашим политическим принципом могут точно так же, с не меньшим основанием, утверждать, что эта форма правления несовместна и со свободой жизни, свободой – пить, есть, дышать, ходить и двигаться. Если же признается возможным и жить, и дышать, и совершать прочие отправления под защитой неограниченной монархической власти, то нет причины унижать значение самодержавия до такой степени, чтобы считать немыслимой жизнь духа и разума под его верховной эгидой. Напротив, мы думаем, что настоящее, именно русское, самодержавие предполагает полную свободу нравственной общественной жизни и без этой свободы перестает быть русским, перейдет или в немецкий абсолютизм, или в азиатский деспотизм, но в наше

время нам нечего опасаться такого искажения русского народного политического устройства. Мы полагаем, что именно в России, именно при ее форме правления может и должна существовать такая свобода печати, какая немыслима во Франции и в других государствах Европейского материка.

Свободное мнение в России есть надежнейшая опора свободной власти – ибо в союзе этих двух свобод заключается обоюдная крепость земли и государства. Всякое стеснение области духа внешней властью, всякое ограничение свободы нравственного развития подрывает нравственные основы государства, нарушает взаимное доверие и то равновесие, ту взаимную равномерность обеих сил, которых дружное, согласное действие составляет необходимое условие благого и правильного хода русской народной и государственной жизни.

Недуг нашего общественного бессилия, инерция нашего общественного организма происходит от причин чисто нравственного свойства и требует для своего излечения мер и средств такового же качества, – тонических, как выражаются медики. Для жизни и производительности общественной необходимы известные условия, которых недостаток и составляет главный источник нашей болезни. Эти условия жизни – свобода развития общественного разума, свобода мнения и выражения его в слове устном и печатном. Пока эти условия не удовлетворены, пока общество будет чувствовать в самых первых отправлениях своего духа стеснение и задержку, то подобно отдельному человеческому организму, ощущающему постоянное стеснение в легких и постоянную несвободу в дыхании и выдыхании воздуха, общество может только чахнуть и не в состоянии ни пользоваться либерально даруемыми ему правительством правами, ни оказывать правительству то дружное содействие, без которого бессильно всякое благое правительственное начинание. Без внутреннего духа жизни самые мудрые законы останутся мертвой буквой, а жизнь духа немыслима без свободы мнения и слова. С другой стороны только неограниченная свобода мнения обусловливает разумность неограниченной свободы правительственного действия.

Что значит выйти нашему правительству на исторический народный путь?

«Довольно толковано о принципах, об общих началах! Подавайте нам чего-нибудь конкретного (это слово теперь в моде); подавайте практических выводов и указания!...» Таков упрек, сделанный «Руси» некоторыми петербургскими газетами по поводу передовой статьи ее последнего номера; таково вообще требование, предъявляемое более или менее властными сферами Петербурга, – в них же все значение, цель и смысл бытия нашей «Невской столицы». Да, Петербург – большой практик и не без основания хвалится своим практицизмом пред Москвой, которую, наоборот, всегда укоряет в идеализме. В Петербурге так и кишит «практическая деятельность», так и сыплет он на Россию «практическими» указаниями... Но действительно, надо отдать ему полную справедливость, в практике его уж ни до каких принципов или общих начал и не доберешься, и в идеалах он неповинен. Его (обязательная для России) практика не только не есть логический вывод из какой-нибудь общей руководящей теории, но и сама не может быть возведена в теорию, по крайней мере, в одну общую: это не то, что какая-нибудь там жизнь, в которой всегда можно раскрыть, опознать и отвлечь начала, ею только разнообразно проявляемые и воплощаемые!

Жизнь и практика – это по отношению к Петербургу два понятия совсем разные. Петербургская практика относится к жизни (т. е. к русской жизни) с великим высокомерием и даже презрением, и хотя именно эта жизнь и состоит ее страдательным или пассивным объектом, петербургская практика все-таки сама по себе, а русская жизнь, с ее реальными явлениями и скрытыми в них движущими началами и идеалами, тоже сама по себе, несмотря даже на то, что так плотно замкнута в благонамеренные тиски петербургской неугомонной практики... Элемент практицизма петербургской деятельности, бюрократической, например, заключается не в ней самой, но единственно лишь в той внешней власти, которой она облечена

относительно жизни; тут уж, конечно, волей-неволей без практических последствий никак не обойдешься! Поэтому и ум петербургский так уж вообще и сложился, что ценит лишь такое отвлеченное начало, по которому можно тотчас же сделать то, что он почитает практикой, т. е. «подлежащее по ведомству распоряжение»: когда излагаешь перед ним какую-нибудь новую теорию, так и мнится, что он, петербургский практик, слушая вас, невольно, про себя в мысли, подтягивает к себе форменную бумагу с бланком и макает перо в чернила, словно бы готовясь куда-то написать соответственное отношение или даже представление с «проектом узаконения». Когда же никакого такого отношения или проекта с параграфами тотчас учинить нельзя, то петербургская практика подобной теории или принципа в себя и не вмещает, а обзывает «неясными мечтаниями». Если же, однако, петербургская практика при всем своем притязании делать русскую жизнь не есть сама жизнь; если она не вдохновляется жизнью, не участвует в ее творчестве, то откуда же, спрашивается, в конце концов берется если не творчество, то обильная ее производительность, выражающаяся в форме разных указаний, распоряжений и обязательных параграфов? Если не русская жизнь их подсказывает, так кто же подсказывает?

Кто? Жизнь же и подсказывает, только не русская, а чужая, та, которая более своя петербургскому миру, жизнь притом постоянно разнообразная вследствие разнообразия западноевропейских центров, из коих выходит ее воздействие. А так как это разнообразие усугубляется богатством различия самих субъектов, таковому воздействию подлежащих, т. е. практических деятелей, то вот почему, если в петербургской практике нельзя добраться до общих руководящих начал, блещет она зато такой яркой пестротой теорий, принципов и идеалов, или точнее: идеальцев, обрывков теорий и принципов, из чужих жизней заимствованных и облекаемых в форму разных принудительных для русской жизни поучений. Так гораздо сподручнее. Над своей, русской жизнью надо еще ломать голову, надо ее изучать и уразумевать, а где ее взять? В Петербурге ее

видом не видать, слыхом не слыхать, да от Петербурга она и далеко. А чужая, со всеми своими разновидностями, куда как знакомее и ближе, да главное – патентована, авторитетна и представляет то великое преимущество, что, вдохновляясь ею, применяя ее к жизни русской, не рискуешь лишиться ореола европейской цивилизации: как там петербургская бюрократическая практика ни соври, соврет-то она, по крайней мере, по-европейски, – из Европы-то себя не выключить!

Забавнее всего, что именно указание на коренные начала русской жизни и на ее существенные потребности представляется петербургской практике идеализмом – всякий раз, как она подметит в них нечто совсем не похожее на Западную Европу. Петербургская практика в подобных случаях тотчас теряется, не находя для себя точки опоры в своих обычных авторитетах, да – по правде сказать – и не обретая в самой себе никакой способности, никаких пригодных орудий для практического осуществления и удовлетворения столь чуждых ее природе, ее пониманию, принципов и нужд... Но мы, со своей стороны, излагая в последнем номере взгляд русского народа на значение и функции русской верховной власти и объясняя истинное существо русского политического строя (как мы его понимаем), вовсе и не имели притязания, чтоб чиновники – сейчас за перо, и давай строчить сообразные сему распоряжения и предписания! Нам даже кажется, что проектировать таковые вовсе и не задача публициста, да и скучать рассуждениями о принципах у нас еще рано. Надо бы, напротив, дотолковаться и столковаться о них порядком. Лучше, что ли, деятельность совсем беспринципная или с принципами, взятыми на скорую руку, так сказать, напрокат?.. Вопрос, поставленный нами в последнем номере, заслуживает серьезного внимания, и мы ставим его снова. Он по натуре своей самый практический. От усвоения правительством того или другого начала зависят и последствия разные...

Охарактеризовав правительственные системы трех царствований нынешнего века с их чередующимися реакциями, мы сказали, что перед русским правительством лежат, по-

видимому, три пути: путь полицейско-канцелярской диктатуры, иначе – путь иностранного цезаризма или старонемецкого монархического абсолютизма; затем путь конституционный, каким идут теперь все государства в Европе, наконец – путь, выработанный русской историей, путь сочетания начал государственного с земским. Говорим: «по-видимому», в сущности же единый возможный для России путь есть именно последний. Но если так, то, казалось бы, нет места и вопросу? Для народа вопроса, конечно, нет; в народной жизни он и не возникает. Но в том и дело, что верхние руководящие классы общества и даже сами властные сферы настолько оторвались от народной жизни и народности, что не испытывают на себе их непосредственного творческого воздействия, а напротив того, подчинились долговременному и могущественному воздействию начал чуждой жизни и даже чуждого государственного строя: при этом, конечно, о самостоятельном творчестве этих последних начал на русской почве не может быть и помину, так как нельзя же творить чужим духом, да и всякое творчество вообще требует цельности духа и жизни... Взамен этой столь необходимой для творчества цельности духа и жизни возник в русской сверхнародной среде вскоре после реформы Петра процесс внутреннего болезненного раздвоения, который и достиг своего апогея в XIX веке, не завершился еще и теперь. Все свое стало вопросом; русский ум, именно в той среде, где он призван властвовать и руководить судьбами родной страны, усомнился в самом себе, как в русском, в своей компетентности и правоспособности; наконец, даже от сомнения перешел было прямо к самоотрицанию, к своего рода «пленению духа в послушание веры», – веры в непререкаемый авторитет западноевропейской мысли и цивилизации. Но на таком самоотрицании он, конечно, никогда не мог успокоиться и опочить уже потому, что практические результаты его деятельности оказывались большей частью не только бесплодными, но и для русской жизни негодными, подчас вредными и пагубными, и не вследствие какого-либо прямого противодействия со стороны последней, а вследствие разлада ее с измышлениями

умствующих. Большая часть безобразий нашей русской действительности, не исключая и современной, должны и теперь рассматриваться именно как бессознательный естественный протест самого народного организма, насилуемого государственной практикой. Эта властная практика, несомненно доброжелательная, несомненно одушевлена самыми благими намерениями, но за утратой органической связи с творческими духовными стихиями Русской земли она осуждена или мыслить не по-русски или же, подчас, трагически недоразумевать ввиду вопиющих и неразрешимых для нее противоречий. И добро бы одних каких-либо частностей касалось это роковое неведение, ослепление или недоразумение: нет, оно простиралось на самые важнейшие интересы, самые жизненные основы нашего Отечества, даже на самый принцип верховной власти... Достаточно вспомнить императора Александра I, образ которого еще до сих пор не воспроизведен русскими историками в надлежащей ясности и полноте (да, по правде сказать, для такого воспроизведения нужен не просто историк, но историк-психолог, и даже художник). Венценосный ученик женевского республиканца, повитый еще в колыбели идеями французской философии XVIII века, гуманист, европеец душой и сердцем, вслед за драмой самого восточного или, точнее, азиатского характера восходящий на русский самодержавный престол и возвещающий себя официально счастливым: «быть начальником столь достойной нации», – этот Гамлет-самодержец, вечно мучимый внутренним раздвоением, то безверием, то верой в свое звание и права; вечно колеблемый противоречивыми, то либеральными, то деспотическими влечениями; – друг поляка Адама Чарторыйского, которому вверяет свои либеральные мечты и вожделения, а равно и ведение иностранной политики России, – и друг Аракчеева; друг Сперанского, которому поручает сочинять конституцию (и которого вслед за тем и ссылает), – и друг грубого, невежественного изувера Фотия1); государь, царствование которого ознаменовалось величайшими подвигами патриотизма и космополитизма, пожаром Москвы и Венским конгрессом, восстановлением Польши и сопротивле-

нием свободе греков, – ознаменовалось, наконец, дарованием конституций, двум присоединенным к России странам и увенчалось, как бы уже посмертным венцом, петербургским бунтом 14 декабря... Это ли не живое воплощение того внутреннего разлада понятий и чувств, которым одержим был властный и руководящий элемент русской государственной жизни? И что это разлад не случайный, не с личным характером Верховного Повелителя только связанный, тому доказательством может служить вся последующая история России.

Реакция в лице императора Николая захотела вступить на почву «национальную», чая именно здесь найти примирение разладу, и заявила было своим девизом: «Православие, самодержавие и народность», но – увы! – такое заявление только надолго скомпрометировало в русском общественном мнении истину, заключающуюся в этом обозначении существенных стихий русской государственной и земской жизни! «Православие» понималось лишь как облеченное в государственный мундир, не как живая духовная, но как консервативная духовно-полицейская сила, освящающая порядок, дисциплину и правительственную систему, а потому постоянно руководимая и контролируемая светским правительством; «народность» разумелась в смысле исключительно внешнем, в смысле патриотизма или же просто преданности современной отечественной системе правления, – преданности, приправленной подчас наружной простотой чувств, хотя и грубой, маленько мужицкого пошиба, но всегда противою для предержащего строя. Система имела притязание на «народность» и «народностью» себя оправдывала. Ею должен был прикрашиваться фасад государственного здания, с немецкого образца снятый. О более глубоком раскрытии этого понятия, о том, что под народностью разумеется все содержание народного духа, как выразившееся внешним образом в истории, быту и жизни народа, так и опознаваемое в его художественном творчестве, в его верованиях, чаяниях и стремлениях, – о том, что это содержание народного духа имеет полное право на свободное развитие и на господствующее положение в том государстве, кото-

рое этим духом созиждено и им только и держится, – обо всем этом, конечно, никто из официальных и официозных ревнителей народности в ту пору даже и толковать не осмеливался; те же, которые осмеливались, которые предприняли великий и трудный подвиг народного самосознания, подвергались гонению, лишались слова. Петербургская государственная практика даже бессознательно, инстинктивно пугалась подлинной русской народности – как элемента, ей совершенно несродного, а потому с ней и несовместимого. Таким образом, девиз: «Православие, самодержавие и народность», вполне истинный сам по себе, на деле выражался большей частью как система полицейско-канцелярской диктатуры или иностранного цезаризма в сослужении «православия» и «народности», причем последние являлись только орудиями служебными, почему и искажались в своем существе. Как бы то ни было, однако самый выбор девиза свидетельствовал уже о сознанной правительством потребности уяснить для себя и для всех принцип русской верховной власти, и если бы он был выяснен не вполне и на практике неудачно, так вина тому лежит в недостатке русского народного самосознания как во властной среде, так и в самом русском обществе. Работа самосознания только что начиналась.

При наступившей затем с новым царствованием реакции девиз был отстранен или пренебрежен, как сильно скомпрометированный, но вопрос о самом принципе власти был снова поставлен, если не теоретически, то самою жизнью. С одной стороны, мудрый царский инстинкт внушил Государю (да благословится его память!) произвести неотложно, ранее других реформ, освобождение от крепостной зависимости 20 миллионов крестьян и тем положить начало возрождению земской жизни, дотоле немыслимой; с другой – именно на слабости народного самосознания, не восполняемой достаточно и царским инстинктом, петербургская государственная практика не только не двинулась далее по народному историческому пути, но еще пуще уклонилась на путь европейской политической жизни. Дело не в той или другой реформе. Почти все эти ре-

формы, по строгой проверке иностранных образцов критерием русской народной жизни, могли бы быть совершены с полной пользой и в России ее самодержцем, как «Государево и Земское дело», но они были произведены, во-первых, без этой проверки, к которой наша государственная практика не была и способна; были, одним словом, произведены ранее, чем самодержавие вышло на дорогу народную, историческую, ранее, чем упомянутая практика стала выражением народного духа; во-вторых, они были введены как поступательное, хотя и запоздалое движение по пути «европейского» жизненного прогресса, в духе «европейского политического либерализма». Таковыми представлялись они и большинству русской интеллигенции, воспитанной тем же духом, просвещенной той же европейской политической наукой. Но непреложный плод этого духа и конечный пункт этого пути – европейская конституция. Вот почему мы и сказали, что вопрос о самом принципе власти был поставлен более или менее бессознательно и невольно, самою русской государственной практикой, благодаря, разумеется, ее вековому отчуждению от русской народности. Понятно, что во многих умах произошла путаница, которая отразилась и на правах. Ждали недосказанного слова, «увенчания здания». Вышло колоссальное недоразумение вследствие колоссального противоречия. Логическому практическому выводу становился поперек только грубый исторический факт, не осмысленный для сознания как интеллигенции, так, по-видимому, и самой власти. Но последняя, к счастью для России, оберегаема была непреложным историческим инстинктом. Неограничен Русский Царь, конечно, и к этой-то неограниченной воле и взывали о добровольном ее самоограничении, – но не хотели и не могли понять, что полновластный Царь не властен лишь в одном: в отречении от своего полновластия, что, заменив основное начало русского государственного строя западноевропейской конституцией, он стал бы отступником от народного исторического пути, изменником Русской земле, предателем своего народа. Пожалуй, в печати не раз было высказываемо уверение, что у русского народа нет ни малейшей «самобыт-

ности в сфере политических идей», но ведь этот вздор может терпеть только бумага, а не русская народная жизнь... Тем не менее такому печальному роковому недоразумению подавала повод, как мы выразились, неосмысленность самого факта власти для сознания самой властной среды. Вне национальной стихии русское самодержавие, – повторим неоднократно сказанные нами слова, – вовсе и не мыслимо, а вот эта-то именно стихия не только не бьет ключом, но и не слышится, и даже не чувствуется в петербургской государственной практике! Исключения составляют разве некоторые исторические события, всегда производящие в этой практике страшный на время переполох, но только на время, пока взбаламученная, испуганная практика не оправится и... не препобедит. Так, война 1877 года вызвала, казалось, мощный подъем народного исторического духа и проявила его единство с русской самодержавной властью, наперекор преданиям и вожделениям упомянутой петербургской практики; но раз кончилась война и вступил в свои права Петербург, он увенчал этот подъем народного исторического духа Берлинским трактатом... Очевидно, что подобный случай мог только усилить то роковое недоразумение и еще ярче осветить то противоречие, о которых мы говорили.

Не разрешил, а усилил их и последовавший за Берлинским конгрессом странный факт сочинения по западноевропейским образцам, в собственной Е.И.В. Канцелярии (во II Отделении), с приглашением экспертов – русских профессоров, конституции для освобожденной кровью русского народа Болгарии. Как объяснить – могла бы себя спросить, да и спрашивала, на западноевропейских же политических науках вскормленная русская интеллигенция, – подобное «облагодетельствование» вчерашних турецких рабов, ни о какой такой конституции и не мечтавших, когда-де русский народ, после тысячи лет государственной жизни и пр.? Русский народ, конечно, приплетается тут всуе и роковому этому для Болгарии дару уж, разумеется, не позавидовал, но несомненно ведь, что русское правительство признавало, и совершенно искренно, свой дар благодеянием... Если же конституция для славянско-

го племени на западноевропейский лад – благодеяние, признаваемое таковым самим русским правительством, то, конечно, полезно было бы не оставлять без надлежащего разъяснения того нежеланного логического вывода, который истекал из подобного факта и который, – даже и не по вине русских разных интеллигентов, – только пуще наплодил путаницы в мыслях и понятиях русского общества.

Теперь уже и для самого властного Петербурга стала ясной лживость того пути, по которому он забрел было совсем далеко. Но куда ж, однако, идти? Все пути, кроме русского, исторического, испробованы, – не возвращаться же к ним? А идти ведь надобно. «Жизнь есть движение вперед», – скажем и мы словами известного публициста. Очевидно, что обозначенный в 21-м номере «Руси» вопрос есть самый животрепещущий и самый – не во гнев будь сказано некоторым петербургским газетам – практический. Точное разрешение его в сознании самой властной среды необходимо для дальнейшей деятельности государственной практики.

Мы сказали в прошлой статье, что коренной русский тип государства не полицейский, а земский; что государство понимается русским народом не иначе, как в свободном естественном союзе с землей; что кто произнес: «самодержавие», тот вместе с тем произнес уже и «земщина», так как оба эти начала не только не находятся между собой в антагонизме, но одно подразумевает другое, в доказательство чего и привели примеры истории из тех времен, когда государственная практика была чужда разрыву с народной жизнью. Но кроме этих исторических свидетельств и разных теоретических пояснений, кажется до очевидности ясным, что единоличная государственная власть, особенно на таком пространстве, которое с XVI века уже заняло Русское государство, не может служить своему высокому долгу без сильно развитой местной жизни, без живых правильных форм местно-земского самоуправления. Не могут же действительно все мельчайшие проявления местной жизненной деятельности такой громадной страны подлежать личному руководительству самого Монарха, так как ведь

один Господь – вездесущий. Все это ведь азбучные истины! Но ввиду подобной невозможности, желательно ли, чтоб Монарх управлял местной жизнью страны посредством сети чиновников, дробя свое самодержавие на десятки тысяч маленьких самодержцев на жалованьи, неизбежно ускользающих от его личного контроля, чуждых и живой связи с местными интересами и того чувства личной нравственной ответственности, которая сопряжена со священной обязанностью Государя? Подобная децентрализация самой верховной власти ведет только к ее ослаблению или к урону ее значения, но к не менее вредным последствиям приводит и та система, которая стягивает все отправления местного бытия, до самых мелких, всякие заботы об удовлетворении ее насущных ближайших нужд – к местопребыванию правительства, к центру. Такая централизация, останавливая ход местной жизни, удручает верховную власть непосильным бременем забот и работ. А всякая дезорганизация местной жизни в конце концов дезорганизует и правильный ход жизни целого государства. И эта простая истина постоянно забывается, что тем более странно, что обе указанные системы уже испробованы были у нас в России и оказались негодными! Ясно, что остается одно: вместо децентрализации власти в образе сети чиновников, децентрализовать самые административные заботы, предоставив ведать дела чисто местного, не общегосударственного и не политического характера, самим местным жителям под общим верховным руководством и контролем центральной власти. При таком сослужении Земли Государству нет и места какому-то антагонизму верховных «прерогатив» с «правами» земства: интерес у обоих один, общий и нераздельный. Даже на Западе при парламентской форме правления начинают наконец сознавать неудобство сосредоточивать заботы местного административного свойства в руках так называемого «народного представительства»: известный писатель Лавеле измышляет для Франции введение разных местных органов самоуправления. Нам же и измышлять много нечего, потому что на самоуправлении искони стояла земля наша; на крестьянских мирах – этой первоначальной

ячейке земской жизни – утверждается в России самодержавие, да и самое государство: они спасли его, когда оно само спасти себя не умело в XVII веке, и восстановили вновь; они – главная и существенная «опора престола», а не какое-либо другое сословие, как казенная риторика приобвыкла утверждать вопреки очевидности фактов. Но с XVIII века в верхних ярусах нашего государства отшибло историческую память и утрачено живое понятие и чувство нераздельной, непосредственной связи Самодержавия с Землей.

Если бы наша государственная практика искренно попробовала хоть на миг подняться на высоту этой исторической и народной точки зрения, пред ней раскрылись бы новые горизонты. Она очутилась бы, наконец, лицом к лицу с Русской Землей, – многими бы откровениями озарилась она! Приметила бы, что до сих пор большей частью болталась ногами по воздуху, возилась с маревами да призраками и что пора, слишком пора, упереться ногами в почву, поглядеть, наконец, в глаза самой настоящей, действительной действительности. Почувствовала бы, вероятно, и практическую необходимость пребывать поближе к центру народной жизни, чтобы постоянно видеть ее и слышать ее голос, а не пребывать где-то на крайнем рубеже или чуть ли не за рубежом государства, откуда ее не видно и не слышно, да еще в таком неудобном положении: у окошка, специально вырубленного затем, чтоб стоять лицом к Европе, смотреть в Европу и дышать лишь веяниями Запада!..

Она, наконец, вместила бы в себя не какую-либо отвлеченную теорию о народе, а реальный смысл того статистического факта, что в России, в одной европейской России, за исключением Царства Польского и Кавказа, по новейшим данным 68 миллионов сельского населения и только восемь городского... Т. е. почти 90% первого и с небольшим 10% второго! Факт внушительный, резко отличающий нас от Западной Европы, где, хоть бы, например, во Франции, на 20 миллионов сельских жителей приходится, если не ошибаемся, 17,5 миллионов городских, т. е. почти равное количество. Не мешает посерьезнее вдуматься в значение такового процентного отношения. Факт

этот внушает, что у нас село преобладает над городом, а потому селом по преимуществу и должен определяться наш государственный тип. Он внушает далее, что 68 миллионов не могут почитаться только за одно из сословий, как это любят чинить в Петербурге, где в либеральном порыве возмечтали даже о всесословной волости. Хорошо «сословие» в 90% населения! Это – целая стихия, да еще преобладающая! Если припомним только, что эти 90% имеют свой особенный, отличный от западноевропейского, тысячелетний строй, собственный своеобразный юридический обычай землевладения, наследства, семейных отношений и пр., так поистине нельзя не изумиться чудовищности современных притязаний правительственного Петербурга: с легкомыслием истинно хлестаковским, или, почетнее сказать, юной институтки, там покушаются игнорировать сей народный обычай, подвести жизненный склад этих 90% под юридический уровень остальных 10% населения, навязать им гражданские законы, вторгающиеся в самые недра народного быта, по образцу французского Code civil[2], согласно с юридическими нормами германо-романских народов, да навязать притом всей мощью той власти, для которой в германо-романской Европе нет «правовой» нормы и которой сила именно в этих 90%! Это значило бы подточить самую силу в корне... Не худо было бы вообще и известному разряду русской космополитствующей интеллигенции вдуматься в содержание такого неудобного статистического факта и сообразить, что 68 миллионов народа не могут дать себя заслонить фальшивым «народом», т. е. фикцией народа по конституционному образцу, во образе какого-то миниатюрного «представительства», и что ни в каком случае жизнь этих 68 миллионов не даст себя подчинить деспотизму отвлеченных чуждых теорий, периодически, чередой одуряющих интеллигентные головы. И многое доброе, может быть, поняли бы они тем скорее и лучше, чем скорее и лучше просветилось бы понимание на самих высотах российской государственной практики!..

Догадаются ли наши петербургские практики, наконец, что благосостояние 68 миллионов не способно регулироваться

петербургско-еврейской биржей; что в благосостоянии уездной Руси – источник и секрет благосостояния самого государства; что важнее многих петербургских сооружений, морских каналов и новых мостов – всякая лишняя тысяча верст шоссейной дороги среди сельской глуши, столько страждущей от бездорожья; что «поощрение народному труду» не может же быть предоставлено какому-либо частному благотворительному «Обществу», а есть по меньшей мере задача всего правительства, даже наисущественнейшая из его задач? Убедятся ли, наконец, в той простой истине, что благоустройство этих 68 миллионов или, что одно и то же, доброе земское самоуправление лежит в основе всего государственного благоустройства, что последнее немыслимо без первого и что при безурядице сельской Руси дым и призрак – порядок и мощь государства; что именно теперь на первом плане и первой заботою правительственной должно быть устранение безурядицы, от которой чуть не гибнут 90% русского населения, возведение этой местной жизни и местных земских интересов в первостепенное государственное значение? Едва ли на этот вопрос может служить ответом то, очевидно побочное внимание, какое оказывается, например, в Петербурге задачам, возложенным на так называемую Кохановскую Комиссию...[3]

Уразумеют ли, одним словом, что и кроме Петербурга есть Россия и что Россия даже вовсе не в Петербурге, что пора наконец выйти из этой ограды, некогда, может быть, на время и нужной, некогда нарочно сооруженной ради оплота для правительственной созидательной работы от национальной односторонности и исключительности, но уже давно обратившейся в какую-то фортецию коснеющего отрицания русской самобытности и даже жизни – в цитадель воинствующего против русской народности европеизма! Ужели не пора? Нельзя же ведь продолжать принимать только к сведению хотя бы настоящее состояние России и бездействовать ввиду 68 миллионов, вопиющих против водворенного у них государственною практикою безвластия вместе с многолюдством всяких начальств, – ввиду искусственного расстройства бытовых основ,

ввиду, наконец, современного экономического положения этих 90% населения: хлеба, пишут, осталось у крестьян только до Рождества, а хлеба кругом вдоволь, да купить его не на что, заработков нет, фабрики стоят или сокращают производство, распуская рабочих, промышленность в застое, – продавай, крестьянин, и скот и упряжь, и все, что только можно продать, сиди сложа руки шесть зимних месяцев на печи в качестве «исключительно земледельческой страны», а кругом, окрест, несметные естественные богатства, ждущие только рук для разработки и живого властного верховного почина, указания, помощи...

Вот что, в конце концов, для русской земской жизни значат наши слова, показавшиеся в Петербурге столь непрактичными: «выйти самодержавию на исторический народный путь, в живую связь с Землей»…

Литература должна подлежать закону, а не административному произволу

Всем нашим читателям, без сомнения, известно, что в ряду преобразований, предпринятых нашим правительством, не последнее место занимает пересмотр старых и сочинение новых законов о книгопечатании. Правительство, освободившее 20 миллионов крестьян от крепостной зависимости, не может не желать освобождения русской печати от зависимости, стеснявшей до сих пор ее правильное, спокойное развитие, а русское общество вправе ожидать, что вслед за улучшением материального быта значительной части русского народа, неминуемо произойдет и улучшение общественного положения мысли и слова в России. Впрочем, по нашему личному убеждению, реформе законов о книгопечатании приличнее было бы стать не только не на последнем, но на первом месте в ряду реформ, непосредственно следовавших за уничтожением крепостного права, и предшествовать всем правительственным преобразованиям, не исключая даже и судебного: освобож-

денная печать приготовила бы для них надежную опору в общественном сознании, вспахала бы и разрыхлила почву для всякого доброго правительственного насаждения. Нельзя ни проветрить, ни очистить, и тем менее убрать дома – в темноте, с заколоченными наглухо окнами: необходимо растворить настежь двери и ставни, впустить воздуха и света, как можно более воздуха, как можно более света!.. А что же такое свобода мысли и слова, как не воздух и свет, – необходимые условия общественного бытия, вне которых нет ни развития, ни жизни, а только плесень и смерть!

Наше правительство, понимая всю необходимость реформы, еще весной нынешнего года составило особую комиссию для пересмотра старых и сочинения новых постановлений о печати, – и комиссия тогда же обратилась к литературе с приглашением – оказать ей, комиссии, свое вполне опытное содействие. Наша журналистика не осталась безгласной на этот вызов, и многие, в том числе и «День» (в №№ 31 и 32), занялись публичным обсуждением вопроса о цензуре – этого вопроса жизни и смерти, to be or not to be[1] для русской литературы. Затем всякие печатные толки об этом предмете прекратились, и, наконец, после 8-месячных усердных занятий, комиссия сочинила проект, который в скором времени поступит на рассмотрение Государственного Совета, и – говоря словами «Русского Вестника», «с будущего года в положении литературы должны произойти весьма важные перемены».

Будут ли эти перемены к худшему или к лучшему? Вот тревожная забота в настоящую минуту всех мыслящих и пишущих, всех литературных деятелей, всех тех, кому дорого русское просвещение. Отвечает ли проект комиссии всем тем ожиданиям, которые так законно возбуждены были в обществе ее учреждением и самим личным составом? Признана ли гражданская полноправность слова или же оно (как бывало во время оно) является в русской жизни каким-то незваным, непрошеным, докучным гостем, от которого приятно было бы избавиться и которому только по необходимости или из сострадания отводится место?..

Новое преобразование, так как оно задумано комиссией, принесет с собой значительные льготы для литературы: достаточно упомянуть, что книги, превышающие объемом своим 20 листов (отчего же не 10, как было первоначально предположено комиссией?) совершенно освобождаются от всякой цензуры; благодетельная важность этой меры будет, разумеется, оценена всей Россией, но, вообще говоря, проект едва ли удовлетворит общественным требованиям и ожиданиям. Было бы, конечно, несправедливо обвинять в этом комиссию, которая, вероятно, сделала со своей стороны все, что могла, – в тех пределах и условиях, в которые она была поставлена. Ей приходилось соглашать и примирять разные радикально-противоположные воззрения и, кроме того, в течение 8-месячного своего существования подвергаться влиянию извне – многих неблагоприятных обстоятельств. Нет сомнения, что весенние «прокламации» (да простит Бог их авторам все то зло, которого они виной) были значительной помехой либеральным стремлениям комиссии, и подвиги подпольной, потаенной литературы отразились грустными последствиями на судьбах литературы – ясной и честной.

Главные основания нового проекта следующие: предварительная или предупредительная цензура сохраняется попрежнему для книг менее 20 листов в объеме и для всех периодических изданий, но редакторы последних могут, по своему желанию, с разрешения министра внутренних дел, переходить в состояние бесцензурное – со взносом залогов, довольно значительных, и с обязательством подчиниться особому административному контролю министра. Министр внутренних дел подвергает редакторов, по своему соображению, разным административным взысканиям; министр внутренних дел предает их суду; от него же, министра, единственно зависит и разрешение всяких новых изданий. Вообще цензура как предупредительная, так и административный контроль над печатью, цензурные комитеты, одним словом, все литературное дело в России поступает в исключительное и безраздельное заведование Министерства внутренних дел. Особое управление, пред-

полагаемое при министре по делам книгопечатания, имеет только значение совещательное, и – как выражается «Русский Вестник», «вся ответственность по этому управлению должна сосредоточиться в лице министра». «Одно из самых важных начал, принятых в основание нового проекта», – говорит почтенная редакция этого журнала в своей заметке, помещенной в октябрьской книжке, – «состоит в том, чтобы управление по делам печати не прикрывалось Высочайшим именем и не вовлекало в свои распоряжения верховную власть. Нельзя не оценить великой важности этого правила, которое еще так ново у нас и без которого администрация никогда не может развить в себе чувства полной ответственности... Все распоряжения министра внутренних дел по делам печати будут производиться им под своей собственной ответственностью, и в этом одном будет уже немалое обеспечение для печати...» Мы бы охотно согласились с мнением почтенной редакции, если бы могли понять, в чем и пред кем будет нести ответственность будущий распорядитель судеб русской литературы. Из проекта этого не видно, а «Русский Вестник» поясняет далее, что эта ответственность чисто нравственная и пред судом потомства... Мы не думаем, чтоб этот отдаленный суд заключал в себе какое-либо обеспечение. В таком случае, отчего же и нам всем, литераторам и редакторам, не нести за свои действия ответственности, хотя бы и самой строгой, пред потомством? Это было бы и удобно, и дешево, не нужно было бы никаких судов и контролей, и в этом одном заключалось бы немалое обеспечение для правительства и для общества!! Очевидно, что про ответственность пред судом потомства говорить серьезно нельзя, – она равняется совершенной безответственности пред живыми; такая безответственность может принадлежать только верховной власти одного лица и ни с кем другим разделена быть не может. При самодержавной форме правления личный суд царев есть единственное прибежище всякого подданного, поэтому никто и не должен быть его лишаем: он один может быть вполне беспристрастен, потому что один не причастен ни к каким партиям, один вполне свободен и независим, один,

пред которым все равны: дальше этого суда идти некуда, и вот почему русский народ до тех пор не удовлетворяется никакими административными распоряжениями, покуда не удостоверится, что они исходят из самого источника власти. Один царь несет ответственность нравственную пред судом истории, но все остальные власти, следовательно, и министр внутренних дел, не могут быть безответственными или, что все равно, подлежать ответственности только потомства. Что значат эти слова, что «все распоряжения министра по делам печати будут производиться им под собственной своей ответственностью», когда на эти распоряжения нельзя приносить жалобы никому и никуда, когда министр, по проекту комиссии, освобождается от всякой обязанности мотивировать или оправдывать свои распоряжения законными основаниями, когда он, в своих действиях имеет право ссылаться на свое личное усмотрение, которое, по самому существу, ускользает от всякого законного определения.

Разрешить издание или же разрешить редактору освободиться от предварительной цензуры зависит, на основании проекта, единственно и исключительно от личных соображений министра, которые он может даже и не объяснять просителю. Таким образом, вся литература и все ее развитие поставлены в полную зависимость не от высшей верховной власти, восполняющей формализм внешней правды элементом живой, нравственной личности, вознесенной над остальным миром, и по тому самому способной явиться вполне свободной и беспристрастной; не от закона, являющего каждому, как в зеркале, его права и обязанности, а от личного усмотрения, личного разумения, личных способностей и качеств министра или, выражаясь словами «Русского Вестника», от степени его распорядительности, проницательности и умеренности... Нет, мы не видим здесь обеспечения для печати... «Ответственный министр... ведь это значит – un ministre responsable, точь-в-точь, как там, на Западе», – скажут, может быть, многие и порадуются, потому что у нас очень многие радуются и утешаются громкими фразами. Но ведь на Западе министры отвечают

палатам или общественному мнению, которого палаты служат выражением: у нас же кому они будут ответствовать, если отнимется законный повод приносить на их распоряжения жалобы сенатору или верховной власти? Нам возразят, вероятно, что это право жалобы нисколько не уничтожается... Нет, оно вполне уничтожается, как скоро министр освобожден от обязанности подкреплять свои распоряжения законом, объяснять причину своих распоряжений и опирается в своих действиях на свое личное усмотрение.

Самое стеснительное и тягостное, по нашему мнению, для литературы нововведение, предполагаемое проектом, – это административный контроль, образец которого заимствован из Франции, – впрочем, с значительными смягчениями. Не можем не заметить при этом случае, что современное французское высшее управление едва ли может служить для России примером или источником заимствований. Оно создалось при условиях совершенно исключительных, небывалых и невозможных в России, оно есть порождение целого ряда последовательных внутренних политических переворотов, – оно поддерживается искусственными подпорками и постоянно ограждает себя стенами, шанцами, палисадниками и всеми средствами военной обороны. Подражание этим оборонительным мерам французского правительства не может быть и мыслимо в России, где верховная власть и народ связаны между собой естественным, свободным, органическим союзом, скрепленным целыми веками истории. Заимствовать у французского правительства его способы самосохранения, его систему непрерывной тайной атаки против нравственной силы образованного общества, руководствоваться, например, образом действий французского министра Персиньи относительно литературы, – значило бы признать, что власть в России утверждается на таких же основах, как и во Франции, а с этим мы, со своей стороны, по крайней мере, согласиться не можем, да и русский народ, сколько нам кажется, не очень-то похож на французов.

Мы, напротив того, держимся такого мнения, что именно в России, именно при ее форме правления, может и долж-

на существовать такая свобода печати, какая немыслима во Франции и в других государствах Европейского материка. Русский народ, образуя русское государство, признал за последним, в лице царя, полнейшую свободу действия, неограниченную свободу власти, а сам, отказавшись от всяких властолюбивых притязаний, от всякого вмешательства в правительственное действие, признает за землей – мысленно – полную свободу жизни, неограниченную свободу мнения (мнения, а не действия). И тем крепче должен бы быть этот союз свободной власти и свободного мнения (как разумеется он русским народом), что он утверждается не на контракте, где контрагенты стараются каждый оттягать что-либо друг у друга и обманывают себя взаимно, – как в западных конституциях, – а на отчетливом народном сознании, создавшем русское государство. Для того, чтобы власть не перешла в неразумную вещественную силу, необходимо, чтобы граничила с ней полнота и свобода целого мира нравственной жизни, самостоятельно развивающейся и самоопределяющейся, полнота и свобода духовного и бытового народного существования в государстве. Свободное мнение в России есть надежнейшая опора свободной власти, ибо в союзе этих двух свобод заключается обоюдная крепость земли и государства. Всякое стеснение области духа внешней властью, всякое ограничение свободы нравственного развития подрывает нравственные основы государства, нарушает взаимное доверие и то равновесие, ту взаимную равномерность обеих сил, которых дружное, согласное действие составляет необходимое условие правильного и успешного развития русской народной и государственной жизни. Одним словом, мы убеждены, что свобода слова, свобода мнения и критики не только не несовместна с существующей у нас формой правления, как полагают люди, наблюдающие Россию сквозь европейские очки, но должна быть ее неотъемлемой принадлежностью. Без спасительного света общественной критики легко заблудиться. Без свободной критики не может выработаться общественное сознание, а поддержка общественного созна-

ния составляет необходимое условие успеха всяких правительственных предприятий.

Без всякого сомнения – полная свобода слова не исключает возможности злоупотребления этой свободой, – именно тогда, когда слово, не ограничиваясь нравственной областью мнения, переходит в область действия, становится уже само действием противозаконным. Сильному правительству, крепкому сознанием своего права, не страшны такие злоупотребления: оно может подавить их в самом начале и возвратить слово в свои пределы, но так как с точностью определить общим правилом ту черту, за которую переступая, слово становится действием, невозможно, то всякий подобный случай должен бы, по нашему мнению, подлежать разрешению и обсуждению суда, а не усмотрению административного контроля, основанного на начале личного произвола. Может быть, мы ошибаемся, но мы думаем, что административный контроль, предположенный проектом, совершенно излишен даже как переходная мера. Какая цель этого учреждения? Остановить распространение преступных идей и мнений? Но неужели еще нужно доказывать, что мысль, если она вредна, может быть побеждена только мыслью, слово – словом, мнение – мнением, доводы разума – таковыми же доводами; что внешняя материальная власть не в состоянии бороться с силой чисто духовного качества, которая требует для своего одоления такой же духовной силы; что, наконец, опытом всех народов и нашим собственным несомненно дознано, что никакие внешние вещественные преграды не могут остановить распространения преследуемой мысли и только роняют достоинство преследующей власти? Если правительство предает виновного суду, – тут нет гонения, потому что суд, – и именно суд с присяжными, – является сам выражением общественного мнения и, следовательно, нравственной силой: суд может, наконец, и не признать вины за обвиняемым; если правительство преследует мысль одной административной властью, оно, как мы сказали, не разрушает вреда мысли, а наделяет ложь обаятельным колоритом гонимого убеждения.

Спрашивается опять: к чему же контроль с административными взысканиями, к чему такое стеснение в разрешении новых изданий, которое, по проекту, зависит только от личного усмотрения министра? Давать – направление литературе, вообще умственному и нравственному развитию русского народа? Но это значило бы подчинить миллионы умов единичному уму индивидуума, – и поставить директора общественной мысли и совести – в лице министра, нынче одного, завтра другого, сделать духовную жизнь народа зависимой от личных качеств одного человека... Впрочем, повторяем: такого странного намерения со стороны правительства мы даже и предположить не смеем.

Можно, конечно, ожидать, что на первое время, обрадовавшись свободе, поток литературы, долго задерживаемый, хлынет с необыкновенной силой и помчит в своих мутных волнах много илу и грязи... И пусть себе помчит, скажем мы; было бы в высшей степени неблагоразумно ставить плотину этому двинувшемуся потоку: он выступил бы из берегов и завалил бы дно целой горой ила и грязи. Но не ставьте плотины, дайте потоку пронестись свободно и верьте: исчезнет и муть, и грязь, и поток побежит снова ровно и величаво, мирными, прозрачными, многоводными струями.

Журналистика — выражение общественного мнения, а не какая-нибудь законодательная власть

К числу самых интересных слухов, которыми полнятся теперь Москва и Петербург, принадлежат, бесспорно, слухи о преобразовании Главного управления по делам печати. По словам петербургских газет, в городе рассказывают: одни – будто управление имеет как-то примкнуть к Сенату; другие – будто оно организуется в самостоятельное учреждение; третьи, наконец, – будто имеется в виду создать новое министерство «полиции», в ведение которого отойдет и литература. В какой степени достоверны эти толки – мы не знаем, но не в этом покуда

дело. Довольно уже и того, что они существуют, и существуют, конечно, не без основания.

Сегодня ровно три года, как состоялось Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета 6 апреля 1865 г., то есть ныне действующее законоположение о печати. В именном указе, данном Правительствующему Сенату от того же числа, сказано, что правила этого нового законоположения установляются лишь «впредь до дальнейших указаний опыта» и ввиду «переходного положения судебной у нас части». Последнее выражение объясняется тем, что в то время новые судебные уставы не только не были еще нигде введены в действие, но не были даже и изданы. Очевидно, что законоположение, сочиненное, по словам самого законодателя, под условием «переходного состояния судебной части», тем уже самым признано несоответствующим условиям нового времени, когда судебная часть уже вышла из переходного состояния и окончательно определилась. Так как слова Высочайшего указа не могут же идти мимо в русской государственной жизни, то не в этом ли обстоятельстве должны мы искать основание слухам о преобразовании существующей системы контроля над русской печатью?.. Во всяком случае, если закон 6 апреля издан был лишь «впредь до указаний опыта», то не имеем ли мы права заключить из упомянутых толков, что указания опыта были не совсем в пользу ныне действующего порядка?

Почему же так? В чем же, собственно, обличалась его неудовлетворительность? Мы разумеем «неудовлетворительность» в смысле правительственном: мнение же литературы об этом законе давно известно, и не оно может интересовать нас в настоящую минуту. Всматриваясь в «указания опыта», мы прежде всего приходим к следующему выводу: тогда как в Англии при строгих, почти драконовских законах установилась на практике печать вольная, как воздух, на славу и здоровье этой великой страны, – в России происходит явление совершенно обратное: как ни мало заслуживают название либеральных законы, установившие систему предостережений, – практика у нас строже закона. Это обстоятельство очень важно. Никакое

законоположение о печати не может, конечно, обнять всех случаев, всех разнообразных видов воплощения мысли в слове: неизбежная недостаточность внешних правил, естественно, восполняется толкованием закона в его применении, и нигде поэтому практика закона не играет такой роли, как в деле литературы По этой-то практике познается настоящее внутреннее отношение правительства к правам печати, его взгляд на свободу слова. Следовательно, все дело именно в этом взгляде, – и какие бы новые исправления ни были сделаны в Положении 6 апреля, куда бы ни примкнуло Главное управление, для нас это имеет значение второстепенное, если взгляд правительства остался все тот же.

Все зависит и будет зависеть именно от этого взгляда. Чтобы точнее определить и оценить этот взгляд, постараемся отрешиться от нашего личного пристрастия к свободе слова и взглянуть на нее – в интересах не столько литературы, сколько самого правительства.

Можно смотреть на печать как на силу враждебную, от которой следует всячески ограждаться и отчураться. Можно ласкать себя надеждой, что достанет умения и власти славить человеческую мысль и выражение ее в слове, закупорить ее как в сосуде и выпускать как пар по мере казенной надобности и через штемпелеванные клапаны. Можно видеть в свободе слова лишь неизбежное зло, но все же зло, и делать уступки этой свободе, вынужденные только крайней необходимостью, так сказать, нехотя – de mauvaise grace и de mauvaise humeur[1], как выразился Эмиль Оливье по поводу новейшего закона о печати, изобретенного французским правительством.

Можно, напротив того, относиться к печати как к силе союзной, как к вернейшему проводнику свободного общественного мнения, – как к сокровищнице мысли и ума миллионов, восполняющей неизбежную скудость единичного ума и мысли в правителях. Можно признавать свободу слова не только не злом, хотя бы и необходимым, а величайшим вожделенным благом, без которого также немыслимы жизнь духа и нормальное развитие человеческих обществ, как немыслимы без света

и воздуха жизнь и нормальное развитие физической природы человека... Различие взглядов ведет и к различию последствий. Взгляд на литературу как на силу враждебную создает под конец действительно силу враждебную, озлобленную, мятежную, наступательную или, по крайней мере, систематически оппозиционную, неослабную в борьбе за свое существенное право. Попытки сковать и закупорить человеческую мысль производят опасные взрывы, а всякие вынужденные уступки, роняя достоинство правительства, не удовлетворяют тех, для кого они делаются, не внушают доверия и не содействуют миру. Чем отрицательнее отношение правительства к печати, чем оборонительнее положение, в которое оно становится к ней, чем больше принимает оно мер для своего ограждения, тем отрицательнее и отношение печати к правительству, тем труднее оборона, тем недостаточнее с каждым днем становятся меры ограждения, тем чаще возникают столкновения, тем сильнее плодятся призрачные страхи, а с ними заботы и хлопоты администрации, тем неудовлетворительнее оказываются всякие законы о печати. За либеральным законом последуют неминуемо стеснительные дополнения; вместе с развитием литературы обречен расти, усложняться и самый контроль. Одним словом, держась этого взгляда, администрация необходимо попадает в то, что французы называют un cercle vicieux[2].

Напротив того, чем благоприятнее относится администрация к свободе слова, тем проще, тем немногосложнее и самые законы о печати; чем меньше администрация расположена пугаться и опасаться литературы, тем меньше призрачных пугал, тем искреннее печатное слово, а чем оно искреннее и откровеннее, тем оно не опаснее. От этих общих суждений перейдем к нашей русской практике и ее примерами поясним нашу мысль.

Было бы клеветой и ложью утверждать, будто в отношениях нашего правительства к печати существует какая-либо систематическая враждебность. Да и не может быть такой враждебности по принципу ни у одного просвещенного правительства. Тем не менее нельзя отрицать, что в отношениях

русского правительства к печати проявляется недоверчивость, по нашему мнению, ничем не оправдываемая. С тех пор как журналистика в России стала несколько свободнее, она успела оказать не одну действительную услугу правительству. В течение трехлетия со дня издания закона 6 апреля 1865 года не произошло, кажется, никакого особенного вреда, никакой опасности для государства и еще менее для нравов, так как с большей свободой слова стали свободнее и сильнее раздаваться здравая мысль и честная критика. Вот на эти-то «указания опыта» смеем советовать правительству обратить свое особенное внимание. Но пойдем далее. Присутствие начала недоверчивости в законах о печати доказывается всеми теми мерами предосторожности, которыми обставлено разрешение и издание газет и журналов, издание книг не свыше и свыше 10 листов, с нормальным объемом печатного листа, – целой организацией контроля над литературой и, наконец, тем «административным произволом», как выражается сама «Северная Почта», который нашел себе выражение в системе предостережений. Но начало недоверчивости, однажды положенное в основание, не может, как и всякое иное начало, не развиваться последовательно и логически. А потому и самое законоположение о печати, – как бы, по-видимому, ни было оно либерально и немногосложно, – в дальнейшем своем развитии под воздействием этого начала будет уклоняться все более и более в сторону не либеральную, будет усложняться все более и более новыми дополнительными статьями – в смысле ограничения свободы печатного слова. Так не можем же мы не признать, что именно в этом смысле, а не с целью дать больший простор слову, состоялись все добавления к закону 6 апреля в течение последних трех лет.

Так, например, если основная мысль учреждения Главного управления по делам печати есть централизация надзора за литературой, то как ни дорого стоит оно, с двумя цензурными комитетами и с отдельными цензорами (более 200 тыс. руб. в год), едва ли через несколько лет не разрастется оно в целое министерство. Теперь вся литературная и журнальная произ-

водительность сосредоточена по преимуществу в столицах, но с развитием местной провинциальной литературы объем занятий, круг надзора и ведомства Главного управления должен расшириться и, наконец, дойти до громаднейших размеров. Вообразим себе только, какова должна быть деятельность центрального учреждения, надзирающего за печатным выражением мысли 80-миллионного населения, на пространстве целой части света, посредством сотни цензурных комитетов и тысячи цензоров, прочитывающих миллионы печатных листов? Дух захватывает при одной мысли о колоссальности такого механизма. Но до этого еще далеко, возразят нам: зачем доводить ad absurdum? Конечно, далеко, но разве администрация не на этом пути? И разве верность пути не определяется тем пределом, к которому он доводит?

Вообще, в основании наших законов о печати лежит, кажется, такое рассуждение: «свобода печати желательна, – слова нет, но без ее излишеств и увлечений; надобно в отношении к ней найти mezzo termine, juste milieu, золотую средину, и устроить дело так, чтоб иметь от печати одни выгоды и удобства, без ее вреда и неудобств, чтобы образовать печать приличную, благонравную, пуще всего благонамеренную и даже, пожалуй, либеральную, но поводливую, слушающуюся указаний и т. п.» Одним словом, рассуждение известное, но, к сожалению, на практике несостоятельное. Условия самой природы этих вещей таковы, что выгоды и удобства, желательные и даже необходимые для правительства в «просвещенной» или стремящейся к просвещению стране, не могут иметь место без неудобств и невыгод, как не может быть плода без кожи, огня без жару (или, употребляя сравнение, самое убедительное по своей пошлости), «розы без шипов». Что-нибудь одно: или вовсе не признавать никакой словесности, или же признать ее такой, какая она есть, не искажая ее натуры: в противном случае, это будет уже не литература, как выражение мысли и чувств страны, а какая-то ложь, нарядившаяся в ее платье. Если вы хотите искренности в слове, так должны допустить каждому право говорить своим голосом, как бы даже груб или неблаго-

звучен он ни был; где нельзя говорить своим голосом, там не может быть и искренней речи, и вместо нее будет раздаваться одна благонамеренная фистула. Не доказанная ли уже давно истина, что никакой механизм и внешний порядок не заменят творчества органической жизни? А если это так, если обойтись без живых органических сил нельзя ни государству, ни обществу, то можно ли, признавая по необходимости права жизни, отнять у жизни то, что делает жизнь жизнью, в чем заключается условие ее творчества? Что лучше: жизнь или подобие жизни, – жизнь с своей свободой, со всею кажущеюся нестройностью, разнообразием, разноголосицей своих отправлений и проявлений, – или подобие жизни, то есть мертвенность и ложь, со внешним благоустройством и наружным порядком? Человеческое же слово только тогда и может быть названо словом, когда оно вполне живо, следовательно, вполне свободно; тогда только может оно дать добрый плод. Слово же, сдавленное и стесненное в своей свободе, слово неискреннее – гнилой дает плод.

Таким образом, та администрация, которая поставит себе задачей направлять литературу, вести слово на поводах, вытягивать его в струнку, муштровать, подчинять его благообразному однообразию, порождает сама для себя непреодолимые трудности и неудобства. Угнаться за всеми уклонениями печатного слова от правительственной нормы приличия и порядка, за всеми бесконечно разнообразными, неуловимыми проявлениями общественной мысли – нельзя: под тяжелую руку карающей власти попадается всегда только самая откровенная, стало быть, в известном смысле честная речь, и ускользнет речь лукавая. При усилении же надзора, при принятии более строгих мер контроля, убивается неминуемо всякая жизнь слова, а этого результата ни одно просвещенное правительство не желает и желать не может. Из этой дилеммы выход один – отказаться от всякой попытки руководствовать словом, как не только бесполезной, но и вредной. Само собой разумеется, что, говоря о слове, мы не имеем в виду тех случаев, когда слово перестает быть выражением мысли и переходит само в катего-

рию внешнего, противозаконного действия. Но для отыскания тонкой черты, разграничивающей слово от действия, нельзя обозначить никаких общих признаков и правил: она определяется на самом данном факте, которого оценка никоим образом не может входить в атрибуты административной личной власти, а может, по самому существу своему, принадлежать только суду.

Заключим несколькими практическими замечаниями в интересах и с точки зрения самого правительства.

Современное положение нашей печати ненормально, – в этом нельзя не согласиться. С одной стороны, она находится в тяжкой, унизительной, противной ее призванию зависимости от администрации, вредной для искренности и правды; с другой, она производит нередко и на администрацию не должное, даже вредное давление, связывает свободу ее действий. С одной стороны, печатному слову оказывается обидное неуважение, чуть не презрение; с другой – и этому не раз бывали примеры – не только общество, но и администрация относятся к нему чуть не с подобострастием. Вместо того, чтобы быть выражением общественного мнения, у нас общественное мнение есть выражение печати, или, лучше сказать, личного мнения того или другого журнала; печать навязывается обществу со своими воззрениями, являясь не только его руководителем, но иногда и тираном. Одним словом, печать у нас, особенно периодическая, не познала еще свои пределы, – чему виной по большей части существующее законоположение. Область действия и область мнения, область правительства и область литературы – две совершенно различные области как по природе своей и по своему призванию, так и по характеру своих отправлений. Обращаясь специально к периодической печати, скажем прямо, что мы лично, желая для себя независимости, считаем совершенно ненормальным всякое возведение журнализма чуть не на степень какой-то государственной деятельности. Никаких «государственных заслуг» за частным редактором мы не полагаем, не считаем его принадлежащим к синклиту или заслуживающим особого места в ектении, вместе с «градона-

чальниками», «военачальниками» и т. д. Деспотизм печати нам так же противен, как и всякий деспотизм, – нам равно противно стеснение свободы нашего слова, как и стеснение нашим словом свободы чужого мнения. В России же на деле видится другое, – видится даже, что иной администратор, хотя бы из второстепенных, вступая в должность, паче всего беспокоится о том, что скажет про него «Москва» или «Московские Ведомости», руководствоваться ли ему требованием редактора А. или редактора К. (которые, надо заметить, тянут оба в противоположные стороны), – и как бы, последуя одному, не попасть в опалу к другому?.. Жалкое положение!

Не есть ли вредная сторона печати необходимое зло, которое приходится терпеть ради ее полезной стороны?

Возвращаемся к вопросу о печати, или, точнее: о правительственном над печатью надзоре. Мы вовсе не настаиваем на упразднении всякого надзора; мы хотим только доказать, что этот надзор должен быть совершенно видоизменен не только формально, во внешних своих приемах, но и качественно, а это возможно, конечно, только тогда, когда изменится самая точка зрения правительства на значение печати и на свои отношения к ней. Печатное слово, особенно в форме газетной или журнальной, – орудие обоюдоострое: оно может стать проводником правды и проводником лжи; производить благотворное действие в той же мере, как и гибельное, растлевающее; служить столько же к утверждению истины, сколько и к подрыву нравственных основ общественного бытия. Вопрос, следовательно, в том: имеется ли способ устроить так, чтоб от печати была лишь одна польза и никакого вреда? Возможно ли пресечь вредное ее действие – не стесняя, не парализуя в то же время действия благого? Не есть ли вредная сторона печати неизбежное зло, которое приходится поневоле терпеть ради ее полезной стороны, ради того многого добра, которое одновременно способна дать обществу та же печать при усло-

вии совершенной искренности, то есть свободы публичного слова? И какие мыслимы полицейские или вообще внешние меры вполне надежные и целесообразные к предупреждению или к устранению дурных последствий печати (мы, конечно, разумеем здесь не какие-либо явные злоупотребления, которые входят в состав преступного деяния, о которых не может быть поэтому ни спора, ни речи, например воззвания к бунту, оскорбления человеческой личности и т. п.; мы разумеем здесь направление мыслей, пропаганду учений, область действия нравственного)?

Что же свидетельствует опыт? Долгий русский опыт свидетельствует, что все когда-либо принимавшиеся у нас полицейские или цензурные меры не только не достигали цели, но служили лишь к вящему ущербу благотворного влияния печати, были только помехой для успешного противодействия злу, для насаждения и утверждения в обществе оздоровляющих, спасительных воззрений. Разве нашей цензуре удалось сколько-нибудь воспрепятствовать широкому распространению в России «превратных» идей? Разве царствование императора Николая, которое, конечно, ничей язык в мире не попрекнет в погоне за популярностью, в либеральничанье, в слабосердечии (власть была и крепка, и грозна, и – главное – вполне самоуверенна), разве оно, при всей наистрожайшей цензуре не только печати, но и нравов, оградило русскую молодежь от заразы западных доктрин самого радикального характера? Что же было пользы в том, что зараза проникала не через посредство газет, а тайно, неведомо для самой власти? При правительственной системе, господствовавшей в тридцатилетие с конца 1825 по начало 1855 года, политической русской печати и не существовало: сверху раздавались лишь слова команды, снизу большей частью слышалось только молчание... Все «обстояло благополучно», везде красовался «порядок»; воздух был, кажется, пропитан испарениями «благонамеренности». Но какой же и результат вышел? Под конец тридцатилетия задыхались уже все, не то что дурные, а именно хорошие, благомыслящие люди, преданные и государю, и государству. Когда

при начале Крымской войны потребно стало содействие всех духовных общественных сил, оказалось, что все силы здоровые, добрые, умные были парализованы – из опасения возможных болезней, страха ради злых, предпочтения ради неумным, как наименее подозрительным. Система пала сама собой под тяжестью всеобщего, повального осуждения; ее осудил самый ее виновник, который, без сомнения, мыслил только благое, а потому и не вынес ужасных мук слишком позднего разочарования. И вот именно эта-то система и разрыхлила почву для восприятия семян гибельных лжеучений, да так ее уготовила, что при первом, еще легком веянии вольного воздуха, тотчас же пахнувшего вслед за падением системы, ростки от семян взвились из земли наружу с быстротой необычайной.

Скажут: вот этому и не следовало бы быть, этого и не могло бы случиться при разумных исполнителях правительственной задачи, умеющих избегать крайностей, держаться во всем меры и искусно отделять овец от козлищ, доброе от злого и т. п. Но сегодня неумные исполнители, вчера неумные, тридцать лет сряду неумные: что за рок такой? Не спросить ли себя: умна ли сама задача? Представляется ли какая возможность для правительства замещать свободное творчество жизни казенным строем, производить канцелярским порядком разделение между овцами и козлищами, между добрым и злым, и полицейско-бюрократическим способом регулировать духовные стихии мира? Если уж пошло на сравнение, так не лучше ли вспомнить преподанное Евангелием слово мудрости, – ту притчу о господине поля, который, когда на засеянном им доброй пшеницей поле взошли вместе с пшеницей и плевелы, посеянные вражеской рукой, запретил рабам исторгать плевелы – «да не исторгнете купно с ними и пшеницу: оставите расти обе купно до жатвы». В этой притче указана, между прочим, опасность слишком ревностного преждевременного очищения... Наконец, государство по самой природе своей служит выражением только внешней правды, а внешняя правда, формулируясь в законе, не способна выразить с надлежащей определенностью те тончайшие, неуловимые оттенки

и черты, которые характеризуют добро и зло в сфере мысли и слова. Следовательно, ошибочно не применение системы к практике, а самое ее основание, ошибочна самая задача.

Цензура, да и вся система вышеупомянутого тридцатилетия именно усердствовала вопреки слову Евангелия в искоренении плевел ранее жатвы и, разумеется, исторгала главным образом пшеницу, обрушивалась всем своим гнетом на людей истинно просвещенных и честных: иначе и быть не могло. Она губила, гасила самый дух жизни. Это было ужасное время. Мы его помним, мы его пережили. Не много было молодого преувеличения в следующих стихах, относящихся к 1850 году:

И слово правды оробело,
И реже шепот честных дум!
И сердце в нас одебелело,
Порывов нет, в забвенье дело,
Спугнули мысль, стал празден ум!

Система привела, наконец, к севастопольскому разгрому и парижскому миру. Реакция была неизбежна. Легко теперь рассуждать о том, что реакцию следовало бы произвести умеренную, в должных пределах и т. п.! В жизни народов, как и в частной жизни, бывают такие психологические моменты, которые регулировать вне человеческой власти, с которыми необходимо считаться. Чем сильнее запрет, нажим, тем сильнее бывает и взрыв, а с ним и наплыв всего запретного. Чем строже, до чудовищной нелепости, была цензура, тем сильнее после 1855 года отозвалось на литературе даже неполное послабление. Тут некого и не за что винить: таков роковой нравственный закон. И это не мешало бы помнить тем, которые и в наше время постоянно науськивают правительство на печать и готовы ему советовать: «взять да и запретить без дальних околичностей чуть не всю периодическую печать» (есть таковые советники!). Злой совет. Нежелательно было бы, чтоб правительство покусилось на такой опасный опыт, даже и в несколько смягченной форме, то есть оставив жить на свете два-три

издания по своему выбору (другими словами: заклеймив их привилегией и уронив их авторитет)! Ибо при подобном запрете (не говоря уже о дальнейших его последствиях в близком будущем) удержаться немыслимо, раз наши правящие сферы претендуют на почетное для России место в Европе, на духовную с ней равноправность, и сами имеют притязание на «ревность к благому просвещению»; не только атония общественного организма напугала бы вскоре самих советчиков, но не вытерпели бы они даже и насмешки иноземцев: ведь не устояли они даже против фальшивой, искусственной агитации заграничного общественного мнения относительно евреев, а тут и подавно не выдержали бы, потому что презрение к России было бы вполне ею заслужено. К тому же подобный опыт теперь, в нашу пору, когда злые семена уже глубоко внедрилися в общественную почву, был бы во сто раз опаснее, чем после 1855 года: страшно подумать, какая бы вслед за такой мерой наступила реакция!.. Сохрани нас Бог от такого безумства! Но об этом и толковать не стоит, и если мы упомянули о таком совете, то более в виде примера, до чего способно доходить в наше печальное время нервное раздражение людей серьезных и даже умных. А вот о чем стоит толковать и твердить, – это именно о том, что никакие цензурные запреты, заставы и рогатки никогда у нас не достигали и не достигают цели. Семена того зла, которое разъедает русское общество, семена нигилистического отрицания религиозного, нравственного, гражданского, политического, пали – как мы уже сказали – на разрыхленную тридцатилетней системой благодарную почву. Видимым же образом (независимо от других способов пропаганды) сеялись они во второй половине 50-х и в начале 60-х годов: сначала посредством заграничной газеты Герцена «Колокол» (проходившей массой экземпляров в Россию, несмотря ни на какие замки и затворы), затем, с наибольшим успехом, посредством периодических изданий Чернышевского, Писарева и К?, – изданий подцензурных. Правда, в начале 60-х годов реакция предшествовавшей системе доходила до своего апогея, и реакционное увлечение далеко перегнало, в среде самих правящих сфер, органический

рост и развитие политического сознания. Оставаясь на почве все того же принципа полицейско-бюрократической опеки, многие люди иже во власти щеголяли не столько разумным либерализмом, сколько либеральничаньем, что на практике сказывалось слабостью и потворством; однако же у нас не достанет и духа осудить это увлечение ввиду памятных еще в то время действительно невыносимых приемов предшествовавшего тридцатилетия: его должно винить прежде всего, – бесплодно пройти оно не могло. И от потворства ли только цензуры зависел успех нигилизма в среде молодых поколений? Неужели трех-четырех лет подцензурной пропаганды было достаточно для прочного насаждения зла?

С 1866 года, после выстрела Каракозова, всякое либеральничанье резко прекратилось, но от реакции перешли к реакции же, и – замечательное дело – с торжеством лжеконсерватизма, то есть принципа бюрократической опеки, взяло верх и антинациональное во внешней и внутренней политике направление! Печать подтянули. Кто же, спрашивается, от того выиграл? Только один генерал Потапов, о действиях которого в Северо-Западном крае, где он был генерал-губернатором, запрещено было писать, да разнородные хищники казенных земель и прочего государственного Добра. На ком пуще всего проявилась цензурная строгость? На издателе «Москвы», которому вслед за ее запрещением благодаря Двум консервативным министрам в течение двенадцати лет отказывалось в праве на издание газеты... Что же касается до «зловредного направления», то оно просачивалось сквозь все поры цензурного бревна, давившего печать; оно неуловимым, но красноречивым намеком звучало из каждой одобренной, тщательно цензурою процеженной строки, встречало отзвук, продолжало воспитывать молодежь по-прежнему. В 14 лет с 1866 года, несмотря на усердную деятельность графа Шувалова и его преемников, зло нигилизма не только не искоренилось, но шло crescendo и возросло до ужасающих размеров.

В 1880 году, с наступлением так называемой диктатуры графа Лорис-Меликова, настало снова облегчение для печати

(благодаря которому только и сделалось возможным издание «Руси»). Более ли зла приключилось от этого послабления цензуры? Кто же решится утверждать, что в катастрофе 1 марта виновно снисхождение министра к газетам? Ведь четыре или пять покушений на жизнь царя-мученика произошли именно тогда, когда бразды цензуры находились в твердой руке генерала Тимашева и процветало III Отделение! Хуже ли пошли дела от предоставленной печати несколько большей свободы слова? Конечно, не хуже, да уж они и дошли до крайней степени худа, только не по вине печати. Если же некоторым кажется, что положение еще сильнее ухудшилось, то только лишь оттого, что ведь печать (хоть несколько свободная) то же зеркало: обществу и было подставлено зеркало, в котором отразившийся его лик справедливо привел наш дух в смятение. А ведь известна пословица, что на зеркало нечего пенять, коли... и т. д. Не лучше ли нам ведать, каковы мы на самом деле?.. К тому же, с большим простором печатной речи, получилась возможность громче охать и жаловаться, но забывают, что вместе с тем явилась и большая возможность прямого, искреннего противодействия, возможность откровенной литературной борьбы. Этой возможности прежде не было, ибо всякое литературное обличение давало вашему противнику повод прикидываться лежачим, которого бьют, кричать о доносе, об инсинуации, избегать на этом основании спора и наклонять весы общественной симпатии в свою пользу – яко гонимого!.. Почему же именно теперь, когда начал становиться нам ясен наш общественный сумбур, стали выделяться направления, группироваться «деятели», стали мы опознаваться в этой сумятице и закипела было спасительная борьба, – опять заговорили о новой, кажется, уже четвертой по счету с 1855 года реакции, то есть о новых стеснениях печати? Хвататься теперь вновь за цензуру собственно с целью искоренения зла – это значило бы возвращаться к старым, испытанным в своей непригодности мерам, значило бы не уметь ценить всей глубины зла и средств, коими оно располагает, значило бы, другими словами, сознаться в своей несостоятельности для борьбы.

Как ни велика важность периодической печати и у нас, не одним ее путем, однако же, разливался по России яд зловредных учений. Известно, что прежде всего дело началось с проповеди материализма, и главным орудием пропаганды были книжонки с плохим изложением доводов Бюхнера и Молешотта: наши ведь юноши не взыскательны, когда речь идет о «последнем слове науки»; вглубь его не входят, довольствуются кое-чем и принимают науку больше на веру. Да педагоги тогда, по большей части, такому нраву молодежи не препятствовали... Так что же? Следует ли из того, что надлежало запретить Бюхнера и Молешотта? А затем и Дарвина? А затем и Гексли, и все ученые сочинения, в которых отражается современное движение науки и современное историческое социальное брожение в Европе? Возможно ли это? Да и к чему послужило бы запрещение, когда иногда до 70 тысяч паспортов в год выдавалось едущим за границу? Кто не перебывал за границей, особенно в первое десятилетие после Парижского мира? Кто не имел удобного случая погрузиться по уши в самый источник превратных доктрин и всяких зловредных измов и возвратиться оттуда совсем готовым устным пропагандистом? Государь Николай Павлович был последовательнее. При нем заграничные путешествия были почти что запрещены. И это было логично, так что те, которые в наши дни советуют запрещение всех русских газет, должны посоветовать возврат и к этой последней мере. А в таком случае не лучше ли просто оградиться Китайской стеной от всего остального мира?

Но ведь есть немыслимости, несообразности, нравственные невозможности, которые сильнее физических; к ним принадлежит и возвращение к разным «мероприятиям» времен императора Николая. Мы, впрочем, не касаемся здесь причин – ни наших местных, ни, так сказать, общих, вселенских, обусловливающих разлив нигилистических учений у нас в России: для нашей цели достаточно указать, что русская печать играла тут вовсе не главную роль. Противодействовать какой бы то ни было нравственной общественной эпидемии посредством внешних полицейских и собственно цензурных

способов это все равно, что задерживать стремящийся поток руками. Тут нужны меры противодействия органические, лечение радикальное. И изо всех мер противодействия, принятых у нас, была только всего одна вполне целесообразная, – это преобразование нашей прежней школы с ее традиционным пушкинским «чему-нибудь и как-нибудь» и столь же традиционным грибоедовским «взгляд и нечто» – в школу серьезную и строгую. Пусть реформа эта во многом несовершенна, пусть способ проведения ее в жизнь был во многих отношениях ошибочен, слишком глуп и лют, но мы думаем, что в конце концов ее добрые плоды все-таки скажутся, хотя, конечно, она одна, сама по себе, не в силах будет излечить русское общество от разъедающего его недуга. Впрочем, задача наша вовсе не исследование всех средств, пригодных для врачевания современных общественных зол; мы имеем в виду собственно лишь оценку по отношению к борьбе с нигилизмом практикующейся так долго в России цензурно-полицейской политики. И полагаем, что к числу успешнейших и целесообразных мер для противодействия вредному направлению нашей журналистики принадлежит именно не сокращение простора, а больший простор печатного слова, большая свобода борьбы.

И в самом деле, когда уже мы дошли до настоящего, постыдного во многих отношениях положения, когда для выхода из него так необходим подъем в русском обществе гражданского духа и само правительство призывает общество к содействию для врачевания общественного недуга, – возможно ли продолжать держать этих «граждан» в малолетках, на цензурных помочах, под ферулой чиновника-цензора, в зависимости от капризной впечатлительности разных официальных ведомств и лиц? Одно из главнейших орудий «содействия», которого ожидает от всех честных, серьезных граждан высшая власть, – это, разумеется, слово, и по преимуществу слово печатное; но мудрено совершиться истинному подъему гражданского духа в этой области, когда вам приходится наперед изощриться в искусстве иносказания, когда споря, например, против конституции в западноевропейском смысле,

вы вынуждены путать понятия и называть ее «правовым порядком», – да мало ли что? Когда, – как случилось с нами на днях, – зайдя в иностранный книжный магазин и спросив Карлейля «Историю французской революции» на английском языке, вы получаете от иностранца-книгопродавца ответ, что она запрещена, и вдруг очутитесь пред ним как пристыженный школьник, как малолеток, так что даже и в уши не лезет его примечание, что подайте, дескать, прошение в Главное управление, авось-либо вам разрешат... А вот какая-нибудь «Нана», даже во многих местах Европы запрещенная (теперь и во Франции приняты строгие меры против порнографии) – у нас не запрещена и порнография процветает, – вместе с порнографией в лицах и действиях, то есть кафешантанами с каскадными певицами и шансонетками!.. «Это ведь развращает только нравы, но в политическом отношении не вредит», – рассуждают некоторые наши государственные педагоги: будь развратен, но «благонамерен»!..

Есть одно замечание, на которое не можем не отозваться. Печать периодическая, говорят нам, есть кафедра, да еще с такой аудиторией, которой не имеет ни один профессор, которой действие простирается на сотни тысяч людей... Это справедливо, – газета даже более чем кафедра, это – трибуна, и мы вовсе не отрицаем того зла, которое может поселить в незрелых умах и душах иной трибунный оратор; мы указываем, во-первых, только на несостоятельность тех мер, которые принимались до сих пор для противодействия этому злу; во-вторых, на необходимость свободной борьбы со злом, следовательно, равноправных условий для обеих борющихся между собой сторон. Но мы вполне готовы присоединиться к мысли редактора «Современных Известий». Уподобляя периодическую печать кафедре, г. Гиляров-Платонов напоминает, что для занятия каждой кафедры требуется известный образовательный ценз. Почему же не требовать ценза и от всякого, желающего стать редактором? Мы, со своей стороны, прибавили бы к цензу образовательному (разумеется, высшему) ценз возрастной, наподобие тому, как это требуется во всех европейских «правовых

порядках» для занятия, например, депутатского в парламентах звания (это должно понравиться нашим «либералам»)... Когда говорится о «свободе печатного, газетного слова», о кафедре или трибуне, никто, конечно, не имеет в виду ни гимназистов, ни сущих младенцев. Впрочем, никто и им не мешает «сотрудничать» под покровом ответственного редактора!.. Конечно, ни университетский диплом, ни 30-летний, положим, возраст ответственного редактора не застраховывают еще правительство и общество от злоупотребления словом, но все же представляют некоторое ручательство в большей серьезности и осмотрительности издания... Затем, рано или поздно, а придется установить судебное по делам печати разбирательство со специальными присяжными, под условием также известного для последних ценза, но эта мысль требует особой тщательной разработки. Вообще же теперь мы ратуем не в пользу внезапного уничтожения всякой цензуры, но в пользу большого облегчения и против большого стеснения печати.

А главное, что, по нашему мнению, желательно, это совершенное отречение правительства от мысли заставить периодическую печать, всю без исключения, вещать речи только «благонамеренные»... Благонамеренности истинной оно не добьется, а притворства, лжи, подлого лицемерия, стало быть, новых нравственных миазмов, наплодит немало, к крайнему вреду для нашей и без того нездоровой общественной атмосферы. Мы и так уж изолгались и исподличались до мозга костей!.. Нам нужна теперь правда, правда и правда – везде и во всем, – нужно, чтоб и самая ложь, самый недуг наш, самые язвы наши предстали пред нами во всей правде, то есть во всей наготе своей. Поэтому и незачем смущаться теми откровениями правды, хотя бы горькой и безобразной, которыми обогатил нас еще не великий, но все же больший против старых времен простор печати в так называемых «либеральных» (!) ее органах... Не запрещать, не запугивать следует эти органы, а поощрять их к искренности. Пусть они явятся пред нами во всей красе своего внутреннего содержания... С этой точки зрения и «Русский Курьер», и все эти развязные фельетонисты «Голоса» и

одностраничных с ним газет и журналов, все эти гг. Старины, Арсении Введенские, Эртели, Венгеровы, со всей фалангой подобных им глубоких мыслителей, могут заслуживать только благодарности, чуть не медалей со стороны правительства (один «Русский Курьер» с его ненавистью к русской народной самобытности чего стоит! Медали мало!)... Но к этой теме мы еще возвратимся.

Речь на коронационных торжествах 1883 года при короновании Императора Александра Третьего

МОСКВА, 15 мая, вечером

О, какой день! какой великий, исторический день! Не под силу бы, кажется, и перенести человеку полноту пережитых им сегодня исполинских ощущений, если б он испытывал их только лично: но никто не жил нынешний день личной жизнью, все и всякий слились в одно исполинское тело, в одну животрепещущую душу, чувствовали и сознавали себя единым Русским народом, — единым в веках и пространстве. Два Лица, два гиганта только и стояли сегодня друг перед другом: Царь и Народ, Народ и Царь, и творили вместе великое дело истории. Стоном стонала земля от восторгов народных. Это она заговорила, Святая Русь! Эти раскаты грома, заглушавшие пальбу орудий и гул кремлевских колоколов, — это ее ликования, ее клики любви и радости, — ее голос!... Да, это торжество именно — историческое, и притом не только русское, но и вселенского значения событие: новое утверждение своему старому государственному строю положила и всему миру явила сегодня Россия! Сегодня по завету и преданию минувших веков по древне-уставленному чину в том же Московском Кремле, в том же Успенском Соборе, среди нетленных останков Святых радетелей Русской земли, вблизи гробниц князей и царей, основоположников и зиждителей Русского государства, снова, торжественно священнодей-

ствием Церкви и молитвами всего народа, совершилось посвящение Русского Царя на Его высокое царственное служение — высшее всех служений земных! Сегодня вновь, как и двести семьдесят лет тому назад, при таких же восторженных кликах собравшейся Руси, принял Русский Царь — потомок Дома Романовых — свой самодержавный венец, тот самый, что в 1613 году свободным единодушным изволением Русской Земли и с благословенья Церкви возложен был на Его приснопамятного Предка...

Сегодня, во имя Бога и под страхом Божиим, приял единый человек тягчайшее, хотя и освященное бремя — дар полновластия над братьями-человеками... О, то был дивный и вещий миг, когда, как бы удрученный такою непомерною тягостью, нововенчанный Царь, могущественнейший из владык мира, облеченный во все знамения земного величия, повергся во прах пред величеством Божиим как бренный, немощной человек, как раб Божий, и, смиряясь пред неисследимым о нем смотрением Господа, коленопреклоненно, во услышание всем, молил Царя царствующих: да наставит, да управит Его в великом служении сем, да восполнит Его человеческую немощь, да вразумит Его — «что есть угодно пред очима Твоима и что есть право в заповедях Твоих, Господи!» Казалось, будто в сей миг, из самой глуби веков, коих этот древний храм живой свидетель, простерлись над царственной головой незримые благословляющие длани... Когда же вслед за сим, как бы укрепленный силой свыше, воздвигся Он во всем сиянии и блеске своего сана, — коленопреклонялись в свой черед все предстоявшие в храме, и устами первосвященника, от имени всего Русского народа, вознесли горячую мольбу к Милосердому Судии царей и подданных — да «не посрамит Господь народного чаяния» и ниспошлет духа правды и истины, дар разума и премудрости Тому, кому народ вверяет свою судьбу и несет дар самоотверженной преданности и послушания... Это было воистину венчание Царя с Землей, обмен их обетов Господу и друг другу, обетов любви и верности... Это светлый праздник взаимных уз!

Странным, неудобопонятным, неосмотрительным может показаться людям Запада и вообще «совопросникам века сего» это необычайное, восторженное народное радование, искренность которого даже и для них очевидна. Что же в самом деле торжествует Русский народ? – спрашивают они. Не отречение ли от своей «полноправности» и подчинение безусловной воле единого?.. Не осуждаем их недоумения, не станем даже препираться с ними о достоинстве и выгодах политической русской теории, но да примут они прежде всего настоящее торжество как несомненное свидетельство сознательной и свободной воли народной. Такова мысль и хотение Русского народа, издревле и в течение ряда веков подтвержденные несметным множеством его произвольных жертв. Была пора, когда сокрушилось вдребезги Русское государство, когда самый род царский пресекся, и только народ, — не кто другой, как он сам, — спас Русскую землю, воздвиг государство и все свое временное полновластие приложил к восстановлению царской личной, самодержавной власти...

Затем — как объяснить не то что Западу, по гордости и самомнению логического, формального разума ту глубину верующего духа и ту высшую потребность свободы, которая дает смысл и такое своеобразное определение самому государственному строю нашей православной Руси! Да, свободы, — той свободы, которая, признавая необходимость точного закона и внешней правды для гражданского общежития, не может однако же поработить, закабалить его мертвящей букве и грубому формализму, и порываясь в простор духа и истины, восполняет букву и внешность правды живым началом личной, свободной, светом Христовым просвещаемой совести, — другими словами: личной, независимой воли. Не скрыта от мудрости народа немощь человеческого естества, возможность греховных уклонений или падений, да и не ищет он безрассудно совершенства в делах земных, но споспешествует им молитвою, нравственным подвигом жизни, ждет, долготерпит, и веруя в благую мощь Божией правды, неуклонно верует и в святыню души и совести человеческой. «Верой в человека» любят ря-

диться порой и на Западе так называемые гуманисты, но эта их вера лишена нравственной божественной основы, а потому и посрамляется ежечасно. Ни в одном народе не живет эта вера в человека с такой силой, как в Русском; высшим ее проявлением и служит полнота власти, которой облечены его самодержцы. Не бездушным, искусно сооруженным механизмом является власть в России, а с человеческой душой и сердцем... В том-то вся и сущность союза Царя с народом, что божественная нравственная основа жизни у них едина, единый Бог, единый Судия, един Господень закон, единая правда, единая совесть. На совести, на вере в Бога и на страхе Божием утверждаются их взаимные отношения, и вот почему ни для царской власти, ни для народного послушания не существует иных ограничений, кроме заповедей Господних.

Все это эллинам или Западу «безумие» и даже «соблазн», но таково чаяние и упование Русского народа. Государство для него не есть конечная цель бытия, а только средство и способ более или менее мирного и благоденственного человеческого сожительства — ради высшей нравственной цели, — сожительства, пред которым предносится иной образ бытия, предвозвещенный Христом. Русское гражданское общежитие не только не отвергает высшего божественного над собой начала, а напротив, носит его в себе, как душу в теле, и понятно поэтому, что русское самодержавие возможно только как учреждение вполне народное, вполне национальное. Самодержец-латинянин или вообще иноверец немыслим в Русской земле, как немыслим и самодержец-немец.

Нет, не над рабами, по мысли и чувству народному, властвует Русский Царь, а над свободными о Христе людьми Божиими, равно искупленными кровию Спасителя... О, Русский Царь, блюди же эту их многоценную о Боге свободу, чти выше всего святыню звания человеческого, и карая проявления злой, пленной воли, воспитывай людей Твоих в сознании этой свободы и этой святыни! Прекрасны слова, обращенные митрополитом Платоном к Государю Александру I при Его венчании: «Предстанет пред престолом Твоим, — говорил святитель, —

и самое человечество в первородной своей и нагой простоте, без всякого отличия по рождению и происхождению: взирай! возопиет, на права человечества!»..

Но не одну свободу духовную от буквы и формализма внешней законной правды обретает Русский народ в свободе верующей совести или личной власти Царя- христианина. Есть и другая свобода — свобода быта и общественной жизни, совместимая вполне лишь с сильной, незыблемой, вполне независимой властью. Ни одна страна в мире не способна вынести такой широкой, истинно доброй свободы, какую, если и не имеет, то могла бы вынести Россия благодаря основному началу своего государственного строя. Ибо в то время как на Западе во имя свободы кипит вечная борьба из-за власти между правительством и народом или же отдельными общественными кругами, и всякая сторона, захватывающая власть, лишает свободы другую, в России нет и не может быть о власти даже и спора. Русский народ не только не ищет для себя политического «верховенства», но и отвращается от него всеми помыслами, всем существом своим и никогда не допустит перемещения центра верховной самодержавной власти (ибо высшая власть, в источнике своем, и не мыслится иначе, как безусловная по самому существу своему) с царского престола на министерский стул или на относительно-микроскопическое большинство так называемых представителей народных. Никогда не предпочтет Русский народ самодержавию личной, нравственно-ответственной совести человека-Царя случайное перескакивающее самодержавие вечно зыблющегося, изменчивого, арифметического перевеса безличных голосов, даже и нравственно-безответных! В том-то и значение Русского Царя, и основа благодетельной независимости Его власти, что Он не есть ни какой-либо «первый дворянин», как бывало во Франции, ни представитель какого-либо господствующего в данную пору сословия, ни вождь известного разряда единомышленников, ни даже глава пресловутого «большинства». Он — первый человек своей земли и своего народа, никому и ничему неподвластен, лишь Богу и Его заповедям. Русский венец или жезл

правления не игралище периодических выборов, не предмет добычи для борющихся партий — способом насильственного или искусственного захвата. При благословенном наследственном образе нашего правления Царь приемлет власть не своим честолюбивым или властолюбивым хотением, а по произволению Божьему, приемлет как бремя, как служение, как подвиг, Богом ему сужденный.

Русский народ, подтверждаем снова, чужд всякого поползновения к политическому державству; он желает себе лишь свободы быта, свободы внутреннего общественного служения и самороста, свободы жизни и деятельности. Ни в какой стране поэтому и не существует в основе государственного устройства таких широких зачатков местного самоуправления, как в России: нет надежнейшей опоры и оплота для русской царской власти, как наш сельский мир; на мирском или общинном строе Русской земли, способном и к более полному, в народном же духе, развитию, зиждется русское самодержавие. «Чем тверже и независимее верховная власть, тем совместимее с нею и всякое благо мирной свободы».

Таково искони воззрение Русского народа. Оно живет в нем и поднесь. Но как утратило оно свою чистоту, какому искажению подверглось в сознании высшей общественной среды со времен Петровских преобразований под воздействием государственных образцов и учений Запада, затмилось (но не в народе) истинное представление о русской царской власти и об отношениях ее к Русской земле. Седая старина и вековечная народная правда покрылись многоразличными наслоениями чуждых им новшеств; словно маскарадной мишурой поспешила одеть Святую Русь подобострастная, но при том и властная подражательность нашего XVIII, да отчасти и XIX века. С точки зрения иноземно-полицейской, свободно и самоотверженно подчинявшийся народ трактовался как завоеванный. Против простоты и доверчивости его любовного отношения к высшей власти принимались суровые меры ограждения. Все звания, все учреждения, весь состав правительственного строя перекрещен иностранными именами, переиначен по узкой норме

голландских, шведских, немецких и иных чужеплеменных понятий. Духовное разъединение с народом усложнилось и внешним разъединением средоточия правительственного со средоточием жизни народной. И процвело в нашем Отечестве под блестящим покровом заемной образованности забвение отечественных преданий, полнейшее невежество, непонимание Русской земли, отрицание всяких прав Русского народа на духовную самобытность, ложное просвещение, а вместе с тем и оскудение зиждительной мысли, иссякновение всякого творчества жизни, — под конец даже немощь внешняя и нравственная!.. Отсюда источник странных, порою чудовищных недоразумений, напрасных страхов и напрасных самообольщений, целого ряда роковых ошибок; того безнародного направления в политике, того отвлеченного беспочвенного воспитания, той беспутицы умственной, которые породили все печальные общественные недуги и явления новейших времен. Но, благодарение Богу, не растратил народ, а уберег сокровище своего русского духа — залог нашего ныне возрождения и исцеления. Никакие превратности не заставили народ изменить своим нравственным и гражданским, своим историческим началам и верованиям; непоколебима пребыла его вера в Царя; чутко охранял он права русского престола от всяких олигархических посягательств, и как ни тяжелы бывали годины испытаний, не народная любовь оставалась перед властью в долгу! Напротив, в эти-то годины исторических испытаний и выносил он, наш подвигоположник-народ, на своих могучих плечах и целость, и честь, и славу России и возвращал ее и нас всех, его самонадеянных пестунов и вождей, на путь, указанный России историей, от которого не раз отклоняла ее нерусская мысль... Свято помнил и помнит наш «родной край долготерпенья» завет Христа Бога: «претерпевый до конца той спасется»...

И мнится — о благостное упование! — уже близок, уже виден конец... конец претерпеванию! Не новая ли заря занимается пред нами? Не новый ли исторический день несет нам Твое ныне восшествие на русский престол, Царь наш возлю-

бленный? Не обманет сердце народное — сердце сердцу весть подает — и слышит оно: бьется в Твоей груди? под всеми величавыми облачениями Твоего царственного сана — простое русское сердце, — то, что нам именно теперь на потребу, что всего многоценнее Твоему народу, чего так давно, давно не бывало! О, верь своему сердцу, верь своему народу и не презри, о Государь, как дерзновенные, моления наши. Отреби весь этот наносный хлам чужеземных начал и понятий, ограничивший свободу царских отношений к родной стране, отдаляющий и отделяющий Царя от народа!.. «Любовь да совет» — таким благим пожеланием напутствуют обычно русские люди обряд венчания: пусть же свободно притекают к Тебе, нововенчанный со своей землей Царь, ее любовь и совет, пусть стоит она всегда лицом к лицу с Тобой, и не застит ее средостение слуг царевых! Пусть пахнет на Твои правительственные высоты свежий, родной, вольный воздух общественных и народных низин и разрядит спертый воздух тех обширных государственных готовален, куда попав, вянет всякая плодотворная, особенно русская, национальная мысль, мельчает до ничтожества всякое крупное начинание! Да ведомо же будет всем до последних концов Твоей державы, что Русский Царь не есть только верховное звено служебной иерархии, составная, хотя бы и главенствующая часть административного механизма, но личное, живое и жизненное, весь государственный и земский состав проникающее начало! Как электрические токи пробегают в народе все движения сердца, мысли и воли Царевой, и всякий малейший Твой личный благой почин отзовется в Твоей стране великим, всеобщим, одушевленным напряжением сил и исполинским делом. Нужен царский почин Русской земле, олицетворяющей в Царе себя и свою совокупную волю, видящей в Нем живой символ своей мощи и своего единства!... Совлеки с Твоих слуг, Государь, ветхого казенного человека, внедренного в русскую жизнь петербургским периодом нашей истории, и обнови в них подлинного человека земли, в честном звании подданных и слуг Твоей державы. Изгони ложь и лесть, и всякое низкое угод-

ничество или попросту подлость, так обильно разросшуюся в нашей официальной среде: да не молчит правда, но безбоязненно подъемлет свой голос и широким царственным путем идет в чертоги Царевы, иначе, минуя их, пробираясь кривыми окольными тропами, исказится она в самом существе своем и как запретный плод обрастет ложью и злом... Истомились, изнемогли мы, Государь, от долгого блуждания и шатания по чужим дорогам или по бездорожью. Подними же наш, уже было поникший дух, — нет хуже бедствия для страны, как принижение духа! утешь и чувство чести народной! Да свободно и плодотворно развиваются все обильные дарования, и вещественные богатства земли Твоей, да процветет у нас самостоятельным цветом наука и знание, да придет, по древнему выражению наших предков, «Русское государство все в достоинство»! Оживи же нас, Государь, вызови к творческой деятельности, оправдай, уполноправь доселе неполноправный в родной земле разум народный, которым одним однако стоит незыблемой твердыней Твое неизмеримое царство!

И Ты оправдаешь, Ты уполноправишь его, наш разум народный, несомненно, к высшему, всемирно-историческому жребию предназначенный, и послужишь Божьей истине в царском служении Своему народу! Так верится русскому сердцу, и от того-то столько бодрой радости в этих мужественных народных кликах… Все возможно Царю Русскому в единстве духа со Своей Землей!.. Как Ты богат, как мощен Ты любовью Твоего народа: эта любовь неодолима, эта любовь творит чудеса и ждет лишь от Тебя властительного мания!

Пусть же высоко взовьется наше русское знамя, — знамя Веры, святой свободы, правды и просвещения, знамя мира и племенного братства! Пусть низойдет на Тебя, Царь Русский, Царь православного Востока, под силой древних святынь Кремлевских, наитие и откровение духа русской народности и истории: тогда лишь вполне рассеется тьма, и расточатся враги Твои!

О РОССИИ

И любишь Россию — и невольно спрашиваешь себя, за что ее любишь

Не только редактору столичного журнала, но и всякому столичному общественному деятелю, а тем более деятелю официальному и власть имущему, посоветовали бы мы или, выражаясь проще (обыкновенной у нас русской формой речи) – указом бы повелели: по крайней мере, в два года раз проезжаться по России! Такая поездка освежительна и вразумительна во всех отношениях. Нет надобности обращать ее в следственную экспедицию или задаваться задачей «изучить Россию», что теперь даже в моде и постоянно на языке у борзой чиновной благонамеренности города Санкт-Петербурга, которая воображает, что, прокатившись по двум-трем провинциям, она, à la Цезарь, пришла, увидела, «изучила» и решила! Впрочем, пусть себе катаются наши официальные и неофициальные санкт-петербургские туристы: это все же лучше, чем долгое домоседство в родном «парадизе», как называл свою столицу великий Петр. Мы нисколько не намерены их осуждать за это, – мы говорим о поездках другого рода, с более скромной задачей, или, лучше сказать, – без всякой задачи. Нам посчастливилось именно совершить такого рода поездку. Мы обогнули водой и сушей значительный край России, но мы смиренно сознаемся, что мы не утолстили своего портфеля особенно обильным запасом «новых» материалов; мы не привезли никаких готовых проектов о разных «мероприятиях», «долженствующих» служить панацеей от всяческих русских

зол; мы не только не вынесли никакого резкого решения вопросам, не только не можем выставить перед публикой целого фронта вопросов-новобранцев, – но вынесли нечто другое: отвращение к большей части наших «вопросов», жалуемых в сей чин журнальной властью, и весьма невысокое понятие о могуществе и пользе российского журнального слова. Право, едва ли не лучше, без всяких особенных задач, просто отдаться непосредственным впечатлениям русской дороги, русской природы, имея взор раскрытым и слух разверстым – смотреть, глядеть, видеть, слышать. Само собой рассеется марево и улетучатся призраки, создаваемые столичной жизнью. Там, в столице, шум наших собственных речей кажется нам нередко отголоском всей России и заслоняет для нас колоссальное безмолвие неизмеримого русского простора; гулом гудят порой наши радостные столичные возгласы поверх вздохов и тихих жалоб народа; стоном стоят порой наши горькие жалобы, упреки и сетования – поверх его веселого и бодрого мира... Мы так деятельны, так заняты, так спешим, так суетимся и возимся, жизнь кипит и несется на полных парах, кажется, что и времени не хватает; один за другим решаются вопросы; у нас знание, у нас власть: слушай да поворачивайся себе, Россия! Но стоит только спуститься по Волге, по Дону и пустить взор свой на волю – бродить по этим безбрежным равнинам вод, лугов, нив и степей, и незаметно для вас раздвинутся горизонты ваших мыслей и дум, и сами собой вступят и лягут в вашу душу величавые размеры наших пространств и, так сказать, насильно, вопреки всем рассудочным доводам и предвзятым идеям, нередко к собственной досаде вашей, умиротворяет вас русская природа своим мощным миром, своей вещей тишиной... Спадает спесь столичного деятеля, угомоняется прогрессивная прыть, унимается общественно-преобразовательный зуд и проникаешься невольно смирением пред жизнью, уважением к правам ее органического развития. И любишь Русь, любишь ее – сирую, серую, неловкую, неуклюжую, безобразную, и невольно спрашиваешь себя – за что ее любишь, и исполняешься могучей веры, которой и оправдания не приищет рас-

судок! Опомнишься, остановишься, начнешь поверять себя, пристально озираться кругом, рассматривать каждое явление порознь, вглядываться в деятельность распоряжающихся и деятельность повинующихся, разбирать жизнь в ее частностях и подробностях... Боже! Как безобразно! И что за однообразие! Какая бедность, какое бессилие, какое невежество, какая пошлость – и глупости, глупости какое разливанное море! И в то же время сквозь это безобразие проступает пред вашим внутренним взором такая красота ни с чем не сравнимая, – такая величавая красота простоты смиренной и в то же время могучей! Сквозь это бессилие сказывается вам такая исполинская сила духа, такая мощь организма! В этом однообразии такая сила быта, за этой бедностью столько богатств природных и запасов их на целые веки, – сквозь тьму невежества светит порой такой свет духовный, – сквозь внешние слои пошлости, уступчивости и глупости, – столько разума, столько упорства, столько самобытности и духовной свободы, столько веры, умеющей претерпевать до конца, столько жизненной крепости, способной перемочь и перебыть всякие беды и напасти! И чувствуете вы, что эта развращенная, по общему отзыву, взятками и подкупами, растленная Русь – тем не менее родная, «Святая Русь», и что связаны вы с ней какими-то неисследимыми, забытыми, но в то же время самыми дорогими и заветными связями духа... Попробуйте низойти к жизни поближе – так сожмется иной раз ваше сердце! Скрипит, как немазаная телега, русский народный организм, поворачиваемый бюрократическим проворством, скрипит и дерет уши немилосердно; но подобно тому, как скрип дорожных колес в степи заглушает русская народная песнь, тихо облегая окрестность, стелясь и в ширь и в даль, и к небу высоко, – так и самый этот диссонанс русской видимой, внешней действительности мало-помалу пересиливает в вашем слухе победная песнь скрытых сил внутренней жизни духа. Да, эта водная равнина Волги, это синее безбрежное море, которым мы еще так недавно любовались на нашем Юге, это другое, также безбрежное зеленое море степей, и над всем этим безбрежный голубой простор

неба, всюду открытого взору русского человека, – это однообразие видов и картин русской природы, эта могучая сила однообразия, эта красота простоты и это величие размеров, когда все это примешь в душу, такими карликами явятся вам столичные деятели-великаны, такими смешными покажутся затеи и притязания наших реформаторов-прогрессистов, такими оскорбительными и дерзкими их посягательства на свободу народного организма!..

Мы ведь очень хорошо знаем, читатель, что все эти наши слова придутся не по вкусу нашим «позитивистам» (слово, недавно пущенное в ход петербургскою «прессою»). Ведь и в самом деле, оно в некотором роде даже неприлично журналисту – вместо положительных доводов опираться на непосредственные впечатления и говорить о таких вещах, как природа, да песня, да простор, да духовная красота!.. Это неуместно, это все поэзия, все верование, все пророчествование, скажут они! Могут ли такие вещи служить доказательством внутренней силы, служить залогом благопреуспеяния, благоразвития, благоустройства, благосостояния и споспешествовать благонамеренным видам и целям просвещенных ревнителей о русском благе?! Презренным взором окинул бы нас редактор какого-нибудь «Times'а», и обильный повод к глумлению подаем мы нашим собратам по журналистике, особенно санкт-петербургским... Но таково положение дел в России, что именно только силой этих непосредственных впечатлений и возможно поддерживать в себе бодрость деятельности: необходима вера в Россию, простая, беззатейная любовь к ней; в особенности же необходимо сочувствие духовной стороне ее народной жизни, разумение ее духовного и нравственного идеала, потому что без этого сочувствия, без этого духовного разумения нельзя настоящим образом ни любить, ни понимать Россию, ни наладить в лад с народными потребностями и народу во благо – свою высокоумную, просвещенную деятельность, – ни сохранить свои силы от надрыва, ни устоять в трудном подвиге служения... Но откуда же, однако, этот ряд противоречий? Ошибутся читатели, если подумают, что мы

возвратились из нашей поездки оптимистами и намереваемся отрапортовать им, что «все обстоит благополучно»! Мы могли бы отрапортовать им совершенно обратное и до такой степени обратное, что было бы из-за чего прийти в уныние или даже отчаяние, если б рядом с совершенно рухнувшей верой в наш прогресс, в силу и творчество нашей столичной цивилизации, не предлагала нам загадки сама русская жизнь, внушая такую могучую в себя веру и такую силу любви! И вера и любовь покуда, по-видимому, неоправданные, но потому только и неоправданные, что еще не отыскано нами слово этой загадки. В один час, путешествуя по России, как мы уже сказали, переживаете вы тысячу противоречивых впечатлений, вопиюще противоречивых: осязаете бессилие и несомненно убеждены в присутствии силы; хотели бы ненавидеть – и страстно любите; поражаетесь безобразием, а в душе слагается образ величавой красоты; отыскиваете по частям причины этого безобразия – и не находите объяснения, верите в будущность России – и не верите в свою деятельность.

Отчего так нелегко живется в России?

Нелегко живется теперь на Руси. Неможется ей, во всех смыслах и отношениях. Трудно ей; трудно особенно потому, что приходится ей иметь дело не с какой-либо внешней опасностью, внешним врагом, а с самой собой. Трудно потому, что и врачевание приходится искать, как убеждает в том недавний опыт, не во внешних учреждениях только, не в одной благонамеренности правительственной, а в чем-то ином, в разрешении многосложных, громадных вопросов духовного свойства.

Дело уже не в лекарствах, извне прилагаемых, а дело в возбуждении самодеятельности внутренней воли, в жизненном проявлении нравственных сил, несомненно присущих нашему общественному организму, но где-то давно и глубоко зарытых, чем-то тяжелым придавленных, чем-то скованных,

бездействующих, оцепенелых. Нам нечего уже теперь обольщаться быстротой нашего развития; нечего сваливать вину на правительство или ожидать от него таких новых реформ, которые мигом бы поставили нас на ноги и возвратили нам здоровье. Самое главное – освобождение крепостных крестьян и свобода (хотя бы даже не полная) печатного слова, – самое необходимое мы уже имеем; дальнейшее развитие предлежит уже самому обществу. Все, что зависит от внешней государственной власти, ею уже дано или будет дано. Но это еще не даст нам здоровья, потому что государственная власть не может же стоять выше общественного нравственного уровня и сама нуждается в притоке для себя извнутри – новой здоровой жизненной силы. Дело за нами.

Стоя теперь на краю пройденного нами четырехлетнего журнального поприща и озираясь назад, мы невольно вспоминаем то недавнее время, когда, при начале нашей редакторской деятельности, многое такое казалось мечтой, чем-то вроде несбыточных pia desideria[1], что потом осуществилось велением власти очень скоро и просто, но не принесло (и не могло принести) особенного облегчения в общем ходе русской жизни. Еще в 1861 году появлялся в Москве один таинственный господин, который хотел производить агитацию для составления громадного адреса, ходатайствующего о бюджете, суде присяжных, уничтожении цензуры, земском самоуправлении и т. д.: чуть ли не в каждой из этих мер наши глубокомысленные либералы видели панацею от всех зол, удручающих наше Отечество... Явились, и без всякого адреса, и бюджет, и новые законы о присяжных, земском самоуправлении, печати. Но панацеи и в них не оказалось; не в них, видно, сила, и сами они для своего успешного развития требуют чего-то, чего еще нет.

Чего же именно? Ужели опять какого-нибудь внешнего преобразования, по благоволению государственной власти? По этому пути, пути внешних учреждений и мероприятий, двинулись мы далеко. Пора бы, кажется, понять, что это не более как средства к жизни, ее внешние формы, а не сама

жизнь; что в том-то и состоит уродство нашего развития, что прежде содержания являются у нас формы, в которые и втискивается потом содержание искусственно и насильственно, а не содержание само, свободно и органически, создает себе форму. Итак, казалось бы, по этой дороге и идти дальше некуда. Но близоруким политикам нашего общества хочется забрести совсем в «тупик» (как называются улицы, из которых нет выезда) и ткнуться лбом, в деле нашего государственного строя – грубый факт положительной, упорной воли народных масс и их исторического инстинкта еще до сих пор для нас загадочного, не выясненного нашему общественному сознанию. Может быть, таков именно и есть путь нашего развития. Может быть, только истощивши весь свой кошель дешевых готовых образцов, «наивернейших средств», «самоновейших лучших руководств» и тому подобных указаний политической науки и опыта чужих, западноевропейских народов, – может быть только перепробовавши на практике все эти внешние пособия, одно за другим, общество наше убедится, наконец, что средства к жизни еще не творят жизни, что внешняя искусственная обстановка государственного строя еще не в силах, сама по себе, вдохнуть в жизнь ту органическую силу творчества, которой именно ей недостает и недостаток которой сказывается в нас таким тяжелым томительным недугом. Когда утратилось непосредственное чутье своего прямого прирожденного пути, когда мы сбились с дороги, вся задача в том, чтоб отыскать эту дорогу, а не в том, чтобы обзавестись конями и экипажем, да в прибавок еще казенным. Может, обставится общество всевозможными либеральными государственными учреждениями, по наилучшему немецкому или английскому образцу, может, с разрешения правительства, нарядится во всевозможные мундиры, англо-аристократического или даже мужицко-демократического покроя; но все они будут сидеть на нем мешком, все же это только мундиры, а не своя, прирожденная историческая одежда, – и опять не по себе будет в них Руси.

Не знаем, в какой степени неминуемы все эти эксперименты и может ли общество предупредить их чрез отвлеченное выяснение себе своего пути, своего социального и политического идеала. Во всяком случае, такая работа необходима. Кажется, экспериментов было не мало; мы не бедны опытом, купили его дорогою ценою, да и пора уже было бы надоесть бродить ощупью и плутать в потемках. Едва ли мы не подошли к самому краю, за который перешагнуть было бы слишком опасно, хотя бы уже потому, что мы слишком бы усложнили свое развитие и слишком бы далеко оторвались от народных исторических основ и преданий. Теперь именно наступило такое время, когда все нужнейшие внешние реформы совершены, необходимые средства – хлеб насущный, некоторая свобода слова – даны; можно было бы, успокоясь покуда на них, оглядеться назад, вникнуть глубже в свойства нашего внутреннего недуга, не уступающего покуда никакому врачеванию, и вместо того, чтоб растрачивать наши силы вовне, обратить их внутрь себя, на работу самопознания и на подвиг нравственного возрождения.

Впрочем, может быть, многие из наших читателей не понимают ясно, о каком это недуге мы говорим. Особенного недуга они не ощущают, кроме того, что финансы плохи, что звонкой монеты нет, что вся Россия страждет безденежьем, торговля в застое, крестьянское благосостояние упало и т. д., и т. д. Они полагают даже, что все это произошло от более или менее неискусного управления, что от администрации же зависит вывести Россию из этакого затруднительного положения. Они не замечают, устремив свои взоры на внешние правительственные распоряжения, что начала, которыми руководится правительство, выработаны и навязаны ему самим обществом, что даже успех внешних правительственных распоряжений состоит в непосредственной связи со всем нашим внутренним духовным строем; что, наконец, правительство вербует своих деятелей из того же критикующего его общества и что наше правительство и наша оппозиция в сущности одно и то же, поочередно меняются ролями,

стоят на одинаковом уровне понимания и вертятся вместе в одном общем безвыходном круге. Поясним, впрочем, нашу мысль для этих наших читателей несколькими наглядными примерами, избегая всякой отвлеченности. Самое состояние наших финансов, независимо от степени финансовых дарований в правителях, не происходит ли, большей частью, от деспотизма теории над жизнью, от подобострастия к отвлеченным положениям западноевропейской экономической науки, которые так громко провозглашались нашей же интеллигенцией, от совершенного незнания России, которым отличается само же наше русское образованное общество, наконец, от массы непроизводительных трудов во всех его классах. Не может же остаться без внимания на общественное материальное благосостояние это переселение русских капиталов за границу в лице сотни-другой тысяч русских, наиобразованнейших и состоятельнейших людей, – причем поземельные владения их остаются без надлежащего призору и управления? Что же гонит их из России, отчего так слаба связь между ними и русской землей при несомненном, однако, их государственном, внешнем патриотизме? Это уже вопрос более внутренний. Не может также не отзываться на наших финансах и страшное усиление пьянства в простом народе, вместе с ослаблением нравственных побуждений и физических сил к производительному труду?

Как бы ни было виновато акцизное ведомство, руководившееся, впрочем, в своих действиях самыми новейшими модными теориями, рекомендованными нашей же журналистикой, и пригласившее к себе на службу цвет «либеральствующей» молодежи, – нельзя не видеть в этом явлении народного пьянства страшную распущенность нравственную, не выдерживающую искушений, которыми обставлена всякая свобода, нельзя не искать причин в народных нравах, а при вопросе о народных нравах сами собой возникают вопросы о народном образовании, о церкви, о духовенстве. Для всех же этих вопросов мы всего менее можем ожидать разрешения от правительства, от каких-либо его созидательных внешних

мер, от казенного преобразования училищ или от поступления священников на казенное жалованье. Не полицейской же фонарной команде возжигать тот священный огонь, без которого существование духовенства не имеет смысла или обращается во вред самому обществу...

Россия преобразуется, Россия развивается; она в скором времени будет, по внешности, по каталогу заведений и учреждений, более похожа на Западную Европу, чем любая страна, plus europeenne que l'Europe[2]. И в самом деле, можно было бы обольщаться успехом реформ, если бы не обличало нас одновременное с ними наше банкротство во всех отношениях: несмотря на все усилия и пособия западной науки и опыта, – богатая Русь бедна и беднеет; обладающая несметными сокровищами серебра и золота, как ни одна страна в мире, она не имеет у себя серебра и золота ни на одну копейку; гордящаяся умом и смышленостью своего народа, порождает, большей частью, в лице своих высших общественных представителей поразительную неспособность, нравственную дряблость и духовную непроизводительность; полная преданий и задатков самостоятельного политического развития, она жмется, как в тисках, в формах ей чуждых, прививает и развивает у себя чужие произрастания, запуская свою собственную духовную ниву. «Святая» Русь безнравственна, не творит ни добродетели, ни доблести, в высшем смысле этого слова, – православная Русь теряет своих чад и перестает быть, в сознании общества и государства, единственным живым, духовно-органическим началом всего исторического бытия русской державы. Мы получили, кстати, на днях верное известие о том, что татары, известные под названием новокрещенных, в Казанской, Пермской, Вятской губерниях и пр. толпами отпадают от православия в магометанство, что мордва, чуваши и прочие инородцы также во множестве увеличивают собой ряды раскола и т. д. Кто может противопоставить преграду такому движению? Конечно, не полиция, к которой любят, к несчастию, обращаться наши духовные власти; не казна со своими казенными способами убеждения.

Это дело принадлежит духовенству, но при одной мысли о нем не исполняемся ли мы, говоря по совести, самой скорбной безнадежности? Можем ли мы с упованием обращать к нему взоры? И здорова ли та страна, где большинство пастырей обратилось в наемников или чиновников? Не подтачивает ли ее такой недуг в самом корне? Посмотрите на Западный край, на Польшу, в которой успех православной пропаганды легко порешил бы все те тяжелые, мучительные вопросы, которые представляются каждому, знакомому с этими краями. Латинская Польша не может не быть нам враждебна, но православная может нам быть родной, даже и оставаясь верной польской народности. И что же мы делаем? Мы стараемся создать у себя не поляков православных, а русских католиков, мы не вздумали до сих пор перевести на польский и жмудский языки нашу литургию, а заставляем переводить католическую литургию на русский язык! И опять: разве правительство в этом виновато? Разве не само русское общество внушало ему эти советы в своей патриотической мудрости? Не правительству же браться за пропаганду. Пропаганда должна быть делом общественным, делом искреннего, свободного убеждения, согрета святой ревностью к истине, а не правительственными наградами и поощрениями. Напротив: всякое вмешательство казны в это дело, всякое низведение интересов веры на степень интересов государственных, всякое обращение святыни в орудие казенных видов и соображений не только мертво и бесплодно, но даже положительно вредно. Так, мы никогда не придавали особенного значения казенной постройке церквей в Западном крае, с казенного подряда, чиновниками, от казны командируемыми, и всегда думали и думаем, что живое слово верующего проповедника хотя бы и в храме с соломенной крышей, что благочестивая святость служителя алтаря хотя бы и в крашенинной ризе, более может, чем обращение православной пропаганды в круг занятий министерства внутренних дел, чем все эти миллионы, от казны ассигнуемые на сооружение храмов, или же сотни тысяч, пожертвованные на сей предмет купцами с получением,

за усердие, медали и ордена. Но что же делать правительству, когда нужда настоятельная, а наше общество бездействует, а духовенство безмолвствует, само зовет себе на помощь силу правительственную?

И где общество? И какие у общества православной России церковные, политические, социальные русские идеалы? Наше старое общество разлагается, а нового мы еще не видим. Потому что к старому обществу должны мы отнести и все наше молодое поколение, в котором нет ничего, кроме более искренней и энергической силы отрицания.

Половина общества так воспользовалась предоставленной ему от правительства свободой, что живет за границей и воспитывает там своих детей; наши будущие русские деятели готовятся не только вдали от России, но в атмосфере ей чуждой и враждебной, под воздействием иных просветительных начал, с детства усваивают себе точку зрения, с которой менее всего понятна Россия. Те же, которые воспитываются дома, в России, в общественных заведениях, относятся отрицательно ко всему, что дорого и свято русскому народу: кроме чиновников и нигилистов, ничего не создает наше общественное воспитание.

Итак, есть внешние средства к жизни, но нет духа жизни; есть дела много, но нет делателей; есть материал, но одушевить его некому. Куда идти, к чему идти, какая ее задача – вот над чем приходится теперь задумываться России. Благодаря своей материальной тяжести, благодаря тому упору, который находит она в своем простом народе, еще выдерживает она равновесие и противится деспотическим прихотям своих образованных классов. Но надежен ли этот упор? Не может же, безнаказанно для себя, пребывать народ тысячу лет неподвижно, на одной степени развития. Время и ему двинуться – но куда, куда? Неужели же вслед за нами?! По нашим стопам?! Страх берет при одной мысли об этом. Куда же это его мы заведем? Хороши мы для него образцы!

При таком положении дел всего опаснее самообольщение, всего вреднее дешевый внешний политический интерес,

отвлекающий общество от вопросов внутренних. В этом отношении последние два–три года имели то дурное влияние на так называемое образованное общество, что дали его пустоте какое-то содержание, в сущности совершенно призрачное. Благодаря нашей патриотической и поющей гимны русскому дворянству публицистике, общество действительно поверило, что оно политически зрело, – и упоенное взаимным каждением своих корифеев, само не видит, как оно нравственно пусто, как нет у него никакой почвы, и болтается оно ногами по воздуху. Открылась возможность слыть и самому воображать себя русским, не будучи русским, или будучи им лишь только по имени и по крови; воображать себя патриотом, не расходуясь на это никаким новым трудом мысли и продолжая воспитывать детей своих в Дрездене или Женеве; толковать о государственном единстве и цельности России, посягая на духовную цельность русской народности, на русскую общину и мир, и, наконец, признавать себя расквитавшимся со всеми своими обязанностями как русского гражданина, пристроив себя под аристократическое знамя какой-нибудь иноземной политической теории. Все это вредно уже потому, что упраздняет серьезный труд самопознания, ставит на ходули, обольщает лживой надеждой на легкое исцеление, которого эти общественные деятели, какие бы ни придумывали средства, не дадут и дать не могут: зло не в отсутствии средств, а в нас самих, в нравственных типических условиях нашей среды.

Таково положение дел в России. Но унывать нечего. По организму и болезнь. Крупна болезнь, но зато как крупен, как мощен организм! Надо только уразуметь сокровища духа в русской земле и позвать их наружу; надо только сознать, что дело не во внешних лекарствах или исправлениях, а во внутреннем нравственном исцелении, что один путь отрицания лжи не приводит к живительному усвоению истины; что настало, наконец, время для положительного, а не отрицательного отношения если не к самой русской действительности, то к ее основным духовным элементам, что горше

всяких бед для нас отречение от них и отступничество. В поисках за всевозможными мелочными практическими улучшениями, в попытках разрешения бесчисленных, как песок морской, частных дробных «вопросов», при преобладающем значении внешних политических интересов и новейших теорий о государственном патриотизме и государственной народности сильно понизился духовный уровень нашего общества, хотя, по-видимому, и «созревшего политически»; измельчала мысль, поблекли интересы чисто отвлеченные, научные – спутались, под действием влиятельной журналистики, все понятия о народности; развилось пренебрежение к напряженному труду мысли, чуждому текущего политического интереса.

От этих-то текущих, внешних политических интересов, бледнеющих пред интересом нашего внутреннего общественного духовного строя; от этих мелочных вопросов, частное разрешение которых оказалось или непременно окажется бесплодным или даже невозможным вне разрешения того общего крупного вопроса, к которому они все сводятся, – мы и хотим теперь оторваться. Простимся, читатель. Нынешним номером мы заканчиваем наше издание. Двести восемь раз выступали мы на журнальную арену перед лицом русского общества; двести восемь раз обращали мы речь к нему по всем вопросам, сколько-нибудь важным. Четыре года подвергали мы себя, свои мнения и убеждения его свободной и бесцеремонной критике – и в чем другом, но в одном не можешь ты обвинить нас, читатель, чтобы мы изменили нашему общественному гражданскому знамени и его нравственному характеру. Заступничеством за права русского народа и народности так, как мы их понимаем, мы и начали и окончили свой тягостный четырехлетний редакторский труд. Полезна ли, благотворна ли была наша деятельность, об этом пусть судят другие, – временный успех никогда и не был нашей задачею. Из всего смысла настоящей нашей статьи можно видеть, что мы считаем благовременным теперь иное, не газетное делание. Довольно. Довлеет дневи злоба

его; другому дневи и злоба иная. Мы свертываем теперь наше скромное знамя, но с тем, чтобы развернуть его снова с обновленными силами, с освеженной на досуге мыслью. Благодарим всех, кто поддерживал нас своим сочувствием, и не сомневаемся, что и те, которые теперь считают себя нашими политическими врагами, рано или поздно станут с нами под общее знамя.

Прощай, читатель, и да спасет тебя русская правда от всякой иноземной лжи, которой долго еще не перестанут наши аристократы и демократы, доктринеры-чиновники и нигилисты и все это старое общество мутить поверхность нашего могучего, величавого глубокого народного моря.

ПОЛЬСКИЙ ВОПРОС И РУССКОЕ ДЕЛО В ЗАПАДНОМ КРАЕ

Наши нравственные отношения с Польшей

Как бы ни рассуждали политики и государственные люди, историки и публицисты, но теория государственного эгоизма, доктрина практической необходимости и все это учение о какой-то особенной политической нравственности с каждым днем и с каждым часом сильнее и ярче обличаются историей во всей своей жизненной несостоятельности. Красноречивый язык событий дает ответы нежданные и негаданные, мечтательное становится действительным, практически-необходимое оказывается противным требованиям высшей духовной необходимости, гордое благоразумие низводится на степень близорукого и ложного расчета. Действительная сила, действительное значение принадлежат в истории только нравственным истинам, вечным началам, любви и справедливости. Не всегда признаваемые и замечаемые мыслителями, они тем не менее являются двигателями общественной жизни народов, направляют их исторический путь в ту или другую сторону, обуславливают их развитие не только внутреннее, но и внешнее. Начало нравственное живет и движется своим внутренним логическими процессом, и исторические «наказания» или «счастливые случайности», злые или добрые последствия, в сущности, ничто иное, как логические нравственные выводы из нравственного же положения, воплощенного историческим фактом. Всякое уклонение от нравственных истин проявляется

ложью далее во внешнем устройстве, подрывает материальное преуспевание, подтачивает жизнь исторических обществ.

Нельзя сказать, чтобы историческая наука обходила молчанием нравственную сторону истории и не вводила нравственного элемента в постижение исторических явлений; но такое участие нравственных истин в истории, такое значение нравственных начал, как деятелей в общественной жизни народов, едва ли когда рассматривалось во всей полноте и связи, во всей своей логической и внутренней последовательности, проявляемой внешними событиями. По крайней мере, история славянских племен еще ни разу, сколько нам кажется, не подвергалась такого рода нравственному анализу, а между тем, если мы не ошибаемся, только с предложенной нами точки зрения можно понять и объяснить многие странные и непонятные явления в жизни славянских народов.

Чем более нравственных требований носит в себе народ, чем выше его собственный нравственный идеал и его нравственная задача на земле, тем мучительнее разлад, вносимый в его жизнь уклонением от нравственных истин, тем сильнее страдает он от всякого внутреннего противоречия. Раздвоение духа нарушает ту нравственную цельность, которая необходима для цельности действования и ослабляет его внешние силы. Объясним это примером. Человек честный, решившийся на поступок, несогласный с прирожденными ему понятиями чести, никогда не совершит этого поступка с той ловкостью, с той беззаветной легкостью и, так сказать, с той гармонией злой воли и злого дела, с какой совершит его человек менее честный, или, по крайней мере, с совестью не столь чуткою. Чтобы действовать решительно и твердо, человеку честному необходимо сознание своей правоты, полное согласие воли с его собственными нравственными требованиями. Если такого согласия нет и быть не может, то ему остается или отказаться от дела, как несовместимого с началами истины, или же заглушить совесть и изменять честному преданию своей собственной жизни. Последнее едва ли возможно, и нравственное насилие, учиненное им над самим собою, большей частью об-

наруживается внешним неуспехом и внутренним диссонансом, разъедающим душевные силы. Тем не менее этот неуспех похвальнее успеха, эта неудача, это чувство разлада, эта возможность подобного, – никуда не годного, в практическом смысле, сомнения, составляет, по вашему мнению, уже нравственную заслугу такого человека и указывает на более высокую степень его нравственного призвания.

То же явление находим мы и в жизни народов. Если мы обратимся к России, то найдем, что история нашей внешней политики хотя и представляет немало темных пятен и темных дел, однако же несравненно чище истории внешней политики в других странах Западного мира. Наша политика могла быть и бывала неловкой, недальновидной, наконец, и порочной и положительно-вредной Русским интересам (например, в самом конце XVIII века), но она все же прямодушнее и честнее политики Англии или Австрии. И этим характером обязана Русская политика не личным свойствам государственных людей, а тому обстоятельству, что, несмотря на разрыв образованного общества с народом, она все же и как бы против воли не могла оставаться совершенно чуждой народному характеру и внутренним нравственным требованиям, лежащим в основе нашего исторического развития. Только западные публицисты воображают себе нашу политику хитрой и коварной: в России не найдется никого, кто бы серьезно приписал ей такое качество. Напротив, мы не умеем хитрить и путем хитрости достигать наших целей; мы плохие мастера в том темном искусстве дипломатии, — и в этом, собственно, мы видим наше нравственное преимущество.

Да, наше преимущество заключается именно в том, что всякое уклонение нашей политики от начал нравственных нам удается плохо и возбуждает сильный протест нашей собственной, общественной исторической совести. То, что не тревожит совести других народов и не нарушает цельности их жизненной деятельности, то, благодаря Богу, нам дается не так легко: оно или само венчается у нас неуспехом (или успехом весьма кратковременным), или же вносит смущение, порождает странные

явления и противодействия в нашей внутренней общественной жизни. Отношения англичан к Индии и индийцам, угнетение ими греческой народности на Ионических островах, возмутительно наглые их поступки в Пирее[1], сожжение греческого флота — никогда не приводили в негодование общественного мнения в Англии и возбуждали только слабые протесты со стороны немногих отдельных лиц. В Пруссии едва ли вы найдете хоть одного Пруссака, которого совесть сколько бы нибудь смущалась отношениями Пруссии с Познанью, в которой германизация, по свидетельству самих поляков, с искусством необыкновенным, не Русским (такое неискусство приносит нам честь), почти пересилила польскую национальность.

Если бы мы в состояния были вообразить себе на месте Англии и Пруссии Россию, то можно было бы, наверное, сказать, что, во-1-х, мы бы не сумели никогда так ловко и выгодно повести дело в материальном отношении: у нас никогда бы недостало той энергии зла, той гармонии злой воли и дела, которые так необходимы для успеха в деле ненравственном. Если б способность такой энергии и проявилась в отдельных личностях, то она никогда бы не обратилась у вас в постоянную систему и все наше образованное общество, насколько оно бессознательно остается верным народным Русским началам и бессознательно действует под напором исторической народной идеи, прониклось бы единодушно чувством негодования, отрицания, самообличения и самого безоглядного сострадания к угнетенным. Мы говорим: «началам Русским», и, предупреждая возражение, просим указать нам хоть один пример в истории западных народов, где бы подобное нравственное требование и сострадание проявлялось с такой силой, так бескорыстно и даже к явному материальному ущербу своим внешним государственным интересам. Как всегда водится, это чувство сострадания нередко переходит и в крайность — там, где мысль живет вне исторического дела, сама себя сознает и ведает отвлеченной, досужей и, так сказать, безответственной пред жизнью; сочувствие к чужому страданию может простираться там иногда и до непростительного забвения о своих

кровных страдальцах, но мы указываем здесь только на главные черты наших общественных нравственных побуждений. Итак, Россия не могла бы никогда отнестись к неправде с тем искусством и с тем спокойствием общественной совести, с каким относятся Англия к Ионическому и ваша соседка Пруссия к Познанскому вопросу, — и, повторяем, это составляет наше великое нравственное достоинство.

Мы говорили условно, воображая себе Россию на месте Англии и Пруссии, но то же самое находим мы и в действительных отношениях наших к Польше и полякам. В силу той нравственной основы, о которой сказано нами выше, в этом деле нам, прежде всего, необходимо стоять на почве полнейшей нравственной законности. Это необходимо не только само по себе, как нравственное требование, но и как основание прочной силы и материального успеха. В отношении к древним Русским областям, населенным нашими кровными, единоверными братьями, малорусами, чернорусами, белорусами, Россия опирается на несомненное из всех прав, — нравственное право, или, вернее сказать, на нравственные обязанности братства. Тут мы стоим за народ, с народом и во имя народа, за правду воли народной, за его свободу и независимость, за угнетенных против угнетателей. Вопрос ясен для разрешения, и мы крепки сознанием своей правоты и одобрением нашей общественной совести. В одном из №№ нашей газеты мы назвали Польские притязания на Киев, Смоленск и пр. безумными. Мы удерживаем это название, потому что другого они и не заслуживают. Они не только вполне безумны, но и безнравственны в высшем смысле слова, потому что основываются на начале насилия и направлены против свободы народной.

Те же самые нравственные основы, права и обязанности существуют, разумеется, и для грека по отношению к Ионическим островам, и для поляка по отношению к тем польским областям, где народ или польского происхождения, или говорит по-польски, исповедует католическую религию и вообще не отделяет себя и своей исторической судьбы от своих польских братий. Осуждая со всей резкостью правды притязания поля-

ков на Смоленск и Киев, мы бы погрешили против логического смысла, если бы стали осуждать законность их патриотизма в отношении к Познани, Кракову и Варшаве, если австриец и пруссак не наделены совестью довольно чуткой, чтоб с нравственной точки зрения вполне верно оценить, в каком отношении к ним находится Польская народность, то мы можем похвалиться особенной милостию Божией в том смысле, что нам дано чувствовать всякое уклонение от нравственного закона, чувствовать всякую малейшую неправду, и следовательно, ту ее долю, какую исторический жребий мог присудить нам в отношении к Польше.

В самом деле, немецкие газеты исполнены самых резких выходок против России за слабость ее действий относительно Польши. Они требуют от нас той неразборчивой энергии, которую, без сомнения, проявил бы немец, если бы находился на нашем месте. К энергии зла Россия неспособна, но этого еще мало: если бы мы и вздумали ее проявить, она, к счастью, никогда не принесла бы нам тех вкусных плодов, какие приносит другим: вкушать их не даст нам наша собственная общественная совесть. Немало у нас силы материальной: пред могуществом, опирающимся на 60 миллионов народонаселения, бессилен 5-миллионный народ; но такова важность нравственного начала справедливости для такого нравственного народа, каков Русский, что для этой материальной силы, при всем ее могуществе, необходимо сознание своей безусловной нравственной правоты.

Нет сомнения, что падение Польши было подготовлено внутренним разложением польского общества, ложью шляхетства и католицизма, изменой ее славянским началам, гордыней и нетерпимостью польской национальности, ненавистью, возбужденной ею в прочих братских народах. Существование Польши в ее прежнем виде и устройстве на основании начал, выразивших себя в ее истории, было, по всем историческим вероятностям, уже долее невозможно; задорное, беспокойное соседство препятствовало свободному развитию России, и историческая Немезида отомстила Польше все неправды ее,

совершенные над Русским народом в начале XVII века. Все это, положим, и справедливо; но события, сопровождавшие конец Польши, помешавшие ее политическому бытию умереть свободной смертью, обновили новой жизнью польскую национальность и сообщили ей ту нравственную силу, которую она проявляет и до сих пор. По новейшим историческим исследованиям, оказывается несомненным, что весь план, на основании которого совершился раздел Польши, принадлежит изобретательности Фридриха II, так называемого Великого, который умел в то же время так искусно повести дело, что осуждение легло всей своей тяжестью на Россию, менее всех неправую в этом деле. Известно всем, что Россия при разделе Польши возвратила себе только древние Русские области и взяла Литву и что так называемое Царство Польское досталось нам уже по решению Венского конгресса. Конечно, Россия могла бы совершить это возвращение иным, более прямым способом: по требованию ли угнетенного народа в тех Русских областях, или открытой войной, но все это еще не составляет большой важности при несомненном ее праве на эти земли. По присоединении Царства Польского Россия даровала ему конституцию, и сама польская народность обязана своею жизнью, между прочим, тому нашему неуменью, которое, как мы сказали, составляет нашу нравственную заслугу в истории. Если в чем можно отыскивать нашу вину, то разве в том потворстве властолюбивым притязаниям наших соседей и в согласии на подчинение свободного славянского племени иноземному владычеству. Вообще говоря, Россия менее всего неправа в разделе и уничтожении Польши, но, как страна нравственная, тяжелее всех чувствует то, что было неправого в этом деле.

Отсюда ясно, что для спокойствия нашей народной совести нам необходимо дать простор и силу нравственному принципу и добиться правды в отношениях наших к полякам. Мы, конечно, не берем на себя смелости предлагать разрешение польского вопроса: он связан с вопросом о государственной территории, с требованиями европейской политики и с разными другими соображениями, большей частью даже и

недоступными частному человеку, но мы рассматриваем дело со стороны нравственной и, высказавши однажды в газете своей взгляд на польские притязания относительно Белоруссии и Малороссии, считаем себя в обязанности высказать наше мнение с большей полнотой. Многие, может быть, упрекнут нас в идеализации: пусть решат это сами читатели.

По нашему личному убеждению, нам следует, как мы уже сказали, добиться правды в отношениях наших к полякам, а для этого: добиться от них толком, чего собственно им нужно и чего они хотят.

Нам кажется, что, между прочим, откровенная, вполне откровенная литературная полемика всего сильнее, мало того, всего чище могла бы способствовать к разъяснению дела и к вразумлению нашей собственной недоумевающей совести. Мирное братское обсуждение междуплеменных, взаимных прав и отношений; ясное сознание, добытое таким путем, просвещенное беспристрастным уважением к истине и согретое взаимною любовью и снисходительностью: какой бы другой исход мог быть нравственно-сообразнее, какое последствие желательнее, какой путь святее? Но вероятно ли это и возможно ли? К несчастию, всевековой опыт уверяет нас, что желания страстные, но не основательные редко уступают простому убеждению. Человек бессильный, но полный смелого жара, не склоняется, обыкновенно, ни пред какими самыми очевидными доводами; он ищет дознать опытом свою способность к действию, и действительно только опытом, вещественно, обличается в несправедливости своих порывов и узнает свое настоящее место и призвание.

Позволим же себе мечтательное предположение. Предположим, что мы вышли бы из настоящей Польши и стали на наших Русских границах. Твердо охраняя последние, мы бы тогда пребыли терпеливыми и бесстрастными свидетелями ее внутренней борьбы и работы. Без сомнения, это было бы не только вполне нравственно чисто, но даже великодушно. Продолжая наше предположение, спросим: в силах ли были бы Поляки создать что-либо стройное и прочное, и не вредно ли

было бы нам их соседство? Как ни трудно ответить на этот вопрос, но рассмотрим, однако, его поближе.

Если действительно к полякам могут быть применены слова Наполеона о Бурбонах: они ничего не забыли и ничему не выучились, то можно наверное сказать: существование их было бы недолговечно. Ультрамонтанский[2] католический фанатизм, шляхетский аристократизм и исключительная гордая национальность, проявляемые ими и теперь в Галиции и Холмском округе, если и могут давать силу в отпоре, не могут однако, сами по себе служить началом созидающим в наше время, когда ложь, лежащая в этом начале, уже открыта сознанию всего человечества. Если бы поляки, увлеченные политическими мечтами, перешли свои пределы и вторглись, например, к нам, то не только бы встретили несокрушимый отпор народный, подали бы нам полное нравственное право наказать их беззаконие и уничтожить причину неправедных кровопролитий. Если же поляки в состоянии переродиться, покаяться в своих исторических заблуждениях и стать славянским мирным народом, то, конечно, Русский народ был бы рад видеть в них добрых родственных соседей. Впрочем, мы думаем, что, во всяком случае, Польша сама бы тогда через несколько лет стала искать — на этот раз уже добровольного и искреннего — воссоединения с Россией. Язва на нашем теле, так долго и мучительно болевшая, исцелилась бы тогда, наконец, совершенно; в нашей общественной совести более не оставалось бы недоразумения, и нравственное начало вполне бы торжествовало.

Неужели нельзя достигнуть этого результата путем мирным и рассудительным? Неужели поляки, забыв правило respice finem (взирай на конец), захотели бы подвергнуть себя и свою страну предварительным тяжелым испытаниям, бедственным историческим урокам? Неужели их может вразумить только событие, и никакие другие доводы разума им недоступны? Мы убеждены, что рано или поздно последует теснейшее и полнейшее, искреннее соединение славянской Польши со славянской же Россией, что к тому ведет непреложный ход истории, но не лучше ли, ввиду такого неизбежного исторического решения,

предупредить все, что грозит нам бедой, враждой и раздором, и добровольно, сознательно, покаясь взаимно в исторических грехах своих, соединиться вместе братским тесным союзом против общих врагов — наших и всего славянства?

Мы старались выразить нашу мысль по возможности ясно, и надеемся, что она не подаст повода к тяжелым недоразумениям. Мы ничем лучше не можем заключить нашу статью, как стихами Хомякова, написанными в 1831 году, во время Польской войны, когда все прочие Русские поэты были одушевлены чувствами, более или менее противоположными тем, какие высказаны Хомяковым.

Да будут прокляты сраженья,
Одноплеменников раздор,
И перешедшей в поколенья
Вражды бессмысленной позор!
Да будут прокляты преданья,
Веков исчезнувших обман,
И повесть мщенья и страданья,
Вина неисцелимых ран!
И взор поэта вдохновенный
Уж видит новый век чудес...
Он видит: гордо над вселенной,
До свода синего небес,
Орлы Славянские взлетают
Широким дерзостным крылом...
Их тверд союз, горят Перуны,
Закон их властен над землей,
И будущих баянов струны
Поют согласье и покой!

Ответ на письмо, подписанное «Белорусс»

Кто же это вы? Если бы письмо не было подписано «Белорусс», мы бы подумали, что оно писано поляком. Тогда мы бы сказали поляку, что он пришелец в этой Русской земле,

что мы обращаемся не к нему, а к истинному хозяину земли, к народу, а поляку посоветовали бы не распоряжаться в чужом дому, уважать и слушаться хозяина, или же оставить его в покое и возвратиться в Польшу. К Белорусу мы имеем полное право обратиться с братским призывом и, принося полное чистосердечное покаяние во всех наших неправдах перед ним, в нашем забвении его прав, его человеческого достоинства и нашей братской связи, протянуть ему братскую руку помощи против всяких врагов и утеснителей его духовной и гражданской свободы.

Под письмом подпись Белорусса, но образ мыслей не Русский, и даже не Славянский, и сильно отзывается шляхетско-польским миросозерцанием. Рассмотрим самое письмо поподробнее.

Вы говорите о храмах, воздвигнутых польским владычеством, храмах католических, где народ находил себе питание и воспитание, т. е. образование. Это справедливо, но какое это было образование? Образование совершенно противное духу народного вероисповедания, т. е. православия, образование, соблазнявшее людей в ложь католицизма, в узкость патриотизма, в гордость и надменность шляхетства. Такое образование, враждебное Русской народности, прорыло глубокую бездну между православным белорусом и ополяченным белорусским шляхтичем. Как ни тяжел гнет материальный, но все же он легче и менее опасен, чем гнет духовный, а таков именно был гнет польско-католический. Вы говорите о свободе вероисповеданий... В какое время? Бывшая когда-то свобода давно заслонилась в памяти народной эпохой кровавых казней и мучительных преследований. Не о том ли времени вы говорите, когда церкви отдавались на аренду жидам, и за свободу своей веры восстали и гибли мучениками на варшавских площадях малороссийские казаки? Я упомянул о Малороссии потому, что вы сами упомянули о Киеве; что же касается до Белоруссии собственно, то прочтите 1 и 2 тома «Литовской церковной унии» Кояловича и вы перестанете хвалиться польской веротерпимостью. А проект ксендза-иезуита, напечатанный в 17 № нашей газеты?..

Народ, простой народ, который обыкновенно называют рабом нужды и который действительно угнетен вечной заботой о куске насущного хлеба, народ тем не менее свято хранит залог, завещанный ему отцами, залог лучшей стороны своего бытия, залог веры и нравственной истины. Грубый, невежественный, погрязший, по-видимому, в материальных интересах, он всегда жертвовал всем за интерес духовный, за невещественный интерес своей народности; он всегда был тверже и крепче и вернее своих благородных представителей, образованных дворян и шляхтичей; он сберегал и сберегает для будущих поколений возможность духовного и гражданского возрождения. Он не равнодушен к вопросу веры, как белорусские образованные «патриоты», а тот, кто не сливается с народом в этом чувстве, тот никогда не поймет требований народных, тот не в праве говорить от имени народа и причислять себя к нему, тот не увлечет за собой народной силы!..

Вы намекаете на помощь из теплейшей страны. Этот намек нам не понятен. Что это – Рим, Италия? Неужели вы еще в состоянии увлекаться такими бесплодными мечтами? Такое легкомыслие составляет одно из печальных свойств польского характера и совершенно несвойственно белорусу, а потому и позволительно спросить: точно ли вы белорус, не просто ли вы поляк или ополяченный шляхтич? Во всяком случае, между вами и народом целая бездна!

Но защищать себя, свои действия в Белоруссии, развращение и отравление народа откупом, — и мало ли что — вы еще многое забыли, — защищать всего этого мы не можем и не станем, и правда ваших обвинительных слов ослабляет силу нашего слова.

В заключение позвольте мне точнее и яснее обозначить, за что и во имя чего стоит по отношению к Западной России, наша газета.

1) Мы стоим за народ, с народом и во имя народа, против гнета шляхетства и католицизма, гнета, издавна томящего и давящего народ и имеющего целью сломить в нем начало Русской народности; одним словом, мы на Русской земле стоим за

народ против полонизма, вооруженного всякими гражданскими, материальными и духовными орудиями порабощения.

2) Мы объявляем себя против всякого насилия, угнетения, гонения, преследования, всякой неправды – русской, польской, жидовской, какого бы наименования она ни была и на кого бы ни падала, — на Русского, Поляка, Жида, крестьянина, шляхтича, мещанина, или кого бы то ни было. Разумеется — только в таком случае, если насилие не вызвано, само собой, насилием же: так, например, воровство и грабеж, наказываемые силой, не возбудят нашего протеста и негодования.

3) Мы стоим за полную свободу жизни и развития каждой народности, но мы разумеем свободу иначе, чем польские шляхтичи, которые не считают народ достойным свободы, которые признают позволительным, по отношению к хлопской вере и к грубому люду, прибегать к мерам духовного насилия и которые воображают, что их понятия и требования свободы мирятся с крепостной неволей и разорением народа.

4) Но, признавая свободу развития каждой народности, мы считаем себя в полном праве в области слова, свободного от всякого внешнего насилия, высказывать наши мысли, давать советы, указывать опасности, одним словом, способствовать истинному направлению в развитии народном, по нашему крайнему разумению, — с предоставлением, разумеется, народу полнейшего права принять или отвергнуть наши советы.

Белорусов мы считаем своими братьями по крови и по духу, и думаем, что Русские всех наименований должны составлять одну общую сплошную семью, для которой и радость, и горе, и испытания, и труды, и победы должны быть единые, общие; которую не напрасно вновь соединила история, но которой члены, как и в человеческой семье, нисколько не теряют от того своей личности и своей особенности. Таково наше убеждение и таково наше горячее желание, но еще сильнее и горячее желаем мы, чтобы осуществление этого желания совершилось вне всякого внешнего вмешательства.

Вот наш ответ и вам, и г. Грабовскому, и всем, думающим одинаково с вами. Вы не должны оскорбляться нашим ответом,

точно так же, как и мы не оскорбляемся вашими упреками, а стараемся вникнуть, какие из них правы и какие ложны...

По поводу притязаний поляков на Литву, Белоруссию, Волынь и Подолию

Как в карточной игре тасуют масти в колодах, так в первой четверти нынешнего столетия тасовались и народности в той своего рода карточной политической игре, которая разыгрывалась на знаменитом Венском конгрессе, собравшиеся власти в заботах о благоустройстве Европы, которого они надеялись достигнуть способом политического равновесия, механически понимаемого, кроили, размеривали и развешивали; довешивали и домеривали разные доли, т. е. разные племена и народы, в пользу того или другого государственного построения. Они не принимали в соображение ни народных требований и влечений, ни племенного различия, вражды или склонности, ни стремлений к самостоятельному развитию, ни прав на жизнь и бытие, предъявляемых народностями. Они распоряжались судьбами народов и целых стран, не справляясь ни с их историей, ни с их волей, и совершали странные, противоестественные, насильственные сочетания (например, хоть итальянцев с немцами), внося, вместе с внешним материальным равновесием, такое нравственное неравновесие, которое привело в постоянное колебание и сотрясение политическую систему Европы.

Но если подобного рода воззрения и приемы возможны были в эпоху Венского конгресса, то в наше время они не только утратили значение действующего в истории принципа, но стали в явное противоречие с современным могучим историческим двигателем — идеей национальности.

Если явления, порожденные системой бесцеремонной бюрократической, насильственной перетасовки, административного сочленения и расчленения народностей, продолжают еще существовать и поныне, то самое начало давно осуждено

и отвергнуто — нравственно-политическим сознанием всего образованного мира, и едва ли найдутся люди с таким тесным, узким политическим взглядом, которые захотели бы вернуться к печальным преданиям Венского конгресса.

И однако же нашлись.

Нашлись именно в той стране, которая, по-видимому, всю силу жизни почерпает из принципа национальности, т. е. национальной свободы, самобытности развития, самостоятельности гражданской и духовной; в стране, которая славится своим патриотизмом и, казалось, строже всех должна была бы блюсти чистоту начала, на котором основывает свое право. Да, именно в Польше, в просвещенной общественной среде, нашлись люди, которые, ратуя за начало собственной национальной свободы, в то же время не могут отрешиться в отношении к другим народностям от теорий, завещанных Венским конгрессом, — и таким грубым противоречием сами в роковом ослеплении подрывают свое собственное дело! Все журналы Русские и иностранные сообщили известие о том, что до 300 польских помещиков, съехавшись в Варшаве, написали, по совету будто бы графа Андрея Замойского, проект адреса к Русскому правительству с требованием безусловного присоединения или, лучше сказать, включения в состав Польши Литвы, Белоруссии, Волыни и Подолии, некогда принадлежавших польской короне. Не неумеренность требований нас поражает: к несчастию, мы к ним уже привыкли и они не представляют нам ничего нового, но нас глубоко оскорбляет и возмущает самое отношение польских патриотов к такому жизненному для Русской народности интересу: польское дворянство обращается к правительству с требованием, чтобы оно, ни много ни мало, отчислило до десятка миллионов Русского населения в подчинение чужой народности и в состав чужой страны; польское дворянство полагает, что удовлетворение подобной просьбы, где дело идет о нарушении цельности всего Русского племени, может зависеть от доброй воли правительства!.. Оно, не задумываясь, объявляет, что вековая историческая тяжба двух народностей, что сложный, громадный вопрос о полити-

ческих правах Русского православного населения и ополяченного, окатоличенного туземного общества на Древле-Русские земли, о вековой борьбе двух разных просветительных начал и разных социально-политических тенденций этот трудный, мучительный вопрос может быть разрешен ex adrupto, бюрократически, административным порядком! Польские дворяне домогаются, чтобы правительство сослужило им ту службу, для которой у них уже отняты историей все средства, как в настоящем, так и в будущем; они насильственным действием власти хотят произвести в Польшу не только Литву и Белоруссию, но и Заднепровскую Украину...

«Меня не худо бы спроситься,
Ведь я ей несколько сродни!» –

мог бы юмористически заметить им, при этом случае, народ в Украйне (точно так же, как и в Белоруссии, и даже в Литве), но, к счастью для поляков, сведения об их польских попытках до него не доходят, если только сами Поляки, по неосторожности, не довели уже о том до его ведома.

Нам истинно жаль, что польские дворяне, возбуждавшие всегда несокрушимой живучестью своего патриотизма наше искреннее уважение, обнаруживают столько деспотической примеси в своем патриотизме, столько узости в своих гражданских тенденциях, такую солидарность с принципами Венского конгресса, такое сходство в своих политических теориях с теориями знаменитых австрийцев Тугута, Меттерниха, Шварценберга, Баха и иных. В самом деле, мы вправе полагать, что стремления, например, чешского народа к самостоятельности и независимости от тевтонизма не встречают никакого сочувствия в польском обществе (несмотря на все его громкие уверения) и что оно, напротив, сочувствует незначительной части чешского народа, именно чешскому онемеченному дворянству, которое венцом своих мечтаний поставляет окончательное, нераздельное, гражданское и духовное слитие с немецкой стихией Австрии, знать не хочет простого чешского народа и требует от Австрийского правительства по отношению к Чехии энергических действий известного качества. Положение

дел совершенно то же в Белоруссии, Волыни и Подолии: точно та же запутанность отношений, точно так же часть туземного общества, отступив от Русской народности (как чешское дворянство от чешской), подпала влиянию полонизма (как чешское – тевтонизма); точно также презирает оно Русский народ в Русской земле (как чешское дворянство чешский народ в Чехии); точно так же вопреки воле и стремлениям народным прибегает теперь к внешней силе, чтобы ввести Русь в состав Польши (как это делают Шварценберги и другие чешские аристократы относительно австрийского гезамтфатерланда). Если только есть в мире логика, если хоть сколько-нибудь уважается она поляками, не могут же они не признать, что действуют относительно западно-русского населения совершенно по одному и тому же принципу с австрийцами и онемеченными чешскими аристократами.

Попробуем теперь перенестись в область самой нелепой, необузданной фантазии и сделаем самое несбыточное, дикое предположение, что просьба поляков вызвала согласие правительства. При всем невыгодном мнении (и – с горестью сознаемся – отчасти заслуженном) польских патриотов о Русском патриотизме, трудно вообразить, чтобы они поверили в действительность такого согласия!.. К несчастию для них, одного этого согласия мало: требуется согласие еще некоторого лица, которого польское дворянство с изумительным легкомыслием, свойственным только деспотизму, должно быть и не приметило. Это лицо — Русский народ. Не говорим даже о всей России, но как вы думаете, гг. польские дворяне, отдаст вам южнорусское племя свой Киев, хотя бы на это изъявили свое согласие не только Санкт-Петербург, но и Москва? Позволит вам Украина, полная доселе животрепещущих воспоминаний (которых, из уважения к вам, перечислять мы не будем), позволит она вам присылать ей указы из Варшавы? Как вы думаете, поверит она, переживши унию, вашей польской веротерпимости, и вручит вам судьбу своей церкви и своей народности? Неужели простодушие вашего патриотизма простирается до такой степени, что вы можете мечтать, будто Русский народ в древней, коренной

Руси, тяжелой борьбой сквозь целые века донесший до нашего времени свою народность целой и неповрежденной, — сам, добровольно, во утешение политического честолюбия польских патриотов, себя обезъязычит и обезнародит? Вы можете делать обещания, какие угодно; народ уже изверился в вас; славные предания польской истории о веротерпимости Польши и о ее уважении к национальной свободе давно заслонены кровавой памятью унии, нашествия иезуитов, казацких войн и народных бедствий XVII века, с которого, собственно, и начинается летосчисление современных отношений обеих народностей. Да и вправе ли был бы народ поверить вашим обещаниям, когда вы не отреклись от того, что именно поколебало в нем его прежнюю доверенность? Вы подаете прошение папе о возобновлении унии; вы выше, чем когда-либо, держите знамя не только католицизма, но и иезуитов; у вас применяется к делу иезуитское правило, что чистая цель оправдывает средства, далее безнравственные, даже такие каких чуждалась Польша в самые скорбные эпохи своей истории!..

Вы, наконец, оказываете и теперь полное презрение к правам Русской народности, пытаясь навязать ей насильно иную историческую участь, решить ее судьбу помимо ее, без ее согласия и даже без ее спроса!

Вопрос об отделении от России Западно-Русского края есть вопрос не административный, а земский; не местный только, а всенародный и всерусский. Таковым, т. е. всенародным и всерусским, он стал не в силу внешнего принуждения или формального права, а по самому существу своему, в силу естественного тяготения Руси Белой, Малой, Великой, Черной и Червонной друг к другу, в силу их общего исторического стремления создать политическое и земское, гражданское и духовное единство всего Русского народа, — с сохранением свободы племенных особенностей каждой из них. Разрушить это единство, выработанное (хотя еще и не вполне) целым тысячелетием трудной исторической жизни, разрушить его, не нанеся смерти политическому бытию Русского народа, или заменить это единство какой-то федерацией, точно так же невозможно,

как невозможно сохранить жизнь в человеческом организме, раздробив его на части или заменив органическое сращение частей — внешней связью. Малороссия, Белоруссия, Великоруссия — это уже тело одно цельное, неделимое, и отрывать их друг от друга – все равно, что разрывать тело на части; отрезывать от них Киев, или какую бы то ни было населенную Русскую местность значило бы резать по живому телу. Неужели этого не понимают поляки? А им бы следовало понимать это лучше, чем кому-либо другому, потому что никто, как они, не заявлял миру о таком могуществе любви к своему народу, о такой вере в свою народность.

Мы желали бы, чтоб они поняли. «День» уже довольно ясно определил свою точку зрения на польские дела. В силу того ее начала, которое заставляет нас так горячо отстаивать права Русской народности против польского домогательства, в силу этого же живого начала стоим мы и за права польской народности в пределах Польши, Польши, а не Волыни, Подолии, Белоруссии и проч. Читателям нашим верно памятны статьи одного из наших сотрудников, в которых так ясно доказывалась необходимость и польза для самой России в существовании самобытного государственного польского центра, который бы оттянул к себе все польское из Русских областей, очистил бы их от польского наплыва и стал бы твердым оплотом против напора немецкой стихии. Тем более жаль, что поляки сами стараются об охлаждении к себе сочувствия Русского общества и неуважением к правам Русской народности поддерживают раздражение в Русском народе и отдаляют эпоху примирением. Поляки сами портят свое дело. Если бы кто-либо, лишенный свободы действия, сказал самому пылкому гуманисту: развяжи мне руки, чтоб я мог тебя побить и изувечить, сомневаемся, чтобы гуманист, как бы он искренен ни был, согласился предоставить ему свободу, т. е. возможность исполнить свою угрозу. Точно в такое же положение ставят поляки и Россию, заранее предъявляя притязания на Киев, Волынь, Подолию и пр., расточая воинственные похвальбы и угрозы! Неужели такими средствами можно достигнуть скорого и бла-

гоприятного разрешения вопроса и сменить пагубную вражду животворным миром?

Неужели же все поляки таковы, как эти 300 дворян, написавших адрес и придерживающихся деспотических теорий Венского конгресса? Если б это могло быть, — было бы отчего прийти в отчаяние за будущность Польши!

Не упрек и брань должны видеть поляки в наших словах, а дружески-искренний совет и предостережение. Приглашаем их снова, оставив поле внешнего политического действования, вступить с нами в открытую борьбу в области литературного слова: предлагаем им снова столбцы нашей газеты.

Ложь сделалась органическим отправлением польской натуры

Мы пересмотрели недавно множество брошюр и всяких сочинений по польскому вопросу, изданных поляками за границей, и убедились, что все они представляют один только интерес – патологический. Болезни (мы разумеем нравственные) постигают не одни только отдельные человеческие личности, но и целые общества. Может быть, патология или учение о болезнях как отдельного человеческого, так и целого народного организма. Было бы чрезвычайно любопытно пересмотреть с этой точки зрения историю человеческого общества вообще; но что касается до Польши, то для многих явлений польской общественной жизни только эта точка зрения и способна представить какое-либо возможное объяснение и даже оправдание. К таким явлениям относится, например, ложь, до того насытившая собой весь организм современного польского общества, что она перестала быть действием сознательной воли, а сделалась естественным, совершенно искренним органическим отправлением польской натуры (мы говорим, не о простом польском народе, а о польском обществе). Всматриваясь же пристальнее во многие явления этой лжи, вы увидите, что это просто галлюцинация или морок, по-русски. Чем, как не

галлюцинацией. объяснить, например, уверения Владислава Мицкевича, сына знаменитого поэта, которые мы находим в книге, изданной им в начале весны нынешнего года, в Париже под заглавием: «Польша и ее южные провинции». В предисловии к манускрипту какого-то украинца-поляка Владислав Мицкевич рассказывает, что он сам в 1861 году ездил из Одессы в Киев, из Киева в Житомир, из Житомира в Вильно и убедился, что Русского в этих странах только армия и полиция, что хотя крестьянин там и сохраняет свой местный говор, но что один вид польского повстанца как электрической искрой воспламенит его душу и он бросится на Русские полчища!!! Все предисловие написано с такою силой убеждения, с такой наивной искренностью, что нельзя и подозревать преднамеренного искажения истины, а следует предположить какое-то расстройство органов зрения, слуха, какое-то повреждение умственных и душевных способностей. Это, пожалуй, даже и хуже, чем умышленная ложь, хуже в том смысле, что ложь может быть и оставлена, как скоро не достигает цели и не приносит выгод, а от подобных болезней излечиваются с трудом: вероятно, не одно современное, но и несколько поколений сряду пройдут неисцелимо больные, прежде чем возвратится здоровье польскому обществу!.. Мицкевич издал эту книгу еще до появления повстанцев в Заднепровской Украине, но нельзя и думать, чтобы неудача или, вернее сказать, совершенное посрамление польской попытки произвести восстание и быстрая расправа с польскими шайками украинских крестьян вразумили Мицкевича и вообще поляков. Если б они вразумились, так и не зачинали бы вновь таких попыток, которые способны только раздражить до зверства простой народ, повредить успеху их собственного дела в Польше, погубить столько молодых польских сил, подорвать окончательно значение «польщизны» в Юго-Западном Русском крае. Они непременно найдут какое-нибудь нелепое объяснение крестьянскому отпору, и им. как и Мицкевичу, будет снова мерещиться Польша в исконной Руси! С каким наивным умилением говорит, например, Мицкевич о Киеве в 1861 году, как о каком-то родном польском городе!

«История, – восклицает он, –национальный дух, стремления (le genie national, les aspirations), все связывает Киев с Польшей. Я останавливался в Киеве пред воротами, об золотые двери которых польский король Болеслав Храбрый зазубрил свою саблю в 1018 году: он взошел в Киев, как Генрих IV в Париж»!.. С каким простодушием описывает Мицкевич, и описывает очень поэтически, зимнее путешествие по Украйне, когда ямщик-малоросс «затянет свою думу...» Дума? Но о чем же поют эти песни, которые называются думами? Эти думы или думки ничего другого и не воспевают, как только казацкие подвиги против «ляхив», подвиги борьбы, да кончину казацких героев. изжаренных, колесованных и другими разнообразными способами замученных поляками, сохранившими и до наших времен особенный талант и охоту к затейливости мучений

Но не одна ложь, как галлюцинация, является симптомом психического недуга польского общества. Мессианизм или товианизм, возвещенный Товянским и так красноречиво проповедуемый Мицкевичем-отцом, не есть одно только поэтическое воплощение Польши в образе народа-мессии, пострадавшего и распятого за грехи народов, об одежде которого другие народы метали жребий и который имеет воскреснуть для спасения и социального благополучия человечества; он не есть только лирическое излияние скорбной души польского патриота, но целое мистическое учение, имеющее своих вдохновенных, необыкновенно талантливых пророков и последователей.. Разумеется, этот недуг мистицизма, требующий все же высокого душевного строя, почтеннее и доброкачественнее недуга лжи, хотя бы и искренней, но, кажется, впрочем, что в последнее время он уже слабеет, уступая место грубому плотяному католическому фанатизму.

Но кроме лжи искренней, лжи как болезни, большинство поляков лжет умышленно и сознательно, руководствуясь иезуитским правилом, что высокая цель оправдывает и низкие средства. Доказательства этому встречаем не в одной польской краковской газете «Час», которой и в Европе никто уже не верит, но едва ли не в каждом современном произведении

польской литературы, а между прочим, и в той самой книге, изданной Владиславом Мицкевичем. Напечатанная им «рукопись Украинца» оказалась вся направленной против «либеральных» русских воззрений на польский вопрос, и преимущественно против нашей газеты. Статьи г. Елагина, помещенные в прошлогоднем «Дне», в особенности сильно раздражили неизвестного нам автора — тем, что при самом гуманном отношении к Польше, при самом беспристрастном признании прав польской народности и при желании независимости для нее в ее естественных пределах, г. Елагин не соглашается, однако, признать Украину Польшей! Все это еще понятно и, пожалуй, простительно, но что непростительно — так это фальшивые ссылки. Например, автор манускрипта, напечатанного Мицкевичем, говорит на 81 стр.: «Кто бы поверил, что в России, этой стране, которая... (следует исчисление ее качеств, которое мы выпускаем), есть Москвичи, утверждающие следующее: «Мы, конечно, опередили поляков на пути прогресса, и мы уже догнали не одну страну на Западе Европы, — кто знает, не опередили ли мы их даже в некоторых отношениях? Мы можем сказать про себя с гордостью, что мы (Русские) — северные французы («День» — Dzien — Март 1862 г.)»... Автор с запальчивостью возражает, что северными французами Европа называет только шведов и поляков! Нашим читателям нет, разумеется, и надобности доказывать всю невозможность для «Дня» выразить подобное мнение, но все же заметим, что в марте прошлого года ни в одной статье о северных французах не упоминается. Напротив, нам случалось именно поляков называть северными французами, и вместе с тем смеяться над этим титулом, которым они так гордятся, ставить им в упрек такое жалкое притязание славянской нации походить на французов. Впрочем, распространяться об этом нет надобности; мы привели это как образчик польской лжи и польского воззрения на Западный край России. Мы не встречали до сих пор ни одного поляка, мы не читали ни одного польского автора с иным воззрением на нашу Волынь, Подолию, Киевскую губернию, Белоруссию...

Все это нашим читателям необходимо иметь в виду при чтении статьи г. Гильфердинга, помещаемой ниже, а также при суждении об адресе Виленского дворянства с уверениями в преданности и с признанием, что они, дворяне, составляют с Россией одно нераздельное целое.

Мы совершенно согласны со статьей г. Гильфердинга, полагающего всю трудность польского вопроса — в польских притязаниях на Русские земли. Наш почтенный сотрудник — только в несомненном возрождении, усилении, развитии русской народности в Западном крае России (разумея тут и вообще и Юго-Западные области), усматривает возможность для самой Польши вразумиться, познать свои пределы и укротить свои требования; он думает, что до того времени немыслимо никакое отделение от России, никакая независимость коренной Польши. Мы находим, что это последнее мнение требует некоторого развития и пояснения. Едва ли кто сильнее нас предан делу возрождения Русской народности в Западном крае, и со всем тем мы не можем от себя скрыть всей трудности и медленности этого дела в стране, где нет Русского общества. А общество туземное, прирожденное общество, ни в каком случае не может быть заменено обществом Русских чиновников, как бы благонамеренны они ни были; и если бы даже значительная часть польских поземельных владений была роздана в собственность выходцам из России, то и тогда потребовалось бы много времени, пока новосозданное Русское общество сделалось бы туземным., срослось бы органически с местной почвой. Все это, конечно, возможно, но требует долгой органической работы, вполне благоприятных условий и отстранения всяких помех со стороны польского общественного элемента, — помех не военных, мирных, несравненно более опасных. А между тем время не ждет, и польский вопрос настоятельно требует разрешения, и требует его в такой скорый срок, который, без сомнения, короче срока, необходимого для насаждения или развития Русской общественной силы в Западном крае! Все же пробованные до сих пор способы умиротворения Польши г. Гильфердинг

сам, как и справедливо, признает несостоятельными. Если бы шестьдесят лет, прошедших со времени последнего польского раздела, были употреблены в том духе и смысле, в каком предполагается, может быть, действовать теперь; если бы это полустолетие было впереди, а не позади нас, то в настоящую пору, вероятно, не было бы уже места польским притязаниям или они были бы не так упорны. Но теперь едва ли возможно надеяться на очищение Западных областей России от господства польской общественной стихии — без одновременного или по крайней мере скорого разрешения вопроса о самой коренной Польше. Адрес виленского дворянства есть, конечно, блистательный результат не просто энергических, но и умных мер, принятых генералом Муравьевым (направившим свои удары преимущественно на экономические интересы дворянства), но после всего, что было, этот адрес в глазах Русского человека свидетельствует только о том, что поляки убедилась, что их дело плохо, что им необходимо его поправить прежде, чем оно будет совсем и уже окончательно проиграно. Полякам нужно во что бы то ни стало удержать свое общественно положение, свое польское представительство Русского края, свое значение, как местной аристократии, и они спешат принесть свою повинную голову, которую, конечно, по пословице, и меч не сечет. Мы отдаем должную справедливость благоразумию дворян, подписавших адрес, и не только их благоразумию, но и мужеству (если покушение на жизнь губернского предводителя Домейко не охладит усердия Виленского дворянства), но мы с трудом верим, чтобы поляки, даже и не мечтающие о восстановлении независимого от России польского государства, смотрели на Литву, Волынь и Подолию иначе, чем смотрит, например, маркиз Велепольский, — самый, по-видимому, умереннейший из поляков, по мнению которого край этот польский. Нет сомнения, что не только виленские, но и рогачевские и подольские дворяне уступят силе обстоятельств, представят адресы, совершенно противоречащие их прежним адресам, т. е. с выражением полной покорности, — и, вследствие того, вероятно удержат свое прежнее общественное и

даже официальное чиновное положение... Известно, что и теперь, при полном разгаре польского мятежа в Царстве, в Юго-Западном крае большинство чиновников, особенно мелких (следовательно, непосредственно соприкасающихся с местным населением), польское: в последнем № «Дня» мы даже напечатали письмо из Немирова, Подольской губернии, которое рассказывает, как обращаются там с Русскими крестьянами посредники-поляки. Кроме того, Россия вся наводнена чиновниками польского происхождения, и мы отнюдь не считаем их выродившимися поляками...

Для полной безвредности Польского общественного элемента в России, необходимо или его сбыть, или чтоб он переродился; вернее, то и другое вместе. Но сбыть его теперь некуда, а что касается до перерождения, то, конечно, все однородное и способное к слиянию с русской стихией переродится и сольется, но для этого необходимо было бы отделение всего того, что существенно разнородно.

Не можем здесь, кстати, не напомнить читателям тех слов, которые были сказаны в «Дне», еще в марте месяце прошлого года, о присутствии польского элемента в России. Мы уверены, что читатели не посетуют на нас за эту выписку, потому что она как раз подходит к предмету нашей беседы и теперь публикой поймется, вероятно, несравненно лучше, чем почти полтора года тому назад. Вот эти слова:

«Неужели эта заветная мысль каждого Поляка, его самостоятельная Славянская отчизна непримирима с нашим собственным возрождением? Без задней мысли о самостоятельности Польского народного развития, очевидно, не было бы так ожесточенно нападение русских писателей на завоевание Польской образованности в Русских краях. Если Польше суждена вечная смерть, то присутствие Польского общества в краях, в которых будет просвещение чисто-народное (Русское), могло бы внушить не ожесточение, а только сострадание. Но в том-то и дело, что смерти польского народа не желает ни один русский, вникнувший в необходимые последствия разложения и гниения каждой части народного тела... ни один мыслящий

Славянин, испытавший, что значит масса людей, которых принудили отречься от родины. Эти миллионы людей, лишенных отечества, эти миллионы отступников, которыми грозит нам Мицкевич, — умственно развитые, нравственно уничтоженные, угрожали бы целому Славянскому миру нравственным пролетариатом и повели бы нас к такому австрийскому прогрессу, который еще больше должен пугать и нас и Поляков в будущем, нежели память о каком бы то ни было неистовстве прошлых веков. Какого уважения к законным правам ждать от людей, у которых отняли самое законнейшее из всех? Взгляните на массы Чешских и вообще Славянских чиновников и офицеров в Венгрии, Галиции и во всей Австрийской империи, и увидите, что это не мечта поэта, а зло существенное, современное и такое сильное, что требует геройской борьбы для того, чтобы народы не были им задавлены совсем. Оно везде распространяет демагогическую заразу совсем особенного Австрийского качества; это зло прекратится только возрождением народной самостоятельности земель, составляющих Австрийский гезамт-фатерланд. От него убережется Россия и Польша — взаимным укреплением обоюдной народной самостоятельности. Ввиду такой общей для нас и поляков опасности можно бы, казалось, надеяться на отречение самолюбивых и раздражающих воспоминаний, на отрезвление Русской и Польской мысли», и проч. («День», 1862 г., № 24, стр. 9, ответ Грабовскому В. А. Елагина.)

Вот в каком смысле говорили и мы недавно, что, присоединив к себе Польшу, мы вогнали ее себе внутрь, отравились Польшей; вот какую опасность, по нашему мнению, представляет и для России вновь изъявляемая покорность польского населения в Русских краях — без одновременного разрешения польского вопроса в смысле признания за Польшей прав на самостоятельное народное развитие. Вот с каким страшным злом пришлось бы бороться возрождению Русского элемента в наших Западных и Юго-Западных областях, вот сквозь какой толстый общественный слой пришлось бы пробиваться в них новосозидаемой и новорождающейся русской общественно-

сти, если этому яду, этой общественной польской силе не дано будет исхода вне России.

В последнем № нашей газеты помещена статья г. Безсонова, вновь доказывающая, но еще с большей силой, мысль уже и прежде высказанную в «Дне», что польский вопрос есть по преимуществу вопрос общественный. Прибавим к тому, что для России было бы несравненно выгоднее и самый вопрос был бы гораздо проще и легче для разрешения, если бы он был не общественный, а политический, если б расплывшаяся, развившаяся до аномалии, польская неуловимая, вездесущая общественная сила сократилась, подобралась, концентрировалась в какие-либо политические пределы и формы, воплотилась в какое-либо политическое тело — легко осязаемое, уязвимое и удобосдерживаемое всякой иной, более могущественной государственной силой. Трудно вообще государству с его внешними материальными государственными средствами бороться с внутренними нравственными средствами общества: оружие не равное, — с обществом должно бороться по преимуществу общество же. С другой стороны, и Русскому обществу (даже и предположить его полное развитие) трудно бороться с польским обществом уже и потому, что последнее, будучи обществом, действует в то же время средствами не чисто общественными, но с элементом государственным. Для успешной борьбы с Польшей нужно, чтобы, кроме настойчивых усилий Русского общества к укреплению Русской общественной почвы в Западном крае, прекращено было анормальное существование польского общества — чрез учреждение какого-нибудь политического польского центра, который бы сосредоточил в себе, в видимом осязательном образе, невидимую польскую общественную стихию и упразднил ее чрезмерное развитие развитием жизни чисто государственной. Польша, как небольшое политическое целое, при всем своем непомерном политическом честолюбии, по нашему мнению, была бы несравненно слабее и потому менее опасна для такого могучего государственного организма, какова Россия, нежели постоянная тайная отрава от разложившегося трупа польской

государственности и незримых, неуловимых польских общественных сил с их потаенными правлениями, комитетами и трибуналами...

Украйнофильско-польский бред «Тараса Воли»

Не в том только состоит политическое мастерство, чтобы заставить служить известному политическому плану как можно более людей из-за денег и, так сказать, по найму, но в том, чтобы обратить в бессознательные орудия этого плана людей искренних, убежденных, преданных идеям, по-видимому, совершенно противоположным. Конечно, такая способность служить чужой рабочей силой, исполнителем чужой программы, воображая себя в то же время самостоятельным деятелем на пользу своих собственных замыслов, предполагает в людях, обладающих сей способностью, значительную долю простодушия, недальновидности, больше энтузиазма, чем рассудительности, больше фантазии, чем знакомства с правдой жизни, и больше всего — слабость мысли. Только при таких свойствах могут эти люди не замечать противоречия своих слов с делом, своих дел с требованиями действительности; могут не догадываться о том, что чем ближе они себя считают к цели, тем дальше от нее отходят. Главный контингент такого сорта людей, к услугам Западно-Европейских мастеров политических дел поставляют, как известно, поляки, — преимущественно польская эмиграция, это жалкое игралище всех коноводов иностранной политики. На кого они не работают! И на истого немца барона Бейста, и на императора Наполеона III, и на Гарибальди, и на папу, и даже на турецкого султана, в надежде и даже в положительной уверенности, что работают в пользу восстановления Польши, тогда как в сущности они трудятся только для чужих барышей и выгод! Замечая, что в России славянское самосознание растет и крепнет, заграничные поляки вознамерились эксплуатировать идею славянства в свою пользу, проповедуя теорию какой-то славянской федерации вне России и, как бы в

виде практического приложения такого архилиберального плана, отправляются гуртом, вослед Лангевичу и Чайковскому, в Турцию душить болгар и сербов во главе турецко-польских легионов.

Но не одни Поляки служат спроста враждебной славянству Западно-Европейской политике. Есть и между прочими славянами люди — страстные охотники чествовать себя «интеллигенцией» своего племени и стоящие обыкновенно в разительном противоречии с народными историческими инстинктами своего племени. Эти люди, состоя в чине «интеллигенции», не отличаясь ни крепостью разума, ни здоровой логикой, большей частью люди очень искренние, способные даже на самопожертвование, легко увлекающиеся, до такой степени легко, что энтузиазм составляет их общественное положение: они считают своей обязанностью приходить в энтузиазм от каждой фразистой речи, нашпигованной словами «свобода», «самостоятельность», и способны вслед за тем броситься чуть не в объятия барону Бейсту, Наполеону III, Лангевичу, Чарторыйскому — врагам всякой славянской свободы и самостоятельности. Отличительными признаками такой «самостольной», как выражаются сербы, интеллигенции служит, во-первых, враждебное отношение к России. Это уж непременно. Как мальчик, повязавший в первый раз на шею галстук, или как юнкер, произведенный в чин прапорщика, надувается важностью и спешит сам себе доказать свое совершеннолетие тем, что начинает грубить старшим, так и сии представители интеллигенции спешат обыкновенно засвидетельствовать о своей взрослости и независимости тем, что бранят и ругают Россию. Вторым отличительным их признаком, истекающим, впрочем, из первого, служит то, что они обращаются в поборников французской, итальянской, английской, даже немецко-австрийской «альянцы», или союза. В-третьих, наконец, они признают своим долгом сочувствовать полякам. Достаточно этих признаков, чтобы видеть, до какой степени такие «патриоты» расходятся с истинными интересами славянства. Толкуя о демократизме, они идут наперекор стремлениям и влечени-

ям народным; проповедуя всеславянство, они исключают из него 50-миллионное славянское племя; мечтая о федерации, опираются на Западную Европу, которая, употребляя в свою пользу их антипатию к России, ради ослабления России тем самым уничтожает возможность славянского возрождения в самом зародыше; сочувствуя полякам, они, в ослеплении своем, не видят, что поддерживают в лице поляков не только палачей своих братьев, христиан турецких, но и ревностнейших в мире служителей той латинской религиозной исключительности, которая никогда не помирится с верой большинства славян. Само собой разумеется, что таковые представители «интеллигенции» большей частью люди молодые, которые молодость лет возводят в особенное нравственное достоинство и тем самым, стало быть, отрицают наивно свою собственную «компетентность» или пригодность — по вступлении своем в возраст возмужалости. Такое явление образованных классах славянских народов встречается, к сожалению, нередко и объясняется ненормальными условиями их исторического развития, скороспелостью образования, заемным характером цивилизации, отсутствием надлежащей гражданской свободы, и многими другими, о которых говорить было бы здесь и долго, и неуместно. Подобные юные представители «интеллигенции» находятся и в Сербии, преимущественно между австрийскими сербами, и у хорватов, — всего менее в Чехии, которая зрелее других Славянских стран, — встречаются и в Галиции.

Они встречаются и между нашими Русскими. Недавно напомнили они нам о себе брошюрой, изданной в Вене уже в 1868 году под заглавием: «Братское послание Украинцев Сербскому обществу «Зоря». Мы бы и не упомянули об этой брошюре, если бы она содержала только известные украйнофильские, вполне безопасные и только возбуждающие улыбку, брехни, но в ней есть обращение к «братьям Сербам», есть речь и о панславизме, вообще есть нечто новое, на что мы считаем нужным обратить внимание как наших Русских, так и заграничных славянских читателей. Мы готовы не сомневаться в искренности «списателя» Тараса Воли и рекомендуем чита-

телю этот экземпляр того типа некрепких смыслом, зато простодушных «патриотов», о котором мы говорили выше. Автор должен быть нам благодарен за такое объяснение и принять его с признательностью; в противном случае, мы будем обязаны признать его злоумышленным агентом польской партии Австрийского министра Бейста. Таковым, вероятно, и признают его многие, прочитавши брошюру, но мы лучшего о нем мнения и оправдываем его поступок единственно слабостью мысли и близорукостью – правда, почти феноменальной. Ни поляки, ни Бейст, ни Наполеон III не могли бы пожелать для себя лучшего работника; послание писано как бы по заказу этих друзей славянства. Нельзя не обратить внимания на то обстоятельство, что вся уснащенная ругательствами на нас, Русских, брошюра является в то самое время, когда, будто по сигналу, вся официозная французская и австрийская журналистика затрубила вновь крестовый поход на Россию и принялась стращать Европу старым, казалось бы уже изношенным, пугалом «Московского ненасытного властолюбия»; в то время, когда и австрийский, и Французский кабинеты усиливаются таким маневром сдержать и парализовать действие Русской дипломатии на Востоке в пользу воюющих за свою независимость критян и в пользу угнетаемых, жаждущих независимости болгар и сербов; в то время, наконец, когда австрийские и славянские племена и многомиллионное Русское племя, опознавшись друг с другом, оживили в себе сознание всеславянского братства. С этой последней точки зрения, брошюра г. Тараса Воли представляется написанной если не по заказу, то по крайней мере по внушению барона Бейста, — внушению, вероятно, не непосредственному, но косвенному — чрез поляков. Для врагов России и славянства, желающих «прижать Славян к стене» и именно потому одновременно покровительствующих организации в Кракове «Общества для восстановления Польши», конечно, очень важно показать миру, что не одни немцы и поляки, но и сами Русские, при всей своей якобы враждебности к Австрии, отдают ей преимущество пред Россией; что сама Россия не представляет в себе крепости единства и го-

това распасться; что сами Русские предостерегают славян от сочувствия «Москвы». С другой стороны, лучшего pendant[1] к знаменитой статье Клачка о Славянском съезде в Москве не могут желать и сами поляки, да и вообще наш щирый украйнофил очевидно попался в польские сети и запутался в них своим коротким смыслом до совершенной бессмыслицы. Мы сейчас представим тому образчики.

Украйнофил «Воля», наполняя свою брошюру, как и следует, цитатами из стихов Шевченко и даже из своих собственных (довольно плохих), как бы забывает, что весь спор у России с польскою шляхетскою партией идет собственно за свободу и независимость Русской Украины, или Малой Руси, и Белой от гнета польской национальности; что так называемая национальная польская идея не означает ничего другого, как порабощение польскому господству малорусского и белорусского племени; что краковское «Общество для восстановления Польши» понимает восстановление Польши иначе, как в пределах 1772 года. Эта задача, надо отдать справедливость полякам, поставлена ими с откровенностью и определительностью, исключающими всякое сомнение. Но друг украинского народа, «его родное чадо», «носитель народных чувств и надежд» (как величает себя украйнофил «Воля») иначе не выражается в своей брошюре, как «мы и поляки, поляки и мы», «мы с Поляками составляем 20 миллионов Славянского народа» и пр. Оставляя в стороне такой чисто-польский статистический прием в исчислении малорусского, червоно-русского и польского племени, пойдем дальше. «На Московских пиршествах, говорит автор, плакали коварными слезами о судьбе наших галичан, утесняемых ополяченными панами; но поляки с большим правом могли бы плакать о судьбе нашего, т. е. малорусского, племени под гнетом москвитизированной аристократии и администрации». На Московских пиршествах, как известно, плакал настоящими слезами о судьбе галичан известный ревнитель галицко-русской народности Я. Ф. Головацкий. Коварными слезами он плакал? Вся эта борьба с поляками за право Русского языка в Галиции, все это ложь,

лицемерие?! Впрочем, как и следовало ожидать, наши украйнофилы, друзья народа, в последнее время значительно охладели в своем сочувствии к Галиции. Оно и понятно, выбора нет: или сочувствовать с поляками, или сочувствовать с галицко-русским народом. А так как галицко-русский народ влечется сочувствием к остальной великой Руси, с польскими притязаниями мириться не хочет и не такой дурень, как самозваные «носители его чувств», чтобы поверил польским обещаниям свободного сожития в федеративной форме, — то украйнофилам ничего не остается, как, минуя родных братьев по крови – галичан, обращаться со своими фразами о Южно-Русском народе — к юному обществу «Зоря», с его юным основателем г. Георгиевичем. Это тот самый г. Георгиевич, молодой, очень еще молодой серб, приятной наружности, который вместо усвоения славянами для общих сношений какого-нибудь единого языка, предлагал каждому славянину выучиваться всем десяти славянским наречиям и поднаречиям, не выучившись, впрочем, сам, за исключением своего сербского, никакому иному, кроме немецкого. Вот как трактует наш украйнофил Галицкую Украину: «если далее вся Галицкая интеллигенция, говорит он, оторвется от нас, т. е. от украйнофилов, то это нимало не изменит дела в Украйне» (как будто в Украйне есть какое-либо украйнофильское дело! Как будто есть что общего между украйнофилами, друзьями поляков и Украиной, не перестающей распевать исторические песни о своей борьбе насмерть с поляками за Русскую народность и веру!). «Давно, уж очень давно, продолжает «Тарас Воля», Галиция, вступив в союз с Суздалем, погубила Киев и Русь... Ныне люди, называющие себя ее национальными вождями, повторяют ошибку своих отцов, кидаясь в объятия Москвы»... В этих словах слышится какая-то готовность украйнофилов, прогневавшихся на Галицию за сочувствие к России, предоставить Галицию ее судьбе, то есть — объятиям польским. Недаром г. «Воля» говорит, что напрасно (?!!) Московская пресса трубит всему миру об угнетении польскими панами нашего, т. е. Русского племени в Западном крае», недаром толкует он о близости

украинского крестьянина «по миросозерцанию» к поляку! Автор во всем своем сочинении избегает коснуться спора между Галицией и поляками, не пытается даже и опровергнуть притязания поляков на ополячение края, не ищет даже и определить тех отношений, в какие должны стать поляки к галичанам, при будущей чаемой им федерации. Он обходит этот вопрос, очевидно, с целью не раздражать поляков, под влиянием которых писал он свое послание, или же по нежеланию обличить свое внутреннее противоречие, надеясь, что «братья сербы» без этого никакого противоречия не заметят... Не так уж они просты! Спрашивается, какой малоросс, истинно любящий свое племя, в споре галицких руссов с поляками не станет на сторону первых и позволит себе толковать о федерации, не порешив этого спора ясно и определительно.

Но не одних поляков ублажил рьяный враг «Москвы», «Москалей», «москвитизма», он поработал и на австрийскую политику. Он как бы входит в заботы барона Бейста и вообще Западно-Европейских политиков о том, каким образом обессилить, унизить Россию, и указывает им средство: отделить от России 15 миллионов (excusez du peu)[2] Южно-Русского племени, отделить поляков и составить между ними и прочими славянами союз для противовеса Московской силе», союз, который, по теории автора, «не будет иметь свойств возбуждать опасений Запада». Во главе же союза Тарас Воля предлагает стать — Австрии. Вот и ключ от ящика, 1e fin mot de la chose![3] Систему дуализма он не одобряет, но собственно потому только, что она «обессиливает Австрийскую империю перед Россией и парализует ту притягательную (sic) силу (федеральной Австрии, которая начала быть чувствуема на берегах Днепра) Из сего мы должны заключить между прочим что автор жил на берегах Днепра, потому что кроме него на этих берегах, конечно, не было ни одного, кто бы почувствовал такое влечение к Австрии, и которого бы она не только притянула, но и перетянула. Наконец, в довершение всего, автор грозит от имени украйнофилов, «апеллировать, подобно Полякам, к Европе», равно как и «к страстям малорусского народа».

Читатели согласятся с нами, что нельзя ревностнее служить замыслам западноевропейской политики, как служит сей проницательный украйнофил. Г. Бейст и Чарторыйский потирают себе руки от удовольствия. Федерация, равноправный союз — все это вздор! Все это вы там себе пожалуй пишите, даже непременно пишите, чтобы ввести в заблуждение простодушных «братьев», но главное дело в том, чтоб ослабить нравственное влияние Московского Славянского съезда, произвести раскол между славянами, подорвать значение России, а чрез это воспрепятствовать и освобождение Востока силой славянской!.. Украйнофилы попадут теперь в особенную милость Австрии; собираясь подражать полякам, они не захотят, вероятно, уступить им и в чести быть такими же слепыми орудиями европейских кабинетов, и, чего доброго, чтоб уже вполне быть достойными своего образца, отправятся вместе с Турецкими солдатами терзать «братьев сербов» и болгар в Турции, как терзают их теперь члены будущей славянской федерации — поляки.

Это послание к сербам есть насмешка над здравым смыслом, следовательно насмешка над самими сербами, к которым оно адресовано. Не высокого же понятия г. Тарас Воля об умственном объеме юной интеллигенции общества «Зоря»!

Довольно... Говорить больше об этом пустозвонном украйнофильско-польском бреде не стоить. Забавно только, что автор, сказав выше о намерении украйнофилов обратиться к страстям народа, называет гнуснейшей Московской клеветой подозрение украинофилов в намерении подвигнуть народ к открытому восстанию, равно и обвинение в измене. Чести такого подозрения Московская печать никогда им и не делала: она хорошо знает, что простой инстинкт самосохранения не позволит украйнофилам вроде Тараса Воли заикнуться пред умным Малороссийским народом о своих бреднях... Что же касается до измены, то автор прежде всего изменил здравому смыслу и заслуживал бы не участи «мученика первых веков христианства», чем он соглашается будто бы учиниться, не «сырых казематов» и «пустыни Сибирской», а разве помещения в доме «скорбных главой».

ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС[1]

Следует ли дать евреям в России законодательные и административные права?

Выражения «идея века», «либеральная идея», «гуманная мысль» – сделались в нашем прогрессивном обществе каким-то пугалом, отпугивающим самую смелую критику. Это своего рода вывеска, за которой охотно прячется всякая ложь, часто не только не либеральная и не гуманная, но насильственно нарушающая и оскорбляющая права жизни и быта безгласных масс в пользу мнимо угнетенного, крикливого, голосящего меньшинства. Этот деспотизм некоторых идей, это слепое раболепство некоторым кумирам объясняется историей нашего общественного развития и, бесспорно, имеет свою полезную сторону, если сами идеи нравственны. Оно способно иногда воздержать наклонность действовать в духе, уже совершенно не гуманном и не либеральном: многие добрые дела делаются если не по убеждению, то из страха, из некоторой душевной подлости пред грозными идеями века. Такое основание, конечно, не нравственно, не прочно, не всегда плодотворно, но тем не менее может быть допущено в области практической, как внешняя узда для тех, которые не вразумляются внутренним достоинством господствующей мысли.

Все это так, но критика общественная должна безбоязненно входить в исследование самого содержания всякой новой идеи, не обращая никакого внимания на ее чин и породу, не смущаясь тем, что она состоит в звании идеи века и аристокра-

тического, т. е. европейского происхождения, а относясь прямо к ее абсолютной, внутренней ценности. Так и по вопросу о евреях мы большей частью только расшаркиваемся учтиво, и – надобно признаться – не совсем искренне, пред всякой новой для них льготой, не отдавая себе отчета в смысле, значении и пределах таковых льгот. Мы сказали: «Не совсем искренно» и в доказательство можем привести спор нашего малороссийского или южнорусского сборника «Основы» с еврейским журналом «Сионом», спор, в котором личное раздражение «Основы» заставило ее приподнять уголок завесы, прикрывающей ее настоящее, сокровенное, если не воззрение, то по крайней мере, чувство в отношении к «Иудеям» (как она их называет), и употребить выражения, несколько противоречащие обычному строю речей нашей литературы, когда дело касалось или касается еврейского племени.

Недавно вышел новый закон о евреях, дарующий им новые и весьма важные льготы, именно: евреи, имеющие дипломы на ученые степени доктора, магистра или кандидата, «допускаются на службу по всем ведомствам» и по всей России. Этот закон, которого нельзя не признать вполне милостивым и либеральным, был приветствован во многих наших литературных органах пышными и громкими фразами о нашей «современности и веротерпимости». Но мы смеем думать, что наши защитники и ревнители иудейских интересов не так поняли закон, как бы следовало, и, во всяком случае, не уяснили себе сами тех пределов, до которых может идти его практическое применение. Конечно, выражение «по всем ведомствам» не вполне передает мысль законодательную, и, конечно, его нельзя понимать без ограничения. Так, например, нельзя же предположить, чтобы обер-прокурором Святейшего Синода мог сделаться еврей, еврей не по происхождению, а по вере! Мы думаем даже, что наши литературные прогрессисты не решаются, при всей дерзости своего прогресса, признать подобное явление возможным... Почему же нет? С их стороны это будет только недостаток, или, лучше сказать, робость последовательности. Ведь звание обер-прокурора не есть духов-

ное, а чисто гражданское звание, и область управления, ему подчиненная, называется «ведомством». Однако же, наверное, сами наши прогрессисты согласятся, что еврея во главе этого ведомства даже и предположить невозможно. Они сами найдут, конечно, что здесь противоречие слишком резко. Пойдем дальше. Предположим, что кто-нибудь сказал бы нашим прогрессистам: желаете ли вы и считаете ли сбыточным, чтобы Правительствующий Сенат, Государственный совет и вообще законодательные учреждения России наполнились евреями, и не в канцелярских, а в самых высших должностях и званиях? Подадут ли наши прогрессисты свой голос в пользу и даже за возможность такого явления? Сомнительно, и даже есть основание думать, что ими овладеет некоторое, может быть, даже несправедливое опасение, чтобы законодатель – еврей, Моисеева закона, не вздумал в России законодательствовать в духе моисеевом!.. Стало быть, является новое ограничение к допущению евреев служить по «всем ведомствам»? В этом-то смысле и полагаем мы, что новый закон о евреях нельзя разуметь без ограничений.

Постараемся подойти к этому вопросу поближе, и притом даже с точки зрения не христианской, а просто языческой, но предположим язычника честного, правдивого, относящегося к делу со стороны, вполне беспристрастно, и предъявляющего касательно нас только одно требование: логики и последовательности.

Вот земля, именующая себе христианской. Христианство – такое учение, которое, по мнению христиан, указало особые начала для всего нравственного и духовного мира человека, а, следовательно, и общества, и на основании этих начал пересоздало и пересоздает быт частный, общественный, гражданский, государственный, просвещение, науку, законодательство, отношения людей между собой, одним словом, всю область человеческой деятельности. Истинно или не истинно оно в своем существе – этот вопрос в сторону, но таков факт, которого отрицать нельзя. Народы, исповедующие христианство, уклоняются от правил своего учения, но постоянно признают

его за свой идеал, за цель своего существования, за свое знамя. Сказать – христианин, и всякому известно, что от этого звания требуется и какому нравственному кодексу – предполагается – он должен следовать. Нет возможности, да и надобности производить испытание над совестью каждого и исследовать его личное отношение к христианству, но достаточно видеть знамя, под которым он стоит, чтобы требовать от него общественных действий, согласных с общественным знаменем. Это знамя в России – христианское.

В христианскую землю приходит горсть людей, совершенно отрицающих христианское учение, христианский идеал и кодекс нравственности (следовательно, все основы общественного быта страны) и исповедующих учение враждебное и противоположное. Естественно спросить – зачем они приходят в страну, под христианское знамя которой встать они не могут? Но им некуда деться, они голодны, сиры, везде и всюду гонимы. Христианская земля, руководствуясь духом своего учителя, дает им приют и средства существования, свободу внутренней и гражданской жизни. Больше этого она дать не может. Больше этого дать было бы возможно только в таком случае, если предположить ложь с той или другой стороны, то есть что или христиане лгут, именуя себя христианами, или евреи лгут, официально исповедуя закон Моисеев. На этой-то взаимной неискренности и основывается новейшее современное отношение христиан и евреев! Евреи пришли к христианам – хозяевам земли, в гости. Хозяева могут принять и даже уважить гостей, хотя и непрошеных, но не могут посадить их за свое хозяйское место и дать власть хозяйскую тем, которые проповедуют ниспровержение всякого хозяйского порядка; не могут предоставить им волю распоряжаться и управлять домом. «Но они не станут опровергать порядок, – возразят некоторые. – Они этого не проповедуют». Тут не место таким уверениям, ответит вам всякий честный язычник: лазить в чужую душу и экзаменовать частную совесть не приходится, а следует обратить внимание на штемпель, которым заклеймен человек, на вывеску, которую он носит, на знамя, под которым

он стоит, на учение, которое он официально исповедует. Вам нет дела, искренне ли он его исповедует или лжет, но он от него не отрекся, следовательно, он продолжает его держаться, продолжает держаться начал, враждебных началам вашего народа, вашему знамени. Вопрос не о том, кто прав, кто не прав, а о том, в каком взаимном отношении должны находиться оба учения и исповедники этих учений, если они искренни.

Что сказал бы честный Брут, если бы, внезапно воскреснув, он был свидетелем взаимных учтивостей и нежностей поляков-католиков и евреев в Варшаве в прошлом году? Евреи в припадке восторга подносят католикам крест – эмблему распятия, распятия, совершенного евреями над тем, кого католики признают Богом. «Стало быть – евреи соглашаются со смыслом христианской эмблемы и уже отреклись от своего учения?» – спросил бы Брут. – Нисколько. Католики, со своей стороны, проливая слезы умиления, строят или дают деньги на постройку храма, синагоги, где должно раздаваться учение, противное Христову и христианству... «Стало быть, католики уже не исповедуют своего Христа?» – спросил бы Брут. – Нет, исповедуют, т. е. говорят, что исповедуют. Ксендз шествует с раввином под ручку, в процессии... «Ведь они оба служители храмов, – спросит опять наивный Брут, – проповедники учений несовместимых, противоположных? Значит, один уступил другому, или оба убедились в лживости своих учений, или каждый признал истину учения, своему противоположного? Но ведь одно исключает другое? Как же это согласить?» – Нет, оба числятся, каждый при своей вере. – «Так это не честно! – воскликнет Брут. – Было бы в тысячу раз честнее и нравственнее, если бы католики и евреи пришли друг к другу и сказали: мы отказываемся от Христа и его заповедей, а мы от Талмуда и ожиданий мессии, мы соединяемся друг с другом во имя нашего человеческого звания!.. Но так как они этого не говорят и продолжают официально принадлежать к учениям христианскому и еврейскому, то они являют безобразный пример гнусной лжи, лицемерия, неуважения к своему званию и презрения к народу, исповедующему свою веру искренне!..»

Согласитесь, читатель, что это правда, что так должен посудить всякий беспристрастный, даже чуждый иудаизма и христианства честный, правдивый человек! Но у наших прогрессистов есть в запасе словцо, которое, по их мнению, все разъясняет и разрешает. Это дух современной цивилизации, цивилизации XIX века. Что ж это такое? Новая религия, что ли? Где кодекс этой цивилизации? Где отыскивать ее, наконец? Даже еврейский журнал «Сион» и тот в одном из своих номеров опирается в требовании новых прав для евреев на просвещение XIX века. Невольно хочется спросить «Сион» (очень умный и замечательный журнал, между прочим): «Да какой эры этот XIX век? Это XIX век эры христианской, христианской проповеди и христианской цивилизации, вами отвергаемой, а потому вам и ссылаться на него неприлично. Что такое значит дух современной цивилизации? Выражается ли она в том, что англичане теснят славян и поддерживают гнет над ними турок, отвергающих цивилизацию? В учении материалистов, отвергающих понятие о добре и зле и низводящих человека на степень безответственного животного, лишенного внутренней свободы воли? В разврате ли женщин, проповедуемом некоторыми коммунистами? Очевидно, что повторяющие это слово сами не дают себе ясного в нем отчета и должны будут при допросе свести свои открытия в области цивилизации к тем нравственным истинам, которые все давно уже проповеданы миру именно Евангелием, которые действительно в наше время шире воплощаются в жизни, но которым еще далеко до полного на земле осуществления, согласно христианскому идеалу.

Итак, только во имя христианских же начал, а не какой-то цивилизации можно желать расширения льгот и прав для евреев, но нельзя же, опираясь на начала, внесенные в мир христианством, требовать отрицания и отвержения этих начал! Это бессмысленно. Веротерпимость, повелеваемая христианским учением, не значит вероугодливость, не значит равнодушие к вере, а еще менее – отречение от своей веры и своего знамени. Евреям должна быть предоставлена полная свобода вероиспо-

ведания, но там, где бы стали хлопотать, например, о преуспевании еврейского учения, о поддержке еврейской ортодоксии или о том, чтобы Закону Божиему учили настоящие, твердые в Талмуде, а не шаткие раввины, – там чрез это засвидетельствовалось бы только совершенное равнодушие к истине христианской. Можно допустить евреев в разные должности, но не в те должности, где власти их подчиняется быт христиан, где они могут иметь влияние на администрацию и законодательство христианской страны. К чему же вы будете отрекаться от своего знамени, когда евреи упорно держатся своего? Нам скажут: «В наше время вера ничего не значит, просвещенный еврей все равно, что христианин». Если ничего не значит, так зачем же еврей не отречется от своего закона публично, не объявит всенародно, что признает его ложным и принимает... Что? Ну, положим, хоть кодекс цивилизации XIX века, по-вашему, но согласитесь, что такое отречение необходимо. Если же еврей не решается на это отречение, то, стало быть, это противно его совести, стало быть, он дорожит и признает истинным учение своего Талмуда. А признавая истинным учение Талмуда, он должен действовать, он не может иначе действовать, как в духе своего учения, противоположного всем началам, которые легли в основу частного и общественного и государственного быта в христианской земле.

Мы никогда не враждовали с евреями. Мы признаем великие дарования этого народа и искренне сожалеем о его заблуждении. Мы готовы желать, чтобы обеспечена была ему полная свобода быта, самоуправления, развития, просвещения, торговли (разумеется, поскольку евреи способны уважать общие для всех граждан законы); мы готовы даже желать допущения их на жительство по всей России, но мы не можем желать для них административных и законодательных прав в России, в стране, которая предносит пред собою знамя христианства, создалась и развивается на началах христианской истины и, повторяем, не в ином смысле признаем возможным будущее применение нового закона о евреях. Допустить евреев к участию в законодательстве или в народном правительстве,

как в Англии (кроме дел, их непосредственно касающихся), мы считаем возможным только тогда, когда бы мы объявили, что отрекаемся и отказываемся от христианского путеводящего света. Совмещение же, с одной стороны, признания за евреями таких прав, с другой – официальной верности христианскому знамени, – есть ложь и лицемерие, вредные для народной нравственности и потому неспособные дать даже и на практике никаких прочно-полезных результатов.

Мы знаем, что против нашего мнения поднимется целый хор недобросовестных или непонятливых публицистов, что нас обвинят в отсталости, в варварстве, в невежестве и даже в фанатизме! Эти клеветы нам не страшны. Но неужели не найдется людей, способных рассмотреть вопрос хладнокровно и на основании простой логики? Или требование логики в сочинениях большей части наших публицистов есть требование неумеренное?..

Отчего евреям в России иметь ту равноправность, которая не дается нашим раскольникам?

Статья о евреях, помещенная в № 19 «Дня», произвела, как и следовало ожидать, истинный взрыв негодования во многих, преимущественно петербургских журналах, служащих по прогрессивной и либеральной части. Впрочем, кроме одной статьи, принадлежащей московской газете и на которую мы не замедлим отвечать, остальные, именно петербургские журналы, не представили никакого серьезного возражения: большая часть из них, имея во главе или в хвосте «Северную почту», только провозгласила хором отсталость и «косность» редакции «Дня» и дала публике новое свидетельство своего благородства, своего либерализма, своего великодушия, своего сочувствия к меньшей братии вообще и к угнетенным в особенности.

Сочувствие к угнетенным! Какие чудесные слова! Сколько в них нравственной красоты и великой, утешительной для

общества прогрессивной силы! Как же не ценить такое направление в нашей литературе, как же не отдать справедливости петербургским журналам и газетам, друг перед другом отличающимся широтой и возвышенностью чувств, от «Гудка» до фельетонов официального органа Министерства вн. дел с г. Василием Заочным включительно?

И действительно, наблюдать это литературное явление со стороны – в высшей степени интересно. Не раз задавали мы себе вопрос: то сострадание к человечеству – есть ли оно искреннее движение общественной совести, одним словом – явление, порождаемое положительными нравственными требованиями общества, или же только выражение протеста, вполне законного, против гнетущей силы, сочувствие неразборчивое, отвлеченное, не справляющееся с действительностью, основанное не на любви к добру, а на отрицании зла? Разумеется, первое, т. е. любовь, несравненно труднее, потому что требует от человека положительных дел и жертв, и вообще – проявлений реальных, второе же – гораздо легче и может дешевым способом поставить человека в красивое общественное положение, но тем не менее и оно – явление вполне законное, почтенное и утешительное. Мы готовы были бы охотно признать, что сострадательность нашей литературы проистекает из того или другого источника, если бы она не переходила так часто в приторную и пошлую сентиментальность, если б в ней было более знания дела (мы, конечно, разумеем здесь не «Мертвый дом» г. Достоевского, не «Основу», да и вообще имеем в виду не отдельные статьи в том или другом периодическом издании, а главный, общий, господствующий характер их направления), если б, наконец, нас не смущало следующее постоянное противоречие.

Те петербургские органы литературы, которые по преимуществу щеголяют «демократическим» направлением, а, следовательно, и состраданием к народу, к угнетенной меньшей братии вообще, не только оказывают полнейшее презрение к народу, но постоянно оскорбляют и, так сказать, нравственно угнетают самые заветные стороны его духа, его святыню, его

убеждения, его веру, его народность – одним словом, то, что для него дороже всего на свете! Должно быть, любить человечество вообще – еще не значит любить человечество русское, которое обувается в лапти, сапоги, смазываемые дегтем, и одевается в нагольные тулупы; наконец, даже и любить русское человечество с его демократической одеждой – еще вовсе не значит уважать его, его духовные и гражданские требования... Наши чувствительные демократы обыкновенно создают из народа какой-то идеал по образу и по подобию своему, и только в этом виде ему и сочувствуют, не признавая за ним никакого права быть самим собой и нисколько не чинясь с истинным образом народным, как скоро замечают в нем несходство со своим идеалом. Они даже не прочь в таком случае прибегнуть и к диктаторскому жезлу или просто к палке Петра Великого, чтобы сим сострадательным способом вогнать народ в рамки своего демократического подобия!

Итак, мы нисколько не верим тому широкому и великодушному состраданию к угнетенным, тому сочувствию к народу, которое знать не хочет коренных основ русской, до сих пор нравственно угнетенной народности, как и вообще не верим петербургскому демократизму: мы решительно считаем его одного поля ягодой с петербургским аристократизмом, бюрократизмом и со всем тем, против чего он ратует: все они выросли на одной и той же почве, лежащей гнетом поверх русской земли, наследовали тот же дух петровского презрения к русскому народу, хотя бы причесывались a la moujick, щеголяли в поддевках и толковали о земстве!..

Наконец, есть еще третье объяснение – и едва ли не самое истинное – того «благородного негодования», которым преисполнились петербургские журналы по поводу евреев и вообще преисполняются при каждом удобном случае. Оказывается, что мы, русские (т. е. русское образованное общество), не только в области мысли, но и в области чувства, любви, сострадания не умеем быть самостоятельными и платим дань подражательности Западной Европе. Действительно, разве мы не хлопотали об уничтожении постыдного торга африканскими невольниками

еще лет за 25 до освобождения наших крепостных? Разве критик петербургского журнала (одного из толстых) недавно при разборе сочинений И.В. Киреевского не поставил ему упреком того, что он в 1831 году занимался за границей германской философией, а не болел сердцем о том, «что есть французский блузник» или «как французский буржуа давит индивидуальное развитие своих сыновей и дочерей»: мы бы еще поверили сострадательности критика, если б он указал на наши русские общественные вопросы, на бедствие наших крестьян и рабочих, но он о них и не упомянул: это забвение многознаменательно. Разве «Русский инвалид», горячо сочувствующий делу итальянского единства, не глумится в то же время над сочувствием к единоплеменникам-славянам, выражаясь даже таким образом, что «смешно и нелепо сожалеть об угнетенных славянах, чем о неграх!» И в самом деле: единоплеменники! Какая узость взгляда! Нет, мы космополиты, а почему мы не называем узким стремление пьемонтцев освободить всех единоплеменников своих итальянцев от чуждого ига. Это... это потому, что ведь они, итальянцы, и даже все, до последнего мужика (каково просвещение!) умеют по-итальянски, а славян Европа ненавидит или презирает!..

Так и относительно евреев. Этот вопрос имеет известность европейскую: французы, немцы, англичане дали ему самое либеральное разрешение; чего же тут сомневаться? Кто посмеет идти против такого авторитета? Напротив – тут можно либеральничать безопасно, потому что за нас стоит авторитет европейский, можно легким способом удостоиться аттенции[1] иностранной журналистики и самому, в собственном сердце, почувствовать себя передовым человеком!..

А подумал ли, вспомнил ли хоть кто-нибудь из благородных защитников принципа допущения евреев к высшим должностям в государстве о той громадной массе русских, лишенных даже и тех прав, которыми евреи пользовались постоянно, прежде последней дарованной им льготы, пользовались едва ли не с самого начала их поселения в Малороссии? Кому из «либералов» пришли по поводу евреев на память – хоть наши

старообрядцы беспоповщинского толка? Конечно – это свои; необразованное мужичье, коснеющее в предрассудках, за них еще не стыдили нас ни французы, ни англичане: со своими что за счеты! И в самом деле, отчего ни один, так близко принимающий к сердцу положение еврейского народа, отчего сам г. Мельгунов, доказывающий в «Нашем времени», что для исправления правосудия в России необходимо допустить в личный состав судов немецких евреев, не сказал при этом случае ни слова о раскольниках, а если и упомянул про русского человека, так только для того, чтоб назвать его тут же, кстати, плутом?!

Мы вовсе не сочувствуем расколу как расколу, но говорим только, что странен и подозрителен рьяный восторг, в который наши либералы приходят при мысли о новых правах евреев, когда наши беспоповщинцы и вообще старообрядцы не могут быть избираемы в городские общественные должности, не могут строить молелен, когда их сожительство с женами не признается нашим законодательством за брак наравне с еврейским и дети не считаются законными?..

На этот раз воздерживаемся от более пространных суждений о расколе, довольствуясь сделанным нами заявлением и отлагая подробнейшее рассмотрение этого вопроса до... другого времени.

Что такое «еврей» относительно христианской цивилизации?

Что такое «еврейский вопрос» в России, да и не в России только, а вообще в христианской Европе? Этот вопрос состоит собственно в том, каким образом заглушить тот диссонанс, примирить то противоречие, которое представляет существование еврейского племени среди христианского общества, т. е. племени, отрицающего самую коренную основу христианского общества, самые его права на бытие? Другими словами: как устроить отношение к национальности христианского

народа – такой национальности, которая все свое определение находит только в отрицании христианства, – и других элементов национальности, даже почти и физиологических не имеет? Если бы евреи отступились от своих религиозных верований и признали во Христе истинного мессию, никакого бы еврейского вопроса и не существовало. Они тотчас бы слились с теми христианскими народами, среди которых обитают. Следовательно, разрешение этого трудного, многосложного, тяжелого и скучного вопроса, по-видимому, очень легко: нужно только осознать свои заблуждения, отказаться от того, что все гг. прогрессисты из евреев же называют предрассудками. Но тогда бы не было и вопроса, а вопрос существует именно потому, что евреи желают быть согражданами христианского общества, оставаясь в то же время верными своему «закону», стало быть, они дорожат этим «законом», стало быть, они вполне разделяют все чаяния, сопряженные с иудаизмом как вероучением, проникнуты в душе той же исключительностью, которая составляла некогда священную особенность этого племени до христианства, но которая упразднена исполнением обетования во Христе и призванием к участию в благодати всего человечества. Если же таково внутреннее духовное отношение евреев к христианам, так, строго говоря, тут примирение невозможно. Искренне верующий еврей и искренне верующий христианин могут сосуществовать в одном месте, друг подле друга, связанные внешним гражданским союзом, но без духовного единения, но не составляя друг с другом никакого общего нравственного целого: они в области сознания исключают друг друга. Нам могут заметить, что и в среде христиан очень много людей неверующих, отрицающих христианство. Конечно, так, но это отрицание, являющееся внутри самого христианского общества, совсем другого качества и значения, чем отрицание христианства евреями. В христианском обществе (в обширном смысле слова) атеизм является фактом партикулярным, личным, как бы ни было велико число отдельных атеистических личностей; они – эти атеисты – как бы ни было рьяно их отрицание, вращаются в том же круге христианского общечелове-

ческого сознания – только в отрицательном к нему отношении, и на место отрицаемого не могут поставить ничего положительного: ни нового высшего нравственного идеала, ни новой веры (так как они вообще отвергают всякую жизнь веры в человеке); ни той полноты знания, которая бы способна была заменить веру. Они только не христиане по личным убеждениям, но сами по себе не суть провозвестники новой положительной истины. Совсем в ином отношении находятся к христианству евреи. Их отрицание тем сильнее, чем теснее связь христианства с иудаизмом. И какая связь: это логическая преемственная связь двух исторических моментов духовного развития человечества (попытаемся рассмотреть вопрос с точки зрения чисто исторической, а не с той точки зрения, которая непременно предполагает присутствие личной веры: в последнем случае каждому легко уклоняться от спора). Христианство есть венец иудаизма – конечная цель, к которой иудаизм стремился, которая осмыслила все его историческое бытие. Ни в истории, как явления исторические, ни в логическом сознании, как факты сознания, – христианство и иудаизм немыслимы один без другого: христианство немыслимо без предшествовавшего ему иудаизма, и последний только в христианстве нашел свое объяснение и оправдание. Что же такое евреи в наше время? Это воплощение отжившего исторического периода, это застывший, упраздненный момент общечеловеческого духовного развития, общечеловеческого сознания, – момент, которого притязания на дальнейшую историческую жизнь равносильны отрицанию всего последовавшего после него развития человечества. Еврей есть анахронизм, но анахронизм, не мирящийся со своей участью, а претендующий на значение современное. Между тем, если бы этот анахронизм имел значение современное, то этим бы исключалось все прочее ныне современное существующее, – все, что является теперь как логический вывод из времени предшествующего. Если верование еврея имеет логическое право на бытие в наше время, т. е. если предположить, что оно нисколько не упразднено историей, то не только христианство не имеет смысла, как последующий логический

момент общечеловеческого религиозного сознания, но и вся история человечества от времен Христа, со всей новейшей, т. е. христианской цивилизацией, лишается всякой разумной логической основы, является какой-то необъяснимой случайностью, теряет право на историческое бытие! Еврей, отрицая христианство и предъявляя притязания иудаизма, отрицает вместе с тем логически все до 1864 года успехи человеческой истории и возвращает человечество на ту ступень, в тот момент сознания, в котором оно обреталось до явления Христа на земле. В этом случае еврей не просто неверующий, как атеист, – нет: он, напротив, верит всей силой души, признает веру, как и христианин, существенным содержанием человеческого духа, и отрицает христианство – не как веру вообще, а в самой его логической основе и исторической законности. Верующий еврей продолжает в своем сознании распинать Христа и бороться в мыслях, отчаянно и яростно, за отжитое право духовного первенства, – бороться с Тем, Который пришел упразднить «закон» – исполнением его.

Найдутся, пожалуй, такие господа, которые обвинят нас в желании разжечь взаимную ненависть христиан и евреев, возбудить религиозный фанатизм и т.д. Этим господам несравненно привольнее пребывать в каком-то смутном состоянии, в какой-то сырой неопределенности мысли и чувства, не разрешая противоречий, не отдавая себе ясного отчета ни в чем, не подвергая логической пытке внутренний мир своего сознания. Таким безобразным смещением, такой путаницей понятий особенно страждет наша российская общественная современность, прикрывая плащом прогресса, гуманности и т.д. – свою тощую логику. Русское общество закидано кругом таким множеством блестящих фраз, так называемых «последних результатов науки» и «аксиом всего просвещенного мира», что от них, кроме сумбура, ничего в головах и не остается. Если Пушкин, говоря про одного генерала, сказал: «Он чином от ума избавлен», то едва ли не с большим правом можно применить это и к нашим господам, красующимся в чинах либералов, гуманистов, прогрессистов и проч. Главная задача людей

мыслящих и искренно любящих Россию, в наше время должна бы состоять в критической поверке всего того умственного и нравственного хлама, который накопился в русских людях вследствие ложного, несамостоятельного развития нашего просвещения, – в строгом разборе тех ходячих фраз, которыми пробавляется значительная часть нашего общества, и едва ли не преимущественно в высших его сферах. Никогда разъяснение истины не приведет ко лжи и злу, никогда свет не создаст мрака – напротив, точнее и отчетливее определит настоящие отношения жизненных явлений между собой. Что же касается до евреев, то всякое разъяснение этого вопроса, с одной стороны, поможет только еще более разогнать мрак фанатического неразумия и слепой ненависти, а с другой – способно, может быть, будет и воздержать несколько от потворства лжи, от излишней и грешной любезности с ней, от вредного притупления нравственного чувства и от опасных уступок в ущерб русской народности.

Мы хотели бы уяснить для сознания самих евреев всю полноту противоречия, представляемого иудаизмом в мире христианском. «Иудей, – говорит Хомяков в своих «Исторических записках», – после Христа, есть живая бессмыслица, не имеющая разумного существования и потому никакого значения в историческом мире»... Логический выход из такого положения возможен только один: отречься от жидовства и принять те начала, которые составляют закон всего современного просвещенного мира. Это честный, прямой и вполне плодотворный выход, но есть и другой – путь отрицательный и более комфортабельный – путь безверия: перестать быть жидом, не отрекаясь от жидовства, но не делаться и христианином, а чем-то средним, какой-то нравственной и умственной амфибией. Это то, что прогрессисты-евреи, называют: примкнуть к общечеловеческой цивилизации. По нашему мнению, это значит повиснуть на воздухе, но не так ведь думают прогрессисты, и мы желали бы, чтобы сами эти евреи объяснили нам, что это за почва, на которую они предполагают стать, отрешившись от религиозных предрассудков своей народно-

сти и не пристав к религиозным убеждениям той или другой европейской народности, среди которой они живут? Они не евреи и не христиане в смысле верования, что же они такое? Философы... Какие? Какой из школ – ведь им нет числа? Да и какая из них вполне закончена, представляет вполне установившуюся систему, не отстраняемую дальнейшим прогрессом мышления? Не пришли ли наконец эти школы в своем логическом развитии и в попытках утвердить абсолютную истину на чистом логическом основании – вне религии, к отрицанию всякой абсолютной истины, подставив, так сказать, человечеству под ноги вечно колеблющуюся почву истин относительных? К тому же вообще современная философия едва ли может быть понята совершенно отвлеченно, независимо от всякого религиозного и даже христианского сознания: она возится с ним, борется или отрицает, старается разрешить вопросы, им поставленные, внести критику разума в целый мир представлений, неизвестных дохристианскому историческому миру и неразлучных с человеческим сознанием – с наступлением христианского периода истории... Посмотрим теперь на другую сторону общечеловеческой цивилизации по отношению к еврею – на нравственно-бытовую. Влияние христианства как начала общественного и бытового пребывает в человеке, принадлежащем к быту христианского общества, и действует в нем непосредственно, нередко даже без его ведома и сознания, и хотя бы даже он умственно и отрицал христианство. Но не таково положение еврея. Он чужд или имеет притязание быть чуждым влияния христианства как общественного и бытового начала. Если бы даже еврей и уверял, что мыслью своей он принадлежит к школе того или другого философа, то пришлось бы все-таки спросить каждого еврея – к какой школе он принадлежит в своем быту, каким общественным нравственным началом он руководствуется? Мы не предложим этого вопроса даже нигилисту-христианину, ибо убеждены, что разрыв его с христианством чисто внешний и что есть нравственные пределы, чрез которые не позволит переступить ему его совесть, – которая, будучи раз просвещена христиан-

ским сознанием, никогда не может снизойти до спокойного состояния совести язычника. Она всегда будет предъявлять запросы, на которые надо будет приискивать успокоительные ответы. Мы, конечно, разумеем здесь не тех падших, загрубелых злодеев, которые случаются и в христианском обществе: мы говорим о нормальном состоянии совести и нравственной природы человека. От христианского нравственного сознания невозможно отделаться человеку – раз, когда оно его коснулось, – непосредственно ли, или посредством общества, среди которого он возрос и воспитался. Но еврей, имеющий притязание стоять вообще вне всякого христианского сознания и действительно пребывавший в постоянном разобщении с христианским духовным миром через свои религиозные верования, – еврей, отрекшись от этих верований и, следовательно, от обязательности бытового еврейского нравственного закона, каким новым нравственным, общественным и бытовым законом будет управляться в частном и общественном быту? Законом личной совести, на сердцах написанным. Но сердце человека подвижно, и почему же может быть обязательно для человека слушаться своей совести, как скоро она не освещена и не освящена христианским вероучением, раскрывшим человеку всю полноту нравственного закона, в нем пребывающего, и призвавшим его к бесконечному совершенствованию? Вне христианского света, внесенного во внутренний мир совести человека, совесть блуждает в потемках, естественное сознание естественных законов совести неясно, шатко и зыбко; и к тому же его очевидно недостаточно для человека, уже вышедшего из состояния естественности. Что же касается до внешних, формальных законов тех государств, в области которых приходится еврею жить, то как бы строго ни подчинялся им еврей, эти законы нисколько не отстраняют нравственной высшей истины и не простираются на область частного и общественного быта. Внешняя правда, ими выражаемая, не только недостаточна сама по себе, но и немыслима без восполнения ее законами внутренней правды, живущими в христианском сознании общества. Государство, конечно, не есть церковь; но

общество, которому государство это служит щитом и органическим внешним покровом, есть общество христианское.

Одним словом, еврей, отрешающийся от веры отцов своих и желающий в то же время стоять вне христианства, является пред нами человеком не только без веры, но и без всякого нравственного закона, который бы управлял его внутренним миром и его отношениями к обществу, – он стоит вне тех общественных и бытовых начал, на которых созиждено, стоит и которыми управляется современное общество, которые образуют воздух, атмосферу этого общества, живут и действуют в его членах, несмотря даже на личное отношение их мысли к этим началам: в этом именно и заключается нравственная гарантия внутренней безопасности для общества. Впрочем, в большей или меньшей степени то же самое может быть сказано не только о христианском, но и о всяком другом обществе, руководящемся каким-либо религиозно-нравственным верованием. Когда вам говорят про общество магометанское, иудейское, буддийское, вы знаете, каким нравственным законом оно управляется, и члены его в пределах этого общего, ими признанного закона считают себя нравственно обеспеченными. Но как скоро вам рекомендуется человек, ссылающийся, вместо нравственно-религиозного закона, на общечеловеческую цивилизацию, то вы, естественно, зададите себе вопрос, где же общий кодекс нравственных прав и обязанностей этой цивилизации, поставляющей себя вне религии как догмы и как бытового начала? Здесь что ни человек, то особый кодекс, и каждого сына таковой цивилизации пришлось бы поневоле подвергнуть особливому допросу и справке насчет его нравственных правил. Общего кодекса не оказывается. Можно было бы, например, предполагать, что общечеловеческая цивилизация выработала убеждение, что красть не следует и что это дело скверное. Но вот вам учение, объявляющее себя последним новейшим словом общечеловеческой цивилизации, которое низводит человека до скота, освобождает его от нравственной вменяемости преступлений и торжественно объявляет, что человек имеет полное нравственное право красть,

если это ему нравится (один из публицистов «Русского слова» объявил, что он не крадет по тому же самому, почему не любит тухлую говядину, но что если он может получить вкус из тухлой говядины, то вправе получить вкус и к воровству, в чем не будет состоять никакого нравственного преступления). Пусть же те, которые не признают для себя других основ, кроме «общечеловеческой цивилизации», определят и обнародуют нам, что именно из нее будет выбрано, выжато, процежено ими, что именно они принимают за обязательный для себя кодекс? Но на чем же будет основана эта обязательность? На личном вкусе и произволе: она не коренится в глубине духа, она не связана в сознании со всем, что есть заветнейшего для человека, с началом начал и причиной причин всего сущего – одним словом, с идеей Бога...

Мы просим извинения у наших читателей за этот длинный и скучный разбор еврейских притязаний – довольствоваться общечеловеческой цивилизацией вне каких бы то ни было религиозно-нравственных верований. Мы видели, что все эти притязания, вся эта драпировка плащом цивилизации есть чистейшая нелепость, громкая фраза, прикрывающая или лицемерие, или совершеннейшую пустоту души и мысли, или сумбур умственный и нравственный, с которым, конечно, можно иной раз очень благополучно просуществовать, но на котором нельзя ничего созидать или основывать. Мы не думаем, что было особенно выгодно для общества размножение такого рода амфибий, умственных и нравственных, особенно же если эти амфибии получают в обществе положение довольно значительное...

Говоря по правде, евреи, приобщающиеся к общечеловеческой, т. е. европейской цивилизации, невольно и непременно приобщаются и к жизненной стихии европеизма, т. е. к христианству; ибо европейская цивилизация есть продукт не только древнего, но и христианского мира, и христианство входит в нее как такой ее существенный элемент, который никак из нее выкраден быть не может. Учение Христа стало отныне законом всей позднейшей жизни мира; по крайней мере,

христианство, как говорит Хомяков в тех же своих записках, «обусловливает до сих пор крайние пределы развития народов, его исповедующих. Таков смысл всякой религии, продолжает он: она есть граница всего духовного и умственного мира для человека. Народ, выступивший из границ своего верования, создает себе верование новое; отрицание же, еще не создавшее нового положения, находится в прямой зависимости от положения отвергаемого. Поэтому христианство до нашего времени (принимаемое или отрицаемое) есть закон всего просвещенного мира – и народы, принявшие проповедь иудейских рыбаков, сделались властителями всего земного шара и вождями человечества»... Но, приобщаясь вместе с цивилизацией и к жизненной стихии цивилизации, образованные евреи – по странному заблуждению или по явной недобросовестности – не хотят в том сознаться. Как люди развитые, они не могут не признавать нравственного закона Христа совершеннейшим; они не могут не видеть, что воздух, которым они дышат, есть христианство; они должны наконец необходимо проникнуться этим воздухом, усвоить себе христианскую точку зрения – уже для одного того, чтоб уразуметь явления европейской цивилизации, – чтобы понимать Данте, Шиллера, Гете с его Фаустом, Рафаэля, Шекспира и пр., на что они всегда предъявляют претензию...

Но не приняв христианства в душу искренне и сознательно, не признав открыто его власти над собой, они становятся в ложное, неискреннее отношение к европейской цивилизации, а при таком отношении их участие в ней не может быть истинно плодотворно. История цивилизации новейших времен должна определить место, занимаемое в ней элементом иудейским, особенно в Германии, где деятельность таких евреев, отставших от Моисеевых и не приставших ни к каким иным религиозным верованиям, довольно сильна. Всякому ясно, что из еврея не выйдет ни Гете, ни Шиллера, ни Шекспира, а выйдет разве только Гейне и Берне. Мы думаем, что германский дух много размельчал от вторжения в него подобных еврейских ингредиентов. Еще менее можем мы ожидать блага от этого

вторжения «цивилизованных евреев» в духовную жизнь русского народа, которая вся проникнута началом религиозным.

Но богатое дарами племя евреев могло бы богато оплодотворить собой почву европейских обществ, если бы вместе с искренним отречением от иудаизма оно также искренно прилепилось к истине христианства. Вне этого – им суждено, со своим так называемым общечеловеческим просвещением, стать – повторяем еще раз – амфибиями во всех смыслах, без национальности, без религии, без нравственности, и внести лицемерие и фальшь в область европейского христианского просвещения.

Не об эмансипации евреев следует толковать, а об эмансипации русских от евреев

Одно из самых привилегированных племен в России – это, несомненно, евреи в наших западных и южных губерниях. Несомненно и то, что такая привилегированность составляет не только аномалию, но и положительное зло для целого края, да сверх того несовместима и с собственной пользой евреев. Может быть, покажется странным, что мы говорим о привилегированности племени, которое у нас привыкли считать загнанным и обиженным и к которому всякий предъявляющий притязание на звание гуманного и передового человека вменяет себе в обязанность относиться с особенной симпатией. Отчасти под влиянием этой несвободной симпатии, а отчасти и в силу более серьезных и разумных оснований издан целый ряд законодательных мер, пролагающий для евреев путь к совершенной равноправности с полноправнейшими подданными Российской империи. За исключением некоторых еще остающихся ограничений, между прочим ограничения селиться в великорусских губерниях, евреи (не говоря уже о тех, что учились в университетах) почти уже сравнены в правах с коренными русскими. Но, пользуясь такой равноправностью, евреи в то же время образуют из себя особые еврейские общества,

имеют свое отдельное, законом огражденное еврейское самоуправление. Как же иначе как не привилегией назвать этот наддаток к общим правам, в силу которого тесно сплоченные и замкнутые еврейские общины представляются каким-то status in statu, государством в государстве, изъятым из действия общих законов?

В последнее время пущена в оборот мысль, что евреи не только русские подданные, но просто русские, такие же, как и все мы, русские, только «Моисеева закона». Это стало любимой темой еврейских и даже русских публицистов. Разница только в вере, говорят они, и не в этом состоит народность. Если так, с чем мы, впрочем, не согласны, то зачем же узаконенная особенность еврейских обществ? Вероисповедание не может здесь служить основанием, потому что ни лютеране, ни католики не составляют из себя отдельных гражданских обществ; они имеют только свои особые церковные управления, что могут иметь и евреи. Стало быть, и еврейская религия не может быть достаточной причиной для отдельности еврейского самоуправления, да и не должна – по самому учению еврейских публицистов, отрицающих значение веры как элемента народности. И действительно, девятый том Св. Законов о состояниях не делит русских подданных по вероисповеданию и ни слова не говорит об иноверцах. Он установляет только различные права состояния для природных обывателей, для инородцев и для иностранцев, и в числе инородцев включает евреев, для которых излагает особые узаконения: очевидно, что закон рассматривает их как особую народность. Таким образом, самое существование евреев в России, отдельными общинами, тем самым противоречит уверению евреев, что они «русские». Если же их желание «быть русскими» искренне; если евреи действительно не составляют и не хотят составлять особой народности, то они первые должны стремиться к совершенному уничтожению их отдельного самоуправления, кагального устройства и иных подобных учреждений. В противном случае мы вправе усомниться в их искренности, вправе подумать, что они, желая быть русскими, хотят в то же время остаться и евреями – не по

одному только вероисповеданию принадлежать в одно время и к русской национальности, и к еврейской, пользоваться и общими правами, и особыми исключительными, получающими при таких условиях уже значение привилегий. Евреи, конечно, станут напирать на то, что эта исключительность обусловливается не различием народности, а различием религии. Но мы уже показали, что различие религии не признается законом достаточным поводом к образованию особенного общественного устройства, и евреям остается только или признать, что их религия действительно создает из них особую еврейскую народность, чуждую и даже враждебную всякой иноверной народности, и в таком случае отречься от притязаний на равноправность и национальное с Россией единство, или же ограничиться в отношении к вероисповеданию особым духовным управлением по образцу, например, лютеранского, и затем во всех других отношениях отказаться от всякого еврейского самоуправления и от существования отдельными еврейскими обществами. Мы лично можем находить более правды и логики в том мнении, которое не отделяет еврейской веры от еврейской народности, но последний выход из дилеммы, т. е. отречение от всяких притязаний на еврейскую народность считаем более сообразным с пользой и государства и самих евреев, и именно потому что оно вносит духовное раздвоение в среду самого еврейства. Для государства оно выгодно тем, что, подрывая еврейский фанатизм в самом основании, в то же время разбивает крепкую замкнутость еврейских общин, с которыми так трудно справляться и полиции, и высшей администрации, и облегчает действие власти, допуская возможность большего единообразия в управлении. До сих пор под покровом своеобразной общественной организации еврейство имеет возможность и право сохраняться впрок, словно под стеклянным колпаком, как отдельная народность; переставая признавать евреев как отдельное гражданское общество, правительство сняло бы с них этот колпак, подвергло бы еврейство разлагающему действию воздуха и света, и вытащило бы наружу, из темных нор, гнезда самого отвратительного и фанатического изуверства.

Для евреев же собственно такая мера была бы полезна уже тем, что высвободила бы их из-под деспотической власти раввинов, цадиков, кагалов и т.п. и сломила бы лишнюю искусственную преграду, отделяющую их от русского общества, оставив только преграды чисто нравственного свойства, уничтожение которых зависело бы уже от нравственного и религиозного развития самих евреев и во всяком случае было бы легче.

Такой конечный результат, сколько можно судить по общему духу законодательных мер, составляет задачу и самого правительства. Но потому-то и странно это противоречие: уравнивая евреев в правах с русскими, расширяя их льготы, правительство в то же время не только оставляет за ними старые особенности еврейского общественного устройства, но и вводит новые, которые все вместе делают из евреев отдельное крепко организованное и плотно замкнутое религиозно-народное общество. Мы разумеем здесь не одно кагальное и иное устройство с кошерными и коробочными сборами и прочими гражданскими отличиями и привилегиями, но и учреждение особых казенных еврейских училищ ведомства министерства народного просвещения, особых для евреев гимназий, инспекций и дирекций, а также и организованное казенное попечение об еврейском православии, об образовании искренне убежденных в правоте своей религии раввинов и т.д., и т.д.

Во всяком случае, современное общественное устройство евреев представляется, повторяем, каким-то status in statu[1] в Западном крае, где премудрость польских королей и польской шляхты укрепила еврейское владычество еще издавна. Толкуют об эмансипации евреев. Вопрос должен быть поставлен иначе: это вопрос не об эмансипации евреев, а об эмансипации русского населения от евреев, об освобождении русских людей на западе, отчасти и на юге России, от еврейского ига. Эта точка зрения несравненно правильнее. Поставив себе задачей прежде всего пользу своих, своего народа, мы придем, пожалуй, и к необходимости эмансипировать евреев, но не теряя из виду благо русского населения, соображая льготы евреям с действительной пользой, прежде всего, русских жителей.

От общих рассуждений перейдем к частным фактам.

Читатели найдут в этом же номере статью, которую мы сочли приличным озаглавить: «Еврейская привилегия». В справедливости рассказа г-жи Кохановской мы сомневаться не можем, да к тому же рассказ ее служит только подтверждением известия о таком же однородном случае, сообщенном в «Московских Ведомостях», и сам в свою очередь им подтверждается. Ничто лучше не обрисовывает положения дел, ничто так не характеризует подчиненного отношения местной русской власти к еврейской силе, русского общества к еврейской тесно сплоченной общине в Западном крае, как рассказанное г-жей Кохановской происшествие. А между тем это происшествие не выходит из разряда обыденных и только благодаря случаю получает огласку. Впрочем, сколько и оглашенных известий о деспотизме раввинов, о фанатизме цадиков, о торговле людьми, устроенной евреями для поставки рекрутов, о кабале, в которой держит еврей сельский русский люд, – сколько таких известий, рассеянных в газетах, оставлено и русской публикой, и русскими публицистами без внимания! Но сопоставляя эти известия вместе с печатаемым нами рассказом, невольно ужасаешься такому иудейскому пленению Руси; невольно спрашиваешь себя: где мы, в России или действительно в жидовской Палестине, как издавна прозывается наш Западный край? Происшествие, описанное г-жой Кохановской, возмутительно не только для православного чувства, но и для достоинства русского. Русские в России не безопасны и бессильны против еврейского фанатизма! Его трепещет и христианский пастырь, и полиция, и нужна военная стража, чтоб ограждать в России еврея, посещающего дом православного священника! Если действительно существует правило, упоминаемое в статье г-жи Кохановской, в силу которого никто из евреев, желающих принять православную веру, не может быть допущен к св. крещению ранее шести недель и без увольнительного свидетельства от еврейского общества, то это такая привилегия, которой не пользуется ни одно из неправославных вероисповеданий. Ни для католика, ни для протестанта нет тех препятствий к

переходу в православие, какие полагает закон евреям. Можно было бы подумать, что русский закон специально печется об ограждении духовной целости еврейского племени и деспотической власти еврейской общины над совестью ее членов. Как будто легко добиться еврею, желающему перейти в православие, увольнения от своего общества! Как будто в интересах еврейства выдавать такие увольнения! Общественное мнение России не может не негодовать на такую неправильность отношений русской народности к инородцам, не может не видеть в таком положении дел достойных плодов того печального, теперь уже почти минувшего периода нашей истории, которого господствующей характеристической чертой было безверие и общества, и правительства в силу и право русской народности. Если бы народное самосознание в нас было само живой органической силой, живым могучим двигателем нашей политики, нашей административной и общественной деятельности, то не существовало бы ни польского, ни еврейского, ни немецкого вопросов, ни всего этого русского похмелья в чужом пиру. Теперь же приходится «эмансипировать», т. е. высвобождать русский люд и русские земли из нами же созданных отношений к пришельцам и инородцам. Нельзя не признать, что было бы полезно пролить как можно более света на темные вертепы еврейского мира в России и предать еврейское изуверство беспощадной огласке. Такая огласка сильнее, чем какое-либо иное средство, побудит образованную часть евреев, претендующую на слияние с русскими, на звание «Русских Моисеева закона», отделиться от своих собратий-фанатиков и обратиться со словом осуждения к еврейской теме. Такая огласка выведет начистоту и самое положение еврейства, и уровень его образованности, и степень искренности евреев-прогрессистов, – да выяснит и для русского общества, вместе с администрацией, какие именно реформы и меры в настоящее время могут быть действительны и необходимы. Мы уже отчасти испытали это, напечатав в «Дне» «краткий разбор Талмуда» и поставив евреев в необходимость отозваться откровенно – признают ли они правила Талмуда за руководство... Такого разоблачения, каза-

лось бы, всего приличнее ожидать от «Виленского Вестника», находящегося в самом центре еврейского царства... Но не возлагая на него надежды, приглашаем к такому труду тех из наших сотрудников, которые знакомы с евреями не по слуху, а на месте и на деле.

«Либералы» по поводу разгрома евреев

Теперь, кажется, можно приступить и к обсуждению недавнего народного самоуправства на юге, не опасаясь «либерального» обвинения со стороны нашей «либеральной» прессы в преступном подстрекательстве. Читатели знают, конечно, что некоторые органы нашей печати не погнушались при первой вести о начавшемся движении против евреев обвинить в нем те газеты ненавистного им литературного лагеря, которые после события 1 марта позволили себе изливать свое негодование на прямых и косвенных виновников позорной катастрофы слишком-де горячо и резко, чем будто бы не только нарушили «молитвенно-горестное настроение» (sic) как «либералов», так и русского общества, но и возбудили, наконец, народные страсти. Газета «Порядок», в течение всего марта месяца наставлявшая нас «благоразумию и умеренности», мгновенно утратила эти превосходные качества, как только проведала о происшествиях в Елисаветграде и провозгласила, что вся беда от слишком частого употребления в печати и в официальных актах слов «крамола» и «крамольник». В Малороссии, вещал «Порядок», ссылаясь на своего корреспондента, существует слово краморник – торговец, а народ, приглашенный искоренять крамольников и не понимающий этого выражения, принял, по созвучию, за крамольников – краморников! Выходило, таким образом, что никто другой, как само же правительство вместе с некоторыми газетами в слепом озлоблении на «крамолу» подало повод к каламбуру, который и породил трагедию! Однако ж тенденциозность и лживость такого остроумного измышления были немедленно обличе-

ны вполне компетентным судьей в настоящем деле – газетой «Киевлянин»: оказалось, что слова «краморник» у малороссов никогда и не бывало, а имеется слово «крамарь», которое означает торговца красным или мелочным товаром и никогда специально к евреям не прилагается: ни один крамарь из христиан тронут не был, и, наоборот, разорены дома шинкарей, откупщиков, банкиров-евреев, которых ни один малоросс никогда крамарями не называл и не назовет. Мы упомянули об этом каламбуре «Порядка» только для того, чтобы читатели сами сообразили: много ли правды можно ожидать в суждениях этой прессы по поводу последней народной расправы на нашем юге и юго-западе...

Теперь народная расправа с евреями, слава Богу, прекращена: началась другая расправа – административная, а также и еврейская расправа – с самим народом. Деятельно производится, частью уже и произведено следствие, творится суд, и результаты его настолько уже известны, что позволяют верную и беспристрастную оценку событий. Если «начальство» долго и упрямо, но совершенно неверно удерживало за ними скромное название «беспорядков», то также ошибочно другое выражение, пущенное в ход некоторой частью нашей печати и ее услужливыми корреспондентами, – «избиение евреев». Именно избиения-то и не было, и это, конечно, в высшей степени замечательно. Можно даже удивляться такому самообладанию расходившейся, разнузданной, по-видимому, народной массы. Нельзя сказать, чтоб толпы были совсем безоружны: у них не было, конечно, огнестрельных орудий, но имелись и топоры, и ломы; они однако ж употреблялись только как орудия разрушения, а не убоя. Нам укажут, может быть, на два, на три отдельных случая избиения, но что значат эти два, три случая там, где таковых могли быть тысячи? Да и эти случаи были вызваны вооруженным сопротивлением самих же евреев, из которых многие запаслись револьверами, стреляли из них в толпу и приводили ее в раздражение. Евреев избитых, по всем данным, столько же, сколько и избитых евреями русских, если не менее.

Другая отличительная особенность этого движения – отсутствие грабежа. Это не был грабеж, это был разгром еврейского имущества, разгром дикий, насильственный, буйный, но бескорыстный: в этом его главная общая характеристика, которой не могут изменить некоторые случайные исключения. Грабили, – даже нельзя сказать, чтоб в том смысле, как этот термин понимается уголовным законом, а скорее: присваивали себе еврейское добро, уносили его к себе, – не те, которые производили разрушение домов, мебели, вещей, товара, а та толпа, та голь кабацкая, та нищая чернь, которая шла вслед за разрушителями и подбирала разрушаемое или выбрасываемое из окон. Сами же виновники разгрома, как это подтверждается достоверными свидетелями, не только не наживались еврейским добром, но даже рвали в клочки попадавшиеся им пачки кредитных билетов. Наконец в тех местностях, где, уже после разгрома, крестьяне подобрали валявшееся имущество и развезли его по домам, они послушно, с полной готовностью отдавали его обратно, по первому требованию начальства. Одним словом: не личная месть на лицо направленная, не личное озлобление против лиц же и не корысть были двигателями этого разгрома. Имелись в виду не Ицко, не Лейба, не Абрам какой-то, а евреи вообще – исключительно евреи. Христианская собственность этими «зверскими», «очумелыми», «рассвирепевшими» толпами (как выражаются многие наши газеты и их корреспонденты) была оставлена неприкосновенной. Если же местами она и подверглась разгрому, то единственно по недоразумению: достаточно было завидеть в углу икону или другой признак христианского жилища, и толпа в самом разгаре своего бесчинства тотчас же воздерживалась от разорения и даже старалась исправить, по возможности, свою разрушительную работу.

Наконец, характеристической особенностью этого явления замечается, – со стороны крестьян, по крайней мере, и именно тех, которые не избивали, не грабили, ничем не корыстовались, – какое-то простодушное убеждение в правоте своих действий: точно будто они отправляли акт правосудия!

Ничего враждебного властям, противоправительственного или даже противозаконного не заключалось, по их мысли, в этом движении, и, громя еврейскую силу, они, очевидно, воображали, что служат службу общегосударственному интересу! Это было печальное, роковое, грубое, дикое, пожалуй, но искреннее недоразумение. Каким образом оно возникло – вот вопрос, который решают различно. Первоначально господствовало мнение, что все это дело рук «анархистов» или нашей так называемой социально-революционной партии. Это мнение на руку евреям и их защитникам, потому что устраняет вопрос о другой причине: об эксплуатации христианского населения еврейством, или, по крайней мере, отодвигает его на задний план. Оно выгодно евреям и потому, что устанавливает некую солидарность интересов еврейских с интересами собственности вообще и придает еврейству значение чуть ли не «консервативного» элемента, угрожаемого общим врагом – «социализмом»! И евреи – надо отдать им справедливость – ловко пользуются своим положением: покровительствуемые начальством в качестве консерваторов, они не перестают быть дороги и сердцу так называемых «либералов». Да, нашлись русские «либералы», которые с редактором киевской «Зари» во главе не постыдились выступить на последних судебных процессах обвинителями русских крестьян в звании гражданских истцов со стороны евреев и очень решительно настаивали на том, что главными зачинщиками были именно «анархисты». К счастью, прокурор военно-окружного суда неопровержимо, кажется, доказал, что «анархисты» только примазались, так сказать, к этому движению уже впоследствии, т. е. уже после того, как движение началось. В елисаветградском разгроме (с которого весь сыр-бор загорелся) не открыто никакого участия наших «революционеров», и прокламации появились уже позднее, так что, по мнению прокурора, основная причина заключается все-таки в экономическом иге, наложенном на русских евреями. Досталось же г. прокурору за такое мнение от нашей «либеральной» прессы, и преимущественно от «Порядка», который признал такое поведение прокурорской власти противным за-

кону, нравственности и государственному интересу, как будто прокурор обязан устранять из виду существенные обстоятельства дела! Как будто в интересе правосудия и власти искажать истину и заслонять побочными поводами основную причину преступления!

Самоуправство народное, разумеется, не может, не должно быть терпимо и подлежит строгому осуждению, но из этого не следует, что суд обязан поступать по поверхностному административному усмотрению, как административная власть, против произвола которой восстают всего более сами же либералы! Напротив, именно суд-то и призван разобрать все причины, все мотивы или побуждения преступлений. Судебное следствие и выяснило, что вопрос об участии «анархистов» – в сущности вопрос второстепенный, или, точнее сказать, именно побочный, хотя и весьма важный сам по себе. Он важен и по политическому своему значению, и потому, что дает теперь в руки евреям, как мы уже сказали, дешевое и удобное пугало, которым они уже и начали орудовать в свою пользу, для вящего утверждения своего господства, для вящей эксплуатации угнетенного ими населения. Но как ни важен вопрос об участии «социал-демократов», однако ж одними их происками и прокламациями сущность самого факта нисколько не объясняется. Произошел взрыв: откуда бы ни упала искра, дело не в ней, а в том, что кругом был порох, – горючие, быстро воспламенимые вещества, и достаточно было случайной искры, чтоб вспыхнул страшный пожар! Стало быть – с точки зрения внутренней политики – необходимо прежде всего убрать порох и устранить ежеминутную опасность пожара. Если бы даже и было доказано подстрекательство извне, то самая возможность такого повального, народного (и – при всей своей дикости – осмысленного, как мы видели) движения – на основании одного легкого, ни одной местной властью даже не подмеченного намека, даже без всякой предварительной агитации, – уже эта возможность сама по себе свидетельствует: каков же должен быть характер взаимных экономических отношений евреев и русских!

Если кто хоть раз в жизни бывал на нашем юге и западной окраине, там, где свободно живут евреи, и видел, стало быть, собственными глазами гнет еврейства над русским местным народом (а мы там бывали не один раз), для того последнее народное движение не представляет в себе ничего не только противоестественного, но даже неожиданного. Тот мог только дивиться народному долготерпению – тому и в голову не придет искать последним происшествиям каких-либо иных, отдаленных объяснений. Чтобы жить на юге и не видеть указанной нами причины – для этого надобно разве стоять «на высоте призвания» редактора киевской газеты «Заря»... Но мы не отрицаем участия и нашей революционной шайки, хотя и думаем, вместе с прокурором, что первоначальная мысль и почин принадлежат не ей; не отрицаем ни той опасности, которую могло бы представить такое народное самоуправство, если б продлилось дальше и если б революционному отребью нашей земли удалось обманом, переодеванием, подлогом и тому подобными частными приемами попасть в коноводы. Одно и то же народное сборище может быть и стройным миром или громадой, и беспорядочной толпой; правильная своеобразная организация, самообладание и сдержанность народного мирского или громадского множества, выйдя однажды из свойственной ему сферы деятельности, могли бы постепенно уступить присущему всякой массе стихийному началу и, при наплыве черни, т. е. подонков сельского и по преимуществу городского населения, смениться диким буйством, корыстной и властолюбивой похотью. Может быть, и даже вероятно – до этого бы никогда и не дошло; тем не менее такое народное движение, само собой разумеется, должно было быть прекращено властью в самом начале. Но оно могло бы, кажется, быть и предупреждено, – не единственно устранением лишь основной причины экономической – пороха (что представляет трудную и сложную задачу), но и устранением причин случайных, разыгравших в настоящем явлении роль искры, упавшей на порох. Нельзя же было, в самом деле, предположить, что такое страшное событие, как публичное, среди бела дня, в столице

убийство царя, да еще царя-освободителя, пройдет для души и мысли народной бесследно. А так думали многие, не знающие и не понимающие русского народа, дивились его наружному спокойствию, упрекали его в равнодушии, глумились над его «бесчувственностью». Забывали, что народ наш не легкомыслен, не ветрен, не воспламеняется мгновенно, как иные народы юга, – и именно в великие исторические мгновения своей жизни является сдержанным, важным, сосредоточенным. Мы помним объявление в Москве знаменитого манифеста 19 февраля 1861 г. Это произошло в последний день Масленицы, обыкновенно самый разгульный и пьяный: ожидали таких буйных восторгов, что войска стояли с заряженными ружьями наготове в казармах, но масленичный день словно превратился внезапно в великопостный понедельник: ни возгласа, ни клика, ни одного пьяного... То же самое было и вслед за событием 1 марта, так что блюстителям «либерального» порядка пришлось уличить и отрекомендовать полиции всего одну только бабу, дозволившую себе публичное выражение горести и негодования на «злодеев», – ту знаменитую, прославленную «Порядком» и «Порядок» прославившую бабу, которой так много и серьезно занимались петербургские газеты. Но эта тишина, это видимое спокойствие народа должны были бы сильнее озабочивать правителей, чем даже мгновенные вспышки, если таковые кое-где и были. Мы тогда же печатно заявляли, что «народ молчит, но думает свою думу», и в том же марте месяце имели случай сообщить бывшему министру внутренних дел наше убеждение в необходимости безотлагательного слова к народу от лица Верховной власти о том, чтоб народ держался спокоен, не внимал никаким слухам и толкам, не дозволял себе никакой расправы и верил, что власть бодрствует, разыщет и покарает виновных. Но Петербург от России далеко, и мнения, говор и «потребности» ближайшей среды привлекали к себе, к сожалению, больше внимания, чем расположение народного духа... Нет сомнения, что нервы народные более или менее возбуждены ужасной катастрофой 1 марта, а при таком состоянии легко возникают и слагаются всякие легенды и мифы. Народ,

видя водворившееся, действующее, плодящееся в родной земле зло, воочию явленное ему в цареубийстве, конечно, не мог не задать себе вопроса: где причина, где корень зла? Разумеется, в каждой местности останавливались на местных данных. Для жителей наших южных и западных губерний знакомое ему зло олицетворяется в еврействе, – не в нем ли и коренья – «От них всякое зло пошло у нас на Руси», – совершенно искренно, хоть, разумеется, и ошибочно отвечали мужики под Елисаветградом[1] нашему вполне достоверному корреспонденту. «Пусть, – говорили они же, с сердечным сокрушением спустя несколько дней после разгрома согласившись с доводами о беззаконности их расправы, – пусть казна оценит убытки еврейские и заплатит им, пусть обложат нас хоть вечным оброком для уплаты за это казне, мы готовы будем платить, только бы прочь взяли их (евреев) отсюда!..»

Таким образом, с какой стороны ни отнестись к этому народному движению, а миновать основной причины нельзя, и если мы не хотим довести народ до отчаяния, мы должны честно, строго, откинув в сторону всякое доктринерство, посмотреть положению прямо в глаза, приступить к разрешению самой задачи об устранении еврейского гнета. Это теперь необходимее, чем прежде, безотлагательно необходимо. Сеченье и тому подобные экзекуции, усердно практикуемые теперь над провинившимся христианским населением, усмиряют, но не образумливают, не успокаивают его нравственно, не разрешают его недоумения. Они только заставляют его терять последнее упование на заступничество власти, приводят его в уныние, и вкупе с нахальным торжеством и усилившимся задором евреев, может быть, только пуще раздражают, – кладут семена новых бесчинств и расправ! Усиливая таким образом силу, а следовательно, и гнет евреев, делая его окончательно невыносимым для населения, лишая последнее всякой надежды на спасительный исход, на кого же мы работаем, как не на тех же «анархистов»?

Не об эмансипации евреев следует ставить теперь вопрос, а об эмансипации русского населения от еврейского ига; не

о равноправности евреев с христианами, а о равноправности христиан с евреями, об устранении бесправности русского населения пред евреями: вот единственно правильная постановка вопроса, без которой и правильное решение невозможно. Мы знаем заранее, что поднимутся с разных сторон крики: «не русские, а евреи стеснены в правах», «русские пользуются преимуществами по закону», «против эксплуатации еврейской они могут искать ограждения легальным порядком, в суде, в свободной конкуренции» и т. д., и т. д. Странное дело! Если русский фабрикант понизит плату рабочим или утеснит их штрафами, по букве вполне законными, и рабочие окажут сопротивление, хотя бы даже силой, наши «либералы» тотчас поднимут приличный случаю гвалт, прикуют фабриканта к позорному столбу, примут рабочих под свой покров, окажут давление, путем печати, на присяжных, и если присяжные оправдают виновных, огласят всю Россию треском рукоплесканий. Мы забыли упомянуть о красноречивом адвокате, который непременно предложит подсудимым свою даровую защиту. Такое великодушие заслуживает, по-видимому, лишь похвалы. Вздумай землевладелец, на основании свободно заключенного с крестьянами договора об арендовании земли, взыскивать не внесенную ими арендную плату через полицию, и при этом крестьяне окажут не только противодействие, но побьют полицию и произведут серьезное бесчинство, – зрелище будет то же самое: либеральный гул и плеск, анафема землевладельцу, адвокат, очень кстати и основательно, воззовет к присяжным и судьям: «люди они, человеки!», и несчастные виновные мужики будут прощены при шумном ликовании публики и газет. Говорим это не в осуждение, а заявляем факт: хоть и отделяясь от общего хора, мы не можем не сочувствовать справедливому, если не по букве, то по существу, исходу дела. Но почему же все эти господа «либералы», как они себя сами честят, со всей этой якобы либеральной прессой, не обретают в себе никакого либерального гнева и негодования, как скоро дело касается эксплуатации русских евреями? А ведь здесь эксплуатация – не чета эксплуатации

какого-нибудь фабриканта или землевладельца! Здесь она, как удав, душит население, высасывает всю кровь, держит в кабале, в такой ужасной кабале, о которой рабочий и крестьянин в свободной от евреев России и понятия не имеют. Это гнет давний, нахальный, крупный по результатам, несносный по мелочности, еще более оскорбительный по разноплеменности и разноверию; но у наших «либералов» не отыскивается ни словечка укора таким эксплуататорам: либерализм мигом испарился, как бы его вовсе и не бывало! Перед ними несчастное население, которое, не выдержав, ринулось на утеснителей и даже не побило их, а разломало и расшвыряло кое-какое имущество (все, что получше и поценнее, евреи заблаговременно припрятали), – виновных предали суду, но не только не обрелось ни одного красноречивого либерального адвоката, который бы предложил великодушно свою защиту обвиняемым жертвам эксплуатации (а ведь они – по меньшей мере такие же «люди и человеки»!), напротив: «либеральные» адвокатские знаменитости, в числе которых газеты называют князя Урусова (но не того адвоката, к чести его будь сказано, чье выражение мы привели), спешат «либерально» предложить свои услуги эксплуататорам для отягчения участи возмутившихся, эксплуатируемых бедняков! Что же все это значит?.. Попадется кое-где великорусский кулак, и вот – под именем Разуваева и Колупаева его хлещет и позорит сатира, заодно со всей печатью; а тут, может быть, два миллиона Разуваевых и Колупаевых разувают, облупливают население, и ни одной нотки гневной ни у одного «либерала»!! Что это, лицемерие, что ли? Причина сложная. Не без некоторого лицемерия у иных, но больше по душевному подобострастию! В том вся и суть, что большинство наших «либералов» вовсе не либералы, а только состоят по «либеральной» части. Если дело идет о рабочем, то тут как не нашуметь, ведь тут какая подкладка! «Рабочий вопрос», – вопрос модный, европейский, включенный в кодекс «либерализма»! Вступаться за рабочих обязывает не какое-нибудь там сочувствие, которое иногда, если ближе ознакомиться с делом, было бы, пожалуй,

и не совсем к случаю, а звание и чин «либерала». Крестьянин не платит аренды за нанятую им землю, – ну, тут также есть что-то «аграрное», в некотором роде «социализм»: «либералу» тоже нельзя не вступиться, – в кодексе доктрины стоит! Ну а об эксплуатации еврейской в либеральном кодексе не стоит ничего; напротив, тут приплетаются две претящие истинному «либералу» вещи, два «ретроградных» начала: «национальность» и «вероисповедание». Если б дело представлялось просто: крестьянин и крупный землевладелец, рабочий и капиталист, – тогда еще другое дело, а то ведь здесь не только эксплуатируемый мужик и рабочий, но именно русский мужик и рабочий, и христианин вдобавок, хотя, конечно, противопоставленный капиталисту же и эксплуататору, но ведь еврею! Выйдет, пожалуй, что «либералы» стоят за национальное и вероисповедное у нас начало, а это с либеральным кодексом несогласно. По этому кодексу русский должен быть безличен в смысле народности и в вере индифферентен или допускать её лишь как «субъективное чувство», но правонациональной личности чуждых, пришлых насельников, с их вероисповедной исключительностью, он признавать непременно обязан, хотя бы и прямо себе во вред! И вот «либерал» становится в данном случае на сторону угнетателя, т. е. еврея, и начинает проповедовать в газетах необходимость «расселения евреев по всем селам и весям России» (так как им мало двадцати пяти губерний) и «полнейшей равноправности евреев с христианами», другими словами, проповедовать необходимость разрешения евреям держать кабаки в деревнях, расширения арены и способов эксплуатации русского населения евреями!..

Но как, однако же, быть с этим назойливым вопросом, и не есть ли предлагаемое «Порядком» и другими единомышленными с ним газетами средство, т. е. расселение, вернейшее средство для избавления южного русского народа от разъедающей его теперь экономической язвы? В чем, собственно, неравноправность еврейская, и не представляются ли евреи в некоторых отношениях даже привилегированной у нас частью населения?.. Об этом, как и вообще о судьбах этого поистине

самого замечательного в человечестве и самого неудобного для сожития племени, поговорим в следующий раз.

Иудаизм как всемирное явление

Два миродержавных племени в истории человечества – евреи и эллины. Разумеем «миродержавство» не в смысле политического или внешнего материального преобладания, а в смысле чисто духовном. В основе просвещения, в основе всей духовной и нравственной деятельности современного человечества лежит то, что выработано Палестиной и Элладой, маленькой Палестиной и маленькой Элладой, сравнении с которыми, по их значению для вселенной, такой мелкой и ничтожной представляется даже колоссальная Римская империи, не говоря уже об иных, предшествовавших и последовавших разных формах и видах мирового владычества! Ибо эти исторические явления были и прошли, а семитическая и эллинская идеи не преходящи, правят миром и поднесь и призваны править вечно: человечество не мыслимо без них ни в настоящем, ни в будущем, хотя бы даже их господство проявлялось иногда не с положительной, а с отрицательной стороны. Искусство, наука, формы мышления и сознание даны эллинами, и это до такой степени, что если б греки нашего времени вздумали, по праву собственности, хотя бы в шутку, потребовать себе назад, выдернуть из современных европейских языков одни только греческие слова, – просвещенный мир не в состоянии был бы выразить почти никакого отвлеченного понятия и пришел бы в величайшее затруднение... Правда – не внешняя, формальная, а абсолютная, вечная правда нравственная, как высшая истина и сила как начало начал, как Творец и Зиждитель мира, Добро и Любовь, одним словом, все нравственные идеалы, которыми живет и не может уже не жить человечество, как скоро они ему однажды открылись, – от иудеев. Не станем, впрочем, переступать в «мистическую область религии – удержимся на точке зрения чисто научной, аналитической. Каждый, будь он

верующим или неверующим, хотя был самый строгий позитивист, должен признать тот исторический факт, что каким-то странным образом заповеди, данные семитом Моисеем своему безвестному племени, стали заповедями всего человечества, что Синай и Голгофа – эпизоды из национальной истории еврейского народа – получили значение вселенских событий, а еврейские речи, почти две тысячи лет назад сказанные, чуть не на ветер, бродячим учителем рыбакам-евреям, звучат и в наши дни, как глаголы жизни для всех, стоящих во главе человечества, народов, как миродержавствующие глаголы. История еврейского племени – жалкая, бесславная, скудная внешними событиями история бедного, малочисленного азиатского племени, несколько раз рабствовавшего, отводимого в плен, совершенно ничтожного в сравнении с какими-нибудь финикийцами или же с ассирийцами, мидийцами и прочими прославившимися племенами – основателями могучих и богатых монархий древности, – эта история делается достоянием всех чающих просвещения племен, возводится на степень «священной», а летописные и религиозные сказания евреев становятся книгой книг всего мира... В одном из своих романов Дизраэли, впоследствии лорд Бэконсфильд, с чувством племенной гордости семита хвалится Христом как семитом – учителем вселенной, и христианством как просветительным началом, данным семитами всему человечеству. Как ни противоречит чувство племенной гордости вселенскому духу Христова учения, как ни узко такое племенное миросозерцание сравнительно с широкой идеей христианства, но можно только удивляться, что так мало евреев становится даже на эту племенную, семитическую точку зрения! Впрочем, даже и свободный от племенной надменности еврей, искренно и в смирении приемлющий христианство, не может не чувствовать себя в нем как бы, в некотором смысле, домочадцем, как бы возвращающимся под отчий кров, подобно блудному сыну Евангелия...

Хотя внешние судьбы евреев до события на Голгофе не заключают в себе, по-видимому, ничего замечательного, ничего оправдывающего их будущее значение в человечестве,

однако же историк, даже неверующий, должен признать, что существенное содержание истории этого племени дается исключительно верой в высшее невидимое существо, или в Бога, и деятельностью верующего духа, в ее последовательном развитии, – венцом, последним выражением которого явился Христос. Всемирно-историческое, никем, конечно, не оспариваемое значение Христа оправдывает таким образом название «избранного племени», которое так упорно присваивали себе евреи в течение десятков веков от Авраама до Христа, несмотря на внешнее бесславие и ничтожность своего политического бытия. Историк усмотрит, что под оболочкой племенной исключительности, как под скорлупой яйца, слагалась и созревала идея всечеловечества, братства, всеобщего равенства и свободы, которая наконец нашла себе воплощение в Иисусе Христе, иудее по происхождению, – им и его учениками-иудеями внесена была в мир (излишне было бы говорить, что эта «идея» всеми своими корнями коренится в «идее о Боге» и всю жизненность свою получает из веры в Бога, из любви к Нему, из стремления человека уподобиться Богу в нравственном совершенстве, в чем и заключается весь смысл того движения в истории человечества, которое называется «прогрессом»).

«Закон» евреев исполнился; призвание «избранного племени» было совершено; деятельность верующего духа, сбросив с себя на Голгофе узы племенной еврейской исключительности, воспарила над миром свободной, вселенской истиной, достоянием и спасением не одного Израиля, но всего человечества. Отныне несть иудей и эллин, но все равны, все братья во Христе. Евреям как племени предстояло двинуться тем путем, который указан им евреями же апостолами, из Савлов стать Павлами, т. е. всемирными учителями и гражданами во Христе. Но евреи остались по ту сторону Голгофы и отреклись от Христа, мечтая, в племенной гордости, удержать чаемое ими исполнение обетования Божиего исключительно за собой, в свою специальную пользу, и в качестве «избранного племени» получить внешнее всемирное владычество.

Тот же историк должен засвидетельствовать о поразительной судьбе, постигшей вслед за тем несчастный, не познавший своего исторического призвания Израиль. Это удивительное, так богато одаренное племя, очевидно, создано было не для какого-нибудь великого политического жребия, ибо в этом отношении (как уже сказано выше) оно является совершенно обделенным и никогда не имело необходимых для сего внешних атрибутов и качеств. Оно и сошло с политической арены истории, как скоро, в пределах своей племенной территории, совершило свое всемирное призвание в лице Иисуса. Но не познав, что призвание уже совершено, утратив и политическую форму бытия, и родную землю, оно тем не менее и на чужой земле продолжает хранить в себе свою древнюю племенную исключительность, хотя и под клеймом космополитизма. Чем, в самом деле, представляются теперь евреи? Племенем, рассеянным по всему миру, лишенным национальной территории, национального языка, письмен, одежды, и тем не менее племенем, тесно сплоченным не только физиологическим родством, но главное – родством или, вернее, единством духа, единством веры и чаяний. Древний еврейский язык, язык Библии, знаком только ученым; сами же евреи говорят, даже между собой, более или менее исковерканным языком тех стран, где живут (только в России и Польше евреи употребляют между собой отвратительное немецкое наречие и одеваются в костюм, вовсе не древний национальный, а какой-то средневековый немецкий).

Вся «национальность» евреев – в религии, и другой основы для этой национальности и нет, исключая, конечно, физиологическую. Но даже и в сфере религии – их священные книги общие с христианами, т. е. весь так называемый Ветхий завет. Их отличие от христиан в том, что вслед за Ветхим заветом у христиан – Христос и Евангелие, а у евреев – отрицание Христа (т. е. конечного развития семитической идеи, выразившейся в Ветхом завете) и, как плод этого отрицания, – Талмуд, или собрание толкований на Ветхий завет и правил как для частной жизни, так и для общежития с христианами (правил

христианам безусловно враждебных). Выражение, так часто теперь образованными евреями употребляемое: «еврейская национальность», оказывается, таким образом, совершенно неправильным, ибо никаких других принадлежностей национальности, кроме религии и породы, евреи и не имеют; или же эти «образованные» евреи должны прямо и откровенно признать, что под словом «еврейская национальность» разумеется не что иное, как вероисповедное отличие евреев. Но даже и при этом выражение, например, «Русские Моисеева закона» выходит неточным. Русскими Моисеева закона могут быть названы караимы, но евреи исповедуют Моисеев закон в талмудском толковании, которое совершенно противно чистому мозаизму, могут разве наименовать себя «Русскими талмудистами», не иначе.

Таким образом, пред глазами историка, с одной стороны, христианский мир, представляющий живое, историческим процессом совершаемое воплощение семитической идеи, достигшей на Голгофе своего «кульминационного пункта» – своего полного освобождения от семитической племенной исключительности и получившей вселенское, общечеловеческое, миродержавное значение. С другой – еврейское племя; живущее в этом христианском мире и не знающее другой для себя племенной основы, кроме той же семитической: идеи, но сохранившей печать племенной исключительности и отрицающей свое высшее проявление на Голгофе (следовательно, себя самое отрицающей), племя, которое весь raison d'être[1], всю причину своего бытия полагает не в «национальном» каком-либо отличии от прочих европейских племен, ибо такового, собственно, и не имеет, а единственно в вероисповедном, т. е. в отрицании существенных духовных, исторических основ современного христианского общества и христианской цивилизации. Может быть, «цивилизованные», «интеллигентные» евреи вздумают громко протестовать против такого положения... Но пусть в таком случае они торжественно отрекутся хоть от Талмуда: для чего же тогда и дорожить Талмудом, если «культура», «цивилизация» и «прогресс» для

них выше всего? В противном случае, их протест только одно лицемерие.

Но это «вероисповедное отличие» не ограничивается одним отрицанием Христа и его учения. Историческим призванием еврейского племени было раствориться в человечестве через христианство, выработав племенным духовным процессом мirодержавную идею вселенско-человеческого содержания. При исказившемся духовном сознании евреев, побудившем их отречься от собственной семитической идеи в ее последнем выражении, внутренний запрос на миродержавство сохранился, однако в них и поныне он состоит в неразрывной связи с их религиозной племенной основой, с признанием евреями себя, как издревле, «родом избранным». Вот содержание «национальной» особенности евреев, где бы они ни обитали! Так как семитическая идея заквашена отныне на начале отрицания, то вселенское миродержавство евреев (которое, несомненно, уже слагается) выражается и не может иначе выразиться, как в постепенном духовном подтачивании основ существующего христианского мира и во внешнем, материальном над ним преобладании посредством самой греховной, самой безнравственной из сил – силы денег, иначе в эксплуатации. Ассимилируя себе евреев без искреннего отречения последних от их религиозного отличия, христианское человечество только вгоняет в себя внутрь яд отрицания. Признавать вообще за евреями, пока они евреи и как таковые принадлежат к общей еврейской семье, рассеянной по лицу всего мира, способность к искреннему местному патриотизму соответственно той местности, где еврею приходится жить, – это значит вдаваться в добровольное самообольщение. Все, чего можно от них требовать, – это соблюдения долга верности, и мы не отрицаем, что такие случаи бывали; но еврейство вообще уподобляется фамилии Ротшильдов, из коих один брат взял да пошел в английские патриоты, другой брат – во французские, третий – в австрийские и т.д. Одним словом, распределили каждый себе, по местному патриотизму. Нельзя же в самом деле ожидать, чтобы русские евреи в качестве «русских патриотов» в случае столкновения

нашего, например, с Австрией, стали врагами евреев – «патриотов австрийских!»

Повторяем: евреи в наше время племя космополитическое. По-видимому, здесь есть противоречие, contradictio in adjecto[2], сочетание двух, взаимно себя исключающих понятий. Но в том-то и дело, что они, отказываясь от всех своих внешних племенных отличий в пользу тех национальностей, среди которых живут, ради удобной с ними ассимиляции сохраняют притом самое существенное племенное свое основание, именно религиозное, со всей его исключительностью, и зиждут на нем свою всеобщую солидарность, как сетью оплетая собой весь мир. Иудаизм в наши дни является не только материальным могуществом, но и духовным, входя постепенно во все духовные и нравственные изгибы христианского бытия. Он господствует не только на бирже, но и в журналистике, как, например, в Австрии, он проникает, особенно в Германии, и в сферу искусства, и в сферу литературы, и в сферу науки, и в область социального внутреннего процесса европейских обществ, везде и всюду внося свой дух отрицания. Антисемитическое движение, антисемитический союз, возникший недавно в Германии, в стране, стоящей во главе европейской культуры, – это не есть исчадие религиозной нетерпимости, продукт грубого невежества, ретроградства и т.д., как думают наши наивные «либералы». Это есть признак времени, свидетельствующий о пробуждении общественного сознания, – пробуждении, может быть, слишком позднем. Во всяком случае западноевропейскому христианскому миру предстоит в будущем, в той или другой форме, борьба за жизнь и смерть с иудаизмом, стремящимся заменить миродержавную христианскую идею той же семитической же идеей, также миро, Державной, но отрицательной, но антихристианской. Здесь кстати будет привести следующие строки из письма Юрия Федоровича Самарина, посланного им из Берлина от 21 февраля 1876 г. (следовательно, меньше чем за месяц до кончины) к одному из своих петербургских друзей. Письмо было писано по-французски, но некоторые места понемецки, так как по случаю пребывания в Германии и частых

бесед с немцами ему приходилось не однажды выражать свою мысль на этом языке. Заимствуем выписываемые строки из «Православного Обозрения» 1877 г., где они приведены в переводе в предисловии к двум небольшим посмертным статьям Самарина по поводу сочинений Макса Мюллера:

«В этот раз благодаря некоторым новым сношениям, которые я завел в обществе ученых и второстепенных должностных лиц, мне желалось ближе взглянуть на Берлин... Что мне удалось здесь подметить: плачевно непроницаемые наслоения формации исторической гнетут умы и подавляют совести. Нет возможности расчистить их сверху, начиная снаружи; только великое движение снизу, только вулканическое извержение могло бы прорвать и изорвать их. Не в этом ли заключается предустановленное провидением призвание так называемого, хотя неправильно, современного социализма? Ничто так не доказывает оскудения нравственной жизни и сужения умственных интересов, как эти две сложившиеся партии, вне которых и нет ничего. На них наталкиваешься всюду: в парламентских речах, в проповедях, в новых комментариях на Библию, в медицинских журналах и в курсах астрономии...»

Охарактеризовав сначала узость и ограниченность умственного кругозора партии, называющей себя консервативной, Самарин продолжает:

«Что касается партии противоположной, партии воинствующей культуры, то она еврейская – этим все сказано. Вы, конечно, знаете, что в наше время уже почти нет Берлина, а есть новый Иерусалим, говорящий по-немецки. Когда речь идет об иудаизме, который владычествует в обеих камерах, который Бисмарку приходится терпеть, хотя с виду он как будто и пользуется им, который направляет преподавание в университетах и гимназиях, заменяет у женщин руководителей совести XVII и XVIII веков, царствует на бирже, подкупает и вдохновляет большую часть журналов – само собой разумеется, дело здесь не в Ветхом завете и не в национальности, возведенной на степень избранного племени, Это нечто неосязаемое и неуловимое в целом, это экстракт из всех элементов, в основе своей

враждебных нравственному и социальному порядку, сложившемуся на христианских началах. Элементы эти встречаются всюду, но для того чтобы отгадать их присутствие, извлечь их из грязи и выучить их не краснеть от стыда, чтобы сгруппировать их в доктрину и сложить в политическую партию, необходимо было чутье, безошибочность инстинкта и абсолютная безоглядность в логике отрицания, которыми обладали только евреи. Для этого требовалось весьма древнее (uralte) предание, просвещение вполне внехристианское и внехристианская же история целого племени. В политике это – обожание успеха и поклонение золотому тельцу; в философии – материя, развивающаяся до полного самосознания по законам физической, механической, химической и физиологической необходимости; в области социальной – переделка всех исторически сложившихся учреждений с признанием только одного регулятора – манчестерства, т. е. увеличения производительности как высшей цели самой по себе; в области семейной – личное хотение, как единственная основа всех отношений; наконец, в деле воспитания – развитие и направление инстинктов (опознание, развитие влечений (Triebe) и обуздание вредных другими влечениями и возбуждениями). Вот до чего здесь дошло, разве я уже совершенно ошибаюсь. В Германии я вижу самую большую опасность, угрожающую будущности моего Отечества, тем не менее я не могу без глубокой скорби смотреть на это органическое разложение, совершающееся под внешним видом политического могущества, достигшего своего апогея».
Если от этого общего воззрения на иудаизм как на мировое явление перейти, в частности, к положению еврейского вопроса в России, то необходимо признать, что он самой историей поставлен пока у нас гораздо грубее и проще, чем в остальной Европе. Поэтому и не усматривается никакого основания ни усложнять его, ни облегчать и ускорять развитие в России иудаизма до степени той опасности, которая уже грозит Германии. Разумеется, евреи, обитающие в России, должны пользоваться покровительством русских законов, ограждающих права личности и имущества, наравне со всеми подданными

русской империи; это вне всякого сомнения. Но затем, если спросить по совести самого отъявленного у нас «иудофила», ратующего в настоящее время за евреев: желал ли бы он прироста еврейского населения в России или в той местности, где он сам живет? Ощущает ли вред около себя от отсутствия или малочисленности еврейского элемента и воздыхает ли по евреям – то ответ будет, конечно, совершенно отрицательный, хотя бы и с оговоркой, что «так как в России евреи уже имеются и в немалом количестве, то было бы несправедливо и негуманно лишать их равноправности» и т. д. Едва ли у него повернется язык сказать, что евреи – элемент не то что «необходимый» (этого не вымолвит никто), но даже «полезный». Спор, таким образом, может идти лишь о большей или меньшей степени производимого евреями вреда. Все рассуждения наших якобы либеральных газет сводятся лишь к одной цели: доказать, что вред, чинимый евреями, происходит от их скученности и неравноправности и что он значительно умалится, будучи распределен по всему пространству Русского государства. Оставляя предлагаемую форму разрешения вопроса пока в стороне, мы вполне готовы согласиться с общей его постановкой и сформулируем ее так: «Лучше было бы для нашего Отечества, если б евреев в нем вовсе не было, но раз они тут, и уже не один век, унаследованные нами от Польши, то задача состоит в том, как бы устроить такой порядок вещей, такого рода с ними modus vivendi, при котором коренному русскому населению, т. е. самому хозяину края, было бы наименее стеснения и вреда от сих непрошеных гостей, да и относительно самих евреев были бы соблюдены требования человеколюбия». Требования же эти, конечно, не в том заключаются, чтобы приносить русское население в жертву еврейской эксплуатации, в угоду отвлеченно-либеральной доктрине. Для правильного решения этого вопроса необходимы были бы, разумеется, тщательные местные статистические и экономические исследования и также мнения местных земств. Тем не менее, мы считаем не лишним высказать и некоторые свои соображения, отлагая их до одного из следующих №№.

Желательно ли расселение евреев по всей России?

Считаем нелишним возвратиться и еще раз к вопросу о евреях в России, так как он силой самих событий поставлен на очереди, и если успел уже «наскучить» нашей столичной публике, привыкшей к беспрерывной постановке и смене «вопросов» в ежедневной печати (так что голова русского газетного читателя начиняется исключительно «вопросами», даже без всякого на них ответа), то для десятков миллионов русского населения он пребывает истинной злобой дня, способной измучить, но не наскучить, и настойчиво требует практического разрешения. Защитники еврейских интересов совершенно переменили свою тактику и признали более «целесообразным» не отрицать факта еврейской эксплуатации, ибо такое отрицание, по своей очевидной лживости, оказывается позицией слишком невыгодной. Теперь, наоборот, самая эта эксплуатация и весь вред, чинимый евреями, служат евреям же и их защитникам поводом к громкому требованию расширения прав. Прежде всего причиной зла выставляется скученность евреев в границах их оседлости, определенных законом, и доказывается необходимость уничтожить эти границы, дозволив расселение евреев по всей России. Какая же скученность? Может быть, и в самом деле евреям отведено житья пространство непомерно тесное? Посмотрим. Всех евреев, включая и губернии Привислинского края или царства Польского, официально числится 2 791 510. Черта оседлости, им дозволенной, включает 26 губерний, именно, кроме 10 губерний Царства Польского, губернии: Бессарабскую, Виленскую, Витебскую, Волынскую, Гродненскую, Екатеринославскую, Киевскую, Ковенскую, Курляндскую, Минскую, Могилевскую, Подольскую, Полтавскую, Таврическую, Херсонскую, Черниговскую. Эти губернии представляют пространство 849 862 квадратные версты и 17 529 квадратных миль и числят в себе жителей около 29 миллионов: пространство, превосходящее не только Францию (9608 квадратных миль), но и всю Германию (9818 кв. миль), и всю Австро-Венгрию (самое обширное из западноевропейских

государств: 11306 кв. миль). Одним словом, пространство, как видят читатели, немалое, а потому и жалобы на тесноту площади, отведенной для жительства, лишены не только основания, но и смысла. Необходимо также вспомнить, что значительная часть евреев в звании купцов, ремесленников, техников, обучающихся в государственных учебных заведениях или уже обучившихся и потому пользующихся всеми правами, приобретаемыми дипломом, рассеяна по всей России вне узаконенной черты оседлости. Если не ошибаемся, то в одной Москве их уже насчитывается до 20 тыс. Конечно, евреи скученны, но не относительно пространства, отведенного им для жительства, и не по вине русского законодательства, а по собственной вине и произволению сами они теснятся-ютятся именно там, где население представляет наилучший материал для эксплуатации и по бытовым условиям, и по нравственным своим качествам. Если бы даже и дозволено было беспрепятственное расселение евреев по всей Русской империи, то Малороссии и Белоруссии было бы от того не легче. Они добровольно не уйдут оттуда. Малороссии и Белоруссии ни на волос не было бы легче – в придаток к этим двум областям было бы тяжко и великорусскому населению – с той только вероятной разницей, что последнее менее долготерпеливо и потому с «правовым порядком» в образе еврейского гнета скорее и чаще бы стало чинить самовольную расправу. Такая перспектива едва ли желательна. И теперь достойно замечания, что собственно в Белоруссии, да и вообще в северо-западном крае, восстаний против евреев не было вовсе, но уже, конечно, не потому, что народ там был бы менее евреями угнетен или под возействием польской цивилизации был бы строже воспитан «в чувстве легальности» (!), а потому, что благодаря именно вековым притеснениям польского панства и его прислужников-евреев народ, по природе смирный и кроткий, слишком забит, слишком подавлен духом. Если он еще не совсем обратился в быдло, как разумеет и чествует его шляхетское польское племя, так потому отчасти, что несколько ожил в ненавистную нашим лжелибералам эпоху Муравьева и Кауфмана и, несмотря на последовавшие

за ней пятнадцать с лишком лет неприязненного русской национальности управления этим исконно русским краем, еще не совсем потерял надежды на лучшее будущее.

Русское племя, населяющее Малороссию и Белоруссию, вообще земледельческое, а не промышленное и торговое. Еще в древние времена «новгородцы, плотници суще», спускались к полянам «рубить им городы»; еще и в наше время великороссы толпами отправляются в Малороссию и на юг для промыслов и торговли. Нашествие разных кочующих азиатских орд, начиная с половцев, черных клобуков и т.д., погром татарский, а потом после разных превратностей распространение польского владычества на всю так называемую Белоруссию и Украину обеих сторон Днепра, сотворили для края ту бедственную судьбу, от которой он не может оправиться и поныне. Может быть, со временем и образовалось бы в нем городское население при участии великорусского племени, возникла бы промышленность, расцвела бы торговля, но польские короли еще несколько веков тому назад призвали евреев, и с тех пор место городского класса – среднего между земледельцем и шляхтичем, как известно, торговлей не занимавшегося, занято было евреями. В Малороссии в то же время сложилось казачество, и затем вплоть до присоединения к России вся ее история заключается в отчаянной борьбе казаков, чтобы отстоять независимость своего края и свою народность и веру от азиатского, от польского и католического порабощения. Все песни казацкой эпохи, до сих пор живущие в народе, воспевают по преимуществу подвиги казацкой расправы с жидами и ляхами, которые отдавали жидам на откуп православные церкви. Эти предания воспитали в малоросском народе иной дух, чем в Белоруссии, где казачества не было, и этим объясняется, почему во время последнего восстания поляков в юго-западном крае русское население в три дня покончило с мятежом само, без содействия власти, даже к некоторому ее сюрпризу, перевязав польских панов и представив их к начальству. Этим же следует объяснить, почему наконец оно, помянув дни древние, когда запорожцы выговаривали себе от поляков условие, что «они

в жидах вольны», попыталось недавно стряхнуть с себя ненавистное «жидовское» иго. Шинкарь, корчмарь, арендатор, подрядчик – везде, всюду крестьянин встречает еврея: ни купить, ни продать, ни нанять, ни наняться, ни достать де, – ничего не может он сделать без посредства жидов, знающих свою власть и силу, поддерживаемых целым кагалом (ибо все евреи тесно стоят друг за друга и подчиняются между собой строгой дисциплине) и потому дерзких и нахальных. «Это наша кровь, – с горечью восклицали крестьяне, совершая недавно разгром попадавшегося им еврейского имущества (большая, ценная часть которого была евреями припрятана). – «Это кровь наша,» – и сколько правды, святой, исторической правды в этом клике: века мучений слышатся в нем, и надо быть дивно устроенному головой и сердцем, чтобы не содрогнуться душой от этого вопля скорби и боли!.. А в Белоруссии даже и вопля не раздается. Слышится лишь – ни польским панам, ни начальству – невнятный, глухой стон почти совсем задавленного народа.

Еврейство в пределах Русской Империи – это наследие наше от Польши, это польский «правовой порядок», однозначащий с бесправностью крестьянского населения – презренного хлопа. С присоединением Новороссийского края граница еврейской оседлости расширялась, но еврейское население ни в Малороссии, ни в возвращенной нами от Польши Заднепровской Украине и в Белоруссии ни на один процент не убавилось. Трудно понять, в силу каких филантропических, политических, административных или экономических соображений можно предъявлять требование об уничтожении черты еврейской оседлости. Нельзя же, повинуясь требованиям отвлеченной, якобы либеральной доктрины, совершать над своим родным народом эксперименты не только не либерального, но положительно опасного для его свободы свойства. Либерализм относительно евреев – кабала для русского населения; образ действий, согласный будто бы с указаниями «современного прогресса», другими словами – снятие плотины, задерживающей напор на остальную Россию еврейского потока, в сущности послужил бы только к регрессу русского народа, ибо

остановил бы его самобытное экономическое развитие. Система протекционизма, прилагаемая торговой и промышленной политике государств, должна быть соблюдена и по отношению к евреям. Наши новейшие либералы под влиянием социалистического учения сами с презрением относятся к прежней либеральной теории о свободной конкуренции и к либеральному лозунгу: laissez faire, laissez aller[1]. Они проповедуют теперь не только право, но и обязанность государства регулировать, даже до мелочей, отправления общественной жизни и весь бытовой экономический строй в духе покровительства рабочим народным массам и т.д. Если так, то почему же, как скоро дело касается евреев, «либеральная» программа ограничивается словами: нужно противопоставить еврейской эксплуатации «подъем народного благосостояния», «подъем народного просвещения», «доставление народу дешевого мелкого кредита, воспитание народа в духе законности, установление правового порядка», – и все это одновременно с предоставлением евреям полной равноправности и повсеместного расселения?! Вместе с тем указывается на примере Франции и Англии, где евреи не пересилили местного населения, а сами-де более или менее ему подчиняются.

Но последнее указание ничего не объясняет и не доказывает. Здесь прежде всего возражение самое простое, но тем не менее неотразимое: в России евреям приходится иметь дело с малороссами и белорусами, а не с англичанами и французами – следовательно, и считаться следует с действительными, реальными, а не воображаемыми данными. Решать вопрос таким образом, чтобы малоросса и белоруса в Киевской и Виленской губерниях представить себе в роли англичанина в Англии или француза во Франции, т. е. людей иного племени, иного исторического воспитания, было бы по меньшей мере бессмысленно. Кому же неведомо значение городского населения, городских общин в истории европейского Запада – значение, которым до сих пор обусловливается политическое бытие современных европейских государств, но которого и следов нет в истории России и вообще славянских политических ор-

ганизмах. Евреи – класс по преимуществу городской, т. е. промышленный и торговый, а не земледельческий, стало быть, не сельский – встретились на Западе именно с твердой городской организацией, которая, словно крепость, была защищена цеховыми и иными корпоративными учреждениями. К той поре, когда для евреев на Западе пали те узы и стеснения, которым евреи были там подвергнуты в такой мере, в какой никогда не были подвергнуты на русской окраине, западноевропейскому населению можно было уже и не опасаться экономического гнета евреев (не надо забывать, однако, что Германия начинает уже снова ощущать этот гнет и что в ней созревают элементы для борьбы с еврейством в какой-то новой, еще не определившейся форме). В Малороссии же и Белоруссии вместо крепких городских общин еврей нашел только беспутное польское панство, жившее за счет угнетенного, закрепощенного им сельского населения, и казачество, которому некогда было что-либо созидать, а впору было только отстаивать независимость своего края непрерывной войной с его врагами. Приходится только дивиться живучести русского народа, сумевшего перемочь все претерпленные им невзгоды. «Подъем благосостояния»! Конечно, этот рекомендуемый антипод против еврейского яда весьма полезен, но ведь он может быть продуктом только долголетних благоприятных условий, из которых первое заключается в устранении помехи, представляемой народному экономическому и нравственному развитию именно евреями. Именно для того, чтобы поднять сельский люд на ноги и воспитать в нем дух самодеятельности, правительство обязано, как искусный педагог, отдалить от него те орудия посредничества, которые в течение целого ряда веков отучили его от умения пользоваться собственными силами, ходить, так сказать, своими, а не чужими ногами. Нет сомнения, что если бы каким-нибудь чудом евреи исчезли из нашего юга и запада, край пришел бы временно в немалое экономическое затруднение, но потом вскоре бы оправился и проявил бы задатки новой, здоровой экономической жизни. Толкуют о доставлении населению дешевого кредита и приглашают к этому

делу земства в тех губерниях за чертой еврейской оседлости, где земские учреждения существуют. Но никакой кредит, созидаемый земскими коллегиями, не в состоянии соперничать с еврейской кредитной эксплуатацией, отыскивающей нуждающегося всюду, у него на дому, освобождающей его от всяких формальностей эксплуатацией рискованной, донимающей ссуду не в установленный срок, а впору и вовремя, принимающей в уплату не деньги, а то, что крестьянину сподручно: скот, птицу, всякую, по-видимому, дрянь, приносящую, однако, еврею десятки лишних процентов. Теперь во многих городах нашего юга и юго-запада учреждены общественные банки, доставляющие торговому классу относительно дешевый кредит, из которого евреи создали себе новый источник промышленности или эксплуатации. Еврей-купец выдает бедняку-еврею безденежный вексель, который бедняк-еврей и учитывает в банке; банк, имея в виду подпись известной еврейской фирмы, выдает деньги за дешевые проценты, а еврей эти же деньги раздает в ссуду мужикам за проценты двойные или тройные, без всяких векселей и расписок, но с какой-нибудь такой уловкой, которая его вполне обеспечивает. Нам сообщали недавно и имя одного еврея, кажется, в Елисаветграде, который в несколько лет из бедного сделался капиталистом, добывая себе таким образом деньги из банка по безденежным векселям еврея-купца (конечно, имеющего и свою долю в барышах) за дешевые проценты. Тут все формальности соблюдены, противодействовать трудно, а на деле выходит, что учреждение банка послужило только к вящей эксплуатации народонаселения и к созиданию новых еврейских капиталов, т. е. пущей еврейской силы!

Газета «Порядок» утверждала однажды, доказывая тему о «скученности» евреев, что их не три миллиона, а, вероятно, вдвое и, может быть, даже втрое более, другими словами, обвинила их, и совершенно основательно, в уголовном преступлении или в подлоге. Что статистические данные о численности евреев в России совершенно неверны, в этом убеждены и высшее правительство, и местная администрация, но в этом-то и заключается одна из привилегий еврейского населения.

Можно ли назвать иначе, как «привилегией», возможность совершать безнаказанно подлог такого объема и открыто пользоваться его плодами – возможность для шестимиллионного, положим, населения платить подати и отбывать, например, воинскую повинность только по числу трехмиллионного? Было бы несправедливо винить в том несовершенство наших статистических приемов или полицию: это организованный обман всего еврейства, подчиненного строгой внутренней дисциплине, управляемого своими кагалами, составляющего поистине status in statu. Все меры, принимавшиеся правительством, оказывались досель безуспешными, несмотря на то, что при государе Николае Павловиче чинились настоящие облавы евреям. Всякий исправник на юге расскажет вам, что евреи очень часто скрывают у себя случаи смерти и передают имя умершего новоприбывшему из-за границы еврею или же тому, чье рождение было также в свое время скрыто. Одним словом, когда целое племя в заговоре и все сообща участвуют в подлоге, то обычными «правовыми» мерами разрушить такой систематический обман трудно.

Другая особенность и, можно сказать, привилегия евреев – это специальность их бытовой профессии. Это не только племя, но и класс или корпорация, и не только класс или корпорация, но и племя! Правительству приходится иметь дело не просто с такой-то национальностью, с «Русскими Моисеева закона», но с миллионами людей особой, резко выделяющейся и замкнутой в себе национальности, которые не имеют других занятий, кроме торгашества в том или другом виде. Ни фабрик, ни заводов евреи не держат – ни каменщиков, ни плотников, ни другого рода рабочих из них не бывает: только мелкие ремесла, извозничество и торговое посредничество во всех формах – вот их призвание. Это племенная корпорация не производителей, а торгашей-эксплуататоров, и такая исключительность профессии в сильной степени усложняет задачу. Всякая корпорация есть уже сила сравнительно с разрозненностью действий отдельных лиц: что же сказать о корпорации, считающей своих членов миллионами, основанной на религиозно-племенном

единстве и по самому характеру своей основы враждебной той среде, в которой ей приходится действовать?! Были сделаны попытки обратить евреев в земледельцев; им были отведены превосходные земли. Министр внутренних дел Перовский думал, что в устройстве земледельческих колоний он нашел ключ к разрешению вопроса. Мы сами лично посещали эти колонии... Земли оставались впусте или сдавались внаймы, а сами евреи занимались куплей, перепродажей и всяким торгом на стороне! Оказалось, таким образом, что евреев нельзя поставить даже в то положение, которое занимают в России иностранные поселенцы, получающие от правительства земли; евреи волей-неволей заставили самую власть признать за ними звание и право городских обывателей, считаться с их наклонностями и вкусами. Даже поселяясь в деревне, еврей живет в ней как горожанин, т. е. не как земледелец, а как промышленник, шинкарь или арендатор.

Но входя в общий состав русских подданных в качестве жителей городов или местечек, становясь русскими гражданами, евреи не перестают быть подданными и гражданами той еврейской республики, того еврейского союза, который распростерт по всей Европе, также и по другим частям света, и которого главный центр во всяком случае не в России, а вне ее. Пользуясь почти полной гражданской полноправностью с русскими туземцами, участвуя в местном городском самоуправлении, они сверх того обладают особым самоуправлением в виде кагалов, которое, придавая евреям согласие крепости, руководит их действиями и нередко парализует силу русских законов. Не раз происходили случаи, что не угодивший еврею помещик или иной кто из христиан, подвергался интердикту, т. е. запрещению, по распоряжению еврейского цадика или раввина: ни купить у еврея, ни продать еврею он уже не мог ничего, а так как в южнорусских городах и местечках вся торговля в руках еврейских, то такой интердикт, на который и жалобы формальной принести нельзя, обращался в истинное наказание. Недавно напечатан был одним из юго-западных помещиков достоверный рассказ, как о снятии с него такого запрещения

он обратился с просьбой к заграничному раввину, в Галиции, и по распоряжению последнего этому помещику возвращена была равноправность. Есть известная книга Брафмана, еврея, принявшего христианство, в которой он подробно раскрывает тайны еврейских кагалов, тайны ужасные, подтверждаемые подлинными кагальными актами. Не знаем, в какой мере допущена свобода внутреннего еврейского самоуправления в Западной Европе, но не подлежит сомнению, что нигде евреям так хорошо не живется, нигде евреи не составляют такой сплоченной корпорации, нигде они так не полноправны, как в России, особенно в возвращенных от Польши губерниях, где они заняли господствующее положение среднего класса поверх безгласного, едва только вышедшего из крепостной от польских панов зависимости населения, а эта зависимость была потяжелее зависимости от русских помещиков! Класс городских обывателей имеет всегда преимущество перед сельским и по степени образованности, которая в городе, разумеется, выше, чем в деревне, и потому, что в его руках рынки, т. е. место сбыта сельских произведений, и по тем удобствам жизни, которые сосредоточиваются именно в городе. В таком преимущественном положении находится еврейское племя, составляющее главный контингент городского населения на юге и западе России, а городское население, как известно, поставляет главный контингент во все учебные учреждения. С тех пор, как евреи решили воспользоваться свободным доступом к высшему образованию, открытым для них в казенных учебных заведениях, а с образованием сопряжены были разные льготы по отбыванию воинской повинности, наши гимназии и даже университеты стали переполняться евреями. Мы не имеем под рукой статистических данных, сколько евреев обучается в средних учебных заведениях внутри черты еврейской оседлости и в каком процентном отношении состоит это число к общему числу учеников, но несомненно, что оно возрастает с каждым годом. Эксплуатируемый евреями народ не только дает на свои же деньги евреям почти даровое образование, но скоро едва ли не будет вытеснен из русских школ

за недостатком мест по случаю преизбытка евреев. Недавно некоторые газеты вычислили, что каждый студент в университете обходится государству около 400 р. в год. Нам сообщали из достоверного источника, что в нынешнем году выдано Московским университетом евреям-студентам, окончившим курс по медицинскому факультету, 120 или 110 свидетельств на звание дантистов. Дантист, пожалуй, и почетное ремесло, но предоставляем читателям произвести расчет, во что обходится государству образование каждого такого дантиста-еврея в течение пятилетнего курса и всех 110 или 120 евреев-дантистов, выпущенных в течение одного года из одного университета. Спрашивается: в самом ли деле необходима такая роскошь по части дантистской ввиду недостаточности сумм, необходимых для открытия элементарных школ, в которых так нуждается наш сельский народ? Не знаем, действительно ли станут дергать зубы евреи-дантисты, но что они избегнут таким образом воинской повинности и приобретут право на повсеместное жительство в России – это верно.

Но тут есть другое зло. Высшее образование в России создает по отношению к массе простого народа особую среду, которую печать наша прозвала «интеллигенцией», «культурным классом» и за которой признает право народного представительства eo ipso, даже без выборов и полномочий. Для простого же народа все они – «господа»... Таким образом, вскоре сядут «в господах» над нашим русским народом и евреи – не просто, как теперь, торгаши, но уже в самом деле как умственная, «культурная», «общественная» и уж, конечно, отрицательная, а не положительная сила. При нашей же общественной податливости, при известной трусости прослыть «ретроградом» можно ожидать, что большинство наших мнимых либералов с либеральной предупредительностью обрадуется такому проявлению прогресса в нашем Отечестве и подобно старинному возгласу изысканной вежливости: place aux dames (место дамам!) воскликнет: place aux Juifs! (место евреям!).

Тысячу лет строил русский народ свое государство, костьми и кровью слагал его, принес в жертву государствен-

ной идее и местную свободу, и достояние. Достроил, наконец, и с недоумением начинает усматривать, что допущенные им жильцы вытесняют его чуть не за порог, да еще и здание хотят по-своему перестроить... За хозяйский стол, конечно, могут быть допущены гости, но только как гости, и в качестве гостей пользоваться почетом: во главе же стола все-таки должен сидеть и распоряжаться хозяин. А хозяин в России – русский народ, и никак не инородцы.

Ни о какой пущей равноправности евреев с христианами не может быть и речи. На практическом языке «равноправность» значит не что другое, как дозволение евреям держать кабаки по селам. Этого ли добиваются наши юдофилы? Если еврейский вопрос действительно будет рассматриваться теперь в высших правительственных сферах, то единственное правильное к нему отношение – это изыскание способов не расширения еврейских прав, но избавления русского населения от еврейского гнета. Гнет этот пока экономический, но с распространением высшего образования в еврейской среде, повторяем, он примет иной вид и образ – образ гнетущей русский народ «либеральной интеллигенции», да еще, пожалуй, во имя народа.

По поводу статей Брафмана о кагале

Не знаем, обратили ли на себя должное внимание помещенные в №№ 46 и 47 «Руси» статьи, составленные по рукописи покойного Я. Брафмана его сыном, под общим названием «План преобразования быта евреев». Отзыва о них мы до сих пор в газетах не встречали, а между тем, бесспорно, эти статьи – содержательнее, серьезнее, полновеснее всего, что до сих пор появлялось в нашей печати по вопросу об евреях в России. Если внимание нашего общества, утомившись этим вопросом и предоставив его решение правительству, перенеслось теперь на другие предметы, другие задачи и так называемые злобы дня, то для русского населения в черте еврейской оседлости

он нисколько не утратил своего ежеминутного практического значения; он не может ни наскучить ему, ни быть сдан в архив, как не сдается в архив и не теряет своей занимательности для страждущего острая боль или заноза, торчащая в теле, пока она тут, пока боль не утихнет или не выдернется заноза. Не известен ход работ в правительственных комиссиях, учреждениях в разных губерниях нашего юга, юго-запада и северо-запада «для изыскания мер к установлению правильных экономических отношений евреев к местному населению» (таков, кажется, официальный титул комиссии). Можно, однако, заранее сказать, что все эти комиссии будут бродить во тьме, как уже десятки лет бродит во тьме по еврейскому вопросу сама высшая наша администрация, если она не воспользуется разоблачениями Брафмана. Впрочем, даже предположить подобного рода невнимательность со стороны правительства было бы более чем странно и едва ли позволительно.

В самом деле, есть ли основание толковать пространно о взаимных экономических отношениях христиан и евреев, когда оказывается, что каждый христианин-землевладелец продан кагалом кому-либо из евреев? Да, продан как предмет эксплуатации и лично, и имущественно – и это не фигурный оборот речи, а юридический термин, потому что продажа закрепляется актом, особого вида купчей крепостью. Точно так же делаются предметом купли и продажи села, деревни, целые местности со всякой живой в них душой (разумеется, христианской). Под видимой могущественной сенью нашего гражданского права властвует невидимо, тайно, но еще могущественнее вполне его отрицающий, совсем особый «правовой порядок», подчиняющий еврейской юрисдикции не только евреев, но и русских – даже без ведома для последних. На основании талмудических правил «Хезкат-Ушуб», т. е. о власти кагала в его районе, та территория – поясняет Брафман, – на которой поселились евреи со всем входящим в нее имуществом, и лицами иноверцев становится собственностью евреев. «Имущество иноверца свободно, и кто им раньше завладеет, тому оно и принадлежит» – гласит «слово закона» (Хошек-Гамишпот, ст. 156).

На этом основании кагал, т. е. национальное еврейское местное правительство, признавая все находящееся в данном районе своей, так сказать, «казенной собственностью», продает отдельным евреям два права: одно именуется по-еврейски меропия или мааруфия, право на личность, другое – хазака, право на имущество. Купчий акт на то или другое право или на оба вместе называется гахлат. Продажей права меропии, говорит Брафман, личность данного иноверца делается неотъемлемым и притом исключительным достоянием того еврея, который купил меропию, и уже ни один еврей в мире не имеет права ни ссужать этого христианина деньгами, ни исполнять его поручения, ни вообще входить с ним в какие-либо сношения. Посредством же хазаки все недвижимое имущество такого-то христианина поступает в эксплуатацию купившему это право еврею, и уже ни один еврей в мире не имеет права ни арендовать этого имущества, ни давать под него ссуды, ни заключать относительно его какие-либо сделки с хозяином. Кагал со своей стороны обязуется (и обязательство это прописывается в купчей) доставлять покупщику в случае его «неосторожности» в выборе средств для окончательного завладения проданной личностью или имуществом «иноверца» защиту пред «иноверческой» администрацией или судом, а также защиту против всякого еврея, который бы осмелился вторгнуться в пределы права, предоставленного покупщику, и нанести ему какой-либо ущерб: такого рода самовольникам грозит бет-дин, тайный еврейский суд, постановляющий иногда и смертные, всегда исполняемые приговоры!..

Вот, между прочим, причина, почему между евреями нет и не может быть конкуренции. Это колоссальная, не временная, а постоянно пребывающая стачка, направленная против всего христианского населения тех местностей, которые входят в черту еврейской оседлости. А так как там почти вся торговля в руках евреев, то какими праздными, пустозвонными, а подчас и лицемерными оказываются все речи о «свободе торговли», о «свободной», спасительной, все будто бы регулирующей «конкуренции» в применении к этим несчастным

местностям! В печати и даже в совещательной зале «сведущих людей» раздаются и теперь голоса в пользу свободы продажи питий; от взаимного соперничества между продавцами или содержателями питейных заведений ожидаются этими «фритредерами» самые благие результаты. Не станем рассуждать теперь о самом принципе вообще, но какой насмешкой звучат эти обещания для целых 26 губерний Русской империи – ввиду этих гахлатов и ввиду херема. Херемом же называется наказание, налагаемое на строптивого христианина: если проданный христианин окажется неподатлив относительно купившего его еврея, строптив или вообще навлечет на себя почему-либо неблаговоление кагала, то кагалу стоит только объявить такого неудобного христианина под херемом, и опять ни один еврей в мире не осмелится войти с ним ни в малейшее торговое сношение, а это в крае, где ни купить, ни продать нельзя иначе, как через посредство еврея, равняется совершенному разорению... Не очень давно в одной из газет был напечатан рассказ одного из помещиков Волынской губернии о том, как, подвергшись херему, он был вынужден наконец укротить свою «строптивость» и обратиться к какому-то раввину в Галиции (вероятно, к высшей инстанции) со смиренной просьбой о снятии с него интердикта: австрийский раввин милостиво внял этому молению христианина, и последний обрел снова возможность сбывать произведения своего сельского хозяйства! Спрашиваем теперь: не празднословие ли, не пустое ли, наивное и в то же время опасное, вредное разглагольствие – все эти «либеральные» и «гуманные» толки о расширении прав евреев до полного управления их с правами всех остальных подданных России – о необходимости предоставить евреям право, кроме вышеупомянутых 26 губерний, свободно расселяться по всей Русской империи и т.п., пока имеется в виду такая внутренняя организация еврейского племени? Что другое значит это предполагаемое расширение прав евреев, как не порабощение всей остальной России еврейскому «правовому порядку», юрисдикции и власти кагалов, как не распространение за пределы нынешней еврейской оседлости благодеяний гахлатов, меропии,

хазаки и херема? Никакой другой точки зрения в разрешении еврейской задачи в России пока еще быть не может – всякая иная, более общая, представляется отвлеченностью. На все рассуждения наших юдофильствующих газет, на все возгласы, бойкие и хлесткие, даже несколько нахальные речи самих евреев в их периодических изданиях мы отвечаем вопросом: а гахлат? А меропия? А хазака? А херем? А кагал и бет-дин? Пусть не уклоняются они от ответа – пусть скажут прямо: вымысел ли это или правда – и если вымысел, то какие могут они представить тому доказательства, перевешивающие свидетельство Брафмана и приводимых им документов? Если же правда, то пусть объяснят сами, как согласуют они такое исключительное привилегированное положение еврейского племени с идеей равноправности и свободы? Если свидетельство Брафмана истинно, то очевидно, что и вопрос о евреях требует другой постановки: это вопрос уже не об эмансипации евреев, а об эмансипации христиан от еврейской племенной организованной стачки, не о распространении на евреев действия общих законов Русской империи, а об изъятии христиан из-под действия еврейских законов, об ограждении христиан от великого, бодрствующего, неослабно действующего еврейского заговора.

Вместо того, чтобы «в интересах мира» затыкать уши и жмурить или отворачивать глаза, необходимо в действительном интересе мира откинуть то ложное и в сущности очень дешевое смирение, с которым мы так часто приносим наших присных по крови и духу в жертву мнимой гуманности и призрачному либерализму; необходимо разверзть слух и посмотреть правде прямо в глаза, уразуметь настоящее, реальное положение дела. А это положение в том, что евреи, в черте их оседлости, составляют у нас «государство в государстве», со своими административными и судебными органами, с местным национальным правительством, – государство, центр которого вне России, за границей, которого верховным правительством является «Всемирный еврейский союз» в Париже. Мы не ставим стремления к подобной организации в вину

еврейскому племени. С нашей точки зрения, уже известной читателям «Руси», такое стремление объясняется всей удивительной исторической судьбой сынов Израиля, призванных к духовному миродержавству и достигших миродержавства в лице Сына Давидова – Иисуса Христа, но не познавших исполнения своего племенного призвания в образе Христовом и продолжающих стремиться к миродержавству отрицания, к миродержавству антихристианской идеи в образе миродержавства еврейского. Это не обвинение, а определение, мы только обозначаем факт. Не это удивительно, а удивительно то, что евреи умудрились это бытие в Русском государстве государства еврейского, имеющего свой центр за границей, укрепить всей мощью Русского государства! Поистине чудно, с какой простодушной готовностью русское правительство обставляло гарантиями целость и твердость национального еврейского строя, как заботливо охраняло от всякой возможности внутреннего разложения! Диву надобно даться, когда удостоверишься, как руками самой русской власти, помощью ее принудительной внешней силы, страхом русских же уголовных законов упрочивали евреи свое национально-государственное здание, устанавливали свою власть над христианами, утверждали свою стачку, свою систему эксплуатации русского населения, свою систему обманов!..

Все это разоблачено в трудах покойного Брафмана, в его «Книге Кагала», второе издание которой в значительно распространенном и разработанном виде, вероятно, не замедлит появиться в свете. Все это вкратце передано двумя упомянутыми уже нами статьями в №№ 46 и 47 «Руси» – все это, впрочем, лучше всего подтверждается Сводом законов Российской империи!.. Брафман, впрочем, ограничивает свой план «преобразования быта евреев» только указанием, чего не следует делать русскому правительству и что из существующих узаконений подлежит безусловной отмене в области административной, учебной и государственной политики. Так, по его мнению, необходимо отменить в области административной все до сих пор существующие законы, по которым евреи вы-

деляются в особые общества для уплаты податей и отбывания государственных повинностей, и все существующие отдельные общественные сборы с евреев – другими словами, уничтожить еврейских сборщиков податей и упразднить коробочный сбор, общий и вспомогательный.

Хитрая политика иудейских вождей при поселении их единоплеменников в чужом государстве состояла всегда в том, чтобы соблазнять правительства предупредительной готовностью снять с него трудную и дорогую задачу взимания с евреев государственных податей и не обременять государственный бюджет расходами на общественные еврейские нужды (например, больницы и школы). Почти все правительства шли на это заманчивое предложение и охотно соглашались (по крайней мере, у нас это соглашение скреплено Сводом законов) на следующие условия: чтобы подати с евреев собирались сборщиками податей, избранными еврейской общиной и в этом звании утвержденными государственной властью; чтобы на покрытие общественных еврейских расходов были допущены и правительством узаконены особые, подробно обозначенные с евреев сборы, и чтобы местная администрация была обязана оказывать всякое содействие сборщикам в случае сопротивления со стороны еврейской массы или отдельных евреев и даже преследовать непокорных во имя закона. Вещь по существу своему, кажется, вполне рациональная и невинная, а в результате, по словам Брафмана, выходило, что над жизнью еврейской общины, которая, может быть, без того бы и разложилась или осталась бы при одной нравственно-религиозной связи, тотчас же развертывалось вместо власти государственной знамя национально-еврейского правления со сборщиками податей во главе. В руках этого правления сосредоточивались громадные денежные средства для осуществления национально-еврейских целей, сосредоточивалась принудительная сила держать общину в самом строгом подчинении своей юрисдикции и власти, под страхом наказания руками иноверческого, т. е. русского же правительства! Сборщикам податей было поручено и ведение податных списков, т. е. дана

возможность укрывать подлинное число еврейского населения, что они и делают весьма успешно, убавляя число евреев, живущих в России, по общему отзыву и по мнению Брафмана, на целую половину.

«Положение 1844 г. о коробочном сборе», внесенное и в Свод законов, – произведение поистине диковинное. По-видимому, что за дело русскому правительству: соблюдают ли евреи требование Талмуда относительно кошера, т. е. едят ли или не едят евреи мясо, такой скотины, которая заразна при соблюдении самых изысканных талмудических постановлений относительно ножа и которая называется кошер, или едят треф, т. е. мясо скотины, зарезанной не талмудическим способом, мясо, еврею Талмудом воспрещенное? Но еврейские вожди сумели соединить с этим кошером интерес фискальный, и хотя кошер делает мясо крайне дорогим и потому недолюбливается бедной еврейской массой, однако же кошер – вернейшая ограда иудейской обособленности и Талмуда, и потому... потому еврей, не соблюдающий кошера, наказывается самой русской властью как «уклоняющийся от кошерного сбора»! Странно читать в нашем Своде законов следующий образец русской правительственной заботы о еврейском талмудическом правоверии (Полож. о коробочном сборе, ф. 53):

«При убое скота и птиц на кошер не употребляется других к тому оружий, а при продаже евреям мяса других весов, кроме данных откупщиком (из евреев же) с его клеймом и с удостоверением раввина, что они могут быть употребляемы для кошера...»

Осмелился еврей изготовить себе мясо простым ножом, без раввинского удостоверения, словом, оказаться не совсем ортодоксальным, – штраф или еще того хуже: повинен есть пред русским уголовным законом!

Но еще замечательнее наше «Положение о евреях 1835 г.» и дополняющий оное закон 3 июля 1850 г. «Об учреждении надзора за синагогами и молитвенными домами». С падением Иерусалима у евреев нет и не может быть храмового богослужения (с жертвами, штатом духовенства и пр.), а есть только

богомоление. Вместо единого храма имеют они огромную массу частных молитвенных домов и немало мест общественного богомоления – синагоги. Распадение религиозной жизни еврейской общины на мелкие молитвенные группы (чему способствует моление в частных домах), как явление опасное для единства религии Израиля, давно обратило на себя внимание представителей и вождей иудейства. И вот в угоду им русский государственный закон гласит: «Общественные молитвы и богомоления могут быть совершаемы только в особых зданиях, для сего определенных, т. е. в синагогах и молитвенных школах», за неисполнение чего взыскивается штраф до 1000 рублей! Тем не менее кагал беспрепятственно допускает моление в частных домах, кроме некоторых праздников, установленных именно с целью разжигать национально-политические и религиозные страсти евреев, обновлять и укреплять в них чувство племенного единства. В эти дни кагал, вооруженный русским государственным законом, насильственно сгоняет всех евреев из частных молитвенных домов в синагогу. В 1875 г. многие евреи в Петербурге в дни указанных праздников не захотели было закрывать своих частных молелен – представители еврейской общины, опираясь на вышеприведенный закон, – тотчас к градоначальнику, и градоначальник закрыл: «Не уклоняйся-де от участия в общественных еврейских национально-религиозных праздниках!»

Конечно, такой закон должен быть отменен, и евреям должна быть предоставлена полная свобода вероисповедания. Русское правительство, – справедливо говорит Брафман – не должно препятствовать еврею молиться, где и когда ему угодно, не должно быть орудием в руках кагала для наказания тех евреев, которые не окажутся особенно склонными заботиться о политическом благе всего Израиля. Пусть иудейство – повторим его слова – живет религиозной мощью, если она в нем имеется, но пусть же оно для поддержания своего могущества и возбуждения в еврейской массе политических надежд не находит себе сильной опоры в велениях русского государственного закона!..

Далее Брафман указывает на необходимость отказаться от правительственной опеки и регламентации национально-еврейской науки, а для этого упразднить созданные Положением 21 марта 1873 г. еврейские начальные училища вместе с еврейскими учительскими институтами и отменить закон 1875 г. о преследовании меламедов, т. е. непатентованных правительством учителей, держащих частные школы. Свободное движение религиозной мысли в среде евреев грозило, без сомнения, опасностью самой основе национального еврейского единства, порождало и не могло не породить разные уклонения от Талмуда, разные ереси, ослабляющие духовную целость иудейства. И вот русский закон тяжеловесным государственным молотом кует духовную силу иудейства, настаивает на самом тщательном изучении Талмуда (обрекающего каждого христианина, его личность и имущество в достояние еврейское, в предмет купли и сдачи с торгов), требует от раввинов строгого еврейского правоверия. Если бы поставить вопрос, следует ли предоставить евреям полную свободу религиозного образования, – все «либералы» должны были бы, по-видимому, ответить и ответили бы правильно, в смысле утвердительном. Но либеральные иудофилы держатся иного воззрения по отношению к евреям. Дело в том, что этот либеральный принцип не выгоден для вождей иудейства. Оказалось, несравненно согласнее с их целями и задачами воспользоваться принудительной силой русской власти: это и достигнуто созданием училищ и учительских институтов на основании законов 1873 и 1875 годов, крепко и твердо ограждающих верность духовной основе современного иудаизма – Талмуду.

Мы не перечисляем здесь всех прочих указаний Брафмана, несомненно, подтверждающих, что организация мощной тайной силы еврейства зиждется, главным образом, на русских государственных законоположениях. Все предлагаемые Брафманом меры чисто отрицательного и в сущности самого либерального свойства и сводятся к такой формуле: отменить правительственную опеку над евреями, как над отдельной обособленной общиной, не узаконивать, не поддерживать ее от-

дельного, обособленного существования всей мощью русской государственной власти, предоставив ее себе самой.

Вместо того, чтобы в разрешении еврейского вопроса в России бродить вокруг да около, не лучше ли, не пора ли наступить на самую его сердцевину, т. е. обратиться прежде всего к пересмотру существующих законов и перестать узаконивать и ограждать бытие той чудовищной аномалии, какую представляют отношения еврейства к христианскому населению, – той исполинской, могущественной стачки, разоряющей десятки миллионов русского народа, того государства в государстве, той тайной, космополитически-племенной иудейской организации, которая опирается, с одной стороны, на свой политический национальный центр, на «Всемирный еврейский союз» в Париже, с другой – на русское же правительство, на Свод законов самой Российской империи?!..

Еврейская агитация в Англии

Два слова еще по поводу еврейской агитации в Англии. Нужно ли говорить, что сами англичане не верят, не могут верить всей той лжи, которой с таким изобилием снабжают их евреи и которую они с таким злорадством печатают в своих многочисленных газетах? Здравый смысл мог бы, однако, подсказать им самим, не ожидая и опровержений со стороны России, совершенную несбыточность описываемых фактов, вроде, например, поголовного обесчещения женского населения целых местностей, как Березовки и других! Статочное ли дело, чтобы о таких событиях не ведали или молчали в течение шести–семи месяцев представители английского правительства в России, многочисленные, рассеянные по России английские консулы и тысячи англичан, проживающих в нашем Отечестве? Прежде чем печатать эти мерзости, поносить Россию в газетах и на митингах и требовать от английского министерства протеста против действий русского правительства, не проще ли было бы обратиться с запросом к англий-

скому послу в Петербурге? Но в том и дело, что и составители известий, и редакторы, печатающие эти известия в своих газетах, нисколько не сомневаются в их лживости. Умысел тут другой. Прежде всего умысел еврейский. Евреям известно, что труды губернских комиссий по вопросу об установлении правильных отношений еврейского населения к христианскому сосредоточены теперь в Петербурге, в центральной комиссии под председательством г. товарища министра внутренних дел, и вот с целью произвести давление на русское общественное мнение и на русское правительство и поднят ими весь этот безобразный, позорящий не Россию, а Англию шум и гвалт. Но умные евреи оказались на сей раз очень уж просты, и без сомнения, обочтутся в своих расчетах. Правда, они основывали свои соображения на русских же, известного пошиба, газетах, исповедующих если не прямое юдофильство, то пренебрежение к русской народности, – однако же есть повод думать, что время успешного застращивания русского правительства иноземным общественным мнением, враждебной критикой и гулом заграничной хулы безвозвратно прошло. Если в этом враждебном России подъеме английского общества проявилась сила Израильского всемирного союза (Alliance Israelite), то тем более причин для России оградить себя от вмешательства этой международной новой державы и пресечь разом все ее притязания... Евреи в России, оставляя действия своих лондонских собратий без протеста, конечно, этим самым только доказывают свою полную с ними солидарность...

Достойно замечания, что евреи, вероятно, желая снискать вящее благоволение английской публики, а может быть, наивно рассчитывая, что русское правительство, струсив английской критики, последует их указаниям, трубят в английских газетах (как свидетельствует корреспонденция из Лондона, помещенная в № от 11 января «Нового Времени»), что разгром, насилия, зверства, совершенные будто бы в России над еврейским населением, вызваны не кем иным, как «московскими славянофилами» и именно, между прочим, редактором «Руси». Одним словом, с точки зрения еврейской, как и с точки зрения

нашей «либеральной прессы» (да и Австро-Венгрии, конечно), в России вся беда от «народности», так как народное направление, в их понятиях, равнозначительно возбуждению народного духа против «интересов цивилизации» (читай: евреев и немцев)... Этого мало. Одновременно с этим в тех же английских газетах евреи предъявляют требование, «чтобы общественное мнение помогло русским политикам школы графа Шувалова заменить настоящих русских министров» («Новое Время», та же корреспонденция из Лондона). Знаменательно!

Знаменательно оно и потому, что эта еврейская агитация в Англии служит подкладкой для агитации партии тори, или консервативной, на сторону которой, очевидно, сворачивает и «Times». Консервативная партия, вероятно, предполагает, что настала пора для свержения Гладстона и всего либерального министерства. Встревоженные призраком аграрных реформ, грозящих из Ирландии перейти в Англию, тори, пользуясь затруднениями, встреченными настоящим правительством в Ирландии, усиливаются создать затруднения министерству и во внешней политике. Дружественные отношения к России противоречат не интересам Англии – совершенно напротив, а тем предрассудкам, которые сильнее всяких доводов здравой логики и глубоко вкоренились в тугоподвижные умы большинства английского общества. Нелегко ему расстаться с догматами своего политического credo, будто Балканский полуостров должен быть изъят из сферы влияния России, так как свободный проход русских судов через Босфор и Дарданеллы представляет будто бы опасность для английских индийских владений! Этот неразумный страх можно объяснить себе не иначе как предрассудком. Поэтому и возбуждение недоверия и даже ненависти к России входит в расчеты консерваторов как возвращение общества к самым популярным его преданиям, тесно связанным с направлением внешней консервативной политики. В Англии не перестают вспоминать о том политическом блеске, которым была она окружена за границей при Беконсфильде и которого она как бы лишилась при Гладстоне, причем забывают, что весь этот блеск лживый, условный,

что могущество Англии в сущности мнимое, что Англия без тесного союза с сухопутными державами не страшна никому на суше и что дерзкая политика Биконсфильда, удовлетворяя национальному тщеславию, ничего в сущности не принесла Англии, кроме убытка. Как бы то ни было, но уже теперь можно предвидеть, что с падением Гладстона отношения Англии к России станут снова враждебны и что Англия примкнет к политической системе канцлера, т. е. к союзу с Германией и Австрией. Нельзя не принять в соображение, что этого падения открыто желает и сам князь Бисмарк и что восстановление консервативной партии во главе английского правительства, дружественной Германии, изолируя Францию, изолирует и Россию и создает сильную коалицию трех держав, восточная политика которых будет, как и на Берлинском конгрессе, направлена вся против России... Выходит, что и вся эта еврейско-консервативная агитация в Лондоне, с которой так мужественно борются газеты благородной партии Гладстона, как раз на руку и германскому канцлеру, и австро-венгерскому правительству: для последнего же особенно кстати ввиду предпринятого им хищения Боснии и Герцеговины...

Она, эта агитация, кстати и для «Голоса». Он пользуется ею, чтобы обвинить ненавистное ему притязание на «самобытность» и еще раз отрекомендовать себя пред враждебной России Европой несамобытным, в чем, впрочем, никто и не сомневался. Достаточно вспомнить, как воспевал он во время оно Берлинский трактат и его главных радетелей. «В возникновении еврейского вопроса мы сами виноваты, – вещает он. – Мы не настолько культурный народ, чтобы относиться с терпимостью к чужому мнению, чужой профессии, чужой жизни...» Это эксплуатация-то русских крестьян евреями чествуется именем профессии!.. «Наша нетерпимость, – продолжает «Голос», – как и другие недобрые качества, тотчас же выступила на первый план, как только мы захотели быть самобытными». Следовательно, к формуле «не разнуздывайте зверя» «Голос» прибавляет и еще формулу: «будьте несамобытны». Это уж и комментария не требует.

И все это в ответ на оскорбления, посылаемые России из той страны, где каждый день совершаются действительные зверские убийства, вызванные тем аграрным вопросом, разрешение которого в России прошло мирно и благополучно – именно потому, что это разрешение было не заимствованное, а самобытное!..

Нормально ли положение евреев на нашем Западе и Юге и их отношение к местному населению?

Противоеврейские или даже просто «еврейские беспорядки» (как принято в нашей печати называть действия самовольной народной расправы с еврейским имуществом), возникшие было вновь на юго-западе России, кажется, прекратились, Бог даст, они и не возобновятся. Достойно замечания, что в нынешнем году они происходили не там, где производился разгром прошлой весной и летом, а на новых местах, и притом далеко не в том числе случаев и не в таких вообще серьезных размерах, исключая только разгром в г. Балте. Очевидно, что меры, принятые администрацией, не остались совсем без последствий, да и было бы слишком печально, если б мы не сумели воспользоваться уроком 1881 г., если бы тот взрыв народного негодования, тот острый пароксизм внутреннего, внезапно обличившегося недуга, который прошлой весной не мог быть своевременно предупрежден, перешел в хроническое состояние, в явление обычное, чуть незаурядное! Не следует, однако ж, обнадеживать себя наступившим затишьем и воображать, что достаточно одних строгих наказаний и экзекуций post factum для совершенного предотвращения возможности подобных безобразных бесчинств в будущем. Такими мерами, конечно, удается иногда вселить спасительный страх, но лишь на ограниченном пространстве, да и ненадолго. Если в то же время не внушить народу уверенность, что правительство окажет ему наконец энергическую защиту от еврейского гнета, освободит его от закрепощения еврейскому капиталу,

то никакие угрозы не убедят его в беззаконности самоуправства. Утратив последнюю надежду на заступничество власти, население может, пожалуй, дойти до такого отчаяния, при котором сами казни станут не страшны... Если нежелательно повторение возмутительных сцен киевского, кременчугского, балтского погромов, так не следует и ограничиваться преследованием одних виновников погрома, а необходимо с неменьшим рвением позаботиться об устранении всякого повода к таким явлениям; врачуйте сам недуг, если хотите избавиться от его опасных припадков... И нельзя не признать, что в этом отношении деятельность г. министра внутренних дел заслуживает искренней благодарности русского общества. Он не удовольствовался полицейскими мерами предосторожности и уголовными карами, а тотчас же усмотрел в этих так называемых беспорядках их важное социальное и государственное значение. Он не уклонился, как многие его предшественники, от единственно верной и правильной постановки еврейского вопроса в России и через посредство нарочно устроенных в черте еврейской оседлости комиссий (в состав которых вошли не одни официальные лица, но и местные сведущие люди, и даже сами евреи) приступил к расследованию отношений еврейского населения к христианскому. Мы имели случай познакомиться частным образом с трудами некоторых комиссий и не можем не пожалеть, что они не преданы гласности: богатство собранных ими данных, несомненно, образумило бы многих из тех, которые держат сторону евреев против русского народа не из корысти (как некоторые), а из фальшиво понятого гуманизма или по незнанию. Комитет при Министерстве внутренних дел, куда стекались все работы комиссий, говорят, уже проектировал ряд мер, облегчающих, если не упраздняющих, еврейский гнет над христианским населением, но в ожидании, пока этот проект будет рассмотрен и утвержден законодательным порядком, министерство, по словам газет, представило в Комитет министров предположение о некоторых временных, облегчительных для народа и, стало быть, ограничительных для евреев правилах. Этим неизбежным

промедлением в законодательном решении вопроса и поспешили воспользоваться как евреи, так и их корыстные и бескорыстные защитники: агитация производилась да производится еще и теперь в обширных размерах как в России, так и еще более на западе Европы – в печати, на биржах, на митингах, даже в британском парламенте. Вообще за границей пущены в ход всевозможные способы произвести давление на правительство и на общественное мнение России (начиная с самой гнусной заведомой клеветы). Успех рассчитан на укоренившемся в чужих краях предположении о необычайной будто бы податливости русских руководящих сфер всяким западноевропейским требованиям, будь только они предъявлены, с нахальной настойчивостью, о непомерной застенчивости русского общества не только перед носителями «европейской культуры и цивилизации», но даже перед самими ярлыками, на которых стоят эти заветные слова и которые иностранцы, нам же на смех, в сношениях с нами, нарочно пришпиливают к самым грубым своим интересам, противоречащим всяким понятиям о цивилизации и культуре! Так, австрийские газеты иудеев ради предлагают исключить «варварскую» Россию из числа европейских держав – в то самое время, как Австрия среди бела дня без всякого законного повода и права, ради лишь порабощения себе Боснии и Герцеговины, производит в этих славянских землях самую ужасную бойню, а в Галиции в то же время воздвигает тяжкое гонение на всех помышляющих о переходе в православную веру! Так, властелины европейских бирж, заступаясь во имя культуры за свободу эксплуатации христиан евреями, пугают наших финансистов угрозами понизить русские фонды, тогда как сами же играют на это понижение и скупают потом русские правительственные ценные бумаги, твердо веруя в исправность России относительно ее обязательств! Этим только и объясняется тот несомненный факт, что на другой же день после первого Лондонского митинга в защиту иудаизма в России русские фонды ниже не упали, а, напротив того, поднялись!.. Главная цель всех этих искусственных, неискренних манифестаций – добиться са-

мым дешевым способом не только полного обеспечения настоящего экономического преобладания еврейства в западной и южной России, но и усиления этого преобладания до степени безусловного, привилегированного господства. Дешевизна этого способа, в точном, буквальном смысле слова, ни в чем так не проявилась, как в благотворительных хлопотах о переселении или о содействии к эмиграции из России евреев. Его величество, глава еврейского дома Ротшильдов – этого царя и самодержца денежного рынка всей Европы, состояние которого исчисляется миллиардами, который мог бы скупить у султана всю Палестину, – соблаговолил пожертвовать в пользу разоренных своих одноплеменников... 25 тыс. франков! Вся остальная Европа – негодующая, протестующая – вместе со всеми остальными еврейскими банкирами, располагающими также несметными капиталами, не набрала, кажется, и 500 тыс. рублей для помощи сим «несчастным жертвам русского варварства», тогда как бедный деньгами русский народ, заслышав в 1876 г. о страданиях своих единоверцев и единоплеменников в Боснии и Герцеговине, грошами выслал страдальцам миллионы!.. Жалкого же мнения о нас за границей, если полагают возможным смутить такими фальшфейерами, такой шумихой русское общество и русскую власть! Конечно, иностранцы могут быть легко введены в заблуждение газетой «Голос» с ее сателлитами, для которых Европа нечто вроде начальства или знатного барина, но пора же заграничным «деятелям» наконец уразуметь, что своими выходками по поводу евреев против России они не собьют с толку рассудительную часть русского общества и не воздействуют на независимость мнения руководителей внутренней русской политики, а могут лишь понапрасну раздражить русское народное самолюбие и пуще навредить самим же евреям. Да и последним не худо бы принять к соображению, что, посылая из России в Европу телеграммы и письма не только с преувеличенным описанием беспорядков, но и преисполненные мерзостнейшей лжи о небывалых злодействах, плохую службу служат они своему делу в нашем Отечестве.

Еврейский вопрос в России – вопрос великой важности, чрезвычайно серьезный, серьезный до трагизма, и к нему действительно нужно отнестись с беспристрастным, строгим вниманием, sine ira et studio[1]. Нельзя поэтому не жалеть, что большинство нашей печати относится к нему более чем легкомысленно. В нашей газете в №№ 46 и 47 были в прошлом году напечатаны статьи Брафмана, после которых немыслима, казалось бы, та постановка еврейского вопроса, которой держатся у нас до сих пор поборники еврейских интересов в своих запальчивых статьях, вызванных недавними последними событиями. Наконец вышел в свет новым, исправленным и значительно дополненным изданием труд Брафмана: «Книга Кагала», 1882 г. 2 части – труд, который должен бы служить точкой отправления, краеугольным камнем при всех суждениях о еврейском в России вопросе, но о котором совершенно забывает наша полемизирующая печать, с которым, может быть, не соблаговолило даже и познакомиться большинство наших публицистов! Это ли внимательное, добросовестное отношение к делу! Но что еще более поразительно, чем такое пренебрежение к капитальному труду, раскрывшему бездну данных для разрешения еврейской задачи, – это совершенное неведение условий быта и жизни целых 16 губерний Европейской России (не считая 10 губерний так называемого Царства Польского), то есть всей русской области, находящейся внутри черты еврейской оседлости и представляющей площадь в 737 987 кв. верст, с населением около 23 миллионов жителей! Можно предположить, что никогда никто из этих ретивых заступников за еврейство и не заглядывал в наши южные и западные губернии, потому что даже поверхностное знакомство с краем не может не вызвать добросовестного человека на серьезное размышление о способах избавления христиан от тирании еврейского могущественного кагала, о создании сносных, не для евреев, а для русских, социальных и экономических условий существования. Недостаточно быть знакомым в Москве или Петербурге с двумя–тремя получившими высшее образование евреями и по ним судить о еврейской массе, а нужно бы пожить там в

деревне, пробыть несколько времени в любом из этих городишек вроде Балты, Бендер, Бердичева... Но и независимо от личных впечатлений и исследований разве голос народа этих 16 губерний, разве свидетельство всех заслуживающих доверия, бывших и настоящих правителей края, разве мнения земств и землевладельцев тех местностей не имеют ровно никакого значения? А все эти голоса, свидетельства и мнения говорят одно: что экономическая и социальная зависимость мужика да почти и всякого христианина от еврейской корпоративной стачки становится нестерпимой, что благо русского народа, благо всего края требует изменения существующих отношений христианского населения к 5 или 6-миллионному населению еврейскому... Да и кто же не слыхал и не ведает как несомненную аксиому, что всякий край, в котором экономическое государство захватывают в свои руки евреи, не процветает, а чахнет и гибнет; что такой же печальной участи, если своевременно не будет оказано помощи, может ожидать себе наш юг и запад, где, без сомнения, сравнительно с Европой, и образование, и культура вообще стоят на низкой степени, да где (именно в западных губерниях) вдобавок по милости польского управления не образовалось и нет крепкого туземного городского сословия? Но у нас – и только у нас возможно это явление – вдруг точно отшибло память у большинства «интеллигенции», и уши оглохли, и народного вопля не слышат, и мнению земских людей не внемлют, и с удивлением, точно впервые в жизни, узнают о какой-то неблаговидности еврейских поступков в этих 16 губерниях! Разумеется, по их мнению, все это не более, как злые наветы на бедных, ни в чем не повинных евреев! Они даже и не задают себе вопроса: неужели все эти деяния народного самосуда, конечно, и бесчинного и безобразного, взялись так себе, не из чего, от чужих внушений, со стороны, а не служат симптомом того внутреннего глубокого разлада, той чудовищной аномалии, которой страдает весь местный организм и которая началась издавна, как о том свидетельствуют все народные песни, былины, предания Малороссии? У нас любят объяснять антиеврейское народное движение кознями крамо-

лы. Но не крамола же создала антисемитическую лигу и беспорядки, происходившие в Германии! Крамола могла воспользоваться самопроизвольно возникшим у нас движением, но не она, конечно, его первоначально вызвала. Долго назревавший нарыв наконец лопнул, и об этом назревании одни ли народные русские сказания свидетельствуют? Всякий честный, серьезно образованный еврей (мы знавали таких и с некоторыми из них были даже в приязненных отношениях) подтвердит наши слова о том вреде, который наносит населению хищнический инстинкт невежественной еврейской массы, нередко преисполненной злого религиозного фанатизма, под влиянием своих цадиков, крепко сплоченной и организованной. Даже в некоторых издаваемых в России еврейских журналах можно найти статьи, молодые авторы которых обращаются с горячими, хотя и бесплодными увещаниями к большинству своих единоверцев: «не навлекать на себя своим образом действий справедливой ненависти христианского населения». Выходит, что некоторые наши петербургские газеты, отрицающие недоброкачественность еврейской эксплуатации sont plus juifs que Juifs eux-memes![2]

Кстати, в одной московской газете было сказано, что «жиды-шинкари имеются только в Заднепровье» и что крестьяне не менее, если не более, разоряются там, «где евреев не пускают и где кабаком орудует православный целовальник». Несправедливость первого положения доказывается следующими достоверными цифрами, которые нам удалось достать от некоторых еврейских комиссий: отношение евреев-кабатчиков к кабатчикам-неевреям в губернии Витебской составляет 77%; общее же число в ней евреев-кабатчиков 1342; в Черниговской – 78%, общее число – 2368, да сверх того тайных кабаков, исключительно содержимых евреями, – 1389; в Минской – 95%, общее число евреев-кабатчиков – 1639; в Виленской – 98%, общее число – 1468; в Гродненской – 98%, общее число – 2250; стало быть, жиды-шинкари или кабатчики не только в Заднепровье, да и не малочисленны... Что же касается до «православного целовальника», то это обвинение

несколько тождественно с ходячим, модным у нас теперь негодованием на русских сельских «кулаков». Положим, негодование это вполне законно и делает честь негодующим; но почему же, спрашивается, ограничивают они свое негодование только русскими «кулаками», а как скоро дело касается «кулаков»-евреев, то благородный гнев их обрушивается не на сих последних, а на тех, которые хотят от этого кулачества избавиться! Русский «кулак» – явление единичное, порознь стоящее, а тут в лице евреев – целая корпорация, целая крепкая организация кулачества, целые миллионы «кулаков», солидарных между собой, друг друга поддерживающих, которых вся профессия, все призвание заключается в кулачестве или эксплуатации христианского населения. Русский «кулак» (хотя бы и целовальник) может и перестать быть кулаком, может раскаяться; кулачество в нем – извращение его духовной природы, уклонение от исповедуемых им или врожденных ему, как и всей окружающей его среде, общих начал христианской нравственности. Для еврея же кулачество не есть грех, а почти всякой долг, отчасти предписываемый или, по крайней мере, разрешаемый его Талмудом, – долг, исправное исполнение которого гарантируется ему кагальным устройством. Наконец, между русскими «кулаками» возможна конкуренция, которая более или менее парализует вред их чрезмерного хищничества и не дает образоваться монополии. Между евреями, напротив, всякая конкуренция кагалом запрещена; ни один еврей не смеет ни продать дешевле, ни купить дороже другого еврея или вообще сбить ему цену: это – колоссальная стачка, это монополия миллионов людей, действующих по отношению к христианскому населению как один человек. Некоторые газеты у нас в своей заботе о благе русского крестьянства требуют особых специальных законов против деревенских «кулаков». Прекрасно, но пусть же они требуют таких же законов в ограждение русских крестьян и от «кулаков»-евреев, а в этом ведь и заключается вся суть так называемого еврейского вопроса! Удивительное дело: наши социалисты ораторствуют против владычества капитала, возбуждают даже почти и не

существующий у нас «рабочий вопрос» – и совершенно молчат о еврейском вопросе, тогда как нигде и ни в ком так не воплотилась ненавистная им идея «капитала» – живьем и гольем, – как в еврействе!..

Но неужели, скажут нам, вид разоряемых, гонимых евреев не способен возбуждать сострадание? И способен, и должен, но для чего же гуманность и сострадательность направлять только с одной стороны – еврейской? Мы не видим, почему только несчастье, постигшее десятки тысяч евреев в недавнее время, заслуживает участия, а муки, в течение веков претерпеваемые русским населением, даже и внимания не достойны? Для нас, русских, кажется, на первом плане все-таки должно быть благо русского народа, а не пришлого чуждого племени...

Вовсе, однако ж, не для того, чтобы «разжигать племенную или религиозную вражду между русским населением и евреями», как, может быть, воскликнут некоторые, пишем мы эти строки. Мы желаем именно утвердить вопрос на экономической и социальной почве, хотя и не можем отрицать, что подпочва его – не у русских, а именно у евреев – все-таки племенная и религиозная. Не обвинительный акт составляем мы против евреев и вовсе устраняем из настоящего спора интерес племенной и религиозный. Мы хотим, напротив, если не мира, то перемирия или мировой сделки, возможного компромисса. Мы хотим предотвращения новых безобразных проявлений народной расправы, которыми мы гнушаемся не менее, как и наши поборники иудаизма, но которых не предотвратят они способом защиты, ими избранным. Те, которые выставляют евреев как оклеветанную, угнетенную невинность и отрицают аномалию во взаимных отношениях обеих сторон, только поощряют евреев к упорствованию в той пагубной системе действий, которая неизменно ведет к столкновению с русским сельским населением, которая делает их ненавистными народу: следовательно, не во благо, а во вред действуют самим же евреям; следовательно, не предупреждают возможности новых возмутительных сцен крестьянского мщения, а накликивают ее... Науськивая теперь энергию правительства на виновников

разгрома еврейских жилищ, глумясь беспрестанно над администрацией, зачем она действовала не с достаточной будто бы энергией, не заставила солдат штыками и пулями защищать еврейское имущество против христианского населения (т. е. зачем не ввела солдатское чувство дисциплины во искушение!); издеваясь над судом, зачем наказания не довольно будто бы строги, – неужели наши ревнители еврейства воображают, что чрезмерным усилением строгости и вооруженным покровительством евреям не нарушится истинное правосудие, – водворится между обеими сторонами мир и любовь, а не сильнейшая ненавистью. Нет, для того, чтобы устранить всякую возможность самовольной народной расправы, нужно, чтоб была законная на евреев управа, а ее-то и нет!..

Итак, прежде всего следует поставить вопрос, нормально ли положение евреев на нашем западе и юге и их отношение к местному населению? Но неужели после всего нами изложенного это еще может быть вопросом? Неужели в чудовищной аномалии этого положения и этих отношений может кто-либо серьезно и по совести сомневаться? Мы не думаем. Но раз существование аномалии признано, сам собой возникает и другой вопрос: каким образом прекратить эту аномалию? Как упорядочить взаимные отношения христиан и евреев и установить правильный или по крайней мере сносный modus vivendi? В более простой форме это значит – поставить вопрос не о какой-то эмансипации евреев от русских христиан, а об эмансипации от еврейского гнета русского населения на нашем юге и западе – о том, каким вернейшим способом обезвредить евреев? Это вопрос серьезный, мудреный, сложный, над которым и следует поработать, в интересе столько же евреев, сколько и русского народа, не увлекаясь мечтами о радикальном разрешении «еврейского вопроса вообще»: таковое едва ли и возможно, хотя в этом своем виде, как вопрос общеевропейский, мировой – и в то же время роковой, – он уже начинает сознаваться и возбуждаться в Германии. Нам пока впору остановиться на первой его стадии, т. е. разрешить его отчасти как вопрос местный и исторический.

«Вместо того, – сказали мы еще в прошлом году (№ 48 «Руси»), – чтобы в разрешении еврейского вопроса в России бродить вокруг да около, не лучше ли, не пора ли наступить на самую его сердцевину, т. е. обратиться прежде всего к пересмотру существующих законов и перестать узаконять и ограждать бытие той чудовищной аномалии, какую представляют отношения еврейства к христианскому населению (с кагалом, бет-дином, меропией, хазакой, гахлатом, херемом)», «той исполинской могущественной стачки, разоряющей десятки миллионов русского народа, того государства в государстве, той тайной космополитически-племенной иудейской организации, которая опирается, с одной стороны, на свой политический национальный центр, на «Всемирный еврейский союз» в Париже, с другой – на русское же правительство, на Свод законов самой Российской империи»! Вот что говорили мы еще в прошлом году; в этом же отчасти смысле высказались на днях и «Московские ведомости». Очевидно, что до отмены действующего ныне законоположения невозможно толковать ни о допущении свободного расселения евреев по всей России (ибо это значило бы распространять на всю Россию действие кагала), ни о полной их равноправности с прочими русскими подданными (ибо это значило бы дать права русских подданных подданным чужой, т. е. тайной еврейской державы, т. е. наделить евреев общими нам всем правами, в придачу к тем особенным важным преимуществам племенной могущественной организации, которыми они теперь пользуются, – стало быть, ставить их не в равноправное, а в привилегированное положение).

Но ошибочно было бы думать, что кагальное устройство было навязано евреям нашим законодательством. Напротив – все русские законы, благоприятствующие организации, от которой «Московские ведомости» предлагают теперь эмансипировать самих евреев, были искусным и хитрым образом внушены и подсказаны правительству не кем иным, как самими евреями... Именно отмены этих законов и опасаются евреи, страхом отмены и вызвана теперь вся эта агитация, а не только разгромом имущества и «беспорядками»! В этом легко убе-

диться, вникнув в смысл всех возгласов нашей иудофильской прессы (она же и «либеральная») и того негодования, которым были встречены евреями и нашими иудофилами разоблачения Брафмана.

О том, как бы обезвредить евреев для христианского народонаселения

Когда года полтора тому назад произошли в России так называемые антиеврейские беспорядки, т. е. когда в Елисаветграде, Одессе, Киеве и во многих местах нашего юго-запада, в черте еврейской оседлости, народные толпы совершали разгромы еврейских жилищ и имуществ, притом большей частью без малейших корыстных побуждений; когда, одним словом, происходило то печальное и безобразное явление, которое гуманный и либеральный «Вестник Европы» – устами, правда, своего сотрудника г. Костомарова – назвал так отвратительно грубо, но и метко: «жидотрепкой», – тогда не только в русском обществе, но и по всей Европе поднялся такой шум, свист и гам, такой визг и даже рев негодования, что бедная Россия, оглушенная, опозоренная, сконфуженная, не знала куда от стыда и деваться. Русская печать (в большинстве своих органов), не желая остаться позади европейской, напротив, усердствуя показать себя «на высоте призвания», громко, настойчиво, во имя культуры и цивилизации, требовала «энергического подавления» беспорядков и осуждала тех из местных начальников, которые несколько медлили стрелять по народу и проливать русскую кровь. В Киев, в Одессу помчались на крыльях благородства души и любви к прогрессу, вероятно, также и на еврейский счет (а впрочем, как знать? Быть может, даже и собственным коштом!), наилиберальнейшие, наипрославленные, наинажившиеся наши адвокаты в качестве «гражданских истцов» для защиты еврейских интересов. В сущности же, в качестве добровольных прокуроров: да не избегнет уголовной кары никто из русских крестьян и мещан, заподозренных в

разгроме! В то же время в Европе везде и всюду образовывались комиссии и комитеты, собиравшие деньги в пользу пострадавших и бежавших русских евреев; гулом гудели насмешки и ругательства над Россией; сходились публичные митинги, требовавшие Россию к международному суду; делались запросы в британском парламенте с целью затеять из-за евреев новый крестовый дипломатический поход против России. Благородство либерального негодования шипело как в котле от Балтики до Адриатики, от Вислы до Атлантического океана и за оным. В нашем Отечестве не щадили никого, чтобы успокоить общественное мнение Европы: секли, запирали в тюрьмы «виновников» и приняли раз навсегда твердое решение: впредь могущие возобновиться беспорядки подавлять уже без малейшей пощады, быстро и лихо, одним словом, не чиниться со своими; еврейский же упадший дух ободрить и бежавших евреев гуманно воспринять вновь в русские недра. Ушли было из четырех миллионов русского населения до 14 тыс.; о такой великой потере для нашего государства много тосковали некоторые наши газеты, но мы можем утешиться, что она теперь восполнена, и почти без убытка, так как бежавшие и переселившиеся было на благотворительный счет в Америку и в Палестину оказались там ни к какому труду непригодными и к колонизации неспособными, а потому с радостью возвратились на свои западнорусские пажити, под благодетельный покров русского правительства... В нынешнем году возобновился было в некоторых местах, особенно в Екатеринославле, разгром еврейских имуществ, но тотчас же «энергически подавлен», причем евреев не погибло ни одного, а русских погибло от русских пуль довольно, и в том числе несколько совершенно невинных.

Но вот что замечательно. Уже второй месяц без перерыва творятся в Венгрии «антисемитские беспорядки», и не нашим чета! Пока бушевали против евреев только венгерские славяне, дело происходило как и у нас, – хоть не красиво, но и не очень кроваво; как скоро же движение распространилось на мадьярское население, несравненно менее благодушное, чем славян-

ское, беспорядки перешли в настоящие побоища: вооруженные крестьянские толпы не только грабят, но и бьют евреев; в свою очередь, войска, являющиеся тотчас же для усмирения, бесцеремонно бьют, т. е. убивают крестьян, крестьяне – солдат: с обеих сторон раненые и убитые... Целые округа объявлены на военном положении. Зная характер мадьярского племени, мы имеем полное основание предположить, что дело в этом азиатском уголке Европы обстоит еще несравненно хуже, чем передают о нем газеты, и совершается с некоторой обоюдной свирепостью. И однако ж никакого взрыва негодования в Европе не происходит – благородство души и любовь к прогрессу ведут себя на этот раз очень смирно, не разражаются приличными случаю возгласами (даже и в среде нашего либерального лагеря); митингов не скликают, в парламентах запросов не делают, и стыдить, оскорблять австро-венгерское правительство угрозой дипломатического за евреев заступничества никому и в голову не приходит! Правда, и негодовать-то не на кого и не за что: в Венгрии – конституция, да еще самая либеральная; евреи пользуются наиполнейшей равноправностью с христианами; венгерские власти проливают кровь своих мадьяр, евреев ради, с искренним усердием, без малейшей пощады, так что австро-венгерской печати, которая почти вся в руках еврейских, даже и подстрекать правительство вовсе нет надобности. Если, однако же, нет повода негодовать, то, казалось бы, есть повод задуматься; но именно потому, что австрийская пресса почти вся (да и германская отчасти) руководима евреями, ей и невыгодно останавливать слишком долго общественное внимание на венгерских антисемитских беспорядках. Невыгодно потому, что ведь невольно напрашивается вопрос, если в России причина народного гнева на евреев – по толкованию либеральных иудофилов, то ненормальное, неравноправное их положение, которое создано им русским неконституционным законодательством, то почему же в конституционной Венгрии, где они поставлены в самые наилучшие законодательные условия, раздражение народа против евреев еще сильнее, чем в России, и выражается в формах несравненно более грозных?

Несомненно, что постановка подобного вопроса для евреев вовсе неблагоприятна, а потому и нежелательна, тем более, что настоящие венгерские антисемитские беспорядки в сильной степени умаляют значение таковых же беспорядков в России, а вместе с тем разоблачают более или менее и вздорность тех кликов и возгласов, той либеральной трескотни, которыми негодующая Европа совсем было сбила с толку русское общество и администрацию...

Должны бы умалить и разоблачить, а умалять ли и разоблачать ли действительно в глазах нашей администрации и так называемой интеллигенции – этого мы не знаем и еще не видим, да вряд ли и увидим, пока вопрос в более правильной своей форме не будет поставлен за нас, к стыду нашему, самим Западом. Английская «Times», с таким враждебным высокомерием клеймившая Россию из-за евреев года два тому назад, в нынешнем году по поводу антисемитских беспорядков в Венгрии уже рассуждает иначе и приходит к соображению, что Россия, видно, не совсем была виновата и потерпела, бедная, от Европы, может быть, даже совершенную напраслину, так как, судя по венгерским событиям, едва ли не большая часть вины падает на самих евреев... Будем надеяться, что авторитетный голос английского общественного мнения придаст некоторую смелость и свободу суждений и нашей Петербургской Комиссии по устройству евреев, предполагающей, наконец, как пишут в газетах, открыть свои заседания настоящей осенью.

В ожидании, однако ж, этого открытия не бесполезно, кажется нам, рассеять предварительно некоторые предубеждения и вообще туман, напущенный «высокопоставленными» евреями и мнимолиберальной печатью на значительную часть нашей петербургской бюрократической канцелярии и прилегающих к ней высших общественных сфер. Эти предубеждения в немалой степени затемняют истинный, существенный смысл антиеврейских беспорядков в России. Можно, конечно, не без основания утешаться успешным их подавлением. Можно признавать вполне разумной и целесообразной мерой возложение на местных губернаторов ответственности за каждый не сразу

подавленный антиеврейский беспорядок. Мы и в самом деле видим, что местные власти действуют теперь несравненно решительнее и смелее. Но было бы в высшей степени опасно воображать, что никакого такого «еврейского вопроса» и не существует, что все это «вздор», «вздуто», что нужно только немножко «энергии» и все пойдет себе по-старому «обстоять благополучно»... Зная довольно близко местные условия юго-западного края (а в северо-западном они еще хуже, как это нам также в точности известно), мы убеждены, что такая «энергия», как бы она ни была теперь необходима, не только не упрощает и не улучшает, но усложняет и ухудшает настоящее положение... В том-то и горе, что восстанавливается «старое благополучие», тот status quo, в котором корень всех беспорядков. Всегда ведь успешно усмирялись военной расправой крестьянские бунты во времена крепостного права (которые некоторыми «консерваторами» выдаются у нас теперь чуть не за золотой век), даже такие бунты, которые вызывались самой жестокой помещичьей тиранией; всегда удавалось водворять «старое» повиновение, но беспорядки, однако ж, не переставали, утихая в одном месте, возникали в другом и прекратились только тогда, когда отменилось само крепостное право. Подавление антиеврейского движения одной энергией, положим, – похвальное дело, но уж слишком злая, слишком печальная необходимость, деморализующая и усмирителей, и усмиряемых! Оно никак не способно убедить крестьян, удрученных еврейским экономическим игом, в том, что это иго – благо, дело вполне законное, так ему и быть следует; что крестьяне не правы, когда хотят от него освободиться!.. Что «самоуправство» непозволительно, это крестьяне очень хорошо понимают и всегда охотно готовы признать. Но для того, чтобы они могли удержаться на этой точке зрения, необходимо им видеть и ощущать около себя присутствие деятельной правосудной власти; нужно, чтобы власть умела внушить им твердое упование на лучшее будущее, т. е. на устранение ужасной аномалии еврейского гнета. Никакого, однако ж, подобного упования крестьянам от местных начальств не подается, и потому нет ниче-

го и удивительного в том, что при непреложной вере народа в справедливость верховной власти могла создаться в его голове нелепая фикция, будто таким своим самоуправством народ не становится в противоречие с верховной волей!.. В настоящее время «энергия» местной власти выступает как бы только защитницей существующего злого порядка: в результате «энергии» – несравненно более число убитых и раненых христиан, чем поколоченных евреев, глубокое раздражение в народе, которое тем глубже, чем затаеннее пагубное недоумение относительно образа действий правительства и еще более пагубное торжество евреев. Да в конце концов от всех наших антиеврейских беспорядков в выигрыше остались пока одни евреи. К иудаизму и власти, и общество отнеслись как к «угнетенной невинности», и теперь эта невинность ликует и мстит, воображая себя под особым правительственным покровом. Но надобно знать, что такое еврей, торжествующий и ликующий! Пусть в этом торжестве и ликовании слышатся века претерпенных еврейским племенем мук и унижений, мы допустим этот реагент как обстоятельство, смягчающее вину, но само по себе, независимо от этой исторической справки, ничего не может быть нахальнее и заносчивее еврея, как скоро он чувствует свою силу. Разумеем здесь еврея типического, принадлежащего к массе, а не тех евреев, в которых родной тип более или менее сглажен высшим европейским образованием. Нельзя ведь не заметить, что во всех новейших беспорядках зачинщиками являлись сами евреи, т. е. поводом к ним служила какая-нибудь кулачная еврейская расправа с христианскими детьми или женщинами. И это после разгромов еврейского имущества, а по их рассказам – даже и избиений евреев в 1881–1882 годах! Очевидно, что им прибыло духа и смелости настолько, что они из трусливого бегства переходят теперь в наступление, отваживаются сами задирать своих недавних гонителей! «Ну что, взяли? Вы из нас выпустили пух, а мы из вас за то выпустили дух» – так дразнили евреи усмиренных в Екатеринославе крестьян и мещан, указывая им, с одной стороны, на пух, в таком обилии выпущенный «виновниками беспорядков» из еврейских перин, с

другой – на раненых и убитых при энергическом усмирении христиан... Одной подобной еврейской остроты довольно, чтобы уничтожить всю пользу от таких способов усмирения. Самое уничтожение их имуществ евреи сумели обратить в своего рода выгодный гешефт, заранее припрятывая все многоценное и домогаясь потом вознаграждения вдесятеро против разгромленного дрянного скарба... Мы имели в свое время немало данных о том, как праздновали они (и время покажет, разумеется, что совершенно понапрасну) оставление графом Игнатьевым своего поста: на радостях побили они артель великорусских рабочих, устраивавшую шоссе в Гродненской, кажется, губернии, и чинили многие иные неистовства... «Ничего не поделаешь, – говорит теперь крестьянин, – восторжествовал еврей – сила!»... Не правы ли мы, утверждая, что действующий способ подавления беспорядков сам по себе, без других мероприятий, только усложняет задачу и ухудшает положение дела?

В большом ходу было (может быть, в силе и теперь) другое истолкование антиеврейского на юго-западе России движения, также направленное к тому, чтобы исказить настоящий смысл печальных событий и отвратить правительственный взор от их настоящей причины. Утверждали, что «это-де все мутят нигилисты и социалисты, это-де несомненно: в бушующей толпе были не только зипуны и сермяги, но и пальто и пиджаки!» Но странно, однако, что не обнаружено до сих пор ни одной попытки направить движение против собственности христианской или, в частности, помещичьей! Не нигилисты ли и социалисты волнуют народ даже и в Венгрии?! Если к народной самовольной расправе пристал – как это всегда водилось и водится – всякий сброд городской черни вместе с разными праздными гулящими людьми, охотниками до всяких уличных беспорядков, так, во всяком случае, не они были зачинщиками и не для чего таким детским объяснением отводить глаза от правды. «Однако же, – возразят и уже возражали нам, – как же это? Столько веков народ терпел и вдруг, ни с того ни с сего, да еще так повально?..» Но не возникновению антиеврейских беспорядков в 1881 году следует удивляться, а разве

народному долготерпению, до сих пор воздерживавшемуся от самовольной расправы! Понятно, впрочем, что с уничтожением крепостной зависимости народ и на нашем юге и западной окраине повыдвинулся из прежнего забитого состояния, стал сознательнее относиться к своему положению, по крайней мере приходить в некоторое гражданское самочувствие и даже задавать себе самому вопрос: почему же доселе не уничтожается та его зависимость от евреев, которая несравненно хуже и тяжелее крепостной?..

Никакой другой причины беспорядков, кроме именно этого гнета евреев над населением, искать не следует. На том и сказывается фальшивость нашего модного, не свободного духом «либерализма», что так называемая либеральная у нас печать приняла в еврейском вопросе сторону угнетателей против угнетаемых, эксплуататоров: против эксплуатируемых, «капитала» против «рабочих» – одним словом, евреев против русского народа. Мы готовы объяснить такое поведение печати только совершенным невежеством, так как нет возможности поверить ни гуманности, ни либерализму, ни любви к прогрессу, ни христианским чувствам того, кто не изноет душой и сердцем при виде экономического и социального рабства, в котором находится у евреев в северо-западном и юго-западном крае русский сельский народ. Потому что настоящие хозяева и господа края – евреи: они составляют в нем, за совершенным почти недостатком местного русского купечества и вообще русского городского класса, нечто вроде среднего сословия, во всяком случае – класс, высящийся над народом...

Но если кому не привелось бывать в деревнях того края, пусть прочтет хоть суждения и заключения по еврейскому вопросу южнорусских земств, недавно опубликованные; заметим при этом, что здесь дело идет о тех губерниях, где евреев сравнительно еще немного, так как там, где их всего больше – в трех украинских и в северо-западных губерниях, – земские учреждения еще не введены. Не отваживаясь в области теоретической отступить от общепринятой «либеральной» точки зрения, вышеупомянутые земства пользуются ею, однако,

только как могучим аргументом для достижения своей практической цели, т. е. для того, чтоб как можно больше сбыть евреев из своих губерний. Рассуждения их в сущности такого рода: «Во имя-де таких-то высших начал необходимо даровать евреям право свободного расселения, и это для нас очень кстати, потому что нас они совсем одолели; перенеся же язву «за черту еврейской оседлости», сами мы от этой язвы, наверное, несколько пооблегчимся; а что они язва – тому прилагаются доказательства». Между тем само же Херсонское губернское земство, собравшее о евреях обстоятельные статистические данные, пишет, что «в руках евреев, при незначительном их числе по отношению к общему числу жителей, очутились все главные виды торговли в Херсонской губернии». Стало быть, зло вовсе не в одной «скученности» или тесноте еврейского населения в пределах еврейской оседлости! По словам Херсонского земства, 90% всего числа питейных и трактирных заведений, аренда целой трети казенных земель (с лишком 100 тыс. дес.), значительная поземельная собственность и т.д. принадлежат евреям, несмотря на относительно «незначительное их число». Но, арендуя землю и владея ею, земледелием сами они не занимаются, а сдают ее крестьянам – на самых тяжких условиях; если же прикладывают свои руки к земле, то, по выражению Херсонской губернской управы, «самым хищническим образом вырубливают все древесные насаждения, выпахивают землю, имея единственной целью барыш и скорую наживу». Председатели съезда мировых судей в г. Тирасполе и г. Александрии, опираясь на 12-летнюю практику, свидетельствуют, что из числа евреев, населяющих эти уезды, только по нескольку сот человек в каждом занимаются обыкновенной торговлей; остальные же тысячи, особенно же евреи, проживающие в деревнях, почти исключительно занимаются «ростовщичеством, скупом у крестьян (во время нужды) за бесценок продуктов», явной и «тайной продажей питий», «с приемом вещей и хлеба за водку, укрывательством и переводом краденого» – вообще «беспощадной эксплуатацией и развращением низшего класса христианского населения»; в этих «еврейских занятиях»,

т. е. беспощадной эксплуатации и развращении, видят земства Херсонской и Екатеринославской губ. и Елисаветградская дума главную причину вражды христиан к евреям.

А между тем еще недавно петербургская газета «Новости» силилась истолковать эту вражду завистью христиан к еврейскому трудолюбию и умению устроить свою судьбу лучше и выгоднее! Ленивое и беспечное христианское население, объясняет газета, в сознании своей личной несостоятельности последовать доброму примеру евреев и вместо того, чтобы учиться у них и подражать, предпочитает мстить им своей грубой стихийной силой... Подумаешь, что и в самом деле евреи представляют из себя какое-то благоустроенное общество, подобно, например, немецким колониям в России, поистине процветающим благодаря трудолюбию и настойчивой работе! Мы знаем, однако, из земских отчетов, что земледельческие колонии из евреев, устроенные было правительством на юге с отводом им по 20 десятин на душу превосходной земли и с дарованием многих льгот, обратились в какие-то жалкие, безобразные притоны грязи и нищеты, как и вообще еврейские кварталы и местечки в западной России... Следовать доброму примеру евреев?.. Удивительное дело! Негодовать на «кулаков», клеймить их прозванием Разуваевых и Колупаевых стало общим местом в нашей «либеральной» и даже иудофильской литературе; она даже постоянно требует от правительства «строгих, самых строгих мер против кулачества, которые бы избавили наконец бедных сельчан от этой язвы», и в то же время принимает под защиту евреев! Ведь не решалась она до сих пор обращаться к крестьянам с советом: «последуйте примеру «кулаков», станьте «кулаками» и сами?» Но теперь и этот совет преподает им газета «Новости», ибо что же такое евреи, за немногими личными исключениями, как не целая огромная организация и религиозная секта «кулаков», у которой нет другой и задачи, другого и промысла в жизни, как кулачествовать в среде христианского населения? И именно потому, что их целое племя, а не одиночные явления, каковыми представляются так называемые «кулаки» из русских, именно потому

евреи, разоряя христианское население, выжимая из него последний сок, и сами не разживаются, не составляют богатого и благоустроенного общества.

Неправое стяжание – вот что вызывает гнев русского народа на евреев, а не племенная и религиозная вражда, как еще до сих пор утверждают некоторые, самоуслаждаясь сознанием своего собственного «культурного развития». В наше время не может быть и речи о религиозной средневековой нетерпимости, а уж особенно в русском народе, всегда отличавшемся и веротерпимостью, и человечностью по отношению к инородцам. Не только на западной нашей окраине, где пятивековое сожительство христиан и евреев установило в вероисповедном отношении совершенно мирный modus vivendi между ними, но и в остальной России, где всяких басурманов довольно, никогда от нашего народа не подвергались они никакому преследованию за веру, если только сами не посягали на оскорбление веры народной. Правда, предубеждение против евреев врожденно каждому христианину, и русскому также, но оно не настолько сильно, чтобы могло само по себе служить серьезным препятствием к распространению и на них общих прав, присвоенных всем прочим русским подданным, какого бы племенного происхождения и какого бы вероисповедного закона они ни были. Немало обращается в русском обществе евреев, окончивших курс науки в высших учебных заведениях, имеющих разные высшие, так называемые либеральные профессии адвокатов, медиков, состоящих на службе и пользующихся полнотой гражданских прав: им трудно на что-либо пожаловаться, они ни у кого не в презрении, если только полученное ими образование выделило их из общего типа, присущего евреям как нации. Нам самим удалось встречать во время наших разъездов по России, и именно в Бессарабии (хотя уже и давно), евреев вполне честных, высоко просвещенных, чуждых всякого антихристианского фанатизма, о которых мы сохраняем самое отрадное воспоминание, но таковые составляют лишь исключение – не о них и речь. Если бы дело шло только о таковых да о «Наоанах Мудрых», тогда в разрешении еврейского

вопроса не встретилось бы и никакого затруднения; но дело идет о евреях как племени или даже как «нации»: так они в своих литературных органах и сами себя называют, да они и действительно представляют из себя особый своеобразный – социальный и даже в некотором роде политический организм.

Пора иметь мужество наконец посмотреть делу прямо в глаза и при обсуждении еврейского вопроса отрешиться от всяких предвзятых теорий, по-видимому, возвышенных, гуманных и либеральных, которыми у нас, да и в Европе, этот вопрос еще так плотно окутан, что истинная его сущность до сих пор плохо дается уразумению. Так называемые антиеврейские беспорядки красноречиво свидетельствуют, что «гуманность» и «либерализм», с точки зрения которых обязательно было для образованного общества относиться к иудаизму, сказались на практике бесчеловечностью и тиранией для беззащитного христианского населения: очевидно, что то были ложная гуманность и ложный либерализм, – ложные потому, что были совершенно чужды живого познания действительности и не принимали в соображение реальной, жизненной правды. Только на почве этой правды и может быть отыскано основание для такого истинно разумного отношения к евреям, которое, делая их безвредными для христиан, было бы действительным благом и для них самих. Поэтому плохую, бесчеловечную услугу оказывают евреям те наши «либералы» и иудофилы, которые почитают своим всенепременным долгом защищать евреев quand même[1]: отрицая их дурные свойства и действия, они тем пуще утверждают и упрочивают ту общественную аномалию, с которой никакая страна мириться не может.

Если предложить кому бы то ни было для разрешения a priori вопрос в такой форме: «Вот четыре миллиона русских подданных, хотя и нерусского племени и веры: не следует ли сравнить их в гражданских правах со всеми прочими русскими подданными, в силу требований справедливости и принципа государственного единства»? На такой вопрос, хотя бы дело шло о племени еврейском, никто, конечно, не ответил бы отрицательно, а выразил бы полное свое согласие. Но уж совсем

иной получится ответ, если поставим вопрос ближе к делу, ну хоть так, например: следует ли предоставлять полноту гражданских прав... Шекспирову венецианскому еврею Шейлоку? Никто, конечно, полноправности для Шейлока не пожелает. Но ведь Шейлок – изверг, явление исключительное, возразят нам; такой пример и приводить неприлично. Мы и привели его только для того, чтобы резче выяснить нашу мысль; но заметим при том, что Шейлок – явление вовсе уже не такое исключительное или случайное, а, несомненно, национально-еврейский тип, только воспроизведенный в крайнем своем выражении. Представим теперь себе целое племя, хотя бы и с некоторыми изъятиями, шейлоков в миниатюре, даже сравнительно микроскопических, но все же шейлоков; если это именование не нравится, назовем их по-народному «пиявицами» или, по литературному, хоть только «эксплуататорами», «кулаками», «развратителями» (как выражается Херсонское земство) и опять поставим вопрос: справедливо ли и удобно ли эксплуататорам и развратителям низшего класса русского населения, притом же иноплеменным, предоставлять полноту гражданских прав, т. е. еще большие средства для эксплуатации и развращения? На такой вопрос и самый отчаяннейший российский «либерал» ответит, без сомнения, отрицательно.

Не подлежит никакому сомнению, что в составе имеющейся открытой Петербургской Комиссии будут находиться люди знакомые не понаслышке, а лицом к лицу, с настоящим положением еврейского дела в нашем юго-западном и северо-западном крае. Можно поэтому быть уверенным, что Комиссия будет первее всего и пуще всего иметь в виду благо русского народа и что еврейский вопрос из области отвлеченной теории будет низведен ею на практическую почву, т. е. предстанет пред ней на первых же порах в такой форме: «Каким образом освободить низший класс христианского населения в черте еврейской оседлости от экономического и социального гнета евреев?» Решаться же этот практический вопрос должен опять в силу практических, а не отвлеченных соображений. Решение, как известно, имеется у всех наших теоретиков на-

готове, давно подсказывается и Европой. Оно заключается в уничтожении самой «черты оседлости», т. е. в предоставлении евреям права свободного расселения по всей России, на том основании, что вред от евреев происходит-де главным образом от их «скученности» и что эта-де мера будет способствовать убавлению их числа в местах их настоящего жительства. Но Комиссия, по всей вероятности, не упустит заняться рассмотрением и следующих вопросов: точно ли в скученности заключается корень всего зла и можно ли назвать скученностью расселение четырех миллионов на пространстве 25 губерний империи (включая сюда и Царство Польское)? Точно ли в большом размере убудет евреев из западной окраины России при свободе передвижения (мы в этом сомневаемся: слишком уж там им привольно при отсутствии туземного торгового класса). Наконец, не следует ли при переселении евреев в глубь России, за черту их настоящей оседлости, отнестись к этому обстоятельству с точки зрения покровительственного тарифа? Если к таковому тарифу прибегают с тем, чтобы, ограждая от посторонней конкуренции, вызвать к жизни, поставить на ноги и развить у себя дома известную отрасль промышленности, то не применима ли та же система к насаждению ремесел и промыслов, к образованию торгового класса с правильными приемами торговли среди неразвитого еще народа, в той или другой еще глухой местности, еще не довольно пробудившейся к жизни? Наплыв иноплеменников-эксплуататоров в такую местность может ведь на веки или по крайней мере на долгий срок подсечь подъем и развитие местных производительных народных сил, как это и случилось в западной России благодаря польским королям, напустившим в нее еврейство. Очевидно, что с «расселением» следует во всяком случае поступать осторожно.

Но главный, существенный ответ на вопрос о пользе еврейского свободного расселения по России и вообще еврейской гражданской полноправности должна Комиссия поискать в практическом примере самой Европы. Какой вообще практический результат дает там устранение всяких законодатель-

ных различий между евреями и неевреями?.. На этот вопрос Венгрия отвечает кровавыми антисемитскими беспорядками; высокопросвещенная, «культурная» и «цивилизованная» Германия – «антисемитской лигой»; республиканская Швейцария ответила на днях (см. «Новое время» 1 сент.) постановлением митинга в Цюрихском кантоне об образовании ассоциации для борьбы с евреями, обвиняемыми «в порабощении и разорении крестьян посредством ростовщичества» и в том, что, несмотря на признанную за ними гражданскую равноправность, они «продолжают составлять совершенно особую расу и держат себя вдали от всех национальных интересов». Наконец, Англия устами «Times» дала на днях следующий замечательный ответ. «Чем ближе евреи, – говорит газета, – в том виде, как они есть, будут поставлены к коренному населению, тем сильнее будет против них всеобщая ненависть»... «Мы все слышали розовые предсказания об исчезновении этих вещей (т. е. вражды и ненависти) под влиянием сближения и знакомства. Растущая ненависть, с которой к евреям относятся в большей части Европы, может, однако, заставить призадуматься наших теоретиков. Действительно, общение устраняет национальные предрассудки, но только тогда, когда различия настолько малы, что способны через общение уничтожиться. Если же различия остаются, то более тесное общение вызовет, вероятно, более интенсивную ненависть»...

Этими словами подтверждается отчасти и наша основная мысль. Прежде предоставления евреям гражданской полноправности необходимо подумать о том, как бы их обезвредить, как бы, для блага самих евреев, изменить их настоящий национальный, более или менее шейлоковский тип. Для решения же этого капитального вопроса необходимо исследовать, в чем именно коренится этот тип, чем он поддерживается... По нашему мнению, кроме разных общих исторических причин, поддерживается он в настоящее время более всего Талмудом и кагалом, а также поблажкой современного лживого гуманизма и либерализма, который, вместо того чтобы помочь несчастным евреям перестать быть тем, «чем они есть», вредными себе и

другим, изо всех сил старается доказать, что евреи именно хороши, как они есть, и никакого от них вреда никогда не существовало и не существует... Но об этом до другого раза...

Обезвредятся ли евреи, преобразовавшись в культурный слой?

Мы сказали в последний раз, что вся сущность мудреного и многосложного еврейского вопроса сводится к практическому вопросу: обезвредить евреев, для чего необходимо исследовать свойства, корень и причины их вредоносности. Евреям и их защитникам такая постановка вопроса покажется, по всей вероятности, неделикатной, как потому, что она подразумевает еврейскую вредоносность фактом общепризнанным и несомненным, так и потому, что подводит под это определение или, пожалуй, обвинение – целую «нацию». Что касается до деликатности вообще, то едва ли можно признать уместной такую деликатность, которая является, в сущности, превеликой грубостью и даже жестокостью относительно низшего русского населения, т. е. относительно народа – хозяина страны, давшей евреям убежище. Обстоятельства настоящей поры настолько серьезны, что требуют не либеральной галантерейности, столько же пагубной для христиан, сколько и для евреев, а правды, одной лишь правды, конечно, самой бесстрастной, потому что она одна и может послужить ко благу не христианам только, но и в особенности самим евреям: еврейский вред вредит наиболее еврейскому же племени. А что этот вред – факт общепризнанный, доказывается тем, что он служит точкой отправления (хотя бы иногда из фальшивой деликатности и маскированной) при всяком обсуждении еврейского вопроса, при всяком законодательном его разрешении. Самое уравнение евреев в правах с коренными подданными государства предлагается защитниками иудаизма большей частью как средство обезвреживающее; при этом обыкновенно указывается на Францию, Англию, Италию именно как на назидатель-

ный пример, что благодаря равноправности евреи этих государств перестали будто бы быть вредными или что вред от них теперь не слишком уж сильно чувствителен. Так или иначе, в положительном или отрицательном смысле, но, к прискорбию, несомненно, что понятие о вреде неразлучно с понятием о еврее. Не иначе как в смысле положительного утверждения можно разуметь антиеврейские беспорядки в Венгрии, антисемитическую лигу в самой Германии, меры, принимаемые против евреев в Швейцарии. Что же касается России, то после официальных свидетельств, приведенных в передовой статье прошлого № (см. предыдущую статью), кажется, о еврейском вреде не должно бы быть и спора; едва ли достало бы духа самому смелому из русских самопатентованных «гуманистов» выразиться, например, про западную Россию таким образом: «Благословенный край, обилующий евреями! Всюду являешь ты признаки здорового роста благодаря этому полезному, трудолюбивому племени, истинному благодетелю русского народа, так что при виде еврея (а он попадается на каждом шагу) сердце исполняется признательностью!» Не достанет? Так незачем и лицемерить!

«Не отступая ни на шаг от истины, мы не умалчиваем о том, что в низших слоях еврейской нации только что начала исчезать ненависть к населению, среди которого они бедствуют... Зная хорошо свою нацию, мы убеждены, что единственный путь к слитию евреев с коренным народом – это рассеять, разметать их по всему пространству нашей обширной родины. Чем больше они исчезнут в массе других племен, тем скорее проникнет к ним цивилизация, тем легче и теснее будет сближение с христианами. Там, где евреи наиболее стиснуты и скучены в одну сплошную массу, там замкнутость, мракобесие и фанатизм представляют самое печальное, но социально законное и неизбежное зрелище. Расторжение тесного круга даст им возможность двинуться вперед» и проч. Вот что имели благородное мужество написать нам и даже напечатать у нас в «Дне» (1862 г. № 32) за своей подписью два еврея – врачи Леон Зеленский в Полтаве и Вениамин Португало (известный теперь под

именем Португалова) в Пирятине. Правда, они являются здесь ходатаями за свободное еврейское расселение, но мы привели эти строки не ради их выводов в пользу такой законодательной меры, а ради свидетельства, искренности которого никто заподозрить не может, о том, что такое евреи в западной России. Аргумент же их против скученности – общее место, не выдерживающее никакой критики. Кто же велит евреям скучиваться, например, в Галиции, в Венгрии, где «расторжение тесного круга» произошло давно, где им вольно «расселяться и разметаться» по всему пространству Австро-Венгерской империи? Кто же заставил 14 тыс. евреев, бежавших со страху из России после первых антиеврейских беспорядков, вновь в нее возвращаться, в самые те места, где они, по словам вышеназванных двух врачей, «бедствовали», где население поступило с ними так грубо и где ведь не осталось у них никакого имущества? Тоска по родине, что ли? Да ведь они на этой русской родине даже и русским языком не говорят, а употребляют особый немецкий жаргон, который сближает их гораздо теснее с Германией, чем с Россией? Почему же они не остались в Америке или Палестине? Мир велик и без нашего Отечества, есть, слава Богу, где рассеяться и разметаться.

Мы убеждены, что как ни «расторгай круг» – евреи из нашего юга и запада не двинутся, т. е. громадное большинство их останется тут же, хотя, конечно, немалая доля их распространится и по другим краям России: набегут и из Австрии, и из Германии! Дело в том, что евреев именно тянет туда, где удобна почва для эксплуатации, где низшее народонаселение простодушно, бедно, лениво, невежественно, легко поддается обману и так смиренно, что способно с долгим-предолгим терпением нести чужое иго. Таково народонаселение в западной России, таково оно и во многих местах России. К нам доносятся жалобы на евреев даже из Сибири, даже из Владивостока, даже с Сахалина, где, конечно, никакой «еврейской скученности» не имеется, но где «неразвитость» местных жителей попала в тиски какой-нибудь сотни ловких евреев, даже и того менее. Можно, пожалуй, осуждать вместе с некоторыми нашими «ли-

беральными» и иудофильскими газетами эту неразвитость, эту нравственную дряблость, эту духовную леность низшего народонаселения, которая не умеет иначе противодействовать еврею, как кулаком; можно, пожалуй, признавать разумными советы, предлагаемые галицко-русской газетой «Дело», схожие отчасти с мерами, уже принимаемыми в Цюрихском кантоне в Швейцарии, т. е. учреждение товариществ и союзов в среде крестьян для взаимной помощи, минуя евреев; дешевого кредита, который дал бы возможность оберечь народ от еврейского ростовщичества, – взаимного обязательства: не поступать к евреям в работники, не поручать им подрядов и т.д., но в конце концов какой же смысл всех этих упреков и этих мер? Упрекают население за неумение защищаться от пронырства и кулачества... кого? Евреев! Измышляют меры для борьбы, положим мирной, рационально, но с кем? С евреями, т. е. с вредом, евреями наносимым. Как ни отворачивайся от вывода, но он налицо, во всей своей беспощадной, грубой логической последовательности: понятие о евреях везде, повсеместно, в сознании всех и каждого неразрывно с понятием о вреде. Вывод поистине печальный и тем более заслуживающий серьезного, бесстрастного внимания просвещенных, передовых людей еврейского происхождения.

«Не слишком ли, однако ж, жестоко, – может быть, заметят нам, – подвергать такому огульному обвинению целую нацию? Семья не без урода, злых людей довольно во всякой стране, справедливо ли за отдельные лица подвергать ответственности весь народ?» В том-то и дело, что здесь понятия о жестокости и о справедливости требуют совершенно обратного отношения, именно: было бы поистине жестоко обвинять огульно целую еврейскую нацию, не допуская возможности исключений; было бы несправедливо подвергать ответственности каждое отдельное лицо, каждого отдельного еврея – за грех целого народа. Вред, о котором мы говорили выше, не составляет неизбежную личную принадлежность каждого человека еврейской расы; в этом вреде еврей виноват не столько индивидуально, сколько именно как член нации или сын свое-

го народа: одним словом, вредоносность еврейская – свойство национальное, свойство евреев как нации, и во сколько еврей благодаря личной силе духа или высшей культуре выделяется из своего народа, освобождается из-под власти национально-религиозного своего законодательства или национальных предрассудков, настолько умаляется и его вредоносность. Мы имели счастье знать, знаем и теперь несколько евреев, по своим личным свойствам вовсе не вредных, честных, хороших людей, но они-то, к несчастью, и принадлежат к категории уродов в семье, или исключений. Этими исключениями только сильнее подтверждается общее положение о вреде евреев как народа или как нации («нацией» любят они себя называть и сами; да оно так и есть).

Казалось бы, отсюда прямой вывод следующий: если то общепризнанное свойство еврейское, которое ставит христианское население в такое враждебное к ним отношение, – если именно вред, с понятием о котором отождествляется понятие о евреях, не составляет такой непременной принадлежности каждого еврея, как, например, черная кожа у негра, а является принадлежностью евреев только как нации, то для блага христиан, среди которых такая нация поселилась, равно и для блага самих евреев, следует желать, чтоб это их единство было нарушено, т. е. чтоб они отрешились от своего национального типа и перестали составлять из себя особую нацию, которая неминуемо, роковым образом, обречена самой судьбой на «вредоносность». В этом смысле и надо понимать слова, выше нами приведенные, двух еврейских врачей, именно, что «чем больше евреи, рассеявшись, разметавшись по всему пространству России, исчезнут в массе других племен, тем скорее проникнет к ним цивилизация, тем легче и теснее будет сближение с христианами».

Но так рассуждают только передовые евреи и даже совершенно выделившиеся из еврейского общества. Обольщаться надеждой на легкость расторжения еврейского национального союза и исчезновения его в массе племен было бы самой грубой ошибкой. Конечно, в настоящую пору евреи, проходя че-

рез гимназии и университеты, удостоиваясь ученых степеней и вращаясь в высшем, образованном христианском обществе, притом же обеспеченные какими-либо «либеральными профессиями», по-видимому, совершенно свободны от своих национальных религиозно-законодательных предрассудков и не представляют из себя какого-то отдельного народного союза. Да, по-видимому, и даже, пожалуй, не по-видимому, а действительно так, но только теперь, пока таких «ученых» евреев еще немного. То ли же самое будет, когда таковых евреев образуется масса. Вот в чем вопрос, и очень серьезный и важный. Пример Германии и Австрии, где уже огромное число евреев приобщилось к высшему европейскому образованию, орудует прессой, налагает свою печать на литературу, – этот пример дает пока на поставленный нами вопрос ответ нисколько не утешительный. Напротив, возникновение антисемитической лиги, к которой принадлежат не какие-либо изуверы, невежды, а люди высокого просвещения и высоких нравственных достоинств, которых никто, конечно, в средневековой религиозной нетерпимости не заподозрит, – возникновение таковой лиги свидетельствует об опасности, которую начинает чувствовать германское общество от вторжения в его среду еврейского национального элемента. Борьба с евреями, которая в России, в Венгрии и еще во многих местах Европы происходит между низшими классами христианского населения и ближайшим к нему населением еврейским как борьба исключительно экономическая и притом грубая, материальная, – в Германии перенесена в сверхнародные общественные слои и организовалась теперь не на экономическом только поле, а и в других высших областях существования, так сказать, в самом нутре цивилизации, между цивилизованными христианами и цивилизованными евреями. Стало быть, с умножением числа последних они, евреи, не исчезают более в общем составе христианского общества, как это происходило сначала, когда цивилизация была еще уделом очень немногих евреев, доставалась им порознь, – как это происходит пока и у нас. Цивилизованные евреи в Германии уже образуют теперь довольно плотную солидарность,

слагаются снова в еврейскую «нацию», от принадлежности к которой, по-видимому, отрешились или, по ходячему мнению, должны были отрешиться – через приобщение к европейскому «прогрессу». Вернее сказать: они преобразовываются в культурный слой еврейской нации, ядро которой или основной слой – хранилище еврейской вредоносной национальности – еврейские массы, миллионы евреев, угнетающие низшие классы населения в христианских странах, преимущественно в восточной половине Европы. Поэтому и «вред» еврейский, – доселе, и у нас в России по преимуществу проявляющийся в грубой эксплуатации, в высасывании соков из сельского и мелкого городского населения, – в Германии и Австрии должен принять и уже принимает иную форму – вреда культурного, т. е. начала отрицательного, деморализующего, разъедающего христианское общество, враждебного существенным духовным основам христианской цивилизации. Последствия этого вреда, как и вообще значение иудаизма в духовно-культурном развитии европейского Запада, теперь еще не вполне ясны для сознания, но, несомненно, обнаружатся в будущем: христианский идеализм немыслим при усилении в обществе духовных начал, сокрытых в современном иудаизме, который, отвергнув Христа, обратился в своего рода религиозный материализм.

Нам в России эта сторона еврейского вреда еще мало известна, но ее можно уже и теперь наблюдать из Германии и Австрии. Если, однако же, нам еще не грозит опасность от культурных евреев, все же не мешает нам и теперь принять ее в соображение, тем более что еще издавна в числе обезвреживающих средств на первом плане числится у нас «распространение между евреями образования посредством разных поощрительных мер». Нет никакой надобности усиливать это поощрение. И без того на нашем юге и западе учащиеся евреи до такой степени переполняют наши государственные средние учебные заведения, содержимые на деньги русского народа, что коренным жителям, детям этого народа, хозяевам страны, приходится сплошь да рядом отказывать в образовании за неимением вакансий. Ну, разве это не странный порядок

вещей? Народ эксплуатируемый, удручаемый экономически и социально евреями, осуждается пребывать в невежестве для того, чтобы евреи же, на его же счет, могли получать образование!.. Не говоря о природных способностях даровитого еврейского племени, евреи вообще сильно преуспевают в школе (и даже сильнее, чем их русские товарищи) уже потому, что видят в ней средство не только для получения полноправности, но главным образом для приобретения выгодных «либеральных профессий». Они все более и более наполняют наши университеты. Наука – дело прекрасное, но все мы знаем, как поставлена «наука» в Русском государстве. «Наука» у нас – это значит диплом, это значит мундир со шпагой и треуголкой, это значит 12-й или 10-й класс по табели о рангах; «наука» производит в чиновники и «господа». Мы не видим особенной пользы для государства плодить искусственными мерами над русским народом чиновников и господ из иноплеменников и иноверцев вообще, а тем менее из евреев, чуждых всему христианскому содержанию народного духа... Если бы, однако, высшее образование даже действительно способствовало теперь обезвреживанию евреев, нельзя же все четыре миллиона еврейской нации, обитающие в пределах Российской империи, прогнать через университет, ни даже через гимназию... Стало быть, нужно поискать иное, более действительное средство, и для этого – глубже проникнуть в значение еврейского вреда как национальной особенности.

Во всяком государстве, а в России более чем в каком-либо ином, живут инородцы, которые в то же время и иноверцы и иноязычники, и живут иногда даже целыми племенами (мы разумеем здесь не какие-либо области, завоеванные или иначе приставленные извне к государственной меже, а племена внутри государства). Но так как это племенное отличие не настолько резко и внутренне сильно, чтоб иметь притязание или возможность нарушить права господствующего племени, вековыми усилиями и духом которого созиждено государство, или ослабить общее государственное единство, то сожительство этих племен с хозяином-народом и происходит почти всегда

совершенно мирно, даже при сохранении за этими племенами свободы их вероисповедания и некоторой бытовой автономии. Это племена туземные, живущие на своей старинной территории и не составляющие сами по себе какой-либо нации. Эту высшую государственную форму народного бытия обретают они себе в готовой форме общего для всей страны государственного строя, созданного господствующим народом. Не то евреи. Кроме племенного физиологического единства, сохранившегося у них в беспримесной чистоте, в них постоянно живет и усиленно ими поддерживается предание о былом национальном государственном бытии. Хотя они рассеяны по всей вселенной, но каждый из них сознает себя частью одного национального целого; каждый и все вместе упорно чают восстановления Израиля как нации, как государства (да притом еще с державством над всеми народами). Евреи – это государство, хотя и без государственной организации, рассыпавшееся по лицу всего мира; это – нация, но только лишенная государственной формы, лишенная своей территории, даже своего родного языка (древний еврейский язык большей частью достояние ученых), притом разметавшаяся по чужим краям, по чужим государствам и народам, но тем не менее проникнутая национальным самосознанием, сохраняющая единство исторических национальных воспоминаний и чаяний. Почему же это так, на чем же зиждется их национальность при отсутствии всех внешних условий национального бытия? На религии. Евреям должно быть особенно забавно слышать новейшие рассуждения европейских «прогрессистов», что религия есть-де вещь чисто субъективная, до которой никому другому нет дела и которая на общественное бытие не должна сметь оказывать никакого воздействия, – забавно потому, что в ней, в религии, находится для них вся причина их бытия как народа. Но религия у них это не высший нравственный идеал, к осуществлению которого в жизни призвано стремиться человечество, духовно совершенствуясь и перерождаясь. Их религия в то же время и положительный, внешний, государственный закон еврейского народа. Как народу, дано было Израилю и первоначальное

обетование свыше. Все это, конечно, известно каждому из так называемой Священной истории, но то, что мы называем «Священной историей», есть для евреев история национальная и, так сказать, религиозно-политическая. Божие обетование исполнилось: из недр еврейского народа явился «сын Давидов» – Спаситель мира. Но, утратив истинное разумение обетования, они, за исключением некоторых избранных, продолжали ожидать исполнения обетования в смысле самом ограниченном, внешнем и грубом, в образе религиозно-политического еврейского миродержавства. Не признав Христа, они закаменели в своем религиозном и национальном сознании на последнем моменте своей истории, когда религиозное ее содержание исчерпалось, завершилось исполнением обетования, из национального стало общечеловеческим, вселенским, и внешний закон перевысился законом внутренней о Христе свободы: евреи же остались при вещественной форме, при мертвящей букве, отвергнув духа животворящего. Таким образом, все дальнейшее их существование в течение почти двух тысяч лет обусловливается отрицанием последующего исторического момента, или точнее – отрицанием Христа, и представляется евреям лишь временным перерывом их национальной истории, обязывающим их сохранять неуклонную верность своей исторической национальной основе, своему религиозно-национальному законодательству, своим религиозно-национальным и политическим чаяниям. Вот почему антагонизм христианству составляет для них нравственный долг, призвание в мире, raison d'être, без которого еврейская национальность для них – бессмыслица. Вот почему евреи везде, где они ни живут в своем рассеянии, являются даже не гостями, а только пришельцами. Характером пришельчества запечатлен и их образ жизни, и их деятельность. Понятно поэтому, как заметил ученый немец Паулус в своей прекрасной книге о евреях, писанной еще в 30-х годах, что они не становятся нигде землепашцами, не дорожат поземельной собственностью, избегают занятий, с которыми соединяется идея прочной оседлости, следовательно, и прочной привязанности к месту своего жительства; что они не

вступают искренно и решительно в общий государственный и национальный союз с коренными жителями земли, где временно приютились, а избирают по преимуществу то занятие, которое не обязывает их пускать глубоких корней в почву и не противоречит понятию временности: именно торговое посредничество, факторство, ремесла, барышничество и разные операции, которые легко и быстро дают деньги. Деньги для пришельца вообще – самая подручная сила, для евреев же деньги – национальное вооружение и залог власти; вот почему они так и стремятся к наживе. Может ли такой пришелец дорожить интересами страны, в которую пришел?

Полагаем, мы довольно убедительно доказали, почему вред, производимый евреями, присущ им не как личное свойство каждого из них в отдельности, происходящее из личной испорченности, а как национальная особенность, имеющая историческое происхождение, основанная на религиозно-национальном их самосознании. Этого большей частью не понимает наш невежественный псевдолиберализм или гуманизм, почему между адептами последнего и евреями возникают постоянные, подчас даже забавные недоразумения. «Уничтожить всякое законодательное различие между евреями и христианами, да рушится все, что разделяет их и мешает тесному, сердечному братскому слитию воедино!» – так восклицают «прогрессисты», защитники иудеев. Последние очень рады приобрести равноправность с христианами, но о братском сближении и тем менее «слитии» нисколько не помышляют и вовсе его не желают. Недавно «Вестник Европы» выступил с речью: как было бы хорошо допущением свободных брачных союзов с инородцами (читай: евреями) содействовать «слитию последних с православным господствующим населением России» (он даже прибавляет, что это могло бы «улучшить наш народный тип» на основании закона о перекрещивании рас). Но еврейская газета «Русский еврей» с нахальной откровенностью, характеризующей русскую еврейскую прессу (очевидно, что она уже начинает сознавать себя силой), прямо заявляет, что «евреи таковых браков не желают», что для них это «во-

прос национального существования», так как браки привели бы к «исчезновению их национальной особи», и они нисколько не расположены «наложить на себя руку»... Вот вам и «слитие»!.. Но, не желая слития с господствующим населением страны, упорно сохраняя себя в отдельности, в положении особой национальности, они тем не менее, повторяем, требуют себе полного уравнения с ним в правах и даже не признают за ним прав преимущественных, как – хозяина. Когда мы однажды, во время оно, допуская в принципе необходимость дать евреям свободу религиозной, внутренней и гражданской жизни, заметили при этом, однако, что хозяева земли (русский народ) могут принять и уважить гостей, даже и непрошеных, но не могут быть обязаны сажать их на свое хозяйское место и давать власть хозяйскую тем, которые не способны сочувствовать сохранению хозяйского порядка, в хозяйском духе и смысле, – евреям такое сохранение за русским народом господствующего значения не понравилось. Такое различение вовсе неуместно, отвечали они. «Как разобрать тут (в России-то!), где хозяева, где гости?!» – возразил нам орган просвещенных евреев «Сион». Если, пояснял он, хозяева те, которые многочисленнее и сильнее, так ведь это грубое право сильного; если те, которые прежде поселились, так евреи-де поселились тут раньше славян! «Так или иначе, – продолжает «Сион», – но судьба определила нам жить не особняком, а сообща с вами, с другими народами, и так как политические общества существуют ради благосостояния всех и каждого, то от евреев можно лишь требовать, чтоб они взяли на себя соответствующую часть общих трудов на общее дело, с предоставлением им, разумеется, и соответствующей части в заведывании этим общим делом». Другими словами, евреи отрицают права тех, чьим трудом и духом сложилось государство, не хотят и знать, почему Россия – Россия, а не какое-то безличное и безразличное сочленение, почему Англия – Англия, Франция – Франция, и т.д. То есть, ревнуя о сохранении своей национальности паче всего, не признают прав национальности того народа, среди которого явились пришлецами, и требуют себе, как и отвечал

им «День», не только прав человеческих и общегражданских, но и полноты прав политических!.. И добро бы еврейская национальность вся целиком вмещалась в пределы данного государства; но она расплескалась по всему миру; стало быть, она предъявляет право на соучастие в управлении в каждой стране, где она благоволила водвориться. Другими словами, евреи требуют для себя уравнения в правах с господствующим населением – без уравнения в обязанностях, ибо исполнение обязанностей заключается не только в отправлении повинностей (евреи же и повинности отправляют систематически дурно, а от воинской всеми мерами уклоняются), но и в искреннем охранении политического и нравственного строя господствующей народности, т. е. того, что составляет историческую индивидуальность страны... Особенность евреев заключается именно в космополитической форме их исключительной национальности, а между тем именно теперь пущено в ход странное предположение, будто еврейская национальность способна стать повсюду и местной национальностью! Хотят уверить, что евреи, оставаясь членами единой нации, которой бытие и призвание обусловливается отрицанием христианства, должны в то же время признаваться всюду в христианских странах, в каждой отдельно, «патриотами своего отечества!..»

Прежде у этой единой и в то же время космополитической нации не было единого внешнего центра, около которого она могла бы теснее сплотиться, но в последние два десятка лет, одновременно с распространением фикции о еврейских местных патриотизмах, возник и по крайней мере слагается, укрепляясь год от году сильнее, и этот центр, не только с административным, но и политическим значением. Мы разумеем «Всемирный Израильский Союз (Alliance Israelite Universelle)» в Париже с его эмблемой, изображающей земной шар, над которым возносятся Моисеевы скрижали (не христианский крест!) и с его девизом: «Все израильтяне солидарны между собою (tous les Israelites sont solidaires les uns des autres)»... Как эта солидарность вяжется с местным патриотизмом и «с правом иметь часть в управлении страной»! «Всемирный Союз» является

как бы верховным еврейским правительством и – благодаря смертной охоте многих европейских государственных мужей прослыть людьми «прогресса», свободными от предрассудков, а, может быть, и благодаря иудейскому могуществу – чуть не признается в этом качестве самими правительствами. Поставив себе задачей защиту еврейских интересов везде и всюду, он посылает своих уполномоченных к державам, где эти интересы почему-либо утеснены, требуя объяснений и покровительства своим единоверцам то от султана, то от румынских, или сербских, или испанских властей, то от русского министра внутренних дел, генерала Тимашева. «Союз» зорко следит за всем, что происходит в мире, и в своем «Центральном Комитете» постановляет решение: как действовать, какое направление дать общееврейской национальной политике при таких-то новых обстоятельствах. Нельзя сказать, чтоб все это совершалось очень секретно: Центральный Комитет издает бюллетени, которые при краткости своей довольно красноречивы; но некоторые распоряжения не вносятся даже и в бюллетени. С 1873 г. Центральный Комитет обратил особенное внимание на наше Отечество, где проживает большинство еврейского народа, и успел учредить в пограничных с Россией областях, в сорока пунктах от Мемеля до Брод, до 40 местных комитетов (список пунктов доставлен нам частным образом из Парижа – в бюллетенях о них ни слова). Эти пункты образуют два пояса – левый, с главной квартирой в Кенигсберге, под управлением д-ра Бамбергера; правый, с главной квартирой в Лигнице, под управлением д-ра раввина Зандеберга; оба управляющие – члены Центрального Парижского Комитета... Главным образом облегают эти 40 еврейских комитетов Царство Польское и северо-западную нашу границу... Впрочем, о характере деятельности «Израильского Всемирного Союза» были сообщены в высшей степени интересные данные, все еще тщетно ожидающие внимания людей серьезных, в «Руси» 1882 года...

Но учреждение «Израильского Всемирного Союза» очень недавнее. Почти двухтысячелетним сохранением своей исключительной национальности, не только в течение долгих веков

гонения, но и в новейшие века соблазнов европейской культуры и цивилизации, обязаны евреи прежде всего Талмуду, в котором вся ограниченность фарисейского мировоззрения с его грубым поклонением букв и форм, весь «квас фарисейский», противоположный по самой сущности духа учению Христову, нашел себе, в своем дальнейшем развитии, полное выражение. Хотя «Всемирный Союз» поместил в своей эмблеме Моисеевы скрижали или 10 синайских заповедей, но дело вовсе не в этих заповедях, принятых и христианством и лишь превзойденных им, а дело в еврейском религиозно-национальном законодательстве, комментированном и продолженном Талмудом. Справедливее было бы поставить в эмблему Талмуд: им определяется общий современный национальный тип еврея с присущей ему вредоносностью. К последователям Моисея и его скрижалей принадлежат и евреи-караимы, но они отвергают Талмуд, и ни к ним не имеет христианское население, ни сами они не питают к нему никакой ненависти. Вредоносны собственно талмудисты: они-то отождествили с талмудическим мировоззрением свое религиозно-национальное самосознание; на Талмуде зиждется еврейская отчужденность от презираемого ими внутренне христианского населения; Талмудом внушается эта деятельная, хотя бы большей частью и маскированная к христианам враждебность. Без отречения от Талмуда и талмудизма и без искреннего возвращения к тем скрижалям, которыми прикрывается «Израильский Союз», нет разрешения еврейскому вопросу, утруждающему теперь умы во всем мире.

Но наша статья и без того длинна: о Талмуде мы успеем еще поговорить пространнее в другой раз, а теперь только приведем образец остроумных соображений наших дешевых доморощенных «прогрессистов». В журнале «Дело», в статье «Свобода совести в Венгрии», какой-то г. Жика говорит, и совершенно верно (конечно, с чужих слов), что Талмуд, завершенный в первых годах VI века, «был почти немедленно вслед за тем принят почти всем Израилем; в настоящее время его отвергает только одна немногочисленная секта караимов, при-

знающая одни книги Моисеевы. Начиная с VI столетия Талмуд сделался для еврейского народа, для его ученых и властей священной книгой, изучаемой и читаемой всеми почти наравне с Библией». А через несколько строк, по поводу известных негуманных выражений Талмуда о христианах, тот же автор, желая всячески ослабить их значение, уже от собственного ума утверждает, что Талмуд представляет для евреев не более значения, как, например, для христиан книжка «Подражание Христу»... Да разве сочинение Фомы Кемпинского есть «священная книга для всего народа, книга, изучаемая наравне с Библией»? Разве христианский мир делится и различается смотря по тому, принимает ли кто или отвергает «Подражание Христу»?! Но всего забавнее, что редактор «С.-Петербургских Ведомостей» (оба друг друга стоят) пришел от логики г. Жики в восторг и внушительно возвещает своим читателям, что «он с удовольствием прочитал статью «Свобода совести в Венгрии»: автор поднял «честный и независимый голос» и т.д. и т.д. Может быть, и читатели обоих изданий также восчувствовали удовольствие!..

О Талмуде

Несколько слов, сказанных газетой «Русский еврей» (в №№ 37 и 38) по поводу наших статей о евреях, свидетельствуют лишь о той роковой ограниченности мировоззрения, на которую сами себя осудили евреи, отвергнув восполнение Ветхого Завета Новым, и о неспособности их возвыситься, при сохранении своей национально-религиозной основы, даже до отвлеченного уразумения еврейского вопроса по его существу. Все те же слезливые или гневные жалобы на оклеветание еврейской невинности, все те же уверения в великодушии, бескорыстии и честности еврейского населения, все те же голословные отрицания несомненных, ведомых всем и бьющих в глаза фактов. Этого приема, впрочем, придерживаются не одни иудеи, но и те из наших публицистов, которые из гуманизма или

по другим побуждениям готовы были бы как светлый праздник приветствовать тот день, когда бы на всех местах мировых судей и посредников нашего южного и западного края воссели иудеи судить и рядить христианское население! Такой способ защиты, однако же, никого серьезно не убеждает и не только никому не пользует, но еще пуще вредит и евреям и христианам. Если ему и удается иногда сбить с толку общественное мнение и убаюкать встревожившуюся было мысль людей, состоящих во власти, то евреи же первые не замедлят нарушить сызнова общественное и административное самообольщение. И именно потому, что сами-то евреи нисколько не изменяются, да и не видят никакой надобности меняться, рассчитывая на силу своих капиталов, на защиту своих покровителей в администрации и прессе, на неизменную возможность всегда, во всякое время, с немалой для себя выгодой эксплуатировать либеральные наклонности русского общества. И опять повторится все то же! Опять взрыв грубой силы, вторгшейся в status quo еврейского вопроса, – эта ultima ratio[1], остающаяся бедному христианскому населению, – опровергнет внезапно маниловские мечты наших бюрократов и публицистов о дружном, «в настоящее просвещенное время», сожитии христиан и евреев, а потом либеральная маниловщина снова возьмет свое, правда фактов затянется снова плесенью либеральных общих мест и обмана, и еврейский вопрос опять отложится в архив без разрешения до новых более грозных напоминаний!

Новым интересным образчиком трогательного союза русского либерализма с национально-религиозными задачами евреев (вовсе не либерального свойства) может служить помещенная в том же № названной нами еврейской газеты, где редакция не опровергает, а только бранится по поводу наших статей, – выписка из русской газеты «Екатеринославский Листок». Какой-то местный мыслитель, по всей вероятности русский, снедаемый провинциальным честолюбием блеснуть перед столицами широтой и оригинальностью взглядов, – издевается над столичными писателями, которые, как претенциозно выражается автор, «nervus vivendi погромов видят в

экономическом гнете и еврейской эксплуатации». Все это, возглашает он, выдумки «иудофобствующих борзописцев», так как погромы чинили «пришлые элементы, или великорусы, местный же элемент только приставал»; поэтому истинная и единственная причина погромов, уверяет екатеринославский неборзописец, заключается «в расовых капризах», т. е. в своенравном нерасположении одной расы (в настоящем случае великорусской) к чужой расе, к которой первая не успела присмотреться, но которая бросается в глаза по своей внешности!.. Подумаешь, право, что великорусы только со вчерашнего дня стали посещать Новороссийские губернии и что им у себя дома ни с какими чужими расами сталкиваться не приходилось! Не проявляется же у них никаких капризов при лицезрении немецких колонистов на нашем юге!

Впрочем, участия их в погромах мы нисколько не отрицаем, но признаем его очень естественным, хотя бы и предосудительным. Великорус и живее, и энергичнее малоруса; при виде еврейского хозяйничанья над русским краем он мог легче, чем местные русские жители, придавленные долголетним гнетом, одушевиться, одушевить и их справедливым негодованием, и от ощущений перейти к действию, но все же в основании этого действия лежит еврейская эксплуатация и возбуждаемое ею негодование. Уж не посоветует ли автор запретить великорусам ходить на заработки в русские южные губернии ради предохранения евреев от великорусского «расового каприза»?.. Мы бы и не остановились на этом курьезном объяснении, если б оно не исходило от местного органа печати, от которого каждый вправе бы ожидать дельного о местных событиях слова, и если б не приводилось нам слышать и в высших столичных кругах рассуждения на весьма схожую тему. «Должно быть, – поясняли нам, – кто-нибудь да растолковал или внушил южнорусским мужикам, что «вот-де евреи вас эксплуатируют», а без того местные мужики такой эксплуатации бы и не приметили: ведь в прежние годы сидели же они смирно!..»

В прежние годы! Вот в этом и состоит ошибка многих наших государственных людей, что они все поминают прежние

годы, не принимая в расчет того нравственного постепенного воздействия на дух народный и тех изменений в общем строе русской жизни, которые произведены переворотом 19 февраля 1861 года. В прежние годы, во времена крепостного права, крестьянин более или менее заслонен был от еврейского экономического ига и произвола авторитетом и властью или, пожалуй, произволом помещика. Последний, если только хотел, всегда имел возможность содержать еврея в некотором страхе или отдалении от крестьян, изгнать его и совсем из села и т.д. Произволу этому настал, да и не мог не настать конец, но вместе с безнравственными и вредными его сторонами утратились для крестьян и практически добрые его последствия. Крестьяне остаются теперь совсем без защиты: мировые судьи лишены всякой административной власти, а на юридической почве не может быть для народа никакой серьезной поддержки против формально-легальных плутней еврейского люда. Этот же люд, в свой черед, с упразднением крепостного права, с понижением общественного значения и, главное, с обеднением дворянства, пошел сильно в гору, не только в экономическом, но и в социальном отношении. Если бы наши статистики занялись сравнительным исследованием еврейской экономической деятельности до и после эмансипации (перемещения в еврейские руки недвижимой собственности, аренд, подрядов и т.п.), то они, наверное, поразились бы громадным ее развитием, идущим параллельно с обнищанием сельского населения... «Не любы были нам паны», – читали мы в письме одного крестьянина Полтавской губернии, из села, где помещичья земля и усадьба достались по покупке в собственность еврею. «Не любы были нам паны, а теперь куда стало горше, как в паны попали евреи и пан-жид стал пановать над нами!» Итак, что же мы видим теперь на нашем юге и юго-западе? С одной стороны, быстрый рост и непомерно увеличившийся натиск на крестьян еврейской экономической и социальной силы после упразднения крепостного права; с другой стороны, в такой же прогрессивной пропорции совершившаяся в крестьянском населении убыль средств для борьбы и отпора; другими словами,

крестьяне приведены в состояние совершенной беззащитности, предоставлены собственным силам или собственной немощи (мировые суды считать почти нечего). Само собой разумеется, что настоящее взаимное соотношение обеих сторон могло сложиться и выясниться не вдруг, не тотчас после освобождения крестьян, в течение известного времени: вот и причина, почему только несколько лет тому назад начались эти крестьянские беззаконные самосуды. Но вместе с тем благодаря уничтожению крепостной зависимости одновременно с увеличением еврейского экономического нажима постепенно развивалось и развивается в крестьянах всей России, как мы уже высказали в прошлом, гражданское если не самосознание, то самочувствие, при котором, конечно, всякий неправый гнет становится для них чувствительнее, обиднее, чем в старину. Может быть, и в самом деле, случайно попавшие за черту еврейской оседлости великорусы (в которых вообще это самочувствие сильнее), слыша жалобы и сетования местного народа, подвиглись сами, подвигли и его к гневной отместке, но едва ли есть и надобность искать зачинщиков непременно между ними или где-то извне: недавний погром в Новомосковске совершенно просто объясняется тем, что эта местность запорожская и еще хранит предания о запорожских внезапных с евреями расправах...

К чему же, собственно, сводится все адвокатское разглагольствование екатеринославской газеты, все это голое, упрямое отрицание еврейского экономического гнета, с такой благодарностью воспроизведенное газетой еврейской? Ни к чему другому, как к поощрению евреев продолжать прежний образ действий, – к предотвращению, по возможности как ненужных, всяких правительственных мер против еврейской эксплуатации. «Не смущайтесь, – так вещает между строк екатеринославский либерал евреям, – продолжайте ваше ростовщичество по-прежнему, опутывайте народ сетью неоплатных долгов по-прежнему, разоряйте и развращайте его, как встарь: над вами бодрствует, вас блюдет либеральная печать и гуманизм просвещеннейших классов российского общества!..» Но разумно ли искушать таким образом народное долготерпение

и не гасить, а в сущности только раздувать вражду христиан к евреям, упорно сохраняя и даже лелея все ее причины и поводы?

Мы особенно напираем на обличение лживых или по крайней мере неосмысленных, столь обычных у нашей «интеллигенции» выражений участия к еврейскому племени и столь употребительных у евреев приемов самообороны. Система самовосхваления, практикуемая еврейской прессой, и система отрицания всех невыгодных для евреев разоблачений, практикуемая ею и их защитниками, содействуют только упрочению настоящего status quo, из которого ничего доброго выйти не может. А между тем ненормальное положение евреев в христианских странах и присущее им как нации, как необходимое логическое последствие их национально-религиозной основы, их национально-религиозных законов, преданий и чаяний, роковое свойство вредоносности для христианского населения, все это ведь действительно может и должно бы возбуждать в нас к евреям сожаление и участие: мы все-таки сильнее их; наш кругозор чище, шире и выше, нам светит «солнце правды». Но это сожаление и участие, если только они искренни, должны бы выразиться не в восхвалениях и отрицаниях, о которых мы говорили выше, а в совокупных усилиях вызвать в самих евреях добросовестную работу самосознания, вразумить их сдвинуть их с ложного и опасного пути, поискать сообща с ними возможных условий для истинного, а не мнимо безвредного и мирного их, с христианами сожительства. Долго мы обольщались надеждой, что в самой среде еврейской найдется же наконец не то что новый Моисей, который выведет свой народ из этой своего рода египетской тьмы и неволи, т. е. из рабства ветхозаветной букве и талмудическому фарисейству, но хоть бы горсть молодых людей, которые под воздействием просвещения и цивилизации христианских стран, где они живут, возгорятся иным, не еврейским, а высшим, более широким, более нравственным идеализмом; которые задумаются наконец над упреками во вреде, несущимися к евреям изо всех концов мира, устыдятся сами экономическо-

го рабства, наложенного евреями на низшие классы народа, и обратятся к своим соплеменникам со страстной проповедью реформаторов... И действительно, вскоре после первых погромов возникло бы где-то на юге особое общество евреев, которое поставило знаменем своим очищение еврейской религии и всенародно исповедало начало нравственности, несравненно выше, чем у талмудистов, но этот раскол в еврействе был встречен таким дружным ярым гневом всей русской еврейской печати и так мало встретил поддержки в печати русской, что с тех пор о нем ни слуху ни духу.

Казалось бы, от кого и ожидать реформаторского движения, как не от евреев, просветившихся высшим образованием? Казалось бы, именно на евреях-писателях и публицистах должна бы лежать обязанность содействовать воспитанию еврейской массы и исправлению национально-религиозных инстинктов, делающих евреев язвою для христианского населения? К несчастью, происходит совершенно иное; именно-то еврейские органы печати (по крайней мере, русской), щеголяя «высшим развитием», стараясь явить себя на уровне современной цивилизации, в то же время совершенно воздерживаются от всякого честного слова осуждения своим соплеменникам, не преподают им ни одного полезного совета, тем менее увещания! Происходит ли это из расчетов по нежеланию лишиться благосклонности даже темного еврейского многолюдия и материальной от него поддержки, или же из рожденного им самим еврейского национально-религиозного инстинкта, только маскированного внешностью европейской культуры, мы не знаем; но замечательно, что они, по-видимому, нисколько даже и не заботятся о приобретении к себе сочувствия русского общества. С развязностью людей, которые чувствуют себя дома чуть не хозяевами и не сознают за собой пред коренным населением ни малейшей вины, да и никаких, кажется, особенных обязанностей, они во имя «культуры и цивилизации» встречают резкой бранью всякий укор евреям в эксплуататорстве и дерзко отрицают самую неподдельную действительность. Эти две статьи о евреях не вызвали со стороны газеты «Русский

еврей» ни одного разумного возражения, а только возгласы в таком роде, что статьи г. Аксакова исполнены «ядовитой злобы» и «фанатической ненависти, для которой не существует ни доводов, ни пределов, которая способна на всякие подвиги, не исключая, по-видимому, и Торквемадовских!» Но особенно заслуживает внимания та статья «Русского еврея», где он, под видом обращения к испанцам и венграм, обращается к современным народам, среди которых обитают евреи и которыми они недовольны (следовательно, и к нам, русским). «Что было бы, – фантазирует газета, – если б к этим народам раздался следующий глас провидения: «Что сделали вы с порученным вашему надзору и попечению маленьким, слабым племенем израилевым? Были ли вы ему братьями, старались ли усладить ему горечь скитальческой, подневольной жизни?.. Нет, вы этого не сделали! Вы не услаждали ему жизни!» Далее приводятся примеры из Средневековой истории Западной Европы, преимущественно Испании, и затем «глас провидения», уже по адресу народов нашего времени, изволит продолжать таким образом: «Вы оторвали его (еврейское племя) от всех производительных, честных и почетных занятий и принуждали его заниматься ростовщичеством и тому подобными унизительными профессиями, и затем были так бессовестны, что сами же обвинили его в алчном стремлении к наживе!..» Вся тирада кончается словами, что «согрешение пред ближним уравновешивается только удовлетворением, а удовлетворение до сих пор было поверхностно и легковесно»... Эти ссылки на историю теперь едва ли уместны, и никто, конечно, в наше время не принуждает еврейскую простонародную массу к занятию ростовщичеством и унизительными профессиями. Профессии для необразованных низших классов населения только и могут быть: землепашество, сельские промысла, ремесленный труд, мелкая торговля; промышлять и торговать можно и честно, и бесчестно, смотря по выбору, а выбор зависел ни от кого другого, как от самих евреев. Что же касается землепашества, то все усилия нашего правительства, все щедрые издержки казны, собранной с русского народа, с целью направить евреев к зем-

леделию, остались совершенно безуспешны. Не можем, кстати, не вспомнить записку, поданную лично нам еврейской депутацией в Бессарабии для представления по начальству, тому довольно давно, когда приближалось окончание срока пожалованной еще императором Александром I Бессарабии льготы от рекрутских наборов. Во времена Гедеона, Давида, даже Маккавеев, говорилось в записке, мы, евреи, были народом воинственным и храбрым, но затем владеть оружием разучились, а потому и просим не подвергать нас воинской повинности... От почетного и честного звания воина, по крайней мере у нас в России, никто никогда не отрывал, кажется, евреев; однако же их уклонение от воинской повинности приняло, наконец, такие размеры, что вынудило недавно правительство издать специальные распоряжения против еврейских обманов. Вообще ничто не может быть характеристичнее приведенной нами тирады: в ней отражается настоящее еврейское миросозерцание. Евреи, очевидно, смотрят на себя и теперь как на народ избранных и Божий, а на все христианские народы, среди коих имеют жительство, как на своих данников, обязанных услаждать им жизнь; народы должны даже почитать себя осчастливленными их присутствием, потому что Господь специально препоручил их попечению израильское племя!

Обвинение же евреев в алчном стремлении к наживе провозглашается бессовестным, и во всех современных грехах евреев виноваты и ответственны сами христиане. Каково положение, например, ну хоть христианского низшего населения Галиции, в которой теперь, по последним известиям, свыше 800 тыс. евреев на 6 миллионов всех жителей и в которой не только вся торговля и ремесла, но и значительная часть земельной собственности перешли в еврейские руки, – народ же совсем обеднел, и общее экономическое состояние Галиции приходит в совершенный упадок! Галицкому народу, по смыслу речей еврейского публициста, следует только радоваться и приговаривать: «Как утешительно мне услаждать своим телом и своею кровью жизнь панам-евреям и разоряться в их пользу: ведь это сам Бог поручил им набежать ко мне в таком множе-

стве, разорять меня и пановать надо мной, но прискорбно, что все-таки я доставляю евреям лишь легковесное и поверхностное удовлетворение: порученное самим Богом моему попечению маленькое слабое племя израилево утверждает, что ему этого мало!»

Возложив такие «братские» обязанности на христиан по отношению к еврейскому племени, «Русский еврей», казалось бы, должен был признать таковые же обязанности за евреями по отношению к христианам. Но об обязанностях последней категории газета совсем умалчивает. Можно было бы требовать по крайней мере, чтоб таковое проповедуемое евреями братство вело к теснейшему соединению их с народностями – хоть в государственном отношении. Но «Русский еврей» и вообще еврейские органы печати недаром следят «за прогрессом» и довольно ловко пользуются модной доктриной космополитизма. Она им на руку; во имя либеральных доктрин и гуманизма требуют они для евреев равноправности с господствующим населением государства, не только гражданской, но и политической, а во имя «прогресса» стоят за космополитический принцип, благодаря которому освобождают себя от уважения к принципу национальности, следовательно, и от национальной связи со своей христианской родиной. «Не должно быть различия между евреем и православным русским: все они едины, все граждане одного государства, только разных вероисповеданий» – вот что слышим мы от евреев и готовы уже согласиться с этим положением, а затем в том же «Русском еврее» читаем о «необходимости всенародного еврейского единения», о благовременности воспитывать в евреях сознание своего собственного национального единства и теснее «смыкаться вокруг «Всемирного Израильского Союза». Мы, со своей стороны, не бросим в евреев камня за такое стремление, признаем его вполне естественным, но именно потому и не доверяем возможности искреннего национально-государственного единения евреев с коренным русским населением Русского государства...

Еврейская газета мимоходом обвиняет нас в том, что мы пренебрегли еврейскими опровержениями книги «пере-

крещенца» Брафмана о кагале и снова упорно провозглашаем существование кагала. Прежде всего заметим, что укор, брошенный покойному Брафману в том, что он «перекрещенец», не имеет для нас ровно никакого значения: с нашей точки зрения, еврей, принимающий христианство, не только не изменяет религиозному закону евреев, но лишь исполняет его, лишь повинуется указаниям Библии, – тех книг, которые равно священны для христиан и для евреев, и для христиан еще более, чем для евреев: в глазах последних ведь и апостолы не более, как ренегаты! Брафман издал не одни только официальные документы кагалов, подлинность которых евреями отрицается. В №№ 46 и 47 «Руси» 1881 года напечатаны извлечения из его другого обширного труда, где сведения о кагале основаны не на архивных только, а на живых сведениях и личном опыте. Отвергать совершенно существование кагала возможно только в надежде на легковерие тех публицистов, которые не видели евреев иначе как в столицах и не живали сами в городах и местечках Западного края. Евреи в Москве и в Петербурге, и евреи там, в этой русской своей Палестине, где они чувствуют себя дома, – это совершенно разные типы. Здесь, например, переход евреев в христианство не производит никакого видимого для нас волнения в еврейской среде, так что столичный наблюдатель готов будет, пожалуй, прославить евреев за отсутствие религиозного фанатизма; но нам доводилось видеть самим, на юго-западе, бешенство еврейской толпы; мы знаем, чему подвергается, например, еврейка, осмелившаяся оставить веру отцов, как буквально осаждается, с трудом обороняемый полицией, дом священника, принявшего несчастную в лоно православия, как нередки бывают случаи истязаний и даже убийства новообращенных! Факт существования кагалов еще недавно был констатирован судебным процессом во Львове, о чем было даже напечатано во многих газетах; да и отрицать кагал значило бы ведь отрицать всякое внутреннее еврейское самоуправление. Но еврейские публицисты, много шумя и придираясь к какой-либо относительно мелкой неточности, только отводят глаза от более серьезных разоблачений и уклоняются

от прямого ответа на вопросы, прямо поставленные. Пусть же они ответят нам неуклончиво на следующие вопросы:

Существуют ли упоминаемые Брафманом в «Руси» талмудические правила Хескат-Ушуб о власти кагала в его районе, на основании которых та территория, где поселились евреи, со всем входящим в нее имуществом и лицами иноверцев становится собственностью евреев? Существует ли статья 156 Хошен-Гамишпот, гласящая слово закона, что «имущество иноверца свободно (гефкер) и кто им раньше завладеет, тому оно и принадлежит»? Допускаются ли еврейским национальным или талмудическим законодательством (хотя бы они, по уверению евреев, теперь уже и вышли из практики) гахлаты или такие акты, которыми кагал, за известную сумму денег, продает еврею право меропии или мааруфии или же право хазаки? Напомним читателю, что меропией предоставляется купившему ее еврею в исключительную эксплуатацию личность того нееврея, с которым он входит в сношение, так что ни один посторонний еврей уже не имеет права ничем поживиться за счет проданного субъекта; хазака же предоставляет купившему ее еврею в исключительную эксплуатацию не личность, а недвижимое имущество христианина или другого иноверца... Существует ли, наконец, херем – запрет, накладываемый кагалом на того строптивого христианина, который навлек на себя неблаговоление кагала и в силу которого ни один еврей не может ничего ни купить у этого христианина, ни продать ему?.. Несколько лет тому назад один юго-западный помещик, подписавший свое имя, напечатал в «Московских ведомостях» рассказ о том, как он попал под херем, как поэтому бедствовал при исключительном экономическом господстве евреев в крае, и как, наконец, вынужден был, по чьему-то совету, обратиться с просьбой о снятии с него херема к какому-то властному еврею в Галиции, который его и помиловал.

Евреи возразят нам, по всей вероятности, что если это и бывало когда-то, то теперь этому уже нет и следа. Мы, конечно, и не ожидаем от них признания, что гахлаты, меропии, хазаки и т.д. существуют, практикуются и теперь; нам нужно

только знать: имеются ли указанные нами основания для этой практики в самом Талмуде? Впрочем, мы предугадываем наперед, что евреи вместо ответа придут прежде всего в страшное негодование, как будто мы совершили злостную клевету, а потом, пользуясь неопределенностью нашей ссылки, дадут и ответ самый неопределенный. Ну, так мы предложим им несколько других о Талмуде вопросов, более значительных и с такими точными ссылками, по которым поверка наших указаний вполне удобна и доступна для каждого. Но сначала несколько слов о Талмуде.

Закон Писаный и Устный евреев составляют следующие обязательные и, так сказать, канонические книги: 1) Библия, т. е. все Священное Писание, и Тора (собственно закон Моисеев, Пятикнижие); 2) Мишна, т. е. второй закон или сборник преданий, составленный раввином Иудой Святым около 200 лет по Р. Х.; 3) Талмуд Иерусалимский, содержащий Мишну и сверх того Гемару (дополнение) раввина Иоханана, составленный около 230 по Р.Х. и 4) Талмуд Вавилонский, содержащий ту же Мишну и Гемару с новыми дополнениями раввина Аше и других, законченный в V в. по Р.Х.; затем и еще некоторые сборники с дополнительными преданиями и комментариями. Сам Талмуд исполнен свидетельств о своей авторитетности и обязательности для евреев. Так, в статьях г. Александрова (псевдоним А.Н. Аксакова, хорошо знакомого с еврейским языком), в №№ 25 и 34 нашей газеты «День» 1862 г. в числе многих цитат приводятся, между прочим, такие: «Виноградная лоза – это люди, знающие Библию»; первые виноградники – люди, знающие Мишну; спелые грозди – люди, знающие Гемару (Eruvin. 22, 2; Sota, 21, 1). «Нет более мира тому, кто от учения Талмуда возвратится к учению Библии» (Chagiha, 10, 1), «Нарушающий слова ученых Израиля повинен смерти, ибо слова их достойнее внимания, чем слова закона Моисеева» (Eruvin. 21, 2) и т.д. Величайший авторитет еврейской учености Маймонид (VI век) говорит следующее; «Все, что содержится в Вавилонском Талмуде, обязательно для всех евреев, ибо все учение Талмуда было признано народом израильским,

и ученые составители его были преемниками предания, которое сохранилось от Моисея и до них» (Yad Chasac предисл.). Обязательность Талмуда для евреев некараимов или раввинатов до такой степени разумеется сама собой, что она признана и, стараниями самих евреев, даже узаконена нашим правительством. У нас при Министерстве внутренних дел состоит даже на службе «ученый раввин», официально компетентный советник во всех религиозных еврейских делах и вопросах – без сомнения, со строгой ревностью охраняющий существующее и узаконенное в России здание раввинизма и его интересы. Как в Положении 13 ноября 1844 г., создавшем для евреев особые казенные уездные училища 2-х разрядов и гимназии, так и в новом Положении 24 марта 1873 г., преобразовавшем эти училища и заменившем гимназии специальными еврейскими учительскими институтами, Талмуд в гимназиях и институтах числится обязательным предметом преподавания. По расписанию учебных часов на Талмуд в институтах полагается не менее 10 часов в неделю. Высшая еврейская в России школа без Талмуда – это, с русской административной точки зрения, некоторое беззаконие.

Вот в этом-то вдвойне обязательном для евреев Талмуде находятся, между прочим, такие места, которые разрешают еврею относительно гоев или акумов (язычников и христиан, вообще неиудеев) всякое зло, запрещаемое законом иудейским против брата, ближнего своего и товарища, ибо гой или акум не есть для евреев ни брат, ни ближний, ни товарищ, не достоин никакого снисхождения и милосердия (Bava Metzia 3. 2 Yevamoth, 23. 1). – Запрещается гою давать что-либо без лихвы (Avoda Zara, Pisl. Thoseph 77. 1 № 1 и пр.). – Разрешается иудею у гоя красть, ибо сказано: не обидишь ближнего и не отымешь, а гой не ближний (Bava Metzia 111, 2). – Свидетельство неиудея да отвергнется без исключения (Schulch. Aruc, Choshem Hammeschh. 40. C. 2. № 34, C. 19). – Запрещается спасать от смерти акума или неиудея, ибо спасти его – значит увеличить число их; к тому же сказано, да не помилуешь их (Avoda Zara, 26. 1; 20. 1. in Thoseph). – Дозволяется законом убивать всех аку-

мов или гоев, ибо в Писании сказано: не возстанеши на кровь ближнего твоего, а акум или гой – не ближний, и потому, говорит Маймонид, всякий иудей не убивающий нарушает отрицательную заповедь (Sepher Mitz. fol. 85. C. 2–3). – Да убиен будет и праведнейший из язычников или неиудеев: он повинен смерти уже тем одним, что неиудей и потому самому уже не может быть чем-либо годным (Yalcout Reoubeni, 93. 1)...

Мы привели только часть выписок из Талмуда, собранных в 25 № «Дня» 1862 г., но и приведенного, полагаем, довольно. Могут ли евреи отрицать существование сделанных нами ссылок? Скажут ли, что они фальшивы и вымышленны? Этого они сделать не могут, а станут, пожалуй, уверять, как г. Жика в журнале «Дело», что Талмуд так себе, книжка вроде «Подражания Христу» Фомы Кемпинского!! Но очевидно, что утверждать нечто подобное могут только: невежество, умственная ограниченность или дерзостная недобросовестность. Во всяком случае, подобное утверждение вызывает вопрос, чему же, собственно, евреи верят? Нам известно, что евреи делятся на караимов, не признающих Талмуда, и раввинатов, признающих Талмуд: первые – чистые мозаисты, т. е. последователи чистого учения Моисеева, и их считается в мире лишь несколько тысяч; вторые – все те, которых мы зовем евреями и которых считаются миллионы. Если наши евреи не караимы и не талмудисты или раввинаты, то что же они такое? И для чего в Положении о еврейских училищах в России изучение Талмуда поставлено в числе обязательных предметов?.. «Все это так, – возразят нам, пожалуй, евреи и их защитники, – но «указанные выписки из Талмуда вышли из употребления, и если вообще Талмуд изучается, то эти места давно уже утратили свою обязательность»... Но почему же мы обязаны этому верить? Какое формальное мы имеем к тому основание? Нам, конечно, и на мысль не приходит, что европейски образованный еврей может держаться такой талмудической морали, но чтобы массы еврейского люда, не получившие европейского образования и руководимые большей частью меламедами и цадиками, признавали эти правила Талмуда вздорными и упраздненными,

это требует еще положительных доказательств, которых наши оппоненты нам представить, конечно, не могут. Да и за исключением статей, оправдывающих даже убийство, разве остальные выписанные нами статьи вовсе не практикуются? Разве все обвинения в обмане, лихве, эксплуатации и т.п., специально падающие на голову евреев во всех странах мира, смущают религиозную совесть евреев? Обвинения ложны – ответят евреи. Не станем спорить, но спрашиваем: где же еврейская проповедь против обмана, лихвы и эксплуатации неевреев? Если обман гоя или акума не разрешался евреям их религиозной совестью и их ортодоксальным учением, то Маймонид был бы уже давно в презрении, а не в почете, и против приведенных нами цитат из Талмуда, столь позорящих все еврейство, давно бы возгремели еврейские витии и существовала бы целая полемическая литература!

Но у ученых евреев имеется в запасе еще один аргумент, и как будто довольно сильный: они укажут вам несколько текстов из того же Талмуда в смысле совершенно противоположном. Существования таковых текстов мы нисколько и не отрицаем: Талмуд исполнен внешних противоречий. Но Талмуд же толкует, что эти противоречия не отвергают истины, а только развивают ее, и что положения, казалось бы, взаимно себе противоречащие, остаются равносильными. «Хотя, говорит Талмуд, один раввин говорит одно, а другой – другое, слова их тем не менее суть слова Божия» (Gittin, 6. 2.). При всем внешнем противоречии есть в них внутреннее единство духа, заключающееся в том, что Израиль – племя избранное, привилегированное, и что неизраильтянин Израилю не брат и не ближний. Во всяком случае, последователям Талмуда позволительно выбирать для своего руководства любое: изречения ли в пользу честности и мира, изречения ли в пользу обмана и вражды. К этому выводу приходит и сам Талмуд; вот его слова: «Не имея основания придавать более значения мнению одной стороны чем другой, я должен сообразоваться с тем решением, которое для меня благоприятнее» (Schulch. Aruc. Choshem Hammeschp. 75 et 83 in Comm.). Как же, однако,

спрашивается, правительству и обществу знать: кто из евреев каким наставлением руководится, какой у каждого из них кодекс морали?!

Двадцать лет тому назад мы пригласили тех из евреев, которых совесть гнушается вышеприведенными правилами Талмуда, заявить свое отречение от них печатно в нашей газете. Двое евреев, гг. Португалов и Зеленский, последовали нашему призыву и в 32 № «Дня» того же года заявили, что сами они с Талмудом мало знакомы, но если бы действительно «в Талмуде оказались таковые или похожие на них наставления, то – так выразились они – мы торжественно и гласно от них отрекаемся». Само собой разумеется, что такого рода частные отречения в частном издании остаются совершенно частным явлением и не могут иметь цены при законодательном разрешении еврейского вопроса. В настоящее время логически необходимым оказывается иной, следующий способ.

Если евреи действительно и искренне отвращаются бесчестного и вредоносного учения, содержащегося во многих статьях Талмуда (только частью нами приведенных) – или же если и не все, то хоть только в лице своих передовых и наиболее просвещенных людей, – эти последние обязаны успокоить и правительство и христиан той страны, где живут, и укрепить на твердых, а не на сомнительных заповедях совесть темного, необразованного еврейского люда. В настоящем же случае дело идет, конечно, только об одной России. Не может же русское правительство продолжать ревновать об ортодоксальности еврейской религии и под влиянием казенного «ученого раввина» считать всякий раскол в еврействе нарушением узаконенного порядка и самочинием нетерпимым. Пусть соберется, по приглашению самого правительства, собор раввинов со всей России, с участием представителей от еврейского народа и, пересмотрев Талмуд, пусть торжественно и всенародно осудит, отвергнет, запретит и похерит все те статьи Талмуда, которые учат евреев вражде и обману и послушание которым не может быть совместимо с мирным и безвредным пребыванием их в христианской стране.

Только тогда, а не прежде поверим мы искренности еврейских публицистов, прославляющих идеалы еврейской нравственности, только тогда лишь и настанет время толковать об уничтожении законодательных различий между евреями и христианами и об их безусловной гражданской равноправности...

Воззвание Кремьё, обращенное к евреям от лица «Всемирного Израильского Союза»

Если бы мы могли еще сомневаться в верности наших воззрений на еврейство и еврейский вопрос, то теперь, ввиду помещаемых ниже данных, сообщенных нам из Берлина, сомневаться уже непозволительно: дело идет уже не о наших воззрениях. Оказывается, что мы только в точности угадали и воспроизвели собственные взгляды евреев на самих себя и на свое историческое мировое призвание. Мы подлежим упреку разве лишь в том, что сделали это воспроизведение в тоне умеренном, в форме логических выводов a priori, тогда как еврейское миросозерцание еще недавно возвестило само себя не только без лишней скромности, но как власть имеющее, торжественным трубным гласом. Мы разумеем воззвание или своего рода манифест, обращенный к Израилю от «Всемирного Израильского Союза» (Alliance Israelite Universelle) в лице его президента Кремьё при самом основании Союза и с объяснением его сущности и значения. Мы только на днях познакомились с этим замечательным историческим документом, так дословно подтверждающим и подчеркивающим суждения, высказанные нами о еврействе, и в кратком сжатом объеме определяющим как внутреннее содержание еврейской народности и отношения ее к другим национальностям, так и религиозно-политические мировые идеалы и заветы евреев. «Мы не имеем сограждан, а лишь религиозных последователей, – возглашает президент Союза, – наша национальность – религия отцов наших, другой национальности мы

не признаем никакой»... «Вера предков – наш единственный патриотизм». «Мы обитаем в чуждых землях, но, невзирая на эти наши внешние национальности, остаемся и останемся евреями, одним и единым народом»... «Израильтяне, – взывает манифест, – хотя и рассеянные по всем краям земного шара, пребывайте всегда как члены избранного народа!»... «Только еврейство представляет собой религиозную и политическую истину!»... В первый раз еще евреи так гласно возвещают о политической стороне своего вероучения. В чем же заключается этот религиозно-политический идеал, или эта истина, осуществления которой чают евреи в будущем?

«Мы не можем, – говорится далее, – интересоваться переменчивыми интересами чуждых стран, в которых обитаем, пока наши собственные нравственные и материальные интересы будут в опасности»... Казалось бы, такое рассуждение, с точки зрения отвлеченной справедливости, вполне основательно. Нельзя требовать от людей, преследуемых и гонимых, искреннего участия к интересам гонителей: стало быть, наоборот, с устранением опасности для нравственных и материальных интересов евреев, например с введением полной равноправности их с христианами, можно и должно ожидать от евреев полной солидарности с интересами жителей тех христианских земель, где они обитают. Казалось бы, так, но президент «Всемирного Израильского Союза», бывший французский министр юстиции Кремьё, не медлит вывести нас из такого логического заблуждения. «Не раньше, – поясняет он, – станет еврей другом христианина и мусульманина, как в то лишь время, когда свет израильской веры будет светиться повсюду... В наступивший к тому день еврейское учение должно наполнить весь мир!»...

Наши иудофилы и так называемые либералы согласятся с нами, по крайней мере, хоть в том, что срок для полной солидарности нашей с евреями назначен самими последними очень уж отдаленный! Что бы мы ни делали, какие бы самые дерзновенные проекты в пользу еврейских прав и привилегий ни приводили в исполнение (не говоря уже о простой равноправности их с нами), хотя бы посадили евреев судьями над

всем христианским русским населением, наделили их министерскими портфелями, одним словом, предали бы им беспрекословно в работу весь русский народ, – мы все-таки не добьемся от них даже и такой малой милости: «принимать к сердцу наши переменчивые интересы» и хоть немножко дружить с нами теперь же, ранее наступления той благодатной поры, когда мы все поголовно уверуем именно так, как евреи. Остается только нашим иудофилам и либералам, ради снискания благосклонности еврейской, всеми силами способствовать ускорению этого вожделенного момента, т. е. обращению всех нас в еврейскую веру... Они и способствуют, конечно, пассивно и большей частью сами того не сознавая, способствуют если не обращению христиан в еврейскую религию, то усилению на счет христиан еврейского могущества. Но ошибутся народы, если, польстясь на вышеприведенные еврейские обещания, возмечтают, будто и по принятии ими еврейского исповедания евреи удостоят их равноправностью с собой... Нет! Даже среди всех народов мира, объединившихся в исповедании «еврейского единобожия», Израиль все-таки останется «народом избранным»: ему власть, ему господство, ему одному богатства вселенной... Послушайте конец этого торжественного послания от имени «Всемирного Израильского Союза» к евреям: он таков, что даже ирония, которая невольно напрашивалась под перо в начале наших выписок, невольно стихает и заменяется серьезным раздумьем. Вот он:

«Евреи всего мира, придите и внемлите этот призыв наш, окажите нам ваше содействие, ибо дело велико и свято, а успех обеспечен. Христианская церковь – наш вековой враг – лежит уже, пораженная в голову. Каждый день будет расширяться сеть, распростертая по земному шару Израилем, и священные пророчества наших книг исполнятся: настанет пора, когда Иерусалим сделается домом молитвы для всех народов, когда знамя еврейского единобожия будет развеваться в отдаленнейших концах земли... Пользуйтесь же всеми обстоятельствами! Наше могущество велико, учитесь же употреблять его в дело! Чего нам страшиться? Недалек день, когда все богатства зем-

ли будут исключительно принадлежать евреям!»... (Значит, не всем народам, исповедующим еврейское единобожие, а только Израилю: «appartiendront exclusivement aux Juifs»...)

Какое сознание своей силы! Какая страстность чаяния! Какой смелой рукой очерчен этот исполинский еврейский заговор, отмечены достигнутые успехи, указана конечная цель и способы ее достижения! Еврейская сеть раскинута по всему миру и опутывает мало-помалу все народы. Все средства евреям разрешены: всеми обстоятельствами должны они пользоваться – везде, всюду, где только можно, призывают они употреблять в дело свое великое могущество!.. Таково свидетельство евреев о самих себе, данное не в какие-либо Средние века, а во второй половине XIX века, изложенное и формулированное не каким-либо еврейским изувером, религиозным фанатиком или грубым невеждой, а одним из светил французской магистратуры, знаменитым, авторитетным юристом, «передовым человеком» своей эпохи, творцом и борцом революции, одним из правителей Республиканской Франции, заведовавшим вместе с другими «передовыми» французскими вольномыслителями судьбой французского народа, словом, г-н Кремьё. Это тот самый, на которого так любят указывать представители нашей интеллигенции известного пошиба, приговаривая России в поучение и назидание: «Вот-де истинно просвещенная страна – Франция: одна не побоялась вверить французское правосудие просвещенному еврею, ибо в сфере высшей культуры и прогресса идеалы у всех равны!»... Признает ли теперь наша интеллигенция тождественность своих идеалов с еврейскими? Мы говорим: еврейскими, а не идеалами только самого Кремьё: ему принадлежит лишь одно изложение – самое же воззвание идет от лица общества, считающего с лишком 28 тысяч действительных членов...

Но всего важнее в настоящем случае – это раскрытие самой сущности еврейского религиозного идеала и различия между еврейским и христианским единобожием. Еврейское религиозное миросозерцание явилось здесь во всей своей грубой ограниченности и вещественности. Торжество религи-

озной истины венчается для евреев не водворением царства духа и правды, не высшим внутренним просветлением нравственного человеческого естества, а созданием могущественного земного царства еврейского, превознесенного над всеми народами, и накоплением всех богатств земли в руках одного привилегированного у Господа племени, «избранного народа Божия»... Вот в какой идеал уперлось еврейское единобожие, поклонившись мертвящей букве «закона» и отрекшись его духа – тоже животворящего духа, которого полным историческим и превечным выражением явилось потом воплощенное Слово – Христос, упразднившее и самый закон полнотой и свободой истины. Отвергшись Христа, не признав Бога в Его лице, еврейское единобожие стало хулой на Бога, ограничив самое представление о Нем атрибутами внешней силы и внешней правды и служение Ему – внешними делами закона, – обездушив, оматериализовав истину, низведя бесконечное в конечное и вечное в черту времени. По еврейским понятиям, возглашаемым в упомянутом манифесте, Бог за верность Себе и своему имени имеет со временем расплатиться с еврейским народом не чем иным, как земными благами, серебром и золотом всего мира: «Израильский Всемирный Союз» именно в перспективе такой денежной или вещественной награды усматривает главное побуждение для евреев – соблюдать верность Богу и работать на пользу представляемой еврейством «религиозной и политической истины»!... Если между просвещенными евреями есть люди вполне беспристрастные (а таковых не может не быть), то пусть они, по крайней мере, открыто признают хоть то различие между еврейским и христианским идеалом, что последний совершенно чужд практического утилитаризма и не дает никакого религиозного освящения инстинктам грубой корысти; что христианство в основу своего учения и своей проповеди полагает, наоборот, совершенное отречение от всяких мирских наград и никаких вещественных богатств не сулит за служение истине. Напротив, оно учит собирать себе сокровища не на земле, а на небесах; не полагать в земных благах своего сердца, а искать прежде всего Царствия Божия и

правды его. Только лишь дьявол, по сказанию Евангелия, пытаясь искусить Христа в пустыне, показал Ему с верха горы все царствия вселенной «в черте времени», со всей их силой и блеском, и обещал Ему: «Тебе дам власть сию всю и славу их: ты убо аще поклонишься предо мною, будут тебе вся»... И посрамленный «отыде»...

А еще недавно одна из русских еврейских газет (Еженедельная хроника «Восхода») проводила мысль, что в нравственной доктрине христианства нет ничего такого, чем бы еврей не обладал уже вполне и давно из пятикнижия Моисея, так что христианство – по смыслу слов еврейской газеты, – не представляя, в области нравственной, ничего нового и оригинального, в сущности есть нечто вовсе ненужное, излишнее, без чего очень легко обойтись, довольствуясь еврейским законом; остается только не совсем понятным, зачем это не обошлась без него всемирная история!.. Лучшего образца близорукости и тесноты еврейского миросозерцания трудно и подыскать.

Не ясно ли теперь, что стремление к наживе стоит у евреев на степени «религиозной и политической истины»? Не выступают ли воочию, до полной несомненности и, так сказать, обязательности, те нравственные начала, которые «еврейское могущество» имеет внести в европейскую цивилизацию при содействии всех новейших прогрессивных учений, отрицающих Христа-Бога?

«Нашего великого дела успех обеспечен, – возглашает «Израильский Всемирный Союз», – христианская церковь – наш злейший враг – лежит, пораженная в голову...» В подлиннике вместо слов «христианская церковь» стоит «католицизм», но не подлежит и спору, что автор манифеста разумеет здесь не собственно римско-католическое исповедание, но христианство вообще – в его древней церковной организации, а в этом виде оно знакомо ему только в форме католической церкви – церкви по преимуществу «воинствующей». Не может же он, конечно, признать слишком опасным для еврейства и «злейшим его врагом» протестантизм ввиду наклонности последнего перейти просто в философское учение, или в этику, и ввиду

отсутствия в нем всякой внутренней объединяющей и связующей силы, всякого обязательного авторитета: как известно, в протестантизме каждый член церкви сам себе авторитет, о церкви же православной на Западе, и особенно во Франции, вовсе не имеют понятия или же разумеют ее как церковь, лишенную самостоятельности, не способную или не призванную оказывать воздействие на исторические судьбы «культурного мира»!.. Затем, то «поражение католицизма», о котором возвещает г. Кремьё (если даже признать факт этого поражения, что еще подлежит большому сомнению), не было только поражением папизма и ложных сторон римско-католической церковной практики: в этом, собственно, еще мало радости для евреев; но оно было вместе с тем и ударом, нанесенным самой вере Христовой в христианских обществах Запада, особенно же во Франции: этому не могли, конечно, не порадоваться евреи. Можно себе представить, с каким восторгом приветствовали они выбрасывание распятий из народных училищ, изгнание имени Божия и Христа из школьных учебников, из официальных актов и всяких публичных действий, с каким восхищением приветствуют они и теперь все законодательные меры и все неистовые проявления «прогресса», направленные к искоренению христианской религии! Весь этот бунт культурного человечества против христианской веры и даже против Бога, против учения о бессмертии, о душе, против всякого «мистицизма» – на руку и по вкусу евреям, несмотря на исповедуемое ими единобожие. Он расчищает им почву: «распростирать сеть Израиля» становится при таких условиях день ото дня удобнее. Они совершенно верно признают христианство более злым для себя врагом, чем даже безбожие, чем материализм, доведенный до крайних пределов отрицания. Они твердо убеждены, что на таком голом отрицании человечество удержаться не может, и рассчитывают, что придет время, когда можно будет подсунуть ему принцип «еврейского единобожия»... Таковы религиозные замыслы и мечты евреев, включая сюда и г. Кремьё, – о еврейских же нигилистах (которые, впрочем, редки) поговорим когда-нибудь особо...

Не в том, впрочем, дело – сбыточны ли эти еврейские замыслы или нет, а в том, что христианские общества своим мятежом против христианства сами созидают, себе же на голову, еврейское могущество, сами куют на себя еврейские цепи: это уже сбывается. Замечательно, что враги христианства и даже вообще всякая религия, одним словом, самые отчаянные радикалы, – в то же время самые горячие иудофилы. Если, по их понятиям, культура и прогресс несовместимы с исповеданием Христовым, если открытый исповедник Христа вызывает в них презрение и негодование, то в то же время эта культура и прогресс ведут себя совершенно смирно относительно исповедания Иеговы, и еврею охотно предоставляется и полная свобода действий, и политическая власть.

Во всяком случае, несомненно, что еврейское могущество в Европе с каждым днем возрастает, что евреи сознают свою власть и уже начинают, можно сказать, являться воинствующим, агрессивным элементом в обществах христианских. В Западной Европе в их руках две державные силы – биржа и пресса. Это такие силы, перед которыми уже почти немощно всякое нееврейское слово, всякое наше обличение или предостережение. Вот почему мы и придаем такое значение вышеприведенному нами откровенному слову самих евреев, этому так называемому манифесту, писанному пресловутым Кремьё, бывшим французским министром юстиции, от лица «Всемирного Израильского Союза»... Что скажут об этой еврейской программе наши защитники еврейства quand même и вообще наши глаголемые «либералы» и «гуманисты»?.. Раскроет ли им глаза эта еврейская исповедь, или же они еще пуще их зажмурят, отвращаясь от острого блеска истины, и не проронят об этом документе ни слова? Вероятно, произойдет последнее, потому что относительно «еврейского вопроса» у них ничего в запасе не имеется, кроме общих избитых мест либеральной доктрины, а «самобытности» в мышлении они у нас по принципу для России не признают, да и не любят, боясь погрешить против шаблонного либерализма и еще более боясь всякого серьезного умственного напряжения... Мы рекомендовали бы

прочесть этот документ членам нашей Еврейской комиссии, но эта комиссия чуть ли не принадлежит к числу бюрократических мифов...

Разбор циркулярного воззвания «Еврейского Всемирного Союза»

В 21 № «Руси» в статье нашего берлинского корреспондента «Еврейская Интерналка и борьба с еврейством в Европе» воспроизведено в переводе из французской газеты «L'Antisemetique» циркулярное воззвание «Еврейского Всемирного Союза» (Alliance Israelite Universelle), разосланное при его открытии. Комментированное нами в передовой статье, оно произвело довольно сильное впечатление на русскую публику и вызвало необычайную тревогу в русском еврейском лагере. Органы русско-еврейской печати осыпали нас самой ожесточенной бранью и обвинили в подлоге и клевете или, по крайней мере, в том, что мы сознательно, из ненависти к евреям, дали место в своем издании «гнусной фальсификации», целиком сфабрикованной «ничтожной и презренной французской газеткой». Досталось при этом и «Новому Времени», и даже «С.-Петербургским Ведомостям», перепечатавшим из «Руси» это воззвание. Запальчивым хором (нашедшим себе сочувственный отзвук и в газетах нашего мнимолиберального стана) утверждают еврейские публицисты, что подобного «манифеста» никогда не существовало и существовать не могло как противоречащего будто бы убеждениям, стремлениям и чаяниям еврейского народа или, по крайней мере, образованного его слоя. «Еженедельная Хроника» журнала «Восход» приводит даже с торжеством подлинный французский текст официального циркуляра, изданного «Всемирным Союзом» при его открытии, а также и текст французской речи знаменитого юриста Кремьё, произнесенной им при избрании его в председатели «Союза», года через два после открытия. Действительно, в обоих этих документах, рекомендуемых «Хроникой»,

гораздо более общих либеральных мест о цивилизации и прогрессе человечества, чем характерных национально-еврейских особенностей; однако же самое учреждение «Союза» объясняется не только желанием содействовать, во имя святых принципов Великой Французской революции, повсеместному уравнению евреев в гражданских и политических правах с населением тех стран, где они обитают, но также и намерением установить между евреями всего мира теснейшее единство и солидарность... Искренно или неискренно, но еврейская газета «Русский еврей» до того, по-видимому, убеждена в подложном измышлении помещенного в «L'Antisemetique» и перепечатанного у нас «воззвания», что, по ее словам, ее теперь наиболее занимает «психологическая подкладка» нашего поступка, а именно вопрос: в самом ли деле редактор «Руси» так наивен и прост, что способен был поверить существованию подобного документа, или только прикинулся, будто поверил? При этом, разумеется, ответ в обоих случаях выводится для редактора самый язвительный. Впрочем, употребляется и другой прием, более мягкий и почти сердобольный. Г. Лев Бинншток, еврей, в открытом письме к нам, появившемся в 251 № «Русского Курьера», сострадательно скорбит о нашей когда-то доброй, по его словам, репутации, так неосторожно теперь нами скомпрометированной, дивится – как могли мы, основываясь на свидетельстве такого гнусного листка, как упомянутая французская газета, позволить себе «чернить целую нацию, ни в чем не повинную», а вместе и великого «государственного мужа» Кремьё, и в заключение увещевает нас заявить немедленно в «Руси» о нашей невольной ошибке и тем самым уничтожить «в корне тот яд», который благодаря нам «разливается теперь по всем слоям русского общества»...

Во всем этом суетливом гвалте, поднятом русско-еврейской печатью, мы прежде всего с удовольствием отмечаем и принимаем к сведению одно: что евреи не только отвергают подлинность напечатанного у нас воззвания от имени «Всемирного Израильского Союза», но и всячески отрицают выраженные в нем, вслух и въявь, еврейские чаяния и идеалы.

Что же касается вопроса о подлинности, то спросим и мы в свою очередь: почему же этот вопрос не поднят был евреями ранее, ни в Германии, ни в самой Франции? Так называемый манифест появился в «Руси» 1 ноября, т. е. месяц спустя после того, как он был напечатан в Берлине в газете «Deutsche Volkszeitung, Organ fur sociale Reform», в № от 11 октября нового стиля, а также в переводе с текста, помещенного в «L'Antisemetique»! Мало того, он же через несколько дней отпечатан отдельными листами (один из них у нас перед глазами) и раздавался редакцией газеты в аудитории, состоявшей не менее как из 5000 человек и собранной по делу о пожаре синагоги в Ново-Штеттине. Могут возразить, что «Deutsche Volkszeitung» издание Антисемитической лиги. Но что же из этого? С той поры прошло уже теперь целых два месяца (по 1 декабря): почему же в течение этого долгого для газетной публицистики срока во всей западноевропейской печати (а она ли не обилует органами? не евреями ли издаются и внушаются большинство немецких, пользующихся немалым значением газет?) не появилось до сих пор ни единого протеста, ниже какого-либо сомнения в действительности «воззвания»? Известно, однако, с какой горячностью эта пресса силится опровергнуть все возводимые на еврейство обвинения и подозрения, если только такое опровержение возможно... Мы сами никогда не имели в руках газеты «L'Antisemetique», но знаем, что эта, по словам русской еврейской печати, ничтожная и презренная газетка издается во Франции, в Мондидье, а теперь редакция ее возвещает, что переводит издание в самый Париж, причем благодарит публику за поддержку. Во всяком случае, более чем странно, что эта газета, издающаяся о бок с самим «Всемирным Израильским Союзом» (имеющим пребывание в Париже), не была им тотчас же обличена в подлоге и даже не вызвала никакого гласного отрицания, которое французским обществом встречено было бы с тем большим сочувствием, что совместное сожительство 60 тысяч евреев с 30-миллионным французским народом представляет менее неудобство, чем в других странах, гуще заселенных евреями. Тем страннее вы-

ходка издающейся в Петербурге на еврейском языке газеты «Гамелиц», которая, называя редакторов «Руси», «Нового Времени» и «Петербургских Ведомостей» «нахальными лжецами», возвещает, будто бы обратилась с просьбой в Париж, к г. Изидору, президенту «Всемирного Союза»: прислать протест через французского министра иностранных дел или русского посла в Париже – для напечатания в «Новом Времени»! Почему же не приглашает «Гамелиц» г. Изидора прислать его прежде всего в Берлин и еще прежде напечатать его во французских газетах?! Приведенный же «Восходом», опубликованный «Союзом» при его открытии и не от имени Кремьё документ также вовсе не может пока служить опровержением, потому что воззвание, о котором идет спор, называется во французской газете тайным или конфиденциальным и разослано, как оказывается при внимательном чтении текста, не при самом открытии, а перед открытием, и от имени Кремьё, который, если не был официальным председателем «Союза» в первые два года, то, несомненно, был его главным и самым авторитетным основателем, а затем – двигателем и душой.

Итак, ни во Франции, родине помещенного у нас «манифеста», ни в Германии, да и нигде в Западной Европе подлинность его до сих пор никем не оспаривается, несмотря на гласность, приданную ему антисемитическими изданиями, особенно же в Берлине. Впрочем, мы поручили нашему берлинскому корреспонденту постараться разведать пообстоятельнее происхождение этого документа. Но что касается самого его содержания, будто бы апокрифического, то в нем, несмотря на все отрицания гг. евреев, нет не только ничего апокрифического, да и ничего нового, ничего такого, чего бы по частям, врозь, не находилось в различных еврейских сказаниях и писаниях. Здесь нова и бьет в глаза лишь конкретная форма воззвания, содержание же подсказывается почти буквально самим вероучением иудеев. Мы и придали значение этому так называемому манифесту только потому, что он, как мы выразились, «дословно подтверждает и подчеркивает суждения о еврействе, высказанные нами самими», и в кратком сжатом образе определяет

как внутренние основы еврейской народности и отношения ее к другим национальностям, так и религиозно-политические идеалы и заветы евреев. Все эти идеалы и заветы были и прежде воспроизведены в наших статьях, хотя еще только в форме логических выводов из сущности еврейского вероисповедания, так что если, по словам г. Бинштока, мы и «очернили ни в чем не повинную еврейскую нацию», то гораздо ранее помещения в «Руси» пресловутого циркуляра. Последний не прибавил ни одной черты, нам неизвестной, и не мы виноваты, если собранные воедино и выставленные на свет Божий, они, эти черты, устыдили или устрашили самих евреев. Вернее – устрашили. Вовсе не в расчете евреев разоблачать перед иноплеменниками и иноверцами правду их внутреннего мира и утратить право эксплуатировать в свою пользу столь властные над современной общественной совестью принципы: «прогресса», «цивилизации», «гуманизма» и т.п. Прикрываясь ими как плащом, евреи всякое поползновение сорвать этот плащ и сделать явным для общественного сознания то, что так тщательно ими утаивается, оглашают как проявление «религиозной нетерпимости», как преступление против «либерализма», «культуры», и действительно успевают запугивать наших суеверно робких адептов казенного или шаблонного либерализма! Последние не только не позволяют себе заглядывать еврейству в лицо из-за его либеральной маски, но упорно жмурят глаза перед очевидными фактами жизни и даже научными разоблачениями. Что же касается статей в «Руси», то по поводу их много истрачено было еврейской печатью типографских чернил; но во всем этом борзом еврейском словоизвержении, исполненном ругательств и издевательств, нет ни одного ответа на поставленные нами вопросы, ни одного серьезного опровержения. Они упорно обходят наши, смеем думать, довольно убедительные доводы и верхом на «прогрессе» силятся обвинить нас в ретроградстве, обзывают именами героев испанской инквизиции. Все это только пуще заставляет предполагать с их стороны умышленную, сознательную неискренность, т. е. неискренность мысли: чистосердечию их досады и гнева мы вполне верим.

Разберем же вышеупомянутый манифест покойного председателя «Всемирного Израильского Союза» Кремьё по пунктам – тот самый манифест, который г. Биншток называет «колоссальной и глубоко-циничной глупостью, способной обесчестить не только Кремьё, но даже какого-нибудь захолустного, во мраке невежества и фанатизма коснеющего цадика», манифест, язык которого, по выражению того же г. Бинштока, есть «язык Шейлока, Разуваева, Колупаева и фанатика Торквемады».

«Союз, – так начинается воззвание, – который мы желаем основать, не есть ни французский, ни английский, ни швейцарский, но израильский всемирный союз»... Тут, кажется, нет ни одного слова неправды и никакой «колоссальной глупости», а только колоссальный факт. Союз основан и существует под именем «Всемирного Израильского Союза» (Alliance Israelite Universelle), с изображением на протоколах земного шара, осененного скрижалями Моисеевыми, и с девизом: «Все евреи за одного и один за всех» (tous les Israelite sont solidaires les uns des autres). И не только «Союз» существует, но и опекает собой русских евреев (да иначе он не был бы и всемирным), т. е. вмешивается в отношения этих русских подданных к русскому правительству и государству. Так, например, вмешался он в дело минского еврея Бороды, приговоренного за поджог к смертной казни в 1864 г. (см. еврейский журнал «Таммагид» № 38 за 1867 г.); в 1868 г. вошел в переписку с русским посланником в Париже по случаю перехода еврейки в православную веру (см. 32 № журнала «Libanon" за 1868 г.); в 1869 г., по случаю работ еврейской комиссии в Вильне, учинил особый съезд членов «Союза» в Берлине, а в 1874 г. – новый съезд там же по поводу преобразования в России воинской повинности; он же жалуется президенту Северо-Американских Штатов на русское правительство за гонение будто бы на евреев, как это доказывается перепиской бывшего в России дипломатического агента республики Куртина с «Союзом»; он же делает представления по делам евреев русскому министру внутренних дел Тимашеву (и получает от него благосклонные объяснения); он сделал и

недавно, в самом начале антиеврейского движения на нашем юге, довольно смелое представление нашему правительству, как это подтверждается энергичной ответной заметкой, помещенной в официозной «Agence Générale Russe». Если понадобится, мы можем представить извлечение из напечатанных протоколов «Союза» обо всем касающемся евреев в России, но, полагаем, достаточно и этих примеров. Он же, «Союз», имеет свои наблюдательные комитеты вдоль нашей западной границы в 40 пунктах, которые мы можем поименовать. Сам же наш ярый противник, «Русский Еврей», в одном из своих №№ призывает евреев «группироваться» около «Союза» как около центра. Он и действительно центр, не только духовный или нравственный, но и политический, для евреев «всего мира»; он есть выражение единства рассеянной по земле всей еврейской нации; он – защитник и оберегатель экономических и гражданских интересов русских подданных, как и подданных других государств еврейского происхождения. Обыкновенно у подданных какого-либо государства только один политический центр и один защитник и оберегатель: подлежащее правительство. Евреи же – о двух центрах, о двух правительствах, равно как и о двух нациях, – следовательно, о двух единствах и о двух патриотизмах? Кажется, этого логического вывода из самого факта учреждения и существования «Всемирного Израильского Союза», провозгласившего единство еврейской нации на всем земном шаре, не может отрицать и г. Биншток, хотя в том же письме к нам ратует за «единение евреев в одну общую семью с коренным русским населением»? Да и что же иное значит девиз «Союза» о еврейской солидарности, которой он таким образом является органом? Этого девиза мы не измышляли, его не имеется на спорном манифесте, он стоит на бесспорных, напечатанных протоколах и гласит: «Все израильтяне за одного и один за всех». Предоставляем нашим противникам самим решить: нормально ли было бы такое положение, если бы, например, магометане всего мира признали себя в той же степени солидарными с нашими татарами Казани или Крыма, или если бы житель Прибалтийского побережья немецкого

происхождения захотел состоять в подобной же круговой поруке со всей Германией? Может быть, это и «глубоко циничная глупость», но она принадлежит самому «Союзу», девиз которого только воспроизведен и развит в манифесте.

Пойдем далее. «Другие народы, – продолжает спорный документ, – распадаются на нации, мы одни не имеем никаких сограждан, а лишь религиозных последователей»... По связи мыслей присоединим сюда и соответственные, помещенные несколько ниже изречения: «Наша национальность есть религия отцов наших, другой мы не признаем никакой»... «Если вы верите, что вы, невзирая на ваши внешние национальности, остаетесь одним и единым народом, то» и т. д. ... Этих ли слов ужаснулся г. Бинshток, в них ли усмотрел он «колоссальную глупость»?.. Мы видим в этих словах одну строгую и фактическую истину. Евреи не имеют ни общей государственной территории, ни даже общего языка (древний еврейский язык – достояние только ученых); они рассеяны по всей вселенной среди чуждых им государств и народов, а между тем все они сознают и используют свое национальное единство. Где же основа этого единства? Ни в чем ином, как в религии. Это уже такая общепризнанная истина, что ее и повторять совестно. Религия – не только основа, но и жизненный нерв, душа и суть еврейской национальности. Все мировое значение еврейского племени в истории человечества зиждется исключительно на религии; вся их собственная история до воплощения на земле Христа, Сына Божия и сына Давидова, есть «священная история» и для христианства. Евреям, избранному Богом народу, ниспослано было Откровение; им был дарован Завет, именуемый теперь «Ветхим», с обетованием, что воздвигнет Господь из недр еврейского народа Спасителя, или Мессию. Мы, христиане, почитаем это обетование уже исполненным; евреи же продолжают ожидать исполнения; этим ожиданием живут и до сих пор; только в этом ожидании и коренится для них причина их бытия как народа, как нации; только в нем и почерпнули они ту изумительную нравственную силу, с которой перенесли, рассеянные по всему миру, долгий ряд веков – преследований,

гонений и мук. Если бы они в течение этого периода времени уступили и отреклись от «религии своих отцов», они бы давно исчезли в массе племен, среди которых теперь обитают. Но эта «религия отцов» для верующего еврея (а неверующий еврей – аномалия) не есть личный мистический союз с Богом, а союз народный. Верующие евреи не могут в прошлом не признавать своего народа «избранным», потому что он таким действительно был – это исповедуют и христиане: разница в том, что евреи продолжают почитать свой народ «избранным» и досель, так как продолжают чаять исполнения обетования, которое, по их представлению, состоит в явлении Мессии как царя Израилева, имеющего восстановить и превознести превыше всех царство Израилево. Поэтому Кремьё совершенно прав, говоря, что в религии отцов заключается еврейская национальность и что согражданство еврейское означает причастность к общим еврейским религиозно-политическим чаяниям. Он прав, утверждая, что никакой другой истинной национальности для еврея не существует и не может существовать, потому что всякий русский, польский, немецкий еврей – не просто русский, поляк или немец еврейского происхождения или Моисеева закона, но имеет, в силу этого самого закона, свое особое политическое прошлое и политическое будущее, другими словами: состоит в то же время гражданином прошлого национального еврейского и будущего национального же еврейского государства, находясь теперь только на перепутье времен и пространств, в рассеянии, до срока, среди чуждых национальностей. Как бы «лояльно» (по выражению одной русской еврейской газеты) евреи ни выполняли своих обязанностей по отношению к этим чуждым национальностям, все же они, эти национальности, остаются, по меткому выражению Кремьё, для евреев «внешними». Той духовной связи, которая дается единством веры, единством религиозных, нравственных, исторических и политических идеалов, не может существовать у еврея с теми нациями, среди которых по воле случая ему приходится жить. Если же нам возразят указанием на других инородцев и иноверцев, обитающих в нашем Отечестве, то на это мы за-

метим, что таковые не сознают себя гражданами целой особой нации вне пределов России; не имеют никаких особых чаяний на самостоятельное бытие в будущем, не признают себя политически или граждански солидарными со всеми единоплеменниками за рубежом Русского государства, а потому легче и искреннее, чем евреи, могут приобщиться к политической и исторической судьбе господствующей национальности.

«Рассеянные, – продолжает Кремьё в своем воззвании, – между народами, кои враждебны нашим правам и интересам, мы тем не менее, невзирая ни на что, остаемся евреями...» «Мы евреи и желаем остаться евреями», – говорит и «Русский Еврей» (в № 44), справедливо поясняя, что «если бы он этого не желал, то все бедствия и страдания еврейского народа были бы в его глазах вопиющей нелепостью» и он должен был бы сказать евреям: «Бросьте свою ношу (т. е. отступитесь от ваших верований и ожиданий) – и вам станет легко», но «мы, – повторяет газета, – желаем остаться евреями». Мы со своей стороны не видим в этих словах «воззвания» ни глупости, ни цинизма, ни фанатизма, хотя и признаем настоящие религиозные чаяния евреев совершенно ложными. Пойдем далее. «Мы обитаем, – гласит манифест, – в чуждых землях, и мы не можем интересоваться переменчивыми интересами этих стран, пока наши собственные нравственные и материальные интересы будут в опасности...» А вот что говорит еврейская газета «Русский Еврей»: «Если что мешает евреям быть образцовыми самоотверженными гражданами обитаемых ими стран, то это – условия, далеко от евреев не зависящие», и вслед за этим газета толкует о необходимости для евреев полной с христианами равноправности, т. е. одинаковости не только гражданских обязанностей, но и прав.

Мудрено, по-видимому, и требовать от людей, пока их нравственные и материальные интересы нисколько не обеспечены законодательством обитаемой ими страны, искреннего участия к ее интересам, со всеми их превратностями. Но если бы даже еврейским интересам и перестала грозить опасность, спрашивается: могут ли они, оставаясь евреями, следователь-

но, носителями обетования о пришествии Мессии и о блестящей религиозно-политической будущности, ожидающей еврейскую нацию, искренно и серьезно принимать к сердцу... ну, хоть тот Kulturkampf[1], который разделяет теперь мир латинский и протестантский, или хоть историческое призвание России как православно-славянского мира? До сих пор в манифесте нет ни одного слова, от которого бы имели право и повод отказаться евреи. Но посмотрим дальше. «Не раньше, – вещает сей документ, – еврей станет другом христианина и мусульманина, как в то время, когда свет израильской веры, единственной здравой религии (в немецком переводе правильнее: Vernunftreligion) будет светиться повсюду... В наступивший к тому день еврейское учение должно наполнить весь мир...» В той речи Кремьё, которую, оспаривая нас, приводит «Еженедельная Хроника Восхода», – речи подлинной, несомненной, публично произнесенной, – мы читаем, что «единственно правильное, разумное и истинное отношение к Богу дано человечеству скрижалями Завета», что в еврейской религии – святость и истина. Если таково воззрение, то с ним неразрывно и убеждение, что эта истина со временем восторжествует и покорит себе мир. Не это ли выражается и эмблемой, красующейся на протоколах «Израильского Всемирного Союза»: Моисеевы скрижали, осеняющие земной шар?.. Нужно ли прибавлять, что такая победа «истины» (понимаемой евреями единственно в смысле еврейского религиозного закона) предвозвещена и всеми священными для евреев книгами, равно и Талмудом; что только чаяние этой победы и поддерживает еврейский народ в его настоящем тягостном жребии среди современного торжества иных, нееврейских религиозных учений? Кремьё не взывает и в манифесте ко вражде с христианами и мусульманами, не проповедует нарушения «лояльности» в отправлении гражданских обязанностей к чуждым или внешним для евреев национальностям. Он утверждает только – и с ним нельзя не согласиться, что пока длится преобладание иноверческих учений, до тех пор не может состояться и торжество израильской веры – следовательно, пока не исполнится для евреев это

радостное упование, не может еврей содействовать победе ни христианской, ни мусульманской религии, не может доброжелательствовать ни христианству, ни мусульманству или искренно «дружить» не то что с Сидором Петровым или татарином Абдуллой, а «с христианином и мусульманином» как таковыми, т. е. как с упорными противниками страстно чаемого еврейским народом торжества, исповедниками враждебных ему религий. Ибо в этом обетованном торжестве для евреев вся причина, весь смысл, вся цель их бытия на Земле как народа; ради него они живут и долго терпят, это для них интерес не личный, а национальный; это для них вопрос – быть или не быть. Слова Кремьё вытекают логически из самой сущности еврейского религиозного мировоззрения, и мы недоумеваем, какими бы аргументами возможно было их опровергнуть. Разве только отрекшись от еврейских религиозных заветов и идеалов? Точно так же, только под условием отречения от этих заветов и идеалов, может еврей отрицать законность и справедливость следующего призыва Кремьё: «Израильтяне! Хотя рассеянные по всем краям земного шара, пребывайте всегда как члены избранного народа. Если вы верите, что вера ваших предков есть единственный патриотизм; если вы верите, что вы, невзирая на ваши внешние национальности, остаетесь одним и единым народом; если вы верите, что только еврейство представляет собой религиозную и политическую истину, – евреи всего мира, придите и внемлите этот призыв наш, окажите нам ваше содействие, ибо дело велико и свято, а успех несомненен»... Сюда же следует присоединить и эти выражения манифеста: «Священные пророчества наших св. книг исполнятся. Настанет пора, когда Иерусалим сделается домом молитвы для всех народов, когда знамя еврейского единобожия будет развеваться в отдаленнейших концах Земли».

Да, религия евреев есть их единственный патриотизм и не может им не быть не только потому, что иначе следовало бы в самом деле допустить, будто у каждого еврея два единства и два патриотизма (а это уже совершенная бессмыслица), но и потому, что с религией связано все их упование на свою поли-

тическую и национальную будущность. Да, только еврейство, по понятиям еврейским, может представлять истину религиозную и политическую, потому что еврейский религиозный идеал, имеющий стать истиной и на Земле, в то же время идеал политический и народный и вместе с тем обязательный для всего мира. Божественное обетование Мессии понимается ими не иначе как явление царя Израильского, имеющего воздвигнуть царство Израильское не только в блеске, славе и силе, но и в миродержавстве. Покорнейше просим наших оппонентов, не хитря и не лукавя, не уклоняясь вправо и влево, а прямо и без обиняков отвечать нам на вопрос так ли или нет? Таково ли вполне определенное религиозное верование евреев (разумеется, не евреев-нигилистов, а евреев верующих)? Не ограничиваются ли разве и теперь евреи одним богомолением в ожидании, когда возможно станет богослужение, которое по закону должно совершаться не иначе как в храме, т. е. в Иерусалиме, на горе Мория? Не заканчиваются ли разве и теперь их национальные праздники в дни Рош-Гашана и Иом-Кипура трубным гласом и восторженными кликами: «Лемана габаа бирушелаим», т. е. на будущий год – в Иерусалиме?.. Разве когда-то действительно избранный народ еврейский не продолжает признавать себя и теперь народом избранным, веруя в то же время во всемирное торжество «еврейского единобожия?» А что может значить теперь признание себя народом избранным? По христианскому учению, с явлением Спасителя на земле в среде еврейской, «под зраком» еврея исполнилось обетование, данное некогда Израилю, упразднилось избранничество еврейского народа – призванием всех народов. Христианство внесло в мир начало всеобщего равенства и братства о Христе, без всякого различия национальностей. Совлекшись ветхого человека с деяниями его, облекитесь, проповедует апостол Павел (еврей же), «в нового, обновляемого в разум, по образу создавшего его, идеже несть еллин, ни иудей, обрезание и необрезание, варвар и скиф, раб и свободь, но всяческая и во всех Христос». Евреи же, не признав исполнения обетования, отвергнув это обновление и сохранив в себе ветхого человека, удержали идею из-

бранничества, обратив ее в понятие о себе как о племени привилегированном. Какой же смысл этой привилегированности в будущем, когда даже Иерусалим сделается домом молитвы для всех народов? Смысл тот, что господство будет тогда принадлежать евреям и им же, как господам мира, будут принадлежать все блага или богатства земные, ибо царство Мессии представляется евреям не иначе как в земном, вещественном образе. Вполне понятно поэтому и следующее выражение Кремьё в самом конце манифеста: «Недалек тот день, когда все богатства земные будут исключительно принадлежать евреям». Это вытекает логически из самого еврейского представления о еврейском избранничестве и о будущем миродержавстве «избранного» народа. Это ведь не христианское понятие о царстве Божием!.. (Впрочем, и вообще у евреев представления о вечности, о загробной жизни самые неопределенные и смутные. Понятие о вечности перенесено у них во протяжение рода, ибо обетование дано роду.) До какой степени грубо и внешне воззрение евреев на торжество и расцвет еврейской религиозной истины в образе царства Израилева, можно судить по следующим словам послания к евреям, помещенного в еврейском журнале «Гашахар» за 1871 г. (с. 154–156), издававшемся (может быть, и издающемся) на еврейском языке. Обращаясь к евреям, автор, рассуждая о пришествии Мессии, спрашивает их: «Но найдет ли Мессия между вами людей полезных, когда явится, чтобы возобновить нашу жизнь по-прежнему? Из вашей ли среды найдет Он (Мессия) министра финансов, военного, ученых, государственных людей, способных быть представителями при дворах иностранных государств, инженеров, землемеров и т.п. людей, необходимых для Его царства»... Эти мудрые строки принадлежат г. Гордону, бывшему секретарю «Общества распространения просвещения между евреями», которое само не что иное, как отдел «Всемирного Израильского Союза». Смысл увещания тот, что в ожидании наступления царства Мессии евреи должны уже и теперь подготовляться или практиковаться на всех сих служебных поприщах – в тех царствах или государствах, где обитают. Подготовка, по край-

ней мере по части министерства финансов, и у нас в России идет, по-видимому, очень успешно...

Выходит, таким образом, что почтенный г. Биншток позволил себе обозвать «колоссальной и глубоко циничной глупостью», способной обесчестить даже людей закоснелых «во мраке невежества и фанатизма», не что иное, как собственные чаяния, стремления и идеалы евреев. То, что мы читаем в так называемом манифесте, – вовсе не измышления самого г. Кремьё, а содержится в самом вероучении еврейском, в сущности самих религиозных воззрений и представлений евреев о призвании и о национальной, политической и экономической будущности еврейского «избранного» или привилегированного народа. Не может же негодование наших оппонентов по поводу манифеста сосредоточиваться на остальных выражениях документа, например, о «католицизме, пораженном в голову» (это теперь на все лады повторяет республиканское правительство Франции). Или же на следующих: «Пользуйтесь всеми обстоятельствами! Наше могущество велико, учитесь же употреблять его в дело! Чего нам страшиться? Каждый день будет расширяться сеть, распростертая по земному шару Израилем». Все это не отвлеченные суждения, а общеизвестные факты, на которые автор воззвания только указывает для ободрения и поощрения самих евреев. Разве не велико то могущество, которое захватило в свои длани все европейские биржи и едва ли не большую часть органов печати в просвещеннейших странах мира? Разве не раскидывается все шире и шире сеть, распростертая Израилем на финансовые средства, на экономические силы государств? Кто орудует всемирным подвижным кредитом? Кто ворочает несметным капиталом, заключающимся в процентных бумагах, поднимает и роняет фонды, ставя мир в зависимость от своей спекуляции, разоряя народы и страны, и сам – непреложно обогащаясь? Кто, как не Израиль? Не братья ли Ротшильды, эти цари бирж, восседающие на своих биржевых престолах в трех столицах Европы, с тысячами еврейских же банкиров, рассеянных по земному шару, могут служить уже и теперь прообразом слагающегося еврейского единства и

мощи? Конечно, если для еврейского Мессии потребны будут финансисты, то ему же потребуются и финансы, и не для будущего ли обетованного царства евреев мир христианский заранее, постепенно обращается Израилем в оброчную статью?!.

Итак, вопрос о фальсификации манифеста Кремьё представляется совершенно праздным, и вся эта шумиха возбуждена едва ли не с единственной целью – заслонить подлинность содержащихся в нем разоблачений, отвести от них глаза русской публики и запугать дерзновенных противников. Эпитет «циничной глупости», выдвинутый г. Бинштоком, может иметь место по отношению к сему документу лишь в том отношении, что едва ли такой умный еврей, как Кремьё, решился бы в печатном циркуляре обнаружить заветную тайну помыслов и стремлений своего народа. Но, повторяем, по уверению французской газеты, это воззвание было также тайное или конфиденциальное – вот почему оно и оставалось неизвестным для христианского общества чуть ли не 30 лет. Вообще тайна и двусмыслие – типичная черта всех еврейских учреждений с самых дальних времен.

Вместо того, чтобы по поводу каждой попытки беспристрастных исследователей подойти ближе к внутреннему миру еврейского народа вопить о фанатизме и поминать инквизицию с Торквемадой, пусть наши оппоненты, если они сколько-нибудь добросовестны, ответят искренно на поставленные нами вопросы. Что-нибудь одно: или они не знакомы вовсе со своим национальным вероучением, или же лицемерят. Если же они станут утверждать, будто религиозные верования, чаяния и идеалы не имеют в наше время никакой власти над еврейским народом, то станут утверждать лишь бессмыслицу, которой мы не поверим. Отвергать то, чем живет и движется, что обособляет евреев от всех прочих народов, что ставит их в исключительное положение в мире, в чем заключается их значение во вселенской истории, – это было бы только сугубой, нахальной ложью.

Наша задача относительно «еврейского вопроса» в том преимущественно и заключается, чтобы внести побольше

света в еврейскую тьму, рассеять туман, застилающий общественное сознание, свести еврейских публицистов с их модных коньков, беззаконно ими оседланных: «прогресс», «культура», «гуманизм», «цивилизация» и т.д., – доказать самим евреям то логическое непримиримое противоречие, в котором состоят их национальные религиозные и политические верования и идеалы не только с христианской религией, но и со всем нравственным учением христианства, со всеми коренными, существенными основами христианской цивилизации, равно как и с национальными политическими и экономическими интересами государств. Современное еврейство как вероучение – анахронизм; не прогресс, а регресс, отрицание всего исторического духовного движения девятнадцати столетий. Оно – не «гуманизм», а национальный эгоизм, возведенный в божественный культ. Оно – самое энергетическое, в недрах высшей области верующего духа, проявление материализма, от наигрубейших его форм до тончайших... И в то же время какую высоту и силу духа могло бы явить это удивительное, столь богато одаренное племя, если бы оно не загрубело для истины, если бы способно было совлечь с себя ветхого человека и облечься в нового, обновляемого в разум Христов!..

Еще о воззвании «Всемирного Израильского Союза»

Точно такого же содержания письмо, в тех же выражениях, за исключением, разумеется, начальных и заключительных строк, получено и газетой «Новости» (№ 45), которая, как и следовало ожидать, удостоилась от Комитета благодарности за «красноречивое» будто бы доказательство подложности документа. В ответ на письмо Комитета мы посылаем ему как настоящий № «Руси», так и № 3, в котором если не «красноречиво», то, кажется, довольно убедительно выяснено, что вопрос о подложности напечатанного во французской газете «L'Antisemetique» воззвания не имеет в настоящем случае особенного значения ввиду неподложности высказанных в оном

еврейских воззрений и чаяний. Затем нельзя не удивиться, что Комитет довольствуется голословным отрицанием воззвания и выражением лишь презрения к газете «L'Antisemetique», тогда как было бы всего легче притянуть ее к суду и потребовать от нее предъявления доказательств подлинности напечатанного ею документа: это было бы ведь несравненно убедительнее! Из полученного нами № этой французской газеты, где помещен упомянутый документ, оказывается, что ею напечатаны только выдержки (extraits) из мемуара, читанного или предъявленного самим Кремьё своим единоверцам (вероятно, в заседании Союза) в апреле 1874 года, когда, по всей вероятности, Союз нуждался в новой поддержке. Выдержки эти сообщены газете каким-то высокопоставленным лицом, имя которого ей известно. В переводе нашего корреспондента, вероятно, по спешности, опущено следующее интересное место: «И зачем бы нам идти навстречу другим, нам, представителям истины и единственной рациональной религии!» Это как раз то же самое, что проповедует в своих органах печати современная еврейская интеллигенция, и вполне сходно с подлинной речью Кремьё, недавно напечатанной в еврейском русском журнале «Восход»!..

ВОСПОМИНАНИЯ И ВЫСТУПЛЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЯХ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Несколько слов о Гоголе

Так свежа понесенная нами утрата, так болезненна общественная скорбь, так еще неясно представляется уму смутно слышимый душой весь огромный смысл жизни, страданий и смерти нашего великого писателя, что невозможным кажется нам, перед началом нашего литературного дела, не поделиться словами скорби со всеми теми, неизвестными нам, кого бог пошлет нам в читатели, не выполнить этой искренней, необходимой потребности сердца. Много еще пройдет времени, пока уразумеется вполне все глубокое и строгое значение Гоголя, этого монаха-художника, христианина-сатирика, аскета и юмориста, этого мученика возвышенной мысли и неразрешимой задачи!

Нельзя было художнику в одно время вместить в себя, выстрадать, высказать вопрос и самому предложить на него ответ и разрешение! Вспомним то место, в конце 1-го тома «Мертвых душ», когда из души поэта, наболевшей от пошлости и ничтожества современного общества, вырываются мучительные стоны, и обхваченный предчувствием великих судеб, ожидавших Русь, эту непостижимую страну, он восклицает: «Русь! куда несешься ты, дай ответ!.. Не дает ответа!..»

И не дала она ответа поэту, и не передал он его нам, хотя всю жизнь свою ждал, молил и домогался истины. Ответ же-

лал он найти и себе и обществу, требовавшему от него разрешения вопроса, заданного «Мертвыми душами». Долго страдал он, отыскивая светлой стороны и пути к примирению с обществом, как того жаждала любящая душа художника, искал, заблуждался (только тот не заблуждается, кто не ищет), уже не однажды думал, что найден ответ... Но не удовлетворялось правдивое чувство поэта: еще в 1846 г. сжег он 2-й том «Мертвых душ»; опять искал и мучился, снова написал 2-й том и сжег его снова!.. Так, по крайней мере, понимаем мы действия Гоголя и ссылаемся, в этом случае, на четыре письма его, напечатанные в известной книге «Выбранные места из переписки с друзьями»... Но недостало человека на это новое испытание, и деятельность духа, напором сил своих, постоянно возраставшим, без труда разорвала и сломила сдерживавшие ее земные узы...

Вся жизнь, весь художественный подвиг, все искренние страдания Гоголя, наконец, сожжение самим художником своего труда, над которым он так долго, так мучительно работал, эта страшная, торжественная ночь сожжения и вслед за этим смерть, – все это вместе носит характер такого события, представляет такую великую, грозную поэму, смысл которой еще долго останется неразгаданным.

Многим из читателей, не знавшим Гоголя лично, может показаться странным, что этот художник, заставлявший всю Россию смеяться по своему произволу, был человек самого серьезного характера, самого строгого настроения духа; что писатель, так метко и неумолимо каравший человеческое ничтожество, был самого незлобивого нрава и сносил, без малейшего гнева, все нападки и оскорбления; что едва ли найдется душа, которая бы с такой нежностью и горячностью любила добро и правду в человеке и так глубоко и искренно страдала при встрече с ложью и дрянью человека. Как на нравственный подвиг, требующий чистого деятеля, смотрел он на свои литературные труды, и – живописец общественных нравов – неутомимо работал над личным, нравственным усовершенствованием. Пусть те из

читателей, для которых неясен образ Гоголя, сами посудят теперь, какую пытку испытывала эта любящая душа, когда, повинуясь своему призванию, шла «об руку» с такими героями, каковы, вполне верные действительности, герои «Мертвых душ». Пусть представят они себе этот страшный, мучительный процесс творчества, прелагавший слезы в смех, и лирический жар любви и той высокой мысли, во имя которой трудился он, – в спокойное, юмористическое созерцание и изображение жизни. Человеческий организм, в котором вмещалась эта лаборатория духа, должен был неминуемо скоро истощиться... Нам привелось два раза слушать чтение самого Гоголя (именно из 2-го тома «Мертвых душ»), и мы всякий раз чувствовали себя подавленными громадностью испытанного впечатления: так ощутителен был для нас этот изнурительный процесс творчества, о котором мы говорили, такой глубиной и полнотой жизни веяло от самого содержания, так много, казалось, изводилось жизни самого художника на писанные им строки. Да, если и ошибался этот гениальный поэт в некоторых своих воззрениях (высказанных, например, в «Переписке с друзьями»), то тем не менее подвиг всей его жизни вполне чист и высок, вполне искренен. Явится ли еще подобный художник или, быть может, со смертью Гоголя наступает для нас иная пора?..

В одном из напечатанных своих писем Гоголь говорит: «Три первых поэта, Пушкин, Грибоедов и Лермонтов, один за другим, в виду всех, были похищены насильственною смертью в течение одного десятилетия, в поре самого цветущего мужества, в полном развитии сил своих, и никого это не поразило. Даже не содрогнулось ветреное племя...»

Теперь, не досказав своего слова, похищен смертью человек, которого значение для России важнее всех упомянутых трех поэтов, на которого так долго обращались взоры, полные надежд и ожидания, который был последней современной светлой точкой на нашем грустном небе... Содрогнется ли, хоть теперь, ветреное племя?..

Речь о Гильфердинге, Дале и Невоструеве, произнесенная 25 февраля 1873 года на заседании Общества любителей русской словесности

Милостивые государи!

Тяжел был для нас прошлый високосный год. Выбыли силы, нелегко заменимые, и убыль значительно перевесила прибыль. Русская словесность, а с ней и небольшой круг людей, составляющих наше Общество, понесли важные утраты: 20 июля мы лишились Александра Федоровича Гильфердинга, 22 сентября скончался Владимир Иванович Даль, а 29 ноября не стало и Капитона Ивановича Невоструева.

Неодинакова судьба и неодинаково значение этих трех подвижников русской науки и русского слова; различны дарования – мы и не намерены их сравнивать, но при всем различии немало и общего – особенно во внутреннем содержании их деятельности.

Один, именно Гильфердинг, сошел в могилу в самой лучшей поре своих лет, не успев докончить самой главной своей работы, для которой всю свою предшествовавшую, полезную деятельность считал только подготовлением.

Столько уже было дано и совершено им одним на всех разнообразных поприщах его кратковременной жизни, что этого дела достало бы на заслугу многим, и многие тем бы и удовлетворились; но не в природе Гильфердинга было ослабевать и успокаиваться, да и мы не переставали простирать все новые и высшие требования к этой ведомой нам силе труда и таланта. Он не был художником слова; для него – человека науки и мысли – русская речь служила по преимуществу средством для объяснения истин исторических, этнографических, политических; однако ж и филология входила в круг его научных исследований, а в последнее время привлекла его к себе область русского песенного народного творчества, и не только привлекла, но и напрягла его ученую любознатель-

ность до крайней степени самоотвержения, далее которой не может идти человек: он пожертвовал ей здоровьем и самой жизнью, – болезнь и смерть застигли его в самом странствии – в поисках за былинами и сказаниями. Он умер на 41-м году своего возраста.

Напротив того, ровно и мерно дошел Даль до края своего долгого земного поприща, успевши оправдать всю полноту возлагавшихся на него надежд, – дать все, что по собственному его сознанию он в силах был дать, и под конец жизни воздвигнув себе вековечный памятник своим «Толковым словарем живого великорусского языка». Даль также не может быть назван художником-созидателем в тесном смысле этого выражения, но русское слово не было для него только средством: нет, оно само по себе было для него предметом и целью, преимущественно с художественной своей стороны, – не наше книжное, искалеченное, чахлое слово, а именно слово живое, которое он всю жизнь, везде и всюду подбирал из уст самого народа. Поэтому и в произведениях Даля, относящихся, по своей внешней форме, к разряду «изящной словесности», видится одна главная задача: воспроизвести собственно это же слово в его жизненной обстановке, во всей его меткости и уместности! Оттого и язык его повестей и рассказов – не столько органическая, творческая речь самого автора, сколько живой талантливый подбор народных выражений, поговорок, пословиц, – будто нити, нанизанные зернами. Все мы слышим кругом себя народную речь, всюду она раздается, но она скользит мимо нас, не задерживая на себе нашего внимания; нужно обладать особенным художественным слухом и глубоким сочувствием к народу для того, чтоб в слышимом говоре услышать его живые особенности, его красоту, подметить, уловить все изгибы и оттенки смысла и таким образом обратить их в достояние науки, словесности, – вообще народного самосознания. Этим слухом, этим сочувствием и обладал в высшей степени Владимир Иванович Даль. Если обратиться воспоминанием к самому началу его литературной деятельности под именем «Козака Луганского», нельзя

не поразиться смелостью и самостоятельностью его почина и вообще всей его нравственной оригинальной фигурой, с отчетливыми, строго определенными очертаниями, – так резко выдающегося на сером фоне наших тогдашних литературных и общественных нравов, нашей – столько модной в то время псевдоартистической распущенности и легкомысленного, полупрезрительного отношения к русской простонародности. Точность слова, точность намерений, точность действий, точность в жизни общественной и домашней... все у Даля было точное и словно точеное. И вся эта нравственная особенность и сила применена была к труду, а самый труд – труд всей жизни – приложен к изучению русского простонародия. Моряк, медик, механик, чиновник, практик во всем умелый, всюду бывалый – таков был этот собиратель живого народного слова. Но ошибался тот, кто при жизни Даля признавал его сочувствие к народу чисто внешним и самого Даля вполне завершенным и удовлетворенным внутренне. Нет, этот практический, положительный человек, датчанин и лютеранин по рождению, невольно подчинялся и духовному влиянию русской народности, тяготился противоречием своего религиозного внутреннего строя с народным и, наконец, разрешил это противоречие, окончательно объединившись с народом в вере за несколько месяцев до кончины. Бестрепетно, без судорожных прицепок к жизни, с упованием, верный самому себе, встретил он смерть, – и в то же время с обычной точностью расчета определил заранее день и час кончины и распорядился всеми мелочными подробностями похорон.

И Гильфердинг, и Даль – оба не русские по крови; но тем более причины для нас радоваться той нравственно притягательной силе русской народности, которая умела не только вполне усыновить себе этих иностранцев по происхождению и привлечь их к разработке своих умственных богатств, но и одухотворить их не русское трудолюбие русской мыслью и чувством. Да, страстно преданные России и русскому народу, оба они – и Гильфердинг, и Даль – в то же время не по-русски (к счастию, может быть, для дела) относились к труду. Это

не русское свойство видим мы в упорстве труда, в размеренном и вместе неослабном, настойчивом движении к цели, в правильном распределении работы, одним словом, в таком отношении к труду, которое не нуждается во внешнем возбуждении, чуждо запальчивости, не знает ни скачков, ни перерывов, ни лени, ни уныния, не ищет одолеть задачу сразу, приступом или запоем, что так свойственно нам, природным русским, но которое является действием высокого самообладания, всегда бодрой, спокойно и ровно напряженной воли.

Некоторые готовы умалять нравственное достоинство подобного отношения к труду, полагая, что так трудиться способны будто бы только натуры односторонние и что при разнообразии талантов, при той многосторонней даровитости, – так выходит из их слов – которой как бы страдает русская природа, сосредоточение сил на одной какой-либо задаче, в тесных рамках какой-либо специальности, для нее почти невозможно. На этом основании склонны – и очень склонны у нас – не только извинять русскую лень и распущенность, но и возводить их чуть не в достоинство. Но если и справедливо, что живость ума и широкая даровитость менее способны к формальному сосредоточенному труду, то тем необходимее для них напряжение воли, тем обязательнее для них усвоение того знания и тех приемов труда, без которых самый блестящий талант остается бесплодным, – тем почетнее борьба с искушениями собственного духа и тем добычливее победа. Пример гениальных ученых и художников чужих стран свидетельствует, что трудолюбие нисколько не несовместно с самой широкой гениальностью, но, напротив, оно-то ее и оплодотворяет. У нас же наоборот. Мы не умеем работать, не уважаем трудолюбие – оттого при всей нашей даровитости мы так мало производительны: пропорциональное отношение цельных, законченных ученых и литературных у нас трудов к сумме дарований, которыми изобилует Россия, поразительно скудно.

Но есть и у нас исключения, которые тем почетнее, что они одиноки, всем обязаны себе самим, а не среде, в которой

возникли, и вот одним из таких исключений, и притом самым крупным, был наш покойный сочлен Капитон Иванович Невоструев.

В самом деле, в Невоструеве – этом скромном, до сих пор мало знаемом в России и великом труженике – трудолюбие является уже не только похвальным и полезным качеством, а истинно высокой добродетелью, восходит на степень духовного подвига. Если оно не отличалось, быть может, тем методическим характером, какой замечается у Даля и Гильфердинга, то в нем выступает иная, особенная, нравственная и совершенно русская народная черта – черта безграничного смирения, способность трудиться без всякой подпоры извне, без поощрения, без утешений славы, в нужде и скорби, одним словом, не приемля здесь мзды своей.

Вся жизнь его была посвящена изучению и исследованию памятников церковнославянской письменности – работе тяжелой и неблагодарной – в том именно смысле, что она менее всего была способна доставить ему у нас в России видное положение, выгоды материальные и ободряющую популярность. А между тем его ученые разыскания драгоценны для нашего исторического самосознания, – и одно уже его описание рукописей Синодальной библиотеки способно увековечить его имя в русской науке. Но все это не помешало Невоструеву жить и умереть преждевременно в совершенной бедности, – почти непризнанным и неоцененным, как бы в загоне. Только опустивши его в могилу, поздно спохватились и поняли у нас, какая схоронилась вместе с ним громада ученого знания, какая исполинская сила труда – и какая нравственная доблесть, какое величие смирения!

Памяти этих трех трудолюбцев, подвизавшихся на поприще русской словесности, мы и посвящаем наше настоящее, в то же время очередное годичное заседание. Почтим и дело, совершенное ими, и нравственный подвиг их жизни: да назидаются их примером живые. После годичного отчета, который прочтет г. Секретарь[1] вы услышите, милостивые государи, более подробные воспоминания о трех покойных сочленах,

изложенные по очереди в порядке утрат, понесенных нашим Обществом, – именно о Гильфердинге прочтет вам Н. А. Попов[2]; о В. И. Дале – его сотрудник и ученик П. И. Мельников, столько известный в литературе под псевдонимом Андрея Печерского[3], псевдонимом, который придуман был для него самим Далем; а о Невоструеве – Е. В. Барсов[4].

Но так как статья Н. А. Попова касается только одних учено-литературных трудов Гильфердинга, то я позволю себе здесь, так сказать, предвосполнить его статью сообщением некоторых недостающих ей биографических данных.

Он родился в 1832 году[5] в Варшаве, от отца-лютеранина происхождением, кажется, из Голландии, но уже русского уроженца и воспитанника Московского университета, и от матери-католички, уроженки острова Цейлона. По желанию отца Александр Федорович при самом рождении был окрещен по обряду православного исповедания. Его отец, достойно подвизавшийся на государственной службе и преимущественно на дипломатическом поприще, пользовавшийся с молодых лет дружбой и уважением Хомякова и Погодина, которого он был университетским товарищем, – хотел непременно, чтобы и сын его докончил воспитание в Москве и в Московском же университете. Еще студентом усердно посещал Александр Федорович Алексея Степановича Хомякова, и под его-то благотворным сильным влиянием определилось в юноше Гильфердинге то направление деятельности, которому он остался верен всю жизнь и которое в истории нашей литературы и общественного внутреннего развития получило название «славянофильского». Таким образом, в основание труженичества Гильфердинга легли с самого начала живые сочувствия и живая мысль. Работать, сколько хватит сил, на пользу русского народного самосознания и славянской взаимности – вот задача, которую он поставил себе при выходе из университета в 1852 году, будучи 20 лет от роду, и которой послужил неизменно до конца, то есть еще 20 лет своей жизни. Эти 20 лет были одно непрерывное деланье. Труд был его стихией, но труд не только отвлеченно-научный.

Кабинетный ученый, проводивший ночи в разборе болгарских и сербских древних рукописей, публицист, всегда беспристрастным и трезвым словом судивший о самых жгучих политических вопросах современности, отважный путешественник, сохранявший хладнокровие в самых опасных странствованиях, консул-дипломат между славянами, порабощенными Турцией, всегда высоко державший русское знамя, замечательный работник в канцеляриях Государственного Совета и Главного комитета по крестьянскому делу, – везде и всюду имел Гильфердинг пред собой одну заветную цель, подвигаясь к ней спокойно, шаг за шагом, неутомимо, упорно. Поэтому не отказывался он от участия и ни в каком общественном, даже, по-видимому, постороннем для него деле, если только мог быть ему полезен и улучить для него хоть минуту досуга. Но как ни был он много и разнообразно занят, всегда отыскивалось у него столько досуга, чтобы ободрить и облегчить чужой начинающийся труд в родной ему области науки, сообщая трудящемуся, даже без его просьбы, ученые пособия и указания. Особенно много послужил Гильфердинг славянскому делу: это была его специальность. Его неоднократные путешествия по славянским землям, его исторические исследования и статьи по современным вопросам славянского мира, всегда отличавшиеся ясностью мысли и изложения, особенно сильно содействовали установлению живых отношений к славянам и возбуждению к ним разумного и просвещенного сочувствия в среде русского общества. Я не стану перечислять его сочинений, об этом вам подробнее сообщит Н. А. Попов. Скажу только, что ни ученая, ни общественная его деятельность не прерывалась ни разу.

Избранный в 1871 году в председатели Этнографического отдела Русского Географического Общества, Гильфердинг, как ни занят был службой и другими делами, однако же верный своим правилам, не отказался от этого звания, и здесь привлек его к себе новый могучий интерес, близко, впрочем, связанный с главным предметом его занятий – русское народное эпическое творчество.

Несмотря на слабость своего телосложения и хилость здоровья, он отправился летом 1871 года на поиски в Олонецкую губернию, в самые глухие ее места, и, преодолев всевозможные лишения и даже опасности, возвратился оттуда с огромным запасом им записанных былин и песен. Поместив в «Вестнике Европы» чрезвычайно интересное описание своего путешествия и наблюдений своих над певцами и над самим процессом современного устного сказания древних былин и песен, приготовив к изданию все им собранное, Гильфердинг летом 1872 года вновь поспешил в Олонецкий край, чтоб пополнить свое собрание.

Переплывая Онежское озеро, толкаясь на барке среди рабочих, он заразился тифом, и в несколько дней его не стало. Он погиб, как боец, в честном бою, в самом разгаре и на поле своей деятельности, жертвой любви к русской науке и русской народности.

Он умер, не дождавшись появления в свет тех трудов своего учителя, вечно памятного председателя нашего Общества Алексея Степановича Хомякова, на издание или, вернее, на ученую редакцию которых он положил столько добросовестной работы и столько горячей любви. Я разумею III и IV Тома «Сочинений» Хомякова, содержащие в себе «Записки о Всемирной истории», вышедшие два месяца тому назад.

Здесь, кстати, могу я возвестить, что в непродолжительном времени выйдут из печати труды также сподвижника и друга Хомякова К. С. Аксакова…

В заключение, милостивые государи, обращаясь к годичной деятельности нашего Общества, я должен сказать, что она сосредоточивалась преимущественно на ученой разработке и на увековечении в печати произведений нашего народного устного творчества. Благодаря неутомимым трудам нашего достоуважаемого секретаря П. А. Бессонова издан под его редакцией в прошлом, 1872 году, 9-й выпуск «Песен, собранных Киреевским» под заглавием «Восемнадцатый век в русских исторических песнях после Петра Первого».

Остается издать еще один выпуск – 10-й и уже последний, – содержащий в себе песни новейшие, первой половины нынешнего столетия, – и тем завершится наконец издание этого драгоценного собрания. К 9-му выпуску приложены г. Бессоновым и собственные его исследования о песнотворчестве XVIII века, раскрывающие нам тот внутренний процесс разложения и перерождения, который совершался в народной песне после Петровского переворота, под влиянием разных новых и чуждых, вторгшихся в русскую жизнь элементов и, наконец, того взаимодействия, которое установилось в конце прошлого столетия между поющим народом и целой возникшей литературой печатных и рукописных песенников. В эту эпоху появляется авторство, доселе почти не известное в народной безличной поэзии, можно соследить историю многих песен, и г. Бессонов представил нам, между прочим, историческую монографию одной из таковых песен, озаглавленную им: «Графиня Прасковья Ивановна Шереметева, крестьянка села Кускова». Смею обратить ваше особенное внимание на эту монографию, интересную не для одних ученых, но заключающую в себе все данные для художественного романа из русской жизни конца XVIII века, простонародной и барской.

При содействии же нашего Общества изданы и «Причитанья Северного края», собранные нашим сочленом Е. В. Барсовым, именно часть первая, заключающая в себе «плачи похоронные, надгробные и надмогильные»: это единственный вид пребывающего покуда еще не иссякшего народного творчества. Это не отпетое, окостеневшее и только по памяти передающееся слово народной старины, но живое, творящееся слово народного вдохновения в настоящую пору, в современной действительности. Важность труда г. Барсова, сумевшего почерпнуть для нас струю народной поэзии из ее живого источника, так очевидна, что не требует и объяснения; она оценена не только русской, но и заграничной критикой, чему доказательством служат отзывы английских журналов «Athenaeum” и “Akademy”, а также

славянских “Politik”, “Correspondanee Slave” и др. Остается только пожелать скорейшего появления в свет остальных частей его сборника.

Могут заметить, что наше Общество ограничивается почти исключительно одной издательской деятельностью, это замечание справедливо. Общество действительно занимается тем, что едва ли не всего более на потребу в настоящее время. Мы живем в эпоху быстрого разложения бытовых народных основ – неминуемое последствие неминуемых преобразований, давно прошенных и желанных и, наконец, к счастью совершившихся. Старый исторический склад народной жизни рушится и задвигается целыми слоями новизны еще видоизменяющейся, еще не окрепшей и не устоявшейся. Все еще бродит, ищет, чает, ничто не сложилось, не осело, ничто не прочно, живется день за день.

Такая эпоха брожения, эпоха переходная, вообще не благоприятна ни для спокойного труда мысли, ни для художественного авторского созидания, но она еще гибельнее для художественного народного творчества, так как самый быт художника-творца, самый быт народа, – он-то и в переделе. Рядом с наплывом внешних экономических интересов, так долго пренебреженных, но зато и чересчур уже сильно овладевших теперь умами и оттеснивших на задний план интересы чисто духовные, десятки тысяч школ предлагают народу просвещение, если и скудное в смысле духовном и нравственном, то все же выводящее его из стихийной области быта в область сознания или, по крайней мере, полусознания. Таков роковой, но неминуемый ход вещей, вероятно, только временный, ведущий нас к новой поре исторической жизни. Поэтому надо спешить собрать и уберечь от неизбежной гибели последние памятники, последние звуки народного эпоса и того непосредственного народного поэтического творчества, которое, видимо, отживает. Лет через 10 в помутившейся народной памяти не останется от них и следа. На чьей же обязанности лежит по преимуществу эта забота о сбережении сокровищ нашей народной поэзии, как не в Обществе люби-

телей русского слова? И оно, милостивые государи, как вы видите, строго сознает и по мере сил своих исполняет эту высокую обязанность.

Тютчев

Небольшая книжка стихотворений; несколько статей по вопросам современной истории; стихотворения, из которых только очень немногим досталась на долю всеобщая известность; статьи, которые все были писаны по-французски лет двадцать, даже тридцать тому назад, печатались где-то заграницей и только недавно, вместе с переводом, стали появляться в одном из наших журналов... Вот покуда все, что может русская библиография занести в свой точный **синодик** под рубрику: «Ф. И. Тютчев, род. 1803–1873 г.»

Литературный послужной список не объемист; имя малознаемое в массах грамотной – и не только грамотной, даже образованной нашей публики... А между тем этим самым стихотворениям еще с начала 50-х годов отводится русской критикой место чуть не наряду с пушкинскими; это самое имя в течение целой четверти века во всех светских и литературных кругах Москвы и Петербурга чтится и славится, знаменуя собой мысль, поэзию, остроумие в самом изящном соединении. Странное противоречие, не правда ли?

Как объяснить этот недостаток популярности при несомненном общественном значении? Эту несоразмерность внешнего объема литературной деятельности с обнаруженной автором силой дарований?.. Но и здесь еще не конец недоумениям, нередко возбуждаемым именем Тютчева. Ко всем единодушным отзывам нашей периодической печати об его уме и таланте, раздавшимся вслед за его кончиной вместе с выражениями искренней скорби мы позволим себе прибавить еще и свой: Тютчев был не только самобытный, глубокий мыслитель, не только своеобразный, истинный художник-поэт, но и один из малого числа носителей, даже двигателей нашего русского, народного самосознания.

«Как? – скажут многие, встречавшие Тютчева на петербургских балах и раутах, – этот почти иностранец, едва ли когда говоривший иначе как по-французски; это, по-видимому, чистокровное порождение европеизма, без всякого на себе клейма какой-либо национальности, – Тютчев, в котором все, до последнего сустава и нерва, дышало прелестью высшей, всесторонней, нерусской культуры, Тютчев – один из представителей русской народности?!..

Трудно мирится такое тяжеловесное предположение с грациозным образом этого очаровательно-умного, но вполне светского собеседника. Можно ли, позволительно ли возводить его чуть не на степень серьезного общественного деятеля?..»

Он и не деятель в общепринятом смысле этого слова. Он просто – явление, явление общественное и личное, в высшей степени замечательное любопытное для изучения. Его деятельность почти непосредственная сливается с самим его бытием. Вполне естественны, вполне понятны для нас все помянутые выше недоумения. Именно ввиду их мы и считаем нужным представить читателям не одну общую оценку литературных останков покойного Тютчева (что отчасти уже было сделано и другими), но самую судьбу, личную и внутреннюю, этого русского таланта. Участь талантов у нас на Руси – вообще предмет высокого интереса и важности для истории русского просвещения, тем более, когда дело идет о таком богатстве даров, каким был наделен Тютчев...

Проследить, по возможности, самое развитие этой многоодаренной природы, – соотношение ее особенных психических условий с условиями бытовыми, общественными, историческими; ту взаимую их связь и зависимость, которая создала, определила и ограничила ее жизненный жребий – вот задача, которую мы постараемся разрешить, насколько сумеем, в нашем биографическом очерке.

Первой биографической чертой в жизни Тютчева, и очень характерной, сразу бросающейся в глаза, представляется невозможность составить его полную, подробную био-

графию. Для большинства писателей, как бы умеренно они себя ни ценили, потомство, по выражению Чичикова, все же «чувствительный предмет». Многие, еще при жизни, заранее облегчают труд своих будущих биографов подбором материалов, подготовлением объяснительных записок. Тютчев – наоборот. Он не только не хлопотал никогда о славе между потомками, но не дорожил ею и между современниками; не только не помышлял о своем будущем жизнеописании, но даже ни разу не позаботился о составлении верного списка или хотя бы перечня своих сочинений. Если стихи его увидели свет, так только благодаря случайному, постороннему вмешательству; в появлении их в печати бывали пропуски в **пять** и в **четырнадцать** лет, хотя в поэтическом его творчестве и не было перерыва. Самая известность его как поэта начинается, собственно, с 1854 года, то есть когда ему пошел уже шестой десяток лет, именно со времени первого издания его стихотворений редакцией журнала «Современник» при содействии И. С. Тургенева. Во сколько такое пренебрежение к своей авторской личности происходило у Тютчева от врожденной ему беспечности и лени, во столько же, если не более, от особого рода скромности, смирения и от иных нравственных причин, которые мы обстоятельно разъясним ниже. Здесь же мы только наперед заявляем о затруднениях, встречаемых его биографом именно потому, что Тютчев никогда ни сам не занимался, ни занимал и других собственной особой. Никогда ни к кому не навязывался он с чтением своих произведений, напротив, очевидно, тяготился всякой о них речью. Никогда не повествовал о себе, никогда не рассказывал сам о себе анекдотов, и даже под старость, которая так охотно отдается воспоминаниям, никогда не беседовал о своем личном прошлом. А так как с лишком 22 года этого прошлого проведены им были на чужбине, то большая часть самых интересных подробностей его существования для нас безвозвратно потеряна. Однако ж, несмотря на скудость внешнего биографического материала, мы все же в состоянии наметить – и наметим сейчас – те наружные

биографические рамки, внутри которых совершалось самовоспитание его таланта, вообще его внутренняя духовная жизнь, а только она и заслуживает вполне серьезного, общественного внимания.

I

Федор Иванович был второй, или меньший, сын Ивана Николаевича и Екатерины Львовны Тютчевых и родился в 1803 году 23 ноября в родовом тютчевском имении, селе Овстуг Орловской губернии Брянского уезда. Тютчевы принадлежали к старинному русскому дворянству. Хотя в родословной и не показано, откуда «выехал» их первый родоначальник, но семейное предание выводит его из Италии, где, говорят, и поныне, именно во Флоренции, между купеческими домами встречается фамилия Dudgi. В Никоновской летописи упоминается «хитрый муж» Захар Тутчев, которого Дмитрий Донской пред началом Куликовского побоища подсылал к Мамаю со множеством золота и двумя переводчиками для собрания нужных сведений, – что «хитрый муж» и исполнил очень удачно. В числе воевод Иоанна III, усмирявших Псков, называется также «воевода Борис Тютчев Слепой». С тех пор никто из Тютчевых не занимал видного места в русской истории ни на каком поприще деятельности. Напротив, в половине XVIII века, если верить запискам Добрынина, брянские помещики Тютчевы славились лишь разгулом и произволом, доходившими до неистовства.

Однако же отец Федора Ивановича, Иван Николаевич, не только не наследовал этих семейных свойств, но, напротив, отличался необыкновенным благодушием, мягкостью, редкой чистотой нравов и пользовался всеобщим уважением. Окончив свое образование в Петербурге, в Греческом корпусе, основанном Екатериной в ознаменование рождения великого князя Константина Павловича и под влиянием мысли о

«Греческом прожекте», Иван Николаевич дослужился в гвардии до поручика и на 22 году жизни женился на Екатерине Львовне Толстой, которая была воспитана, как дочь, родной своей теткой, графиней Остерман. Затем Тютчевы поселились в орловской деревне, на зиму переезжали в Москву, где имели собственные дома и подмосковную, – одним словом, зажили тем известным образом жизни, которым жилось тогда так привольно и мирно почти всему русскому зажиточному, досужему дворянству, не принадлежавшему к чиновной аристократии и не озабоченному государственной службой. Не выделяясь ничем из общего типа московских боярских домов того времени, дом Тютчевых – открытый, гостеприимный, охотно посещаемый многочисленной родней и московским светом – был совершенно чужд интересам литературным и, в особенности, русской литературы. Радушный и щедрый хозяин был, конечно, человек рассудительный, со спокойным, здравым взглядом на вещи, но не обладал ни ярким умом, ни талантами. Тем не менее в натуре его не было никакой узкости, и он всегда был готов признать и уважить права чужой более даровитой природы.

Федор Иванович Тютчев и по внешнему виду (он был очень худ и малого роста), и по внутреннему духовному строю был совершенной противоположностью своему отцу; общего у них было разве одно благодушие. Зато он чрезвычайно походил на свою мать, Екатерину Львовну, женщину замечательного ума, сухощавого, нервного сложения, с наклонностью к ипохондрии, с фантазией, развитой до болезненности. Отчасти по принятому тогда в светском кругу обыкновению, отчасти, может быть, благодаря воспитанию Екатерины Львовны в доме графини Остерман, в этом вполне русском семействе Тютчевых преобладал и почти исключительно господствовал французский язык, так что не только все разговоры, но и вся переписка родителей с детьми и детей между собой как в ту пору, так и потом, в течение всей жизни, велась не иначе как по-французски. Это господство французской речи не исключало, однако, у

Екатерины Львовны приверженности к русским обычаям и удивительным образом уживалось рядом с церковнославянским чтением псалтырей, часословов, молитвенников у себя, в спальной, и вообще со всеми особенностями русского православного и дворянского быта. Явление, впрочем, очень нередкое в то время, в конце XVIII и в самом начале XIX века, когда русский литературный язык был еще делом довольно новым, еще только достоянием «любителей словесности», да и действительно не был еще достаточно приспособлен и выработан для выражения всех потребностей перенятого у Европы общежития и знания.

В этой-то семье родился Федор Иванович. С самых первых лет он оказался в ней каким-то особняком, с признаками высших дарований, а потому тотчас же сделался любимцем и баловнем бабушки Остерман, матери и всех окружающих.

Это баловство, без сомнения, отразилось впоследствии на образовании его характера: еще с детства стал он врагом всякого принуждения, всякого напряжения воли и тяжелой работы. К счастью, ребенок был чрезвычайно добросердечен, кроткого, ласкового нрава, чужд всяких грубых наклонностей; все свойства и проявления его детской природы были скрашены какой-то особенно тонкой, изящной духовностью. Благодаря своим удивительным способностям учился он необыкновенно успешно. Но уже и тогда нельзя было не заметить, что учение не было для него трудом, а как бы удовлетворением естественной потребности знания. В этом отношении баловницей Тютчева являлась сама его талантливость. Скажем, кстати, что ничто вообще так не балует и не губит людей в России, как именно эта талантливость, упраздняющая необходимость усилий и не дающая укорениться привычке к упорному, последовательному труду. Конечно, эта даровитость нуждается в высшем, соответственном воспитании воли, но внешние условия нашего домашнего быта и общественной среды не всегда благоприятствуют такому воспитанию; особенно же мало благоприятствовали они при той материальной обеспеченности, которая была уделом об-

разованного класса в России во времена крепостного права. Впрочем, в настоящем случае мы имеем дело не просто с человеком талантливым, но и с исключительной натурой – натурой поэта.

Ему было почти девять лет, когда настала гроза 1812 года. Родители Тютчева провели все это тревожное время в безопасном убежище, именно в г. Ярославле; но раскаты грома были так сильны, подъем духа так повсеместен, что даже вдали от театра войны не только взрослые, но и дети, в своей мере, конечно, жили общей возбужденной жизнью. Нам никогда не случалось слышать от Тютчева никаких воспоминаний об этой године, но не могла же она не оказать сильного непосредственного действия на восприимчивую душу девятилетнего мальчика. Напротив, она-то, вероятно, и способствовала, по крайней мере, в немалой степени его преждевременному развитию, что, впрочем, можно подметить почти во всем детском поколении той эпохи. Не эти ли впечатления детства как в Тютчеве, так и во всех его сверстниках-поэтах зажгли ту упорную, пламенную любовь к России, которая дышит в их поэзии и которую потом уже никакие житейские обстоятельства не были властны угасить?

К чести родителей Тютчева надобно сказать, что они ничего не щадили для образования своего сына и по десятому его году, немедленно «после французов», пригласили к нему воспитателем Семена Егоровича Раича. Выбор был самый удачный. Человек ученый и вместе вполне литературный, отличный знаток классической древней и иностранной словесности, Раич стал известен в нашей литературе переводами в стихах Вергилиевых «Георгик», Тассова «Освобожденного Иерусалима» и Ариостовой поэмы «Неистовый Роланд». В доме Тютчевых он пробыл семь лет; там одновременно трудился он над переводами латинских и итальянских поэтов и над воспитанием будущего русского поэта.

Кроме того, он сам писал недурные стихи. В двадцатых годах, уже после того, как Раич из дома Тютчевых перешел к Николаю Николаевичу Муравьеву, основателю знаменито-

го Училища колонновожатых, для воспитания меньшего его сына, известного впоследствии писателя Андрея Николаевича Муравьева, – сделался центром особенного литературного кружка, где собирались Одоевский, Погодин, Ознобишин, Путята и другие замечательные молодые люди, при содействии которых Раич и издал несколько альманахов. Позднее он же два раза принимался издавать журнал «Галатея». Это был человек в высшей степени оригинальный, бескорыстный, чистый, вечно пребывавший в мире идиллических мечтаний, сам олицетворенная буколика, соединявший солидность ученого с каким-то девственным поэтическим пылом и младенческим незлобием. Он происходил из духовного звания; известный киевский митрополит Филарет был ему родной брат.

Нечего и говорить, что Раич имел большое влияние на умственное и нравственное сложение своего питомца и утвердил в нем литературное направление. Под его руководством Тютчев превосходно овладел классиками и сохранил это знание на всю жизнь: даже в предсмертной болезни, разбитому параличом, ему случалось приводить на память целые строки из римских историков. Ученик скоро стал гордостью учителя и уже 14-ти лет перевел очень порядочными стихами послание Горация к Меценату. Раич, как член основанного в 1811 году в Москве Общества любителей российской словесности, не замедлил представить этот перевод Обществу, где на одном из обыкновенных заседаний он был одобрен и прочтен вслух славнейшим в то время московским критическим авторитетом – Мерзляковым. Вслед за тем, в чрезвычайном заседании 30-го марта 1818 года, Общество почтило 14-летнего переводчика званием «сотрудника», самый же перевод напечатало в XIV части своих «Трудов». Это было великим торжеством для семейства Тютчевых и для самого юного поэта. Едва ли, впрочем, первый литературный успех не был и последним, вызвавшим в нем чувство некоторого авторского тщеславия.

В этом же 1818 году Тютчев поступил в Московский университет, то есть стал ездить на университетские лекции

и сперва – в сопровождении Раича, который, впрочем, вскоре, именно в начале 1819 года, расстался со своим воспитанником.

Со вступлением Тютчева в университет дом его родителей увидел у себя новых, небывалых в нем доселе посетителей. Радушно принимались и угощались стариками и знаменитый Мерзляков, и преподаватель греческой словесности в университете Оболенский, и многие другие ученые и литераторы: собеседником их был 15-летний студент, который смотрел уже совершенно «развитым» молодым человеком и с которым все охотно вступали в серьезные разговоры и прения.

Так продолжалось до 1821 года.

В этом году, когда Тютчеву не было еще и 18-ти лет, он сдал отлично свой последний экзамен и получил кандидатскую степень. По всем соображениям родных и знакомых перед ним открывалась блестящая карьера. Но честолюбивые виды отца и матери мало тревожили душу беспечного кандидата. Предоставив решение своей будущей судьбы старшим, сам он весь отдался своему настоящему. Жаркий поклонник женской красоты, он охотно посещал светское общество и пользовался там успехом. Но ничего похожего на буйство и разгул не осталось в памяти о нем у людей, знавших его в эту первую пору молодости. Да буйство и разгул и не свойственны были его природе: для него имели цену только те наслаждения, где было место искреннему чувству или страстному поэтическому увлечению. Не осталось также, за это время, никаких следов его стихотворческой деятельности: домашние знали, что он иногда забавлялся писанием остроумных стишков на разные мелкие случаи, – и только.

В 1822 году Тютчев был отправлен в Петербург, на службу в Государственную коллегию иностранных дел. Но в июне месяце того же года его родственник, знаменитый герой Кульмской битвы, потерявший руку на поле сражения, граф А. И. Остерман-Толстой посадил его с собой в карету и увез за границу, где и пристроил сверхштатным чиновником к русской миссии в Мюнхене. «Судьбе угодно было вооружиться последней рукой Толстого (вспоминает Федор Иванович в одном из

писем своих к брату лет 45 спустя), чтоб переселить меня на чужбину».

Это был самый решительный шаг в жизни Тютчева, определивший всю его дальнейшую участь.

II

В 1822 году переезд из России за границу значил не то, что теперь. Это просто был временный разрыв с Отечеством. Железных дорог и электрических телеграфов тогда еще и в помине не было; почтовые сообщения совершались медленно; русские путешественники были редки. Отвергнутый от России в самой ранней, нежной молодости, когда ему было с небольшим 18 лет, закинутый в дальний Мюнхен, предоставленный сам себе, Тютчев один, без руководителя, переживает на чужбине весь процесс внутреннего развития, от юности до зрелого мужества, и возвращается в Россию на водворение, когда ему пошел уже пятый десяток лет. Двадцать два года лучшей поры жизни проведены Тютчевым за границей...

Представим же его себе одного, брошенного, чуть не мальчиком, в водоворот высшего иностранного общества, окруженного всеми соблазнами большого света, искушаемого собственными дарованиями, которые тотчас же, с первого его появления в этой блестящей европейской среде, доставили ему столько сочувствия и успеха, – наконец, любимого, балуемого женщинами, с сердцем, падким на увлечения, страстные, безоглядочные... Как, казалось бы, этой 18-летней юности не поддаться обольщениям тщеславия, даже гордости?

Как не растратить в этом вихре суеты, в обаянии внешней жизни сокровища жизни внутренней, высшие стремления духа? Не следовало ли ожидать, что и он, подобно многим нашим поэтам, поклонится кумиру, называемому светом, приобщится его злой пустоте и в погоне за успехами принесет немало нравственных жертв в ущерб и правде, и таланту?

Но здесь-то и поражает нас своеобразность его духовной природы. Именно к тщеславию он и был всего менее склонен. Можно сказать, что в тщеславии у Тютчева был органический недостаток. Он любит свет – это правда; но не личный успех, не утехи самолюбия влекли его к свету. Он любил его блеск и красивость; ему нравилась эта театральная, почти международная арена, воздвигнутая на общественных высотах, где в роскошной сценической обстановке выступает изящная внешность европейского общежития со всей прелестью утонченной культуры; где, – во имя единства цивилизации, условных форм и приличий, – сходятся граждане всего образованного мира, как равноправная труппа актеров. Но, любя свет, всю жизнь вращаясь в свете, Тютчев ни в молодости не был, ни потом не стал «светским человеком».

Соблюдая по возможности все внешние светские приличия, он не рабствовал перед ними душой, не покорялся условной светской «морали», хранил полную свободу мысли и чувства. Блеск и обаяние света возбуждали его нервы, и словно ключом било наружу его вдохновенное, грациозное остроумие. Но самое проявление этой способности не было у него делом тщеславного расчета: он сам тут же забывал сказанное, никогда не повторялся и охотно предоставлял другим авторские права на свои, нередко гениальные, изречения. Вообще, как в устном слове, точно так и в поэзии, его творчество только в самую минуту творения, не долее, доставляло ему авторскую отраду. Оно быстро, мгновенно вспыхивало и столь же быстро, выразившись в речи или в стихах, угасало и исчезало из памяти.

Он никогда не становился ни в какую позу, не рисовался, был всегда сам собой, каков он есть, прост, независим, произволен. Да ему было и не до себя, то есть не до самолюбивых соображений о своем личном значении и важности. Он слишком развлекался и увлекался предметами, для него несравненно более занимательными: с одной стороны, блистанием света, с другой, личной, искренней жизнью сердца и затем высшими интересами знания и ума. Эти последние притя-

гивали его к себе еще могущественнее, чем свет. Он уже и в России учился лучше, чем многие его сверстники-поэты, а германская среда была еще способнее расположить к учению, чем тогдашняя наша русская, и особенно петербургская. Переехав за границу, Тютчев очутился у самого родника европейской науки: там она была в подлиннике, а не в жалкой копии или карикатуре, у себя, в своем дому, а не в гостях, на чуждой квартире.

Окунувшись разом в атмосферу стройного и строгого немецкого мышления, Тютчев быстро отрешается от всех недостатков, которыми страдало тогда образование у нас в России, и приобретает обширные и глубокие сведения. По свидетельству одного иностранца (барона Пфеффеля), напечатавшего в конце прошлого года небольшую статью о нем в одной парижской газете, Тютчев ревностно изучал немецкую философию, часто водился со знаменитостями немецкой науки, между прочим, с Шеллингом, с которым часто спорил, доказывая ему несостоятельность его философского истолкования догматов христианской веры. Тот же Пфеффель, вспоминая эти годы молодости Тютчева в Мюнхене, выражается о нем следующим образом в одном частном письме, которое нам довелось прочесть: «nous subissions le charme de ce merveilleux esprit (мы находились под очарованием этого диковинного ума)». Не менее замечателен и отзыв И. В. Киреевского, который уже в 1830 году пишет из Мюнхена к своей матери в Москву про 27-летнего Тютчева: «Он уже одним своим присутствием мог бы быть полезен в России: таких европейских людей у нас перечесть по пальцам». Тютчев обладал способностью читать с поразительной быстротой, удерживая прочитанное в памяти до малейших подробностей, а потому и начитанность его была изумительна, – тем более изумительна, что времени для чтения, по-видимому, оставалось у него немного (эту привычку к чтению Тютчев перенес с собой и в Россию и сохранил ее до самой своей предсмертной болезни, читая ежедневно, рано по утрам, в постели, все вновь выходящие, сколько-нибудь замечательные книги русской и

иностранных литератур, большей частью исторического и политического содержания). Вообще при его необыкновенной талантливости занятия наукой не мешали ему вести, по наружности, самую рассеянную жизнь и не оставляли на нем никакой пыли труда, той почтенной пыли, которую многие ученые любят выставлять напоказ и которая так способна снискивать благоговение толпы.

Могут заметить, что самая основательность приобретенной Тютчевым образованности достаточно предохраняла его от искушений того мелкого тщеславия, которое в состоянии довольствоваться поверхностными успехами в свете или дешевой популярностью в полуневежественных кругах. Но для Тютчева, при богатстве его знания и даров, существовала возможность искушений более высшего порядка. Ему естественно было пожелать для себя не только известности, но и славы. Десятой доли его сведений и талантов было бы довольно иному для того, чтоб суметь приобрести почести и значение, занять выгодную общественную позицию, стать оракулом и прогреметь, особенно в нашем Отечестве. Примером может служить один из современников Тютчева, Чаадаев, страдавший именно избытком того, в чем у Тютчева был недостаток, – человек бесспорно умный и просвещенный, хотя значительно уступавший Тютчеву и в уме, и в познаниях, человек, которому отведено даже место в истории нашего общественного развития, который постоянно позировал с немалым успехом в московском обществе и с подобающей важностью принимал поклонение себе как кумиру. Но именно важности никогда и не напускал на себя Тютчев.

Если бы он хоть сколько-нибудь о том постарался, молва о нем прошумела бы в России еще в первой половине его жизни, и слава умного человека и поэта не осенила бы его так поздно и притом в пределах только избранных кругов русского общества. От времени до времени доходили, конечно, о нем чрез русских путешественников известия и в Россию, подобные отзыву Киреевского; но тем не менее имя его в Отечестве долго оставалось неведомым, и даже Жуковский,

если не ошибаемся, уже в 1841 году, встретясь с Тютчевым где-то за границей, писал о нем как о каком-то неожиданном, приятном открытии. Мы уже знаем, **как** хлопотал он о своей стихотворческой известности!.. Все блестящее соединение даров было у Тютчева как бы оправлено **скромностью**, но скромностью особого рода, не выставлявшейся на вид и в которой не было ни малейшей умышленности или аффектации. Эта замечательная психическая черта требует пристального рассмотрения.

Если, несмотря на все соблазны света и увлечения сердца, Тютчев даже и в молодости постоянно расширял кругозор своей мысли и свои познания, которым так дивились потом и русские, и иностранцы, – все же было бы ошибкой предполагать здесь, с его стороны, какое-либо действие воли, нравственный подвиг, победу над искушениями, и т. п. Нисколько. Ленивый, избалованный с детства, не привыкший к обязательному труду, но притом совершенно равнодушный к внешним выгодам жизни, он только свободно подчинялся влечениям своей в высшей степени интеллектуальной природы. Он только утолял свой врожденный, всегда томивший его умственный голод. С наслаждением вкушал он от готовой трапезы знания и разумения, но никогда не удовлетворялся ею вполне; никогда не испытывал того самодовольства сытости, которое с такой приятностью ощущают умы менее требовательные... Вообще всякое самодовольство было ненавистно его существу.

В том-то и дело, что этот человек, которого многие даже из его друзей признавали, а может быть, признают еще и теперь за «хорошего поэта» и сказателя острых слов, а большинство – за светского говоруна, да еще самой пустой, праздной жизни, – этот человек, рядом с метким изящным остроумием, обладал умом необычайно строгим, прозорливым, не допускавшим никакого самообольщения. Вообще это был духовный организм, трудно дающийся пониманию: тонкий, сложный, многострунный. Его внутреннее содержание было самого серьезного качества. Самая способность Тютче-

ва отвлекаться от себя и забывать свою личность объясняется тем, что в основе его духа жило искреннее смирение: однако ж не как христианская высшая добродетель, а, с одной стороны, как прирожденное личное и отчасти **народное** свойство (он был весь добродушие и незлобие); с другой стороны, как постоянное философское сознание ограниченности человеческого разума и как постоянное же сознание своей личной нравственной немощи. Преклоняясь умом пред высшими истинами Веры, он возводил **смирение** на степень философско-нравственного исторического принципа. Поклонение человеческому **я** было вообще, по его мнению, тем лживым началом, которое легло в основание исторического развития современных народных обществ на Западе. Мы увидим, как резко изобличает он в своих политических статьях это гордое самообожание разума, связывая с ним объяснение европейской революционной эры, и как, наоборот, возвеличивает он значение духовно-нравственных стихий русской народности.

Понятно, что если такова была точка отправления его философского миросозерцания, то тем менее могло быть им допущено поклонение своему личному **я**. При всем том его скромность относительно своей личности не была в нем чем-то усвоенным, сознательно приобретенным. Его **я** само собой забывалось и утопало в богатстве внутреннего мира мысли, умалялось до исчезновения в виду откровения Божия в истории, которое всегда могущественно приковывало к себе его умственные взоры. Вообще его ум, непрерывно питаемый и обогащаемый знанием, **постоянно** мыслил. Каждое его слово сочилось мыслью. Но так как, с тем вместе, он был поэт, то его процесс мысли не был тем отвлеченным, холодным, логическим процессом, каким он является, например, у многих мыслителей Германии: нет, он не разобщался в нем с художественно-поэтической стихией его души и весь насквозь проникался ею. При этом его уму была в сильной степени присуща **ирония**, но не едкая ирония скептицизма и не злая насмешка отрицания, а как свойство, нередко встречаемое в умах особенно крепких, всесторонних и зорких, от которых не

ускользают, рядом с важными и несомненными, комические и двусмысленные черты явлений. В иронии Тютчева не было ничего грубого, желчного и оскорбительного, она была всегда остра, игрива, изящна и особенно тонко задевала замашки и обольщения человеческого самолюбия.

Конечно, при таком свойстве ума не могли же иначе, как в ироническом свете, представляться ему и самолюбивые поползновения его собственной личности, если они только когда-нибудь возникали.

Но кроме того, его **я** уничтожалось и подавлялось в нем, как мы уже сказали, сознанием недосягаемой высоты христианского идеала и своей неспособности к напряжению и усилию. Потому что рядом с его, так сказать, **бескорыстной**, безличной жизнью мысли была другая область, где обретал он самого себя всецело, где он жил только для себя, всей полнотой своей личности. То была жизнь сердца, жизнь чувства, со всеми ее заблуждениями, треволнениями, муками, поэзией, драмой страсти; жизнь, которой, впрочем, он отдавался всякий раз не иначе как вследствие самого искреннего, внезапно овладевшего им увлечения, – отдавался без умысла и без борьбы. Но она была у него про себя, не была предметом похвальбы и ликования, всегда обращалась для него в источник тоски и скорби и оставляла болезненный след в его душе.

Душа моя – элизиум теней,
Теней безмолвных, светлых и прекрасных,
Ни замыслам годины буйной сей,
Ни радостям, ни горю непричастных.
Душа моя – элизиум теней,
Что общего меж жизнью и тобой?..

Так высказывается он сам в своих стихах. Замыслы, радости и горе годины не переставали однако ж занимать и тревожить его ум; страстные увлечения сердца не ослабляли деятельности его философской мысли, но они тем не менее

вносили тягостное раздвоение в его бытие. Ничто не могло омрачить в нем сознания правды. Немерцающий светоч ума и совести постоянно разоблачал пред ним всю тьму противоречий между признаваемым, сочувственным его душе нравственным идеалом и жизнью; между возвышенными запросами и ответом.

О, вещая душа моя,
О, сердце, полное тревоги,
О, как ты бьешься на пороге
Как бы **двойного** бытия!..

Этот крик сердечной боли, как бы невольно вырвавшийся из груди поэта, разрешается через несколько строк воплем скорби и верующего смирения в следующих стихах:

Пускай страдальческую грудь
Волнуют страсти роковые –
Душа готова, как Мария,
К ногам Христа навек прильнуть...

Самая способность смирения, этой силы очищающей, уже служит залогом высших свойств его природы. Биографу Тютчева нет затем никакой надобности входить в подробности этой стороны его существования более, чем сколько нужно для разумения его нравственного облика и сокрытых мотивов его поэзии... Но не в одной этой области томился он внутренним раздвоением и душевными муками.

Ум сильный и твердый – при слабодушии, при бессилии воли, доходившем до немощи; ум зоркий и трезвый – при чувствительности нервов самой тонкой, почти женской, – при раздражительности, воспламенимости, одним словом, при творческом процессе души поэта, со всеми ее мгновенно вспыхивающими призраками и самообманом; ум деятельный, не знающий ни отдыха, ни истомы – при совершенной неспособности к действию, при усвоенных с детства привыч-

ках лени, при необоримом отвращении к внешнему труду, к какому бы то ни было принуждению; ум постоянно голодный, пытливый, серьезный, сосредоточенно проникавший во все вопросы истории, философии, знания; душа, ненасытно жаждущая наслаждений, волнений, рассеяний, страстно отдававшаяся впечатлениям текущего дня, так что к нему можно было бы применить его собственные стихи про творения природы весной:

Их жизнь, как океан безбрежный,
Вся в настоящем разлита...

Дух мыслящий, неуклонно сознающий ограниченность человеческого ума, но в котором сознание и чувство этой ограниченности не довольно восполнялись живительным началом веры; вера, признаваемая умом, призываемая сердцем, но не владевшая ими всецело, не управлявшая волей, недостаточно освещавшая жизнь, а потому не вносившая в нее ни гармонии, ни единства... В этой двойственности, в этом противоречии и заключался трагизм его существования.

Он не находил ни успокоения своей мысли, ни мира своей душе. Он избегал оставаться наедине с самим собой, не выдерживал одиночества и как ни раздражался «бессмертной пошлостью людской», по его собственному выражению, однако не в силах был обойтись без людей, без общества, даже на короткое время.

Только поэтическое творчество было в нем цельно: мы это увидим при подробной характеристике его как поэта. Но оно, вследствие именно этой сложности его духовной природы, не могло быть в нем продолжительно и, вслед за мгновением творческого наслаждения, он уже стоял выше своих произведений, он уже не мог довольствоваться этими неполными и потому не совсем верными, по его сознанию, отголосками его дум и ощущений; не мог признавать их за **делание** достаточно важное и ценное, достойно отвечающее требованиям его ума и таланта. А что требования эти бывали велики, тревожили иногда его

собственную душу с настойчивостью и властью, что пламень таланта порой жег его самого и стремился вырваться на волю; что эти высокие призывы, остававшиеся неудовлетворенными, наводили на него припадки меланхолии и уныния, особенно в тридцатых годах его жизни, во время пребывания за границей, где впервые, вдали от Отечества, зашевелились и заговорили в нем все силы его дарований, где не мог он порой не тяготиться своим одиночеством, – обо всем этом мы узнаем отчасти из сохранившихся писем его первой жены. Именно ради рассеяния и отпросился он в плавание, с дипломатическими депешами, к Ионическим островам. Об этом свидетельствуют также написанные около того же времени следующие два стихотворения, представлявшие, кроме своего высокого достоинства, психологический и биографический интерес. Первое из них то самое «Silentium», которое, напечатанное в 1835 году в «Молве», не обратило на себя никакого внимания и в котором так хорошо выражена вся эта немощь поэта – передать точными словами, логической формулой речи внутреннюю жизнь души в ее полноте и правде:

Молчи, скрывайся и таи
И чувства, и мечты свои!
Пускай в душевной глубине
И всходят и зайдут оне,
Как звезды ясные в ночи:
Любуйся ими и молчи.

Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь;
Взрывая – возмутишь ключи:
Питайся ими и молчи.

Лишь жить в самом себе умей!
Есть целый мир в душе твоей

Таинственно-волшебных дум:
Их заглушит наружный шум,
Дневные ослепят лучи, –
Внимай их пенью – и молчи.

В другом превосходном стихотворении эта тоска доходит уже до своего высшего выражения:

Как над горячею золой
Дымится свиток и сгорает,
И огнь сокрытый и глухой
Слова и строки пожирает, –

Так грустно тлится жизнь моя
И с каждым днем уходит дымом;
Так постепенно гасну я
В однообразье нестерпимом.
О Небо! **если бы хоть раз**
Сей пламень развился по воле,
И не томясь, не мучась доле,
Я просиял бы – и погас!

Но и потом, гораздо позднее, нередко вслед за игривым, шутливым словом можно было подслушать как бы невольные стоны, исторгавшиеся из его груди. Его ум сверкал иронией, – его душа ныла... А между тем не было, по-видимому, человека приятнее и любезнее. Его присутствием оживлялась всякая беседа; неистощимо сыпались блестки его чарующего остроумия; жадно подхватывались окружающими его меткие изречения, из которых каждое было в своем роде артистическим изделием самой тонкой, узорчатой, художественной чеканки; он пленял и утешал все внемлющее ему общество. Но вот, внезапно, неожиданно скрывшись, он – на обратном пути домой; или вот он, с накинутым на спину пледом, бродит долгие часы по улицам Петербурга, не замечая и удивляя прохожих... Тот ли он самый?..

Стройного, худощавого сложения, небольшого роста, с редкими, рано поседевшими волосами, небрежно осенявшими высокий, обнаженный, необыкновенной красоты лоб, всегда оттененный глубокой думой; с рассеянием во взоре, с легким намеком иронии на устах, – хилый, немощный и по наружному виду, он казался влачившим тяжкое бремя собственных дарований, страдавшим от нестерпимого блеска своей собственной неугомонной мысли.

Понятно теперь, что в этом блеске тонули для него, как звезды в сиянии дня, его собственные поэтические творения. Понятны его пренебрежение к ним и так называемая авторская скромность.

Таков был этот своеобразный, высокодаровитый, смелый и смиренный мыслитель и поэт; таков был этот замечательный человек, неотразимо привлекательный изяществом всех проявлений своего духа, – самым сочетанием силы и слабости.

III

Двадцатидвухлетнее пребывание Тютчева за границей, частое посещение всех центров умственной деятельности; постоянное вращение в высшем иностранном обществе; знакомство и беседы со всеми современными светилами науки и искусства – все это не могло не дать и действительно дало Тютчеву тот особый яркий отпечаток общеевропейской образованности, которым поражался всякий при первой с ним встрече. Но быть «человеком европейским» еще не значит быть русским. Напротив: самое двадцатидвухлетнее пребывание Тютчева в Западной Европе позволило предполагать, что из него выйдет не только «европеец», но и «европеист», то есть приверженец и проповедник теорий европеизма – иначе, поглощения русской народности западной «общечеловеческой» цивилизацией. Если сообразить всю обстановку Тютчева во время его житья за границей, то кажется судьба как бы умышленно подвергала

его испытанию. Нельзя было придумать, ни сосредоточить в таком множестве более благоприятных условий для совращения русского юноши, если не в немца или француза, то **в иностранца вообще**, без народности и отечества. В самом деле, вспомним, как сильно было влияние западного просвещения на умы в самой России 50 лет тому назад, когда Тютчев в первый раз переселился из Москвы в Мюнхен. Вспомним, что с 18-летнего возраста ему пришлось воспитываться и вырабатываться совершенно одному, без всякой поддержки из России, со всех сторон объятому чужеземной стихией, под ежечасным, непосредственным, могучим воздействием европейской гражданственности. Мы уже выразились выше, что переезд Тютчева за границу равнялся совершенному разрыву с Отечеством. И точно: в течение 22-х лет своего пребывания в чужих краях он только четыре раза побывал в России, большей частью на короткий срок, и все его личные заочные с ней сношения едва ли не ограничивались перепиской со своими родными, притом неисправной и вовсе не литературного свойства. Стихотворные вклады в русские альманахи и журналы не радовали его успехом; а в те длинные промежутки, когда прерывалось печатание его стихотворений, прекращалась и эта слабая его связь с Отечеством: под конец имя его почти забывается; он как бы перестает существовать для России. Самое дипломатическое поприще, на которое он вступил, менее всего было способно воспитать в нем русского человека.

«Национальность в политике» не была еще тогда тем модным, хотя подчас и мнимым девизом дипломатии, как в наше время: политические интересы понимались большей частью с их внешней, нередко случайной стороны; их представителями и защитниками от имени Русского государства бывали нередко иностранцы или же такие русские, которые немного более иностранцев были знакомы с русской землей и русским языком и из которых иные, служа лет по 30 за границей, уже и вовсе не способны были разуметь двинувшуюся вперед Россию. Вообще так называемый дипломатический круг при каждом дворе представлял в то время (может быть,

представляет и теперь) такую общественную международную почву, на которой, при содействии общего условного языка и общих условных форм, всего легче стиралось в людях клеймо народности, особенно в русских чиновниках, почти всегда зараженных суеверным поклонением кумиру западной цивилизации. В такой-то общественный круг попал Тютчев с самого раннего возраста и обращался в нем без перерыва почти целую четверть века... Вспомним, наконец, что там, за границей, он женился, стал отцом семейства, овдовел, снова женился, оба раза на иностранках; там, на чужбине, прошла лучшая пора его жизни, со всем, чем дорога человеку его молодость, как он сам о том свидетельствует в следующих стихах, написанных им уже в 1846 году, когда, после смерти отца, он посетил свое родное село Овстуг, где родился и провел детские годы:

Итак, опять увиделся я с вами,
Места немилые, хоть и родные,
Где мыслил я и чувствовал впервые
И где теперь туманными очами,
При свете вечереющего дня,
Мой детский возраст смотрит на меня.

О, бедный призрак, немощный и смутный,
Забытого, загадочного счастья!
О, как теперь, без веры и участья,
Гляжу я на тебя, мой гость минутный!
Куда как чужд ты стал в моих глазах,
Как брат меньшой, умерший в пеленах.

Ах нет! не здесь, не этот край безлюдный
Был для души моей родимым краем;
Не здесь прошел; не здесь был величаем
Великий праздник молодости чудной!..
Ах, и не в эту землю я сложил
То, чем я жил и чем я дорожил!

Припомним, наконец, что в эти 22 года он почти не слышит русской речи, а по отъезде Хлопова и совсем лишается того немногого, хотя и благотворного соприкосновения с русской бытовой жизнью, которое доставляло ему присутствие его дядьки в Мюнхене. Его первая жена ни слова не знала по-русски, так же как и вторая, выучившаяся русскому языку уже по переселении в Россию (и, собственно, для того, чтоб понимать стихи своего мужа): следовательно, самый язык его домашнего быта был чуждый. С русскими путешественниками беседа происходила, по тогдашнему обычаю, всегда по-французски, по-французски же, исключительно, велась и дипломатическая корреспонденция, и его переписка с родными.

Каким же непостижимым откровением внутреннего духа далась ему та чистая, русская, сладкозвучная, мерная речь, которой мы наслаждаемся в его поэзии? Каким образом там, в иноземной среде, мог создаться в нем русский поэт – одно из лучших украшений русской словесности?.. Конечно, язык – стихия природная, и Тютчев уже перед отъездом за границу владел вполне основательным знанием родной речи. Но для того, чтобы не только сохранить это знание, а стать хозяином и творцом в языке, хотя и родном, однако изъятом из ежедневного употребления; чтобы возвести свое поэтическое русское слово до такой степени красоты и силы, при чужеязычной двадцатидвухлетней обстановке, когда поэту даже некому было и поведать своих творений... для этого нужна была такая самобытность духовной природы, которой нельзя не дивиться.

Но еще поразительнее, чем в Тютчеве-поэте, сказывается нам эта самобытность духовной природы в Тютчеве как мыслителе. Невольно недоумеваешь, каким чудом, при известных нам внешних условиях его судьбы, не только не угасло в нем русское чувство, а разгорелось в широкий, упорный пламень, – но еще, кроме того, сложился и выработался целый твердый философский строй национальных воззрений. Мы высоко ценим значение непосредственных бытовых влияний и уже указывали на их присутствие в жизни Тютчева; но нельзя же в самом деле умилительной заботливости Нико-

лая Афанасьевича и благочестивым народным обычаям Екатерины Львовны присваивать слишком сильную нравственную власть над умственным развитием такого «европейского человека», каким считался и был наш покойный писатель. К тому же эти бытовые влияния у нас, в России, одинаково существовали для всех, то есть в равной мере и для людей, которые впоследствии отнеслись к ним с презрением, назвались «западниками» и решительно отвергли у русской народности всякое право на самостоятельность. Предания детства и домашнего быта могли, конечно, согревать душу и питать в Тютчеве природное русское чувство, – но, по-видимому, и только. Еще сильнее способны были заронить в нем неугасимую искру **патриотизма** воспоминания о 1812 годе и слава, венчавшая Россию по умирении Европы. Но любовь к Отечеству, сама по себе, также не более как чувство, и притом присущее каждому человеческому естеству в каждом народе, – чувство не рассуждающее, не нуждающееся ни в каких отвлеченных основаниях. Непосредственная любовь к родине сталкивалась к тому же у Тютчева, как мы видели из приведенных выше стихов, с другими, еще более сильными влечениями; то был «милый сердцу край», в котором праздновал он праздник молодости и любви, где протекали самые золотые годы его жизни, совершенно заслонившие для него годы детства. Здесь следует заметить, кстати, что 22 года, проведенные среди не поддельной, а **истой** европейской гражданственности, наложили неизгладимую печать на всю, так сказать, внешнюю сторону его существа: по своим привычкам и вкусам он был вполне «европеец», и европеец самой высшей пробы, со всеми духовными потребностями, воспитываемыми западной цивилизацией. Удобства и средства, доставляемые заграничным бытом для удовлетворения этих потребностей, были ему, разумеется, дороги. Его не переставала также манить к себе по возвращении в Россию роскошная природа Южной Германии и Италии, среди которой он прожил с 18-ти до 40-летнего возраста. Так, приехав в 1844 году в Петербург на окончательное водворение, он в ноябре же месяце того

года, рисуя в стихах картину Невы зимней ночью, прибавляет к этой картине следующие строфы:

Я вспомнил, грустно молчалив,
Как в тех странах, где солнце греет,
Теперь на солнце пламенеет
Роскошный Генуи залив...
О Север, Север-чародей,
Иль я тобою очарован,
Иль в самом деле я прикован
К гранитной полосе твоей?
О если б мимолетный дух,
Во мгле вечерней тихо вея,
Меня унес скорей, скорее
Туда, туда, на теплый Юг!..

Та же мысль выражена и во многих других стихотворениях, например:

Давно ль, давно ль, о Юг блаженный,
Я зрел тебя лицом к лицу,
И как Эдем ты растворенный
Доступен был мне, пришлецу?
Давно ль, – хотя без восхищенья,
Но новых чувств недаром полн, –
Я там заслушивался пенья
Великих средиземных волн?

И песнь их, как во время оно,
Полна гармонии была,
Когда из их родного лона
Киприда светлая всплыла.
Они все те же и поныне,
Все так же блещут и звучат:
По их лазоревой равнине
Родные призраки скользят.

Но я... я с вами распростился,
Я вновь на Север увлечен;
Вновь надо мною опустился
Его свинцовый небосклон.
Здесь воздух колет: снег обильный
На высотах и в глубине,
И холод, чародей всесильный
Один господствует вполне...

Или вот еще отрывок:

Вновь твои я вижу очи,
И один твой нежный взгляд
Киммерийской грустной ночи
Вдруг развеял сонный хлад.
Воскресает предо мною
Край иной – **родимый** край,
Словно прадедов виною
Для сынов погибший рай...
Сновиденьем безобразным
Скрылся Север роковой;
Сводом легким и прекрасным
Светит небо надо мной.
Снова жадными очами
Свет живительный я пью
И под чистыми лучами
Край волшебный узнаю.

Напротив того, русская природа, русская деревня не обладали для него живой притягательной силой, хотя он понимал и высоко ценил их, так сказать, внутреннюю, духовную красоту. Он даже в течение двух недель не в состоянии был переносить пребывания в русской деревенской глуши, например, в своем родовом поместье Брянского уезда, куда почти каждое лето переезжала на житье его супруга с детьми. Не получать каждое утро новых газет и новых книг, не иметь

ежедневного общения с образованным кругом людей, не слышать около себя шумной, общественной жизни – было для него невыносимо.

Хозяйственные интересы, как легко можно поверить, для него вовсе не существовали. Ведая свою «непрактичность», он и не заглядывал в управление имением. Даже мудрено себе и вообразить Тютчева в русском селе, между русскими крестьянами, в сношениях и беседах с мужиком. Так, казалось, мало было между ними общего...

А между тем Тютчев положительно пламенел любовью к России: как ни высокопарно кажется это выражение, но оно верно... И вот опять новое внутреннее противоречие – в дополнение к тому множеству противоречий, которым, как мы видели, осложнялось все его бытие!

Но если под «любовью к России» понимать то же, что обыкновенно разумеется под словом «патриотизм», то здесь почти нет и места противоречию. Потому что «патриотизм», в котором никогда в России не было недостатка, именно-то в России вовсе и не означал ни уважения, ни даже простого сочувствия к русской народности. Отстаивая с беспримерным мужеством политическое существование Русского государства, патриотизм не выдерживал столкновения с нравственным натиском Западной Европы и, охраняя целость внешних пределов, трусливо **пасовал** и поступался русской национальностью в области бытовой и духовной... Что мог, казалось, кроме **чувства** любви к Отечеству, противопоставить молодой Тютчев, переехав в чужие края, враждебному к русской народности авторитету европейской цивилизации, всем этим неприязненным умственным силам во всеоружии науки, знания, крепких систем? Что способна была ему дать, чем напутствовать его в оны годы Россия?

Не кстати ли будет здесь обновить несколько в памяти тот двадцатидвухлетний период русской исторической жизни и общественного самосложения, который совершился вне всякого участия и вдали от Тютчева – и в то же время без всякого, со своей стороны, воздействия на развитие самого поэта?

Период с 1822 по 1844 год был важной эпохой во внутренней истории нашего Отечества. В 1822 году воспоминания 12-го года и последовавших за ним славных для России событий были еще во всей своей животрепещущей силе.

Высокий жребий умиротворения Европы, выпавший на долю Александра I, превозмог в нем власть народных инстинктов. Верховного вождя русского народа перевешивал бескорыстный европеец, устроитель европейских судеб, непричастный национальному эгоизму... В обществе возбужденное войной патриотическое чувство, защитившее внешнюю независимость русской земли, еще не доросло до притязаний на ее духовную независимость. Русская мысль еще не начинала подвига народного самосознания. Вслед за отраженным нами «нашествием двунадесяти язык», сильнее чем когда-либо повторилось на Россию нашествие с Запада: идей, теорий, доктрин – политических, философских и нравственных. Живое сближение с Европой в лице образованного слоя нашей победоносной армии дало, в свою очередь, победу над русскими умами обаятельным формам европейской гражданственности. В то время, как наша внешняя государственная политика приносила в жертву интересам европейского равновесия и покоя политические интересы России, отказывая в поддержке грекам и сербам, русское общество, расколыхавшись, как море, от разразившейся над Россией великой исторической бури, представляло зрелище необычайного умственного брожения. Смутно чувствуя ложь своего исторического пути и всего общественного строя, оно не умело еще додуматься до настоящей причины этой лжи и, обходя или не ведая про свой народ и свою народность, искало разрешения томившим его задачам в чужой исторической жизни. Под влиянием иностранных образцов это брожение принимало формы то тугендбундов[1], то иных подобных союзов, пока наконец не превратилось в политической заговор. Событие 14-го декабря снесло с русской земли цвет высшего образованного общества. Началось новое царствование и с ним новый период внутреннего развития. Русский кабинет по-прежнему пекся о Европе, но уже без

«галантерейного обращения» александровской эпохи: новый царь держал имя России грозно. Мятеж декабристов обличил историческую несостоятельность политических иностранных идеалов, насильственно переносимых на русскую почву; фальшивые призраки будущего переустройства России на европейский фасон, которыми тешилось незрелое, порвавшее с народными преданиями русское общество, были разбиты. Давление сверху, стеснив всякую внешнюю общественную деятельность, вогнало русскую мысль внутрь...

Действительно, мы видим, что русская словесность, в которой при отъезде Тютчева за границу еще господствовали французские литературные авторитеты вместе с самыми жалкими и детскими эстетическими теориями, мало-помалу пробует освобождаться и, наконец, освобождается совсем из оков псевдоклассицизма и подражательности. Гений Пушкина ищет содержания в народной жизни. Настает Гоголь: неумолимо разоблачена духовная скудость и нравственная пошлость нашего общественного строя; все лживо-важное, ходульное, напыщенное в литературном изображении и разумении нашей русской действительности исчезает, как снег весной, от одного явления этого громадного таланта. В художественном воспроизведении жизни водворяется требование простоты и правды (переходящее впоследствии у большинства писателей в голое обличение и отрицание). Критика в лице Белинского (в лучшую пору его деятельности) окончательно сокрушает фальшивые литературные кумиры и остатки старых эстетических теорий.

В 1826 году выходит последний том «Истории государства Российского» Карамзина. Его монументальный, хотя и не оконченный труд, при всем своем несовершенстве, пролагает путь к ближайшему знакомству с историческим ростом России, к внимательнейшему исследованию ее прошлых судеб.

Обнародование актов, грамот, летописей и других памятников древней русской письменности, вообще издания Археографической комиссии создают новую эпоху в изучении русской истории и самым могущественным образом движут

вперед наше историческое сознание. В области отвлеченного умственного движения, совершающегося преимущественно в Москве, влияние французских мыслителей и вообще философии XVIII века сменяется более благотворным, хотя иногда и очень поверхностным воздействием на русские умы германской науки и философии. Русская мысль трезвеет и крепнет в строгой школе приемов немецкого мышления и также пытается стать в сознательное, философское отношение к русской народности. С одной стороны, вырабатывается целая стройная доктрина, как продукт высших просвещенных соображений, что спасение для России заключается в полнейшем отречении от всех народных, исторических, бытовых и религиозных преданий; во главе этого направления стоит Чаадаев. С другой, сначала одиноко и большей частью еще в стихах раздается протест Хомякова; к нему примыкает постепенно целая дружина молодых людей – из последователей Гегелевой философии, а потом и несколько самостоятельных мыслителей, как Киреевские и другие. Общество распадается на два стана: «западников» и «восточников»; за последними утверждается прозвище «славянофилов», данное им в насмешку петербургской журналистикой.

Завязывается сильная, запальчивая борьба в печати, в рукописи, в устных беседах, в частных домах, на общественных сборищах и университетских кафедрах. Славянофилы устремляются к изучению русской народности во всех ее проявлениях, к раскрытию ее внутреннего содержания, к наследованию ее коренных духовных и гражданских стихий. Они, по выражению Хомякова, «допрашивают духа жизни», сокрытого в нашем **былом** и хранящегося еще в настоящем, то есть в простом русском народе. Они усматривают в нем, в этом «духе жизни», и в православном вероисповедании новые просветительные начала для человечества, указывают на новые своеобразные основания для социального и политического строя. Протестуя против деспотизма Петровского переворота и против всяческого насилия над народной жизнью, они требуют для русской земли свободы органического раз-

вития, признания прав самой жизни, уважения к русской народности и к народу (не к народу **вообще**, чем пробавлялись многие наши демократы, отворачиваясь от русского мужика или стараясь обманом и силой уподобить его заграничным демократическим образцам, а именно к русскому народу и его бытовым основам). Вместе с тем, обвиняя русское образованное общество в разрыве с историческими народными преданиями, в нравственной измене своей стране, обличая скудость и непроизводительность перенятого им, в духе рабства и подражания, западного просвещения, – славянофилы проповедуют необходимость, право и обязанность для русской народности самостоятельного труда и вклада в общечеловеческую науку, искусство и знание. С увлечением превозносят они историческое и духовное призвание России, как представительницы православного Востока и славянского племени, и предвещают ей великое мировое будущее. Между тем западничество, найдя себе опору в Белинском, переселившемся в Петербург, господствует в журналистике и, как теория, разделяет потом судьбу самой германской философии, переходящей постепенно в дальнейшем своем развитии из идеализма в материализм, позитивизм и в другие системы нефилософского свойства и преимущественно французского происхождения. В первой половине 40-х годов, то есть ко времени возвращения Тютчева в Петербург, борьба между обоими лагерями была в самом разгаре.

Мы распространились о славянофильстве несколько подробнее потому, что собственное миросозерцание Тютчева находится с ним если не в прямой связи, то в соотношении. Заметим еще, что лично славянофилы как в 40-х годах, так и впоследствии никогда не пользовались большим успехом и стояли в обществе особняком, малым отрядом. О них много шумели и кричали, издевались над ними в стихах и прозе, выставляли их на сцене, обвиняли в обскурантизме, возводили умышленно и неумышленно разные небылицы, но никто никогда не мог отрицать их гражданской независимости, откровенности их речей и действий, высоконравственного ха-

рактера их учения. Самое это учение, в своем целом объеме, как учение, никогда не было популярным, да и не было вполне формулировано или выражено в виде точного кодекса; славянофильские издания расходились вообще в малом количестве; их журналы имели сравнительно очень немного подписчиков; непосредственного действия на массы читающего люда они не оказывали, но действие их на своих противников, на так называемую интеллигенцию, было неотразимо, хотя и не быстро. Противники, наконец, догадались, что почва у них из-под ног постепенно уходит, враждебные газеты и журналы стали сдаваться и принимать одно за другим разные славянофильские положения, – правда, видоизменяя, «очищая» их по-своему и выдавая за собственные измышления, но все-таки сходясь со славянофильством хоть в некоторых существенных основаниях. Не как учение, воспринимаемое в полном объеме послушными адептами, а как направление, освобождающее русскую мысль из духовного рабства перед Западом и призывающее русскую народность стать на степень самостоятельного просветительного органа в человечестве, славянофильство, можно сказать, уже одержало победу, то есть заставило даже и врагов своих признать себя весьма важным моментом в ходе русской общественной мысли. Мы, со своей стороны, думаем, что оно не только исторический момент уже отжитый, но и пребывает и пребудет в истории нашего и дальнейшего умственного развития – как предъявленный неумолкающий запрос, как постоянный двигатель и указатель.

Самое прозвище «славянофильство» может быть покинуто и забыто; может потеряться из виду преемственная духовная связь между первыми деятелями и новейшими; многое, совершающееся под общим воздействием славянофильских мнений, но совершающееся в данную, известную пору, при известных исторических условиях будет даже уклоняться, по-видимому, от чистоты и строгости некоторых славянофильских идеалов. Без сомнения, отжиты также те крайние увлечения, которые органически, так сказать, были связаны с личным характером первых проповедников или вызывались

страстностью борьбы; некоторые слишком поспешно определенные формулы, в которых представлялось иным славянофилам будущее историческое осуществление их любимых мыслей и надежд, оказались или окажутся ошибочными, и история осуществит, может быть, те же начала, но совсем в иных формах и совсем иными, неисповедимыми своими путями... Но тем не менее раз возбужденное народное самосознание уже не может ни исчезнуть, ни прервать начатой работы, и оправдает, конечно, со временем многие высказанные славянофильством положения, кажущиеся теперь мечтательными. Сделав это небольшое, но необходимое, впрочем, отступление, возвращаемся к нашему очерку.

Россия 1822 и Россия 1844 года – какой длинный путь пройден русской мыслью! Какое полное видоизменение в умственном строе русского общества! Во всем этом движении, этой борьбе Тютчев не имел ни заслуги, ни участия. Он оставался совершенно в стороне, и, к сожалению, у нас нет ни малейших данных, которые бы позволили судить, как отозвались в нем и внешние события, например 14-е декабря и т. п., и явления духовной общественной жизни, отголосок которых все же мог иногда доходить и до Мюнхена. Уехав из России, когда еще не завершилось издание «Истории» Карамзина, только что раздались звуки поэзии Пушкина, обаяние Франции было еще всесильно и о духовных правах русской народности почти не было и речи, Тютчев возвращается в Россию, когда замолк и Пушкин, и другие его спутники-поэты, когда Гоголь уже издал «Мертвые души», когда нравственное владычество Франции было почти совсем свергнуто благодаря немцам и толки о народности, борьба не одних литературных, но и жизненных общественных направлений занимала все умы... Что же выработал за границей его ум, так долго и одиноко созревавший в германской среде? Явился ли он «отсталым» для России, но передовым представителем европейской мысли? Какое последнее слово западного просвещения принесет он с собой?

Он и действительно явился представителем европейского просвещения. Но велико же было удивление русского

общества, и особенно тогдашних наших западников, когда оказалось, что результатом этого просвещения, так полно усвоенного Тютчевым, было не только утверждение в нем естественной любви к своему Отечеству, но и высшее разумное ее оправдание; не только верование в великое политическое будущее России, но и убеждение в высшем мировом призвании русского народа и вообще духовных стихий русской народности.

Тютчев как бы перескочил через все стадии русского общественного двадцатидвухлетнего движения и, возвратясь из-за границы с зрелой, самостоятельно выношенной им на чужбине думой, очутился в России как раз на той ступени, на которой стояли тогда передовые славянофилы с Хомяковым во главе. А между тем Тютчев вовсе не знал их прежде, да и потом никогда не был с ними в особенно тесных сношениях. Правда, он всегда говаривал, что ни с кем встреча не была так плодотворна для его мысли, как именно с Хомяковым и его друзьями, – и это понятно: он нашел то, чего не ожидал, – почти полное подтверждение его собственных, одиноко выработанных воззрений, почти тождественную с его мнениями систему, опиравшуюся на ближайшее изучение русской истории и народного быта, а этого изучения ему именно и недоставало. Силой собственного труда, идя путем совершенно самостоятельным, своеобразным и независимым, без сочувствия и поддержки, без помощи тех непосредственных откровений, которые каждый, неведомо для себя, почерпывает у себя дома, в Отечестве, из окружающих его стихий церкви и быта, – напротив: наперекор окружавшей его среде и могучим влияниям, Тютчев не только пришел к выводам, совершенно сходным с основными славянофильскими положениями, но и к их чаяниям и гаданиям, а в некоторых политических своих соображениях явился еще более **крайним**. Мы не имеем возможности проследить постепенный ход его мысли за границей, но можем отметить, даже в начале его заграничного пребывания, замечательную самобытность его ума в отношении к авторитетам западной науки.

Вообще Тютчев, как можно заключать по некоторым данным, хотя и жадно воспринимал в себя сокровища западного знания, но не только без благоговения и подобострастия, а с полной свободой и независимостью. Он с самого начала как бы **судил** Запад. Тот же иностранец приводит слова Тютчева по поводу борьбы Карла X с народным представительством во Франции, разразившейся Июльской революцией... Тютчев даже и тогда проводил различие между революцией как отпором незаконной власти и революцией как теорией, революцией, возведенной в право, в принцип. Он обличал в этой революции присутствие целого нового культа, целого революционного вероисповедания, которое, по мнению Тютчева, связывалось с общим историческим ходом философской и религиозной мысли на Западе. Потому Тютчев еще в 1830 году предсказывал последовательный ряд революций, – неминуемое наступление для Европы революционной эры. Такой взгляд в молодом человеке и в ту именно пору, когда события Июльских дней кружили голову всей молодежи и приветствовались ею с энтузиазмом, а учреждение Июльской конституционной монархии во Франции казалось даже и более зрелым головам чуть не разрешением всех политических задач, прочным залогом народного благоденствия, высшей нормой общественного бытия и прочее, такой взгляд, конечно, обнаруживал редкую самостоятельность.

Не менее поразительным является и написанное им в 1841 году Послание к Ганке[2]. В России, собственно говоря, в Москве в то время только что начинали завязываться непосредственные сношения со славянскими племенами Австрии и Турции; вернее сказать, эти сношения с передовыми людьми славянства существовали и раньше, но только у очень немногих русских ученых, филологов, археологов и историков; почин в этом деле принадлежал М. П. Погодину. Только в начале 40-х годов это стремление к теснейшему сближению со славянским миром стало принимать у нас характер общественный, и значение духовной и племенной связи России со славянами начало постепенно входить в наше историческое

самосознание. Но носителем и представителем такого самосознания был еще очень небольшой кружок, тогда еще и не прозванный «славянофильским». Это московское движение оставалось в то время еще совершенно чуждым и едва ли даже ведомым Тютчеву, и хотя идея панславизма уже бродила тогда между западными славянами, однако же мало была известна немцам, среди которых жил Тютчев. Таким образом, то отношение, в которое Тютчев мыслью и сердцем стал к славянскому вопросу в 1841 году, было его личным делом; его Послание к Ганке написано не с чужого голоса, а есть самостоятельный голос. Он лично посетил Прагу. Вот несколько строк из этого Послания:

Вековать ли нам в разлуке?
Не пора ль очнуться нам
И подать друг другу руки,
Нашим братьям и друзьям?
Веки мы слепцами были,
И как жалкие слепцы,
Мы блуждали, мы бродили,
Разбрелись во все концы...

И вражды безумной семя
Плод сторичный принесло:
Не одно погибло племя
Иль в чужбину отошло.
Иноверец, иноземец
Нас раздвинул, разломил:
Тех обезъязычил немец,
Этих турок осрамил...

Вот среди сей ночи темной
Здесь, на Пражских высотах,
Доблий муж рукою скромной
Засветил маяк впотьмах.
О, какими вдруг лучами

Осветились все края!..
Обличилась перед нами
Вся Славянская земля!

Рассветает над Варшавой,
Киев очи отворил,
И с Москвой золотоглавой
Вышеград заговорил.

И наречий братских звуки
Вновь понятны стали нам, –
Наяву увидят внуки
То, что снилося отцам!

М. П. Погодин в своей статье по поводу кончины Тютчева также свидетельствует, что когда он после 20 лет разлуки с Тютчевым «увидался с ним и услышал его в первый раз, после всех странствий заговорившего о славянском вопросе, то не верил ушам своим», хотя, прибавляет Погодин, «этот вопрос давно уже был предметом моих занятий и коротко мне знаком».

В том же 1841 году написано Тютчевым в Мюнхене стихотворение по случаю перенесения праха Наполеона с острова Святой Елены в Париж. Это событие вдохновило и в России многих наших поэтов, в том числе и Хомякова в Москве.

Но замечательно то, что стихотворения как мюнхенского старожила и дипломата, так и москвича-славянофила сходны между собой в основных, существенных мотивах, которых не затронули другие поэты. И Тютчева, и Хомякова воспоминание о Наполеоне приводит к мысли, что сила этого гордого гения сокрушилась не о вещественную мощь России, а о нравственную силу русского народа, – его смирение и веру. Наконец, оба по поводу завершения, так сказать, Наполеонова эпоса обращают свои взоры к пробуждающемуся Востоку.

Вот отрывки из стихотворения Тютчева о Наполеоне:

Два демона ему служили,
Две силы чудно в нем слились:
В его главе орлы парили,
В его груди змеи вились...
Но освящающая сила,
Непостижимая уму,
Его души не озарила
И не приблизилась к нему.
Он был земной; не Божий пламень,
Он гордо плыл, смиритель волн;
Но о подводный веры камень
В щепы разбился утлый челн.

И ты стоял – перед тобой Россия!
И вещий волхв, в предчувствии борьбы,
Ты сам слова промолвил роковые:
«Да сбудутся ее судьбы!..»
Года прошли, и вот из ссылки тесной
На родину вернувшийся мертвец,
На берегах реки, тебе любезной,
Тревожный дух, почил ты наконец,
Но чуток сон и, по ночам тоскуя,
Порою встав, ты смотришь на Восток...

У Хомякова:

И в те дни своей гордыни
Он пришел к Москве святой,
Но спалил огонь святыни
Силу гордости земной...

И потом:

Скатилась звезда с омраченных небес,
Величье земное во прахе!..
Скажите, **не утро ль с Востока встает?**
Не новая ль жатва над прахом растет? *и проч.*

В статье «Россия и Германия», написанной и напечатанной им за границей в 1844 году, уже намечаются автором, еще слегка и неполно, черты его политической и исторической думы, которой полное выражение мы находим в его позднейших статьях, стихах и письмах. В этом письме своем к д-ру Кольбу он прямо противопоставляет Западной Европе – «Европу Восточную», то есть Россию; он называет Россию «целым **миром**, единым в своем основном духовном начале», «более искренне-христианским, чем Запад», «империю Востока, для которой первая империя византийских кесарей служила лишь слабым и неполным предначертанием и которой остается лишь окончательно сложиться, – что неминуемо, в чем и заключается так называемый Восточный вопрос». Не подлежит сомнению, что подобное политическое вероисповедание не было в то время еще никем заявлено в русской литературе, особенно так прямо и положительно, и нельзя не удивляться спокойной смелости, с которой Тютчев решился высказать его пред лицом Европы. Конечно, как мы и выразились, мысль его в этой статье очерчена только слегка, но этот очерк как бы уже намекает на целый строй вполне выработанных, проверенных и усвоенных себе автором политических убеждений.

Мы с намерением перечислили здесь все документальные данные, свидетельствующие о том, что еще за границей, вполне самостоятельно и своеобразно, сложилось у Тютчева то русское миросозерцание, которое одновременно вырабатывалось и проповедовалось в Москве Хомяковым и его друзьями, которое навлекло на них столько насмешек и прозвищ (между прочим, «славянофилов» и «квасных патриотов»), столько упреков и обвинений (между прочим, в ретроградности и в обскурантизме) и приводило в такое негодование наших русских поклонников западноевропейской цивилизации. Ко всему этому следует присоединить воспоминание Ю. Ф. Самарина о том, что в начале 40-х годов, еще до переселения Тютчева в Россию, на одном из тех московских вечеров, где, по тогдашнему обыкновению, происходили жаркие препи-

рательства между «Западом» и «Востоком», присутствовал недавно приехавший из Мюнхена князь Иван Гагарин и, слушая Хомякова, невольно воскликнул: «Je crois entendre parler Tutcheff! Le malheureux, comme il va donner la dedans!” (Кажется, я слышу Тютчева! Несчастный, как он влепится во все это!) Почти никто из присутствовавших не знал имени Тютчева, и это восклицание не обратило тогда на себя никакого внимания. Наконец Тютчев – в России, знакомится с петербургским и московским обществом и, не обинуясь, на чистейшем французском диалекте, не надевая ни мурмолки, ни святославки, а являясь вполне европейцем и светским человеком, проповедует на основании своей собственной аргументации учение почти одинаково дикое, как и учение Хомякова, К. С. Аксакова и им подобных. Рассказывают, что особенно забавно бывало видеть Чаадаева и Тютчева вместе и слушать их споры. Чаадаев не мог не ценить ума и дарований Тютчева, не мог не любить его, не мог не признавать в Тютчеве человека вполне европейского, более европейского, чем он сам, Чаадаев; пред ним был уже не последователь, не поклонник западной цивилизации, а сама эта цивилизация, сам Запад в лице Тютчева, который к тому же и во французском языке был таким хозяином, как никто в России и редкие из французов... Чаадаев глубоко огорчался и даже раздражался таким неприличным, непостижимым именно в Тютчеве заблуждением, **аберрацией**, русоманией ума, просветившегося знанием и наукой у самого источника света, непосредственно от самой Европы. Чаадаев утверждал, что русские в Европе как бы незаконнорожденные (une nation batarde); Тютчев доказывал, что Россия – особый мир, с высшим политическим и духовным призванием, пред которым должен со временем преклониться Запад. Чаадаев настаивал на том историческом вреде, который нанесло будто бы России принятие ею христианства от Византии и отделение от церковного единства с Римом; Тютчев, напротив, именно в православии видел высшее просветительное начало, залог будущности для России и всего славянского мира и полагал, что духовное обновление возможно для Запада только

в возвращении к древнему вселенскому преданию и древнему церковному единству. Эту мысль свою он исповедует гласно, пред всем миром, в статье, напечатанной в парижском журнале (“La Papaut et la Question Romaine” (“Папство и римский вопрос”). – “Revue des Deux Mondes”, 1850 г.) и если не убедившей, то поразившей европейскую публику необычной, даже для нее, талантливостью, глубиной, смелостью мысли и мастерством изложения. Чаадаев и его друзья-”западники” признавали западноевропейскую цивилизацию единственным идеалом в России и прогресс этой цивилизации – высшей целью высших стремлений человеческого духа; Тютчев обличал в этой цивилизации оскудение духовного начала и пророчил, что, уклонясь от оснований веры, объязычившись и проникнувшись принципом материализма, она дойдет до самоотрицания и до самозаклания. “Западникам”, наконец, будущее Западной Европы представлялось в самом розовом цвете, и в ее революционных сотрясениях они усматривали поступательное движение вперед, сулили в грядущем благо всему человечеству; Тютчев объявлял начало революционной эры в Европе началом ее падения, принципом разрушительным, а не созидательным, основанным на насилии, на отрицании, на самообожании человеческого разума, и высказывал свои воззрения во всеуслышание всей Европе в статье: «La Russie et la Revolution”, напечатанной в Париже, статье, которая произвела за границей сильное впечатление, которая в извлечениях была два раза перепечатываема (с промежутком в шесть лет) “Revue des Mondes”, не забыта даже и теперь. “Западники”, даже и демократы, с презрением и глумлением относились к русскому простому народу, а Тютчев сам, несомненно, питомец гордого и красивого Запада, – вот что способен был говорить про этот русский народ:

Эти бедные селенья,
Эта скудная природа –
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа.

Не поймет и не заметит
Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В наготе твоей смиренной.

Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь небесный
Исходил, благословляя...

И вот чего чаял он в будущем этому краю смирения и долготерпения, вот с какими стихами обращался поэт к России во время последней Восточной войны, когда почти вся христианская Западная Европа в союзе с мусульманами и во имя цивилизации домогалась нашего уничижения и гибели:

...Ложь воплотилася в булат, –
Каким-то Божьим попущеньем,
Не целый мир, но целый ад
Тебе грозит ниспроверженьем.

Все богохульные умы,
Все богомерзкие народы
Со дна воздвиглись царства тьмы –
Во имя света и свободы!

Тебе они готовят плен,
Тебе пророчат посрамленье,
Ты – лучших будущих времен
Глагол, и жизнь, и просвещенье!

Россия – глагол, просвещенье, жизнь человечества лучших будущих времен... Так вот к какому чаянию привело Тютчева двадцатидвухлетнее воспитание в европейской умственной школе! Так вот на что послужили ему все дары

западного просвещения!.. Только на удобрение почвы для взращения русской самостоятельной мысли, только на оправдание и укрепление врожденного чувства любви к России!.. Здесь опять нельзя не поразиться совпадением стихов Тютчева в основных тонах со стихами Хомякова – двух поэтов, так мало сходных своей личной судьбой. Припомним стихи Хомякова:

И другой стране **смиренной,**
Полной веры и чудес,
Бог отдаст судьбу вселенной,
Меч земли и гром небес!

Или:

И вот **за то, что ты смиренна,**
Что в чувстве детской простоты,
В молчанье сердца сокровенна
Глагол Творца прияла ты,
Тебе он дал свое призванье,
Тебе он светлый дал удел.

Далее:

Твое все то, чем дух святится,
В чем сердцу слышен глас Небес,
В чем жизнь грядущих дней таится,
Начало славы и чудес!
О, вспомни свой удел высокий,
Былое в сердце воскреси,
И в нем сокрытого глубоко
Ты духа жизни допроси.

Внимай ему – и все народы
Обняв любовию своей,
Скажи им таинство свободы,
Сиянье веры им пролей.

И станешь в славе ты чудесной
Превыше всех земных сынов,
Как этот синий свод небесный,
Прозрачный Вышнего покров!

Но если в Хомякове, человеке, **жившем в церкви**, по выражению Ю. Ф. Самарина (в его предисловии к богословским сочинениям Хомякова), такое отношение к христианским свойствам русского народа и к хранимой народом истине веры вполне понятно, то тем труднее объяснить подобное явление в Тютчеве, жившем, по-видимому, совершенно вне церкви, во всяком случае, вне церковной бытовой русской стихии, развившемся умственно и нравственно в чуждой, враждебной России европейской среде. Особенно странным кажется это теплое сочувствие к той нравственной стороне русской народности, которая менее всего ценится, и особенно мало ценилась в то время людьми западноевропейского образования, склонными чествовать красивую гордость и нарядный героизм, но уже никак не «смирение»... Но в Тютчеве оно объясняется отчасти психологически: мы уже постарались выше охарактеризовать его внутренний душевный строй, указали на присутствие в нем самом смирения и скромности не как сознательно усвоенной добродетели, а как личного, врожденного и как общего **народного** свойства. Мы видели также, что поклонение своему **я** было ему ненавистно, а поклонение человеческому **я** вообще представлялось ему обоготворением ограниченности человеческого разума, добровольным отречением от высшей, недосягаемой уму абсолютной истины, от высших надземных стремлений, – возведением человеческой личности на степень кумира, началом материалистическим, гибельным для судьбы человеческих обществ, воспринявших это начало в жизнь и в душу. Этот взгляд проведен им как философское убеждение во всех его блестящих французских статьях, о которых мы упомянули выше, и он же как нравственный мотив, как Grundton звучит и во всей его поэзии. Вот эта-то психическая особенность Тютчева, признанная и

оправданная его глубоким умом, наукой, знанием, она-то и оградила его духовную самобытность и не только сохранила в нем русского человека, но еще дала ему возможность уразуметь русские народные нравственные идеалы, вынести и пронести их в себе на чужбине, без всякого непосредственного на него воздействия русского быта, из самого котла европейской цивилизации, сквозь все обольщения западной жизни, сквозь всю одуряющую суету светской среды, сквозь все блуждания личного нравственного бытия... Он не изменил им ни мыслью, ни сердцем в течение всей остальной половины своего существования. Вся его умственная деятельность в России была только дальнейшим развитием и исповеданием тех начал и взглядов, которые мы очертили и которые в главных своих основаниях выработались у него за границей. Ничто не раздражало его в такой мере, как скудость национального понимания в высших сферах, правительственных и общественных, как высокомерное, невежественное пренебрежение к правам и интересам русской народности. Его ирония, обыкновенно необидная, становилась едкой; он сыпал сарказмами в речах и стихах:

Напрасный труд!
Нет, их не вразумишь! –

так гласила одна его напечатанная импровизация:

Чем либеральней, тем они пошлее!
Цивилизация – для них фетиш,
Но недоступна им ее идея.
Как перед ней ни гнитесь, господа,
Вам не снискать признанья от Европы:
В ее глазах вы будете всегда
Не **слуги** просвещенья, а **холопы**!

И сколько таких импровизаций ненапечатанных и неудобопечатных!..

Мы не станем излагать в подробности всей его довольно тщательно разработанной философско-исторической системы: ниже, в особом отделе, читатели найдут полный разбор его статей, напечатанных и рукописных. Нам только было нужно здесь же, в дополнение к нравственной характеристике Тютчева, выяснить самостоятельность его духовной природы, указать размах его русской мысли и чувства, а вместе с тем новый вид того раздвоения, противоречия, которым удручила его судьба...

В самом деле, не странно ли, что при всей резкости народного направления мысли в Тютчеве наш высший свет, high-life, не только не отвергал Тютчева и не подвергал равному со славянофилами осмеянию и гонению, но всегда признавал его своим, – по крайней мере, интеллигентный слой этого света. Конечно, этому причиной было то обаяние всесторонней культуры, которое у Тютчева было так нераздельно с его существом и влекло к нему всех, даже несогласных с его политическими убеждениями. Эти убеждения признавались достойными сожаления крайностями, оригинальностью, капризом, парадоксальностью сильного ума и охотно прощались Тютчеву ради его блестящего остроумия, общительности, приветливости, ради утонченно-изящного европеизма всей его внешности. К тому же все «национальные идеи» Тютчева представлялись обществу чем-то **отвлеченным** (чем, по-видимому, они в нем и были отчасти), делом **мнения** (une opinion comme une autre!), а не делом жизни. Действительно, они не вносили в отношения Тютчева к людям ни исключительности, ни нетерпимости; он не принадлежал ни к какому литературному лагерю и был в общении с людьми всех кругов и станов; они не видоизменяли его привычек, не пересоздавали его частного быта, не налагали на него никакого клейма ни партии, ни национальности... Но точно ли весь этот русский элемент в Тютчеве был только отвлеченной мыслью, только делом одного мнения? Нет: любовь к России, вера в ее будущее, убеждение в ее верховном историческом призвании владели Тютчевым могущественно, упорно, безраздельно, с самых ранних лет и до последнего

вздыхания. Они жили в нем на степени какой-то стихийной силы, более властительной, чем всякое иное, личное чувство. Россия была для него высшим интересом жизни: к ней устремлялись его мысли на смертном одре... А между тем странно в самом деле подумать, что стихотворение по случаю посещения русской деревни (**ах нет, не здесь, не этот край безлюдный был для души моей родимым краем**) и стихотворение: «Эти бедные селенья, эта скудная природа» написаны одним и тем же поэтом; что эта любовь к русскому народу не выносила жизни с ним лицом к лицу и уживалась только с петербургской, высшей общественной, почти европейской средой? Но такое противоречие создано было Тютчеву самой судьбой. Что же делать, если всю молодость, лучшие 22 года, он провел за границей; если он был связан с чуждой землей всеми дорогими воспоминаниями сердца, долголетними привычками быта, самым воспитанием своего ума? Подобно тому, как за границей, в его германском или итальянском далеке, Россия представлялась ему не в подробностях и частностях, а в своем целом объеме, в своем общем значении, – не с точки зрения нынешнего дня, а с точки зрения мировой истории: подобно тому продолжал он смотреть на Россию и в России, не смущаясь злобой дня, не нуждаясь в более тесном соприкосновении с русской действительностью. Не следует забывать, что он был поэт, а поэтические представления довольствуют поэта более, чем грубая реальность.

Но тем не менее в области этого идеального представления и убеждение, и чувство его были сильны, страстны, истинны и не отвлеченны, а реальны.

Нет сомнения, что явление, подобное Тютчеву, должно казаться аномалией, но такими аномалиями полна история нашего русского общественного роста. На французском языке пришлось и Хомякову высказать свои заветнейшие убеждения о православии – это драгоценнейшее творение русской мысли, русского верующего духа; на французском языке выражает и Тютчев русское историческое самосознание... Читая его, зная все обстоятельства его жизни, только дивишься силе, упруго-

сти русского чувства и русского гения и еще более веришь в великое мировое предназначение России.

Обратимся теперь к Тютчеву – как стихотворцу и как публицисту.

IV

Тютчев принадлежал, бесспорно, к так называемой пушкинской плеяде поэтов. Не потому только, что он был им всем почти сверстником – по летам, но особенно потому, что на его стихах лежит тот же исторический признак, которым отличается и определяется поэзия этой эпохи. Он родился, как мы уже сказали, в 1803 году, следовательно, в один год с поэтом Языковым, за несколько месяцев до Хомякова, за два года до Веневитинова, пять лет спустя после Дельвига, четыре года после Пушкина, три после Баратынского, – одним словом, в той замечательной на Руси полосе времени, которая была так обильна поэтами. Нельзя же, конечно, полагать, что такой период поэтического творчества настал совершенно случайно. Мы, со своей стороны, видим в нем необходимую историческую ступень в прогрессивном ходе русского просвещения. Известно, что вообще в истории человеческих обществ художественное откровение предваряет медленный рост сознательной мысли; творческая деятельность искусств, требуя еще не раздробленной цельности духа, предшествует аналитической работе ума. Нечто подобное видим мы и в поэзии, и особенно у нас, разумея здесь поэзию не как психическое начало, нераздельное с человеческой душой, и не как поэзию на степени народной песни, а как особый, высший вид искусства – искусство в слове, выражающееся в мерной речи или стихотворной форме. По особым условиям нашей исторической судьбы за последние полтора века на долю литературной поэзии, при слабом воздействии у нас науки, досталось высокое призвание быть почти единственной воспитательницей русского общества в течение довольно долгой поры. Сдвину-

тое реформой Петра со своих исторических духовных основ в водоворот чуждой духовной жизни, русское общество, как и понятно, утратило равновесие духа, «заторопилось жить и чувствовать» (по выражению князя Вяземского), не выжидая, пока обучится, и рвалось обогнать тугой, по необходимости, рост своего просвещения. Можно сказать, что пламя поэзии вспыхнуло у нас от самых первых, слабых искр европейского знания, пользуясь готовой чужой стихотворной формой, и что даже первый свет сознательной деятельности в области науки возжегся нам рукой поэта: ибо поэтическое вдохновение окрылило в Ломоносове труды ученого. Затем ход самостоятельного нашего познавания замедляется, но поэтический дух продолжает свою творческую работу в одиноком лице Державина. Однако и после него поэзия была только еще в начале своего поприща; еще не был даже покорен искусству самый его материал – слово. Раздались звуки поэзии Жуковского, Батюшкова и некоторых других, но не они были призваны к тому могучему и плодотворному властительству над умами, которое было суждено русской поэзии.; Ей предстояло силой высших художественных наслаждений совершить в русском обществе тот духовный подъем, который был еще не под силу нашей школьной несамостоятельной науке, и ускорить процесс нашего народного самосознания.

Ей, наконец, выпала историческая задача проявить в данной стихотворной форме все разнообразие, всю силу и красоту русского языка, возделать его до гибкости и прозрачности, способной выражать наитончайшие оттенки мысли и чувства. Разработка слова в стихотворной форме имела, несомненно, свою великую важность. В этом отношении труды даже второстепенных, мелких наших стихотворцев не лишены исторического значения и заслуги. Можно возразить, что то же делали и прозаики... Конечно, так, но особенность поэзии и преимущество ее над прозой в том именно и состоят, что ей раскрывается тайна гармонии языка, что только поэзия властна из самых недр его извлечь тот музыкальный элемент (необходимо присущий каждому языку), который до-

сказывает, дополняет внешний смысл выражений, передает неуловимо то, что лишь чувствуется и ощущается, и то же в слове, что запах в цветах.

Таким образом, стихотворческой деятельности в России надлежало достигнуть до крайнего своего напряжения, развиться до апогея. Для этого необходимым был высший поэтический гений и целый сонм поэтических дарований. Странным может показаться, почему складывать речь известным размером и замыкать ее созвучиями становится в данную эпоху у некоторых лиц неудержимым влечением с самого детства. Ответ на это дает, по аналогии, история всех искусств. Когда вообще в духовном организме народа наступает потребность в проявлении какой-либо специальной силы, тогда, для служения ей, неисповедимыми путями порождаются на свет Божий люди с одним общим призванием, однако ж со всем разнообразием человеческой личности, с сохранением ее свободы и всей видимой, внешней случайности бытия.

Поэтическому творчеству в новой у нас мерной речи суждено было стать в России на историческую чреду, и вот в урочный час словно таинственной рукой раскидываются по воздуху семена нужного таланта, и падут они, как придется, то на Молчановке в Москве на голову сына гвардии капитан-поручика Пушкина, который уже так и родится с неестественной, по-видимому, наклонностью к рифмам, хореям и ямбам, то в тамбовском селе Маре на голову какого-нибудь Баратынского, то в брянском захолустье на Тютчева, которого отец и мать никогда и не пробовали услаждать своего слуха звуками русской поэзии.

Очевидно, что в этих, равно и в других, им современных поэтах стихотворство, бессознательно для них самих, было исполнением не только **их личного**, но и **исторического** призвания эпохи. В самых мелких своих проявлениях оно уже имеет у них вид какого-то священнодействия. Вот почему оно и отличается от поэтической деятельности позднейшего периода совершенно особым характером поэзии, – как самостоятельного явления духа, поэзии бескорыстной,

самой для себя свободной, чистой, не обращенной в средство для достижения посторонней цели, – поэзии, не знающей тенденций. Их стихотворная форма дышит такой свежестью, которой уже нет и быть не может в стихотворениях позднейшей поры; на ней еще лежит недавний след победы, одержанной над материалом слова, слышится торжество и радость художественного обладания. Их поэзия и самое их отношение к ней запечатлены **искренностью,** – такой искренностью, которой лишена поэзия нашего времени: это как бы еще **вера** в искусство, хотя бы и несознанная. Такой период искренности, по нашему крайнему разумению, повториться едва ли может. Вот уже 350 лет сряду сотни художников чуть не ежедневно изучают «манеру» Рафаэля; краски усовершенствованы, технические приемы облегчены; но, несмотря на даровитость и горячее усердие этих художников, все их усилия перенять его манеру тщетны и пребудут тщетны; невозможно им усвоить себе ту искренность, то **простодушие** творчества, которыми веет от созданий Рафаэля, подобно тому, как невозможно человеку XIX века стать человеком XVI... Это не значит, чтоб мы отвергали всякую будущность для искусства.

Бесконечное развитие человеческого духа может явить еще новые, неведомые его стороны; может возникнуть новое, высшее единство духа, обретется новая цельность, аналитический процесс мысли разрешится, быть может, в синтезе; наконец, новые народы принесут с собой новые виды художеств. Всего этого мы, конечно, не отрицаем; но мы разумеем здесь известное **историческое** проявление искусства, и никто не станет спорить, что, например, греческое искусство, оставаясь по своему значению бессмертным мировым двигателем в истории человеческого просвещения, тем не менее отжило свой век, как отжила его и сама Эллада. Но возвратимся к судьбе русской поэзии.

Стихотворная форма, сделавшись впоследствии общим достоянием, явилась и богаче, и разнообразнее в техническом отношении. Можно привести тысячи новейших стихов

несравненно сильнее и звучнее, например стихов «Евгения Онегина», но преимущество прелести, – прелести, неуловимой никаким анализом, независимой от содержания, – вечно пребудет за любыми стихами Пушкина и других некоторых поэтов этого поэтического периода: от них никогда не отымется свежесть формы и искренность творчества, как их историческая печать. Пушкин имел полное право сказать в следующих прекрасных стихах, столько осмеянных новейшей петербургской критикой **позитивистской** школы:

Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв:
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.

Эти «сладкие звуки» были нужны, были серьезным, **необходимым, историческим**, а потому в высшей степени полезным делом. Вот чего, в своей близорукости, и не понимает эта критика, неспособная стать на историческую точку зрения, прилагающая к нашим великим поэтам прошлой эпохи мерило злобы нынешнего дня и осуждающая их именно за то, что они были только поэты, художники, а не политические и социальные деятели в духе новейших, быстро меняющихся доктрин и теорий.

На рубеже этого периода искренности нашей поэзии стоит Лермонтов. По непосредственной силе таланта он примыкает ко всему этому блестящему созвездию поэтов, однако же стоит особняком. Его поэзия резко отделяется от них отрицательным характером содержания. Нечто похожее (хотя мы и не думаем их сравнивать) видим мы в Гейне, замкнувшем собой цикл поэтов Германии. От отрицательного направления до тенденциозного, где поэзия обращается в средство и отодвигается на задний план, один только шаг. Едва ли он уже не пройден. На стихотворениях нашего времени уже не лежит, кажется нам, печати этой **исторической необходимости** и искренности, потому что самая историческая миссия стихотворства, как мы

думаем, завершилась. Они могут быть, они и действительно более или менее талантливы, но или звучат как отголоски знакомого прошлого, уже лишенные прежнего обаяния, или же преисполнены внешних, чуждых искусству тенденций.

Впрочем, при ненормальном ходе русского общественного развития, ввиду того, что наше просвещение далеко не выражает жизни нашего народного духа, что не все струны народной души прозвучали, что самая стихотворная наша форма была и есть заемная, может быть, для русской поэзии еще настанет период возрождения в новой, неведомой доселе, своеобразной, более народной форме. **Может быть**: это не несомненная надежда, а только гадание.

Стихи Тютчева представляют тот же характер внутренней искренности и необходимости, в котором мы видим исторический признак прежней поэтической эпохи. Вот почему он и должен быть причислен к пушкинскому периоду, хотя, по особенной случайности, его стихи проникли в русскую печать уже тогда, когда почти отзвучали песни Пушкина и прочих наших поэтов, когда время властительства поэзии над умами уже миновало. Десятками лет пережил Тютчев и Пушкина, и весь его поэтический период, но оставался верен себе и своему таланту. Не переставая быть «современнейшим из современников» по своему горячему сочувствию к совершающейся кругом его жизни, он среди диссонансов новейшей поэзии продолжал дарить нас гармонией старинного, но никогда не стареющего поэтического строя. Он был среди нас подобно мастеру какой-либо старой живописной школы, еще живущей и творящей в его лице, но не допускающей ни повторения, ни подражания.

Отметив эту общую историческую черту его поэзии, перейдем теперь к особенностям его таланта.

Стихи Тютчева отличаются такой **непосредственностью творчества**, которая, в равной степени, по крайней мере, едва ли встречается у кого-либо из поэтов. Поэзия не была для него сознанной специальностью, своего рода литературным Fach (специальность, профессия, область занятий), как выражают-

ся немцы, общественным, официальным положением или же такой обязанностью, которую и сам поэт невольно признает за собой, признают и другие за ним; напротив, до 1836 года, как уже было сказано, никто в нем и не признает поэта, то есть до той поры, как служивший в Мюнхене князь Иван Гагарин, собрав целую тетрадь его стихотворений, привез ее к Пушкину, и Пушкин дал им место в своем «Современнике», хотя и без подписи полного имени Тютчева. С 1840 года его стихи снова перестают появляться в печати, и такое воздержание от печатной гласности продолжается четырнадцать лет, в течение которых Тютчев не напечатал ни строчки, хотя и не переставал писать. Но как писать? На вопрос: «Над чем вы теперь работаете?» – он не мог бы отвечать, подобно другим: «Пишу стихи: вчера кончил стихотворение к Аглае, сегодня доделаю Огнедышащую гору; имею намерение обработать в стихах такой-то сюжет». Он был поэт по призванию, которое было могущественнее его самого, но не по **профессии**. Он священнодействовал, как поэт, но не замечая, не сознавая сам своего священнодействия, не облекаясь в жреческую хламиду, не исполняясь некоторого благоговения к себе и своему жречеству. Его ум и его сердце были, по-видимому, постоянно заняты: ум витал в области отвлеченных, философских или исторических помыслов; сердце искало живых ощущений и треволнений; но прежде всего и во всем он был поэт, хотя собственно стихов он оставил по себе сравнительно и не очень много. Стихи у него не были плодом **труда**, хотя бы и вдохновенного, но все же труда, подчас даже усидчивого у иных поэтов. Когда он их писал, то писал невольно, удовлетворяя настоятельной, неотвязчивой потребности, потому что он не мог их не написать: вернее сказать, он их не писал, а только **записывал**. Они не **сочинялись**, а **творились**. Они сами собой складывались в его голове, и он только ронял их на бумагу, на первый попавшийся лоскуток. Если же некому было припрятать к месту оброненное, подобрать эти лоскутки, то они нередко и пропадали. Эти-то лоскутки и постарался подобрать князь И. Гагарин, когда вздумал показать стихи

Тютчева Пушкину; но очень может быть, что многое пропало и истребилось безвозвратно. К Тютчеву именно применяются слова гетевского певца:

Ich singe wie der Vogel singt,
Der in den Zweigen wohnet;
Das Lied, das aus der Kehle dringt,
Ist Lohn, der reichlich lohnet

(В русском переводе К. С. Аксакова:
Пою, как птица волен, я,
Что по ветвям летает,
И песнь свободная моя
Богато награждает.)

В самом деле, в чем же состояла **награда**, Lohn, певца Тютчева, во время его 22-летнего пребывания за границей, как не в самой спетой песне, никем, кроме его, не слышимой? Условием всякого преуспеяния таланта считается сочувственная среда, живой обмен впечатлений. А Тютчеву четверть века приходилось петь как бы в безвоздушном пространстве. Когда читаешь, например, его стихи, писанные к первой жене и к другим иностранкам, ни слова не знавшим по-русски, да едва ли подозревавшим в нем поэта, невольно спрашиваешь себя: для чего же и для кого он писал? Уже гораздо позднее, в России, когда подросли его дочери и вторая его супруга выучилась по-русски, стали тщательно наблюдать за ним и подбирать лоскутки с его стихами, а иногда и записывать стихи прямо под его диктовку. Так, однажды, в осенний дождливый вечер, возвратясь домой на извозчичьих дрожках, почти весь промокший, он сказал встретившей его дочери: «J'ai fait quelques rimes» (я сочинил несколько стихов), и пока его раздевали, продиктовал ей следующее прелестное стихотворение:

Слезы людские, о слезы людские,
Льетесь вы ранней и поздней порой,

Льетесь безвестные, льетесь незримые,
Неистощимые, неисчислимые,
Льетесь, как льются струи дождевые,
В осень глухую, порою ночной...

Здесь почти нагляден для нас тот истинно-поэтический процесс, которым внешнее ощущение капель частого осеннего дождя, лившего на поэта, пройдя сквозь его душу, претворяется в ощущение слез и облекается в звуки, которые, сколько словами, столько же самой музыкальностью своей воспроизводят в нас и впечатление дождливой осени, и образ плачущего людского горя... И все это в шести строчках!

Еще более объяснится нам характер его поэтического творчества, когда мы припомним, что этот человек, по его собственному признанию, тверже выражал свою мысль по-французски, нежели по-русски, свои письма и статьи писал исключительно на французском языке и, конечно, на девять десятых более говорил в своей жизни по-французски, чем по-русски. А между тем стихи у Тютчева творились **только по-русски**. Значит, из глубочайшей глубины его духа била ключом у него поэзия, из глубины, недосягаемой даже для его собственной воли; из тех тайников, где живет наша первообразная природная стихия, где обитает самая правда человека... Здесь кстати привести то, что сам Тютчев высказал уже в 1861 году, в стихах на юбилей князя Вяземского, по поводу «музы» этого замечательного в своем роде поэта:

Давайте ж, князь, поднимем в честь богини
Ваш полный пенистый фиал,
Богине в честь, **хранившей благородно**
Залог всего, что свято для души, –
Родную речь...

Тютчев мог еще с большим основанием обратить это воззвание к своей собственной музе.

Само собой разумеется, что при подобном процессе творчества Тютчев не способен был ничего творить в обширном размере. Поэтому самые лучшие его стихотворения – короткие; они цельны, словно отлиты из одного куска чистого золота. В его таланте, как уже и замечено было нашими критиками, нет никаких эпических или драматических начал. Его поэзия, как выразились бы немецкие эстетики, вполне **субъективна**; ее повод – всегда в личном ощущении, впечатлении и мысли; она не способна отрешаться от личности поэта и гостить в области вымысла, в мире внешнем, отвлеченном, чуждом его личной жизни. Он ничего не выдумывал, а только **выражался**. Он не был тем maestro, тем художником-хозяином в поэзии, каким, например, является Пушкин, этот полновластный распорядитель звуков и форм, разнообразно направлявший силы своего гения по указанию своей свободной поэтической воли, умевший творить не одним мгновенным наитием вдохновения, но и медленным вдохновенным трудом. Да и у всех поэтов рядом с непосредственным творчеством слышится **делание**, обработка. У Тютчева деланного нет ничего: все творится. Оттого нередко в его стихах видна какая-то внешняя небрежность: попадаются слова устарелые, вышедшие из употребления, встречаются неправильные рифмы, которые при малейшей наружной отделке легко могли бы быть заменены другими.

Этим определяется и отчасти ограничивается его значение как поэта. Но это же придает его поэзии какую-то особенную прелесть задушевности и личной искренности. Хомяков – сам лирический стихотворец – говорил и, по нашему мнению, справедливо, что не знает других стихов, кроме тютчевских, которые бы служили лучшим образом **чистейшей** поэзии, которые бы в такой мере, насквозь, durch und durch, были проникнуты поэзией…

Мы разумеем здесь, конечно, лучшие произведения Тютчева, те, которыми характеризуется его стихотворчество, а не те, которые, уже в позднейшее время, он иногда заставлял писать себя на известные случаи вследствие обращенных к нему требований и ожиданий. Замечательно, что в стихотворениях

его самой ранней молодости нет почти вовсе той свободы творчества, которой мы так любуемся в его поэзии. Это особенно видно в тех пьесах, которые, хотя и были напечатаны в 20-х годах, однако же не включены в полное собрание его стихотворений. В них встречаются условные приемы, обороты и выражения тогдашней псевдоклассической школы, например:

И мне ль, друзья, сей гимн веселый
Мне ль петь на лире онемелой? *и т. д.* –

одним словом – что-то тяжелое, принужденное, совершенно чуждое позднейшим свойствам его поэзии. Вероятно, Тютчев еще находился тогда под некоторым влиянием или подражал приемам своих недавних учителей, Раича и Мерзлякова. Но через несколько лет по переезде за границу он как будто стряхнул с себя путы русской эстетики того времени и сбросил навязанное ему звание «певца». Он перестает сочинять и печатать, отказывается от притязаний на авторство, но тут-то и является внезапно поэтом: его творчество обрело свободу, он стал самим собой. Стихи Тютчева не выдаются особенно бойкостью, наружной красивостью, силой и звучностью; но взамен этих качеств они отличаются совершенно своеобразной фактурой; их мелодичность не похожа на музыкальный строй, если не одинаковый, то довольно общий у прочих наших поэтов. Что особенно пленяет в поэзии Тютчева, – это ее необыкновенная грация, не только внешняя, но еще более внутренняя. Все жесткое, резкое и яркое чуждо его стихам; на всем художественная мера; все извне и изнутри, так сказать, обвеяно изяществом.

Самое вещество слова как бы теряет свою вещественность, которой именно так любят играть и щеголять некоторые поэты, которая составляет своего рода специальную красоту в стихах, например, Языкова. Вещество слова у Тютчева как-то одухотворяется, становится прозрачным. Мыслью и чувством трепещет вся его поэзия. Его музыкальность не в одном внешнем гармоническом сочетании звуков

и рифм, но еще более в гармоническом соответствии формы и содержания.

Почти все стихотворения Тютчева равно грациозны и музыкальны, но приведем теперь для примера хоть некоторые из них, где это свойство его поэзии, при относительной незначительности содержания, выступает, так сказать, на первый план.

Вот, например, одно из самых молодых стихотворений, уже упомянутое нами, написанное, может быть, лет 45 тому назад и внушенное ему 16-летней красавицей за границей:

Я помню время золотое,
Я помню сердцу милый край,
День вечерел, мы были двое;
Внизу, в тени, шумел Дунай.

И на холму, там, где белея
Руина замка вдаль глядит,
Стояла ты, младая фея,
На мшистый опершись гранит,

Ногой младенческой касаясь
Обломков груды вековой...
И солнце медлило, прощаясь
С холмом, и с замком, и с тобой.

Ты беззаботно вдаль глядела.
Край неба дымно гас в лучах.
День догорал; звучнее пела
Река в померкших берегах.

И ты с веселостью беспечной
Счастливый провожала день,
И сладко жизни быстротечной
Над нами пролетала тень.

Как грациозна эта картина летнего вечера и молодой девушки у развалин старого замка, озаренной догорающими лучами солнца, – какая мягкость тонов и нежность колорита! С трудом верится, что это стихотворение, написанное, если не ошибаемся, в ранней молодости, принадлежит поэту, который еще незадолго перед тем, под влиянием образцов так называемой русской классической поэзии, считал себя обязанным петь в важном и напыщенном тоне и добровольно сковывал свое творчество, пока не махнул рукой на «сочинительство», на печать и на всякую авторскую славу. А вот другое, из позднейшей поры, написанное уже в 60-х годах; вот в каком легком и изящном образе выражено им нравственное изнеможение:

О, этот Юг, о, эта Ницца,
О, как их блеск меня тревожит!
Мысль, как подстреленная птица,
Подняться хочет и не может;
Нет ни полета, ни размаху,
Висят подломанные крылья,
И вся дрожит, прижавшись к праху,
В сознаньи грустного бессилья...

Впрочем, трудно выбрать стихотворение, которое служило бы примером только одной грациозности. Это свойство его поэзии неразлучно с каждым проявлением его поэтического творчества, как увидит далее и сам читатель.

Но где Тютчев является совершенным мастером, мало имеющим себе подобных, это в изображении картин природы. Нет, конечно, **сюжета** более избитого стихотворцами всего мира. К счастью, сам сюжет, то есть сама природа, от этого нисколько не опошливается и ее действие на дух человеческий не менее неотразимо. Сколько бы тысяч писателей ни пыталось передать нам ее язык, – всегда и вечно он будет звучать свежо и ново, как только душа поэта станет в прямое общение с душой природы. Оттого и картины Тютчева исполнены такой же бессмертной красоты, как бессмертна красо-

та самой природы. Вообще, верность изображения не только того, что зовется «природой», но и всякого предмета, явления и даже ощущения заключается вовсе не в обилии подробностей, вовсе не в аккуратной передаче всякой, даже самой мелкой черты, вовсе не в той фотографической точности, которой так хвалятся **художники-реалисты** позднейшего времени. Многие из наших новейших писателей любят кокетничать наблюдательностью и, думая изобразить чью-либо физиономию, перечисляют углы и изгибы рта, губ, носа, чуть не каждую бородавку на лице; если же рисуют быт, то с неумолимой отчетливостью передают каждую ничтожную частность, иногда совершенно случайную, зыбкую, вовсе не типичную... Они только утомляют читателя и нисколько не уловляют внутренней правды. Истинный художник, напротив того, изо всех подробностей выберет одну, но самую характерную; его взор тотчас угадывает черты, которыми определяется весь внешний и внутренний смысл предмета, и определяется так полно, что остальные черты и подробности сами уже собой досказываются в воображении читателя. Воспринимая впечатление от наружности ли человеческой, от иных ли внешних явлений, мы прежде всего воспринимаем это впечатление непосредственно, еще без анализа, еще не успевая, да иногда и не задаваясь трудом изучить и разобрать все соотношения линий и всю игру мускулов в физиономии или же все формы и движения частей, составляющих, например, картину природы. Следовательно, художественная задача – не в том чтоб сделать рабский снимок с натуры (что даже и невозможно), а в **воспроизведении того же именно впечатления**, какое произвела бы на нас сама живая натура. Это умение передавать несколькими чертами всю целость впечатления, всю реальность образа требует художественного таланта высшей пробы и принадлежит Тютчеву вполне, особенно в изображениях природы. Кроме Пушкина, мы даже не можем и указать кого-либо из прочих наших поэтов, который бы владел этой способностью **в равной мере** с Тютчевым. Описания природы у Жуковского, Баратынского, Хомякова, Языкова иногда пре-

красны, звучны и даже верны, но это именно **описание**, а не **воспроизведение**. У некоторых, впрочем, позднейших поэтов, у Фета и у Полонского, местами попадаются истинно художественные черты в картинах природы, но только местами. Вообще же в своих описаниях большая часть стихотворцев ходит **возле** да **около**; редко-редко удается им схватить самый существенный признак явлений. Приведем в доказательство следующее стихотворение Тютчева[3]:

Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора:
Весь день стоит как бы хрустальный
И лучезарны вечера.

Где бодрый серп ходил и падал колос,
Теперь уж пусто все: простор везде, –
Лишь паутины тонкий волос
Блестит на праздной борозде.

Пустеет воздух, птиц не слышно боле,
Но далеко еще до первых зимних бурь,
И льется чистая и тихая лазурь
На отдыхающее поле.

Здесь нельзя уже ничего прибавить; всякая новая черта была бы излишня.

Достаточно одного этого «тонкого волоса паутины», чтоб одним этим признаком воскресить в памяти читателя былое ощущение подобных осенних дней во всей их полноте.

Или вот это стихотворение, – другая сторона осени:

Есть в светлости осенних вечеров
Умильная, таинственная прелесть:
Зловещий блеск и пестрота дерев,
Багряных листьев томный, легкий шелест,
Туманная и тихая лазурь

Над грустно-сиротеющей землею,
И как предчувствие осенних бурь,
Порывистый, холодный ветр порою.
Ущерб, изнеможенье, и на всем
Та кроткая улыбка увяданья,
Что в существе разумном мы зовем
Возвышенной стыдливостью страданья...

Не говоря уже о прекрасном грациозном образе «стыдливого страданья», – образе, в который претворилось у Тютчева ощущение осеннего вечера, самый этот вечер воспроизведен такими точными, хоть и немногими чертами, что будто сам ощущаешь и переживаешь всю его жуткую прелесть.

Этот мотив повторен Тютчевым и в другой пьесе, но образ осени умильнее, нежнее и сочувственнее:

Обвеян вещею дремотой,
Полураздетый лес грустит;
Из летних листьев разве сотый,
Блестя осенней позолотой,
Еще на ветке шелестит.

Гляжу с участьем умиленным,
Когда, пробившись из-за туч,
Вдруг по деревьям испещренным
Молниевидный брызнет луч...

Как увядающее мило,
Какая прелесть в нем для нас,
Когда что так цвело и жило,
Теперь так немощно и хило
В последний улыбнется раз.

Нам особенно нравятся первые пять стихов, нравятся именно своей простотой («из летних листьев разве сотый») и правдой.

Такая же истина и в этой картине осени:

....
Так иногда осеннею порой,
Когда поля уж пусты, рощи голы,
Бледнее небо, пасмурнее долы, –
Вдруг ветр подует, теплый и сырой,
Опавший лист погонит пред собою,
И душу вам обдаст как бы весною...

Именно **теплый** и **сырой** ветер. Это именно то, что **нужно**. Кажется, какие незатейливые слова, но в этом-то и достоинство, в этом-то и прелесть: они просты, как сама правда.

Здесь кстати заметить, что точность и меткость качественных выражений или эпитетов – важное, необходимое условие художественной красоты в поэзии.

Пушкин как истинный художник выше всего ценил эту точность и не успокаивался, пока не найдет выражения самого соответственного и потому самого простого. В этом отношении нет ему равных. В письмах Пушкина к князю Вяземскому (в «Русском архиве» 1874 года) есть его разбор стихотворения князя «Водопад». Этот разбор может служить образцом художнической требовательности Пушкина. На вопрос: что думает он о «Думах» и поэмах, вообще обо всем множестве стихов Рылеева, Пушкин еще в начале 20-х годов отвечает только: «Там есть у него палач **с засученными рукавами**, за которого я бы дорого дал». Ему понравилась меткость этой характеристичной подробности и живописная простота выражения. Уменье уловить самую существенную черту явления или предмета, – о чем мы говорили выше, – тесно связывается, конечно, с уменьем выбрать из массы качественных слов в языке самое определительное, бьющее прямо в цель, сразу овладевающее предметом, захватывающее его живьем. Чем эпитеты точнее, тем они проще.

Казалось бы, это и не так трудно, а между тем для этого потребна и особенная художественная зоркость, и особенная чуткость в отношении к языку. Кроме Пушки-

на, – как мы уже сказали, – только поэзия Тютчева и отчасти Лермонтова обладает этим даром точных эпитетов в высокой степени; у других наших поэтов он замечается лишь местами, довольно редко. Их эпитеты более описательного, чем определительного свойства; или слишком фигурны, вычурны и нарядны, или же являются каким-то внешним щегольством языка, радующим самого автора, а не простой, необходимой, спокойной принадлежностью самого предмета… К тому же у Тютчева эта меткость качественных определений простирается не на одни предметы внешнего мира, как и увидим ниже.

Вот еще несколько примеров изображения природы у Тютчева; мы поставили курсивом те именно выражения, которые нам кажутся художественно-точными и простыми:

Полдень

Лениво дышит полдень *мглистый*,
Лениво катится река,
И в тверди пламенной и чистой
Лениво тают облака.

И всю природу, как туман,
Дремота жаркая объемлет,
И сам теперь великий Пан
В чертоге нимф спокойно дремлет.

Здесь это одно **«лениво тают»** стоит всякого длинного подробного описания.

Или вот это выражение:

Не остывшая от зною
Ночь июльская блистала...

Один из критиков поэзии Тютчева, поэт Некрасов, в статье, напечатанной еще в 1850 году, любуясь простотой и крат-

костью следующего стихотворения, сравнивает его с однородным стихотворением Лермонтова. Вот стихи Тютчева:

Песок **сыпучий** по колени;
Мы едем; поздно; **меркнет** день,
И сосен по дороге тени
Уже в одну слилися тень.

Черней и чаще лес глубокий...
Какие грустные места!
Ночь хмурая, как зверь стоокий,
Глядит из каждого куста.

У Лермонтова:

И миллионом темных глаз
Смотрела ночи темнота
Сквозь ветви каждого куста.

«Кто не согласится, – говорит г. Некрасов, и мы с ним совершенно согласны, – что эти похожие строки Лермонтова значительно теряют в своей оригинальности и выразительности».

Вот картина летней бури:

Как весел грохот летних бурь,
Когда взметая прах летучий,
Гроза нахлынувшая тучей
Смутит небесную лазурь,
И опрометчиво-безумно
Вдруг на дубраву набежит,
И вся дубрава задрожит
Широколиственно и шумно.

....
И сквозь внезапную тревогу

Немолчно слышен птичий свист,
И кой-где первый желтый лист,
Крутясь, слетает на дорогу.

Ради простоты и точности очертаний приведем еще два отрывка:

Дорога из Кенигсберга в Петербург

Родной ландшафт под дымчатым навесом
Огромной тучи снеговой;
Синеет даль с ее угрюмым лесом,
Окутанным осенней мглой.
Все голо так, и пусто, необъятно
В однообразии немом;
Местами лишь просвечивают пятна
Стоячих вод, покрытых первым льдом...
Ни звуков здесь, ни красок, ни движенья,
Жизнь отошла, и, покорясь судьбе,
В каком-то забытьи изнеможенья,
Здесь человек лишь снится сам себе...

Здесь не только внешняя верность образа, но и вся полнота внутреннего ощущения.

Радуга

Как неожиданно и ярко
По **влажной** неба синеве
Воздушная воздвиглась арка
В своем **минутном торжестве.**
Один конец в леса вонзила,
Другим за облака ушла;
Она полнеба обхватила
И в высоте **изнемогла...**

Изнемогла! Выражение не только глубоко верное, но и смелое. Едва ли не впервые употреблено оно в нашей литературе в таком именно смысле. А между тем нельзя лучше выразить этот внешний процесс постепенного таяния, ослабления, исчезновения радуги. Еще г. Тургенев заметил, что «язык Тютчева часто поражает смелостью и красотой своих оборотов». Нам кажется, что независимо от таланта эта смелость может быть объяснена отчасти и обстоятельствами его личной жизни. Русская речь служила Тютчеву, как мы уже упомянули, только для стихов, никогда для прозы, редко для разговоров, так что самый материал искусства – русский язык – сохранился для него в более целостном виде, не искаженном через частое употребление. Многое, что могло бы другим показаться смелым, ему самому казалось только простым и естественным. Конечно, от такого отношения к русской речи случались подчас синтаксические неправильности, вставлялись выражения, уже успевшие выйти из употребления; но зато иногда, силой именно поэтической чуткости, добывал он из затаенной в нем сокровищницы родного языка совершенно новый, неожиданный, но вполне удачный и верный оборот или же открывал в слове новый, еще не подмеченный оттенок смысла.

Трудно расстаться с картинами природы в поэзии Тютчева, не выписав еще несколько примеров. Вот его «Весенние воды», – но сначала для сравнения приведем «Весну» Баратынского, в которой встречаются стихи очень схожие.

Баратынский:

Весна, весна! Как воздух чист,
Как ясен небосклон;
Своей лазурию живой
Слепит мне очи он.

Весна, весна! Как высоко
На крыльях ветерка,
Ласкаясь к солнечным лучам,
Летают облака.

Шумят ручьи! Блестят ручьи!
Взревев, река несет
На торжествующем хребте
Поднятый ею лед!

Под солнце самое взвился
И в яркой вышине
Незримый жаворонок поет
Заздравный гимн весне.

Что с нею, что с моей душой?
С ручьем она ручей,
И с птичкой птичка! С ним журчит,
Летает в небе с ней.

Далее следуют еще две строфы совершенно отвлеченного содержания – о душе, и стихи довольно тяжелые. Тютчев:

Еще в полях белеет снег,
А воды уж весной шумят,
Бегут и будят сонный брег,
Бегут и блещут и гласят, –

Они гласят во все концы:
«Весна идет! Весна идет!
Мы молодой весны гонцы,
Она нас выслала вперед!»

Весна идет, весна идет!
И тихих, теплых майских дней
Румяный, светлый хоровод
Толпится весело за ней...

Эти стихи так и обдают чувством весны, молодым, добрым, веселым. Они и короче, и живее стихов Баратынского…

Вот отрывок из другого стихотворения, которое можно бы назвать: «Пред грозою».

В душном воздухе молчанье,
Как предчувствие грозы;
Жарче роз благоуханье,
Звонче голос стрекозы.

Чу! за белой душной тучей
Прокатился глухо гром,
Небо молнией летучей
Опоясалось кругом.

Жизни некий преизбыток
В знойном воздухе разлит,
Как божественный напиток
В жилах млеет и дрожит!..

Заключим этот отдел поэзии Тютчева одним из самых молодых его стихотворений: «Весенняя гроза».

Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний, первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом.

Гремят раскаты молодые,
Вот дождик брызнул, пыль летит:
Повисли перлы дождевые,
И солнце нити золотит.

С горы бежит поток проворный,
В лесу не молкнет птичий гам,
И гам лесной, и шум нагорный,
Все вторит весело громам.

Ты скажешь: ветреная Геба,
Кормя Зевесова орла,
Громокипящий кубок с неба,
Смеясь, на землю пролила.

Так и видится молодая, смеющаяся вверху Геба, а кругом влажный блеск, веселье природы и вся эта майская грозовая потеха. Это стихотворение было напечатано в «Галатее» еще в 1829 году, но такова странная судьба поэзии Тютчева, что оно не обратило тогда на себя ни малейшего внимания.

В ответных своих стихах к известному нашему поэту, г. Фету, Тютчев говорит:

Иным достался от природы
Инстинкт пророчески слепой:
Они им чуют, слышат воды
И в темной глубине земной...

Великой матерью любимый,
Стократ завидней твой удел:
Не раз под оболочкой зримой
Ты самое ее узрел.

Этот последний стих справедливее отнести к самому Тютчеву; про него именно можно сказать, что ему было дано не раз видеть природу не во внешней только оболочке, но её самоё, обнаженной, без покровов.

Если бы – предположим – кто-нибудь, умеющий живо и тонко чувствовать художественные красоты в поэзии, стал читать в первый раз творения, – конечно, не Пушкина и даже не Лермонтова, а прочих наших поэтов, даже не зная их имен, – он, без сомнения, усладился бы вполне «пленительной сладостью» Жуковского; он хоть на миг, может быть, воспламенился бы духом к высоким нравственным подвигам благодаря мужественному лиризму стихов Хомякова; ему бы доставили, конечно, утеху бодрые, звучные песни Языкова, где столько

праздника, столько молодости, шири и удали; его душу проняла бы, вероятно, и страждущая тоска поэтических дум Баратынского; он нашел бы себе отраду и во многих других наших поэтах... Но если бы он, перелистывая эту сотню-другую тысяч стихов, вдруг случайно напал на любое из вышеприведенных стихотворений, вроде «Осени первоначальной» с ее «тонким волосом паутины», или «Весенних вод», или хоть «Радуги, **изнемогшей** в небе», – он невольно бы остановился; он по одному этому выражению, по одной этой мелкой, по-видимому, черте опознал бы тотчас настоящего **художника** и сказал бы вместе с Хомяковым: «Чистейшая поэзия – вот где». Такого рода художественной красоты, простоты и правды нельзя достигнуть ни умом, ни восторженностью духа, ни опытом, ни искусством: здесь уже явное, так сказать, голое поэтическое откровение, непосредственное творчество таланта.

Обратимся теперь к другой особенности стихотворений Тютчева: мы разумеем самое содержание поэзии, внутренний поэтической строй. Но здесь нам приходится сделать небольшое отступление.

Воспитание почти всех наших поэтов, особенно поэтов пушкинской плеяды, к несчастью, характеризуется совершенно верно собственными стихами Пушкина:

Мы все учились понемногу,
Чему-нибудь и как-нибудь.

Все они (кроме Хомякова, конечно, который совершенно выделяется из этого сонма поэтов) при поверхностном образовании возросли под сильным умственным и нравственным воздействием французской литературы и философии XVIII века. Но ошибочно было бы думать, что эта философия в самом деле породила у нас философов и вообще серьезных мыслителей; господствовала не сама философия, как свободно пытливая работа ума, а просто quasi-философское «вольнодумство,» в самом обиходном и пошлом смысле этого слова; не философия как наука, а ее так называемый **дух**, то есть

самое легкомысленное отрицание религиозных верований и идеалов, самое ветреное обращение с важнейшими вопросами жизни, упразднение не только строгости, но даже всякой серьезности в сфере нравственных отношений и понятий. Конечно, уже тогда начинало группироваться небольшое число очень молодых людей (например, Киреевские и другие) с иными запросами духа, с потребностью основательного знания; но их значение сказалось гораздо позднее. Мы уже отчасти характеризовали выше эпоху двадцатых годов, но почти не коснулись стороны общественного воспитания. Мы и теперь не намерены рассматривать ее подробно, тем более что школа, через которую первоначально проходили наши поэты пушкинского периода, относится не к двадцатым годам, а к началу и первым двум десяткам лет нашего столетия. Но так как многие черты у обеих эпох одинаковы, то читателю нетрудно представить себе, какова была эта школа, если он постарается припомнить все рассказанное нами выше о времени отъезда Тютчева за границу. Считаем нужным только добавить, что хотя французское влияние вторглось к нам еще при Екатерине, во второй половине ее царствования, однако же на литературе, равно и на умственном движении ее времени лежит печать все-таки большей серьезности и важности, чем в позднейшую пору; люди екатерининских времен были грубее, но крепче, строже, ближе к русской народности; самый их разврат был крупен, но довольно односторонен и внешен, – менее легкомыслен, менее растлевающего свойства. С царствованием Александра I начинается более полное отчуждение от народа и более полное господство иностранной моды – и уже не в нарядах только, но в мыслях и воззрениях. Все становится изящнее, деликатнее, галантерейнее и как-то пошлее, если позволено будет так выразиться. Печать оригинальности на произведениях умственного творчества исчезает. События 12 года встрясли несколько общественный дух, но и после 12 года, и гораздо позднее состояние мысли философско-отвлеченной, направление литературное и эстетические воззрения представляются в виде истинно жалком. Еще в 1819 году можно

было в торжественных речах на торжественных литературных собраниях из уст ученых авторитетов слышать такие рассуждения: «Почтенные мужи! Пусть на цветущем поле нашей словесности резвятся, в разновидных группах, Амуры, Зефиры и **Фавны**... Птичка, свивающая гнездо на ближнем дереве, научила человека строить скромные сени из ветвей, она же научила его радоваться и воспевать свою радость. Отсюда происхождение – Музыки и Поэзии» (см. «Труды Общества Любителей Российской Словесности», 1819 г. Речь на торжественном публичном заседании Мерзлякова). Правда, в то время уже началась реакция, и «господин Боало, честный Лафонтен, гений Корнеля и Сида, сии вечные образцы искусства» (там же, статья одного из членов), как выражались еще тогда с кафедры ученые наши авторитеты, одним словом, вся эта псевдоклассическая теория поэзии не тяготела более над умами наших юных поэтов, которые все были пылкими приверженцами так называемой «романтической школы». Но взамен господина Боало с компанией образцами для молодых певцов служили все же французские писатели: отчасти только Шенье, но предпочтительно Парни, пресловутый Парни, и другие представители эротической поэзии. Впоследствии Парни уступил было место Байрону, но Байрон был понят только с внешней своей стороны; да и мудрено было этому своеобразному историческому продукту английской нравственной общественной почвы акклиматизироваться на русской. Нельзя не скорбеть душой при мысли, какова была та духовно-нравственная атмосфера, в которой приходилось распускаться и творить нашим поэтическим дарованиям. Стоит только заглянуть в новейшие биографические труды и исследования о детстве и молодости Пушкина... Можно было бы, кажется, задохнуться в этой гнилой атмосфере, если б ее несколько не освежали своим присутствием: Карамзин – этот «целомудренно-свободный дух», по выражению Тютчева, и Жуковский с «голубиной чистотой» своей поэзии. Какие-то нанесенные ветром обрывки чужих, преимущественно французских доктрин, вкусов и нравов, при недостатке сколько-

нибудь строгой науки, при отсутствии воспитательного начала гражданской общественной жизни, при разрыве со своими собственными народными и бытовыми преданиями: ни убеждений твердых, ни крепких нравственных основ – вот чем была, по крайней мере в значительной части, русская общественная среда. Велика заслуга наших поэтов уже в том, что они не только не погибли в этой растлевающей обстановке, но еще умели и сами вознестись над ней, – даровать и обществу силу подъема, и орудие воспитания в художественной красоте своих произведений. Конечно, при этом немало было растрачено даром богатства души, свежести чувства, времени... Нелегко было из «питомцев Эпикура», «певцов пиров и сладострастья» – как они сами себя величали – выбраться целым на путь высшего поэтического творчества: для этого надобно было родиться Пушкиным. Приходится поистине изумляться упругости и мощи этого гения, который – не благодаря, а вопреки всем внешним условиям – успел в короткий срок своего поприща дойти до той художественной трезвости и полноты, какую явил он в позднейших своих творениях. Но то ли еще способен был дать нам этот великий художник, если б его воспитание было иное, если б сама окружающая жизнь могла сообщить его духу иное содержание?

Как бы то ни было, но что вообще неприятно поражает в поэтах этой плеяды, рядом с яркой красотой форм, звуков и образов, особенно в первой половине их поэтической деятельности (у иных во второй), – это не только напускной цинизм и хвастовство разгульной праздностью, не только нравственное легкомыслие, суетность, фривольность, но некоторая, притом очевидная, скудность образования и бедность мысли, одним словом, пустота содержания.

Судьба Тютчева, как мы уже знаем, была иная. Благодаря 22-летнему пребыванию в Германии он не испытал влияния ни французского философского материализма, ни русской тлетворной общественной среды. Впрочем, в нем не видать было и немца, а видна была лишь печать глубокой всесторонней образованности и замечательной возделанности ума и вкуса. Та

же печать лежит и на его стихотворениях, – чем и выделяются они из произведений других русских поэтов.

Прежде всего, что бросается в глаза в поэзии Тютчева и резко отличает ее от поэзии ее современников в России, – это совершенное отсутствие грубого эротического содержания. Она не знает их «разымчивого хмеля», не воспевает ни «цыганок» или «наложниц», ни ночных оргий, ни чувственных восторгов, ни даже нагих женских прелестей; в сравнении с другими поэтами одного с ним цикла его муза может назваться не только скромной, но как бы стыдливой. И это не потому, чтобы психический элемент – «любовь» – не давал никакого содержания его поэзии. Напротив. Мы уже знаем, какое важное значение в его судьбе, параллельно с жизнью ума и высшими призывами души, должно быть отведено внутренней жизни сердца, – и эта жизнь не могла не отразиться в его стихах. Но она отразилась в них только той стороной, которая одна и имела для него цену, – стороной чувства, всегда искреннего, со всеми своими последствиями: заблуждением, борьбой, скорбью, раскаянием, душевной мукой.

Ни тени цинического ликования, нескромного торжества, ветреной радости: что-то глубоко-задушевное, тоскливо-немощное звучит в этом отделе его поэзии. Мы уже довольно говорили об этом выше, очерчивая его личный нравственный образ, и привели несколько его стихов. Чтобы еще точнее определить мотив любви в его поэзии, приведем еще некоторые наиболее характеристические пьесы, хоть в отрывках. Вот, например:

Не верь, не верь поэту, дева;
Его своим ты не зови –
И пуще пламенного гнева
Страшись поэтовой любви.

Его ты сердца не усвоишь
Своей младенческой душой,
Огня палящего не скроешь
Под легкой девственной фатой.

Поэт всесилен, как стихия,
Не властен лишь в себе самом...
Невольно кудри молодые
Он обожжет своим венцом.

Вотще поносит или хвалит
Поэта суетный народ:
Он не стрелою сердце жалит,
А как пчела его сосет.

Твоей святыни не нарушит
Поэта чистая рука,
Но мимоходом жизнь задушит
Иль унесет за облака.

В другом стихотворении он говорит:

О, как убийственно мы любим,
Как в буйной слепоте страстей
Мы то всего вернее губим,
Что сердцу нашему милей!

Давно ль, гордясь своей победой,
Ты говорил: она моя...
Год не прошел, спроси и сведай,
Что уцелело от нея?..

И что ж от долгого мученья
Как пепл сберечь ей удалось?
Боль, злую боль ожесточенья,
Боль без отрады и без слез!

О, как убийственно, мы любим, и пр.

Или вот следующее стихотворение:

Любовь, любовь – гласит преданье –
Союз души с душой родной,
Их съединенье, сочетанье,
И роковое их слиянье,
И поединок роковой.
И чем одно из них нежнее
В борьбе неравной двух сердец,
Тем неизбежней и вернее,
Любя, страдая, грустно млея,
Оно изноет наконец...

Укажем еще на пьесы: «С какою негою, с какой тоской влюбленной», «Последняя любовь», «Я очи знал, о эти очи», «О не тревожь меня укорой справедливой» и т. д. Если мы вспомним затем следующие стихи, которыми, будто заключительным аккордом, повершается весь этот отдел стихотворений «не властного в себе самом» поэта, именно:

Пускай страдальческую грудь
Волнуют страсти роковые;
Душа готова, как Мария,
К ногам Христа навек прильнуть, –

то мы будем иметь полное понятие об этом мотиве его поэзии.

Но самое важное отличие и преимущество Тютчева – это всегда неразлучный с его поэзией элемент мысли. Мыслью, как тончайшим эфиром, обвеяно и проникнуто почти каждое его стихотворение. Большей частью мысль и образ у него нераздельны. Мыслительный процесс этого сильного ума, свободно проникавшего во все глубины знания и философских соображений, в высшей степени замечателен. Он, так сказать, **мыслил образами**. Это доказывается не только его поэзией, но даже его статьями, а также и его изречениями или так называемыми **mots** или **bons mots**, которыми он прославился в свете едва ли не более,

чем стихами. Все эти mots были не что иное, как ироническая, тонкая, нередко глубокая мысль, отлившаяся в соответственном художественном образе. Мысль в его стихотворениях вовсе не то, что у Хомякова или у Баратынского. Поэтические произведения Хомякова – это как бы отрывки целой, глубоко обдуманной, исторически-философской или нравственно-богословской системы. Искренность убеждения, возвышенность духовного строя, жар одушевления придают многим его стихотворениям силу увлекательную. Но если мысль его способна восходить до лиризма, все же она, втиснутая в рифмы и размер, в рамки стихотворения, не вмещается в них, перевешивает художественную форму в ущерб себе и ей; художественная форма ее теснит и сама насилуется. Читая его стихи, вы забываете о художнике и имеете в виду высоко нравственного мыслителя и проповедника. Впрочем, это сознавал и сам Хомяков, как мы видели из вышеприведенного его письма к А. Н. Попову о Тютчеве. Что же касается до Баратынского, этого замечательного оригинального таланта, то его стихи бесспорно умны, но, – так нам кажется, по крайней мере, – это ум – **остуживающий** поэзию. В нем немало грации, но холодной. Его стихи согреваются только искренностью тоски и разочарования.

Пушкин недаром назвал его Гамлетом; у Баратынского чувство всегда мыслит и рассуждает. Там же, где мысль является отдельно как мысль, она, именно по недостатку цельности чувства, по недостатку жара в творческом горниле поэта, редко сплавляется в цельный поэтический образ. Он трудно ладит с внешней художественной формой; мысль иногда торчит сквозь нее голая, и рядом с прекрасными стихами попадаются стихи нестерпимо тяжелые и прозаические (например, его «Смерть»). Исключение составляют три–четыре истинно превосходных стихотворения.

У Тютчева, наоборот, поэзия была той психической средой, сквозь которую преломлялись сами собой лучи его мысли и проникали на свет Божий уже в виде поэтического представления. У него не то что **мыслящая поэзия**, а поэтическая мысль; не чувство рассуждающее, мыслящее, – а мысль чув-

ствующая и живая. От этого внешняя художественная форма не является у него надетой на мысль, как перчатка на руку, а срослась с ней, как покров кожи с телом, сотворена вместе и одновременно одним процессом: это сама плоть мысли. Мы уже отчасти объяснили этот процесс, приводя выше стихотворение «Слезы». Вот еще пример:

Пошли, Господь, свою отраду
Тому, кто в летний жар и зной,
Как бедный нищий мимо саду,
Бредет по жаркой мостовой.

Кто смотрит вскользь через ограду
На тень деревьев, злак долин,
На недоступную прохладу
Роскошных, светлых луговин.

Не для него гостеприимной
Деревья сенью разрослись;
Не для него, как облак дымный,
Фонтан на воздухе повис.

Лазурный грот, как из тумана,
Напрасно взор его манит,
И пыль росистая фонтана
Его главы не освежит.

Пошли, Господь, свою отраду
Тому, кто жизненной тропой,
Как бедный нищий мимо саду,
Бредет по знойной мостовой.

Здесь мысль стихотворения вся в аналогии этого образа нищего, смотрящего в жаркий летний день сквозь решетку роскошного прохладного сада, – с жизненным жребием людей-тружеников. Но эта аналогия почти не высказана, обозначена слегка, намеком, в двух словах в последней строфе, почти не

замечаемых: **жизненной тропой**, а между тем она чувствуется с первого стиха.

Образ нищего, вероятно, в самом деле встреченного Тютчевым, мгновенно осенил поэта сочувствием и – мыслью об этом сходстве. Мысль вместе с чувством проняла насквозь самый образ нищего, так что поэту достаточно было только воспроизвести в словах один этот внешний образ: он явился уже весь озаренный тем внутренним значением, которое ему дала душа поэта, и творит на читателя то же действие, которое испытал сам автор. Но если мысль здесь только чувствуется, а в некоторых стихотворениях как бы несколько заслоняется выдающейся художественностью формы и самостоятельной красотой внешнего образа, то можно указать на другие стихотворения, где мысль не теряет своего самостоятельного значения и высказывается и в художественной форме, и как мысль. Начнем опять с картин природы:

Святая ночь на небосклон взошла,
И день отрадный, день любезный,
Как золотой ковер она свила,
Ковер, накинутый над бездной.
И как виденье, внешний мир ушел,
И человек, как сирота бездомный,
Стоит теперь и сумрачен и гол,
Лицом к лицу пред этой бездной темной.
И чудится давно минувшим сном
Теперь ему все светлое живое,
И в чуждом, неразгаданном ночном
Он узнает наследье роковое.

Нельзя лучше передать и осмыслить ощущение, производимое ночной тьмой.

Та же мысль выразилась и в другом стихотворении:

На мир таинственный духов,
Над этой бездной безымянной,
Покров наброшен златотканный

Высокой волею богов.
День – сей блистательный покров,
День – земнородных оживленье,
Души болящей исцеленье,
Друг человеков и богов!

Но меркнет день; настала ночь,
Пришла – и с мира рокового
Ткань благодатную покрова
Собрав, отбрасывает прочь.
И бездна нам обнажена
С своими страхами и мглами,
И нет преград меж ей и нами:
Вот отчего нам ночь страшна.

Но нам особенно нравятся следующие стихи:

О чем ты воешь, ветр ночной?
О чем так сетуешь безумно?
Что значит странный голос твой,
То глухо-жалобный, то шумной?
Понятным сердцу языком
Твердишь о непонятной муке,
И ноешь, и взрываешь в нем
Порой неистовые звуки!

О, страшных песен сих не пой
Про древний хаос, про родимый!
Как жадно мир души ночной
Внимает повести любимой!
Из смертной рвется он груди
И с беспредельным жаждет слиться...
О, бурь уснувших не буди:
Под ними хаос шевелится!

Кажется, прочитав однажды это стихотворение, трудно будет не припомнить его всякой раз, как услышишь завыванье ночного ветра.

Сколько глубокой мысли в его «Весне»!.. Выпишем несколько строф:

Весна – она о вас не знает,
О вас, о горе и о зле.
Бессмертьем взор ея сияет
И ни морщины на челе!
Своим законам лишь послушна,
В условный час слетает к нам
Светла, блаженно-равнодушна,
Как подобает божествам!

....

Не о былом вздыхают розы,
И соловей в тени поет, –
Благоухающие слезы
Не о былом Аврора льет,
И страх кончины неизбежный
Не свеет с древа ни листа:
Их жизнь, как океан безбрежный,
Вся в настоящем разлита,
Игра и жертва жизни частной,
Приди ж, отвергни чувств обман
И ринься, бодрый, самовластный,
В сей животворный океан.
Приди – струей его эфирной
Омой страдальческую грудь
И жизни божески-всемирной
Хотя на миг причастен будь!

Приведем еще стихотворение «Сон на море» – замечательное красотой формы и смелостью образов, которые могли быть созданы фантазией только мыслителя-художника.

И море и буря качали наш челн;
Я сонный был предан всей прихоти волн,
И две беспредельности были во мне,
И мной своенравно играли оне.
Кругом, как кимвалы, звучали скалы,
И ветры свистели, и пели валы.
Я в хаосе звуков летал оглушен,
Над хаосом звуков носился мой сон:
Болезненно-яркий, волшебно-немой,
Он веял легко над гремящею тьмой.
В лучах огневицы развил он свой мир:
Земля зеленела, светился эфир,
Сады, лабиринты, чертоги, столпы,
И чудился шорох несметной толпы.
Я много узнал мне неведомых лиц,
Зрел тварей волшебных, таинственных птиц,
По высям творенья я гордо шагал,
И мир подо мною недвижно сиял.
Сквозь слезы, как дикий волшебника вой,
Лишь слышался грохот пучины морской,
И в тихую область видений и снов
Врывалася пена ревущих валов.

Таинственный мир снов часто приковывает к себе мысль поэта. Вот строфы, где самая стихия сна воплощается в образ почти так же неопределенный, как она сама, но сильно охватывающий душу:

Как океан объемлет шар земной,
Земная жизнь кругом объята снами;
Настанет ночь, и звучными волнами
Стихия бьет о берег свой.

То глас ее: он нудит нас и просит.
Уж в пристани волшебный ожил челн...
Прилив растет и быстро нас уносит
В неизмеримость темных волн.

Небесный свод, горящий славой звездной,
Таинственно глядит из глубины,
И мы плывем – пылающею бездной
Со всех сторон окружены.

Но мы должны остановиться, – выписывать пришлось бы слишком много.

Перейдем теперь к стихотворениям, где раскрывается для нас нравственно-философское созерцание поэта. Припомним сказанное нами выше, что его мыслящий дух никогда не отрешался от сознания своей человеческой ограниченности, но всегда отвергал самообожание человеческого **я**. Вот как это сознание выразилось в следующих двух стихотворениях:

Фонтан

Смотри, как облаком живым
Фонтан сияющий клубится,
Как пламенеет, как дробится
Его на солнце влажный дым.
Лучом поднявшись к небу, он
Коснулся высоты заветной,
И снова пылью огнецветной
Ниспасть на землю осужден.

О, нашей мысли водомет,
О, водомет неистощимый,
Какой закон непостижимый
Тебя стремит, тебя мятет?

Как жадно к небу рвешься ты!
Но длань незримо-роковая,
Твой луч упорный преломляя,
Свергает в брызгах с высоты!

А вот и другое:

Смотри, как на речном просторе,
По склону вновь оживших вод,
Во всеобъемлющее море
За льдиной льдина вслед плывет.

На солнце ль радужно блистая,
Иль ночью, в поздней темноте,
Но все, неудержимо тая,
Они плывут к одной мете.

Все вместе, малые, большие,
Утратив прежний образ свой,
Все, безразличны, как стихия,
Сольются с бездной роковой.

О, нашей мысли обольщенье,
Ты, человеческое я,
Не таково ль твое значенье,
Не такова ль судьба твоя?

Нельзя не подивиться поэтическому процессу, умеющему воплощать в такие реальные, художественные образы мысль самого отвлеченного свойства.

В приведенных нами сейчас стихотворениях Тютчева, как и во всех, где выражается его внутренняя дума, не слышно торжественных, укрепляющих душу звуков. Напротив, в них слышится ноющая тоска, какая-то скорбная ирония. Но это тоска, хотя и подбитая скорбной иронией, вовсе не походила ни на хандру Евгения Онегина, отставного, пресы-

щенного удовольствиями «повесы», как называет его сам Пушкин; ни на байроновское **отрицание** идеалов; ни на **разочарование** человека, обманутого жизнью, как у Баратынского; ни на доходившее до трагизма **безочарование** Лермонтова (по прекрасному выражению Гоголя): поэзия Лермонтова – это тоска души, болеющей от своей неспособности к очарованию, от своей собственной пустоты вследствие безверия и отсутствия идеалов. Напротив, тоска у Тютчева происходила именно от присутствия этих идеалов в его душе – при разладе с ними всей окружающей его действительности и при собственной личной немощи возвыситься до гармонического примирения воли с мыслью и до освещения разума верой: его ирония вызывается сознанием собственного своего и вообще человеческого бессилия, – несостоятельности горделивых попыток человеческого разума... Но от этих стихотворений, все же отрицательного характера, перейдем к тем, где задушевные нравственные убеждения поэта высказываются в положительной форме, где открываются нам его положительные духовные идеалы. Так, в его стихах «На смерть Жуковского» мы видим, как высоко ценит поэт цельный гармонический строй верующей души, побеждающий внутреннее раздвоение:

На смерть Жуковского

Я видел вечер твой; он был прекрасен,
Последний раз прощаяся с тобой,
Я любовался им: и тих, и ясен,
И весь насквозь проникнут теплотой.
О, как они и грели, и сияли
Твои, поэт, прощальные лучи!..
А между тем заметно выступали
Уж звезды первые в его ночи.
В нем не было ни лжи, ни раздвоенья;
Он все в себе мирил и совмещал.
С каким радушием благоволенья

Он были мне Омировы читал, –
Цветущие и радужные были
Младенческих, первоначальных лет!
А звезды между тем на них сводили
Таинственный и сумрачный свой свет.
Поистине, как голубь, чист и цел
Он духом был; – хоть мудрости змеиной
Не презирал, понять ее умел, –
Но веял в нем дух чисто-голубиный.
И этою духовной чистотою
Он возмужал, окреп и просветлел;
Душа его возвысилась до строю:
Он стройно жил, он стройно пел.

И этот-то души высокий строй,
Создавший жизнь его, проникший лиру,
Как лучший плод, как лучший подвиг свой,
Он завещал взволнованному миру.
Поймет ли мир, оценит ли его?
Достойны ль мы священного залога?
Иль не про нас сказало божество:
«Лишь сердцем чистые – те узрят Бога?»

Следующее стихотворение есть уже истинный вопль души, разумеющей болезнь и тоску века, – оно в то же время и исповедь самого поэта:

Наш век

Не плоть, а дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует.
Он к свету рвется из ночной тени –
И, свет обретши, ропщет и бунтует.

Безверием палим и иссушен,
Невыносимое он днесь выносит...

И сознает свою погибель он,
И жаждет веры... но о ней не просит.

Не скажет век с молитвой и слезой,
Как ни скорбит пред замкнутою дверью:
«Впусти меня! Я верю, Боже мой!
Приди на помощь моему безверью!..»

Вот те **основные** нравственные тоны, которые слышатся у Тютчева сквозь все его философские, исторические, политические и поэтические думы. Они не благоприобретенное размышлением, не нажитое горьким опытом достояние; таясь в глубине его духа, они не только пережили искус долгого заграничного пребывания, но сильнее всего оградили независимость и самостоятельность его мышления в чужеземной среде, поддержали пламя беспредельной любви к России, сохранили духовную связь с родной землей и, как мы уже видели, воспитали в нем способность сочувственного разумения тех высоких нравственных сторон русской народности, которые в самой России постигались и ценились очень немногими. Стихотворения «На смерть Жуковского» и «Наш век» объясняют нам уже приведенные прежде стихотворения: «Эти бедные селенья», «Тебе они готовят плен», равно и некоторые другие, – и взаимно объясняются ими. Мы, впрочем, не станем здесь ни выписывать, ни разбирать тех его поэтических произведений, которые посвящены России или выражают его политические убеждения и мечтания. Они отчасти уже нашли себе место в предшествовавшем отделе нашего очерка, где мы именно старались показать читателям рост и силу русской народной стихии в Тютчеве-европейце, – а некоторые будут помещены нами ниже в пояснение его политических статей. Хотя этих стихотворений довольно много и иные высокого поэтического достоинства, однако же не ими определяется значение Тютчева-поэта, с точки зрения эстетической критики. Скажем здесь несколько слов только об общем характере этих патриотических и политических стихотворений: в них (за исключением двух-

трех) менее всего слышится его внутреннее, духовное раздвоение, его ирония, обращенная на самого себя, его нравственная тоска, а также и тот особенный личный процесс поэтического творчества, который налагает такую оригинальную печать на его поэзию и дает ей такую своеобразную прелесть.

Его политическое миросозерцание, его убеждения относительно исторической будущности русского народа были, как мы уже знаем, тверды, цельны – до односторонности, до страстности, а потому только в этом отделе стихотворений и доходит он до торжественных, почти «героических» звуков, столько вообще чуждых его поэзии. Для примера укажем на следующие два стихотворения: «Море и утес» и «Рассвет», которые оба блещут поэтическими красотами, особенно последнее, но красотами несколько иного рода выделяющими обе пьесы из общего строя его поэтических творений.

Пьеса «Море и утес» написана в 1848 году, после Февральской революции и, очевидно, изображает Россию, ее твердыню, среди разъяренных волн западноевропейских народов, которые, вместе с всеобщим мятежом, были внезапно объяты и неистовой злобой на Россию. Ничто так не раздражало Тютчева, как угрозы и хулы на Русь со стороны иностранцев. Не знаем, обратили ли эти стихи внимание на себя в свое время и были ли поняты в смысле, нами объясненном (в 1848 году Тютчев еще продолжал ничего не печатать), но трудно сомневаться в их настоящем значения, особенно ввиду статьи «Россия и революция»:

И бунтует и клокочет,
Плещет, свищет и ревет,
И до звезд допрянуть хочет,
До незыблемых высот!
Ад ли, адская ли сила,
Под клокочущим котлом,
Огнь геенский разложила,
И Пучину взворотила,
И поставила вверх дном?

Волн неистовых прибоем
Беспрерывно вал морской
С ревом, свистом, визгом, воем
Бьет в утес береговой...
Но спокойный и надменный,
Дурью волн не обуян,
Неподвижный, неизменный,
Мирозданью современный,
Ты стоишь, наш великан!

И озлобленные боем,
Как на приступ роковой,
Снова волны лезут с воем
На гранит громадный твой.
Но о камень неизменный
Бурный натиск преломив,
Вал отбрызнул сокрушенный,
И клубится мутной пеной
Обессиленный порыв.

Стой же ты, утес могучий,
Обожди лишь час-другой;
Надоест волне гремучей
Воевать с твоей пятой!
Утомясь потехой злою,
Присмиреет вновь она.
И без вою, и без бою,
Под гигантскою пятою
Вновь уляжется волна.

Относительно стремительности, силы, **красивости** стиха и богатства созвучий у Тютчева нет другого подобного стихотворения. Оно превосходно, но не в тютчевском роде. Оно свидетельствует только, что Тютчев мог бы, если бы хотел, щеголять и такими красивыми произведениями;

но если бы его книжка стихов ограничивалась только такими пьесами, бесспорно сильными и звучными, то Тютчев как поэт лишился бы оригинальности и не занял бы того особого места, которое создала ему в нашей литературе менее громкая и торжественная его поэзия. Впрочем, даже самый выбор того или другого направления в поэзии был для него невозможен, потому что он не гонялся за успехом, а писал стихи ради удовлетворения внутренней личной потребности почти непроизвольно; тем не менее самый талант его был способен, как оказывается, к разнообразному стихотворному строю.

Следующее стихотворение – «Рассвет» написано 18 лет спустя и, несмотря на свой аллегорический характер, менее выделяется из поэзии Тютчева, чем «Море и утес», отчего в «Рассвете» и более истинной художественной красоты. Здесь под образом восходящего солнца подразумевается пробуждение Востока, чего Тютчев именно чаял в 1866 году, по случаю восстания кандиотов[4]; однако образ сам по себе так самостоятельно хорош, что, очевидно, если не перевесил аллегорию в душе поэта, то и не подчинился ей, а вылился свободно и независимо. Тем не менее и это стихотворение отличается от всех прочих произведений Тютчева своим положительно-торжественным внутренним строем:

Молчит сомнительно Восток,
Повсюду чуткое молчанье...
Что это? Сон иль ожиданье,
И близок день или далек?
Чуть-чуть белеет темя гор,
Еще в тумане лес и долы,
Спят города и дремлют селы,
Но к небу подымите взор.

Смотрите: полоса видна,
И словно скрытной страстью рдея,
Она все ярче, все живее –

Вся разгорается она.
Еще минута – и во всей
Неизмеримости эфирной
Раздастся благовест всемирный
Победных солнечных лучей!

Сведем же все указанные нами черты поэзии Тютчева, характеризующие его как поэта. Он отличается прежде всего особенным процессом поэтического творчества, до такой степени непосредственным и быстрым, что поэтические его творения являются на свет Божий, еще не успев остыть, еще сохраняя на себе теплый след рождения, еще трепеща внутренней жизнью души поэта. Оттого эта особенная, как бы не вещественная, как бы не отвердевшая красота наружной формы насквозь проникнута мыслью и чувством; оттого эта искренность, эта неумышленная, но тем более привлекательная грация.

Художественная зоркость и воздержанность в изображениях – особенно природы; пушкинская трезвость, точность и меткость эпитетов и вообще качественных определений; соразмерность внешнего гармонического строя с содержанием стихотворения; постоянная правда чувства и потому постоянная же некая серьезность основного звучащего тона; во всем и повсюду дыхание мысли, глубокой, тонкой, оригинальной, по существу своему нередко отвлеченной, но всегда согретой сердцем и поэтически воплощенной в цельный, соответственный образ; такая же тонкость оттенков и переливов в области нравственных ощущений, – вообще тонкость резьбы, узорчатость чеканки – при совершенной простоте, естественности, свободе и, так сказать, непроизвольности поэтической работы. На всем печать изящного вкуса, многосторонней образованности, ума, возделанного знанием и размышлением, – легкая, игривая ирония, как улыбка, рядом с важностью дум, – и при всем том что-то скромное, нежное, смиренно-человечное, без малейшего отзвука тщеславия, гордости, жестокости, сует-

ности, щегольства; ничего напоказ, ничего для виду, ничего предвзятого, заданного, деланного, сочиненного. Конечно, содержание его поэзии дается только его личным внутренним миром, не выходит из заветного круга близких, дорогих его сердцу вопросов, интересов, образов и впечатлений; он почти не имеет власти над своим вдохновением, почти не способен искусственно устремлять силы своего таланта по произволу, на предметы, чуждые его душе, – неспособен к художническому продолжительному труду, а потому не создал и не мог создать ни поэмы, ни драмы; он не проповедник, он не учит, он лишь выражает себя самого; его лиризм не укрепит и не вознесет духа... Но его стихи, хотя бы даже устарела их внешняя форма, не перестанут чаровать нестареющей прелестью поэзии и мысли; они плодотворно питают ум, захватывают все струны сердца, будят и просветляют Русское чувство. Они – неиссякаемый источник духовно-изящных наслаждений. В истории русской словесности Тютчев останется всегда одним из самых блестящих и своеобразных проявлений русского поэтического гения; его значение не померкнет.

Заключим нашу характеристику следующими прекрасными строками из статьи о Тютчеве И. С. Тургенева, напечатанной двадцать лет тому назад, но нисколько не утратившей достоинства современности:

«Талант Тютчева, по самому свойству своему, не обращен к толпе и не от нее ждет отзыва и одобрения; для того, чтобы вполне оценить его, надо самому читателю быть одаренным некоторой тонкостью понимания, некоторой гибкостью мысли, не остававшейся слишком долго праздной. Фиалка своим запахом не разит на двадцать шагов кругом; надо приблизиться к ней, чтоб почувствовать ее благовоние. Мы не предсказываем популярности Тютчеву, но мы предсказываем ему глубокое и теплое сочувствие всех тех, кому дорога русская поэзия; а некоторые его стихотворения пройдут из конца в конец всю Россию и переживут многое в современной литературе, что теперь кажется долговечным и пользу-

ется шумным успехом. Тютчев может (мог бы!) сказать себе, что он, по выражению одного поэта, создал речи, которым не суждено умереть, – а для истинного художника выше подобного сознания награды нет».

Речь о А. С. Пушкине при открытии памятника поэту в Москве 8 июня 1880 года

Сорок три года тому назад такими, между прочим, стихами проводил Пушкина в могилу один из лучших и умнейших наших поэтов, Тютчев:

Тебя как первую любовь
России сердце не забудет...

Это не общее место. Это верно схваченная, историческая, выдающаяся черта отношений к Пушкину русского общества. В самом деле, наша связь с ним не какая-либо рассудочная, на отвлеченной оценке основанная, а сердечная, теплая, живая связь любви и до сих пор. Такой связи не было и нет у русского общества ни с одним поэтом. Одним ли художественным достоинством и значением Пушкина в искусстве вообще может быть объяснена такая живость и прочность сочувствия? Не таятся ли причины этого явления еще в чем-либо другом: в его историческом для нас значении, в самих психических свойствах его художественной природы, в той народной стихии, наконец, которой вся обвеяна и согрета его поэзия?

Пушкин не только наша неизменная любовь, но еще и первая любовь.

На заре нашего народного самосознания русское общество в нем впервые познало, говоря его же стихом, тот «первый пламень упоенья», который оставляет неизгладимый след в благодарной памяти сердца. А память сердца в жизни исторического народа не исчерпывается сроком нескольких поколений.

Таково свойство высоких созданий вполне искреннего искусства, что они на вечные времена запечатлеваются духом истины, духом жизни, давшим им бытие.

Таково свойство и созданий Пушкина. На их художественной вековечной прелести лежит еще и неотъемлемая, вечная же историческая печать весны и ее свежести, какой-то новоявленной радости, первого озарения русских сердец светом неложного русского искусства.

Отчего же «неложного»? Отчего, говоря о Пушкине как о поэте, мы все, без различия, сознательно и невольно, прибавляем эпитет: «истинно русский», «истинно народный»? Зачем нужна эта оговорка? В чем именно смысл той исторической минуты, печать которой легла на его творениях?..

Есть такие счастливые на земле страны, где совершенно праздны, да и немыслимы, вопросы: народен или ненароден такой-то поэт или писатель?! Где нет погони за «народностью», где народность есть именно та самая стихия, которой образованный, органически правильно сложившийся слой народа (то есть – общество) естественно живет, движется и творит, – которая, другими словами, проявляет себя свободно и разнообразно в личной сознательной деятельности народных единиц: и в искусстве, и в науке, и в жизни!.. В тех счастливых странах народность в литературе познается не по внешним приметам, не по употреблению только, например, простонародного говора, не по выбору содержания из простонародного быта, не по тому, наконец, доступна ли книга разумению каждого, знающего грамоту, крестьянина.

Без сомнения, гётевского Фауста или идеалов Шиллера с Пигмалионом, лобызающим мрамор, не поймет даже и немецкий, не обучавшийся в гимназии пахарь; но кто же когда-либо решался или решится утверждать, что Гёте и Шиллер поэты не национальные? Разве их великие творения не заклеймены насквозь печатью германского народного духа, подобно тому, как творения Шекспира – духа британского? Этого мало: разве не германский народный дух сказался в германской философии, в таких силачах абстрактной

логической мысли, как Кант или Гегель? И с другой стороны, разве эта печать сколько-нибудь мешает им при этом иметь значение мировое? Напротив: только потому, что на их творениях лежит печать даров их народного духа, могли эти великие поэты и мыслители явить миру новые стороны духа общечеловеческого, обогатить такими многоценными вкладами сокровищницу общечеловеческого сознания. Кажется, это ясно, и было бы даже совестно толковать такую простую до пошлости истину, если б даже и в наши дни не возникали порой какие-то странные недоразумения по вопросу о народности...

История судила России иной путь развития. Переходу в русском народе от общности непосредственного бытия к высшей жизни и деятельности народного духа в сфере личного сознания рано или поздно надлежало, разумеется, совершиться – и он совершился, но поздно и не мирным органическим процессом, а мучительнейшим из переворотов. Кто бы ни был в том виноват сам ли народ, Петр ли Великий, могло ли бы или не могло оно совершиться иначе, эти вопросы теперь излишни; важен самый исторический факт. А факт таков (и этого не отринет ни один историк), что русская земля подверглась внезапно страшному внешнему и внутреннему насилованию. Рукой палача совлекался с русского человека образ русский и напяливалось подобие общеевропейца. Кровью поливались, спешно, без критики, на веру, выписанные из-за границы семена цивилизации. Все, что только носило на себе печать народности, было предано осмеянию, поруганию, гонению; одежда, обычай, нравы, самый язык, – все было искажено, изуродовано, изувечено. Народность, как ртуть в градуснике на морозе, сжалась, сбежала сверху вниз, в нижний слой народный; правильность кровообращения в общем организме приостановилась, его духовная цельность нарушена. Простой народ притаился, замкнулся в себя, и над ним, ближе к источнику власти, сложилось общество: вольные и невольные отступники его духа. Русский человек из взрослого, из полноправного, у себя же дома попал в мало-

летки, в опеку, в школьники и слуги иноземных всяких, даже духовных дел, мастеров. Умственное рабство перед европеизмом и собственная народная безличность провозглашены руководящим началом развития.

Только такому могучему народному организму, каков русский, под силу вынести и перебыть подобное испытание, которому, впрочем, конец далеко еще не настал. Тяжко пришлось русским людям; но обращаться вспять было уже нельзя, – да и нежелательно. Оставалось идти вперед, овладеть сокровищами и орудиями европейского просвещения и трудным подвигом самосознания расторгнуть оковы народного духа, воссоединить разрозненные слои, одним словом, возвратить русской народной жизни свободу, цельность, правильность и плодотворность самобытного органического роста. Вот этой-то, выпавшей в удел русскому обществу исполинской задачей и объясняется то странное явление, которому почти нет подобного в других странах, именно: что сама народность в народе становится объектом сознания, внешней целью, искомым, что возможны у нас вопросы о народности художника, мыслителя и государственного деятеля, что приходится учиться ей в истории и у простого народа, что в русской земле могло возникнуть отдельное р у с с к о е же направление – в литературе, в политике, в жизни, и стоять о с о б н я к о м, как нечто оригинальное и даже исключительное!..

Перенесемся, однако, мыслью к началу этого тяжкого и тернистого поприща. Устремившись из своей тесной национальной ограды в пролом, сделанный мощной рукой Петра, русское общество, сбитое с толку, с отшибленной исторической памятью, избывшее и русского ума, и живого смысла действительности, заторопилось жить чужим умом, даже не будучи в состоянии его себе усвоить. Нескладно и безобразно залепетало оно дикой смесью простонародного говора, церковнославянского языка и изуродованной иностранной речи. Чужой критериум, чужое мерило, чужие формы, чужое миросозерцание. Жизнь наводнилась ложью, призраками,

абстрактами, подобиями, фасадами – и колоссальным недоразумением между народом и его так называемой «интеллигенцией» – официальной и неофициальной, консервативной и либеральной, аристократической и демократической.

Но деятельность духа все же началась! Русская земля не оскудела в нужный час талантами. Мысль была еще слишком слаба; наука на степени школьного знания, но поэзия обогнала тугой рост русского просвещения, и в этом ее особенное историческое у нас значение. Первый русский ученый, явивший образцы самостоятельного русского помышления, Ломоносов, был и первый по времени русский поэт, ускорявший работу научного анализа поэтическим вдохновением. Затем, от Ломоносова до Карамзина (впрочем, также полухудожника) не приходится назвать почти ни одного видного деятеля науки, тогда как за то же время целый преемственный ряд более или менее замечательных поэтических дарований не перестает возделывать умственную и нравственную почву русского общества. Таким образом, русской литературной поэзии выпал жребий, в течение довольно долгой поры, за недостатком у нас воспитания научного, служить почти единственным орудием, по крайней мере, эстетического воспитания и образования в русском обществе. Конечно, форма, содержание, вся окраска в этой поэзии была еще не русская, и только мощный талант Державина метал иногда, из-под глыб всяческой лжи, молнии истинно русского Духа. Но при суждении о литературных талантах той эпохи не следует упускать из виду те нравственные путы, которыми они были обмотаны, ту трату сил, которая требовалась им для борьбы с подавлявшей их самих ложью. Все же, несмотря на фальшь, звучавшую в тогдашней поэзии, покорялся искусству самый материал его – слово, и русскому слуху стала опознаваться в стихотворной форме сила и гармония русского языка в такое еще время, когда в прозе царила самая неуклюжая, варварская речь. Только в поэзии находило себе некоторое удовлетворение угнетенное русское чувство и отдыхало от отрицания, господствовавшего в мышлении и в жизни, – хотя, по истине,

отдыхало лишь в новом самообольщении. На крыльях лирического восторга уносилось оно в какую-то чужую псевдоклассическую, населенную призраками высь, далеко над настоящей русской землей, дичась всякой жизненной правды. Так было особенно в XVIII веке, в эпоху «наших Пиндаров», «наших Горациев», «наших Северных Бардов» и т. д.

Из псевдоклассических высот поэты стали, наконец, при помощи романтических ходуль касаться дола. И хотя Жуковский, благородный Жуковский, с «его стихов пленительною сладостью», а (по выражению Пушкина) равно и Батюшков, «наш Парни российский» (как величал его Пушкин же, впрочем, еще в 1814 году, еще мальчиком), хотя оба они резко отделяются от всех своих предшественников, однако же и они, когда спускались на землю, то на какую-то чужую, не русскую. Их местами прелестная, хотя вообще однозвучная поэзия лишена внутренней силы и совершенно безлична в смысле народности... Вообще надобно заметить, что время Александра I было в некоторых отношениях едва ли не хуже времени Екатерины. В XVIII веке русские люди еще только перерядились, и в ином вельможе из-под пудреного парика и французского кафтана торчал порой чуть не прямой русский мужик, а щеголеватый французский жаргон сменялся подчас истой простонародной речью. К началу XIX века русские люди успели уже переродиться и так вошли в иноземные обычая, нравы, понятия, что приобрели даже развязность и ловкость «почти» европейского человека. Простонародная или коренная народная речь не только ими забывается, но даже поражает их как бы новизной. Они и патриоты, и, пожалуй, ревнители «всего отечественного», но даже и не подозревают, в простодушной надменности своего европейского просвещения, всей глубины своей духовной розни с народом. Прежняя грубая, внешняя ложь сменилась ложью сугубой, внутренней, благообразной. Язык, литература, поэзия – все получает вид гладкой, порой даже изящной нерусскости или безличности. Вспомните, например, даже официальные, печатные, всенародные от лица власти

объявления, где благодаря, конечно, стилистам того времени русский царь именует себя «начальником столь достойной и благородной нации»; вспомните письма и повести Карамзина, повесть об Усладе самого Жуковского, и прочее и прочее. Даже гроза 1812 года не прибавила костей и мускулов, не придала правды слогу тогдашних писателей, не только в прозе, но и в поэзии.

В 1819 году в торжественном заседании нашего же Общества любителей российской словесности и в этом же самом зале рассуждалось «о господине Буало и гении Корнеля, сих вечных образцах искусства». Расширяя, однако, число образцов и поприще для русской литературы, ученый, достойный всякого уважения, председатель общества Мерзляков вещал, между прочим, в своей речи таким образом: «Почтенные мужи!.. Птичка научила человека радоваться и воспевать свою радость... Пусть на цветущем поле нашей словесности резвятся в разновидных группах Амуры, Зефиры и Фавны». Вы улыбаетесь и снисходительно припоминаете, что все это ведь говорилось 61 год тому назад...

И в том же самом 1819 году раздаются вслух русского общества такие, например, стихи 20-летнего Пушкина:

Художник-варвар кистью сонной
Картину гения чернит
И свой рисунок беззаконный
На нем бессмысленно чертит;
Но краски новые, с годами,
Спадают ветхой чешуей,
Созданье гения пред нами
Выходит с прежней красотой и пр.

Стихи так же написаны 61 год тому назад, но здесь искусство достигло того зенита зрелости и совершенства, с которого никакое уже время не сводит.

Точно д е н ь, б е л ы й д е н ь, настал для русского общества с появлением Пушкина. Призраки, обманные очер-

тания ночи отшатнулись, уступив место правде дня с ее простотой и красотой. Творчеству русского духа, по крайней мере в сфере поэзии, возвращена свобода и полноправность.

Поэтическое откровение опередило работу нашего народного самосознания и разрешило задачу, – до теоретического разрешения которой мысль и наука только т е п е р ь дорастают. Какая богатырская сила таланта нужна была для того, чтобы, подобно подземному ключу, поднять, своротить все эти плотные наслоения лжи и пробиться наружу таким величавым потоком русской поэзии? Но одного свойства силы было здесь недостаточно. Только великий, всесовершенно искренний и цельный мастер-художник, только (говоря поэтической метафорой) жрец чистого искусства, никаких задач вне искусства не знающий, но притом с живой русской душой, мог совершить такой великий исторический общественный подвиг. Пушкин как художник стоит уже не на относительной, а на абсолютной высоте, не подлежа сравнению ни с каким иностранным поэтом, не как «наш Гораций», «наш Парни» или «наш Байрон», а сам по себе, как Пушкин. Правда русской народности могла завоевать себе всемирное гражданство в искусстве только через безусловную в самой себе правду искусства. И именно потому, что Пушкин был служителем чистого, то есть искреннего в себе самом искусства, не обращал поэзию у м ы ш л е н н о в орудие разных предвзятых идей и теорий, ни политических, ни социальных, не сузился в доктринера, не ставил себе внешней целью «пользу», не послушался толпы сторонников грубого утилитаризма, а неуклонно слышал в душе своей иной божественный голос: «не о хлебе едином жив будет человек», т о л ь к о п о т о м у и явился он таким беспредельно п о л е з н ы м общественным деятелем. Да, потому именно и стало велико и бессмертно историческое дело Пушкина, что он мог с полной искренностью и полным правом сказать о себе:

Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,

Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв…

Какой еще «пользы» нужно? Да ведь такие стихи, такие звуки благодеяние!

Не совершил бы Пушкин своего подвига, сказал я, если б он не был цельный художник с живой русской душой. Эта русская стихия видится мне не в одном только русском языке, доведенном Пушкиным до изумительного совершенства, силы, образности и мужественной красоты, и не во внешнем только содержании его некоторых творений, но еще более во внутренних сторонах его творчества. Вообще можно лишь удивляться, каким образом, при его французском воспитании дома и в лицее, при раннем, к несчастью, растлении нравов, обычном в то время вследствие безграничного господства в русском обществе французской литературы XVIII века; при соблазнах и увлечениях света, – мог не только сохраниться в Пушкине русский человек, но и образоваться художник с таким русским складом ума и души, с таким притом глубоким сочувствием к народной поэзии – в песне, в сказке и в жизни?..

Внешнюю разгадку этого явления следует искать, прежде всего, в деревенских впечатлениях детства и в его отношениях к н я н е. Но и няня, и детские впечатления деревни таились тогда в воспоминаниях почти каждого отъявленного отрицателя русской народности, так что такая русская бытовая черта в поэзии Пушкина является уже сама по себе нравственной его заслугой и оригинальной особенностью. В самом деле, от отрочества до самой могилы этот блистательный прославленный поэт, ревностный посетитель гусарских пиров и великосветских гостиных, «наш Байрон», притом, как любили его называть многие, не стыдился всенародно, в чудных стихах, исповедовать свою нежную привязанность – не к матери (это было бы еще не странно, так и многие поэты делали), а к «мамушке», к «няне», и с глубоко искренней благодарностью величать в ней первоначальную свою музу... Так вот кто первая вдохно-

вительница, первая муза этого великого художника и первого истинно русского поэта, это – няня, это простая русская деревенская б а б а!.. Точно припав к груди матери-земли, жадно в ее рассказах пил он чистую струю народной речи и духа! Да будет же ей, этой няне, и от лица русского общества вечная благодарная память!

Невозможно не помянуть здесь этой няни собственными стихами Пушкина, в которых к тому же так звенит русскими струнами его душа... Вот что еще в лицее, воспевая одновременно с товарищами разных Эльвин и Дорид, еще в 1816 году, писал он:

Ах, умолчу ль о мамушке моей,
О прелести таинственных ночей,
Когда в чепце, в старинном одеянье,
Она, духов молитвой уклоня,
С усердием перекрестит меня
И шепотом рассказывать мне станет
О мертвецах, о подвигах Бовы...
От ужаса не шелохнусь бывало,
Едва дыша, прижмусь под одеяло,
Не чувствуя ни ног, ни головы...
Пред образом простой ночник из глины
Чуть освещал глубокие морщины.

Заметьте, что в это время в нашей литературе если и встречалось благосклонное упоминание о русской женщине из простонародья, то не иначе как о «простодушной поселянке»... Но каким зрелым художественным совершенством звучат стихи 1821 года:

Наперсница волшебной старины,
Друг вымыслов игривых и печальных,
Тебя я знал во дни моей весны,
Во дни утех и снов первоначальных.
Я ждал тебя. В вечерней тишине

Являлась ты веселою старушкой
И надо мной сидела в шушуне,
В больших очках и с резвою гремушкой.
Ты, детскую качая колыбель,
Мой юный слух напевами пленила,
И меж пелен оставила свирель,
Которую сама заворожила...

А эти стихи:

Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя,
Одна, в глуши лесов сосновых,
Давно, давно ты ждешь меня.
Ты под окном своей светлицы
Горюешь, словно на часах,
И медлят поминутно спицы
В твоих наморщенных руках...

За полтора года до смерти, посетив свое родное Михайловское, так вспоминает он о ней:

Вот смиренный домик, –
Где жил я с бедной нянею моей.
Уже старушки нет; уж за стеною
Не слышу я шагов ее тяжелых,
Ни утренних ее дозоров.

И тут же три зачеркнутые стиха:

А вечером, при завываньи бури,
Ее рассказов, мною затверженных
От малых лет и никогда не скучных.

Не к ней ли относятся и эти два стиха, вложенные Пушкиным в уста Татьяне:

Где ныне крест и сень ветвей
Над бедной нянею моей...

Многие «народность» поэзии Пушкина усматривают именно в русских сказках и других его произведениях в так называемом «простонародном» роде. Но русская, стало быть, и вполне народная стихия слышится у Пушкина едва ли не наиболее там, где он не ставит себе «народность» внешней целью, где он вполне свободен и искренен в своем творчестве и отдается без стеснений движениям своей русской души. Оставляя в стороне вопрос, в какой степени верна самая задача: воспроизвести в формах современной литературной поэзии русский народный эпос, – скажу только, что не все создания Пушкина в этом направлении представляются одинаково удачными, но все обличают великого мастера и свидетельствуют, как все глубже и глубже проникал его художественный взор в красоты русского народного эпоса, в золотую руду народного слова. Он даже пришел вообще к убеждению, что рифмованный, точно размеренный стих слишком тесен для русской поэтической речи и будет когда-нибудь заменен иной, более широкой и свободной формой стиха. Некоторые же простонародные его сказки действительно образцовы, как, например, сказка о Кузьме Остолопе, о Золотой Рыбке. Припомним, кстати, что, кроме записных ученых, едва ли кто из русского общества был в то время так коротко знаком с народными старинными сказаниями и былинами; едва ли не Пушкин первый заставил признать их художественное достоинство и значение для русского языка. Когда однажды критики напали на Пушкина за его стих:

Людская молвь и конский топ,

утверждая, что это «не по-русски», Пушкину пришлось уличать критиков в безграмотности и невежестве цитатами из «Сборника» Кирши Данилова.

Замечательно при этом и увещание Пушкина к критикам: «Не должно стеснять свободу нашего богатого и прекрасного языка!»

Никто до Пушкина не воспроизводил ни в стихах, ни в прозе нашей простой сельской природы с такой простотой истины и с такой теплотой сочувствия.

Если встречались, бывало, в нашей литературе описания, то или отрицательной окраски, или природы вообще, а не именно русской, или же она одевалась каким-то буколическим покровом, а русские мужики являлись в виде Менандров и Дафнисов. И среди всей этой поэтической неправды вдруг такие стихи:

Был вечер. Небо меркло. Воды
Струились тихо. Жук жужжал.
Уж расходились хороводы,
Уж за рекой, дымясь, пылал
Огонь рыбачий...

Или... Но не достало бы и времени приводить примеры. Ваша память сама вам их подскажет. В стихах Пушкина, и теперь захватывающих сердце, не только видится, но и ощущается во всем веянии своей жизни сама родная наша природа.

Что же должны были испытывать русские люди, впервые в русской печати прочитавшие такие воспроизведения русской природы? Не своего ли рода эмансипацию русского угнетенного чувства? Не казалось ли им, что они точно возвращаются, после долгой где-то отлучки, на родину, домой, домой!..

Но еще более важны внутренние, нравственные черты его поэзии, чисто русского народного свойства. Я вижу их прежде всего в этом известном русском народном отвращении от всякого фразерства, от всего напыщенного, ходульного, – отвращении, так положительно выразившемся у Пушкина дивной простотой и трезвостью творчества. Пушкин как художник тем именно дорог и замечателен и отличается от

большинства многих европейских поэтов, что он всегда искренен, всегда прост, всегда свободен, никогда не позирует, не рисуется, не нянчится, не носится с о своим «я». Он если и выставляет себя, то непременно хуже, легкомысленнее, чем он есть, но не так, как другие, которые не прочь наделить себя даже порочными качествами, но непременно красивыми: гордостью, презрением, ненавистью к людям и т. п. Эта черта в Пушкине в высшей степени симпатична и в высшей степени наша, народная, русская.

Не глубокая ли также русская психическая черта в Пушкине – это чувство реальной, жизненной правды, чуждающееся фальшивых идеалистических прикрас, но в то же время сквозь отрицательные стороны предмета умеющее распознать положительные его стороны с присущей им красотой? Пушкин первый в нашей литературе отнесся не только к русской природе, но и к воспроизведенным им явлениям русской бытовой жизни с их положительной стороны, и притом с такой верностью, которой мог бы позавидовать любой реалист нашего времени. Вспомните его изображения русской уездной сельской жизни в «Онегине», его «Капитанскую дочку» и множество других: сколько в них правды, и как эта правда согрета и освещена теплым светом сочувствия, но в то же время ограждена в читателе от ложной окраски тонкой, незлобивой иронией! Вот эта способность шутки, это присутствие иронии в уме – тоже коренная, народная черта истинно русского человека: это постоянно присущий русскому человеку антидот против всякой излишней, а потому и фальшивой идеализации и против собственного самообольщения. Такая ирония – свойство широкого ума – не есть «отрицание» и не противоречит любви. Она дает лишь усматривать человеку, в свете любви, оборотную, юмористическую сторону иной истины, отразившуюся вместе с положительной ее стороной в явлениях ли жизни, в собственной ли душе. Такой грациозной шуткой и доброй умной иронией, прикрывающей иногда

легкой формой глубокую серьезную мысль и целую перспективу мыслей, обилует поэзия Пушкина, особенно же «Евгений Онегин» и именно в изображении «героев». Татьяна, например, о которой он сам сказал:

...Я так люблю
Татьяну милую мою,

является в самом реальном освещении «барышней уездной»

С печальной думою в очах,
С французской книжкою в руках,

и в то же время с книжкой гаданий и снов Мартына Задеки, с простонародными страхами и суевериями. Начертанное с искренним сочувствием изображение Ленского, этого возвышенного душой поэта, предназначенного такой трагической участи, вводится самим автором в должные размеры двумя стихами:

Он пел поблеклый жизни цвет –
Без малого в осьмнадцать лет...

Пушкин не был поэтом «отрицания», но не потому, что был не способен видеть, постигать отрицательные стороны жизни и оскорбляться ими, но потому, прежде всего, что не таково было его призвание как художника; что ему дан был от природы иной талант: усматривать в явлении предпочтительно его положительные, человечные черты и на них предпочтительно отзываться, минуя те стороны, где даже ирония не у места, где уже нужен бич сатиры (требующий специального дара) или вмешательство власти. Так, из истории Петра Великого он останавливается на пире, заданном Петром в честь примирения его с подданными, из деяний Наполеона – на его посещении чумных в Яффе. Еще потому, может быть, что Пушкин своим русским умом и сердцем шире пони-

мал жизнь, чем многие писатели, окрашивающие ее явления сплошной черной краской.

Здесь же, кстати, можно привести и собственные слова Пушкина в одной из его журнальных статей: «Нет убедительности в поношениях и нет истины, где нет любви».

Да, кстати, припомним, что он первый понял, первый оценил и взлелеял Гоголя.

Что особенно поражает в Пушкине и является также русской психической чертой, тесно, впрочем, связанной с чувством реальной правды, – это отсутствие мечтательности, в смысле немецкого Schwarmerei, и, скажу более, даже отсутствие страстности. Я, конечно, разумею здесь исключительно сферу искусства. Пушкин представляет в себе удивительное, феноменальное и глубоко трагическое сочетание двух самых противоположных типов как человека и как художника: знойный африканский темперамент и чисто русское здравомыслие, поражающее в самых молодых его произведениях и потом все более и более развивавшееся; страстность природы и воздержность колорита в поэзии, самообладание мастера, неизменно строгое соблюдение художественной меры; легкомыслие, внутренность, кипение крови, необузданная чувственность в жизни и в то же время серьезность и важность священнодействующего жреца, способность возноситься духом до высот целомудренного искусства и писать такие стихи, как «Пророк», «Отцы пустынники», «Ответ митрополиту Филарету» и проч.

Он сам сильнее всех сознавал в себе эту двойственность:

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В забавах суетного света
Он малодушно погружен;
Молчит его святая лира.
Душа вкушает хладный сон,
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он...

Что должен был испытывать в глубине своего духа носитель таких великих божественных даров в те минуты, когда сознавал свое «ничтожество»?..

Некоторым покажется, пожалуй, странным эпитет «важный», и они укажут на множество стихов эротического и вообще легкомысленного содержания. Правда, их немало; но все эти стихотворения запечатлены характером шалости, забавы молодого таланта, хотя бы иногда и непозволительной, в которой и сам Пушкин потом горько раскаивался. Все же это только избыток жизни, плеск играющих волн на поверхности глубоких вод. Но поэт весь преображался, лишь

...божественный глагол
До слуха чуткого коснется, –

и становился «взыскательным художником», для которого

Прекрасное должно быть величаво.

И никогда в своем храме, пред алтарем, не священнодействовал он пороку как принципу, не служил умышленному холодному разврату и божественным глаголом не сеял коварно безнравственности. Напротив, все его сколько-нибудь серьезные произведения оставляют здоровый след в душе читателя. Он как художник сам творит, в той или другой форме, суд над своими героями, и даже Онегин, многими своими сторонами вполне сочувственный Пушкину, обличен и пристыжен Татьяной, – простой, в русской деревне возросшей, умной Татьяной.

Эта, бесспорно, из всех героинь Пушкина им наиболее любимая и чтимая, остается, как известно, верна своему долгу. Такая простая, по-видимому, но в сущности трагическая нравственная развязка романа навлекла и на Пушкина, и даже на бедную Татьяну упреки некоторых русских критиков, так что со стороны Пушкина это был своего рода смелый поступок художественной правды!

При всех таких русских свойствах поэзии Пушкина можно ли толковать с е р ь е з н о о каком бы то ни было влиянии на него Байрона? Не было гениев более друг другу, по природе своего творчества, противоположных.

Впечатлительный Пушкин, разумеется, восхищался Байроном, мог даже увлекаться им временно и называть его властителем дум (впрочем, не лично своих, а «наших», то есть века), мог иногда заимствовать у него какую-либо внешнюю черту или форму, именно в «Бахчисарайском фонтане» (на что и сам указывает), но Пушкин же и судил его строго. Он называет Байрона «поэтом гордости», «мрачным как море». Пушкин же был поэтом дневного белого света, а личной гордости в нем нет и тени. Но уж чему он вовсе не был причастен, так это б а й р о н и з м у, то есть тому направлению в умах и жизни, которое было навеяно мощной, субъективной поэзией Байрона. Он обличил и осудил это направление и в лице Алеко в «Цыганах» («гордого человека», который «лишь для себя хочет воли»), и в лице самого Онегина (как я уже говорил), этого «москвича в гарольдовом плаще», вечно, по словам Пушкина же, «преданного безделью» и «томящегося душевной пустотой». Но нигде так гениально, умно, метко и притом сжато не заклеймен этот тип со всеми своими разветвлениями (долго и потом лелеянный в нашем обществе и литературе), как в следующих стихах. Онегин оставил у себя в библиотеке только

Певца Гяура и Жуана,
Да с ним еще два-три романа,
В которых отразился век,
И современный человек
Изображен довольно верно:
С его безнравственной душой.
С е б я л ю б и в о й и с у х о й,
М е ч т а н ь ю п р е д а н н о й б е з м е р н о,
С е г о о з л о б л е н н ы м у м о м,
К и п я щ и м в д е й с т в и и п у с т о м!

Много и прекрасно было говорено об о б ъ е к т и в н о с т и Пушкина, то есть об этой способности постигать предмет в нем самом, как он действительно есть, и воспроизводить его в его собственной правде. Я позволю себе только высказать мнение, что эта способность опять-таки гнездится в глубинах русского духа. Едва ли не воспитывается она в русском народе самым общинным и хоровым строем его жизни, мало благоприятствующим развитию субъективности и индивидуализма. Думаю также, что и самый наш внешний простор, ширь этого народного союза и братского чувства в объеме свыше полусотни миллионов сердец, все это не может не способствовать некоторой широте духа и многосторонности понимания. Нам легче быть объективнее, чем кому другому. Кроме того, русский человек, непричастный истории европейского Запада, поставлен в выгодное относительно его положение уже потому, что может обозревать его извне, судить о нем с той свободой и всесторонностью, которой мешают национальные междоусобные пристрастия местных западных писателей. Русское искусство и в этом отношении предварило нашу русскую науку, еще далеко не освободившуюся из своего духовного плена... Образцом такого объективного постижения являются у Пушкина все его воспроизведения европейской жизни. Возьмите, например, его «Сцены из рыцарских времен» – это мастерское творение, еще недостаточно оцененное критикой, «Скупой рыцарь», «Каменный гость», самое послание к Юсупову с блестящим очерком Европы конца прошлого века. Самые заимствования у иностранных писателей (и не у одних только европейских) и так называемые «подражания» становятся у Пушкина, опять-таки вследствие его объективной способности, вполне самостоятельными созданиями и даже выше, большей частью, подлинников или образцов. Таковы: «Пир во время чумы», стихотворение из Вуньяна, подражания Алкорану, «Песни западных славян», заимствованные у Мериме, и множество других.

Не могу пройти молчанием упрек, делаемый Пушкину в аристократизме или чванстве своим старинным родом, выра-

зившемся будто бы, между прочим, в его «родословной Езерского». Упрек истинно забавный и относительно аристократизма несправедливый уже потому, что наши аристократы, к сожалению, весьма мало интересуются своими историческими предками. Пушкин действительно знал и любил своих предков. Что ж из этого? Было бы желательно, чтоб связь преданий и чувство исторической преемственности было доступно не одному дворянству (где оно почти и не живет), но и всем сословиям; чтобы память о предках жила и в купечестве, и в духовенстве, и у крестьян. Да и теперь между ними уважаются старинные честные роды. Но что, в сущности, давала душе Пушкина эта любовь к предкам? Давала и питала лишь живое, здоровое историческое чувство. Ему было приятно иметь через них, так сказать, реальную связь с родной историей, состоять как бы в историческом свойстве и с Александром Невским, и с Иоаннами, и с Годуновым.

Русская летопись уже не представлялась ему чем-то отрешенным, мертвой хартией, но как бы и семейной хроникой. Зато уж как и умел он воспроизвести в своей поэзии простую прелесть летописного языка и самый образ русского летописца (в «Борисе Годунове»)! Он и в современности чувствовал себя всегда как в исторической рамке, в пределах живой, продолжающейся истории. Посмотрите, как чутко отзывается он на все истинно великие русские события своей эпохи, как горячо принимает к сердцу и честь, и славу, и самое внешнее достоинство России; какой негодующий стих бросает он в ответ «Клеветникам России», скликавшим всю Европу в новый против нас крестовый поход! Пушкин был живой русский, исторически чувствовавший человек и не принадлежал к числу доктринеров, которые не смеют отдаться самым простым, естественным движениям русского чувства без справок со своей доктриной. Пушкин любил русский народ не отвлеченно, а вместе с той реальной исторической формой, в которую он сложился и в которой живет и действует в мире, – любил и русскую Землю и Русское государство, содержа их в своей

душе в том тесном любовном союзе, в каком содержит их и душа народа, вопреки всех временных ошибок и уклонений государственной власти. Но никогда не слагал он хвалебных од живым носителям этой власти, а если и «пел» их, то повинуясь лишь искреннему, прекрасному движению сердечного сочувствия и т а й н о, между ближайшими друзьями, не предназначая стихов для печати.

На лире скромной, благородной,
Земных богов я не хвалил
И силе, в гордости свободной,
Кадилом лести не кадил.
Свободу лишь умея славить,
Стихами жертвуя лишь ей,
Я не рожден царей забавить
Стыдливой музою моей.

Но в то же время он «Елисавету тайно пел». В день лицейской годовщины 19 октября 1825 года, в послании к друзьям, за кого предлагает и пьет первый кубок сосланный у себя в деревне поэт?

Друзья мои, простим ему гоненье:
Он взял Париж и основал Лицей!

Его стихи «Друг и Поэт», где воспевается посещение Наполеоном чумных, были вызваны великодушным поступком государя Николая Павловича, который, узнав о появлении холеры в Москве, помчался в Москву (а холера считалась тогда наравне с чумой), куда и приехал вечером, в оцепленный город, на что и намекается стихами:

Или Москва пустынно блещет,
Его приемля, и молчит...

Но никто не разумел этого намека, даже стихи были напечатаны без подписи Пушкина в «Телескопе». Один Погодин

был посвящен Пушкиным в тайну и открыл ее печатно лишь после смерти нашего благороднейшего из поэтов.

Сохраняя всегда во всем полную нравственную свободу и независимость художника, Пушкин не был певцом ни официальных торжеств, ни официального величия; был чужд и слепого, узкого национального эгоизма, Россия для него имела широкое историческое «предназначение» не только славянское, но и мировое. Он возглашает не проклятие Наполеону, виновнику памятного ему нашествия на Москву 1812 года, а хвалу:

Хвала! Он русскому народу
Высокий жребий указал
И миру вечную свободу
Из мрака ссылки завещал.

А когда в 1829 году русские войска двинулись к Константинополю, он напоминал им, что они только «снова обрели старый, олеговский еще путь» Да, Пушкин был живой русский, исторически чувствовавший человек. Историческое чувство, историческое сознание!.. Да ведь это значит – уважение к своей земле, признание прав своего народа на самобытную историческую жизнь и органическое развитие; постоянная память о том, что пред нами не мертвый материал, из которого можно лепить какие угодно фигуры, а живой организм, великий, своеобразный, могучий народ русский, с его тысячелетней историей!

Да не в том ли вся сумма наших бед и зол, что так слабо в нас во всех, и в аристократах, и в демократах, русское историческое сознание, так мертвенно историческое чувство!

Я, конечно, не исчерпал своей задачи, но, кажется, все же несколько уяснил, в чем я вижу русскую стихию поэзии Пушкина. Это был первый истинный, великий поэт на Руси и первый истинно-русский поэт, а по тому самому и народный, в высшем значении этого слова. Он и до сих пор самый русский из всех наших поэтов. Он первый внес правду в

мир русской поэзии и разрешил плен русского народного духа в доступной ему сфере искусства. Как орел парит над нами и до сих пор его поэтический гений, широко простирая крылья, никем доселе не опереженный, – вовеки гордость, слава и любовь русской земли!

Не все, конечно, стороны народной жизни и духа нашли себе выражение в созданиях Пушкина; тем не менее мы еще только теперь начинаем дорастать нашим сознанием до смысла всех тех откровений, которые таятся в глубинах его поэзии. И не одному только искусству указал он путь, но всей вообще русской мысли, во всех ее разнообразных проявлениях, в слове и в жизни.

Пусть же воздвижение ему памятника станет в самом деле событием и новой эрой в нашей общественной жизни. Пусть изваянный в меди образ этого всемирного художника и русского народного поэта неумолчно зовет чреды сменяющихся поколений к труду народного самосознания, к плодотворному служению истине на поприще правды народной, – чтоб сподобиться наконец русской «интеллигенции» стать действительным высшим выражением русского народного духа и его всемирно-исторического призвания в человечестве!

КОММЕНТАРИИ

Сразу после кончины И. С. Аксакова его вдовой, урожденной Тютчевой, два раза были изданы собрания его сочинений:

И. С. Аксаков. Собр. соч.. В 7 тт. М, 1886–1887;
2-ое изд. И. С. Аксаков. Собр. соч. В 7 тт. СПб., 1891–1903 гг.

Также его другом и единомышленником О. Ф. Миллером издавалась его переписка:
И. С. Аксаков в его письмах. В 4 тт. СПб., 1888–1896;
Миллер О. Ф. Внутренняя жизнь и ход развития И. С. Аксакова по его письмам. СПб., 1889.

В советский период истории некоторые статьи И. С. Аксакова выходили в изданиях:

И. С. Аксаков. Из писем. Публикация и комментарии Л. Р. Ланского. «Литературное наследство. М., «Наука», 1973;
К. С. Аксаков, И. С. Аксаков. Литературная критика. (Сост., вступительное слово и комментарии А. С. Курилова). М., «Современник», 1981;
И. С. Аксаков. «…и слово правды». Стихи, пьесы, статьи, очерки. Уфа, 1986;
И. С. Аксаков. Письма из провинции. Присутственный день в уголовной палате. М., 1991.

В постсоветский период научные и особенно национально-патриотические издания начали публиковать некоторые произведения Аксакова:

И. С. Аксаков. Письма к родным. 1849–1856 гг. Издание подготовила Т. Ф. Пирожкова. Серия «Литературные памятники».., «Наука», 1994;

И. С. Аксаков. Еврейский вопрос. М., «Социздат», серия «Потаенная русская литература», 2001

И. С. Аксаков. Отчего так нелегко живется в России? М., РОССПЭН, 2002

Архивы: ИРЛИ, ф. 3; РГАЛИ, ф. 10.

ПРЕДИСЛОВИЕ

[1] Франк С. Л. Сочинения. М., 1990. С. 154.

[2] Мещерский В. П. Воспоминания. М., 2001. С. 305.

[3] Гуральник У. А. Достоевский, славянофилы и «почвенничество» // Достоевский – художник и мыслитель. М., 1972. С. 429.

[4] Чудинов А. В. Размышления англичан о французской революции. М., 1996. С. 124–125.

[5] Карамзин Н. М. История Государства Российского. Т. 1–3. Тула, 1990. С. 247.

[6] Петрухин В. Я. Древняя Русь. IX в. – 1263 г. М., 2005. С. 146.

[7] Аксаков С. Т. Собрание сочинений в 3-х тт. Т. 1. М., 1986. С. 46.

[8] Иван Сергеевич Аксаков в его письмах. М., 1888. Т. 1. С. 15–16.

[9] Там же. С. 24.

[10] Цымбаев Н. И. До горизонта – земля // Вопросы философии. 1997. № 1.

[11] Кириллов И. Третий Рим. 1914. С. 49.

[12] Левандовский А. А. Время Грановского. М., 1990. С. 181.

[13] Аксаков К. С. Воспоминание студенчества. СПб., 1910. С. 17–18.

[14] Иван Сергеевич Аксаков в его письмах. СПб., 1888–96. Т. 2. С. 73–74.

[15] Ныне – Кировоград.

[16] Иван Сергеевич Аксаков в его письмах. Т. 3. М., 1892. С. 127.

[17] Там же. С. 207.

[18] Там же. С. 105.

[19] Теория государства у славянофилов. М., 1898. С. 24–39.

[20] Гиляров-Платонов Г. П. Собр. соч. в 2-х тт. / Предисловие Н. Шаховского. С. XIII.

[21] Долгоруков П. В. Петербургские очерки. М., 1992. С. 191.

[22] Иван Сергеевич Аксаков в его письмах. Т. 3.. С. 306.

[23] Долгоруков П. В. Петербургские очерки. М. 1992. С. 198.

[24] Герцен А. И. Собр. соч.:в 30 тт. Т. 26. С. 154.

[25] Иван Сергеевич Аксаков в его письмах. Т. 3.. С. 71.

[26] «День», 1861. 28 окт., № 3.

[27] Иван Сергеевич Аксаков в его письмах. Т. 4. С. 127.

[28] Погодин М. П. Соч. Т. 4. 1874. С. 220–221.

[29] Первый всеславянский съезд в России, его причины и значение. М., 1867. С. 42.

[30] Мещерский В. П. Воспоминания. М., 2001. С. 356.

СЛАВЯНОФИЛЬСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ НАЦИИ И ГОСУДАРСТВА

«Народ, государство, общество».

Перв. публ.: «День», 1862. 3, 10, 17, 24 марта.

Печатается по: Полн. собр. соч. 2-е изд. Т. 2, СПб., 1891. С. 26–59

[1] Маколей Томас Б. (1800–1859 гг.) – английский историк и политический деятель либерального направления.

[2] «Дворянство шпаги» и «дворянство мантии» (*фр.*) – обозначение категорий французского дворянства до революции 1789 года.

«В чем сила России?»

Перв. публ.: «День», 1863. 20 апреля.
Печатается по: Полн. собр. соч. Т. 2 … С. 147–152.

[1] Лонгвуд – основной город острова Святой Елены, где жил Наполеон в 1815–21 гг., после своего поражения.

«Доктрина и органическая жизнь»

Перв. публ.: «День», 1861. 11 ноября.
Печатается по: Собр. соч. Т. 2 … С. 15–21.

«В чем недостаточность русского патриотизма»

Перв. публ.: «День», 1864, 17 октября.
Печатается по: Собр. соч. Т. 2 … С. 220–228.

[1] У А.С. Пушкина — «нетерпеливому герою».
[2] Россия гниет прежде, чем созреть (*фр.*).

«Отчего Россия так мало способна к обрусению своих окраин?»

Перв. публ.: «Москва», 1867. 24 декабря.
Печатается по: Собр. соч. Т. 2 … С. 373–380.

«О нравственном состоянии нашего общества – и что требуется для его оздоровления»

Перв. публ.: «Русь», 1882. 17 апреля.

[1] Речь идет об одесском военном прокуроре В. С. Стрельникове, убитом революционерами-народовольцами в 1882 году.

«Русский прогресс и русская действительность»

Перв. публ.: «День», 1862. 27 января

РУССКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ

«О служебной деятельности (письмо к чиновнику)».

Статья написана в 1849 г. вскоре после освобождения из-под ареста.

Первая публ.: «Человек». 1993. № 1. С. 70–72.

[1] Какова практическая сторона вопроса (*фр.*).

Об издании в 1859 году газеты «Парус»

Передовая статья «Паруса»

Первая публ.: «Парус», 1859. 3 января

Передовая статья

Первая публ.: «Парус», № 2, 1859. 10 января.

Заключительное слово «Русской беседы»

Первая публ.: «Русская Беседа», 1859. Кн. 6.

СУЩНОСТЬ РУССКОЙ ИСТОРИИ И РУССКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

«Возврат к народной жизни путем самосознания»

Перв. публ.: «День», 14 октября 1861 года.

Печатается по: Собр. соч. Т. 2 … С. 3–7

«Отчужденность интеллигенции от народной стихии»

Перв. публ.: «День», 1861. 21 октября.
Печатается по: Собр. соч. Т. 2 … С. 8–10.

«Народный отпор чужестранным учреждениям»

Перв. публ.: «День», 1861. 21 октября.
Печатается по: Собр. соч. Т. 2 … С. 10–15.

«О лженародности в литературе 60-х годов»

Перв. публ.: «День», 1862. 1 декабря.
Печатается по: Собр. соч. Т. 2 … С. 80–89.

«Ответ Мещерскому».

[1] Князь Владимир Петрович Мещерский (1839–1914 гг.), видный публицист охранительного направления. Редактор-издатель газеты «Гражданин». Аксаков часто полемизировал с Мещерским, критикуя его за недооценку славянофильского общественного мнения.

[2] Добрый Бог больше любит тех, кто его опровергает, чем тех, кто его компрометирует (*фр*.).

«Петербург и Москва»

Перв. публ.: «День», 1862. 29 сентября.
Печатается по: Собр. соч. Т. 2 … С. 66–72

«Петербург или Киев?»

Перв. публ.: «День», 1862. 17 ноября.
Печатается по: Собр. соч. Т. 2 … С. 72–80.

САМОДЕРЖАВИЕ И СВОБОДА

«Ошибочность взгляда, будто свобода слова несовместна с существующей у нас политической формой правления»

«День», 1863, 24 января (снято цензурой).
Печатается по: Собр. соч. Т. 4. СПб., 1903. С. 319–322.

«Что значит выйти нашему правительству на исторический народный путь?»

Перв. публ.: «Русь», 1884. 15 ноября.

[1] Несправедливая характеристика архимандрита Фотия (Спасского) (1792–1838), крупнейшего церковного деятеля первой трети XIX века, видного борца с масонством, с «экуменическими увлечениями» Александра I. После смерти масонские круги смогли «демонизировать» облик Фотия, и Аксаков, не владея реальной информацией, невольно повторил их измышления.

[2] Гражданский кодекс (*фр.*).

[3] Так называлась комиссия по разработке законодательства по местному самоуправлению под руководством товарища (заместителя) министра внутренних дел М. С. Коханова, работавшая в 1881–1885 гг.

«Литература должна подлежать закону, а не административному произволу»

«День», 1862. 22 декабря (снята цензурой).
Печатается по: Собр. соч. Т. 4… С. 312–318

[1] «Быть или не быть» (*англ.*).

«Журналистика – выражение общественного мнения, а не какая-нибудь законодательная власть»

Перв. публ.: «Москва», 1868. 6 апреля.
Печатается по: Собр. соч. Т. 4… С. 370–377

[1] Плохая грация, плохое настроение (фр)
[2] Порочный круг» (*фр.*)

«Не есть ли вредная сторона печати необходимое зло, которое приходится терпеть ради ее полезной стороны?».

Перв. публ.: «Русь», 1884. 4 сентября.
Печатается по: Собр. соч. Т. 4… С. 410–418

Речь на коронационных торжествах при короновании Императора Александра Третьего

Печатается по: И. С. Аксаков. В день коронации. М. 1883

О единении царя и народа Иван Аксаков говорил на торжествах, посвященных коронации императора Александра III в 1883 году. Коронационная речь – особый жанр, в котором преобладают выспренные формулировки и торжественный стиль. Но Иван Аксаков не был бы самим собой, если бы и здесь не выступил с изложением славянофильских принципов.

О РОССИИ

«И любишь Россию – и невольно спрашиваешь себя, за что ее любишь»

Перв. публ.: «День», 1865. 19 августа.

«Отчего так нелегко живется в России?»

Перв. публ.: «День». 1865. 18 декабря.
Печатается по: Собр. соч. Т. 2… С. 311–323

[1] Благие пожелания (фр.)
[2] Более европейская, чем Европа (фр.)

ПОЛЬСКИЙ ВОПРОС И РУССКОЕ ДЕЛО В ЗАПАДНОМ КРАЕ

Одним из самых болезненных, важных, сложных вопросов российской жизни XIX века был польский вопрос. Речь шла не только о проблемах, порожденных русской властью над Польшей, присоединенной к Российской империи в 1815 году, после победы над Наполеоном, но и о польских притязаниях на половину исторических русских земель – Белую и Малую Русь. Этими землями Польша завладела с XVI века, после объединения с Великим Княжеством Литовским и создания Речи Посполитой. Показательно, что поляки не завоевали западнорусские земли. Просто произошло масштабное предательство национальной элиты тех русских земель.

После объединения с Польшей произошло окатоличивание и ополячивание почти всей аристократии. Еще недавно православные князья гедеминовой и рюриковой крови – Ходкевичи, Тышкевичи, Вишневецкие, Острожские, Сангушко, Огинские, Сапеги, Чарторыйские, превратились в польскую аристократию, совершенно оттеснив на задний план польскую знать из коренных поляков. Из евреев состояла большая часть городского населения, занимавшаяся ростовщичеством, торговлей, содержанием кабаков. Кроме того, учитывая презрение благородных панов к работе, евреи в основном были управляющими шляхетских имений, нещадно эксплуатировавшие православное крестьянское «быдло». Не случайно возникла поговорка: «Нет

пана без Абрама». Понятно, что такое государство оказалось нежизнеспособным.

Речь Посполитая была разделена в три приема в конце XVIII века, причем Россия при разделе вернула себе лишь исконные земли Малой и Белой Руси. Показательно, что польские деятели в 1795 году, когда Речь Посполитая прекратила существование, предлагали Екатерине II принять титул королевы Польши. Но российская императрица отвечала: «При разделе я не получила ни пяди польской земли. Я получила то, что сами поляки не переставали называть Русью… не получив ни пяди польской земли, я не могу принять и титул королевы польской». Но польские деятели стремились вновь захватить русские земли, возвращенные России. Западные губернии Российской империи они окрестили «Забранным краем». Это стремление вновь захватить «Забранный край» стало польской «национальной идеей» на два века, вплоть до наших дней.

Попытка поляков восстановить Польшу в прежних границах привела их в стан Наполеона. Понятно, что польское движение потерпело поражение вместе с корсиканцем. Однако Россия проявила невиданную милость к поверженному союзнику своего главного врага. На территории большей части прежнего Герцогства Варшавского было создано Царство Польское. Это было независимое государство, имевшее свою конституцию, армию, денежную систему и все прочие атрибуты государственности. Единственное, что связывало Царство с Россией, была личная уния – самодержавный император Всероссийский был одновременно конституционным Царем Польским.

Но польские магнаты и шляхты не ценили эти благодеяния. Главная причина недовольства польской знати заключалась в том, что «Забранный край» оставался в Российской империи. И именно борьба за Белоруссию и Правобережную Украину и составляла суть всех польских претензий.

Силу польским претензиям придавало полное польское господство в области культуры и политической власти в западных российских губерниях. В белорусских губерниях (которые назывались Северо-Западным Краем), а также на Правобережной Украине (Юго-Западном крае) языком делопроизводства оста-

вался польский, в руках католической церкви оставалась вся система просвещения, а законы основывались на Литовском Статуте 1588 года. Образование находилось в руках католической церкви, воспитывавшей в местных белорусах и украинцах русофобию и «полонизм». Вплоть до 30-х гг. XIX века русских школ здесь не было вовсе. Доходило до таких парадоксов, как использование польского языка в качестве языка преподавания в православных духовных семинариях на правом берегу Днепра. В первой половине XIX века для украинца и белоруса получение образования означало принятие католичества и ополячивание. Не случайно через несколько десятилетий после падения Польши ополячивание восточных славян шло несравненно более быстрыми темпами, чем за несколько веков пребывания в составе Речи Посполитой, о чем с горечью писал Аксаков.

Первоначально польские деятели пытались использовать доброжелательность и идеализм Императора Александра I. Под влиянием друга молодости, бывшего министра иностранных дел Российской империи князя Чарторыйского, Александр I в 1819 году собрался было присоединить к Царству Польскому западные российские губернии. Но тут вмешался великий историк Н. К. Карамзин и сумел не допустить воссоздания Речи Посполитой.

Потерпев неудачу при Дворе, польские деятели установили контакты с тайными обществами декабристов. И опять единственное, что требовали поляки от декабристов в обмен на помощь, – получить «Забранный край». Но декабризм был раздавлен 14 декабря 1825 года, и полякам пришлось искать новые пути.

Как в Царстве Польском, так и в западных губерниях России началось бурное формирование польских заговорщицких организаций, ставящих целью воссоздание Польши в прежних границах. В 1830–31 гг. поляки, воспользовавшись общеевропейским кризисом, вызванным французской и бельгийской революциями, попытались силой оружия вернуть «Забранный край», но потерпели полное военное поражение.

Однако даже после усмирения мятежа официальный Петербург мало что изменил в жизни края. Правда, урок пораже-

ния 1831 года способствовал тому, что теперь польские паны постарались привлечь на свою сторону прежнее православное «быдло». Поскольку ополячить большинство малороссов и белорусов не удалось, несмотря на полное равнодушие Петербурга к деятельности польско-католических учебных заведений, то пришлось изобретать «нации» украинцев и белорусов.

Поскольку доказывать, что жители Украины и Белоруссии являются поляками было возможно только петербургским интеллигентам, но не самим украинцам, то стали появляться теории об особенном происхождении местных жителей, не имеющих ничего общего с «москалями». Особую проблему создавало то обстоятельство, что именно край, на который претендовало польское движение, был центром Киевской Руси, и во времена Речи Посполитой все эти земли назывались русскими воеводствами и «крейсами». Первоначально, еще в первой половине XIX века, польские пропагандисты писали, что Русью являются именно украинские и белорусские земли, являющиеся частью Польши, а Россия есть Московия, присвоившая себе чужое имя России. Польские авторы разделяли историю Руси, которую целиком относили к польской истории, и историческое развитие Российской империи, которая, по уверениям польских националистов, была неславянской Московией. Так, некий Рыкачевский в предисловии к французскому переводу книги известного польского историка и революционера И. Лелевеля «История Литвы и Руси до их окончательного соединения с Польшей в 1569 году» писал следующее: «То, что называется Россией, есть выдумка, бессмыслица, новое наименование, опровергаемое историей... Россия...есть ничто иное, как Московия, страна неславянская, народности азиатской и варварской, объявленная в XYIII веке европейским государством, объявленная принадлежащей к славянской народности по указу, созданию абсолютной властью одной царицы». В польской литературе употреблялись слова Rossianin, rossuiski для великорусов, и слова Rusin, ruski, Rus для обозначения малорусов и белорусов. Однако вскоре вместо понятия «Русь» для обозначения губерний Юго-Западного края Российской империи стало использоваться слово «Украина». Возник союз польских сепаратистов с украинским движени-

ем, причем лидирующую роль в союзе играли поляки. Именно польские авторы продолжали работать над созданием теории отдельного происхождения украинцев и их расовых и языковых отличий от великороссов.

В 1858–61 гг. в Париже вышел трехтомный труд профессора парижской польской школы Франциска Духинского, впоследствии вышедший на французском под названием « Peuples Aryas et Tourans ». Основная мысль его заключалась в том, что поляки и «русские» (то есть украинцы) являются арийским народом, а москали – туранским, состоящим из смеси финнов и монголов. «Русь» – это исконная Польша, «русский» (то есть украинский) язык есть диалект польского, а Московия – варварская страна, представляющая угрозу европейской культуре. Только восстановленная Польша сможет стать барьером московскому варварству. При всей своей антинаучности расистская теория Ф. Духинского получила распространение на Западе, причем элементы его теории существуют в западной и украинской общественной мысли до сих пор.

Либеральный курс Александра II в отношении Польши привел, увы, к прежнему результату. В Царстве Польском (включавшем чисто польские области) была создана польская администрация под руководством маркиза А. Велепольского и в значительной степени восстановлена автономия Польши. Но польские лидеры немедленно стали претендовать на «Забранный край». Более 300 польских помещиков направили Адрес императору с предложением распространить польские законы на территорию Северо-Западного и Юго-Западного краев. 19 февраля 1861 года было отменено крепостное право, а уже 25 февраля в Варшаве начались манифестации под польскими знаменами и гербами всех провинций прежней Польши. В январе 1863 года вспыхнуло очередное польское восстание, и опять с целью борьбы за «свободу», которая заключалась в восстановлении польского господства в Белоруссии, Литве и Украине. В самой России поляки нашли поддержку «передовой» интеллигенции, отчасти введенной в заблуждение польской демагогией о «нашей и вашей свободе» и рассуждениях о «моральной вине» России перед Польшей.

Иван Аксаков решительно противопоставил польской демагогии о «праве» Польши на западные российские губернии, а также подпевающих полякам украинских самостийников («украйнофилов») историческую правду и здравый смысл. Его статьи, посвященные польскому вопросу и борьбе с полонизацией Западного края, и поныне не утратили своей актуальности.

Почти не известный нынешним русским патриотам польский кризис 1863–64 гг. был решен в результате умелых действий генерала М. Н. Муравьева, назначенного наместником Северо-Западного края под давлением общественного мнения. В момент назначения М. Н. Муравьева восстание было на подъеме, отношения с западными державами были обострены до предела. Не случайно, что императрица Мария Александровна сказала М. Н. Муравьеву при отъезде в Вильну: «Хотя бы Литву, по крайней мере, мы могли бы сохранить»*. Собственно Польшу в Петербурге считали уже потерянной. Однако М. Н. Муравьев оказался на высоте положения.

Действовал Муравьев решительно и жестко. 1 мая 1863 года он был назначен генерал-губернатором, 26 мая прибыл в Вильну в качестве Наместника, а уже 8 августа принял депутацию виленского шляхетства под руководителем виленского губернского предводителя дворянства Домейко с изъявлением покаяния и покорности. К весне 1864 года восстание было окончательно подавлено. Однако Муравьев не только воевал. Он прибыл в Литву и Белоруссию с определенной программой. Своей задачей генерал-губернатор ставил полную интеграцию края в состав империи. Главным препятствием для этого было польское помещичье землевладение. Учитывая, что городское население края состояло в основном из евреев и поляков, единственной опорой русской власти в крае могло быть только белорусское крестьянство.

М. Н. Муравьев обложил налогом в 10 % доходов шляхетские имения и собственность католической церкви. Помимо этого дворянство должно было оплачивать содержание сельской стражи (можно представить себе ярость панов, оплачивающих

* Кулаковский П. А. Польский вопрос в прошлом и настоящем. СПб., 1907. С. 26.

стражу из числа своих бывших крепостных!). Наделы для крестьян были увеличены. Крестьяне Гродненской губернии получили на 12 % земли больше, чем было определено в уставных грамотах, в Виленской – на 16%, Ковенской – на 19 %. Выкупные платежи были понижены: в Гродненской губернии – 2 р. 15 коп. до 67 коп. за десятину, в Виленской – 2 р. 11 коп. до 74 коп., в Ковенской – 2 р. 25 коп. до 1 р.49 коп.* В целом в результате реформ М. Н. Муравьева в Белоруссии наделы крестьян были увеличены на 24%, а подати были уменьшены на 64,5%. Для усиления русского элемента в крае М. Н. Муравьев ассигновал 5 млн. рублей на приобретение крестьянами секвестированных панских земель. М. Н. Муравьев развернул также строительство русских школ. Уже к 1-му января 1864 года в крае были открыты 389 школ, а в Молодечно – учительская семинария**. Эти меры подорвали монополию католической церкви и польского дворянства на просвещение в крае, делавшего его недоступным для белорусов.

Однако после усмирения мятежа официальный Петербург вновь пошел на соглашение с панами. Новый генерал-губернатор края А. Л. Потапов постарался ликвидировать всю «систему Муравьева». Протестовавший против Аксаков был отлучен на 12 лет от редактирования газет. И в наши дни мы можем своими глазами наблюдать последствия недоведенного до конца русского дела в западных областях исторической России в виде украинского самостийничества и все тех же польских претензий на продолжение своей «миссии на Востоке».

«Наши нравственные отношения с Польшей»

Перв. публ.: «День», 18 ноября 1861 г.
Печатается по; Собр. соч. 2-е изд. Т. 3. СПб., 1900. С. 2–9

* Зайончковский П. А. Проведение в жизнь крестьянской реформы 1861. М., 1958. С. 401.

** Татищев С. С. Император Александр Второй. Его жизнь и царствование. М., 1996. Т. 2. С. 241.

[1] В 1850 году британское правительство начало морскую блокаду Греции, требуя многократного возмещения убытков британского подданного, гибралтарского еврея Пасифико, пострадавшего во внутренних беспорядках. В годы Крымской войны англо-французский флот без объявления войны захватил греческий порт Пирей, опасаясь вступления Греции в войну на стороне России.

[2] Ультрамонтанство – направление в католицизме, отстаивающее идею верховной власти Римского папы, требующее признать за ним право вмешиваться в дела всех государств.

«Ответ на письмо, подписанное “Белорусс”»

Перв. публ.: «День», 26 января, 1862 г.
Печатается по: Собр. соч. Т. 3… С. 10–12

«По поводу притязаний поляков на Литву, Белоруссию, Волынь и Подолию»

Перв. публ.: «День», 6 октября 1862 г.
Печатается по: Собр. соч. Т. 3… С. 12–16

«Ложь сделалась органическим отправлением Польской натуры»

Перв. публ.: «День», 1863. 10 августа.
Печатается по: Собр. соч. Т. 3… С. 108–114

«Украйнофильско-польский бред „Тараса Воли”»

Перв. публ.: «Москва», 1868. 20 января.
Печатается по: Собр. соч. Т. 3… С. 326–331

[1] В данном случае – быть в паре (*фр.*).
[2] Не взыщите (*фр.*).
[3] Суть вещи (*фр.*).

ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС

Иван Аксаков стал одним из первых русских публицистов, исследовавший еврейский вопрос в России. И в этом его историческая заслуга и едва ли не главная причина, по которой его приговорили к забвению. При чтении статей Аксакова по еврейскому вопросу невольно поражаешься тому, что написаны они более столетия назад. Увы, мало что изменилось с его времени на Святой Руси. Правда, необходимо сделать некоторые пояснения, чтобы современному читателю были понятны те исторические обстоятельства, о которых говорил Иван Сергеевич.

Хотя еврейскому вопросу много веков, в России действительно до XIX столетия с ним были очень мало знакомы. Объяснялось это тем, что вплоть до разделов Речи Посполитой в России с евреями сталкивались очень мало. В древней Киевской Руси было некоторое количество иудеев из числа хазар. Впрочем, число их было незначительно и популярности они не имели. Киевский князь Святополк II (1093–1113 гг.), нуждаясь в деньгах, пригласил в Киев еврейских ростовщиков, которым дал на откуп налоги. В 1113 году, как только стало известно о смерти князя, в Киеве произошло восстание, в ходе которого киевляне расправились с приближенными покойного князя и евреями. Владимир Мономах, став князем по воле киевского веча, немедленно выгнал за пределы Руси всех евреев. Правда, в ряде русских юго-западных княжеств евреи сохранились.

В Московской Руси в 1526 году, вскоре после разоблачения ереси жидовствующих, евреям официально был запрещен въезд в пределы страны. Этот запрет оставался в силе более двух веков. Конечно, отдельные евреи проникали в пределы Руси, но их было мало и они вынуждены были скрывать свое происхождение, поэтому и вред от них был пока еще невелик. Вероятно, есть прямая зависимость между подъемом России от Ивана Калиты до Екатерины Великой и отсутствием в стране еврейства. И в более позднее время российские самодержцы обладали государственным инстинктом, оставляя двери России за-

крытыми для евреев. Показательно, что Петр Великий, которого справедливо обвиняли в излишней симпатии к иностранцам, для евреев делал исключение. «Я хочу, — говорил Петр I, — видеть у себя лучше народов магометанской и языческой веры, нежели жидов. Они плуты и обманщики. Я искореняю зло, а не распложаю; не будет для них в России ни жилища, ни торговли, сколько о том ни стараются и как ближних ко мне ни подкупают». Дочь Петра Елизавета отвергла предложение ее собственного Сената разрешить еврейским купцам селиться в пределах империи со словами: «Я не ищу прибыли от врагов Христовых»! Екатерина II в первые годы царствования, получив очередной проект о создании в России еврейских поселений, также отказалась рассматривать его. При этом императрица сама охотно пригласила в Россию немецких колонистов, а также христиан из-за Дуная.

Конечно, евреи в Россию все равно проникали и вели подрывную деятельность. При Петре Великом ряд важных государственных постов занимали выкресты (крещеные евреи), например, подканцлер Шафиров и начальник петербургской полиции Девиер. Впрочем, под грозным взором Петра они честно служили России. Когда власть переставала обращать внимание на национальные интересы, то немедленно возникали новые проблемы. Так, в царствование Анны Иоанновны были казнены еврей Борох Лейбов и некий флотский капитан Александр Возницын, перешедший под его влиянием в иудаизм. Но в целом, до разделов Польши, еврейская проблема в России была малозаметна.

Зато прямо противоположная ситуация сложилась на Малой и Белой Руси, оказавшихся под властью Литвы, а затем и Польши. В 1388 году литовский князь Витовт, правивший половиной русских земель, даровал евреям, желающим поселиться в его владениях, важные привилегии. Евреи становились непосредственными подданными великого князя, платящими налоги в казну в обмен на защиту личности, собственности, свободу вероисповедания, общинное самоуправление и право заниматься ремеслами и торговлей. Сам Витовт, католик по вероисповеданию, покровитель православных, принимавший на службу татар-мусульман, из которых формировал конные отряды улан, видел

в евреях купцов и ремесленников. Получив невиданные во всем тогдашнем мире льготы, евреи устремились в Литву. Большинство из них прибыло из Германии через Польшу, и именно поэтому языком евреев Украины и Белоруссии вплоть до XX века был идиш – искаженный немецкий. В скором времени в Великом Княжестве Литовском и Польше стали проживать примерно половина евреев мира, причем значительная их часть проживала в Белоруссии. При этом евреи стали составлять весьма значительную часть населения городов Великого Княжества.

Сплоченное и организованное еврейство достаточно быстро вытеснило русское население почти из всех видов городской деятельности и экономически подчинило себе деревню, т. к. евреи стали арендаторами или управляющими большинства панских имений.

Поскольку религия запрещала верующим иудеям возделывать «землю изгнания», то понятно, что евреи сельским трудом не занимались. Не случайно в основном евреи жили в городах или местечках – сельских населенных пунктах, жители которых, однако, не пашут землю. На государственную службу иудеев также не принимали, поскольку они не могли принести присягу верности христианскому государю. Христианство осуждает ростовщичество, которое, напротив, очень уважаемое занятие у иудеев. Понятно, что именно ростовщичество, шинкарство, торговля стали еврейскими занятиями в крае.

Результаты не замедлили сказаться. История Великого Княжества Литовского, а затем (после объединения его с Польшей) Речи Посполитой есть история политического распада, хозяйственной и культурной деградации, жесточайшей крепостнической эксплуатации, а также многочисленных народных восстаний против ополяченных феодалов и еврейских ростовщиков. «Ни ксендза, ни жида!» – так звучал лозунг казаков Богдана Хмельницкого. Уцелевшие евреи бежали от казаков куда глаза глядят, в результате чего на Гетманщине (автономной части Левобережной Украины) на какое-то время еврейство просто исчезло. На той части Украины, что осталась под властью Польши, все осталось по-старому. Закономерен был конец Речи Посполитой, которую просто поделили соседи.

Государственная несостоятельность Литвы и Польши во многом была вызвана именно тем, что в этих странах, включая западно-русские земли, евреи фактически задушили зарождавшиеся городские средние слои. Задолжавшее и заложившееся еврейским кредиторам благородное шляхетство всю свою энергию тратило на дальнейшее ограбление крепостных, разоряя их, а тем самым и свою страну.

Но вот что показательно. Став полновластным хозяином Белой и Малой Руси (в силу паразитизма ростовщического капитала и присущему многим еврейским предпринимателям стремлению присваивать чужое богатство, а не увеличивать производство), основная масса евреев этих земель жила в ужасающей бедности, скученности. В художественной литературе остались яркие описания убогого быта еврейских местечек Белоруссии и Украины. По мере разорения и обнищания края нищало и паразитирующее на нем еврейство.

Еврейский вопрос стал важнейшим для России после разделов Польши. Присоединив к себе исторические русские земли, Россия получила себе в подданные еще массу евреев. Первоначально в России, именно в силу отсутствия опыта общения с евреями, к ним отнеслись вполне доброжелательно, как к очередному народу, оказавшемуся под русским скипетром. После первого раздела Польши к России в 1772 году отошла Полоцкая губерния с 50 тысячами евреев. Им немедленно даровали полную автономию, передав всю власть в еврейской общине кагалу. В 1780 году по указу Екатерины всем евреям было предписано приписаться либо к купеческому, либо к мещанскому сословиям. Это означало отнесение еврейства к весьма привилегированным категориям населения империи. По просьбе евреев города Шклова в 1787 году Екатерина запретила употреблять в официальных документах слово «жид». После следующих разделов Польши к России отошли территории, где сосредоточено было уже около миллиона евреев (вероятно, точное число евреев в России никогда не будет известно. Евреи то многократно завышали свою численность, дабы требовать себе особые права, то всячески скрывались, притворно принимая христианство и превращаясь в «русских». Народная мудрость, впрочем, гласит: «Жид крещеный – вор про-

щеный»). После присоединения Бессарабии в 1812 году Россия приобрела еще 20 тысяч евреев, а в Царстве Польском, ставшем русским в 1815 году – еще 300 тысяч. Так в России оказалась половина евреев мира. Благодаря высокому естественному приросту за XIX век число евреев увеличилось в 8 раз! И это несмотря на массовую эмиграцию (в целом евреи давали примерно половину из 4,5 миллионов эмигрантов из Российской империи). Уже в 1880 году евреи составили 4,8% населения Российской империи. В 1897 году в России проживали 5,2 миллиона евреев и при этом около 2 миллионов евреев эмигрировали из России. Уже сам по себе этот факт опровергает душераздирающие рассказы купленных евреями журналистов о страшной жизни евреев в России. Но в чем же причина столь пристального внимания к еврейской проблеме, которой посвятил столь много времени и Иван Аксаков? Все объяснялось социальной ролью еврейства в России.

Власти Российской империи опасались, что евреи будут вести такую же паразитическую деятельность, как в Польше. По этой причине Екатерина II в 1796 году запретила евреям переселяться в глубинную Россию из территорий прежней Польши. Так была проведена «черта оседлости», охватывающая западные и причерноморские губернии России.

По переписи 1897 года, из жителей Российской империи, 618 926 чел. занималось торговлей и 450 427 чел.* из них были евреями (в 2,7 раза больше, чем представителей всех других народов!). Но эти цифры приведены по всей Империи, а в пределах черты оседлости господство евреев в торговле было подавляющим, что делало практически невозможным честную конкуренцию с ними (еще в 1880-х гг. в пределах “черты” из каждой тысячи жителей торговцами были 390 евреев и 38 представителей всех других национальностей).** При этом евреи монополизировали такие сферы торговли, как продажу алкоголя и табачных изделий. Так, в 1886 году в Минской губернии из 1550 питейных заведений 1548 принадлежали евреям, из 1297 табачных лавок у евреев было 1293.***

* Еврейская энциклопедия. Т. 13. С. 649.

** Степанов С. А. Черная Сотня. М., 1992. С. 26.

*** Субботин А. П. В черте еврейской оседлости. СПб., 1888.

С воцарением Александра II в пореформенной России развернулось движение за предоставление евреям особых прав. Как всегда, называлось это борьбой за «равноправие». Между тем евреи и ранее занимали привилегированное положение в России. Это особенно проявилось в стремлении к получению евреями образования.

В 1859 году объявлено обязательным образование для еврейских детей купцов и почетных граждан. Стоило еврею окончить университет, и он получал право поступления на службу по всем ведомствам и право занятия торговлей и промышленностью во всей России. Для еврейских детей, успешно окончивших курс начальных еврейских училищ, было разрешено поступление в первый класс русских гимназий без экзамена. Понятно, что многие отнюдь не успевающие в учебе еврейские дети, имеющие зажиточных родителей, без всяких проблем поступали в гимназии. Отчислить же еврея за неуспеваемость было сложно, поскольку вся еврейская пресса начинала кричать о «преследовании» гениальных еврейских детей.

В 1885 году число евреев, обучавшихся в гимназиях, составило 11 % всего числа учеников. В университетах за 20 лет число евреев увеличилось в 14 раз.

Между тем основная масса евреев относилась все же не к интеллигенции, а к торговле, ростовщичеству, криминальной деятельности (не случайно почти вся блатная лексика российского преступного мира позаимствована из идиша и иврита). Понятно, что слово «жид» для широких масс русского населения западных губерний было синонимом эксплуататора. В 1881 и 1882 гг. по всем западным губерниям прокатилась волна антиеврейских выступлений, известных как погромы. Благодаря еврейским газетам слово «pogrom» вошло в словари западных языков. Ссылаясь на свои страдания, евреи начали требовать себе привилегий не только в России, но также и в других странах. В XX веке именно по примеру «погромов» международное еврейство стало максимально использовать тему «холокоста». Как же было на самом деле? Об этом сказал Иван Аксаков. За два десятилетия публицистической деятельности он досконально изучил еврейский вопрос в России и поэтому

со знанием дела излагал свои аргументы. С его аргументами против расселения евреев за пределами черты оседлости, с предоставлением им особых прав, а также комментариев к книге принявшего христианство еврея Якова Брафмана, разоблачившего античеловеческую сущность иудаизма и его последователей, спорить было невозможно. И именно поэтому труды Аксакова не только по еврейскому вопросу, но и в целом, были замолчаны.

«Следует ли дать евреям в России законодательные и административные права?»

Перв. публ.: «День», 16 февраля 1862.
Печатается по: Собр. соч. 2-е изд. Т. 3. СПб., 1900. С. 465–470

«Отчего евреям в России иметь ту равноправность, которой не дается нашим раскольникам?»

Перв. публ.: «День», 26 мая 1862.
Печатается по: Собр. соч. Т. 3… С. 470–473

[1] Внимания (*лат.*)

«Что такое еврей относительно христианской цивилизации?»

Перв. публ.: «День», 8 августа 1864.
Печатается по: Собр. соч. Т.3… С. 473–479

«Не об эмансипации евреев следует толковать, а об эмансипации русских от евреев»

Перв. публ.: «Москва», 15 июля 1867.
Печатается по: Собр. соч. Т. 3… С. 479–483
[1] Государство в государстве (*лат.*).

«Либералы по поводу разгрома евреев»

Перв. публ.: «Русь», 6 июня 1881.

Печатается по: Собр. соч. Т. 3… С. 483–490

[1] Елисаветград (с 1934 года Кировоград) – город в Новороссии. В настоящее время находится на территории Украины.

«Иудаизм как всемирное явление»

Перв. публ.: «Русь», 13 июня 1881.

Печатается по: Собр. соч. Т. 3… С. 491–497

[1] Смысл бытия (*фр*)

[2] Противоречие в определении (*лат*.).

«Желательно ли расселение евреев по всей России?».

Перв. публ.: «Русь», 20 июня 1881.

Печатается по: Собр. соч. Т. 3… С. 498–505

[1] laissez faire, laissez aller (*фр.*) – основной лозунг либералов, означающий невмешательство государства в хозяйственную деятельность.

«По поводу статей Брафмана о кагале»

Перв. публ.: «Русь», 10 октября 1881.

Печатается по: Собр. соч. Т. 3… С. 505–512

«Еврейская агитация в Англии»

Перв. публ.: «Русь», 23 января 1882.

Печатается по: Собр. соч. Т. 3… С. 512–514

«Нормально ли положение евреев на нашем Западе и Юге и их отношение к местному населению?»

Перв. публ.: «Русь», 24 апреля 1882.

Печатается по: Собр. соч. Т. 3… С. 514–521

[1] Без гнева и пристрастия (*лат*)
[2] В большей степени евреи, чем сами евреи (*фр*)

«О том, как бы обезвредить евреев для христианского народонаселения»

Перв. публ.: «Русь», 15 сентября 1883.
Печатается по: Собр. соч. Т. 3… С. 522–531
[1] Все-таки (*фр*)

«Обезвредятся ли евреи, преобразовавшись в культурный слой?»

Перв. публ.: «Русь», 1 октября 1883.
Печатается по: Собр. соч. Т. 3… С. 532–542

«О Талмуде»

Перв. публ.: «Русь», 15 октября 1883.
Печатается по: Собр. соч. Т. 3… С. 542–553
[1] Последний довод (*лат.*)

«Воззвание Кремьё, обращенное к евреям от лица «Всемирного Израильского Союза»

Перв. публ.: «Русь», 1 ноября 1883.
Печатается по: Собр. соч. Т. 3… С. 553–558

«Разбор циркулярного воззвания «Еврейского Всемирного Союза»

Перв. публ.: «Русь», 1 декабря 1883.
Печатается по: Собр. соч. Т. 3… С. 558–569
[1] Kulturkampf (*нем.* – борьба за культуру), наименование мероприятий правительства О. Бисмарка в Германии в 1870-х гг. против католической церкви, выражавшей сепаратистские антипрусские тенденции.

«Еще о воззвании «Всемирного Израильского Союза»

Перв. публ.: «Русь», 15 декабря 1883.
Печатается по: Собр. соч. Т. 3… С. 569–570

ВОСПОМИНАНИЯ И ВЫСТУПЛЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЯХ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Судьба свела Аксакова со многими деятелями русской культуры. Если бы Иван Сергеевич написал мемуары, то, вероятно, очень многие нынешние устоявшиеся представления, порожденные нашим невежеством, просто не возникли. Тем не менее в творческом наследии великого славянофила мы можем найти немало глубоких и объективных суждений о тех, без кого нельзя представить русскую культуру. Они были для Аксакова хорошо знакомыми людьми. Думается, что и нынешнему читателю будут интересны мнения Аксакова о своих современниках, далеко не совпадающие с их каноническим образом из школьных учебников.

Иван Аксаков с детства был знаком с Гоголем, его ближайшими сподвижниками по славянофильскому движению были Александр Гильфердинг, Владимир Даль и Капитон Невоструев. Наконец, поэт, дипломат и славянофил Федор Тютчев был не просто знакомым и единомышленником Аксакова, но и породнился с ним. Созданные пером Аксакова портреты Гоголя, членов кружка славянофилов и Тютчева, остаются непревзойденным примером биографических очерков, объективных, научных и литературных в изначальном смысле этого слова. Также образцом научного исследования может считаться речь Аксакова о Пушкине, которую он произнес на торжествах, посвященных открытию памятника поэту в июне 1880 года. Эту речь Аксаков произнес вслед за речью Достоевского. Хотя оба великих мыслителя готовили свои речи независимо друг от друга, нетрудно заметить, что их оценки Пушкина как национального поэта полностью совпадали.

Несколько слов о Гоголе

Печатается по: Московский Сборник. Т. 1. 1852. С. XVII–XII.

Речь о Гильфердинге, Дале и Невоструеве, произнесенная 25 февраля 1873 года на заседании Общества любителей русской словесности

Печатается по: Собр. соч. Т. 7. С. 784–794.

[1] Секретарем Общества любителей русской словесности был известный филолог Петр Алексеевич Бессонов (1828–1889), исследователь русского и славянского фольклора, помогавший Петру Киреевскому в собирании народных песен.

[2] Попов Н. А. (1833–1891) – историк-славист.

[3] Известный писатель Мельников-Печерский (1818–1883), автор романов «В лесах» и «На горах» о жизни поволжских старообрядцев.

[4] Барсов Е. В. (1836–1917) – фольклорист и историк литературы.

[5] Небольшая неточность – Гильфердинг родился 2(14) июля 1831 года.

Тютчев

Печатается по: И. С. Аксаков. Биография Федора Ивановича Тютчева. М., 1886.

[1] «Тугендбунд» (Tugendbund), тайное политическое патриотическое общество в Пруссии в 1808–10, создано с целью возрождения «национального духа» после разгрома Пруссии Наполеоном I.

[2] Вацлав Ганка (1791–1861) – чешский поэт, ученый-филолог, сторонник славянского единства.

[3] Здесь и далее некоторые стихотворения Тютчева приведены Аксаковым по памяти, поэтому возможны разночтения с общепринятыми вариантами.

[4] Речь идет о восстании греков острова Крит (Кандии) против турецкого ига в 1866–69 гг., зверски подавленного турками при молчаливой поддержке западных держав.

Речь о Пушкине при открытии памятника поэту в Москве 8 июня 1880 года

Печатается по: Собр. соч. Т. 7. С. 813–838

СОДЕРЖАНИЕ

ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ ВЫПУСКАЕТ БОЛЬШУЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ РУССКОГО НАРОДА

Главный редактор О. А. Платонов

Энциклопедия включает следующие тома:

Русская цивилизация *(вышел)*
Русское Православие *(выйдет в 2008 г.)*
Русское государство *(вышел)*
Русский патриотизм *(вышел)*
Русское мировоззрение *(вышел)*
Русский образ жизни *(вышел)*
Русская география
Русское хозяйство *(вышел)*
Международные отношения
Национальные отношения
Русская литература *(вышел)*
Русское искусство
Русский театр
Русская музыка
Русская наука
Русская школа
Русское воинство
Памятники Отечества
Русские за рубежом
Противники русской цивилизации

Каждый том Энциклопедии посвящен определенной отрасли жизни русского народа и будет завершенным сводом энциклопедических знаний по этой отрасли от «А» до «Я». Читатели могут в зависимости от потребностей подбирать либо полный комплект Энциклопедии, либо необходимые один или несколько томов.

К подготовке издания привлекаются лучшие русские ученые и специалисты, используются опыт и наиболее ценные материалы предыдущих русских энциклопедий и словарей. Критерием подготовки и отбора статей для Энциклопедии являются православные и национальные традиции русской науки, соответствие сделанных оценок национальным интересам русского народа.

Редакция Энциклопедии привлекает к сотрудничеству всех заинтересованных русских людей и организаций. Будем признательны за любую помощь в подготовке нашего издания.

Настоящая Энциклопедия является первой попыткой создания всеобъемлющего свода православных и национальных сведений о жизни русского народа. После выхода первого издания Энциклопедии предполагается ее совершенствование и подготовка нового издания.

Приглашаем к сотрудничеству всех русских людей, разделяющих идеи Святой Руси, русской цивилизации.

Будем благодарны за любые отзывы, замечания, поправки и дополнения.

Просим направлять их по адресу: 121170, Москва, а/я 18. Платонову О. А., e-mail: info@rusinst.ru

Электронную версию Энциклопедии можно получить на нашем сайте: www.rusinst.ru.

Автономная некоммерческая организация Институт русской цивилизации создана в октябре 2003 г. для осуществления идей и в память великого подвижника православной России митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева). Предшественником Института был Научно-исследовательский и издательский центр «Энциклопедия русской цивилизации» (1997—2003).

Целью Института является творческое объединение ученых и специалистов, занимающихся изучением истории и идеологии русского народа, проведение научных исследований, конференций, семинаров и систематизация знаний по всем вопросам русской цивилизации, истории, философии, этнографии, культуры, искусства и других научных отраслей, связанных с жизнедеятельностью русского народа с древнейших времен до начала XXI века. Приоритетным направлением деятельности института является создание 20-томной «Энциклопедии русского народа», а также научная подготовка и публикация самых великих книг русских мыслителей, отражающих главные вехи в развитии русского национального мировоззрения и противостояния силам мирового зла, русофобии и расизма.

Редактор Е. Н. Сапрыкина
Корректор А. Г. Мартынова
Компьютерная верстка Д. Е. Поляков
Институт русской цивилизации Тел.: 8-499-242-50-80.

Подписано в печать 05.04.2008 г. Формат 84 х 108 1/32.
Гарнитура «Times». Объем 29,8 изд. л.
Печать офсетная. Заказ №
Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат».
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.